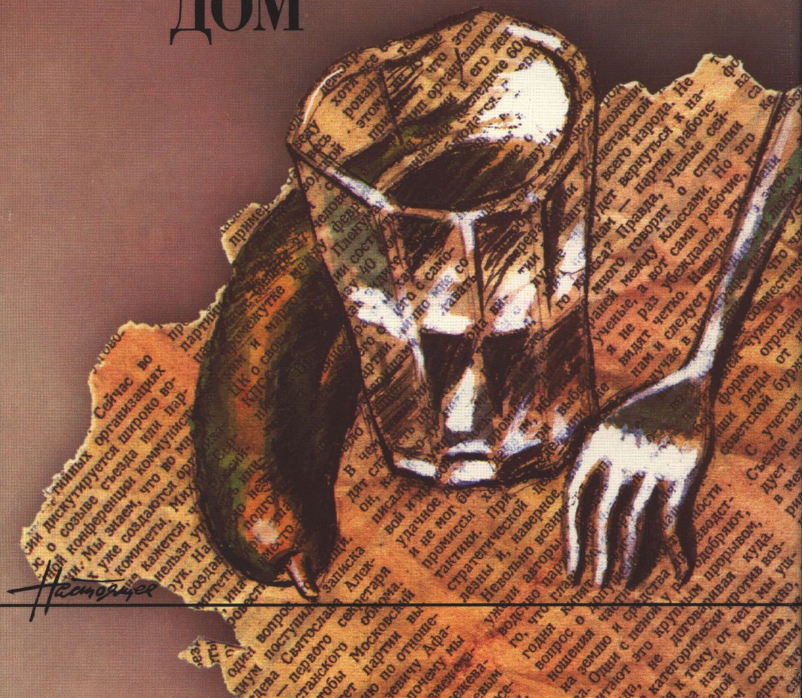


Андрей БИТОВ

ИМПЕРИЯ II

ПУШКИНСКИЙ ДОМ



Александр

Андрей БИТОВ

ИМПЕРИЯ

История

II

ТЕАТР КНИЖ
БАГАЖ
Июль 1991 г. С. Петербург.
ТОМШЕН. ДАВЫДОВА

Андрей **БИТОВ**

ПУШКИНСКИЙ
ДОМ

II

Харьков
ФОЛИО
Москва
ТКО АСТ
1996

В ЧЕТЫРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ

интерия

**ББК 84Р7
Б66**

**Серия «Настоящее»
основана в 1995 году**

**Послесловие
Ю. Карабчиевского**

**Художник-оформитель
В. Н. Щекин**

**На первой странице
суперобложки — фрагмент
работы Н. Пунина**

**На последней странице
суперобложки — бюст А. С. Пушкина
работы А. Матвеева**

**Координатор издательской программы
«Настоящее»
М. Е. Топоринский**

**ISBN 5-7150-0350-4 (т. 2)
ISBN 5-7150-0348-2
ISBN 5-88196-783-2 (т. 2)
ISBN 5-88196-781-X**

**© А. Г. Битов, 1996
© В. Н. Щекин. Художественное оформле-
ние, 1996**

ПУШКИНСКИЙ ДОМ

ЧТО ДЕЛАТЬ (Пролог) 7

Раздел первый. ОТЦЫ И ДЕТИ 13

Отец 15

Отдельно о Диккенсе 33

Отец (продолжение) 39

Отец отца 49

Отец отца (продолжение) 64

Версия и вариант 88

Наследник (Дежурный) 105

ПРИЛОЖЕНИЕ. Две прозы 117

Раздел второй. ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 127

Фаина 132

Фаталист (Фаина — продолжение) 165

Альбина 170

Любаша 187

Миф о Митишатъеве 191

Версия и вариант 206

Г-жа Бонасье (Дежурный) 217

ПРИЛОЖЕНИЕ. Профессия героя 224

Раздел третий. БЕДНЫЙ ВСАДНИК 243

Дежурный (Наследник — продолжение) 248

Невидимые глазом бесы 265

Маскарад 280

Дуэль 285

Выстрел (Эпilog) 311

Версия и вариант (Эпilog) 318

Утро разоблачения, или Медные люди (Эпilog) 326

ПРИЛОЖЕНИЕ. Ахиллес и черепаха 338

КОММЕНТАРИИ

к юбилейному изданию романа, 1999 г.

(Составитель акад. Л. Н. Одоёвцев) 351

Обрезки (Приложение к комментарию) 391

ПОСЛЕ «ПУШКИНСКОГО ДОМА» 397

Фотография Пушкина (1799—2099) 399

Битва 438

Карабчиевский Ю.

Точка боли 491

А вот то будет, что и нас не будет.

*Пушкин, 1830
(проект эпитафии
к «Повестям Белкина»)*

■

*Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!..*

Блок, 1921

ЧТО ДЕЛАТЬ?

(Пролог, или глава, написанная позже остальных)

Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге.

Н. Г. Чернышевский, 1863

Где-то, ближе к концу романа, мы уже пытались описать то чистое окно, тот ледяной небесный взор, что смотрел в упор и не мигая седьмого ноября на вышедшие на улицы толпы... Уже тогда казалось, что эта ясность недаром, что она чуть ли не вынуждена специальными самолетами, и еще в том смысле недаром, что за нее вскоре придется поплатиться.

И действительно, утро восьмого ноября 196... года более чем подтверждало такие предчувствия. Оно размывалось над вымершим городом и аморфно оплывало тяжкими языками старых петербургских домов, словно дома эти были написаны разбавленными чернилами, бледнеющими по мере расвета. И пока утро дописывало это письмо, адресованное когда-то Петром «назло надменному соседу», а теперь никому уже не адресованное и никого ни в чем не упрекающее, ничего не просящее, — на город упал ветер. Он упал так плоско и сверху, словно скатившись по некой плавной небесной кривизне, разогнавшись необыкновенно и легко и пришедший к земле в касание. Он упал, как тот самый самолет, налетавший... Словно самолет тот разросся, разбух, вчера летая, пожрал всех птиц, впитал в себя все прочие эскадрильи и, ожирев металлом и цветом неба, рухнул на землю, еще пытаясь спланировать и сесть, рухнул в касание. На город спланировал плоский ветер, цвета самолета. Детское слово «Гастелло» — имя ветра.

Он коснулся улиц города, как посадочной полосы, еще подпрыгнул при столкновении, где-то на Стрелке Васильевского острова, и дальше понесся сильно и бесшумно меж отсыревших домов, ровно по маршруту вчерашней демонстрации. Проверив таким образом безлюдье и пустоту, он вкатился на парадную площадь и, подхватив на лету мелкую и широкую лужу, с разбегу шлепнул ею в игрушечную стенку вчерашних трибун и, довольный получившимся звуком, влетел в революционную подворотню и, снова оторвавшись от земли, взмыл широко и круто вверх, вверх... И если бы это было кино, то по пустой площади, одной из крупнейших в Европе, еще догонял бы его вчерашний потерянный детский «раскидайчик» и рассыпался бы, окончательно просырев, лопнул бы, обнаружив как бы изнанку жизни: тайное и жалостное свое строение из опилок... А ветер расправился, взмывая и торжествуя, высоко над городом повернул назад и стремительно помчался по свободе, чтобы снова спланировать на город где-то на Стрелке, описав таким образом нестеровскую петлю...

Так он уютжил город, а следом за ним, по лужам, мчался тяжелый курьерский дождь — по столь известным проспектам и набережным, по взбухшей студенистой Неве со встречными рябеющими пятнами противотечений и разрозненными мостами; потом мы имеем в виду, как он раскачивал у берегов мертвые баржи и некий плот с копром... Плот терся о недобитые сваи, мочаля сырую древесину; напротив же стоял интересующий нас дом, небольшой дворец — ныне научное учреждение; в том доме на третьем этаже хлопало распахнутое и разбитое окно, и туда легко залетал и дождь, и ветер...

Он влетал в большую залу и гонял по полу рассыпанные повсюду рукописные и машинописные страницы — несколько страниц прилипло к луже под окном... Да и весь вид этого (судя по застекленным фотографиям и текстам, развешанным по стенам, и по застекленным же столам с развернутыми в них книгами) музейного, экспозиционного зала являл собою картину непонятого разгрома: Столы были сдвинуты со своих, геометрией подсказанных, правильных мест и стояли то там, то сям, вкривь и вкось, один был даже опрокинут ножками вверх, в россыпи битого стекла; ничком лежал шкаф, раскинув дверцы, а рядом с ним, на рассыпанных страницах,

безжизненно подломив под себя левую руку, лежал человек. Тело.

На вид ему было лет тридцать, если только можно сказать «на вид», потому что вид его был ужасен. Бледный, как существо из-под камня — белая трава... в спутанных серых волосах и на виске запеклась кровь, в углу рта заплесневело. В правой руке был зажат старинный пистолет, какой сейчас можно увидеть лишь в музее... другой пистолет, двуствольный, с одним спущенным и другим взведенным курком, валялся поодаль, метрах в двух, причём в ствол, из которого стреляли, был вставлен окуроч папиросы «Север».

Не могу сказать, почему эта смерть вызывает во мне смех... Что делать? Куда заявить?..

Новый порыв ветра захлопнул с силой окно, острый осколок стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для него это не было ни серьёзным, ни даже заметным поступком. Он мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые буксирчики, которые, в это измочаленное и мертвое утро, одни суетились у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем приколе.

Мы много больше рассказали здесь о погоде, чем об интересном происшествии, ибо оно займет у нас достаточно страниц в дальнейшем; погода же нам особенно важна и сыграет еще свою роль в повествовании хотя бы потому, что действие происходит в Ленинграде...

...Ветер мчался дальше, как вор, и плащ его развевался.

(КУРСИВ МОЙ.—А. Б.)

Мы склонны в этой повести, под сводами Пушкинского дома, следовать освященным, музейным традициям, не опасаясь переключек и повторений, — наоборот, всячески приветствуя их, как бы даже радуясь нашей внутренней несамостоятельности. Ибо и она, так сказать, «в ключе» и может быть истолкована в смысле тех явлений, что и послужили для нас здесь темой и материалом, — а именно: явлений окончательно не существующих в реальности. Так что необходимость воспользоваться даже

всео
о советск
елом, где от
вы посвященн
ной литера
им литера
охи. Таким
о о полку
язь в тиг
уп разби
й /одной/
ской Руси
зии времен
Сковоро
швили пред
читателями
о восемна
Так мес
объеди
ем, так
ескими
краин
грузин
и не пе
щает Пуш
шей Роди
го поэти
в поэзии
благод
никает в
ратуре ее
говорить
итературе
о пушкин
без кото
ченков
ушкин
оэ

Пу
ской
рить не
гах Пушки
ко, но о всех,
взаимных расчет
ских литератур воо
какой литературе мы зад
жали, какой и когда долг
возвращен, какие долги
лишь начинают возвращать
ся в виде переводов, или
же как оригинальное твор
чество, вдохновленное ли
тературой другого народа,
другого языка.

Вопрос здесь следует за
вопросом.

Как появляется в Кара
калпакки сонет и какие
особые национальные при
знаки каракалпакского со
нета?

Почему наш хорей легче
других силлабо-тонических
размеров осваивается язы
ками, знающими лишь иные
системы стихосложения?

Как благодаря переводу
на аварский язык "Медного
всадника" рождается вели
колепный реализм новейшей
поэзии аварцев?

Из всех этих вопросов и
ответов составилась бы
большая и полезная книга.

тарой, созданной до нас и не нами, тоже, как бы ужалив самое себя, служит нашей цели.

Итак, мы воссоздаем современное несуществование героя, этот неуловимый эфир, который почти соответствует ныне самой тайне материи, тайне, в которую уперлось современное естествознание: когда материя, дробясь, членясь и сводясь ко все более элементарным частицам, вдруг и вовсе перестает существовать от попытки разделить ее дальше: частица, волна, квант, — и то, и другое, и третье, и ничто из них, и не все три вместе... и выплывает бабушкино милое слово «эфир», чуть ли не напоминая нам о том, что и до нас такая тайна была известна, с той лишь разницей, что никто в нее не упирался с тупым удивлением тех, кто считает мир постижимым, а — просто знали, что тут тайна, и полагали ее таковой.

И мы разливаем этот несуществующий эфир в несохранившиеся бабушкины склянки, удивляясь, что тогда каждому уксусу соответствовала своя неспрадная форма; мы с удовольствием отмываем слово «флакон» в тепловатой воде, любуясь идеей грани, пока из нее не сверкнет, мыльно и хрустально, луч детства и не осветит радужно желтоватую скатерку, вязанную в чьем-то далеком и немислимом рукодельном детстве, анисовые капли и градусник со старинным цветом ртути, не изменившимся до сих пор лишь в силу преданности таблице элементов и химической верности... И этот радужный луч осветит чью-то тонкую замотанную шею, мамин поцелуй в темя и великий роман «Три мушкетера».

И как удивляемся мы внезапной, такой непривычной неспешности и любовности собственных движений, подсказанной всего лишь формой и гранью этих склянок, таинственно прорывающей и останавливающей нашу суету...

Роман-музей...

И, в то же время, попытаемся писать так, чтобы и клочок газеты, раз уж не пошел по назначению, мог быть вставлен в любую точку романа, послужив естественным продолжением и никак не нарушив повествование.

Чтобы можно было, отложив роман, читать свежую и несвежую газету и полагать, что то, что происходит сейчас в газете и, следовательно, в какой-то мере в мире вообще, —

происходит во времени романа, и, наоборот, отложив газету и вернувшись к роману, полагать, что и не прерывались его читать, а еще раз перечитали «Пролог», чтобы уяснить себе некоторые частные мелочи из намерений автора.

Уповая на такой эффект, рассчитывая на неизбежное сотрудничество и соавторство времени и среды, мы многое, по-видимому, не станем выписывать в деталях и подробностях, считая, что все это вещи взаимозвестные, из опыта автора и читателя.

ОТЦЫ И ДЕТИ



*Поддерживая друг друга,
идут они отяжелевшею походкой;
приблизятся к ограде,
припадут и stanут на колени,
и долго и горько плачут,
и долго и вниmательно смотрят
на немой камень,
под которым лежит их сын...*

Тургенев, 1862

ОТЕЦ

В жизни Левы Одоевцева, из тех самых Одоевцевых, не случилось особых потрясений — она, в основном, протекала. Образно говоря, нить его жизни мерно струилась из чьих-то божественных рук, скользила меж пальцев. Без излишней стремительности, без обрывов и узлов, она, эта нить, находилась в ровном и несильном натяжении и лишь временами немного провисала.

Собственно, и принадлежность его к старому и славному русскому роду не слишком существенна. Если его родителям еще приходилось вспоминать и определять отношение к своей фамилии, то это было в те давние годы, когда Левы еще не было или он был во чреве. А у самого Левы, с тех пор как он себя помнил, уже не возникало в этом необходимости, и был он скорее однофамильцем, чем потомком. Он был Лева.

В младенчестве, правда (Лева был зачат в «роковом» году), случились с ним, вернее, с его родителями кое-какие неприятные перемещения в сторону их замечательного предка, так сказать, «во глубину сибирских руд». Лева помнил это глухо: холодно, мама выменяла кимоно (огромные шелковые цветы) на картошку, а он, Левушка, как-то побежал к пруду и нашел на берегу три рубля, — вот этот уголок воды, уголок серого сплошного забора и камушек, об который больно зашибся от радости, да цвет трехрублевой бумажки он и запомнил. Не мог он ни помнить, ни понимать, что его отцу «еще повезло», что таких «мягких» мер вообще не бывает, и то, что с ними произошло, — большая удача и счастливый случай, потому хотя бы, что деда Левушкиного «взяли» еще в год свадьбы родителей, почти десять лет тому, а их вот все эти годы «не трогали». (А то, что деда взяли еще тогда — это деду тоже «повезло», потому что «вовремя», позже с ним бы «не так обошлись», а так он перекочевал из ссылки в ссылку, и только...) А то, что вестей от деда не было, — тоже могло быть как угодно плохо, но уже не для деда — а для них: мало ли, как он там и что он там... Не говоря об остальных, «закордонных», родственниках — оттуда

можно было ждать любого подвоха. В общем, «могло быть хуже». Но Лева эти позитивные выкладки не были доступны. Не мог он этого ни помнить, ни понимать и потом, когда бы мог, если и не понимать, то помнить, потому что разговоры о деде не велись при нем еще лет десять, а все, что было лично с ним, севой, обратилось каким-то образом в так называемое «военное детство». Действительно, вскоре после их высылки началась война, в их глубинке появились эвакуированные, и уже ничего исключительного в положении их семьи не было.

Все, в конце концов, по каким-то причинам, скрытым от Левы еще дольше, чем существование «живого» деда, обошлось благополучно, и после войны они вернулись в родной город как бы из эвакуации, все втроем, без потерь. Папа стал доцентствовать, по-прежнему в Университете, постепенно защищая докторскую и занимая кафедру, на которой когда-то блистал его отец (единственное, что знал Лева о деде); сам Лева учился и рос, постепенно кончая школу и поступая в Университет к своему отцу; мама будто бы ничего не делала и старела.

Лева рос в так называемой «академической» среде и с детства мечтал стать ученым. Но только не филологом, как отец и, кажется, дед, не «гуманитарием», а скорее уж биологом... Эта наука казалась ему более «чистой», вот как. Ему нравилось, как по вечерам мама приносила отцу в кабинет крепкий чай. Отец расхаживал по темной комнате, позвякивая ложечкой по стакану, говорил что-то маме так же негромко, как неярко горел свет, выхватывая из мрака лишь стол с бумагами и книгами. Когда никого не было дома, Лева заваривал себе чай покрепче и пил его через макаронину, и ему казалось тогда, что на голове у него черная академическая камиллавка. «Как отец, но покрупнее, чем отец...»

Именно в этой позе прочел он свою первую книгу, и были это «Отцы и дети». Предметом особой его гордости стало, что первая же книга, которую он прочел, оказалась книга толстая и серьезная. Он немного кичился тем, что никогда не читал тоненьких детских, никаких ни Мальчишей, ни Кибальчишей (не сознавая, что его заслуга — вторая: этих книжек просто не было в доме Одоевцевых: причина не объявлялась и не выяснялась — она исполнялась...). И быть может, сильнее всего его поразило то, что прочитал он эту толстую книгу с увлечением и даже удовольствием, что этот труд чтения толстых книг, за который, в его представлении, полагались столь крупные почес-

ти, оказался и не таким тяжким, даже не скучным (последнее, каким-то образом, казалось в его детском мозгу непременным условием избранничества). Еще его поразило у Тургенева слово «девицы» и что девицы эти время от времени пили «подслащенную воду». Воображая и прощая Тургеневу это, Лева полагал, что его время лучше тургеневского тем, что этих вещей в нем нет, тем, что в то время надо было быть таким великим, седым, красивым и бородатым, чтобы написать всего лишь то, что в наше время так хорошо усваивает такой маленький (пусть и очень способный...) мальчик, как Лева, и еще тем было его время лучше, что родился он именно теперь, а не тогда, тем, что именно в нем родился Лева, такой способный все так рано понимать... Таким образом, представление о серьезном надолго совпало в Леве с солидностью и представительностью. Когда же он прочитал «всего» Пушкина и сделал в школе доклад к столетию поэта, то, право, не знал уже, что может требоваться еще на пути, который так легко ему распахнулся и предстоял: все было уже достигнуто, а времени оставалось впереди так же много, как в детстве. Чтобы стерпеть это ожидание, нужна была «сила воли», магическая духовная категория тех лет, почти единственная, какую уловил Лева извне семейной цитадели. Именно в этом глубоком кресле, в котором он утопал так, что только и виднелась его черная камилавка, преподавал он себе первые уроки мужества, потому что той же силы воли, которой хватало Маресьеву на отсутствие ног, не хватало Леве на наличие рук. Тогда ли он заявил, что естественные науки влекут его более гуманитарных... но это было бы уже слишком психоаналитично. Родители, отметив про себя гуманитарные склонности сына, не перечили его естественным наклонностям...

Из газет Лева любил читать некрологи ученых. (Некрологи же политических деятелей он пропускал, потому что в семье о политике никогда не говорили — не ругали, не хвалили — и он относился к ней, как к чему-то очень внешнему и не подлежащему критике, не столько даже из осторожности — этому его тоже вроде не учили — сколько потому, что это никак к нему не относилось. Об этой стороне его воспитания, «аполитичности», следует еще рассказать особо, пока же — отметим.) В некрологах ученых находил он необыкновенно приятный тон благопристойности и почтения и тогда воображал себя не иначе как уже стариком, окруженным многочисленными учениками, членом многочисленных ученых обществ, а собственную жизнь — каким-то непрерывным чествованием. В некрологах

поминался и неутомимый труд, несгибаемая воля и мужество — но это как-то само собой разумелось, такое, и маленький Лева понимал, что без этого самого «труда» — все «лишь пустое мечтательство», но главным в этих мечтах оставался все-таки крепкий чай, камилавка и все то многообразное безделье, которое причиталось заслужившим людям (или, как принято говорить почему-то, «заслуженным»), по-видимому, по праву.

Их дом, построенный по проекту известного Бенуа, с изяществом и беспечностью, характерными для предреволюционного модерна; дом, где не было, казалось, ни одного одинакового окна, потому что квартиры строились по желанию заказчика, и — кому какое хотелось: кому узкое и высокое, кому — фонарь, а кому и круглое, — вне всякой симметрии и, однако, с каким-то, с легкостью давшимися, чувством целого; дом с тем навязчивым, как детство, господством водорослевых линий «либерти» — в лепке, в решетках балконов и лифтов, с местами уцелевших мирискуснических витражей. — Этот милый дом был населен многочисленной профессурой: вымирающими старцами и их деканствующими детьми и аспирантствующими внуками (хотя и не во всех семьях преемственность складывалась столь успешно), — потому что по соседству располагались три высших учебных заведения и несколько научно-исследовательских. Дом стоял на пустой и красивой старой улице, прямо напротив знаменитого Ботанического сада и института.

Эта тихая юдоль науки всегда нравилась Лева. Он представлял, как самозабвенно и благородно трудятся люди в этом большом белоколонном здании, а также в старинных, чуть ли не елизаветинских, деревянных домиках-лабораториях, разбросанных там и сям по прекрасному парку. Вдали от шума, от всей этой гремящей техники, люди заняты своим серьезным делом, своими растениями... Во время выборов в Советы в Ботаническом институте помещался их избирательный пункт, и Лева, вместе с родителями, поднимался тогда по широкой ковровой лестнице и с почтением всматривался в портреты выдающихся бородачей и носителей пенсне ботанической науки. Они смотрели на него сухо и без энтузиазма, как на какую-нибудь инфузорию, но могли ли они знать, что им однажды придется потесниться и дать место Левиному портрету?.. Сердце сладко замирало и екало от восторга перед собственным будущим.

Поскольку глава называется «Отец», следует сказать вот что: Левушке казалось, что он отца не любил. С тех пор как он

себя помнил, он был влюблен в маму, и мама была всегда и всюду, а отец появлялся на минутку, присаживался за стол, статист без реплики, и лицо будто всегда в тени. Неумело, неловко пробовал заиграть слевой, долго выбирал и тасовал, что же сказать сыну, и наконец говорил пошлость — и Лева запоминал лишь чувство неловкости за отца, не запоминая ни слов, ни жеста, так что, со временем, каждая мимолетная встреча с отцом (отец всегда был очень занят) выражалась лишь в этом чувстве неловкости, неловкости вообще. То есть, будто отец не был способен даже правильно потрепать Леву по головке — Лева ежился, или посадить на колени — всегда причинит Левушке какое-то физическое неудобство — Левушка напрягался и становился сам себе неудобен; даже «здравствуй» и «как дела» не получалось у отца, а все как-то застенчиво-фальшиво, чтобы Лева смушался, потуплялся или был рад, что никто не видит. Смутно помнил Лева, что когда-то получалось у отца на одной коленке: «По гладенькой дорожке — по гладенькой дорожке, по кочкам — по кочкам, в я-му — бух!» — силы хватало... но и то никогда не умел отец остановиться вовремя, не надоедало ему (так, что ли, радовался, что получалось?), приходилось Левушке кончать игру первым.

Так все детство, часто и понемногу видя отца, не знал Лева даже, какое у того лицо: умное ли, доброе, красивое ли... Увидел он его впервые — однажды и вдруг. Отец уже почти три месяца читал лекции в подшефном институте где-то на юге, мама в тот день решила вымыть окна, Лева ей помогал. Они вымыли окно и взялись за второе... Комната была освещена пополам: пыльным, клубящимся светом и открытым, промытым, весенним солнцем, — и тут, произведя ветер своими широченными чесучовыми брюками, ворвался отец, помахивая новеньким портфельчиком с гравированным ромбиком от благодарных. В ромбике сверкнуло солнце, и отец наступил белой туфлей в лужицу около таза... Они, значит, с мамой стояли на пыльной половине комнаты, а отец, следовательно, — на мытой и весенней... Был он похож на негатив, на теннисиста, на обложку журнала «Здоровье». Чересчур загорелый и седой (он рано поседел), с юным гладким лицом, большой и громкий, в белой, как его волосы, оттенявшей и так шедшей ему рубашке «апаш»... здесь положено описать в вырезе крепкую мужскую, желанную шею... нам противно, шея — была. Лева слишком смотрел на отцову туфлю: на ней быстро намокал зубной порошок, — Лева слишком представлял, как отец слюнит зубную щетку и трет туфлю... Вот и запомнил он такого отца, чтобы еще лет десять

не замечать, какой он сейчас, а представлять себе именно таким, как запомнил тогда: загорелым и уверенным, — будто они с тех пор расстались навсегда. И то, наверно, потому запомнил, что отразился отец в ту секунду в маме, отразился — незнакомым Леве смущением, слабой улыбкой, тем, как в одну секунду помолодела и выстарилась она на глазах, старенькая девочка на пыльной половине... а, главное, Левы в тот миг для нее не было. Лева взревновал и запомнил. Окно в тот день осталось недомытым... Как мгновенно, однако, отражается в нас, бессловно и неосознанно, жизнь чужой, чьей-то, тайной любви — мы спотыкаемся о погребенную свою, смущаемые чужим блеском, потом замыкаемся: поздно, не для нас... Впрочем, забегаем: это еще не для Левы, — но почувствовать он тем более мог.

И тут еще эта история «с рублем» обрамила и застеклила случайный образ загорелой шеи отца, кем-то, неведомо кем, любимой, уверенной в этой любви к себе, шеи... И рубль-то почти ни при чем, однако стал он на долгое время для Левы крупной купюрой, крупнее десяти. Дворовая соседка, лестничная площадка, с пятого этажа, старая кляча, сука, высосанная тремя детьми, — и ее надолго потом возненавидел Лева за этот рубль! — остановила его, прижала где-то в подворотне и, пока Лева стыдился ее, рассказала (и не помнит теперь, к какому слову у нее это пришлось...), как видели в Парке культуры и отдыха, чуть ли не в ресторане, его отца с молодой дамой, и отец подал нищему целый рубль! Огромность рубля была особенно ненавистна, оскорбительна и возмутительна соседке... Парк, молодая красавица, ресторан на воде, рубль нищему — такое злчное количество другой жизни ослепило и Леву, и он пошел домой, раздавленный. И то сказать, — время еще было тяжелое, немногим послевоенное... Ах, как он, Лева, потом, очень потом, через четверть века, узнал, что все они были не стары тогда — молоды! И отцу — под сорок, и маме — тридцать пять, а проклятой соседке тридцати не было.

Он молчал три дня, с отцом не здоровался, пока мама не сказала: «Что с тобой?» Он поотнекивался, чтобы, чуть ли не охотно, расколотся на весь безмерный рубль. Наверное, рассказ этот произвел и на маму значительное впечатление, ибо она тут же взяла себя в руки. Лицо ее осунулось и стало строго именно в отношении Левы, и последовал выговор, суровый и умелый, и было в этом, сколь теперь понятно, большое для нее облегчение. Безупречность логики, мерность в справедливости,

ясная форма обвинений были тому облегчению доказательством. Обоим стало прозрачно и трепетно-спокойно, как дыхание на зеркале. Потом дыхание испарилось, зеркало повечерело, все потускнело.

Однако нового изображения отца, чем в тот приезд, не возникало, предыдущего же не было, кроме свадебной фотографии, где он любил маму... мама-ласточка, круглые глаза, двадцати лет, в какой-то чалме на голове... Сличая эти два фото, Лева не мог не удивляться перемене: будто красавец теленок в котелке и с тростью, с ягодными уголками губ, с есенинской чистотой и обреченностью в глазах и этот сытый, загорелый бугай в чесучовых клешах («видный мужчина») — одно лицо. Будто родился его отец сразу в двух веках — и в прошлом, и в сегодняшнем, будто именно эпохи имеют лицо, а один человек — нет.

Лева так однажды решил — что он очень не похож на отца. Даже не противоположность — не похож. И не только по характеру, что уже понятно, но и внешне — совсем не похож. У него были основания так считать по фактическому несходству черт, глаз, волос, ушей — тут они действительно имели мало общего, но главным, что ему хотелось (быть может, и втайне от себя) как-нибудь ловко проигнорировать, было не это, формальное, а — подлинное, неуловимое, истинно фамильное сходство, которое не есть сходство черт. Его подростковое и юношеское растущее раздражение тем или иным жестом или интонацией отца, неприятие, все более частое, самых невинных и незначительных его движений, возможно, и означало это развивающееся, неумолимое фамильное сходство, а отталкивание от неизбежности узнавания в себе отца было лишь способом и путем образования и становления характера... Тут и мама играет совсем определенную роль: постоянно раздражаясь на отца за неизбывность его привычек, как то: есть стоя с ножа или пить из носика чайника, — почти не замечала она, если то же самое проделывал Лева. И тут сказывалась обиженная ее любовь, ибо любила она в сыне чуть ли не то самое, за что делала вид (да ей уже и не приходилось, от натренированности годами, делать его), что не любит отца. Если же Лева ловил в себе отцово движение: скажем, пил озираясь на кухне из носика, — то это означало, что раздражение к отцу в нем дополнительно росло, и он избегал отмечать про себя это сходство.

А люди, по-видимому, поровну отмечали и разительное Левино несходство с отцом, и разительное сходство. Но — когда

пятьдесят на пятьдесят, мы выбираем то, что хотим. Лева выбрал несходство и с тех пор слышал от людей только, как они с отцом непохожи.

Дошло до того, что будучи уже студентом и переживая свою первую и злосчастную любовь, поймал он себя однажды (случай запоздалого развития) на мысли, что он не родной сын своего отца. И даже, пронзенный собственной пронизательностью, догадался как-то раз, кто же был его истинный, родной отец. К счастью, тайну эту поведал он лишь одному человеку, когда, совсем перекосившись, отворачиваясь к темному окну смахивать невольную слезу, пытался он этим рассказом вынудить еще одно согласие у своей жестокой любви... Впрочем, ее это мало тронуло. Но это мы опять сильно забегаем.

Но если еще забежим, то можем с уверенностью сказать, что, когда жизнь, пусть в сугубо личных формах мирного времени, но тоже проехала по Лева (годам к тридцати), а отец выстарился и стал прозрачен, то сквозь эту прозрачность, начал Лева, с жалостью и болью, все четче различать такое неискоренимое, такое сущностное родство с отцом, что, от иного нелепого и мелкого отцовского жеста или слова, приходилось ему и подлинно отворачиваться к окну, чтобы сморгнуть слезу. Сентиментальность была тоже свойственна им обоим...

В общем, лишь к тому далекому времени, что приближает нас к печальному концу Левиной повести, только тогда мог понять Лева, что отец — это его отец, что ему, Лева, — тоже нужен отец, как оказался однажды нужен и отцу — его отец, Левин дед, отец отца. Но об этом важном «тоже» надо рассказывать отдельно.

Если бы мы поставили перед собой более подробную задачу — написать знаменитую трилогию «Детство. Отрочество. Юность» нашего героя, то встали бы перед определенным рода трудностями. Если кое-что помнил Лева из «Детства»: переселение народов — в пять лет, подглядывания, подворывания, подголаживания, драки, несколько избушек, теплушек и пейзажей, — из всего этого можно было бы воссоздать некую атмосферу детского восприятия народной драмы, даже придать этой атмосфере плотность, насытив ее поэтическими испарениями босоногости, пятен света и запахов, трав и стрекоз («Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца!»); если от-

четливо и подробно, уже на наших глазах, прошла его «Юность», и ей мы еще посвятим... то об «Отрочестве» Лева почти ничего не помнил, во всяком случае, помнил меньше всего, и мы бы имели затруднения, как теперь принято говорить, «с информацией». Мы могли бы лишь подменить эти его годы историческим фоном, но не будем этого делать: столько, сколько нам здесь понадобится, известно уже всем. Итак, отрочества у Левы не было — он учился в школе. И он окончил ее.

Итак — сузим брюки, утолщим подошву, удлиним пиджак. Пояжем мелко галстук. Смелые юноши вышли на Невский, чтобы уточнить историческое время в деталях. Будем справедливы в отношении их доли. Доли — и доли: доли в общем деле — и доли в общей судьбе. Первая — недооценена, как и всякая историческая работа, вторая — так и не вызвала заслуженного сочувствия или жалости.

Так или иначе, они ведь себя — «положили»... Лучшие годы (силы) не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к незнакомым формам живого, пошли на сужение брюк. И мы им обязаны не только этим (брюками), не только, через годы последовавшей, свободной возможностью их расширения (брюк), но и нелегким общественным привыканием к допустимости другого: другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человека. То, с чем они столкнулись, можно назвать реакцией в непосредственном смысле этого слова. Как раз либеральные усмешки направо по поводу несерьезности, ничтожности и мелочности этой борьбы: подумаешь, брюки!.. — и были легкомысленны, а борьба была — серьезна. Пусть сами «борцы» не сознавали свою роль: в том и смысл слова «роль», что она уже готова, написана за тебя и ее надо сыграть, исполнить. В том и смысл слова «борцы». Пусть они просто хотели нравиться своим тетеркам и фазанессам. Кто не хочет... Но они вынесли гонения, пикеты, исключения и выселения с тем, чтобы через два-три года «Москвошвей» и «Ленодежда» самостоятельно перешли на двадцать четыре сантиметра вместо сорока четырех, а в масштабах такого государства, как наше, — это хотя бы много лишних брюк... ~

Но нас перекашивает в дешевку, поскорей упомянем о «второй» доле, которая является лишь омонимом первой, не о доле — части, куске общего пирога, а о доле — судьбе, доле-долюшке. Их уже не встретишь на Невском, тех пионеров... Их раскидало и расшвыряло, и они — выросли. Больше или меньше, но вносят они какой-нибудь службой лепту

и в сегодняшний день. Появись они сейчас в том героическом виде — как были бы они жалки, среди такого-то достоинства линий импорта, валюты, фарцовки, терилена, лавсана!.. Если вспомнить их боевую молодость, — то все это достается сейчас (в смысле «достать, доставать»), можно сказать, даром... И они имеют право, как ветераны, бить себя пьяной культею в грудь в том смысле, что проливали кровь за советскую водку для финнов и финский терилен для Советов. И здесь я снова оглядываюсь из времени, о котором повествую, во время, в котором пишу...

Несколько лет назад мне еще довелось в последний раз увидеть такого — сорокалетнего, изъезженного жизнью по лицу, но оставшегося верным тому, лучшему, своему, героическому времени.

Не заметить его было невозможно. Он — торчал. Все замирали и оборачивались и так оказывались поражены, что даже не смеялись; рука не успевала подняться, чтобы указать на него пальцем — он успевал гордо прошаркать мимо, обозначив, что — Господи! — можно сказать, десять, даже пятнадцать лет прошло, как корова языком слизнула... потому что он — был все тот же. И что пятнадцать лет прошло — было еще пустяки, а вот что за эти пятнадцать лет прошло — это было да! это была эпоха. Как постепенно, как мгновенно она прошла — никто и не заметил, находясь в ней и продвигаясь с нею. И вдруг в настоящем, глупо до гордости и не удивляясь изменениям, прошаркало или, как тогда говорили, «прошвырнулось» прошлое...

Это был тот самый пресловутый «стиляга» начала пятидесятых. В тех же брючках, в том самом спадающем с плеч до колен зеленом пиджаке, чуть ли не на тех же подметках, подклеенных у предприимчивого кустика, в том же галстуке, повязанном микроскопическим узлом, в том же перстне, с тем же коком, тою же походкой — в самом карикатурном, даже для того времени, в самом «крокодильском» виде, который и на рыжих-то у ковра давно уже вышел из моды. «Вяткин...» — вспомнил какой-то старичок, но и Вяткина уже никто не помнил. И еще дело было в том, что человек этот шел вот так всерьез.

Что ж, ему досталась доля уличного сострадания и стыда... Так и не смеялись — все были смущены, — он был сумасшедшим. Он был инвалид. Господи! подумал я, как же люди все-таки навсегда привержены к тому времени, когда их любили, а главное, когда о них любили! Сойти с ума... Да ведь если

не прятаться за новый покрой, то вот так и привержены, как этот сумасшедший...

Этот ветеран моды, этот леденцовый солдатик Истории, почему-то так и не рассосавшийся на ее языке, обозначил позавчерашний вкус... Ах, этот вкус слишком легко теперь уценить! Пусть он просто хотел понравиться своим тетеркам и фазанессам, отстаивал свободу «всего лишь» вторичных мужских признаков, но и он кое-что вынес на своих плечах (хотя бы большую вату...), и он чего-то не вынес, чему мы оказались теперь свидетели, но и он выстоял, предоставив последующим поколениям борьбу (куда, впрочем, более легкую!) за последнее расширение брюк, но даже и он не выстоял, навсегда обратившись взглядом в ту молодость, которая для всех прошла...

Этого единственного в своем роде городского сумасшедшего теперь что-то не видать совсем, так что нет уже шансов проверить опыт... Но вот мы встретим однажды, совсем уже в наше время, лет почти через двадцать после того времени небольшую группку на углу Невского и Малой Садовой, человека три-четыре. Что-то задержит на их лицах наш взгляд... Мы решительно никогда их не видали и не знаем их в лицо, однако это именно они — самые знаменитые люди Невского того времени! И Бенц, и Тихонов, и Темп... Вот ведь не были знакомы, а имена помним, как помнит поневоле каждое поколение имена тех вратарей и тех центр-форвардов. Вот и они взглянули мне в лицо с легким сомнением и отвели взгляд...

Где они были эти -адцать лет? Почему я их не видел во все эти бурные годы? А где был я?.. Вот они стоят, неузнаваемые, лысоватые, одутловатые, сороковатые — э-ле-гантные: все-таки раньше других пестовали свой вкус... Легкий душок фарцовки можно, если попристальней, уловить. Во рту еще тает ожог коньячка с лимоном из магазина «Советское шампанское», что за углом. Ах, осторожней, ребята, чего вы только не видели за свой срок!.. Постояли, посмотрели из своего прошлого, чуть более длинным взглядом на Невский, ничем не отличились от толпы, сели в «Волгу» с частным номером и укатили, оставив в моей душе язву о стольких годах чьей-то и моей жизни.

Да, годы прошли даром, мы лучше оделись, это стоит жизни... Господи, недопустимо так унижать людей!

Вот в это-то историческое время, на которое мы намекнули узкими брюками, Лева благополучно оканчивает школу и поступает в Университет к своему отцу. Нет, он не принадлежал к тем, отчаянным, не впадал в смешную крайность — он тоже воспользовался плодами их поражений, постепенно сужая брюки по правой норме, хотя и по предельному допуску. Не смешно и не опасно... мы с уверенностью не скажем, что и когда воспитывает нас. В университете уже, в пору «Юности» (журнала), приучался он распространяться в максимальных (оптимальных), но допустимых (допущенных) пределах: заполнять предоставленный объем.

Но мы долго что-то шьем этот новый костюм, в котором сейчас давно уже все ходим. Наденем его на Леву и пойдем дальше... Ведь даже Левин отец, переносив из перестраховки широкие брюки еще лет пять, был вынужден одеться, как все. Правда, и сейчас в его наряде можно наблюдать некоторую искреннюю задержку, года, скажем, на три, и приверженность к «добротным» материалам: драпу, шевиоту.

Лева сшил себе первый костюм в одна тысяча девятьсот пятьдесят пятом году по английскому журналу на пятьдесят шестой год, и так ему пошел этот костюм, что покорило он первое сердце. Или, вернее, это первое сердце покорило его. Фаина...

Так что, хотя, поступив в университет, Лева вроде бы и приблизился к своей детской мечте о науке, — но тут же ему стало не до этого. Не то чтобы он объявил это благоговение ложным или наивным (Лева еще не был критичен), — просто стало лень. Да и пора уже было начать, если и не понимать, то улавливать, что с этими академическими ермолками все не совсем так, и то, что творец космогонической теории еще и играет в теннис и любит ездить на лоно с этюдником, не доказывает, что теория чего-нибудь стоит... Хотя отец и не просвещал никогда Леву в этом смысле, ни в какие академические закулисы не посвящал: берег не то Леву, не то себя. А то бы Лева все-таки раньше кое-что понял. Но если отец умел хранить от сына опасные для себя тайны своего времени, то их уже не хранило само время. Тут и в Левином доме, при всей сдержанности и осторожности, что-то не то зашевелилось, не то как-то передвинулся воздух, не то сменили занавески, не то лишний раз перемыли посуду и стерли пыль с ваз, разобрали наконец антресоли и снова сложили — какая-то лишняя энергия, дополнительный свет...

(Так в кино потом, много раз, будет, в молчаливом про-светлении, герой подходить к окну и распахивать его одним решительным движением, а оттуда — «журчат ручьи, летят грачи, и даже пень...», но и сам режиссер не будет знать, зачем он это делает каждый раз, как только паралитик опять стал на ноги или, наконец, запустили новую поточную линию по про-екту сценариста... — а потому, что, вот с этого времени, стало м о ж н о распахивать в фильмах окна.)

Время становилось все болтливее, иногда спохватывалось и тогда пугалось и озиралось, но, увидев, что ничего не произо-шло, никто не заметил, не схватил за руку, не поймал на слове, разбалтывалось с новой, непойманной силой. И Левин отец, ученный временем, хоть и не болтал со всеми, — выходил на кухню и слушал некоторое недолгое время, покачиваясь и попыхивая, когда, вернувшись из университета, болтал анекдо-ты его сын Лева... Так он слушал недолго, щурясь лишь из манеры, и, не проявив отношения к сказанному, вдруг резко поворачивался, тоже, впрочем, лишь из манеры, и уходил к себе в кабинет: покуривать табачок, попить чаек и постукивать на машинке. Так что, он не соглашался с этой болтовней и не возражал, а лишь попыхивал и шурился, но это ничего не выражало — это было его манерой.

Время стало собираться в компанию — будто раньше не бывало друзей, гостей, дней рождений. Теперь и повода не искали, чтобы скучиться для удовольствий как бы духовного родства и удивления ближнему: какой он, оказывается, хоро-ший, умный или талантливый, — любили его для себя. Время болтало, и люди всплыли на поверхность его и счастливо болтались в нем, как в теплом море, дождавшись отпуска — умеющие лежать на воде...

Тут и объявляется старик-пьяница, о котором мы помяну-ли вскользь. О нем бы и рассказывать ни к чему, если бы не отразились в нем по-своему все участники. (А вдруг именно он один и был «к чему»?..) Был он когда-то, когда Левы не было, другом дома, любил бабушку и маму — а теперь вернулся. Будучи человеком ясным, ядовитым, ничего не ждущим и свободным, добился он вселения в прежнюю квартиру и снова, как десять лет назад, стал соседом Одоевцевых.

Лева пришел как-то из университета — обе створки дверей в квартиру были распахнуты — и увидел незнакомого старика, который, двигаясь сердито и суховато, руководил выносом

таких с детства знакомых (с которыми у нас отношения...) вещей, как: зеркало, овальное, в оправе из золочено-черных виноградных лоз; настольная лампа, бывшая керосиновая (эмаль и бронза); полочка с двумя резными негритятами-амурами (они же авгуры) и длинная полированная, красного дерева, тумба, на которой в детстве Лева играл блошками в футбол и пуговики особенно замечательно скользили... Старик матерно выругал дворника, неправильно занесшего тумбу в дверь, перепорхнул тумбу, трепетными и злыми руками обозначил, как надо ее выносить, тумбу. Дворник радостно и тупо слушался его.

Тут увидел Лева отца и мать, готовно и радостно суетящихся, почти как дворник. Казалось, они заглядывали старику в рот, и его мат, столь запретный в семействе, ласкал их слух. У них были разглаженные, чистые лица, чуть ли не с той свадебной фотографии, какими, оказывается, обращаются с облегчением лица при первой же возможности любви... Эта, ничем не скрытая, не подавленная, не искаженная отношениями любовь — чистое отражение — поразило Лева в лицах родителей. Эта возможность была молодостью. И много позже понял Лева, что любовь к старику была еще и потому так внезапно доступна и радостна, что, при чистом по форме бескорыстии, могла быть чуть ли не единственным способом любви в семье Одоевцевых, любви именно друг к другу.

«Ну, Лева! Это же дядя Диккенс!» Лева почувствовал жесткую и горячую руку, увидел — белый, фарфоровый манжет, агатовая запонка... «Держи же!..» — и Лева держал в руках овальное зеркало, удобнее уцепляясь за золотую гроздь; на секунду отразился в нем — отражение нахамило ему неуклюжестью и здоровьем, и тут он отличил старика забытым за неупотребимостью словом «изящество»; но если забыто слово или его еще нет, есть немое ощущение, запинка, зацепка взгляду: неназванное — удивительно.

Леве было удивительно в этом старике отсутствие оттапливающего при полной свободе проявления — привлекательность. Привлекательным оказалось все: брезгливость, суховатость, резкость, блатной аристократизм... И этот синий в редкую полоску, болтавшийся на сухом теле, как блуза, отсталый довоенный костюм, который все эти годы будто пролежал в сундуке сложенный в четыре раза, как письмо, и сохранил прежде всего именно эти четыре, накрест, складки, — этот костюм, казалось, войдет в моду лишь в будущем

сезоне: так он был элегантен (Левин английский костюм был сшит для коров и на корову); и вишневые штiblеты с противомодным носиком, потрескавшимся лаком; и рубашка... Боже! не может быть на ком попало белой рубашки — они не будут до конца чистыми, вот в чем дело!.. и булавка в галстукe (и это был не галстук, а галстух) — для Левы в нем сверкнул бриллиант, чистая вода. Лицо... Лева уже влюбился в дядю Диккенса. Он был необыкновенно чист, дядя Диккенс. И не то чтобы он «отмылся»: такое сразу видно, — он был всегда чист, зримое отсутствие любого запаха... что странно, если учесть, откуда он вернулся. Он был необыкновенно худ и смугл; последние серебряные ниточки были столь тщательно разобраны на пробор (впоследствии Лева разглядел у дяди Диккенса особую серебряную щеточку для этого); рот складывался в необыкновенно сатирическую гармошку — зубов дядя Диккенс еще не успел вставить; а глаза — миндальные, широко брошенные, огромные, хотя и монгольские — были, иначе не скажешь, как у коня, храпящего и косящего... К этой громоздкости портрета следует прибавить, что сам дядя Диккенс был высушен и миниатюрен, а маленьким назвать его было нельзя... «Куда прешь, падло!» — крикнул он, тыча кулачок в ребро дворнику, и голос его был русский, как у священника.

Вещи эти, такие для Левы семейные, оказались на самом деле — дяди Диккенса. То есть такова была вся жизнь его, что вещи у него еще бывали, а дома не было...

Дядя Диккенс (Дмитрий Иванович Ювашов), или дядя Митя, прозванный Диккенсом лишь за то, что очень любил его и всю жизнь перечитывал, и еще за что-то, что уже не в словах, — воевал во всех войнах, а в остальное время, за небольшими промежутками, — сидел. В первую мировую, юношей, прапорщиком, был он, значит, царский офицер, в гражданскую — вдруг стал красный командир, демобилизовался позже всех и быстро пошел по административно-научной части, но отбыл в Сибирь незадолго до Левиного рождения, откуда, как кадровый офицер, был отозван на фронт и отвоевал вторую мировую. Демобилизовавшись, не то где-то присмотрел, не то даже вывез из Германии (с него бы стало) эти три мебели, но квартиры все не было — и он дал их «постоять» Одоевцевым, у которых, после возвращения из «эвакуации», ничего, кроме пустой квартиры и как-то выжившей в ней бабушки, еще не было. Как-то раз он разумился, расщедрился и подарил их Одоевцевым — но тут получил

квартиру. Тогда он сказал, чтобы Одоевцевы, к тому времени уже кое-чем обзаведшиеся, дали ему «временно» постоять его подарки, — но тут за ним пришли, в пустую и необжитую еще квартирку, и он вернулся туда, где провел предвоенные годы.

Теперь, по окончательном возвращении, дядя Митя и не поминал о том, что дарил эти мебели когда-то. Все эти годы помнил он про то, что так и не успел обставить квартирку, и первое, что сказал после разлуки Одоевцевым, был перечень имущества, данного им на временное хранение. Там оказался еще чемодан с подтяжками и туалетными принадлежностями, как то: бритва «Жиллетт», набор щеток для волос, — и несколько репродукций, вырезанных из старых журналов. Перечислив и выматерив матушку за то, что она гладила на его тумбе, чем повредила безупречность поверхности, — он все это свое имущество забрал и перенес этажом выше.

Мама, право, была счастлива от рассказов о том, как дядя Митя, на самом-то деле, забрал дареные вещи... Но скупость дяди Мити, даже жадность, которая имела и еще мелкие поводы проявляться, — и они были для Одоевцевых самыми милыми чертами на свете. Да и сам дядя Митя, ядовито складывая беззубый рот, любил подчеркнуть, что да, скуп, что как сын казанского трактирщика... и тут он приписывал себе знаменитый анекдот про ши и таракана, что это будто бы с его отцом было... — он быстро хмелел, налитый брагой жизни по уши, про кабатчика он преувеличивал... А Лева все удивлялся, что у дяди Мити и недостатки были чертою и их можно было любить.

Личность.

Воздух в их квартире еще передвинулся, будто бы одну, заваленную, комнатку, про которую всегда помнили, но забыли, — разгребли, свезли дырявые венские стулья на дачу, и там им так подошло стоять на участке под дождем, а здесь вымыли окошко, и оно оказалось на другую сторону — прямо в сад... Вечерами приходил дядя Митя со своим графинчиком (вензель «Н» с палочкой внизу), и все сходились на кухне. Такого Лева и не помнил, чтобы они когда-нибудь были вместе, хотя было их всего трое... Даже отец, и будто охотно, покидал свой кабинет, темный плацдарм шагов, и выслушивал острую и пустую болтовню дяди Мити с видимым удовольствием. Будто всю жизнь таил он в своем кабинете, слушая свои шаги, секретную праздность, и так истосковался там. При дяде Мите отец почти перестал шуриться... Мама смотрела на дядю Митю с улыбочатой любовью, и, когда отводила взгляд, через

сахарницу или ложечку, на отца или Леву — еще не успевала изменить выражение, и свет этот проливался и на них, и все они, переводя взгляды с дяди Мити кратко друг на друга, не успевали отменить свой взгляд и счастливели от этих полувыражений полутепла взглядов на полпути и, не понимая, не узнавая этого счастья, подмигивали друг другу с любовью, мол, какой хороший человек дядя Митя... Левин дом отгаивал, и будто это именно бездомный дядя Митя создал им дом. Дяде Мите позволялось многое, больше, чем кому бы то ни было, и больше, чем себе. Зачем-то нам это надо — позволить другому все о себе...

Однажды, когда дядя Митя что-то очень удачно и точно сказал, а мама рассмеялась так счастливо, а отец — так неестественно, а сам Лева был так несчастен (от ревности, все та же Фаина), — и подумал он, взглянув на отца с неприязнью, что, на самом деле, отец его — дядя Митя.

У мамы оказалась «молодая» карточка дяди Мити, довоенная, с любовной надписью — красавец, эlegant, благородный сердцеед... Лева постоял с фотографией перед зеркалом, поделал лицо и — совсем убедился. Дядя Митя был и старше-то отца всего лет на десять, а что без зубов — то немудрено, рассуждал Лева, будто вступал в неравный брак. И правда, своей худобой, поджаренностью и поджаростью, а главное, прозрачностью своей злости был дядя Митя моложе выкормленного, все избежавшего отца. Примерил отчество: Лев Дмитриевич, — не хуже Николаевича...

И не то чтобы дядя Митя что-нибудь особенное говорил. Был он хорош, пьянея, все большей определенностью и трезвостью к миру. «Говно», — вот был итог, но чуть ли не светлело от этих дядимитиных итогов, потому что сомнений каждый раз не возникало: он был точен и прав. Как всякий незаурядный алкоголик, обладал он особым юмором жеста, ухмылки, хмыканья — все это вполне заменяло речь и всегда было умно. Будто перебирал он и то и это в ответ, и мы были свидетелями его мысли, знали, что он хочет сказать, а потом — не говорил ни того, ни этого, потому что ни то, ни другое, ни третье того не стоило — вовремя хмыкал, и все смеялись счастливым смехом взаимопонимания.

Лева раз при нем заикнулся, что зря пошел по стопам отца, вздохнул о «чистой» ботанике... Дядя Митя развеял эти остатки Левиного «академического» благоговения, потому что это было тоже «говно». Оказалось, дядя Митя после войны определился как раз в такой институт и потому точно знал,

что «этот твой» Ботанический институт — говно, банка с пауками: чем тише и эстетичней на верхний взгляд, тем, можешь быть уверен, внутри, в тишинке да в глубинке, такая грызня, такая паучья возня... оттуда-то и потопал он, дядя Митя, по этапу. «Я — хозяйственник. Ну, какое мне дело до Менделя и Моргана?! А директор, падло этакое, думал, что я с ним не здороваюсь, потому что осуждаю его за травлю морганистов — и упек. А я просто не привык сволочам руку подавать. При чем тут Мендель — когда у него по роже видно, что — сволочь!.. Вот и возвел на меня напраслину, говно!» И от того, что и этот институт, и его директор, и бедный Мендель, который уж ни при чем, и даже погода стала говно, становилось Леве свободно и весело, не знаю, как даже объяснить такой эффект.

ОТДЕЛЬНО О ДИККЕНСЕ

Бессемейный дядя Диккенс потому еще мог быть так легко необходим семейным Одоевцевым, что у него был-таки, у одного, а свой дом...

Леве нравилось у дяди Диккенса. Нравилось, когда, усадив его на «козетку», сунув ему какую-нибудь «порнографию» для разглядывания, выходил дядя Диккенс на кухню заваривать чай-чифирок, и Лева оставался один. Это была комнатка, созданная для того, чтобы в детстве забираться в нее, тайком, через запрет. Именно как непозволенная в детстве книжка была квартирка дяди Диккенса.

Она и вся была забавна, выделенная из большой квартиры в отдельную («поделенная»), — так она была мала, так немного ей досталось от дележа так называемой «общей» площади (не входящей в ордер), и так в ней все было из того, что никак не могло поместиться, но было необходимо холостому джентльмену, каким и был дядя Диккенс. Так в ней все было и так не могло поместиться, что все как бы переехало, вытеснив друг друга: на месте ванной получилась кухонька, вместо «сортира» («туалет» — более неприличное слово, чем «сортир», — говаривал дядя Диккенс) — душ: оставшемуся последним унитазу — деться было некуда, и он встал в передней, под вешалкой (неизвестно, как дядя Диккенс уговорил техника-смотрителя, но он умел разговаривать с ними, его воле подчинялись с охотой). Так что, первое, что мы видели, входя, был унитаз, впрочем, необыкновенной белизны и изящества — та же, излюбленная дядей Диккенсом, линия «либерти» наблюдалась в его томных утренних изгибах. Кто сживал на нем? — дядя Диккенс уверял, что «особы», а теперь он сам, по собственным словам, сживал, завесившись старой, избитой молью, барской шубой, доставшейся ему тоже по какому-то случаю — но мы никогда не заставляли его за этим занятием. Казалось, он вообще не отправлял никаких нужд: не спал, не ел, не что-нибудь еще. Он доходил в этом до крайности. «Не плюйся, когда чистишь зубы!» — наставлял однажды Леву. Сам он только пил и мылся. «Дядя Митя — чистолобив», — шутила мама.

Да и все у старого алкоголика отличалось невероятной чистотой осознанного эгоизма: пол был выскоблен по-деревенски, и дома дядя Диккенс хаживал часто босой. И когда Лева выразил однажды восхищение этой безупречностью, тот характерно поморщился и сказал: «Ты просто не знаешь, что такое просыпаться по утрам...» И действительно, стоило застать хоть раз дядю Диккенса в первой половине дня, в седой шетине, расхаживающего босо по тесной своей квартирке, в белоснежных кальсонах и накинутом на плечи оренбургском пуховом платке, без конца пьющего чаек (он никогда не похмелялся и до вечера, до «восемнадцати ноль-ноль», не пил) и без конца принюхивающегося: «А не кажется ли тебе, что здесь чем-то воняет?» — первое, что ты слышал, входя, — можно было бы и понять, что была для дяди Диккенса его чистота, хотя об окопах и бараках он никогда не говорил. Но вот уж чего он опасался зря — вони у него никогда не было. Это был своего рода эталон отсутствия вони. Лева был вынужден принюхиваться только к себе.

Все было у дяди Диккенса — даже «камин» был. Собственно, не камин, а «буржуйка», очень, правда, ладная и толковая, которую он возил за собой чуть ли не всю последнюю войну. Потому что единственно, чего не мог привести дядя Диккенс в порядок и соответствие, были его сосуды. Ему постоянно не хватало воздуха, и он страшился вони — поэтому окна были настежь; и он всегда неправдоподобно дрогнул и зяб («Зяблик, — говорила мама, — дядя Диккенс — зяблик»), — поэтому гудел его «камин». По дому он ходил то босой, то в валенках. Помирить свои сосуды со средою он уже не мог никогда.

Так его и можно было застать по утрам в кабинете: босого, при открытом окне, в оренбургской пуховой шали и кальсонах, спиной к пылающему «камину», в руках отворенный том — толкового словаря Даля, или «Холодный дом», или «Война и мир», — и так он был хорош, так можно было его любить (он так этого не требовал), что Леве всегда по-детски казалось, что он читает другую «Войну и мир», чем все люди, не в том смысле, что по-своему ее прочитывает, а что действительно у него другая книга под названием «Война и мир», с другой тоже Наташей, другим Болконским, тоже Толстым, но другого Толстого... И это правда: не могла она быть той же самой.

Вообще все, связанное с дядей Митей, претерпевало для Левы неожиданное обновление... Даже то, что принадлежало всем людям, например история, — стоило подставить в нее дядю Митю — приобретало необыкновенный оптический эффект:

Лева начинал это видеть, будто это и действительно было. Будто вокруг дяди Мити не тускнело — был он как серебро, опущенное в воду времени, — особую пользу такой воды, помнится, пропагандировала бабушка... Лева начинал это видеть, будто ни разу классных сочинений не писал, кинокартин не смотрел, будто на уроках историю не проходили... И нельзя сказать, чтобы дядя Митя много рассказывал — ничего он не рассказывал (не из осторожности, а потому что стало «можно»), — но странное дело, стоило дяде Мите употребить слово «гражданская», или «отечественная», или «Кресты» — так это уже была действительно «гражданская», «отечественная», «Кресты». — и будто сам Лева там дядю Митю видел. Дядя Митя. очерк души, прямо скажем, несчастый, создавал рядом с собою факт простым словоупотреблением. И Лева заглатывал слюну, ощущая во рту металлический вкус подлинности: было, было, однако, все это было. Будто сам дядя Митя своей редкостью и небывалостью, своим исключительным (в смысле исключения) примером подчеркивал значительно большую реальность и возможность даже самых удаленных, даже самых невозможных вещей — потому что все можно было себе представить легче, чем самого дядю Митю, а он — вот он, перед глазами. Вот что: не было в дяде Мите как бы памяти о преодолении, мелкого мусора уколов, изнеможаний, остервенений, а оставался лишь результат, свершение — и думать больше не надо: было, сделалось, ушло. Дул ветер в революционных подворотнях, сдувал гребешки с барханов, кони рыли копытом и ржали, дядя Митя поднимал воротник, пуля проходила навывлет, жизнь прошла... Нет слаше банальности, чем та, что тебе принадлежит, нет более великого человека, чем тот, что предложит нам поверить в то, во что мы уже не верим, но, оказывается, так хотим... Потому что полюбить на Земле... Господи, — который раз! — но снова и снова кому-то удается... те же слова, но в том, в том самом смысле сказать...

Другая была в руках у дяди Мити «Война и мир» — та самая.

К трем часам он начинал оживать — бриться, мыться, душиться, повязывать галстук. Отраднo было смотреть — некому было видеть. Лева раз удостоился присутствовать при туалете дяди Диккенса — и забыть этого не мог: у зрелища была своя отточенность и ритуальная красота, хотя вот уж и фетишистом дядя Диккенс не был. Туалет его был повестью о природе вещей, и, казалось, он имел дело с самым понятием каждой вещи, а не с материальной ее формой. Когда он надевал рубашку, то он

как бы понимал рубашку, повязывал галстук — это было то, как он понимает галстук. К пяти часам он бывал уже совсем готов. К 17.30 подходил (пешком, он не признавал городского транспорта, а на такси экономил) к гостинице «Европейская». Со всеми здороваясь (его — «знали»), поднимался он на «крышу» и поспевал к самому вечернему открытию (после дневного перерыва) — попадал в пустой зал, на только что постеленные, голубые от белизны скатерти, на незаморенных и не расхамившихся официантов, на дневной свет, ровно лившийся через застекленную крышу. Здесь он обедал и выпивал свою первую водку. Допивал он у Одоевцевых.

Жизнь его была всем понятна. Жил он на скромные, в общем, средства — «рантье реабилитанса», — говаривал про себя. И жил, принципиально не нуждаясь. Ни в чем и ни в ком. «Нужда и говно — синонимы», — говорил он.

Итак, сердцем этой смешной квартирки был кабинет — не в том тяжком, производственном смысле, как у отца, а в затерянном и теперь небывалом: кабинет, где мужчина, джентльмен, бывает один, пишет письмо, листает роман, просто лежит, — и Лева любил оставаться там на минуту один, на козетке, созданной для неудобства сидения, перелистывать монографию, допустим, о Бердлее, сладкую и маленькую, как детский грех, но рассматривать — запретную комнатку, пропущенную в детстве. И те книги, которые он брал и возвращал дяде Диккенсу (что и служило поводом посещений), — тоже были восполнением детства: «Афродита», «Атлантида», «Зеленая шляпа», — когда же их было и читать, как не под одеялом с карманным фонариком?..

Он правильно отобрал у нас свои вещи, так думал Лева, с трудом отличая в овальном зеркале свое стынущее изображение вдалеке, словно там был отражен прежний, маленький Лева. Лаково блеснула низкая и длинная тумба, над ней, на розовой, в широкую белую полосу стенке (обои из какой-то пьесы), — две картинки Пюви де Шаванна («пьюидешаан» — такое детское одно-слово), любимого художника дяди Диккенса — их можно рассматривать долго и тупо, как трещины и обои с кровати, во время ангинных каникул... Ближе к окну — маленький кабинетный рояль, на котором наигрывал дядя Диккенс попури из грибоедовских вальсов. («У дяди Мити абсолютный слух», — говаривала мама.) В дальнем углу был уже затененный хлам: треногая витая сто-

эчка под таз, с тазом и криво торчавшим над ним зеркальцем; за ней, в самом углу, прислонена была раскладушка, сложная, как сороконожка, которую (как и таз) возил за собой дядя Диккенс, начиная с первой мировой, и на которой спал по сей день. Как справлялся с ней дядя Диккенс в одиночку, Лева не понимал, потому что, если присутствовал при этом, обязательно приходилось помогать: поддерживать, удерживать, натягивать, — и это у них и вдвоем еле получалось. «Не так, дура!» — кипятился дядя Диккенс, причем относилось это не к раскладушке, а к Лева. То, что она все-таки раскладывалась, было каким-то детским чудом: когда из охапки палок вдруг растягивалось гармошкой многоногое, ажурное, как арочный мост, трепетное и шаткое, как костер, сооружение, а на него натягивался, на палках и крючочках, некий киплингский брезент, состоящий из заплат, над старательностью которых расплакалась бы любая вдова.

Даже перечислить немногие, в общем, вещи, стоявшие по одной из стен кабинета, то есть напротив Левы, сидящего на козетке, представляется сложным из-за возможности легкого и помимовольного погружения в каждый из немногих предметов — все это были «вещи, принадлежавшие одному человеку» (неизвестно, какое из четырех слов выделить вразрядку: все — с ударением), именно: дяде Диккенсу (Дмитрию Ивановичу Ювашову). У старика был вкус. Не в том, теперь распространившемся, смысле, что лучше, чем у других, или не хуже, чем «у людей», или чтобы не быть смешным или отсталым; не тот современный прослоечный вкус, который стремится выбиться в вышестоящую официальную группу, в то же время, не выделяясь, растворяясь и сливаясь с достигнутым уровнем, — у него был свой, его вкус, в чем-то высокий, в чем-то низкопробный, декадентский (пристрастие к «либерти») и не стыдящийся самого себя, уважающий себя, — то есть не рабский, не снобистский... Вещи, окружавшие его, нравились ему — это и было основным условием его вкуса. И стояли-то они так: со вкусом и как попало, — не было приговоренности вещей к их местам. Словно вносили их по одной... дядя Диккенс говорил: сюда, нет, сюда ставьте, а эту — вот здесь, не так, говно! боком, падло! а эта рухлядь откуда? моя?.. пусть будет. Шкаф, что ли, переставить на место роаяля?.. может, так лучше?.. А, ладно, стойте так! — и уходил перемывать руки, возвращался, брезгливо ими потряхивая, и уже находил полотенце, висящее на треноге над бездействующим по случаю мирного времени тазом...

(Вспомним того городского сумасшедшего, которого поминали выше: остановившегося на своей «золотой поре» Невского, образца пятьдесят третьего-четвертого года, и, с завидной верностью, сохранявшего этот облик в шестидесятые... Вот вам и контраст, вот и сопоставление! Дядя Митя тоже будто привержен ушедшему времени, золотой поре... И времени много больше с тех пор прошло... Но — какая разница!

«...Где же лампа? Лампа где?» — заторможенно думал Лева и находил ее слева за своим плечом, — конечно, рядом с «камином»... смотрел тогда на дверь: пора было возвращаться дяде Диккенсу, — и тот входил, неся маленький прокаленный никелевый чайничек с чифирем.

ОТЕЦ

(продолжение)

...И так каждый вечер. Дядя Митя допивал и уносил с собой пустой графинчик, который весь уже пожелтел, потому что водка, «Митинка», настаивалась на чаю... Уходил дядя Митя совсем пьяненький, покачиваясь и каким-то образом сохраняя изящество. Отец с мамой еще немного говорили о том, какое «ужасное» было время (настолько расшатал отца дядя Митя...), как пострадал старик ни за что, такой благородный человек... так говорили они, пока остывали взгляды, брошенные вслед дяде Мите, таяла их теплота... и что «справедливость все-таки торжествует», говорили они, совсем остыв. Вдруг озабоченно звали и расходились спать.

«Справедливость» торжествовала дальше — дядя Митя был первая ласточка — в семье позволили себе вспомнить о деде. Все эти годы дед был жив! — это потрясло Леву. Отреагировал он по-детски: вспылал, накричал, надерзил... Как смели скрыть! Как ловко, как длинно скрыли... — головокружительно воображать. Чтобы ему было легче в школе, чтобы не сболтнул лишнее... Лева обиделся за свою детскую слабость к старикам, когда не мог он равнодушно пройти мимо седой бороды (нишим старикам просил подать копеечку, старухам — нет), что означало, по-видимому, что в детской душе для всех есть место: бабушка еще была, дождалась внука, года три жила после войны с ними, а дедушки не было и незаметно не хватало Леве для полного комплекта, чтобы все было. Для этого детям, чуть больше, чем животным, чем где спать и что есть, надо, чтобы все были, — всего лишь. И теперь, узнав про деда, Лева обиделся за детство. Не говоря, что это какая-то абсолютная величина внезапной смерти, весть, ей равная — узнать, что мертвый всегда человек — жив. Дурной сон.

Абсолютная величина такая же, но знак противоположный у такой вести... Отец, растерявшись и смутившись Левиного взрыва, признал, что — нехорошо, но он, Лева, тоже должен понять и т. д., и, кроме того (отец потупился), он и сам не знал, жив ли отец, потому что на письмо о смерти бабушки ответа не

получил... Лева, про себя, наверно, хотел поверить отцу и про то, что о смерти, так или иначе, у нас всегда извещают, не сообразил — поверил, и, с этого момента, его уже более занимало, что дед — жив, чем его оскорбительное воскресение.

И действительно, это — существеннее. Лева исподволь учился относиться еще к одному человеку в своей жизни, как к живому, как к родному. Была в этом тайная игра, так что при мысли о деде, в удаленных и заваленных всяким хламом: тетрадиками, пыльными глобусами, лыжными палками, — уголках сознания проявлялась вскользь невыразимая, к деду, естественно, никакого отношения не имевшая, картинка из военного деревенского детства: сарайчик, бревнышко, курочка — дальше луг; или — речка в лесу, в петле речной излучины заливная трава, на траве утопленник, спокойный человек... Такая картинка возникала сразу же, при слове «дед», и Лева ее прогонял, как пустяковую и напрасную, а дальше уже рассуждал про деда л о г и ч е с к и . «вычислял» его.

Доставалась из маминых тайников фотография деда — подозрительно много, целые шкатулки, оказалось в доме фотографий за последнее время! была-то всего одна свадебная... — на Леву смотрел дед — узкое, такое невысказанно красивое, что казалось злым, лицо — вот кто был! вот кто, оказывается, б ы л ... Дед смотрел в упор и не мигая, и будто именно во взгляде ввалились гладкие щеки, именно взгляду был присущ этот тонкий совершенный нос; глазницы, брови — кариатиды высокого и узкого, устремленного вверх лба (оттуда взгляд, из-за колонн...), темная борода, усы, баки (там, где взгляду формировать было нечего), — все это чернело, сливаясь с почти черным же фоном, все это было: о т к у д а лицо-взгляд смотрело на Леву. И дед был молод — все они были молоды, эти фотографии... Куда делись все эти дивные лица? Их больше физически не было в природе, Лева ни разу не встречал, ни на улицах, ни даже у себя дома... Куда сунули свои лица родители? За какой шкаф, под какой матрац? Лица подевались в разрозненные шкатулки, рассматривая своими удивленными глазами, еще не мертвыми перед объективом, кудрявое имя владельца ателье, где был сделан портрет верхней кухни... их укладывали, однако, вверх лицом, как в гроб — братская могилка лиц, на которых еще не читался вызов, но которые уязвляли нас безусловным отличием от нас и неоспоримой принадлежностью человеку. Где-то он все-таки видел это лицо... Как во сне, встреченное во сне, не в природе... Вдруг понял: в Эрмитаже, на полотне чьем-то, пятьсот лет прошло... Страшно.

Теперь, рисуя себе деда, он подставлял, примерял на его место дядю Митю. И стало легче. Другого образца ведь не было.

Как-то вечером возбужденно обсуждалось, что в «Трудах» одного провинциального университета, в некоей статье был упомянут положительно дед. Он был незаметно «проташен» в перечислении и в каком-то толстом журнале. Из небытия выплывало имя деда.

Получалось, пока на кухне, что имя это незаслуженно и несправедливо забыто, что дед — творец новой отрасли в науке и родоначальник целой научной школы. То, что он делал, лишь через десять лет было подхвачено на Западе, а теперь мы находились в тылу у собственного приоритета... Отец кипятился, странно смелея и бледнея, отнимал у дяди Мити рюмочку. Ожидание росло.

И разрешилось. Странно опустели в памяти все разговоры: кто-то выпустил деда, не они. Они оказались тоже у себя в тылу... Отец выехал встречать деда в Москву.

Вернулся он на следующий день, один, бледный и растерянный, трясушийся какой-то. Заперся в кабинете. Потом впустил мать. Они долго шептались о чем-то, очень громко. И отец все шагал и шагал, чаще делая повороты, будто кабинет стал короче, теснее.

Лева и без них уловил в общих чертах, что произошло. Мог он теперь молча оборачиваться, чувствуя свое лицо бледно и длинно. Потрясающе в такой момент отсутствовала в его голове мысль, чтобы потом залихорадить наедине. Лева гордо чувствовал в своем — лицо деда.

Отец резко сник и постарел. Возвращался домой усталым, потерянным, прятался в кабинет. Квартира сжалась и потемнела, в коридоре стало не разойтись. От Левы скрывали, робко пользуясь его молчаливым милостивым разрешением скрывать, делали вид, что ничего не происходит, но так неумело и неуверенно, что ему лишь бросалось в глаза, как они сдали, его старики, более того: как они отстали. Это он обнаружил с внезапностью. Хотя, в чем отстали, Леве было трудно себе сказать. В форме, наверно. У них были уже устаревшие представления о правде, чести и лжи, и они все время пытались скрыть то, чего никто уже не скрывает, чем себя и выдавали. Остальное-то — было наружу. Было много наивного и трогательного в этих старых предателях...

Дядя Митя бывал все реже, у Одоевцевых перестало быть уютно, и атмосфера любви, в которой он привык купаться, пропала. Пруд высох. А дядя Митя любил удобства и привык

к привычкам. А без этого, без этой своей пайки любви у Одоевцевых — отдай и не грехи, — могло и надоест дяде Мите быть за всех: и за секретного Левиного отца, и за бескорыстного обожателя матери, и за Левиного деда (как модель), и за отца — отцу (и это было отчасти, что Лева понял потом, позднее...) — и дядя Митя перестал у них бывать.

А Лева и без них разобрался. Без них... — проглотив комочек детских слез. Точно так же оказались они у себя в тылу и севой... К Лева повернулась жизнь, он впервые предстал перед нею. Ее лицом оказался шепот, тень, налет, рябь... Пройти навстречу в узком коридоре, разминуться спинами по стенкам, справиться при этом с неизбежным взглядом, уронить и поднять свой — это жизнь?.. Шепот за спиной, оборачивание вслед — попробуй обернись сам: нет ничего, никого. Фронт людей, коридорные шеренги, которым нет до тебя дела, но они знают про тебя — и значит, тебя нет больше, ты убит, как в детской войне зеленых и синих... Это означает, что ты убит, если при тебе знаят. Открыть, что ты существуешь и в третьем лице, для других, в другом времени и пространстве, где тебя уже нет, где тебя не будет — и вынести потрясение, жить дальше, с ними. приняв игру, примкнув ждать следующего... Лева прошел сквозь строй.

Это — фактически, а метафорически было вот что. По неловкому поведению родителей, по тому, что при нем несколько раз обмолвились словно случайно, выдавая себя внезапным в Левину сторону взглядом, люди и вовсе малознакомые, получалось, что в драме с дедом определенную и неблагоприятную роль сыграл его сын, Левин отец: в юности — отказавшись от него, а через двадцать лет, заработав себе его кафедру критикой его школы, — так что кафедра была еще «тепленькая». Это словечко и услышал краем уха Лева: какая же тепленькая, если двадцать лет остывала?.. что дед, — шептало вокруг, — почти тридцать лет... что видеть сына не захотел, или даже руки не подал, или даже плюнул и ногой растер, при народе... — приходилось сглатывать.

Все изменилось... Оглянешься — и месяца не прошло. Все взгляды и разговоры стали казаться исполненными намеков и холодненького любопытства, словно от него чего-то ждали.

И Лева однажды, впервые без стука, распахнул дверь в кабинет отца с тем, чтобы выяснить раз и навсегда, в чем же, собственно, и как на самом деле было дело.

Лева выслушал путаную и невнятную, опять какую-то трясушую речь отца, полную расслабленных напутствий не

придавать значения и не понимать буквально, впрочем, он, Лева, уже взрослый человек, и объяснять ему все это, конечно, незачем, он сам, со временем, все поймет и разберется... Основное обвинение отец решительно отверг, но то, что он не сгрел Леву за шиворот и не вышвырнул тут же из кабинета, само по себе, было очень примечательно. Лева навсегда запомнил длинное рукопожатие отца на пороге все того же, что и в детстве, кабинета, такого же полутемного, в нем по-прежнему хотелось говорить шепотом... Отец долго сжимал Левину узкую и прохладную руку своими горячими и сухими и говорил что-то, чего Лева уже и не слышал, отчужденно наблюдая за движением его губ. Отец заслонял своей головой настольную лампу, свет бил ему в затылок, его легкие волосы светились и будто шевелились от невидимого сквозняка, и Лева, рассматривая этот мученический ореол, вдруг сравнил отца с одуванчиком и потому еще, что ему передалось дрожание отцовского рукопожатия, подумал, что одуванчик разлетится, если дунуть на него. И это было, в третий раз, что Лева запомнил отца... Теперь уже навсегда.

Сильное и жаркое рукопожатие отца вдруг показалось ему слабым и холодным и распалось от этого. Чувство шемящей жалости, зародившись, так и не проявилось в Левае, а гораздо сильнее почувствовал он в этот момент некое неясное торжество над отцом и тут, на пороге того самого кабинета, у дверей которого он с детства переходил на шепот, сказал неожиданно громко: «Хорошо, отец». Голос его прорезал всю эту уютную тишину и темноту и показался самому Левае неприятным. Повернувшись резко, он перешагнул порог, отец как-то неловко покачнулся и забежал вперед как бы для того, чтобы затворить за Леваей дверь, тень отца метнулась Левае под ноги, и Левае показалось, что он перешагнул отца.

В тот памятный день Лева вошел к дяде Мите с отчаянием некой последней надежды. Ведь мы идем за помощью, делая вид перед собой, что уже не верим даже в возможность ее, а — просто так идем и приходим именно туда, где можем еще ее ждать, приходим с протянутой, как нищие, рукой — получаем рукопожатие, нам подают руку... Это, такое естественное (форма приветствия!), рукопожатие — «Всего лишь!..» — с порога разочаровывает нас. «И он... — горько думаем мы. — И он тоже...»

Так и Лева. Чего-то он ждал, хотя вот уж «дядя Диккенс» тем и хорош, что все, что от него можно ждать, заранее известно,

он будто первым делом предупредил: то-то, то-то и то-то, — и больше, как он говорил, «фсе». Но Лева разбежался... Ему казалось что-то из театра, что-то по системе Станиславского... Будто он — такой измученный, с ввалившимися щеками, такой все вынесший и смолчавший, а они — двое таких все переживших, никогда не просившие ни у кого помощи... И вот дядя Митя, никогда не проявлявший чувств, потому что все несерьезно у всех, понял, что у Левы это настоящее, протянул руку, мудрое слово (его-то, одно, и мог бы сказать «дядя Диккенс»), скупую мужскую... тьфу! Потом, с наворачиванием слезы, вместе с ее симпатичным пощипыванием, выплывало и то, что дядя Митя, в действительности, отец Левы... тогда начинался такой сумбур, такой апофеоз, такое адажио, что и МХАТу не под силу.

Дядя Митя, действительно, только увидел в дверях Леву, что-то понял, тонкий человек. Он как будто даже не хотел его пускать. Потом пустил, потому что ничего, наверно, не мог придумать — как не пустить. «Только я скоро ухожу», — сказал он по инерции какой-то предыдущей, пропущенной фразы и, наверно, возненавидел себя и за эту, сказанную, потому что поспешно отвернулся, перетоптался, кинулся вперед него в комнату. Кроме первого, быстрого и сразу испуганного взгляда в дверях, больше не удалось Лева ни разу поймать его взгляд. Дядя Митя очень нервничал, это было видно, и Лева никогда не видел его таким. Взгляд его метался рассеянно и скользко и все время как-то умудрялся обогнуть Леву, не попасть в глаза, и Лева показалось, что взгляд этот оставляет как бы выющийся по комнате след, цвета белка, резиновый жгут. Никуда, конечно, дядя Митя не мог и не собирался уходить: был он в своем утреннем разобранном виде и, по техническим причинам, мог собрать свои скрипучие части, самое скорое, через два часа, — но он и не думал собираться. Тем более, гудел «камин» и на козетке был брошен отворенный том Даля — ежедневного чтения дяди Диккенса (он любил повосхищаться краткостью, «толковостью» толкований «этого шведа»). Поймав Левин взгляд, дядя Митя еще смутился, суетнулся к Далю, попробовал обычную их игру... «Скажи, только как можно короче и точнее, что такое лорнет?» — «Ну, — вяло откликнулся Лева, — это что-то среднее между биноклем и очками, их подносили к глазам в театре и на балу...» — «Это — коротко?! — разозлился дядя Митя и заглянул в Даля. — «Очки с ручкой» — вот и фсе!» Он сердито пробежался по комнате, и, то ли ему показалось, что Лева намерен открыть рот, — но он, судорожно, ухватившись за что попало, начал говорить, быстровато и перебиваясь,

теряя нить, что тоже было не в его манере. Короче, он не знал, как себя вести, что было, казалось, немыслимо в отношении дяди Диккенса. по крайней мере в глазах Левы, для которого тот был именно само поведение, его эталон. Он мог бы хотя бы сказать Леве в той единственной, подходящей к случаю интонации, чем он так владел: «Ты говно, Лева» — или: «Так он же говно!» (про отца). — и тем успокоить смятенную душу. Но он и этого не говорил, а начал ругать кого-то (Лева не понял, кого), причем так настойчиво, тупо и грязно, что Леве стало не по себе, чуть ли не стыдно, чуть ли не захотелось защищать «сго», такого уж беззащитного, от дяди Мити. Но и дяде Мите, по-видимому, делалось все противней и невыносимей от самого себя — он не выдержал, сказал наконец долгожданное: «Все — говно!» — но и тут сфальшивил и убежал варить чай и пропал, казалось, навсегда.

Лева равнодушно обвел глазами всегда милый его сердцу кабинет — ничто на этот раз не умилило его. Он посмотрел на все скучно, как на читанную в детстве книгу. Сам показался себе одиноким и старым. Как-то вдруг подумал, что дядя Митя никем «большим», кроме как для него, Левы, за всю жизнь и не был. При всех его исключительных качествах... «Очки с ручкой...» Дя-дя Диккенс... прозвище вдруг показалось Леве очень точным, еще что-то выражающим, кроме того, что он за ним подозревал. Вот именно, не Диккенс, а дядя... тут Лева забыл, о чем это он. Потому что внезапно вспомнил первый испуганный взгляд, которым встретил его дядя Митя. И тут отчетливо, как с ним не бывало еще в жизни никогда, ни с кем, представил себе его отдельное от себя существование. Это было поразительное ощущение — дядя Митя стоял перед ним в дверях, старый, несчастный, уничтоженный человек, тративший в день до капли свои силы, чтобы больше никогда не быть униженным, вернее, никогда не быть униженным зримо для других, ни разу не быть зависимым и жалким... достоинство, тоска по достоинству была последней страстью дяди Мити, последней возможностью его жизни, и у него едва хватало сил на соблюдение хотя бы видимости его. Для этого необходимо было ему не нуждаться ни в ком, с тем чтобы и в нем не нуждался никто, потому что от малейшей зависимости, от малейших обязательств любви, он бы сразу пошел на дно, как тяжелое, почти уже мореное бревно; он бы не выдержал и малейшей нагрузки чувств: взорвался, рассыпался, разлетелся вдребезги, — сухие, острые, мелкие дребезги, из которых с трудом состоял... Не совсем так, не совсем в сло-

вах, но очень полно, как-то в слитом объеме, ощутил это Лева, будто он уже не был Левой, а был самим дядей Митей, — такую тоску, страх и растерянность ощутил он в себе, разглядывая это вставшее в памяти изображение, будто именно сейчас видел он его впервые, а не полчаса назад. Боже, подумал Лева, какой же страшной жизнью он живет! И это он, Лева, приходил к нему за любовью, мудростью, жалостью... Да как он посмел, сытое, толстое, здоровенное, молодое и тупое ничтожество?! Лева переходил в крайность: эгоизм дяди Мити показался ему благороден. По крайней мере, насколько это лучше и чище вот такого неприличного душевного расплывания, которому предавался только что Лева... В такой оценке Лева отчасти был прав. Да разве можно подвергать другого человека такой опасности не мочь, не выдержать, не справиться с тем, что на него наваливают?... Мало и так я на него взвалил?... дядю Диккенса, отца, деда — всех их исполнил один дядя Митя... Лева представил себе, войдя в образ, как тошно и унизительно было дяде Мите от самого себя, когда он сейчас врал, что спешит (впервые! — как же он перепугался, бедняга...), когда он избегал Левиного взгляда и лепетал что-то... Не бойся, дядя Митя, я не стану этого делать, не стану я переваливать свой груз на твои слабенькие, дохленькие плечи, не стану подвергать я тебя опасности унижения от собственного бессилия и неспособности с достоинством справиться с происходящим... я поберегу тебя...

Почти так говорил себе Лева, уже, к сожалению, отчасти перекашиваясь и умиляясь самим собою. И то, надо отдать ему должное, ни разу в жизни он еще не был так тонок, точен, чуток — так умен. В какую-то секунду Лева был истинно зрелый человек, с тем, чтобы забыть вскоре об этом на долгие годы, почти навсегда. Возможно, это было прозрение феноменального для Левы толка, опережающее опыт и потому ничему его не обучившее, хотя странно...

Потупляясь, с опаской вошел дядя Митя — Лева был прав. И, убедившись в этом, Лева жестоко встал и сказал: «До свидания, мне пора», — и именно в этот момент довольства своим умом и удовлетворения поступком, наверно, и был от него отнят почти навсегда опыт недавнего прозрения, как преждевременный, как незаслуженный. Он уже получил награду свою...

Дядя Митя поднял на него широко, с каким-то внутрь себя светом удивления, глаза, посмотрел так секунду и ничего не сказал. Проводил до двери.

«Да и какой же он мне отец... Где ж ему быть и за отца, и за сына, и за святого духа? — криво усмехаясь собственной недавней глупости, как сам себе старшекласник, говорил Лева. — Именно та кой и должен быть мой отец, какой есть, никакой другой. И я его сын... страшно — но так... а дядя Диккенс — какие ж у него дети!.. он же умер сто лет назад... Очки с ручкой».

И Леве казалось, что он перешагнул и дядю Митю.

Но это он преувеличивал.

Не мог же он себе представить, что дяде Мите могло быть стыдно... или противно не за себя?

Мы назвали главу «Отец», имея в виду, однако, не только отца, но и само время. Отец у нас вышел какой-то двойной: то он робкий, комплексующий человек, не умеющий даже сделать умело «идет коза рогатая» маленькому Леве; то он уверенно мерит сильными шагами свой академический, культовский кабинет, прочно чувствуя себя в эпохе. Но мы не считаем ошибкой это не с самого начала запрограммированное противоречие. Во-первых, и так бывает. Во-вторых, в этом романе будет еще много двойного и даже многократного, исполненного уже сознательно, и, даже если не совсем художественно, то открыто и откровенно.

Ведь сама жизнь двойственна именно в неделимый, сей миг, а в остальное время, которого с точки зрения реальности и нет, жизнь — линейна и многократна, как память. Потому что, кроме сей, сию секунду исчезнувшей секунды, кроме сей, ее заменившей, нет времени в настоящем, а память, заменяющая исчезнувшее время, тоже существует лишь в сей миг и по законам его.

Поэтому отец еще раз двойной, на следующий день воспоминаний даже не о нем — об образе его (ведь мы же его выдумали). На следующий день образ его — двойной уже иначе: с одной стороны, «видный мужчина», воспользовавшийся успехом и к которому подросток ревновал мать, с другой — легко подающийся влиянию чужого мужчины, которого, видимо, предпочитает жена.

И еще раз двойной отец, когда наступает возмездие, когда он раздавлен собственным предательством, когда расширяется образ дяди Диккенса и заслоняет отца... Потому что хотя автор и посмеивается надлевой за юношескую игру воображения, однако и сам еще не решил окончательно, что дядя Диккенс ему не отец. Чего не бывает?..

Так что, возможно, что другая совсем семья у нашего героя. И автору очень хочется изложить сейчас второй вариант семьи Левы Одоевцева, такой вариант, в результате которого, как кажется автору, опять получится ровно такой же герой. Потому что интересуется его только герой и только героя, как уже выбранный (пусть неудачно) объект исследования, не хочет менять автор. Но это свое желание поведать второй вариант автор пока отложит.

Мы собирались рассказать об отце и о времени. В результате об отце мы так же не много сказали, как и о времени. Но мы считаем, что, в данном случае, оба разных предмета можно сложить... Отец — это и было само время. Отец, папа, культ — какие еще есть синонимы?..

ОТЕЦ ОТЦА

В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изяшно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества.

То ли Лева справился с жизнью, то ли жизнь — с ним: он успокоился в семейных своих переживаниях, очень вскоре. Все-таки, по молодости, он гораздо более предполагал за собою разных чувств, нежели знал их. Предположение за собою чувств, однако, очень переживательно (почему мы и имеем возможность утверждать, что наша молодежь «очень эмоциональна»), потому что не имеет под собою почвы, кроме самой природы, которую как раз одну и не предполагает... Эти гипотетические чувства сильны еще потому, что сил много. Лева отработал «гипотезу второго отца», оставалась еще «гипотеза деда».

У сына родился отец. У внука рождается дед.

...Когда в семье пошли разговоры о деде, еще до его возвращения; когда Лева всматривался в его прекрасные фотографии и ссорился с отцом, гордо и молча оборачивая свое вытянувшееся лицо, как бы несшее в себе те же черты; когда он по-детски обижался, что дед всегда был живой, и это «всегда» подменялось у него убегающими картинками его военного деревенского детства; когда он, по-детски же, переряжал в воображении дядю Диккенса в деда; когда он приучал себя к новому родству и гипнотизировался идеей «крови» — тогда же, вдохновленный, достал Лева, минуя отца, сам, проявив непривычную инициативу, по букинистам и фондовым залам — достал и прочитал некоторые работы деда, благо они теперь относились к будущей его специальности, правда, весьма отдаленно: дед

был лингвист, то есть он что-то знал и, значит, занимался чем-то более точным, чем та филология, которой посвящал себя Лева; к тому же он был отчасти математик и чуть ли не первый... но тут мы опять вступаем в шаткую область «приоритета». Лева читал, не все было доступно ему, но он сумел ощутить непривычную свободу и подлинность дедовской мысли и удивиться ей.

Дед оказался не один, рядом с ним и до него были еще люди — Лева знал о них раньше лишь понаслышке, в обзорно-лекционном порядке, как об искаживших, недооценивших, извративших, недопонимавших и т. д. — это были еще самые мягкие формулировки... Лева трудно было поверить, что они чего-то не понимали, потому что для него, например, то, чего они не понимали, — было очевидно, просто, как пареная репа, а вот то, что они понимали, раз писали об этом — Лева часто совсем не понимал или с великим трудом и напряжением, так, что, казалось, слышал в голове шум перегруженно-трущихся мозговых своих частей. Но и опять, прежде всего, оставалось это ощущение подлинности, такое непривычное... Наконец, Лева нашел себе одного полегче, им и занялся с удовольствием: этот был эффектен и формален, легок и блестящ (его, кстати, стали воскрешать первым, очень вскоре после Левиного нелегального чтения, а Лева — мог гордиться, что уже знает, что давно знает).

Так Лева увлекся некоей цельной и все еще полузапретной системой исследования и теперь, хотел или не хотел, в своих учебных делах все поверял ей. Она его убеждала. После такого умственного перенапряжения, как при чтении деда, то есть после того как он впервые работал головой — все по учебе вдруг оказалось так примитивно и легко, и программные монографии, что наводили страх на сокурсников своею толщиной и наукообразностью, стали для Левы школьным лепетом. И хотя последовательно проводить полюбившуюся Лева систему было еще невозможно, он надеялся использовать ее хотя бы отчасти — уж больно она нравилась ему — в предстоящей курсовой работе: Одну пользу из семейной драмы, значит, он уже извлек... «Гипотеза деда» еще упрочилась в Лева благодаря этому позитивистскому эффекту. Дед, для Левы не оставалось сомнений, был безусловно Великий Человек, и, в этом звании, очень хорошо получалось так: Дед и Внук...

Лева уже планировал паломничество к нему, самостоятельное, тайное, как бы против воли диктатора-отца, и много намечтал разных картинок, которые своей сладкой и слезящей

силой успокаивали его и отодвигали это его намерение в непрестанное будущее... да и как так вдруг?... почему именно завтра?... первое движение оказалось давно пропущенным, и Лева уже привыкал к тому, что это он однажды, конечно, сделает, потом, потом... как вдруг позвонил дед.

С сыном разговаривать не пожелал — говорил с Левиной мамой. Все ее простосердечные мольбы простить и прийти, что она просто не имела возможности сказать ему раньше то, что говорит вот сейчас, и т. д. — все это он молча выслушал и заговорил лишь тогда, когда мать уж и не знала, что придумать еще, даже решила, что телефон испорчен... дед сказал, что и не думал на нее сердиться. обид никаких не было, он не кухарка, чтоб обижаться, что она (мать) всегда была дура, но уж больно хороша, невестой он ее запомнил и была она ему симпатична тогда — что ж теперь-то, через тридцать лет... вот внук пусть придет к нему, завтра, хочется на балбеса посмотреть. Все. Мама сказала, что она не уверена, но он ей показался как бы странным, как бы пьяным...

И то, что дед, такой великий человек, сам позвонил, сам пожелал его видеть, необыкновенно окрылило Леву, и он очень много пообещал себе в этой встрече. Родителей он уже не замечал. Не слушал, что говорила ему мама. На отца не взглянул. Все доставалось Леве даром.

К деду он шел с новеньким бьющимся сердцем. Что-то далекое и свежее, но как бы всегда имевшееся в нем, приоткрыло свои створки. Он, таясь, заглядывал в эту темную глубину и ничего не различал...

Он мечтал о внезапной дружбе, которая возникнет у них с первого взгляда, минуя отца, как бы над его головой, как бы мост через поколение... и тогда получалось, что не просто внук идет к деду, а специалист — к специалисту, ученик — к учителю, это тешило Леву. Он, за мечтами, как бы совсем забыл, что идет видеть впервые своего родного деда... Тут было, несколько изменившееся, но все то же представление о крепком чае и академической камилавочке.

Но и не только это. Было за этим и нечто наивное и идеальное... Те створки, что как бы приоткрылись в нем и где он не различал еще, что же там, — казалось ему, будут сразу видны и понятны деду, и они тогда будут с дедом — как человек и человек! дед поможет открыть их (створки) еще шире и объяснит, что там, и для Левы начнется совсем уж новая

жизнь — на самом деле, его подлинная, но до сих пор тщательно от него скрытая...

И это все-таки было почти тем же представлением: как идут, старый и молодой, по широкой ковровой лестнице, например, Академии наук — и все им рукоплещут из лож.

Леве вдруг показалось, что он опаздывает. Ему хотелось быть пунктуальным. Он поймал такси и приехал много раньше, чем надо.

Деду дали квартиру в новом районе, последние дома... Лева никогда не бывал тут. С удивлением поймал себя на соображении, что, пожалуй, во всю жизнь, ни разу не покидал старого города, жил в этом музее, ни один его житейский маршрут не пролегал за пределы музейных же проспектов-коридоров и зал-площадей... странно. Он знал об окраинных новостройках понаслышке: что они есть, — но имена их путались в его сознании — вот и сейчас он забыл, как называется район, куда он прибыл: не то Обуховка, не то Пролетарка... снова полез в записную книжку.

У него было такое чувство, что он попал в другой город.

Лева отпустил такси, решив прогуляться оставшееся время по этому городу.

...Солнце садилось, дул стылый морозный ветер, и какая-то опасная прозрачность наблюдалась в воздухе. На западе воткнулись в горизонт три острых и длинных облака. Они краснели чуть фиолетово. Туда, в пустоту, уходил пустырь, с бурьянами и свалками: чуть ближе, прямо в поле, было трамвайное кольцо, действительно — кольцо (Лева раньше думал, что выражение это образное, а не буквальное). Оно поблескивало в черной траве, и трамвая не было. Казалось, дома стояли покинутые — такое было безлюдье, и звенела тишина. В закатных лучах, на голубом фоне, отдельные, сахарные, стояли редкие заиндевшие кубы домов, слепо и безжизненно отблескивая гладкими окнами в закат. Все было как бы пришившимся.

Он пересек это пространство сна, со всех сторон продуваемое, все в сквозняках, непонятно не ощущая собственных движений — ветерок, аура... Разыскал дедов подъезд. Стоял под легкомысленным красным козырьком, у дырявой зеленой стеночки, рядом желтая, с синим, скамейка для сидения старух — стоял и стыл. Время тянулось. Ему показалось, что часы его отстали, — но они тикали, и секундная стрелка неохотно двигалась по кругу. Леве было странно и непонятно собственное волнение, непривычно: он ни разу словно бы не

волновался до сего дня. Вскоре, впрочем, все его чувства сосредоточились в ногах: он надел ради случая новые туфли — они жали. Ноги мерзли и ныли, и Лева стоял как бы не на своих ногах, а на протезах. Наконец Лева догадался войти в подъезд — на лестнице было тепло — Лева прижался к батарее, обнял ее... Тут дверь распахнулась и вбежал неопрятный молодой человек, весь какой-то распахнутый и развевающийся. На бегу резко взглянул на Леву, будто впитал в себя (Лева не успел толком отпрянуть от батареи), — и исчез, летя через две ступени, показав драную пятку. Лева еще постоял, и тут стрелка подползла наконец к заветной черте — стал подниматься вверх, окончательно смерзшийся, неловко переставляя свои протезные ноги.

Он уже почти поднялся на свою площадку, как дверь в одну из квартир приоткрылась, оттуда вылетел тот же молодой человек, проколол Леву взглядом и обрушился вниз, уже через четыре ступени. В дверях кто-то секунду потемнел ему вслед... И когда дверь прикрылась и залягали замки, Лева понял, что это была его квартира. То, что он вовремя не окликнул, не попросил не запирать — расстроило Леву. Хотя, с другой стороны, это хорошо, подумал он, потому что первая их встреча не могла быть такой...

...Открыл ему какой-то незнакомый тип и посмотрел с ровным неузнаванием. «А вдруг?.. — Лева похолодел от предположения. Не могло быть: такое несходство... Этот бритый череп, ватник, возраст самый неопределенный, от пятидесяти до ста, а главное, это красное, щетинистое, задубевшее лицо поражает своей неодоухотворенностью... И оно молчит, тупо, лень губы разлепить.

— Простите, я не туда попал... — произнес Лева жалобно и мысленно летел вниз через четыре ступеньки, рушился, как тот молодой человек, хлопала дверь парадной — и он, давась, глотал холодный воздух... Это надо же: все было продумано, перебраны варианты, затвержены формулировки... а про то, что надо поздороваться, что-то сказать, узнать в лицо, — даже не подумал, словно за порогом было облако.

— Вам кого? — «Ам коо?» — глухо сказала лицо, с трудом выкатив эти два «о». И когда рот разлепился — лицо стало неожиданно длинным. Это мог быть дед...

— Модеста Платоновича... — «Моэсто, почти Маэстро», — про себя передразнил себя Лева: у него во рту была каша ужаса. — Одоевцева, — произнес он звонко, в прямом отчаянии, краснея в темноте.

Под кожей старикова лица что-то пронеслось: замешательство, припоминание, оторопь, успокоение, — очень быстро. Лицо ничего не выражало.

— Проходите, — старик пропустил Лева в коридор и долго возился, запирая дверь, лязгал и копошился в темноте — там было сложно, с замками... Лева хотел сказать запинчиво, искренне, что он его узнал, узнал! что это только в первую секунду, что он его не узнал, а так он его сразу узнал! (чтобы дед понял, что все еще не так страшно, что его можно узнать — поведение, вычитанное из вагонной инвалидной песенки об обгоревшем танкисте и его невесте-маме...) — все-таки в Лева было столько внутренней подготовленности к восторгу, что и это несоответствие внешности тут же восхитило его, и он уже чуть ли не радовался, что дед оказался та к о й.

— Что ж вы не проходите? проходите... — невнятно буркнул дед, забрасывая на плечо шарф, вывалившийся, пока он возился у замков. И он толкнул дверь в комнату...

Левин восторг опять захлебнулся — в комнате сидел еще один старик. Он внимательно (Лева почувдалась «доброта») взглянул на вошедших. Этот оказался поинтеллигентней, он больше походил на дядю Митю (значит, Лева был прав, подставляя!..) — восторг снова поднимался в Лева. На дядю Митю тот был действительно чем-то похож, только не так чист и элегантен. «Хорошо, хорошо, — дрожал про себя Лева. — Как хорошо, что я там, в коридоре, не сказал...»

— Вы — Лева, — так же невнятно, но скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал первый старик, тщательно прикрыв за собою дверь в комнату и выйдя на середину. Он подволакивал ногу.

Все в Лева заметалось, как заяц. «Как же так!..»

«Я, я!» — хотел бы обрадоваться Лева — и кивнул, сглотив.

— Садитесь, пожалуйста, — старик подволок, вместе с ногою, к Лева стул; Лева поздно бросился помогать, когда тот уже протирал сиденье газеткой. «Что вы, не надо!» — хотел взмолиться Лева и отобрал стул — получилось все как-то неловко, грубо. Старик покачнулся: он не только вытирал — вытирая, он опирался о стул, о бумажку... — взглянул на Лева.

— Садитесь. ОН скоро придет... — лицо старика два раза дернулось и снова ничего не выражало. Старик, похожий на дядю Митю, на секунду вскинул на них свой внимательный взгляд и опустил.

«Что же это? что же это!» — лихорадило Лева. Больно оттаивали ноги, и лицо горело.

— Здесь как-то не убрано... — виновато сказал первый старик.

Лева еще опешил и чуть отвлекся: убрано действительно не было. На столе валялась масляная бумага, корки, вскрытая консервная банка — очень неаппетитно. Да и вся комната была до странности нежилой и похожей на общежитие. Будто только вселились, еще не мыли ни полы, ни окна после стройки, не перевезли мебель... Кровать, кое-как застланная, на которой сидел старик, похожий на дядю Митю, стол в объедках, три канцелярских стула и бочонок. Книг не было. В углу, правда, стояло распятие. Не православное, крашеное.

Все молчали. В комнате почти стемнело, а свет не зажигали.

«Я туда попал?!» — хотел уже выкрикнуть Лева, но только поерзал.

Первый старик попробовал убрать со стола, мелкими движениями что-то передвинул, поднял и посмотрел на грязный нож. Швырнул в сердцах обратно на стол...

— Черт! Скоро ОН придет? — метнулся по комнате, подволокнув ногу, совсем уже серый в сумерках, — метнулся тенью.

— ОН же только вышел... — подняв свой внимательный взгляд, оправдываясь, сказал «дядя Митя».

Вздыхнув, старик уселся на стул.

— Простите, — буркнул он Лева.

«Куда он пошел?» — хотел спросить Лева, но решил, что вопрос будет глупым.

«Может, уйти и сказать, что зайду позже?.. Хотя, с другой стороны, почему я сразу так не сказал?.. Теперь поздно». В голове у Левы путалось, лицо горело (к счастью, в темноте), губы высохли и будто готовы были лопнуть — так стучала в голове кровь. «Может, все-таки один из них? — бредил Лева. — Сходство с дядей Митей и внимательный («добрый») взгляд подтверждали, что это мог быть дед: «Если дядя Митя так похож на деда, то тогда сомнений нет, что он мой отец!» Тут же Лева чуть не рассмеялся в голос над самим собой. «Что ж это получается? — издевался он над собой, мысленно трясясь всем телом от кислого смеха. — Будто если дядя Митя — мой отец, то он автоматически становится сыном деду Одоевцеву, а не я, дурак, перестаю быть ему внуком!.. Ха-ха!» Вдоволь поиздевавшись, он подумал, что, раз так, сомнений нет: первый старик — и есть его дед... он просто испытывает Леву и, вот ведь, как переживает, что Лева его не узнает... «Скоро ОН придет!» — как

же это еще понимать, как не: «Когда же он, Лева, догадается?» То есть, когда он, Лева, придет на самом деле, а не только физически... «Конечно, первый — дед. Он из двух — главное...» И то, что он в комнате, по поведению, был «главное», почти убедило Леву, но и тут он вовремя спохватился не признаться в своем открытии... Потому что... «Господи! у меня, пожалуй, жар. — Лева пощупал голову, рука была такой же горячей, как и лоб, или такой же холодной: он не понял, есть ли у него жар. — Ведь надо же быть таким идиотом! Он же ясно спросил, Лева ли я, и сказал: «Садитесь. Он скоро придет», — ну, и дурак же я!» мысленно хохотал про себя Лева, покачивая головой, стирал слезу. Однако не мог себя успокоить. Старики молчали, только «дядя Митя» закурил, и уголек иногда освещал его внимательные глаза.

«Что они свет-то не зажигают?!»

Первый старик окаменел, отвернувшись в окно, что-то шептал туда, где еще еле розовела, подернутая пеплом тоненькая ниточка заката.

«Может, они его убили!.. — вдруг пронзило Леву. — Может, он лежит во второй комнате!» Лева вспомнил метнувшегося из дверей и обрушившегося по лестнице того молодого человека, и почему-то это стало окончательным доказательством догадки.

«Убили! убили!..» — рыдал про себя Лева. Шел за гробом, падал легкий снег...

Резкий звонок пронзил темноту.

— А! а! — Лева вскочил и не смог закричать, замахал руками, как во сне, когда скатываешься с кровати.

— Слава Богу! — первый старик, с легкостью и проворством, на одной ноге, проскакал к двери, на ходу включил свет — и уже лязгал своими многими замками в коридоре. Лева зажмурился от света и стыда за себя — он все еще стоял посреди комнаты, а «дядя Митя» смотрел своими внимательными глазами чуть удивленно: что это еще за псих?..

Лева опустил на стул, ослабевший, в прохладном поту.

И вошел все тот же развешивающийся молодой человек — вид у него был смерзшийся и недовольный. Посмотрел длинно на Леву: этот как сюда попал? — бережно свалил на стол тяжелый рюкзак.

— Не могли убраться? — Стал зло и быстро собирать со стола. И тут, отлязгав замками, весело вошел первый старик.

— Очень далеко магазин, — объяснил он «дяде Мите».

Молодой человек усмехнулся, обернулся к старику, увидел — и некрасивое его лицо осветилось. Он порылся в своем балахоне и подал старику бутылку пива.

Старик искал, чем открыть, и не находил.

Молодой человек снова оторвался от работы, заботливо отнял бутылку, ловко открыл, налил полную «ларьковую» кружку и подал старику.

Тот сел на стул, все еще чему-то не веря, обнял кружку обеими руками и приник... Пил он долго, вникал, захлебываясь, всасывая, впитывая, вдыхая, погружаясь, весь уходя в кружку, он копошился над ней, как шмель над цветком, и когда отвалился со счастливым вздохом, Лева с ужасом заметил, что пива собственно не убавилось в кружке — столько же и осталось. Слово «жажда» как бы написалось перед ними в воздухе, во всей своей полноте, со всем своим жабьим жужжанием, и надолго потом, навсегда, связалась эта никак, при таких-то трудах и страсти, никак не отпитая кружка с образом Жажды, понятием Жажды как таковой...

— Вот и славно, — сказал успокоенный старик и обвел всех потеплевшим и уже выразившим какую-то жизнь взором. Поймал недовольный взгляд, брошенный молодым человеком на Леву...

— Ах, я вас и не познакомил... Рудик, это мой внук Лева.

— Что ж он сидит как неродной! — сказал Рудик, доставая из рюкзака водку, бутылку за бутылкой...

«Господи!..» — успел подумать Лева.

.....

— Так ты меня, значит, сразу не узнал!.. — смеялся дед, и лицо его довольно сморщивалось, на одну, впрочем, сторону. — И очень замерз, чтобы прийти точно? — Он повел взглядом в сторону Рудика и «дяди Мити»: лицо его смеялось пополам.

Лева еще продолжал расценивать это как «грубоватую ласку». В нем еще жило то ощущение радости и общности, дружно сдвинувшее всех их за столом: отдельное чоканье деда с внуком, «со свиданием...» — прямой взгляд в глаза. Не выпить со всеми Лева не мог — так ему было плохо до этого, так он не знал куда деться — он выпил стакан залпом (дед еще намешал туда чего-то, вышло вроде «Митинки»), выпив, почувствовал, как отвратительно то, что он выпил, и задохнулся, а дед предусмотрительно уже держал на вилке огурчик... И тогда, жуя огурчик, с набитым ртом, сквозь слезы, хрустально преломив-

шие мир, где на длинных искрящихся иглах, протянувшихся от голой лампочки, повисли лица его новых друзей... ощутил он награду освобождения и счастья, обрел на миг благодарность миру, и мир отблагодарил его. Общий смех был необидным, стол — красивым, лица — светлыми, мир — истинным, — и тогда, так естественно ему показалось и легко, признаться этому миру в любви, искренне посмеиваясь над собственной наивностью и простотой, как бы приглашая всех полюбовно посмеяться над Левушкой, раз уж и он, вот, поплакал и смеется, у всего этого был образ проглянувшего солнышка после проливного дождя, с поблескиванием капелек на травинках; примирения с любимой, с поблескивающими же слезками на длинных ресницах; осушение, натянутость свежей, омытой кожи; легкость после слез и дождя. Так он приглашал всех любить себя под испытующей «теплотой» взглядов, при участливом молчании, прежде, чем суждено было ему понять, что испытание было испытанием и молчание — молчанием... Пока не стало Лева так тепло и полно, что он сам потерял нить...

—... А я-то, Левушка, и забыл, что ты должен прийти. Не то, что к какому часу... Я вообще-то не собирался звонить — как это меня по пьянке угораздило? Я потом забыл совсем... Ну, это ладно. Ты мне вот что скажи: зачем ты мерз? На какого меня ты рассчитывал? Ну, что тебе было не прийти раньше, раз ты уже пришел раньше. или опоздать? Мог и вовсе не приходиться... Зачем ты пришел ровно? — Дед как-то вдруг весь оформился, сфокусировался и говорил почти внятно, во всяком случае, без труда; прямые, как тычки сухого кулачка, глаза его совсем все видели, не в том смысле, что отличали и отделяли все физические предметы друг от друга, а — что за ними, и под ними, и вокруг, и где это все помещается, и в чем еще, поверх, заключено: он видел все цельным и в целом, — и никуда было не деться от взгляда, ты пятился, пятился — упирался спиной в стену, прикрывался локтем, как от удара. Лева не знал, за что его так, но и сквозь заслон детской обиды проникала в него непонятная ему правота деда, он готов был слушаться и подчиняться, только бы, как в дрессировке, поощряли его иногда похлопыванием или поглаживанием — кусочком... Но — не поощряли.

— Что за образ заставлял тебя мерзнуть? гипнотизм работы часового механизма? счастье от совпадения стрелок?... Какие вы все-таки все стали рабы! Вот и он... — Дед кивнул в сторону Рудика. — Но он хоть поэт и невежда, самородок... Почему вас непременно должно перекашивать в некое чувство? Без «чувств» вы никак себе поверить не можете... Оттого и надо вам, чтобы

вас любили, и все страдания ваши — какие страдания! переживания — об этом... Что за надобность?

Лева не выдержал, перестал понимать, что говорит дед, заозирался, словно ища поддержки... Спасительный взгляд «дяди Мити» — он уцепился в эту последнюю надежду... Однако дед преследовал, не отставал:

— Ну, что ты заглядываешь по-собачьи в его собачьи глаза! — взъярился он. — Отчего, ты думаешь, у него такой взгляд замечательный?.. У тебя тут же, услужливо, срабатывает версия под чувство, ты тут же объясняешь себе происхождение его взгляда удобными тебе сейчас следствиями из него, именно следствиями. Ты объясняешь его себе добротой, вниманием, пониманием — они тебе сейчас нужны. Понимать вас, видите ли, надо, гуманисты.....! А он-то тебя действительно понимает, сечет... Потому что у него метод безукоризненный, и он только им и пользуется, оттого четок и ясен; он не на тебя смотрит — он тебя читает, он — профессионален. А метод его прост: он смотрит на тебя и видит, какой бы ты был на следствии или на допросе, — потому что он тысячи, тысячи таких, как ты, видел. Он — Менделеев человеческих душ. Ты для него кальций или натрий, не больше. Он заранее, по опыту, все про тебя знает — первых движений твоих достаточно, чтобы он знал каждое твое следующее. Вот только один недостаток — он с ума сошел, как Германн: тройка, семерка... — все перебирает. Он не может избавиться, не в силах отдохнуть ни секунды от автоматизма этого опережения твоих движений и сличения их, мысленных, с теми, что ты производишь ему в доказательство в ту же секунду, — и они, учти, всегда идентичны. Вот и весь его взгляд. Для тебя понимание — уже есть участие, ты так привык, потому что понимание в твоей жизни случайность, да и не случайность, а некая функциональная, периодическая перевранность ситуации — как физиологическое отправление, только не такое честно-необходимое... — Лева взглянул еще раз в глаза «дяде Мите», и, действительно, тот слушал и слышал деда и смотрел на Леву, внимательность и участливость его взгляда не изменилась: он следил за действием дедовых слов, опережал это действие представлением и сличал представление с возникающей, казалось, для него слишком замедленно, реальностью. Могло быть так, как говорит дед, — Лева страшно... — Он же, Коптелов, мой начал бывший, хороший человек: меня дважды не убил...

Коптелов рассмеялся, посмотрел на деда с удовольствием.

— А это он доволен, что я соврал, а он этого не предугадал. Он ведь если и не каждое мое слово, то движение в целом,

вектор — тоже ловит и слышит... Только он меня слишком ценит, переоценивает — оттого никогда не ждет, что я и лажануться могу. Ну вот, и редкое для него удовольствие: не совпало — смешно...

— Модест Платонович!.. — жалобно сказал Лева.

— Модест Платонович! Модест Платонович... — передразнил дед. — назови-ка меня «дедушкой», выговори...

— Маэстро Платон... — поддразнил Рудик.

— А ты — завистник — молчи! — и дед потрепал Рудика по голове. — Налей-ка всем еще...

Дед был прав: Лева не мог бы произнести слово «дедушка» — его бы вывернуло от стыда и фальши. «Зачем я тогда сюда пришел? — вдруг догадался он. — К кому? Я же не к нему пришел...» Он посмотрел на «дядю Митю» — Коптелова, на Рудика — эти любили деда — вот что он внезапно понял. А он?

Все выпили.

(КУРСИВ МОЙ. — А. Б.)

Нас всегда занимало, с самых детских, непосредственных пор, где прятался автор, когда подсматривал сцену, которую описывает. Где он поместился так незаметно? В описанной им для нас обстановке всегда имелся некий затененный угол, с обшарпанным шкафом или сундуком, который выставляют за изжитостью в прихожую, и там он стоит так же незаметно и напрасно, как тот автор, который все видел как бы своими глазами, но только скрыл от нас, где были эти его глаза... Там он стоит, в глухом сюртуке, расплывчатый и невидимый, как японский ниндзя, не дыша и не перетаптываясь, чтобы ничего не упустить из происходящего в чужой жизни, не таящейся от него, из доверчивости, или бесстыдства, или привычки и презрения к нему.

Читая и сличая с жизнью, покажется, что дух общезжития и коммунальной квартиры зародился в литературе раньше, чем воплотился наяву, как раз в подобном авторском отношении к сцене: автор в ней коммунальный жилец, сосед, подселенный. Достоевский, наверно, еще и потому лучше всех «держит» многочисленную, «кухонную» сцену, что сам никогда не скрывает своей «подселенности» к героям: он их стесняет, они не забывают, что он может их видеть, что он — их зритель. Эта замечательная откровенность соглядатайства делает ему опережающую время

честь. Такая большая, объявленная, условность — истинно реалистична, ибо не выходит за рамки реально допустимого наблюдения. Рассказ от «я», в этом смысле, самый безупречный — у нас нет сомнений в том, что «я» мог видеть то, что описывает. Так же не вызывает особых подозрений сцена, решенная через одного из героев, пусть и в третьем лице, но одним лишь его зрением, чувствованием и осмыслением, где, только по одному видимому поведению и произнесенным вслух словам других героев, можно строить предположения о том, что они думают, чувствуют, имеют в виду и т. д. То есть как раз субъективные (с точки зрения субъекта — автора или героя) сцены не вызывают подозрений в реальности изображенной реальности.

Зато сколь сомнительны, именно в этом смысле, объективно-реалистические решения, почитающиеся как раз собственно реализмом, где все выдается за «как есть», за «как было на самом деле», путем именно устранения той щелочки или скважинки, в которую подсматривает автор, тщательного ее замазывания и запавшивания. Это и заставляет нас как раз, уже и не по-детски, сомневаться в реальности литературного происшествия. Если нам не объявлена условность, субъективность, частность решения, то еще прочесть из снисходительности, как поаплодировать безголосому, можно, но поверить по переживанию и разделить — представляется затруднительным. Откуда он знает? с чего он взял?.. И если мы не знаем, как было на самом деле, то опыт подсказывает, как не могло быть. Ведь ни у одного человека нет такого опыта, в котором он бы не был непосредственным, хотя бы и пассивным, участником...

Следовательно, никогда, ни при каких условиях, ни для одного человека не происходило действия в общем, объективном, безучастном значении. Выдавать натужную «объективность» за реальность — достаточно самонадеянно. Сверху может видеть только Бог, если предварительно договориться, что он есть. Но писать с точки зрения Бога позволял себе лишь Лев Толстой, и мы не будем здесь даже обсуждать, насколько правомочны были эти его усилия. Тем более что наш герой назван Лево́й в его честь, не то нами, не то его родителями...

Приостанавливая разбег, мы хотим еще раз подчеркнуть, что для нас литературная реальность может быть воспринята реальностью лишь с точки зрения участника этой реальности. И что, в этом смысле, то, что принято полагать за оптимальный реализм, а именно: все — «как было», как бы без автора, — является в высшей степени условностью, причем неоткровенной, не вызывающей доверия формально формалистичес-

кой. И тогда мы сочтем за реализм самостремление к реальности, а не одну лишь привычность литературных форм и даже норм.

И вот, имея столь похвальную убежденность в том, как правильно, мы стоим в значительном затруднении перед практическим сейчас следованием этой убежденности... Так как мы решаем все через Леву, а то, что с ним произошло в этой сцене и чему он был свидетелем и участником, пока еще, по достигнутому им развитию, не может быть ни узнано, ни слышано, ни понято им, то растягивать в последовательное изображение то, как он не понял, не услышал и не увидел, является и слишком сложной технически и слишком технической задачей. Мы достаточно это его состояние уже обозначили. Но нам важен в этой главе, важен для Левы, хотя он и не был способен усвоить событие в той степени, в какой это для него важно, — нам важен дед Одоевцев, важен как знак. Поэтому нам отчасти придется отойти от чисто Левиной «призмы» и откровенно, не выдавая изображаемого за реальность (но и не отказываясь от нее), дать хотя бы знак, не посягая на живого человека...

Тем более что не только неподготовленность Левы нам помеха, а и то, что в этой сцене все пьют довольно много. А по опыту, и своему, и предшественников, можно утверждать, что самое сомнительное и спорное в словесной передаче — это мир ребенка, мир пьяного и мир фальшивого или бездарного: ни то, ни другое, ни третье ни разу не имело достоверного самовыражения, а воспоминания подводят всех. На эти вещи у нас будет всегда свой взгляд, потому что детьми мы себя не помним, пьяными — не запоминаем, а фальшивыми и бездарными — не узнаем.

«Так дети не говорят, так дети не думают» — столь распространенный упрек пытающимся писать серьезно о детях. Бесплезно доказывать им, что нет, именно так дети говорят, именно так думают — столь убеждены все взрослые, что знают, как... Взрослые, в лучшем случае, всерьез воспринимают свою заботу о детях, но не самих детей. Потому что «взрослым» и без того достается от жизни, чтобы иметь силы быть столько же серьезными, как дети. Полная мера представления детской серьезности сильно обескуражила бы, обезоружила и обессилила их. Сама природа, что ли, позаботилась об этом барьере? — но это так: сколько ни имей дела с детьми, вряд ли станешь больше знать о том, кто они такие...

Как это ни удивительно, почти то же — с пьянством: сколько ни пей, ты не узнаешь о пьянках больше, чем уже знал.

Сцену у деда Одоевцева, которую мы взяли описать, некому было описать трезво... Да такого опыта вообще почти ни у кого нет, хотя пьяными бывали многие: завтрашнее наше отношение к происшедшему вчера — редко бывает справедливым. Ни в какой компании не потерпят, чтобы кто-то не пил, а наблюдал и слушал, — и правильно, потому что описания трезвых всегда отталкивающие и, само собой, не талантливо в передаче палитры чувств пьяного человека. Те же, кто уже выпил, не могут нам передать в трезвом смысле, как все было, а праздника своих чувств — почти не помнят или не находят слов. И помирить это информационное противоречие — не в наших силах.

Так много оговорив, мы заявляем: «Так пьяные говорят!» — и что бы нам потом ни говорили, придется стоять на своем...

Поэтому расставьте сами, где угодно, как подскажет ваш опыт, возможные в подобных сценах ремарки (это, кстати, и будет то, что мог отметить сам Лева...): где, и как, и после каких слов своего «выступления» дед Одоевцев кашлял, чихал и сморкался, сунул брови, надувался и опадал, где он терял и ловил «кайф», где его перекашивало и он забывал, о чем речь, и где махал на это рукой, где он вытирал лысину, скручивал свою махорочную сигарку, плевался, вращал глазами и тыкал в собеседника (главным образом, в Лева) пальцем и в каких местах приговаривал: «Я в а с видал...» (далее нрзбр. — А. Б.)

ОТЕЦ ОТЦА

(продолжение)

...Рудик читал стихи, непонятные, но сильные.

— Тебе нравится? — спросил дед Леву.

— Нравится... — неуверенно выговорил Лева под ревнивым и презрительным взглядом Рудика и внимательным — Коптелова. Разве он мог сказать «не нравится»?.. Но «нравится» — тоже не получилось. У него не было шансов ответить «им» правильно. Все трое уже стали для Левы — «они»...

— Он мало, что знает, зато умеет «ловить кайф», — сказал дед. — Свойство молодости... Кстати, смешно: «ловить кайф» — совсем не лагерное, не только современное выражение. Семнадцатилетний Достоевский, задолго до острога, пишет своему брату, хоронит себя: «Что сделал я за свою жизнь? — только ловил кейф...» Читай дальше... — Деду нравились стихи, он был пьян «в самую меру», и он благодуствовал. Пол-лица его расправлялись и молодели.

Вдохновленный Рудик прочел, очень волнуясь, новый стих, который казался ему особенно сильным, пророческим... с очевидным намерением окончательно всех сразить.

Леве на этот раз очень понравилось.

Дед рассердился.

— ...я ваши куриные прогнозы! С чего взяли, что так будет? С чего вы вообще взяли, что как-нибудь будет? Не надо, Левушка, умиляться собственной вшивости. — (Лева надулся: и стихи не его, и опять он же виноват.) — Какой Запад, какая Россия!.. В вашем-то, идеальном, смысле — жизни нет ни там, ни тут. У них — условия, у нас — возможность. Какие сейчас могут быть славянофилы и западники?.. И те и другие сейчас — просто необразованные люди. Признавать прошлое у нас, а настоящее — на Западе, отменяя настоящее у нас, а там — прошлое... Вам девятнадцатый век нравится, а не западная демократия. Вам хотелось бы обменять века на стороны света... даже наша заповедная власть не справится с такой задачей. Как бы вам ни хотелось чего-нибудь поидеальней — все подчинится логике прогресса, логике потребления и изживания... Человечество было рождено бедным и немногочисленным. Таким оно вписывалось в совершенный круг природы и бытия. Я старый,

внимательно живший человек, и я могу с некоторой определенностью, исходя из конца одних и начала других современных событий, судить, что будет с вашим сознанием через десять — пятнадцать лет, до следующей перемены. Так вот, лет через десять, когда все газеты станут писать как бы тревожно о том, что мы делаем с природой, зарабатывая на жирной честности этой темы, кто-нибудь да напишет о том, как совершенны были первобытные способы земледелия по «вписанности», по вкрапленности в замкнутую, предельно экономичную, совершенную цепь природных процессов. Человечество было бедным и прокармливало себя трудясь, не расковыривая купола природы, стоя у дверей ее скромно и не помышляя еще о грабеже. Оно могло, подголаживая, накормить «от пуза» нескольких там князей и церковников, их было и не так много, и эта социальная «несправедливость» ничтожна, если учесть, что разность эта необходима человечеству для основания культуры. Накапливая излишества, они невольно создавали образ возможности. Никакое равенство не возведет храмы и дворцы, не распишет их, не украсит. После обеда, пира (пусть, как учат в школе) можно послушать стихи или музыку. Из обеспеченности возникала подготовленность, из подготовленности — способность ценить, из способности ценить — уровень культуры. Никак не наоборот. Культуре нужна база, богатство. Не для удовлетворения потребностей художника, — а для подлинного спроса. Эту, пассивную, почти биологическую, роль аристократии, такую очевидную, понимать уже поздно. Никому сейчас почему-то в голову не приходит, что сумасброд из маленького княжества очень, по-видимому, понимал в музыке, если у него «работали» Гайдн или Бах. Что папа понимал живопись, если выбирал между Микеланджело и Рафаэлем... Все-таки это были просвещенные люди. Ну да... И осуществлялась эта немислимая, головокружительная разность человеческих потенциалов, от смерда до Рублева, на бесконечно малой энергетической основе, смешной для современности. За счет всего лишь социального неравенства — сохранялись смысл и возможность человечества. То есть экономичность человеческой культуры, при ее высоте как условия, так же поразительна, как экономичность природных процессов в круговороте бытия. Почти подобна. Я говорю «почти», потому что природа по аристократизму своему выше любого общества, хотя бы по той же «разности потенциалов», накопленной на минимумах энергий. Природу не интересует равенство внутри- и междувидовое, ее интересует целесообразность и совершенство. Перед Богом все равны, ей хватает такого равенства... Я говорю «почти» и потому, что и тогда, в пору

высших форм аристократизма, люди, конечно, пожирали и вытапывали под собой жизненные пространства. У Ювенала есть такая жалоба вольноотпущенника: «Ему (патрону) подают краснобородку, которую уже почти всю выловили в Средиземном море, а тебе (то есть ему, вольноотпущеннику) ужасного змееподобного угря...» Видите, с некой краснобородкой обстояло и в те далекие времена, как сейчас с угрем... Так вот, человечество скромно выстаивало у дверей так называемой «кладовой природных богатств». Замечали хамство этого выражения «природные богатства»? Будто «богатство» — это излишек, не сама природа! Человечество, до наших времен, не было лишено скромности и даже застенчивости, и это не его заслуга, а те условия. Технический прогресс, тем временем, потихоньку шел на уровне уточнения часового механизма и добавления еще одного колесика к полиспаду, по одному в столетие... пока не накопился до производства не более совершенных, а более тяжелых отмычек, орудий взлома и грабежа. Их надо было употребить — и ими взломали двери природы. Не отворили, не открыли ее тайну, чтобы войти в нее, а взломали, не поняв даже, в какую сторону створки... может, там и замка-то не было, а просто дверь на себя отворялась! они нажали, надавили, сила есть — ума не надо, и ввалились внутрь вместе с дверью. Так ребенок теряет терпение над чем-то не по уму, как они потеряли. Они оказались действительно среди развалов богатств — бери не хочу! Пошипывая, поплеывая, косые от разбоя, разбрелись и беспорядочно расплодились по всей земле... Алибаба, выбрасывающий медяки, потому что нашел сундук с серебром, с тем чтобы потом выбрасывать серебро ради золота, а золото ради бриллиантов — и все это до тех пор, пока не вернутся хозяева отрубить ему голову и снабдить ворота новым замком!.. Это и есть прогресс. Принято, что человечество набрело на путь прогресса, меж тем как оно сбрело со своего пути. Это по всей его истории видно. Точка ответвления определяется с точностью в несколько десятков лет, для истории это микрон, развилка еще видна простым глазом, если кому есть время обернуться — так нет, все бегут. Не сверни оно, может, и не много уже оставалось, — оно бы вошло в ту же дверь, чуть толкнув ее — и ворота бы распахнулись, — но уже не набросилось бы на богатства с бессмысленностью грабителя, а знало бы, как и что с ним делать. Те же законы, ту же тайну обязательно откроют, когда будет поздно, когда будет невозможно уговорить прислушаться и никто не остановится первым; это и будет последний момент, когда еще можно спохватиться так, чтобы

природа могла отдохнуть, зализать свои раны, регенерировать, — но человечество, еще и подученное веком, не согласится ни на какие сегодняшние жертвы ради даже завтрашнего утра... Инерция потребления и размножения будет столь массивна и велика, что и поняв, что происходит, можно будет лишь сознательно наблюдать момент падения, миг отрыва лавины с гребня. И пружина уже не сожмется обратно, а растянется в проволочку и порвется — природа расползется, как спущенный чулок, причем это не будет спуск хотя бы равный подъему — это будет мгновенно и на глазах, испарение облачком, останется злая лысина, с которой внезапно сдернули парик при всем народе, всем на позор. — Это «прогрессивный паралич» земли — простите за каламбур... Лавинообразное потребление и размножение на базе грабежа природы, паразитирование на природе и замена всех форм созидания всякого рода исполнительством, стремительное, фантастическое падение под самого себя, где ты сам, собственным весом, будешь себя тискать и ломать собственные кости всей тяжестью потребленного, отнятого и непродуцированного, невозвращенного — ноль из человека — вот путь прогресса. Может быть — и это еще самый оптимистический взгляд — то, что сейчас происходит в мире, не на социальной поверхности процессов, а в невидимой глубине их содержания — есть борьба, соревнование человеческого разума и прогресса (Бога и Дьявола, по-старому). Тогда задача разума — успеть во что бы то ни стало, до критической точки (необратимости) разорения Земли прогрессом, развенчать все ложные понятия, остаться ни с чем и внезапно постичь тайну... Тут происходит революция в сознании — и земля спасена. И все это утопия, хотя и желанная. Если и есть тайная сила разума, противостоящая прогрессу, то действие ее параллельно прогрессу — это гонка с общим стартом и общим финишем. Может, разум и нагонит прогресс, но тогда они придут к финишу вместе, грудь в грудь (критическая линия необратимости — и будет линией финиша) — и будет поздно воспользоваться плодами духовной революции, она не успеет их принести, завязи лопнут на космическом морозе, наступит необратимость — возмездие. Возмездие ведь и возможно лишь с момента осознания... Так все сходится.

Дед вздохнул, отхлебнул — пол-лица его все оживало, пол-лица мертвело — и продолжил:

— И это так же наглядно, так же очевидно в культуре, в слове, в духе — прогресс как потребление и изживание всех слов и понятий, составляющих нашу нравственную и граждан-

скую структуру. Сначала маленьких и конкретных, потом значительных и ложных, потом больших и абстрактных... Любая идея покажется вам спасительна — коль она у вас возникла. Слова подбираются, и сначала какие попало, а потом и те, что остались (остаются все лучшие) — и истрачиваются навсегда. Вся сила человеческого духа повернулась в наш век лишь на истрачивание, отмену, разоблачение и дискредитацию ложных понятий. Весь позитивизм современной духовной жизни — негативен. Ложные понятия изничтожаются — и не заменяются ничем. Вам еще повезло: у вас лет на тридцать (как раз пока меня не было...) была запрещена всякая охота за словом и понятием, слова одичали и перестали бояться человека одновременно, они разбрелись — пространство большое — и бродят неузнанные, непойманные, непроизнесенные. Вот вы считаете, что семнадцатый год разрушил, разорил прежнюю культуру, а он как раз не разрушил, а законсервировал ее и сохранил. Важен обрыв, а не разрушение. И авторитеты там замерли несвергнутые, неподвижные: там все на том же месте, от Державина до Блока — продолжение не поколеблет их порядка, потому что продолжения не будет. Все перевернулось, а Россия осталась заповедной страной. Туда не попадешь. Жизнь, не какая была, а какая ни на есть, началась лишь с семнадцатого года, но и ее стало много, и ее остановили. И эта окончательная остановка, этот запрет, который сейчас все клянут, даст вам тем не менее видимость духовной жизни лет на десять — пятнадцать. На ликвидации «ложных» и ловле «истинных» вы еще испытаете как бы подъем, и восторг, и труд...

Ра-азделить с тобой готова
горе, радость, труд большой... —

внезапно пропел дед, слабо и верно; — но она вас непременно бросит, не обольщайтесь... все это очень недолго, потому что все это уже было, уже произошло в мире, и к вам, какие бы ни были сопротивления, все вернется с той быстротой, как во сне... Вы запустите либеральную фабрику по разоблачению ложных представлений, якобы ради сейчас еще запретных, но столь желанных «истинных». Но пройдет лишь несколько лет — вы дорветесь и до них, до тех, что сегодня кажутся вам истинными, и они быстро разочаруют вас, потому что, прежде понятий, прежде их возможности, проник уже призрак прогресса в культуре, то есть потребительского, а не созидательного отношения к духовным понятиям и ценностям — он-то и берedit, он-то

и побуждает ко всему этому невнятному и радостному гоношению... И, помяните мое слово, самые передовые из вас, те, что катятся впереди прогресса... через десять лет вы услышите все ваши сокровенные слова и понятия в ложном и фальсифицированном смысле, и это будет не благодаря нехорошим людям, «захватившим и извратившим», а благодаря вам самим, самим этим вашим понятиям, на которые вы уповаете; они, еще запретные и непроизнесенные, уже содержат в себе ту же неправду, которая так изнуряет и подвигает вас. Через десять лет вы будете слышать все слова из стишков Рудика на каждом шагу... Россия, родина, Пушкин... слово, нация, дух — все эти слова зазвучат еще как бы в своем первом, природном, неофициальном смысле, заголятся — и это будет конец этим понятиям. И наступит пора «новых», которые вы к тому времени отыщете из еще более забытых. Это будет такая промышленность — «добыча» слова (так, кажется, уже выразился один поэт), отработанные слова будут сваливаться в отвалы. Как в руднике... Лева, ты работал на «руднике»?.. Сейчас вы проходите Цветаеву и Пушкина, затем пройдете Лермонтова с еще кем-нибудь, а потом накинетесь на Тютчева и Фета: доразвивать одного — до гения, другого — до великого. Бунина — вытягивать... Это раздувание и доедание репутаций сойдет за прирост современной культуры. Все будет, все уже есть из того, чего вы так страстно жаждете, чем, вам кажется, все и объясняется и исправляется. По невежеству вы будете обжираться каждым следующим дозволенным понятием в отдельности — будто оно одно и существует — обжираться до отвращения, до рвоты, до стойкого забытья его. Чего нет и не будет, так это умного, не потребительского отношения к действительности. В таком состоянии, быть может, находится дух при зарождении новой религии. Но трудно верить в то, чего еще нет. Пока же, уверяю вас, будьте благодарны культу...

Под эту реакционную речь, воспринятую всеми как удачно и вдохновенно сказанную, все еще выпили.

Дед морщился, корчился — и перебил Рудика:

— Да все, все уже — советские! Нет не советских. Вы же — за, против, между, — но только относительно строя. Вы ни к какому другому колу не привязаны. О какой свободе вы говорите? Где это слово? Вы сами не свободны, — а это навсегда. Вы хотите сказать от себя — вы ничего не можете сказать от себя. Вы только от лица той же власти сказать можете. А где вы

еще ее найдете?.. Для вас уже нигде не найдется условий: если вы себя экспортируете, то вы не можете захватить с собою то, относительно чего вы только и есть для себя. Да отвяжи вас — вы назад запроситесь, у вас шея будет мерзнуть без ошейника... Вы обнаружите, что без этой власти, вас-то таких и нет. Это только здесь вы — есть. Вы больше нигде не будете. Вам не нравится... А мне нравится эта жизнь! Что вы понимаете?.. Вы не можете этого оценить. Вот Рудик... я ему дал мятую дрянную бумажку — и он пропал, провалился в этот пустырь — и нет его и нет! — Дед вспомнил и снова рассердился, фыркнул: — Да ведь, сами посудите — и быть не может! Ведь куда он ушел? — один камень, плоскость, пурга... и вдруг возвращается ниоткуда: несет хлеб, вино, чай, колбасу, даже табак! Откуда? за что?.. Когда мне кажется, что схожу с ума, то всегда из-за того, что считается совсем естественным, само собой разумеющимся, чего и понимать не надо! Ведь этого места, где мы сейчас сидим, скорее всего, и нет на земле, быть не может — остров небытия. Однако открой кран — пойдет вода!.. Ну, электричество, газ — еще как-то можно смириться: мол, этого и постичь нельзя, мозги поломаешь... но — вода! откуда вода-то здесь взялась?.. Однако можешь даже попробовать на вкус — вода! Даже не только попробовать — напиться, утолить жажду можно! Это ли не потрясающе... Положим, вода — вообще самое удивительное на свете: прозрачная, без вкуса, без запаха — и пьешь! Чистое утоление. То, что по бороде течет — уже богатство... Это почти воздух — так удивительно и так не сказать. Если настоящая жажда — то и воздух. Я вам о прогрессе чего-то наговорил... Главное забыл. Не оттуда нам грозит, где с трудом дается, даже если и грабительским трудом. Не оттуда, где дорого, где стоимость, где всем надо и все хватают, — где есть цена, объявленная ценность. То есть мы, конечно, сведем леса, воды, рыбы, почвы, звери... зверей, зверей первыми, чтобы наедине остаться... но все это потом, не успеем даже до конца... Потому что, прежде всего, нам грозит — от бесплатного, от Богом данного, от того, что ничего никогда не стоило, ни денег, ни труда, от того, что не имеет стоимости — вот откуда нам гибель — от того, чему не назначена цена, от бесценного! Мы выдыхем и выжжем воздух, мы выпьем и выплескаем воду... То есть бесплатное мы разорим первым, а золото, брильянты, что еще? — все это будет лежать целехонько и после нас, на память о нас... Все-таки, как это ни очевидно, а забавно, что то, что с самого начала было ничьим, общим — то и пропадет первым. Можно составить довольно точный стоимостной ряд от воздуха до брильянтов —

и это будет последовательность растраты и исчезновения. И будут они — как это? — обратно пропорциональны! Так я же не об этом... я о том, как мне все нравится. Мне нравится земля, на этой земле и даже, как вы на ней устроились, нравится... что бы я ни говорил, как бы ни стонал — все это глупо. Потому что суть есть порядок вещей, и все так, по сути, и происходит, неизбежно, только мы не всегда понимаем и тогда хотим, а может, наоборот, хотим — потому не понимаем... Так что про воду, я ее хочу и не понимаю и понимать не хочу — это и счастье. И ладно. Мне еще можно объяснить, поставив воду за данность, что, мол, источник, насос, башня, труба — водопровод... я пойму, что человек мне что-то объяснить хочет, это-то я пойму. Но вот чего она мне течет?.. Он, объяснитель, будет горячиться, возбуждаться, глаза таращить — он никогда не будет знать, объясняя, что же это ему так понятно, так ясно, как шоколад. Шоколад, видите ли, ему ясен, не то что вода! Он ни за что не хочет стать сумасшедшим, как я, не понимает он не хочет — не хуже других! — так и будет окружать понятия бессмыслицей слов, пока не завалит, чтобы не видно, накинёт на явление рваную сеточку слов, кое-как накроет — и ладно, поймал... Вот такие люди очень любят пояснять, как они этот мир поняли и расценили: такое удовольствие, такая ясность и упорядоченность!.. Значит, милочка, берешь кастрюлю, лучше такую, а не такую, зажигаешь огонь — во-от такой, посолишь столько, нарубишь того и сего, так и столько, положишь сначала то, потом уж то, не перепутай и — борщ! вот если все так и сделаешь, как я сказала, то все и пальчики оближут и не нахвалятся... Как они любят перечисления того, что им понятно! как славно мыслить борщом, где все, как надо, уложено! ну, что за удовольствие жить в этом мире, когда все так складно получается... Какая кастрюля? откуда картошка? почему — суп?.. Нет, мир без молитвы совершенно безнадежен в умственном отношении. У Тургенева, помните, пожалуй, в «Отцах и детях», в эпилоге, про Петра: «Он совсем оконечен от тупости, выговаривает все Е, как Ю: я т ю п ю р ь о б ю с п ю ч ю н»... Обюспючны все теперь... Тюпюрь... Вхожу это я в магазин, в то самое «ниоткуда», откуда Рудик все это принес, — дед сделал широкоплавный жест, благословляя стол. — Там баба, ну, баба и баба, дрянь баба, старая, толстая, бородастая, сипит, бородой трясет: мол, ничего в магазине нет, — а я как раз благодарю Бога — маленькую беру... и в этот момент она мне такое говорит. Тьфу, думаю! А это что? Это что, тебя спрашиваю! не товар, по-твоему? Думаешь, в витрину нечего положить было —

так мусор выставили? И я прав, потому что витрины прямо так и завалены самым разным некрасивым российским товаром, который есть можно... Ты что же, говорю, баба, думаешь, что эти плавленные сырки и не ест никто? Сыру, видите ли, ее сорта нет... Что, кашу не варят? и консервы не едят, камбалу в томате? все едят и варят. Вся Россия что, по-твоему, ест?.. Эти лиловые камушки, думаешь, что? это киселек, очень съедобный... вот и пряники, свежачок, всего недельные — и зубок не надо! а? Тут меня участковый под белы рученьки... И не грубо, справедливо и серьезно так берет, татарин, а не бьет, только славно так выводит и провожает домой. И маленькую не отобрал — понял, значит... Народ, значит. Нет, они потрясающе устроились! эти люди... Все выверено, никаких излишеств, ровно столько, и — справедливо! справедливо все до чрезвычайности, заметьте! не надо только нарушать, а надо соблюдать! Ну, с нарушителя — и особый спрос. То, что ему не всегда хватает, не все, так сказать, удобства — это же логично, понятно. Зачем хотел больше других?.. Но, главное, система эта обеспечивает счастьем тех, кто в ней находится и за края не высовывается... Кто ж его заставляет — высовываться?.. Да, потрясающе все устроились — и уверены в этом. Заметьте, системы хватает даже на придание уверенности — она сильна!.. Вот иду домой — посреди поля стоит человек, стоит и стоит — нечего ему там делать. Рядом с ним — столбик, на столбике табличка от ветра качается. Ничего вокруг, никого. «Вы уверены, что оно придет?» — спрашиваю. «Кто?» Он даже испугался. «Да то, — говорю, — чего вы ждете?» — «Вы о чем?» Смотрит на меня, и правильно, как на сумасшедшего, что же он может ждать? «Автобус, — подсказываю я ему, — вы уверены, что он придет?» — «А...» Он успокоился, поняв меня по-своему. Смотрит почему-то на часы, а не на дорогу и говорит: «Почему же ему не прийти? Через минут пять придет». — «Да почему же вы так уверены, что придет!» — взмолился я. «Знаешь, дед, — сказал он, — налил глаза — и проваливай. Неудобно даже, в твоём-то возрасте, к людям вязаться». Ничего попался, не злой, а то ведь и побить мог, от уверенности-то... Так вот я, пожалуй, не утратил способности поражаться или тихо удивляться миру — но это, так сказать, удивление благостное: молитвенное, здоровое, питающее... а от чего сойду с ума, так это, что все считают всё естественным, само собой разумеющимся в этой жизни... Да откуда вы взяли? Я тут иду недавно, смотрю, рядом с одним из здешних домов большой котлован вырыли... метрах в десяти, может, от цоколя, редко бывает так близко... дом еще чуть повыше остальных сам

по себе... и вышел он, как над обрывом — такая коробища! смотрю — так он же просто на землю положен, ну, просто, как спичечный коробок... и ничего — стоит. До чего же тихая и терпеливая наша земля, думаю. Даже кожей не вздрогнет, мускулом не поведет, что мы по ней ползаем... А мы уж и уверены! видим — тихо... давай! И живут все в этом доме, из трухи сделанном, на землю просто так положенном, живут так же наверняка, как ложку ко рту подносят, и такой завели порядок!.. Ровно встают, ровно выходят, автобус их везет и привозит не куда ему, куда им надо, там они что-то делают, неизвестно что, и назад едут — тоже транспорт, и на этот раз их не подводит, приезжают — сразу разбираются, кто где живет, у них это специальными цифирками обозначено, они их помнят, цифирки эти совпадают с тем, что они помнят — они и не перепутываются; два раза в месяц за то, что ездят туда и обратно, им бумажки выдают, и каждый понимает, сколько он их получит, потом они на эти же бумажки наверняка же берут товаров и расходятся их же употреблять; входят под одну свою цифру, потом под другую, зажигают свет — светло, за окном пурга — батарея теплая... И не только устроились — но и все так ловко для себя устроили! — с той заботливостью и уютством, как разве в детстве в куклы играть возможно. Себе, заметьте, устроили — не вам! Вы-то себе ничего не устроили!.. Так что не ...вам и претендовать. Вы брезгуете, говорите: сублимация, подмена, су-ше-ство-вание!.. да, может быть, но — точное! Вам и не снилась такая точность! Вы несчастны сами как дураки. Вам любой скажет, что вы дураки... Вам кажется, вы — духовны и потому свободны. Но и ваш протест, и ваша смелость, и ваша свобода отмерены вам, как по карточкам. Все вы хором обсуждаете те кости, которые кидают вам сверху, — а там, по-вашему, не может быть ни духа, ни даже ума... Однако самостоятельность и свежесть своей независимости дано вам обнаружить лишь по отношению к позволенному. Вы будете читать «Улисса» в 1980 году, и спорить, и думать, что вы ртвоевали это право... Это я вам говорю во «второй половине пятидесятых», — а вы проверьте. Тут-то конец света и поспеет. Представляете, конец света, а вы не успели Джойса достать. Джойсу будет более дозволена ваша современность, чем вам. Мысль о вашей зависимости вам недоступна. Завистники вы, неудачники, несостоявшиеся вы, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем... Я-то хоть научился не считать, что то, что мне не нравится, того — нет. Не для меня, но — есть. И у меня прямо душа падает от

ловкости, цельности, сладкой целесообразности людского мироустройства...

За это все выпили, сам Бог велел. Рудик сказал:

— Теперь-то я понял, как вы тогда заблудились... Когда про цифирки на людских жилищах сейчас говорили так зло...

— И ничего не зло, ничего-то ты не понял! Нужны эти цифирки, какой дурак станет их отрицать — как же без них! А заблудился я сам, по собственной дурачности и... ты же, Левушка, не знаешь, что киваешь-то? Тебе еще подсказать надо, о чем речь... Пошел я за хлебом как-то, не так давно, и заблудился. Дома-то одинаковые. И адрес свой забыл — ну, вылетел из головы. Ходил, ходил — холодно — и заплакал. Отменил уже лишения в своей жизни, решил, что больше не будет — и вот так ослаб. Вернулся в булочную, сел и плачу. Вызвали милиционера. Он говорит: дед трезвый, память потерял, это не моя функция, а врачей. Вызвали «скорую»; врач говорит: дед здоров, забыл адрес, дело милиции отвести его домой. Долго спорили. Наконец, врач, интеллигент все-таки, молодой, симпатичный такой юноша, плюнул в сердцах и взялся за дело: подъедет к дому: «Твой?» — говорит. «Может, и мой», — говорю. «Тьфу!» — говорит. Осенило его — детей стал спрашивать: «Ваш дедушка?» — «Нет», — говорят. Потом в каком-то доме признали — мой дом и оказался. Больше из дому не выхожу.

Лева чуть не плакал: что сделали с человеком! Но сдержался, заговорил о другом, сильно издалека.

...Дед прервал Леву на полуслове.

— Почему же не заслуженно! Почему же не заслуженно?.. — напал он, как петух, поворачивая к Леве голову боком — живой стороной лица. В голосе его звучала чуть ли не обида. — Я именно заслуженно пострадал... Словечко-то какое! Заслуженно! Меня посадили за дело. Я никогда не был бездельником, не был несерьезен. Я не горжусь этим: быть всегда серьезным — пошлость. Но я был им и до сих пор остаюсь. Если бы я не был серьезен, я бы сейчас с тобой не говорил! Я бы выгнал тебя к бениной маме в шею... Господи! они еще спрашивают и удивляются: когда, мол, все это началось? Да давно, давно началось! Когда интеллигент впервые вступил в дверях в разговор с хамом, стал объясняться — тогда и началось. Гнать надо, в шею! — Шея у деда действительно иллюстративно налилась, Лева забеспокоился за второй удар, но зря: дед уже не был серьезен, он выступал.

У него были проверенные слушатели, и Лева — жирная наживка. — В отношении меня все справедливо у этой власти. Я не принадлежу к этим ничтожным, без гордости людям, которых сначала незаслуженно посадили, а теперь заслуженно выпустили... Власть есть власть. Будь я на ее месте — я бы себя посадил. Единственно, чего я не заслужил, так это вот этого оскорбления реабилитацией. Меня уже нестрашно: я — шлак. Меня выбросили на покой — я как узник отслужил свое и больше ни на что не годен. Так в учебных заведениях поступают с рабочими в странах капитала. Я им не опасен — я им не нужен. Вот тебе квартира, вот тебе пенсия. Причем — как подарок, как компенсацию, чтобы еще раз унижить, напомнив, что я им ничего не смог сделать... будто я трудом не заработал таких-то вещей. Я полагал себя слишком гордым, чтобы быть сломленным — я менялся сам. Как та девка, которая видит, что сопротивление бесполезно и ее все равно изнасилюют, именно от гордости может раздеться сама... Я сломался лишь сейчас, после «освобождения». Я никогда не болел — первое, что со мной здесь случилось, это удар. Я стал рассыпаться. Я не мог с этим смириться и стал старательно пить, чтобы рассыпаться сам — мне нельзя. Значит, я сам могу хотя бы одно сделать — то, что мне нельзя. Мне жить нельзя. Я не выживаю, Левушка. Я другой человек — я не имею уже ровно никакого отношения к тому, к которому ты пришел. Это жестокость делать такое с человеком дважды! Сначала изнасиловать — потом заштопать и объявить целкой. В результате — к семидесяти-то годам! — все их потратив на то, чтобы жизнь, какая ни была, была бы моей жизнью, я могу сказать, что не справился с жизнью... Когда меня взяли, я, чтобы избежать насилия, чтобы меня не брали (как ту девку), — сам ушел с ними. Я поставил крест на своем прошлом, на своей работе и призвании. Я понимал жизнь так и так себя понимал, что все, происходящее по судьбе с человеком, должно стать его жизнью — это стало моей жизнью. Я прекрасно работал, был хороший прораб, я умел думать материалом жизни, не все ли равно каким: словом или грунтом и стройматериалами. Я стал другим человеком и был им все эти двадцать семь лет, я — другой человек! На ... мне такая справедливость, чтобы я насильно становился снова тем человеком, каким был тридцать лет назад! Тогда мне было сорок, теперь семьдесят — это ли не разница! да и будь мне тогда семьдесят, а теперь сорок — я бы не был способен в третий раз сделать эту жизнь своею. Как смели те же люди, отвершив несправедливость, — они же

и восстанавливать ее!.. В лучшем случае, это цинизм: выходит, они всегда знали, что делают. И тогда знали, что через время, через мою жизнь, отменят ее! Они-то как раз и сделали так, что отменили тридцать лет моей жизни, вернув меня в прежнюю точку. Мол, это ошибка, что я жил эти тридцать лет так, как я их жил. А я их уже не проживу иначе. Не мытьем — так катаньем: не вышло отменить в тебе твою жизнь, посадив, отменим — отпустив. Вот вам двухкомнатная квартира — издевательство, бритая ухмылка... А может, я хочу там остаться, может, у меня там баба осталась, коротконогая безграмотная дура? она — уголовница, ей, видишь ли, нельзя в большие города... Сначала все это было судьбой, теперь — это уже возмездие. Слишком, нельзя столько. Казнь — пожалуйста, возмездие — хоть оставьте Богу! Вы помнили меня всегда только таким, каким посадили! — Он уже давно обращался только к Лева, а теперь тыкал просто ему кривым пальцем в грудь. — И таким же, сволочи, хочешь меня сейчас, через тридцать лет, потому что для вас этих моих лет не было! Ваши были, а моих не было! Я должен был вернуться тем, гениальным, сорокалетним, в отложном воротничке... чтобы бабы падали, — а теперь разочарованы, что видите меня другим? Вот вам, что осталось... — Он полез расстегнуть и показать, но слишком долго искал — его остановили.

Лева испугался и протрезвел: он устал мучиться его мукой, не той, что в словах, а другой, которая была над его словами, от собственных слов. Деда выворачивало и переворачивало от ничтожности этих слов. Он знал, что хотел сказать, — и не мог сказать. Он знал, что не стоит никому ничего говорить — и не мог не говорить. Он раньше всех слышал собственную пошлость, даже если ее не слышал никто, его сташнивало — и не наружу.

Его остановили — он обмяк. Старый и жалкий, отменивший к себе жалость, и еще раз запретивший ее вот сейчас. К нему нельзя было притронуться, никак, не было такого движения, не осталось, каким бы можно было это сделать, не было и кому...

— Мне некому даже рассказать о своей жизни — вы не поймете, — сказал он скорбно и тихо, но даже не театрально. — Ему? — Он ткнул в Коптелова. — Он и так знает. Ему? — Он ткнул в Рудика. — Он, сирота, и так не поймет. Тебе? Ты — и так не знаешь... Это глупости, что я сержусь

на твоего отца, — (он не сказал «сына»), — у меня просто нет сил.

Ему налили, но он не выпил.

— Ну, и как же он живет? — спросил притихший и успокоенный, словно даже трезвый и виноватый, дед.

Этот переход, такая перемена — уже не удивляла Леву: он стал свидетелем уже нескольких подобных... Амплитуда поведения деда была столь постоянна и очевидна, что, при желании, ее, наверно, можно было бы выразить математически в виде некой кривой, причем достаточно было бы уже двух опытов — третий был бы уже проверочным... Эту «кривую» можно описать по-разному, лишь смещая точку начала описания, координаты в графике, где по одной оси откладывается количество водки в миллилитрах, по другой — «кайф», в каких-нибудь единицах мысли (выбор подобной единицы и есть самое сложное...), выражающих меру самостоятельности, новорожденности и крутизны ее...

Сначала как бы ничего нет: пульсирующее дрожание и неподвижность, весь мир — в рассыпанном и чрезмерном разнообразии, без возможности предпочтения, без воли выбора, — чистое нервическое поле, стрелка дрожит вокруг нуля — похмелье. Принимается доза, но действие ее не мгновенно, а состояние уже критично и невыносимо. Все это разряжается взрывом раздражения и агрессивности — способ преодолеть время и ожидание действия — поводом для срыва раздражения может служить что угодно, первое попавшееся... В этой, еще тупой, раздражительности проходит некоторое недолгое время, и ее настигает «кайф». Удовлетворение приходит на секунду к размягчению, к потере последовательности — «о чем бишь я...» — к провалу мутной полуулыбки... И потом происходит перерастание «первого кайфа» в собственно «кайф»: выступление деда, состояние, когда дед — дед: разбегавшиеся до сих пор ум и сердце слиты, мысли и чувства как бы сфокусированы в этом возродившемся центре реальности... И речь эта растет и ширится — и обрывается столь внезапно, будто кончается механический завод. Это так и есть: решительное доказательство «химизма» духовных процессов алкоголика, — «действие кончилось».

И дед был не только достаточно умен, но и достаточно «сознателен», чтобы понимать это. Оскорбление алкоголем, унижение от «химизма» собственной мысли (то есть, уже

в любом случае, ее условность, относительность, НЕестественность), неспособность прийти в состояние мысли «наяву» — были предметом особенно сильных, особенно невыносимых терзаний деда, которые, в свою очередь, были тоже унижены и тоже «химизмом», химизмом похмелья.

Он был оскорблен и унижен, мысль его была унижена в буквальном смысле слова — она не достигала реальности. И если «зрители и слушатели» могли быть удовлетворены и даже восхищены его речью, то это восхищение осколками, периферийным мусором былого здания дедовского духа служило ему дополнительным, непереносимым уже оскорблением, он гневался и выпивал еще и снова гневался в ожидании «кайфа».

— Ну, и как же он живет? — спросил дед, как бы тихий и виноватый...

Леве представился еще шанс. Обескураженный с самого начала, а теперь и просто напуганный дедом, его бурным нападением, его резкостью, его обвинениями (действительно ведь, скорее уж дед повинен в судьбе Левы, чем Лева — в его судьбе...), он еще раз попробовал истолковать все по-своему, так, как он мог бы все это понять и принять, так, как на самом деле не было...

В этой, внезапно наступившей, тишине и виноватости деда и в том, что тот спросил-таки Леву про отца, про сына, причем то, что дед не называет отца «сыном», было тут же отмечено Левой, с некоторым удовлетворением от собственной наблюдательности — усмотрел он, «как, на самом деле, страдает старик», как ему пусто и одиноко без них: без семьи, без какого ни на есть сына... Роль Шекспира в трагедии Лира... у Левы даже в носу защипало от такого предположения чувств. Это он (дед) от несчастий и несправедливости такой неуживчивый и злой, а на самом деле он — добрый (все-таки на Леву произвели сильное впечатление педагоги начального образования: «Ты, на самом деле, не злой мальчик, ты хороший, на самом деле, мальчик. Это у тебя наносное. Скажи, кто написал на доске нехорошее слово — и будешь хороший мальчик...» — и — по головке, головке — первое растление...), на самом деле, думал Лева, все это у деда лишь вызов, «наносное». Он почти представил, как он, Лева, найдет все-таки, очень постепенно, очень тонко, подход к делу, ключ, растопит лед обид и горя и, хотя на закате дней, деду улыбнется любовь и очаг... но тут, почти уже рассадив их всех за вечерним чаепитием, увидел он деда рядом с отцом и напротив дяди Диккенса — стало ему на секунду не по себе от такой невозможности, и, чтобы не потерять умиления, он

тут же стер эту картинку с внутренней стороны лба, сначала подумав, для перехода, что да, раньше могли еще быть и бывали разные люди (дед и дядя Диккенс), а потом уже снова, окончательным постановлением: что, на самом деле, дед — нежной души человек, что и доказывается его грубостью.

И поскольку ему сейчас надо было рассказать деду что-то об отце, отцу — о сыне, да еще в свете всякой душевной тонкости по «растоплению льда», он начал так выбирать, что сказать и чего не сказать, а главное, как сказать, так много в нем оказалось этой душевной тонкости, состоящей из ровности голоса, убежденности интонаций, честной открытости взгляда, — что он очень всем этим увлекся и уже как бы не сам говорил, а с тем самым вниманием и внезапным спадением напряженности, с тем самым оттаиванием, предназначенным деду, слушал сам, как говорит Лева: откуда-то падал его душевный и располагающий голос, — и совсем не слышал того густеющего, остывающего молчания, которое вдруг повисло в комнате и не таяло.

— Эх тебя, батенька, опять перекосило! — тихо, но как-то очень слышно сказал дед. Лева так и остался с половиной слова во рту... — Странный ты все-таки малый... Может, вы все теперь такие? Ты, по-видимому, совершенно искренне — слышишь, Левушка? я не сомневаюсь в твоей искренности, быть искренним, кажется, важно тебе... — совершенно искренне никогда не бываешь самим собой... По-видимому, нынешняя система образования — более серьезная вещь, чем я думал. Я думал просто — хамская и невежественная... Но нет ведь! Попробуй научи человека не собственно пониманию, а представлению о том, что он понимает и разбирается в происходящем — это потрясающий педагогический феномен! Для тебя не существует ни фактов, ни действительности, ни реальности — одни представления о них. Ты просто не подозреваешь о том, что существует жизнь! Но пищеварение хотя бы у тебя происходит? Ты... ходишь? Прости, Левушка, я не хотел тебя обидеть... Вот ведь с тобой и говорить-то по-человечески нельзя, потому что у тебя заранее есть представление о том, что тебе должны сказать, и отношение к этому представлению — тебе и обидно, что они не совпали. Тебе будет долго и напрасно больно, Левушка, раз так... Необъясненный мир приводит тебя в панику, которую ты принимаешь за душевное страдание, свойственное только чувствующему человеку; объяснить, я вижу, ты еще ничего не в состоянии; тогда единственный для тебя выход благополучия (и ты им как-то парадоксально расчетливо пользуешься) —

иметь объяснение происшедшему раньше, чем оно произошло, то есть видеть из мира лишь то, что подходит твоему преждевременному объяснению. С чего ты, например, взял, что, что бы я ни говорил вслух — втайне (подтекст? такое теперь слово?..), втайне чуть ли не от самого себя, я страдаю? Почему ты так уверенно различаешь, что «естественно» и что неестественно? Кто тебе прочел указ о том, что, раз полюбив, любят всю жизнь? Что возникновение чувства — хорошо, а потеря — плохо? Кто и когда успел тебе внушить, что все именно так: дед любит внука, внук уважает деда?.. Ты не предстанешь ни разу, таким образом, лицом к жизни, но, боюсь, что это не выход, и она тебе даст по жопе — и тебе опять будет больно, странно и неожиданно. По-видимому, умными тебе кажутся те люди, которые говорят то, что ты недавно понял за умное, а глупыми — те, кто говорит еще то, что ты недавно уценил как неумное. Ты все время будешь, таким образом, достигать более высокого уровня, чем тот, на котором находился, ты всегда будешь подниматься вверх на одну вчерашнюю ступеньку. А чем отличается умный от глупого? Это, между прочим, очень сложный для сформулированного ответа вопрос. Я, например, как правило, не могу себе на него ответить. А вот сейчас мне показалось, что умный от глупого отличается, как раз и именно не уровнем объяснений происходящего, а «неготовностью» этих объяснений перед лицом реальности. Ты слышишь меня? Или опять ешь завтрашнее, а перевариваешь вчерашнее?.. Знаешь, что такое то, что ты съел вчера?

Это Лева хорошо знал — ему объяснил дядя Диккенс. Но он уже не слышал деда с того момента, как было произнесено слово «глупый». Он ничего не мог поделаться со своими губами — они набухли, топырились и подрагивали. «Меня, кажется, назвали глупцом», — думал Лева.

Лева не слышал, да дед ему и не говорил. Он повернулся к «своим» слушателям и говорил уже им, потому что эти соображения чем-то увлекли его...

— Ум — нуль. Да, да, именно нуль умен! Пустота, отсутствие памяти, заготовленности — вечная способность к отражению реальности в миг реальности, в точке ее осуществления. Ум — это больше, чем мозг, чем сердце, чем знание там, образование... Ум народен. Ум — это способность к рождению синхронной с реальностью, отражающей мысли, а не цитирование, не воспоминание, не изготовление, по любому, пусть самому высокому, образцу — не исполнение. Ум — это способность к реальности на уровне сознания. Ни

для чего, кроме живой жизни, ум и не нужен. Вот так, пожалуй...

Он разлил последнюю бутылку по стаканам с удовлетворением.

— Чего я не встречал, — усмехнулся дед, — так это людей, считающих себя глупыми. Между прочим, это может оказаться одним из секретов власти... Легко управлять людьми, которые ни при каких обстоятельствах не способны показаться себе глупыми в собственном представлении. Поэтому им надо льстить, восхищаться их умом, чтобы они никогда не струнулись с места. Хорошо, в этом смысле, всем дать образование, чтобы уж никогда не могли они посчитать себя глупее других.

В основе ума лежит незнание. Поэтому ни один обучившийся не станет умным. Нуль еще умен — пятерка уже глупа. Жизни нет там, где она уже была; и не надо ту жизнь, которая была когда-то или которая есть где-то, искать сейчас или здесь. Выпьем! Выпей и ты, Левушка, не расстраивайся... Ты, Левушка, главное, не расстраивайся...

Левушка расстроился и выпил залпом все свои сто двадцать пять граммов, а делить дед умел, так что там было не больше и не меньше... И тут с Левого произошло что-то странное. Он почувствовал, что трезвеет. Печальное его положение показалось ему смешным, причем он не помнил, в чем оно состояло, это положение, — смешной показалась сама печаль. Он рассмеялся. Весь этот не уместившийся в нем вечер куда-то пропал, и он как бы только что вошел с мороза, со все теми же выношенными намерениями из гипотезы «дед-внук», никак не покачнувшейся и ничем не расшатанной. А дедушка для этого случая надел черную камилавочку... Тут Лева увидел двух незнакомых, малосимпатичных незнакомцев — они смеялись.

— Чего вы смеетесь? — сказал Лева. — Мы не пьем — мы трезвеем. Вообще, трезвый человек — на самом деле, пьяный, а когда пьет — трезвеет.

— Молодец! — сказал дедушка, поправляя камилавочку. — Вот о себе и расскажи. Ты никак по стопам отца?

— Нет! Нет! — как «чур меня, чур», воскликнул Лева.

Тут он попросил, чрезвычайно светски, у Коптелова папироску, затянулся с тем серьезным видом, что неизбежно и беспричинно находит на людей перед тем, как ткнуть окурком в пепельницу, и... откуда-то бежали мускулистые гребцы, кто-то сказал «отчаливай», кому-то крикнул «прощай», галера набирала ход под дружные вздохи лоснящихся весел, деревянная баба

на носу принимала удары волн своими голыми титьками, причем он как-то умудрялся видеть их, хотя стоял на палубе и командовал гребцам... Палуба снова накренилась... Кажется, приступ морской болезни... в глазах потемнело и разошлось — Лева снова сидел в комнате и понимал, что давно уже говорит, а все слушают. Он услышал, как сам произнес слово «литература», но, что было перед этим словом, об этом он не имел никакого представления... «Литература-кура-дура», — подумал он, но язык спасительно произнес какую-то связную фразу, смысла которой он не понял, но в ней было слово «культура».

В комнате стало жарко, он расстегнул пуговицу. Ему показалось странным, что они давно уже и не пьют ничего, а он пьянеет с каждым своим новым словом. «Да нет, я не пьян, — изумленно сказал он себе, — как же я могу быть пьян?..» «Отличие истории от географии...» — подумал он, все еще продолжая говорить, кажется: «...как отличие старой от крашеной...» Он глубоко до боли вдыхал прокуренный, пропахший закуской воздух, напрягал все мышцы — комната фокусировалась на миг, он четко и отдельно видел деда, стоявшего посреди комнаты: он пускал свой махорочный дым, и обе половины его лица словно бы стали равны... — и Рудика, неподвижно и презрительно смотревшего чуть вверх и вбок, и Коптелова, крутившего перед собою стакан и больше внимательно не смотревшего, словно все уже знал до конца... Лева задержал дыхание и, с секунду, сохранял перед глазами эту картину; потом, сам собою, последовал выдох, и все разбежалось снова: и дед, и Рудик, и Коптелов, откуда-то бочка, распятие, цвета и звуки, слова и мысли, — все это снова клубилось перед ним, слегка пританцовывая. И все это время он продолжал говорить.

Наконец галера его проскочила этот узкий, тошнотворный пролив и вырвалась на спокойную, просветленную, открытую гладь — считать паруса и пробоины, менять мертвецов на гребцов... Но лучше бы она не вырывалась на эту гладь!.. К Лева стала возвращаться память, отматываться назад, и все стремительней: вот слово, сказанное минуту назад, вот фраза и вот, внезапно, вся его речь — общей массой, в неразличимости и слитности слов, но в отчетливости ее целого смысла — как удар. Лева даже зажмурился от ослепительного света непоправимости.

Потому что Лева наговорил о том, о чем, уже было по всему ясно, говорить ему категорически не следовало: о трудах деда, о всей их старой школе, о том, как он, Лева, сам, своим умом и собственными силами (скрип зубовой теперь от стыда)... как

он, Лева, хочет прибегнуть к их методам, хотя бы отчасти, в собственной работе... Лева вспомнил, как изо всех сил старался польстить деду, ждал поощрительной реплики и даже похлопывания по плечу, намекал ему на необходимость удивления и восхищения перед столь решительными достоинствами внука (немой вой, холодный пот)...

Этот процесс отрезвления шел, все убыстряясь, неким просветлением и помрачением (от непереносимости) одновременно, и Лева становилось холодно, потому что, из мути комнаты, перед ним проявлялось застывшее лицо деда, и дело было не в наконец установившейся отчетливости физического зрения, не в отчетливости черт этого лица, но в отчетливости его целого смысла — и это было опять, как удар и вспышка непоправимости.

Но вот уж чего ему не следовало делать — так это поправляться! Это верно, что от безнадежного ощущения, что здесь он с первого шага все время попадал не в ногу, не в такт и будет НЕ попадать, чем больше будет стараться попасть, что он уже обречен, потому что от него ждут непопадания (дед — ладно! Но что он ИМ-то, ИМ-то сделал?? Чем он перед этими-то двумя виноват! зачем еще эта несправедливость?..), что даже если он чудом угадает и попадет, это будет тем более не в такт! — от этого ощущения Лева хотелось бежать, сжаться, уменьшиться до точки и исчезнуть, как бы уползти куда-нибудь подальше назад по времени, чтобы ничего, вообще ничего никогда не было, всосаться назад чуть ли не в утробу, просвистеть в утробу и раствориться в молочно-прозрачном дрожании... Лева хотелось вылететь с протяжным свистом из этой комнаты, вот, как он есть, вместе со стулом, спиной в окно — и это было бы верно. Не надо было только исправлять ошибки...

Слово «отец» пролетело по комнате, и Лева судорожно схватил его на лету, сжал в кулаке, как муху... Да, да! Именно здесь кралась, как ему спасительно представилось теперь, главная ошибка. Поправить всего он уже не мог, — но хоть не погубить все... Именно, когда говорил об отце, он и совершил главный и непростительный промах: рассказал деду все не так и не то, что хотел услышать дед. Он пытался рассказать как бы отцу о сыне, а надо было рассказать деду об отце, то есть о том, как он, Лева, все это видит и относится... Именно эта «ошибка» показалась сейчас Лева главной, а главной она показалась ему, возможно, лишь потому, что именно тогда, по Левиному мнению, его обозвали «глупцом». Почему это было все-таки самым обидным для Левы, может, дед и объяснил, да

Лева не помнил. Вот ведь странно: ни на какое другое оскорбление Лева не хватило бы ни достоинства, ни гордости, ни даже самолюбия, — а вот глупцом он категорически быть не желал и, что еще безнадежнее, в любых глазах...

И, подцепив из воздуха черное и фрачное как муха, слово «отец», он быстровато заговорил о нем, извиваясь, по мере этой быстроватости, и все сильнее чувствуя это свое извивание... О том, как он узнал, как отнесся, что узнал и как поступил — и тут было все больше неправды и наговора: он раздвигал, отлеплял себя от отца как бы специальной лопаточкой, отдирал, отковыривал, подравнивал края разрыва... И они с отцом становились уже всегда, с самого рождения, противоположны; отталкивание шло инстинктивно, когда Лева еще только чувствовал, не зная что, но чувствовал так правильно, такой он природный молодец, что и узнал потом, почему он так чувствовал...

Лева мучился извиваясь, извивался мучаясь. Ох, как бы ему хотелось захмелеть обратно! И он почти достиг этого от непосильности взваленной на себя ноши и раздавленности ею. Зачем он сам, добровольно — никто его за руку не теребил — соскреб весь свой день в кучу (получилось много) и хотел унести? Он не мог стронуть с места эту ношу жизни сегодняшнего дня. Он почти опьянел от тяжести, глаза застлала душная близорукая невидимость, он начал путать слова, не понимая уже, что говорит, и испытывая даже какой-то подъем от того, что он отдает и отдает кому-то все: и отца, и себя, и дядю Митю — и все это чуть ли не с удовольствием, с непонятной даже радостью. Так — непосильную и драгоценную ношу уронить в грязь, не донеся, и почувствовать все равно облегчение... Хотя бы и мать, была бы сестра — и сестру — и это почти наслаждение...

Что-то встряхнуло его, он как бы открыл глаза и увидел над собой нависшее, слишком большое лицо деда. По темно-красному лицу мелькало что-то со свистом, рот был криво открыт — Лева понял, что дед кричит. Он это понял, но крик услышал не сразу, крик, похожий на звон, как бы прорвался с полуслова, будто в приемнике резко включили звук...

— ...О-О-ОН! О-О-ОН! Ты же об ОТЦЕ!.. Мне! ОТЦУ!..
Во-о-о-о-о!

«Вот он». Дед кричал, но как-то снова невнятно, словно во рту у него был слишком толстый язык, не слушавшийся и не умещавшийся...

Лева вставал, зацеплял ногой стул, стул качался и не падал. Рудик тоже, вскочив, стоял как-то гневно и наклонно и нарушал законы равновесия. И даже взгляд Коптелова нарушил свое внимательное равновесие некой эмоцией, к Лева никак не относившейся...

— В семени уже предательство! В семени! — орал, сидя на стуле, дед, не то стонал. — Бескорыстно уже, абстрактно...

Лева ловил из рук Рудика пальто, шапку, шарф. Выходил, пятясь, рука в одном рукаве, роняя, поднимая, обнимая и пальто, и шапку. Натыкался спиной на углы и косяки...

Лева стоял на площадке, в последний раз уронив шапку и в последний раз поднимая ее, еще чувствуя неловкий и несильный, но обидный удар Рудика, пришедшийся вслед... и дверь, казалось ему, еще дрожала от удара, и «Запродано! Запродано!...» — звучало в ушах, как заскочившая пластинка.

В тихом оцепенении спустился он вниз, бережно и медленно неся себя как бы спеленутого и трогательно-легкого... Морозный ветер, с особой силой раздувшийся к ночи, нахлестал его по щекам, тут же, не выходя из подворотни. Подворотни, впрочем, не было, как не было и улицы — все был один большой двор, по которому метался, свиваясь в сухие злые смерчки, ветер. Ему было здесь просторно, ничто не ограничивало его и не направляло, в каком-то смысле ему было некуда дуть — и он дул всюду. Снег уже начинал прикрывать эту пустыню, с шорохом прокатывался по оставшимся лужицам асфальта. Раскачивались туда-сюда тусклые пятна света под редкими, расставленными по непонятной системе фонарями. Людей не было, машин не было, улицы не было — дороги не было.

Лева брел в этом неудавшемся пространстве, вываливаясь в дыры света и снова пропадая. Его трясло крупной неправдоподобной дрожью: не было бы преувеличением или образом выражение «стучать костями» — оно было бы буквально. Вдруг впереди ниоткуда зажегся глазок такси — в это трудно было поверить: мираж, немислимое счастье... Лева заспешил, уже ничего не различая, кроме спасительного зеленого пятнышка. Оно было неподвижно — его не могло быть — оно должно было отъехать и умчаться, как только он побежит к нему, стоит только не добежать двух шагов... И когда пятнышко потухло и снова зажглось, сомнений у Левы не оставалось: он — сходит с ума, тронулся, «поехал»... Такси было совсем близко, но те несколько шагов, что он проделал, показались Лева бесконечными. Он

странно почувствовал протекание времени сквозь себя. Оно было неравномерным и как бы прерывистым: оно тянулось, вытягивалось, утоньшалось, образуя шейку, как капля, и вдруг — рвалось. Так он долго шел к зеленому огоньку, совершенно ни о чем уже не думая, потом все-таки побежал, размахивая руками и крича — ничего пока не менялось, огонек оставался на месте не приближаясь...

И вдруг он уже сидел в такси и ехал. Шофер и на ходу продолжал возиться с глазком, прилаживая контакт. Это правдоподобие показалось Леве ужасным.

Он немного согрелся и перестал трястись. Его слегка разморило, и тогда он сильно обиделся. «Как же так... — невнятно думал он. — Я только впервые, может, все это, настоящее, почувствовал, никто меня этому не учил, так что это моя заслуга, я со всем открытым сердцем... а мне — нате! Так и не надо тогда! — прозлился он и стер рукавом слезу. — Подумаешь! Старый болтун, дурак...»

Он еще успокоился и подумал тверже, как окончательное решение: «Он вовсе не умен», — имея в виду, что дед если б был умный человек, то разобрался бы в Левином состоянии... что даже некоторые неловкие противоречия в Левином поведении — вполне понятны и оправданы его волнением, вызванным встречами; даже несоответствия самому себе — естественны и допустимы. Любопытно, что, так рассуждая, предъявляя претензии чужому уму в том, что тот непременно должен был разглядеть Левину прекрасную суть именно сквозь полную неточность поведения, — самому деду Лева приписывал поведение окончательное и точное, приняв каждый жест его и слово за чистую монету, за полное соответствие мысли, чувства и их выражения, — и тогда: «Он вовсе не умен», — сказал себе Лева.

Он еще успокоился — его еще разморило. Все поплыло плавно, светившаяся приборная доска сместилась куда-то влево, голова покачнулась и упала на грудь, с усилием вернул он ее на место — тут они взлетели на мостик и упали вниз. Все ухнуло в Лева, подкатилось, и его вытошнило.

На темной и пустой улице шофер надавал Леве по шее и, резко, с матом, газанув, уехал. Но это было уже совсем близко от дома.

Дома никто не спал — ждали. Лева мерзко ослабилась и, не сказав ни единого слова, прошел в свою комнату, как бы отодвинув, почти с удовольствием, просящий взгляд отца и умоляющий — матери. Раздеваясь, он почувствовал, что стал хуже за этот день. Он так себе и сказал в двух словах: «Стал

хуже...» Это было новое, неожиданное чувство — он бы не мог сказать, почему хуже и хуже чего. Раньше он вроде бы не бывал ни хуже, ни лучше — был Левой. Сегодня же — «Стал хуже...» — сказал он себе и почему-то испытал при этом почти удовлетворение. Он стал хуже неясно чего и, содрогаясь от холодных простынь, как бы махнул на себя, на все рукой. «Ну и ладно», — сказал он себе. И еще раз, для полноты, и на самом деле махнул рукой, тоже не вполне сознавая на что; закрыл глаза — голова закружилась, кровать раза два провернулась вокруг как бы оси... И Лева пропал, его уже не было.

Проснулся же Лева до странности пустым и свободным и будто ничего не мог вспомнить. И если какая-нибудь тень картинки вдруг появлялась в его мозгу, он почти искренне не мог сказать, было ли то, откуда картинка и тень, на самом деле, или это отблеск полузабытого сна, кошмара, или ничего на самом деле не было.

Этого урока он еще не мог усвоить.

Он не извлек урока, но что-то в нем сдвинулось. Он потускнел, подернулся пленкой. А когда однажды появился дядя Митя с графинчиком, Лева ушел к себе или даже на улицу. Отцу он как-то раз грубо сказал, что в гробу видел эту реабилитацию, что ему смешна эта мода на «пострадавших», когда, на самом деле, ее попросту п о з в о л и л и , эту моду.

Что-то он все-таки извлек... Лишний раз убедился, что дядя Митя еще потому необходим отцу, что бывает в их доме не только сам, но и чуть-чуть «взамен» — взамен деда. Он это прекрасно понимал, но «справедливым» быть не желал. Справедливость была ему не нужна.

ВЕРСИЯ И ВАРИАНТ

Дед вскоре не выжил.

Он сбежал назад на поселение, но в дороге его поймали, вернули, лечили, учредили опеку — и он не выжил.

Или, сбежав, заболел он еще в дороге, как Лев Толстой, и умер в Печорской железнодорожной больнице, так и не доехав до поселка Сыр-Яга или Вой-Вож.

Или так. Деда принудительно лечили. Он сбежал и добрался-таки до Сыр-Яги, где его старуха, не имея никаких оснований ждать его, сошла с одним слесарем по фамилии Пушкин (всего лишь однофамилец)¹. Старуха тут же Пушкина бросила, и он каждый вечер шумел под окнами, пьяный. Дед же Одоевцев вскоре не выжил, потому что «вторичное» возвращение в «прежнюю» жизнь подорвало его последние силы. И он испустил дух под вопли старухи, на руках слесаря Пушкина.

Существует несколько легенд, по-разному акцентированных, по которым можно предполагать, как умер Модест Одоевцев. Однако во всех версиях, при полной противоречивости, наблюдается общий словесный ряд: принудительное лечение, побег, Сыр-Яга (она же Вой-Вож и Княж-Погост), опека (кто-то раз оговорился — «упека») и смерть. Последнее сходится во всех вариантах и всегда стоит в конце ряда. А остальные слова переставляются, что и меняет сюжет, причем принципиально. Сами Одоевцевы знают больше, но ни с кем не делятся. Слово «опека» исключено из их лексикона.

И мы не будем уточнять. Нам важна эта неясность, как краска, как мнимая величина при абсолютной величине смерти. Во всяком случае, с кем-то из наших знакомых что-то подобное было.

Панихида была довольно торжественна. Хорошо выбритая профессура особенно была вежлива друг с другом, особенно разминалась в узких проходах, не до конца качая голову,

¹ В таком совпадении нет ничего анекдотического. У моего приятеля в институте работают: завхоз Гончаров, дворник Пушкин и водопроводчик Некрасов. — однажды он их видел в магазине соображающими на троих. Любопытно, что Гончаров здесь старше Пушкина по служебному положению.

значительно роняя глаза. Все они что-то знали та кое о судьбе Модеста Одоевцева, который уже не знал о себе ничего. Они все знали, о чем молчали, — эта общность несколько опьяняла их, а это опьянение могли они приписывать, в свою очередь, возвышающему приобщению к смерти. Было много общего и в лицах, некое конституционное сходство... Были сказаны слова, были произнесены намеки — они еще более возбудили скорбящих некой посвященностью и причастностью к мужественному и немногочисленному противоречию неисчислимым силам зла. Голоса дрожали взволнованностью при приближении к намеку, обеспеченная опасность еще более спаивала всех, и смерть уже ничего не значила... Никто здесь не пришел поплакать над старым телом, которое еще вчера было живым, никто не пришел к человеку, который жил свою жизнь и потерял ее — все пришли к человеку, что-то когда-то написавшему, и скорбь походила на воодушевление по поводу, что он никогда уже ничего больше не напишет. И оратор, сумевший более прозрачно намекнуть, потуплялся так гордо и скорбно, будто это были его собственные похороны, и сходил явно с кафедры, хотя ее и не было. Но он делал-таки ногой, как со ступени, и чуть спотыкался, сделал этот неверный шаг, и некоторое время еще изо всех сил сдерживая себя, бросал-таки на публику торжествующе-просящие взгляды и некоторое же время не слышал следующего оратора...

Всем им было уже более выгодно, нежели опасно, и хвалить деда Одоевцева, и произносить намек. Одоевцев начинал входить в моду — они были ее жрецами. Как жуки выпускают свои локаторы и антенны, похлопывают друг друга усиками, — так они, инстинктивно, выверяли свой круг опоры и поддержки. Становилась новая пора.

Еще до смерти Одоевцева его имя упрочилось в упоминаниях и ссылках, ряд периферийных перепечаток его старых (пока небольших и непринципиальных) работ был, однако, всеми, кем надо, отмечен и прочтен. Шли упорные разговоры об издании его однотомника, но с этим, при благожелательном по тону отношении руководства издательства, пока тормозилось. Всем не хватало его смерти — и он умер. Казалось, того и ждали, дело с однотомником решительно подвинулось, его чуть ли не засылали в набор. В специальном журнале появился большой некролог, уже без оговорок ставивший имя Одоевцева в ряд... Впрочем, Бог знает, с кем его поставили в ряд...

Значительную и благородную, почти и бескорыстную, всеми отмеченную роль в приведении в порядок и популяризи-

зации наследия Модеста Одоевцева сыграли его сын и еще юный, но способный внук. Они и правда взялись за дело с рвением и охотой. Это было похоже на дело, реальность его была объективна, с тем отличием, что дело было уже сделано, причем давно, другим, теперь умершим человеком. Они теперь красили решетку, поливали цветочки, вели переговоры с одним передовым московским скульптором. Тут наш рот уже не кривит ухмылка: нам нередко приходилось видеть русского человека, делающего чужое дело с радостным оживлением и охотой. Например, объясняющего зрячему дорогу и даже провожающего его бережно и под локоток до трамвайной остановки, причем в другую сторону, чем куда он сам очень спешил. Или подробно, с удовольствием помогающего пьяному... или, с неистовой истовостью, сдающего еще непьяного в вытрезвитель. Все они пьянели от своей «образцовости». Во всяком случае, охотность, с какой взялись и сын, и внук Одоевцева за его дела, еще раз подчеркиваю, прежде всего, не выгодой объяснялась, а тем, что это было чужое и безусловное дело, причем уже сделанное. Отец после работы, сын, даже забросив учебу, рылись в архивах, писали письма, составляли и пересоставляли. Была в этом некая соскучившесть по делу, чесались руки, как у мастеров после долгих принудительных или заказных работ...

В семье возникал и разрастался благоговейный и фамильный культ деда. Фотографии все увереннее и все больше висели по стенам — и будто всегда уже висели.

На Леве это все сказалось положительно — он вторично «извлек пользу» из семейной драмы, правда, такую же, как и первая. Он — научился. Ему преподавали как раз те взволнованные люди, что хоронили деда, — и он усвоил не то, что они читали, он — их усвоил... Еще в университетских стенах он сумел определить свои творческие устремления, нащупав область, намечая тему, чем и выделился из общей студенческой массы, вяло подвигавшейся к диплому, и успешно шагнул со студенческой скамьи в аспирантуру.

В этом ему немало способствовал и отец. К тому времени мутная волна разоблачений несколько осела и начала спадать, отец сумел отделить напраслину от вины и свалить с себя вину вместе с напраслиной; он вполне справился, упрямился и даже помолодел.

Он был очень доволен Левой, почти гордился им. Лева относился к отцу мирно и снисходительно.

Противоречия отцов и детей несколько сгладились и значительно стерлись. Ров между поколениями был заполнен предыдущим поколением.

Десять лет, обещанных дедом Одоевцевым, прошло.

Лева жил, и никогда у него никто не умирал. Бабушку схоронили без него, да и было это слишком в детстве. Теперь они умирали один за другим, словно сговорившись. Так дружно однокашники женятся и рожают первенцев: все Анны или все Андреи... И вдруг, на тебе, так же дружно вымирают.

Дядю Диккенса нашли в холодной и чистой квартире, у потухшего «камина», с рукой на горле — он повязывал галстук. Он был уже совсем готов «к обеду» — он лежал, убранный и готовый в гроб. Никому ничего не пришлось делать, не пришлось «возиться», как сказал бы он сам. Так и выяснился еще один аспект мании дяди Диккенса к чистоте — готовность к смерти в любую минуту. Старый офицер...

Его похороны совсем не походили на торжественную насмешку над дедом Одоевцевым. Несмотря на свою бедность и немногочисленность, они произвели очень трогательное и неомраченное впечатление. Погода стояла на редкость чистая, и уголок на кладбище достался Диккенсу светлый. На похоронах почти никого не было, одни Одоевцевы да, к удивлению Левы, Коптелов. Коптелов шепнул Леве, что служил под началом Дмитрия Ивановича во время войны, — впрочем, больше они не поговорили. Мама очень плакала, и, опоздав и запыхавшись, появилась заплаканная красавица с венком от официантов «крыши». Он был «свой человек», дядя Диккенс, и ему это было приятно.

В общем, у Левы впервые умер р о д н о й человек. С дедом все было не так: там смерть была заслонена энтузиазмом рождения великого человека. За величие всегда взимается эта плата — человеческое отношение. Никого не интересовало, что дед был человек. Дед был дельфин, кто угодно, но не человек. С дядей Диккенсом же было наоборот: ничего, кроме человека, в нем не умерло, но и ничего не осталось после, ничто не рождалось, и эта пустота между смертью и рождением ничем не заполнялась, была н е в о с п о л н и м а. Со смертью дяди Диккенса — не стало дяди Диккенса.

И это была утрата. Только теперь можно было вполне себе представить, чем был дядя Диккенс для семейства Одоевцевых и чем оно было и не было — для него. Дядя Диккенс отнюдь не

был великим человеком в том общепринятом, «весовом», значении, но нам хочется подчеркнуть особое и редчайшее его величие, величие осознанности собственного «размера».

Он был не сильный и не большой человек, у него всего было не много, но он ничего себе не присваивал и ни на что чужое или общее не посягал, как это принято между людьми. Зато себя он помнил всю жизнь, и, в то время, когда все забывали всё, он не забывал свое «немногое» никогда. Не было никаких оснований предпочесть семью Одоевцевых многим другим, в том числе и возможной своей собственной, но именно эта семья случилась в его жизни, и, в таком случае, он уже ее не менял. Эта преданность была преданностью себе, чем она и выше, скажем, собачьей. В каком-то смысле дядю Диккенса съела, употребила своей любовью, заодно воспользовавшись до конца и его любовью, — семья Одоевцевых. А у него, как мы уже говорили, всего было немного, но зато это было — все. Так он и пошел, цементом, в их гнездо. Они же, сильные и толсто-здоровые, легко употребили его, не заметив, как и когда это произошло, полагая, что скрашивают его одиночество своей любовью. На пути с гражданской в лагерь, на крепенькой и невидимой лесе своей судьбы, попал он в пруд к Одоевцевым, там и увяз как исполненный подлинного благородства человек. В редкие свои каникулы свободы он едва успевал отнести вещмешочек накопленного тепла, как его забирали, как было уже пора... Так он и расходовал себя по мелочи, как в семье. У него ничего не оставалось. Заначек у него не было. Одоевцевы же кивали, позевывая перед сном, и говорили в неостывший след дяди Диккенса, что да, каждому человеку должно быть «куда прийти»... Они были начитанные люди.

У дяди Диккенса и деда Одоевцева, людей, обобщенных историей, были два противоположных, но разведенных из одного корня, как ветви, способа прожить эту историческую судьбу. Ничто, казалось бы, не роднит их, эти ветви не видят друг друга, разделенные общим стволом. Роднит их ствол. И тот и другой пытались «сохранить достоинство». И тот и другой нашли к тому уникальные, невозможные, никому не свойственные, свои единственные пути. Но слово «пытаться» и слово «сохранить» уже исключают понятие «достоинство». Достоинство — это то, что есть, номинал. Отсюда, «сохранить достоинство» — это сохранить свое достоинство. И главным тогда оказывается слово «свое». Сохраняя «свое», они проявляли истовость и не-

истовость кулака, но недвижимостью их была личность. Истовость проявил Диккенс, пряча свое и надеясь его сохранить, а потом пытаюсь сохранить даже то, что осталось, а неистовость проявил дед, сразу же, когда нашли его и отняли. Возможно, Диккенсу было легче сохранить свое, потому что добра было меньше. Возможно... Но все равно, нам хочется указать на то, что дед отнесся к своей жизни («своему») чересчур всерьез. Было все-таки в нем самом то, на что он напоролся, — посягательство и присвоение, пусть в самых высоких, воспетых и возведенных человечеством на пьедестал формах. Но — не надо посягать, не надо присваивать никогда, ничего — это всегда нехорошо.

Возможно. Возможно, все развивалось значительно спокойней, чем описано, без пафоса и драматизма ломки из горьковских пьес. Тем более что было уже обронено некое обещание, произведен намек, что, «возможно, другая совсем семья у нашего героя», имелся в виду «второй вариант семьи Левы Одоевцева, такой вариант, в результате которого опять получится ровно такой же герой». Далее следовало неискреннее извинение за неудачность выбора самого героя в героини. Но мы не очень убеждены, что каждое свое обещание следует с неременной последовательностью выполнять. Может, иной раз лучше не упорствовать («не упырствовать», как говаривал дядя Диккенс), а пропускать. Тем более что мы отнеслись к повествованию с большим «упорством», чем ожидали. Нам, короче, не хочется излагать сейчас — «второй вариант».

Но нет, из жадности, мы все-таки кое-что набросаем — две-три неловкие, но самоуверенные линии...

Что совпадает в обоих вариантах? Прежде всего, нам хочется сохранить фамилию, намек на родовитость, в далеком и изжитом смысле слова... Почему нам это так важно, мы сами не можем до конца объяснить.

Возможно, на нас, как и на Леву, произвели впечатление еще школьные рассуждения о «природе типического» в литературе, в частности, что и единичные явления жизни могут стать предметом типического изображения, если писатель просматривает за ними явления, лишь сейчас единичные, но которым суждено будущее (Рахметов). Что-то в этом смысле руководит и нами, хотя и наоборот: Леве не суждено никакого будущего, хотя он и единичен, как Рахметов. Нам так же важно, что для

Левы это его пресловутое «происхождение» как бы никакого не имеет значения, что он «скорее однофамилец, чем потомок», что он как бы вполне современный молодой человек (лучше или хуже нашего замечательного молодого современника — другой вопрос). Но нам важна та скрытая и тайная атмосфера его семьи, которая и делает его существование в некотором роде уникальным.

И нам продолжает казаться, что именно на единичных и уникальных примерах, на так называемых «исключениях», которым положено (по определению) подтверждать правило — именно на них и можно выявить многие чрезвычайно современные и типические явления, что именно в их единичном опыте особенно четко формулируется общее для всех время, и, соответственно, если бы мы взяли примеры типические, нам для достижения того же эффекта современности пришлось бы поставить их в столь уникальные сюжетные положения, что достоверность повествования могла бы показаться сомнительной. Проблема типического в литературе, на наш взгляд, была революционно перевернута самой историей. Если в четко-разграниченном классовом обществе герой обязательно нес в себе формирующие классовые черты (родовое начало характера) и они в сочетании с чертами личными и современными производили литературный тип, который, возможно, и действительно необходимо было подсматривать, собирать по черточкам и обобщать, то, в наше время, герой почти лишен этой родовой основы или она мелькает в нем некими реликтовыми, неузнаваемыми и непонятными ему самому раздражителями, — а само время столь решительно и бурно проехало по каждому отдельно взятому из общей, почти бесклассовой массы человеку, что каждый человек, с мало-мальски намеченными природой чертами личности, стал типом, в котором, по принятому выражению, как в капле воды, отразился весь мир и, как в капле моря, выразилось все море. Тут наше рассуждение переходит уже в очень специальную проблему социальных и исторических соотношений характера и личности, приводящих к перерождению самого литературного метода реализма, если он только хочет оставаться реализмом... и мы себя притормаживаем.

Поэтому-то и наш Лева — тип, несмотря на свою принадлежность к вымершей породе. (Любопытно, что вплоть до настоящего времени, и, судя по литературе, особенно непосредственно после революции, распространилось в просторечии слово «тип» и даже словечко «типчик» в отношении людей, как

нам кажется, особенно легко поддавшихся формированию временем.)

Но если Лева принадлежит нашему времени и отделен историческим временем от собственного происхождения, то его родители, хотя и принадлежат, прежде всего, нашему времени, от своего происхождения отделены уже меньше, а ранним детством даже принадлежат ему. А дед — совсем не отделен от собственного происхождения, зато он отделен от собственных детей и тем более от Левы. Тут и возникает тот семейный микроклимат, в котором выращивается наш герой.

В личной жизни люди измеряют отсутствие лжи в отношениях, как правило, правдоподобием и неразоблаченностью — отсутствием фактов, изобличающих ложь. Однако совсем не требуется доказательств для правды, факты правды необязательны в отношениях. Однако изобличенная ложь — это уже не ложь, это драма, и только. А как раз неразоблаченная ложь, то есть видимая правда, и есть ложь, и она — трагедия. Там, где человек мучительно болтается на мутной поверхности судебной, фактической недоказанности, неподтвержденности собственных ощущений и чувств и вынужден, как бы юридически, не доверять собственным, свойственным ему, точным по природе ощущениям и чувствам, там он и разучается руководствоваться ими в своих поступках, то есть перестает их совершать — свои поступки. Это и приводит к отмиранию естественно нравственной человеческой основы, являя собой классический пример дезориентации человека как биологической особи.

И если нас вот сейчас спросить, о чем же весь этот роман, то мы бы сейчас не растерялись и уверенно ответили бы: о дезориентации¹.

Так и Лева с малых лет формировался в «недоказанной» атмосфере. И независимо от возможности доказать это, можно утверждать, что всех нас сформировали отнюдь не очевидные биографические факты, которые мы можем показать как доказательства, а именно факты мучительно-недоказуемые, часто как бы и вовсе не существовавшие, «данные нам лишь в ощущении», немые и безглазые — белые, как бельмо. Тем более

¹ Когда человек сосредоточен на чем-то, то все — об одном... Вот сейчас открываю случайно книжку — какая замечательная фраза!.. «...Еще удивительнее, что они преследовали падающие листья, разной величины, формы и окраски и даже собственную тень на земле» (Тинберген Н. Поведение животных). Это о мотыльках.

в детстве нам трудно сказать себе, что на самом деле произвело на нас впечатление — об этом мы узнаем много позже. В детстве все стыдно, немо, неоткровенно и слишком страшно.

Так что, вовсе не с того момента все начинается, когда Лева узнаёт про деда, про отца, про время, а много раньше, когда он еще не может знать, не подозревает о существовании этих фактов, но эти факты тем не менее существуют сами по себе и существуют, некоторым образом, в его незнании. И не то страшно, что он внезапно, юношей, полувзрослым человеком, так поздно, узнает эти факты, а то, что он в них узнает то, что всегда знал, но не знал, что же это, а теперь ему сказали, как это называется: показали органы на анатомической карте и рассказали, для чего они, — он получил доказательства.

Как ни странно, именно в наше время существует тенденция некоторой идеализации и оправдания аристократии¹: мол, не все там были нравственные уроды, были и умные, честные люди, более того, не все даже были враги. Это сытая либерально-каннибальская справедливость в отношении наверняка поверженного и даже переваренного противника: покойничек был неплох на вкус...

Да, были умные, и честные, и нравственные — их было даже больше, чем признает любой разлиберал, но самой ей нет оправдания. Она сама повинна в собственной гибели, и ей нет оправдания потому, что у нее нет оправдания в собственных глазах. Она существовала, оказалось, лишь в своей классовой принадлежности, у нее не было идеи — идея стала принадлежать лишь разночинцам. У нее ничего не оказалось, когда от нее отняли принадлежность классу. И то, что не все были враги, тоже не говорит в ее пользу. У них не было верховной идеи, потому что как данность имела верховность положения; быть противниками чуждой идеи было им противно и ниже их достоинства, поэтому у нас не было подлинно идейных врагов в борьбе с ними. Они не могли быть партийными. Они уступили брезгливо и высокомерно, лишь в буквальной борьбе, по нормам достоинства и чести, не подозревая длинноты пред-

¹ Здесь и дальше мы рассуждаем именно об аристократии, а не об интеллигенции. К тому же, мы рассуждаем лишь о той, пусть даже малой и не слишком крупной ее части, в отношении которой наше последующее рассуждение будет полностью точным.

стоящей жизни. И за это автор не уважает аристократию всей сутью своего плебейства, неизжитого и благоприобретенного, которому не досталось...

Они не предполагали, что им предстоит жизнь — им пришлось с этим столкнуться. И тут проявилась одна замечательная, лишь на первый взгляд противоречащая распространенным представлениям черта аристократизма — живучесть. Принято полагать аристократию изнеженной, нежизненной, неприспособленной, не переносящей лишения и трудности, не способной к труду. Между тем, в высшем понимании, аристократизм и является формой приспособленности и самой жизненной формой. Потому что именно тот, кто все имел, способен, не теряя духа, все потерять: именно тот, кто владел, может знать, что не в том, чтобы иметь, дело. Тот, кто не имел, не может не иметь, потому что хочет иметь. Истинный аристократизм не хочет иметь, а имеет как данность. Теряя, он знает, что владел тем, что ему, не входя в обсуждение, полагалось. Он привык не входить в обсуждение насущных житейских вопросов и поэтому мог выработать в себе качества «как таковые». Теряя все, он может полагать, что не теряет своего аристократизма, сохраняя эти свои «как таковые» качества. Поэтому-то они и могли внезапно, впервые столкнувшись с враждебными обстоятельствами, проявлять эти свои качества (когда же они и проявляются, как не при первом и неожиданном столкновении? обучение и опыт — уже не качества, опыт — явление буржуазное): удивлять стойкостью, терпеливостью, достоинством, — то есть именно приспособленностью, потому что подлинный аристократизм — это способность обойтись без всего и до конца сохранить себя.

Но это, так сказать, идеальная, духовная суть аристократизма. Такой аристократизм может оказаться чертой крестьянина и не оказаться чертой аристократа лишь по происхождению. На практике все было, естественно, иначе, и приспособляемость аристократии проявилась в способности «не входить в рассуждения» и «служить». Рассуждали интеллигенты — аристократы проявляли неожиданные способности к труду. Возможно, когда-то они умели сидеть в седле и целовать ручки, но не надо никогда забывать, что они были классом, что у них была классовая природа. Их философия, их нравственность и мораль были им присущи по рождению и, если они принадлежали к своему классу, то им можно было не тратить ни душевных, ни физических сил на выработку убеждений и принципов, вытекающих из единичной и рассеянной измордованности жизнью.

Они могли служить, исполнять, руководствуясь понятиями чести и долга, не входя ни в какие конфликты с совестью.

Эта-то их способность и проявилась. Они ничего не приняли из перемен, но остались жить в измененном мире с тем, чтобы сохранить в себе хотя бы те присущие им и несущие их структуру черты, которые словно бы могут являться общечеловеческими, как-то: честность, принципиальность, верность слову, благородство, честь, мужество, справедливость, умение владеть собой... Они потеряли все, но эти черты им бы хотелось потерять в последнюю очередь: это была их природа. Но и эти черты не имели возможности уцелеть вне их классовой сущности, абстрактно, вне смысла происходящего и при отсутствии, отнятости самой почвы. Последовательное проведение в жизнь, осуществление подобных черт и принципов грозило немедленной гибелью, измена им — была немислима: это была бы нравственная гибель, — и родился удивительный психологический феномен, позволивший им выжить. Его можно было бы назвать «абсолютной аполитичностью», и это было бы близко, но не полно.

Им пришлось закрыть глаза на измену своему классу, на то, что они не стали врагами, чтобы не погибнуть: осознание подобной измены сразу лишило бы их возможности носить те черты, которые полагали или ощущали они своей неколебимой сущностью: долг, честь, достоинство, как и девственность, употребляются лишь один раз в жизни, когда теряются. Им пришлось, подсознательно, сделать вид, что никакой измены не было, и никогда больше не прикасаться к этому вопросу, чтобы не дай Бог не расковырять его и не выпустить на свободу «джинна» совести, испепеляющего русскую душу со скоростью света. И стали они, как нерусские люди...

Это удалось прежде всего тем, кто, обладая всеми положительными качествами класса, не обладал сильным умом. Таких, обладавших великолепными душевными качествами, но не умных, по крайней мере в современном понимании этого слова, оказалось в их среде более чем достаточно. Ум ведь — не аристократическая принадлежность, а природная и, в этом смысле, народная... Избежав таким образом нравственной гибели первый и главный раз, они зашили некую стенку в своем сознании глухими досками и больше никогда туда не оборачивались, будто там так и была — стенка. Потом жизнь их вертанула еще и еще раз — они, таким же образом, зашили глухо еще кое-какие углы и окна своего сознания. И, в конце концов, остался им один лишь, в шорах, взгляд перед собой — все было

обшито, кроме этих двух дырочек в заборе. Шея уже не поворачивалась, как у человека, сломавшего ее себе на прекрасных широкополых скачках юности, а постоянный корсет придавал их осанке еще более прямизны и благородства...

Семья, семья!.. Мы забыли прибавить к причинам этого феномена — главную. Были дети, ради них надо было выжить, их надо было воспитать, а родовой инстинкт у аристократии и должен быть, по определению, чрезвычайно силен.

Они ничего не приняли — и они приняли все.

То есть для того, чтобы снова получился Лева Одоевцев, мы могли обрисовать здесь и совсем иную семью, значительно более положительную и привлекательную, даже, пожалуйста, образцовую, которой можно было бы лишь умилиться, удивиться, что она есть, и поставить в пример. Совсем необязательно было непременно расти в атмосфере тайного предательства, чтобы получиться Левой...

Итак, это — Дом, это — крепость, населенная дружными, любящими людьми, наделенными многими, все реже встречающимися качествами. Они красивы, воспитанны, не лгут друг другу, охотно и без жалоб несут все тяготы и обязанности, добровольно принятые на себя ради семьи; здесь совсем нет хамства и грязи, и здесь любят друг друга. Лева, толстенький и милый шалун, убегает от мамы по коридору — топ-топ! — и его ловят, и ловят, и ловят любовные руки... он подлетает к какому-либо крупному красивому лицу — дядя, тетя, бабушка! — и он смеется, настолько все — в порядке, настолько встреча ему большая улыбка сверху... Они живут мужественно, чисто и достойно, пока кругом на лестничных площадках и дворах все ссорятся, разводятся, матери-одиночки «водят к себе», пьют, дерутся и дети все реже узнают в лицо отца... — они живут хорошо. Их много, и они вместе — большая семья, какие сейчас встречаются лишь в романах. Они живут ради семьи, они живут — в семье, семья — форма их выживания.

У Левы — детство. Во всяком случае, раннего детства он не лишен, оно — классично, оно может быть переплетено в томик. Где там конец тридцатых — начало сороковых в России XX века за окном? Ах! Но вот уже время и послевоенное, Лева может «если не понимать, то помнить», но ничего словно бы не

меняется только в их семье; заметить эту разность семейной и внешней жизни — значит задаться вопросом; Лева «из воздуха» усвоил единственный способ не задаваться вопросом: он перестал отмечать про себя внешний мир.

Внешний мир был тоже книжкой, которых много стояло в библиотеке отца и которые, с молчаливого согласия родителей, разрешалось Лева таскать и почитать тайком. Внешний мир был цитатой, стилем, слогом, он стоял в кавычках, он только что был не переплетен... И Лева, конечно, дружил с сыном дворника, его потягивало вниз, на капустный запах, и он обижался, когда чего-нибудь там, среди «них», не понимал, или его не принимали в компанию, или смеялись над его непониманием, — тут он испытал первые уколы влечения и ревности. Но все это было, за отсутствием усадьбы, приусадебными службами, а родители Левы вовсе не против того, чтобы тот «понемногу узнавал жизнь»... Это было уже безопасно: Лева усвоил урок невнимательности, преподанный семьею.

А время уже вполне могло бы быть узнаваемо даже в консервированном воздухе Левиной квартиры... Оно приблизило вплотную свое безбрежное лицо и жарко и душно дышало, по ночам припадало к окну, приваливалось к двери, плющило свой нос о черное ночное стекло и пристально и безглазо смотрело в светлую нутрь квартирочек... Однако сдержанность — фамильная черта: ничто не выразилось в семейном укладе, не отразилось на отношениях и поведении членов обширного клана Одоевцевых. Если какие-то тени и ложились косо на их лица, то мог бы их заметить лишь очень наблюдательный и специально нацеленный на то человек — не Лева. Да, жизнь еще раз, очень вплотную, на Левиных невидящих глазах, придвинулась к семейству Одоевцевых, она была готова задать им свой вопрос в столь отчетливой форме, что на него пришлось бы ответить — и чудо-психологический феномен мог бы не сработать на этот раз. Не могло быть ни одной оплошности, ни одной промашки — безукоризненность был единственный выход. Они должны были быть безукоризненны по форме, на работе и дома, чтобы не столкнуться, еще раз и окончательно, с жизнью.

Леве было двенадцать лет. Семейство выдержало, не оглянулось, как в сказке, не обратилось в соляной столб. Как они выдержали? Как они приспособились? Каким все-таки удивительным способом скрыли эти люди от себя собственную жизнь!..

В этой семье постарели только один раз, собравшись после войны. С тех пор они были настолько всегда друг у друга на глазах, что так и оставались красивы и молоды, чуточку в одиночку старея во время летних отпусков...

Леву — воспитывали. На личном примере безукоризненности. Он обучался отвлеченно-прекрасным образцам образа души, мысли и поведения. Почему такие именно черты, чего именно эти черты, где и когда эти черты — тщательно скрывалось. Возможно, это скрывалось уже и не только от Левы, но и, прежде всего, от себя. Эти люди хотели обучить Леву хотя бы тому, что умели сами, раз у них не было более широких возможностей для его образования, для образования Левы, нового Одоевцева. Они его учили тому, что умели, скрывая все то, что знали. Они сами уже почти не знали, но растили его в лучших, насколько позволяла материальная база (а им она не позволяла почти ничего, кроме личного примера), традициях и принципах и старались скрыть от него жизнь еще больше, чем не знали ее сами. Лева рос инфантом в этой детской республике взрослых и красивых людей... Ах, если прибавить к этому Левиному образованию начальное и среднее, где в свою очередь преподавали телегу не только без лошади, но и без колес, чтобы не ездил... то получается букет, то получается компот, то получается такой розанчик в туповатых ботинках, в мамосшитой курточке на молнии, с комсомольским значком на фальшивом кармашке!

Его научили — его даже учить не пришлось, сам усвоил — феномену готового поведения, готовых объяснений, готовых идеалов. Он научился все очень грамотно и логично объяснять прежде, чем подумать. И семья и школа приложили все свои силы, чтобы обучить его всему тому, что не понадобится впоследствии.

Не видя вокруг примера, по высоте и красоте близкого их семье, Лева обучился еще некой абстрактной и невнятной избранности и исключительности. Но поскольку ему преподавалась, тоже личными примерами, простота, скромность, высокомерная втайне демократичность, — то это несколько не мешало ему в общении и контактах с внешним миром, а лишь плотнее затягивало на нем крышку, уже без всякого допущения воздуха. Избранность в самоощущении — тоже одно из средств изоляции, а следовательно, и защиты — и это он тоже усвоил, и так же бессознательно.

Так они и проплавали в своем крепостном аквариуме все Левино «Детство. Отрочество». — «Юность» была все-таки уже

подвержена времени. Были они как глубоководные рыбы: под давлением победившего класса, в полной темноте, в замкнутой системе самообеспечения: со своим фосфором и электричеством, со своим внутренним давлением.

Это Леве — предстояло быть вытасненным на поверхность и разорваться на кусочки от невыносимости собственного внутреннего давления!.. Ничего, кроме полноватой (на мучном, без витаминов) души, чуть бледной от недостатка света, но красивой и нежной, выращенной как бы на преждевременно (приоритет!) открытой гидропонике — у Левы не было. Душа — была.

Он был чист и необучен, тонок и невежествен, логичен и неумен, когда окончил школу, влюбился в Фаину и встретился наконец с дедом. К этому времени он не знал (и это буквально) таких слов, как: измена и предательство, репрессия и культ, еврей и жид, МВД и ГПУ, пенис и клитор, унижение и боль, князь и жлоб.

Да, в этом, втором, Левином семействе все были люди исключительные, ни разу не поступившиеся ни долгом, ни честью, ни совестью. Но, добавим, до тех пор, пока это не угрожало их жизни. Но они, по свойствам своего ума, совершенно честно и искренне не видели в этой жизни тех коллизий, в которых наличие у них долга, чести и совести неизбежно привело бы их к трагическому концу. Но если бы они только увидели, если бы их однажды поставили в положение, при котором решительное «да» или решительное «нет» решало бы не только их судьбу, но и судьбу другого, то они, безусловно, не поступились бы ни честью, ни совестью и ответили бы то «да» или то «нет», которые соответствовали бы их представлениям о правде. Но такого случая им, практически, не выпало. Это был феномен «честного везения».

Итак, честность и безопасность. Никаких предательств в этой семье быть не может. Возвращается дед. (Это нам так же хочется сохранить, это совпадает в обоих вариантах.) Но никто из домашних ни в чем не повинен и не запятнан в его судьбе. Это праздник в семье — его возвращение. Дед — красив и неожиданно молод. Он прочно и достойно выдержал все выпавшие ему испытания (сократим ему, в этом случае, срок лет на десять). Он вернулся с ясной головой, все сохранив и ничего не утратив, — ему идет академическая ермолка. Все было бы совсем прекрасно, но дед тоскует по месту последней ссылки (где-то, кажется, в Хакасии) и возвращается туда. Там он некоторое время преподает в пединституте и заведует краеведческим музеем. Ни за что не хочет ехать ни в Ленинград, ни в Москву,

несмотря на многочисленные приглашения, потому что его имя начинает всплывать, его многие помнят и знают и назревает репутация «великой судьбы великого человека». Потом Лева, уже студент, едет к деду — и все выясняется. Там в деда влюбилась одна старая и прекрасная девушка, и у них родился сын! В его-то годы! Все горды. Дед выглядит молодцом, на комплименты отвечает комплиментом себе же — достает из часового карманчика маленькую черную фигурку: редчайшая вещь, хакасский божок плодородия, владеющий им — сам священен, за обладание им могут вестись набег и войны, деду он достался при чрезвычайных обстоятельствах, когда на нарах скончался другой великий вождь, последний шаман крошечного племени. За столом Одоевцевых семейно посмеиваются над этой лестной историей. Лева отсылает деду все чаще появляющиеся корректуры его старых статей, дед их возвращает без слов, но против публикаций не возражает. Деда по-прежнему зовут в семью, домой. Он говорит, что теперь у него здесь дом. Ему говорят: наш дом не только твой, но и ваш дом. Все это превращается уже в семейную, удобную, с выверенным ритуалом игру... И тогда дед приезжает с сыном и вечной девушкой: худенькая, тонкие косички в кулачок — сначала ее немножко, хотя и очень деликатно, чураются, но потом, договорившись, полюблиют всем сердцем... Дед, однако, не вынес, не снес и, оплаканный, сходит... Вокруг его похорон происходит все та же торжественность и свадьба — и вот мы снова в той же точке романа.

Однако нас чуть не вывернуло, пока мы дописывали все это. Положа руку на сердце... нам больше нравится первый вариант Левиной семьи. Он нам больше по сердцу, на которое мы положили сейчас руку. Первое Левино семейство нам кажется чуть ли не честнее, «сюжетнее» второго. Потом, мы уже привыкли к дяде Диккенсу, а сюда он не поместился. Вообще эти психологические феномены, где плюс отталкивается от минуса вопреки естественным законам, эти мутации души... Мы и так мужественно пишем, но у нас не хватает терпения. Уж если ты реалист, приходится брать реализм под силу... Бог с ними, с этими мутантами, ибо их есть царствие небесное! Они хорошие люди.

Так что мы останавливаемся на первом варианте.

...В заключение, мы как бы входим в большой и пустой класс, подходим к грифельной доске, достаем из-под тряпки

промокший мел, который так плохо, бледно и противно для кожи пишет... И рисуем на ней всякие формулы, преподанные нам заборами, сараями и лестницами.

И среди них, в частности, мы пишем:

ОТЕЦ—ОТЕЦ=ЛЕВА (отец минус отец равняется Лева).

ДЕД—ДЕД=ЛЕВА.

Мы переносим, по алгебраическому правилу, чтобы получился плюс:

ЛЕВА+ОТЕЦ=ОТЕЦ

ЛЕВА+ДЕД=ДЕД

но ведь и:

ОТЕЦ=ОТЕЦ (отец равен самому себе)

ДЕД=ДЕД

Чему же равен Лева?

И мы стоим у доски в эйнштейновской задумчивости...



НАСЛЕДНИК (Дежурный)

На берегу нашей знаменитой реки есть место, хотя и в самом почти центре, но еще не одетое в гранит и не заасфальтированное. Там навечно стоят несколько барж, ржавеют и рассыпаются. У самой воды — узкая песчаная полоска, замусоренная корой и прочей дрянью. Из воды торчат полу-сгнившие сваи, черные и острые. Дома на набережной — особняки, в основном — очень замечательные, старинные. Некоторые из них с мемориальными досками, а некоторые охраняются государством.

Там и находится бывший дворец, а ныне — НИИ, научный центр мирового значения. Там бережно хранятся, исследуются и т. д. рукописи и даже некоторые личные вещи, принадлежащие давно почившим, от одних имен которых не может не забиться всякое русское сердце. Место как бы специально приспособлено для тихих, глубоких и уединенных занятий, внушающих всяческое уважение. Трудно даже представить себе в большом, шумном городе, второй столице, другое такое же место, столь же подходящее. На набережной в этом месте почти не наблюдается движения...

С год назад сюда прибыл большой строительный отряд, приплыла по реке всяческая техника и вроде бы начались работы по реконструкции набережной. Некоторое время сотрудники института отвлекались от своих занятий и смотрели в окна. Там заколачивали сваи. Зрелище это в своей мерности словно специально предназначено для того, чтобы его рассматривать. Казалось, жизнь, до сих пор огибавшая набережную и институт, ворвалась сюда со своим бурным кипением, как врывается она у нас повсюду. Но сваи стали забивать все реже, а рабочие, казалось, в основном обедали и завтракали, рассевшись под поднятой бабой и развернув свои свертки и достав заткнутые бумажными пробками бутылки. Если они до того аппетитно, что сотрудник, пробежавший в это время по коридору, очевидно по делу, не выдерживал и спускался в буфет — брал там язык или слойку и проглатывал ее с разочарованием.

Потом и рабочие куда-то делись, и не было видно, как они завтракают. Техника стояла. А движение по набережной, пре-

кращенное в связи с началом работы, не возобновилось. Так что место это в результате стало еще более тихим. Только что и появлялись иногда киношники... Они не могли избежать этого места, по-видимому, потому, что здесь сохранился булыжник. Они расставляли свою технику и бегали во все стороны, появлялась глупая черная пролетка, запряженная невиданными одами, и снималась сцена конспиративного свидания молодого террориста со своей невестой или другой революционный эпизод.

Это тоже развлекало сотрудников, и свои научные беседы они, по двое, по трое, вели тогда у окна... Небо прочерчивал реактивный самолет, и это оказывался тот самый кадр, который надлежит выстричь.

Здесь и работал Лева Одоевцев. Ему, как никому другому, пристало работать в таком институте. Хотя бы как внуку Одоевцева. Работал Лева хорошо, уже не так увлеченно, как в студенческие годы, но и без скуки, слыл многообещающим. Он писал диссертацию «О некоторых особенностях или чертах...». В ней он интересно разрабатывал одну из веточек посаженного дедом дерева, и диссертация быстро продвигалась. В «учёных» разговорах Лева научился с легкостью различать, когда Одоевцевым называли его знаменитого деда, а когда его самого, и не сбивался, как когда-то, и не краснел, как мальчишка.

Тем более что про себя он полагал, что краснеть ему не за что. Оборачиваясь и поглядывая вокруг, он обнаруживал удобное отсутствие конкуренции: никто ничего не мог, никто ничего не умел и никто ничего не хотел. Лева же — умел и мог (по сравнению...), а вот хотел ли? Когда-то, во всяком случае, и хотел...

Еще в аспирантуре была им написана очень неожиданная, по времени, уровню и обстановке, некая большая статья «Три пророка», о трех стихотворениях — Пушкина, Лермонтова и Тютчева. Статья эта не была опубликована, но наделала «внутреннего» шума: ее многие прочли, и она произвела... Работа была, может быть, не строго научна, но, пожалуй, талантлива и написана хорошо по-русски, таким летящим, взмывающим слогом, но главное, что и поразило, что и произвело... была внутренне свободна. Мы видели ее однажды на кафедре, уже желтую, с потрепанными ушами... Она там хранилась, по-видимому, как беспрецедентный случай. Ею гордились не перечитывая, и кое-кому, из-под полы, показывали. Так прочли ее

и мы... Статья во многом наивна сама по себе, во многом стала наивной за эти годы, но она по-прежнему свежа тем, что она не о Пушкине, не о Лермонтове и тем более не о Тютчеве, а о нем, о Леве... в ней сказался его опыт. Нам очень хотелось бы прямо здесь пересказать ее, но уж больно это нарушит нам сейчас композицию, которая уже начинает нас заботить... Мы, однако, постараемся улучшить однажды момент.

И Левина роль в освоении дедовского наследия, и статья «Три пророка», которую все читали, и статья «Опоздавшие гении», которую никто не читал, и статья «Середина контраста» (о «Медном всаднике»), главы из которой кто-то читал, и кое-какие высказанные вслух замыслы, намерения и суждения сыграли значительную роль в создании репутации. У Левы она была.

У Левы была определенная репутация, то есть та самая неопределенная вещь, к которой все инстинктивно стремятся, но не все обладают. Очень трудно четко выразить, что это такое — репутация — и из чего состоит. Но мы попытаемся окружить ее многими невнятными словами, с тем чтобы потихоньку сомкнуться вокруг понятия. То есть мы хотим попытаться справиться с задачей не словами, которых нет для определения столь любопытного, но ускользающего явления, как «репутация», — а стилем, напоминающим по фактуре ее поверхность...

Итак, у Левы эта определенно-неопределенная вещь была. Левиной особой заслуги в этом, впрочем, не было, она получилась как бы сама собой, но, обнаружив ее, уже существующую, Лева как бы ею воспользовался и постарался в ней утвердиться. Действия его в этом направлении постепенно становились все более сознательными, и он как бы поддерживал ровный огонь в очаге, без его ведома зажженном. Это не требовало особых сил и напряжения и даже отдавало игрой до поры. Репутация эта сводилась, в общем, к тому, что Лева никогда не делал черную и легкую работу, что в стенах данного института совпадало, а лишь чистую и квалифицированную.

То есть он не вылезал на тех или иных выгодных идеологических поветриях, чтобы выступить там со статьей или речью лишь для того, чтобы всем стало видно и ясно, за что ее автор и против чего он, и чтобы эта откровенная очевидность сразу была кем надо замечена и пошла данному автору в пользу. Нет, Лева в подобных ситуациях сохранял некую трезвую ясность мышления и не бросался сгоряча кого-то поддерживать, а кого-то осуждать, хотя бы потому, что ему

было ясно, что этой конкуренции, требующей совершенно тоже определенных качеств, ему не выдержать. К тому же небольшого ума требует, взглянув на все, понять, что выигрыш тут мал и временен и все совершенно вилами по воде писано: выигрыш ли еще это, — а скорее всего, что и нет, потому что необходимость столь определенно высказаться, хотя и с полным обеспечением, может иметь потом, и даже вскоре, самые невыгодные последствия в случае возможной перемены самого обеспечения, и тогда все те, кто не высказался столь определенно, начнут с радостью тыкать тебя носом в собственную определенность и твое падающее знамя будет мигмом подхвачено другими, полными готовности руками. Лева все это понимал, даже, может, и не понимал, потому что так понимать — это слишком уж откровенно и цинично, и обвинять в этом Леву все-таки несправедливо, но, во всяком случае, он хорошо это чувствовал.

Он занимался своей незапятнанной стариной и не изменял ей, и эта определенность его снискала к себе доверие в определенной интеллигентной среде, иногда называемой либеральной. Эта-то его чистоплотность, по которой он никогда не лез, вовсе уж забывая о средствах, чтобы что-то себе урвать внеочередное, безмерное, а потихоньку брал свое, в конечном счете выигрывая, потому что обходился тогда, хоть и без крупного выигрыша, но и без проигрыша, — эта его чистоплотность была и не чистоплотностью вовсе, а, быть может, лишь инстинктивным или фамильным нежеланием ходить под себя, попросту кое-какая культурная привычка к санитарным нормам, но она именно создала Лева ту его репутацию.

Эта репутация, как правило, считается прогрессивной и невыгодной, но это скорее распространяется теми самыми людьми, которые ее носят — она по-своему выгодна, потому что, обладая ею, человек попадает в совершенно определенный круг незаметной поддержки, как бы по национальному признаку, и не пропадет. А люди эти, всегда наиболее квалифицированные, сохраняют и поддерживают свою необходимость обществу, и ты сам тогда тоже как бы необходим. В общем, Лева не хотел принадлежать ни к людям, которые только что говорили «белое», а назавтра уже, по внезапной перемене, утверждают «черное»; ни тем более к людям, которые хотели бы быть столь же подвижными, как первые, но это им не удастся, и они всегда немного позже начинают говорить «черное» вместо «белого», несколько позже перестраиваются и оттого попадают впросак; ни тем более к совсем

неудачникам, которые совсем уже поздно подхватывают всеобщее поветрие и решаются наконец произнести «белое», когда уже назрело «черное» и самые ловкие уже почувствовали это и, с бросающейся в глаза самоотверженностью, это «черное» уже снова провозглашают. Не хотел Лева принадлежать и к той максималистской, наиболее либеральной группе, которая всегда, подчеркивая свой проигрыш, утверждает обратное официальному мнению, тут он охотно поддерживал то мнение, что такими крайними мерами ничего не добьешься, а скорее наоборот все испортишь. В общем, что бы ни утверждали люди: А вместо Б, или наоборот, Лева предпочитал свое, к примеру В, или даже Ш, пусть не самые актуальные, но остающиеся в своем значении и почти не подлежащие девальвации. Исходя из этой же репутации, Лева не старался выдвинуться по общественной линии, то есть избежал общественной работы, что в принципе просто соответствовало его склонности, фамильной интеллигентской инертности, защитной, впрочем. Такие люди подсакивают в момент крутых поворотов, как постоянные, честные и, в то же время, не отпугивающие своими крайностями. Лева уже так два потихоньку подскочил, в последний раз совсем недавно; он стал редактором-составителем одного важного коллективного труда, ему была почти обещана стажировка за границей, как только он защитит диссертацию. Самое прекрасное, что его кандидатура ни у кого не могла вызвать возражений, Лева не оставлял следов, а потому впереди открывалась ему широкая и гладкая дорога, по которой дальше всего можно пройти незамеченным.

Как было уже сказано, он поддерживал ровный огонь своей репутации, и до поры это даже отдавало игрой, почти искусством, где художник постоянно использует случайность, им самим нежданную и возникшую лишь в процессе творчества, а из управления этой случайностью — возникает свежая краска. Это было игрой до тех пор, пока репутация упрочилась настолько и настолько набрала сил, что чуть не вышла из-под Левиного подчинения, потому что уже слишком сильно определяла все его действия, то есть выходила из-под власти и заставляла иногда действовать не так, как ему бы хотелось, или не позволяла действовать так, как хотелось. Короче, однажды возникла ситуация, когда Левина репутация заставляла его поступить совершенно определенным и совершенно невыгодным, более того, ставящим все под удар образом. Лева, до сих пор не испытывавший особых затруднений со своей репутацией, не

знал, что теперь с нею делать, и устрашающим образом потелся. Он как бы дрожал в кресте прицела, причем наведены были сразу два пулемета — один на него, другой на репутацию — от него требовались лишь «да» или «нет», а он совершенно не знал, как тут быть. То есть, с одной стороны, он очень хорошо знал, что «да», но в этом случае нажималась гашетка одного пулемета — тогда уж «нет», но в этом случае срабатывал второй. Репутация, существовавшая до сего дня как бы сама по себе, бесплатно, потребовала плату — поступок.

Дело касалось его старинного друга, самого близкого (настолько, насколько это было возможно у Левы), положение было отвратительное, разбирательство очень тяжелое и чреватое (друг этот не то что-то написал, не то что-то подписал, не то напечатал, не то вслух сказал...). Лева не то был замешан, не то касался боком... От него — требовалось. Он совсем потерял себя и ходил вовсе без лица и без языка, окончательно мычал, и все бы, конечно, кончилось плохо, если бы друг не сошло самым удивительным образом: заболела тяжело мама, подошел отпуск, он был срочно отозван в Москву на совещание, умер дед, одновременно Лева выиграл в лотерею заграничную поездку, к нему на время вернулась старинная любовь, и он заболел гриппом с тяжелыми осложнениями. Короче, на всех этих разбирательствах он был лишен возможности присутствовать, а когда смог, все было решено и друга уже не было. То есть он был, но где-то уже не в институте, а встретившись раз на улице, не подал Лева руки и как бы не заметил. Лева отнесся к этому почти спокойно, с удивлением обнаружив, что, пожалуй, они и не были такими уж друзьями, как казалось, потому что не нашел никакого в своей душе волнительного движения ни навстречу, ни против друга. Хотя до этого очень переживал, как они встретятся... Вся эта история вызвала в Лева смутное и неприятное воспоминание — тень деда, и он прогнал эту тень. Репутация Левы несколько покачнулась и упала, особенно в умах крайних, у остальных осталась почти такая же, потому что слишком много объективных неподдельных обстоятельств сопутствовало этой истории и почти Леву оправдывало. Потом, вообще время идет и все забывается, и мало ли...

В общем, в таком, незавышенном, виде эта репутация теперь была даже более удобной, спокойной и безопасной. Она была — ее как бы и не было. На Леву чересчур не рассчитывали, а насколько рассчитывали, настолько уж он и не подводил. Лева же стал опасаться слишком близких дружеских и обязательных

отношений и стал сохранять в основном приятельские, неблизкие и необязательные.

Приятелей оказалось вдруг очень много.

В личной жизни Левы Одоевцева тоже все обстояло, можно сказать, благополучно. Он по-прежнему жил с родителями и пока женат не был. Мама гадала на этот счет безуспешно. У Левы было три подруги, которых мама называла «приятельницами». (Диких их имен, столь характерных для Левиного поколения, она не могла произнести...) Так постепенно получилось, что три, и именно эти три. В первую он был безнадежно влюблен еще со школьных лет. Он бегал за ней, она — от него. Лева даже терял голову и, как говорила мама, «делал массу глупостей», но, несмотря на эту «массу», все оставалось все-таки на своих местах. Эта женщина изредка даже приходила к нему, но в основном уходила. Она побывала замужем, и развелась, и снова теперь собиралась выйти — Лева же был по-прежнему рядом и никуда не уходил. И он, и она привыкли к этому. И всякий раз, срываясь в любое время дня и ночи по любому ее капризному звонку, Лева с удивлением думал, что делает это хоть и опрометью, хоть и сломя голову, но и как-то чуть ли не спокойно одновременно. У него уже как бы вошло в норму и привычку обивать эти пороги.

Вторая же приятельница была, наоборот, со школьных лет безнадежно влюблена в Леву — он же ее и вовсе не любил. Тут наступало как бы равновесие: Лева помещался между этими двумя женщинами как бы в середине, как бы не трогаясь с места. Вторая приятельница покорно исчезала каждый раз, когда Лева окончательно расставался с ней, существовала где-то в неизвестности и с поразительным чутьем объявлялась вновь, когда Леву выгоняла первая приятельница. Она появлялась как примочка на ссадине, снимала отчасти Левино унижение, принимая от него — свое, и он позволял ей это.

Третью же приятельницу можно было бы вообще не помнить, разве из авторской дотошности... Никакие сильные чувства их слевой не связывали. Они вроде бы ничего друг от друга не требовали, хотя что-то друг от друга и получали, они не давали друг другу никаких обещаний и не испытывали никаких обязательств, но тут как раз и наблюдалось некое постоянство и верность, каких не могло быть в первых двух случаях. Какие-то неписанные правила и рамки были, впрочем, и в этих отношениях.

Таким образом, и в этом вопросе у Левы возникло равновесие, ритм, даже режим, настолько размеренный и привычный в своей невыносимости, что легче казалось принять его, чем изменить. Умолять одну, не любить другую, иметь третью... Они существовали порознь, и от каждой он получал свое, но они составляли и что-то одно: ту одну женщину, которой не было, да и быть не могло.

Мы привыкли думать, что судьба превратна и мы никогда не имеем того, чего хотим. На самом деле, все мы получаем свое — и в этом самое страшное... Лева с детства мечтал о научной работе в тихом, солидном институте, вроде Ботанического, что напротив его дома. Можно, конечно, сказать, что это была несерьезная, даже глупая детская мечта. Лева о ней и думать забыл, когда метил и попал в свой институт на набережной. Но мечта эта, при всей нелепости формы, все-таки была, и она сбылась: Лева работал точно в таком институте, таком же академическом, в таком же старинном здании, в таком же тихом и красивом уголке родного города, и вот уже диссертация на сносях, в неполные его тридцать... Лева любил и хотел одну только женщину, тоже почти с детства, и вот хотя она и не полюбила его, но и никуда от него не делась, и он даже получил ее по-своему, хотя и в трехстворчатом виде. Тут неправильно, конечно, сказать: сбылась и эта мечта, — но что-то в этом роде произошло: ритм, временами — успокоение.

В общем, Лева получил свое. И не то чтобы дорожил этим или полагал, что в этом и счастье... Но это была уже не Юность, а его жизнь. И в этом — все дело.

В таком положении обстояли дела с Левой накануне Октябрьских праздников 196... года.

Именно в эти обрядные дни прочной Левиной репутации суждено претерпеть серьезнейшие испытания: столь неожиданно покачнуться, почти рухнуть и все-таки устоять. Это, быть может, и есть, вернее, должна быть — главная история в романе, его сюжетный узел. И что весьма любопытно, угроза эта нависнет без какой-либо политической или идеологической ошибки или промашки с Левиной стороны. Казалось бы, чистый случай, гримаса судьбы, неожиданное помрачение...

На праздники Леву оставили дежурным по институту. Было у них такое заведение. По разным обстоятельствам, одним

из которых была предстоящая защита, Леве было на этот раз не отвертеться.

Свой первый же, предпраздничный еще, вечер дежурства Лева провел в совершенной и все возрастающей тоске. Он то звонил Фаине, то хватался за диссертацию и впадал от нее в уныние и, впав, начинал перебирать разрозненные свои «сокровенные» заметки. Они казались ему гениальными, и тогда он еще более удручался оттого, что их забросил, и снова звонил Фаине, пытаясь все-таки выяснить отношения и тем самым еще более осложняя их. Хотя куда уж более... Фаина перестала поднимать трубку.

Лева так и уснул на директорском диване, чуть ли не с телефонной трубкой в руке. Приснился ему страшный сон, будто ему надо сдавать нормы ГТО по плаванию, прямо около института, в ноябрьской Неве...

Разбудил его звонок Митишатъева...

(КУРСИВ МОЙ. — А. Б.)

И — стоп. Мы стоим на берегу лелеемого с самого начала сюжета, он вспухает буруном перед нами — но здесь, оказывается, нет брода, не перейти: нас сносит вспять к началу повествования и выбрасывает на тот же неуютный берег, почти к той же точке, из которой мы начали свое путешествие...

Казалось, своротили валун... А он опять на дороге. Будто мы не прошлись по всей Левиной жизни, от упомянутого вскользь рождения вплоть до обозначенной еще в самом начале смерти, ибо сейчас нас отделяет от нее лишь день или два. Но что мы, собственно, про самого-то Леву рассказали?.. Ну, дедушка... скорее, наше пожелание, а не дедушка. Ну, отец... скорее дядя, чем отец. Отца-то почти нет. Убрать несмелый намек — то и вовсе его нет. И сам Лева... лишь косым лучом сквозь случайную щель — край уха и глубокая тень под подбородком, — обошлись без портрета. Голос его еле слышен за стенкой: чем он там занят, кому звонит, чей номер помнит наизусть?

Какая Фаина? откуда Митишатъев? что за «сокровенные» листки? Мы уже не раз обмолвились, что расскажем о чем-то

потом; нам было некогда, а теперь — уже негде. Грустно обнаружить, что, идя последовательно, мы настолько забежали вперед, что отстали от собственного повествования.

Возможно, такая неполнота возникла по одной лишь причине: сейчас у нас другое прошлое, чем было тогда, когда оно было для себя настоящим. Глядя то с той, то с другой вершины на одну и ту же точку равнины, мы видим разный пейзаж. Каждое из двух изображений не полно, и они несовместимы. Мы рассказали всю Левину жизнь из сегодняшнего дня, представив Леву равноправным и полномочным участником исторического процесса. Возможно, теперь он сам именно так вспоминает свое прошлое и узнал бы себя в нашем изображении. Но если бы он читал все это тогда, когда это с ним происходило, то никогда не признал себя в герое, ибо крайне сомнительно, чтобы люди свидетельствовали о своем участии в историческом процессе изнутри процесса. Так что, хотя все, что описано здесь, было с Левой — он-то об этом понятия не имел. Для себя-то, пожалуй, он имел только одно понятие... и не знал, что его любовь — исторична.

Итак, рассказав все, мы ничего не рассказали. Мы рассказали все, что могли, об «отцах», и почти ничего — о «детях». Те герои, о которых мы успели рассказать, умерли, а главные герои той главы, которую мы наконец собрались писать — все еще отсутствуют. Нет, чтобы обойти ту яму, где недавно лежал валун, — мы хотим через него перелезть. Здесь пролегает естественный раздел. И прежде чем нам удастся продолжить, нам придется пересказать всю нашу историю заново, с тем чтобы уяснить, чем же она казалась герою, пока он в ней был жив.

И это будет другая история. Она будет об одной любви.

И хотя нас вправе упрекнуть (уже упрекнули), что мы способны рассказывать лишь все по порядку, «от печки», мы считаем это правильным, то есть иначе не можем. Ибо и у нас есть право...

Во-первых, потому, что более правильной последовательности, чем временная, все-таки нет: именно в ней содержатся не только нами открытые закономерности, но и те, которых мы не улавливаем до сих пор. А во-вторых, эпоха, которой принадлежит Лева в первой части, и время, которому он будет подлежать во второй, позволяют, как нам кажется, рассказывать порознь и по очереди почти обо всем, что нас окружило, как о не принадлежащем друг другу. Отдельна жизнь от истории, процесс от участника, наследник от рода, гражданин от человека, отец от сына,

семья от работы, личность от генотипа, город от его жителей, любовь от объекта любви. Не только между страной и миром опущен занавес, но повсюду, где только есть на что повесить, колышется множество как бы марлевых занавесок, одной из которых человек занавешен и от самого себя.

Подумать только, лишь десять лет с небольшим проходит, и уже объяснять надо, как могло быть такое, как мог быть такой Лева! Да ведь обучение раздельное, забыли?.. Как все отдельно, так и мальчики и девочки. Как не ведает Лева о том, что он князь, так и не ведает он, откуда завелся в нем некий идеальный образ, дымком стоящий в его душе. Поэтому, естественно, должен был этот образ достаться первой же встреченной им женщине. Так и есть: лишь секунду потрепетав от полного несоответствия, он тут же полностью и совпадает. И уже Фаина была той самой взлелеянной в мечтах и под партией, а в недоразвитой родовой его памяти произошла полная перестройка — история подчищена, подскоблена под Фаину.

Вот и придется рассказать ее заново, параллельно первой. То есть, предстоящая нам вторая часть романа является лишь версией и вариантом внезапно завершившейся первой. Какой из вариантов точнее? Нам кажется, что второй, ибо он реальнее. Зато первый вариант истиннее. Но если мы употребили слова «реальный» и «истинный» в такой относительной форме, то — о чем еще говорить?.. Нам кажется, что во второй части Лева будет более реален, зато он живет в максимально нереальном мире. В первой же части куда реальнее был окружающий мир, зато Лева в нем совершенно нереален, бесплотен. Не значит ли это, что человек и реальность разлучены в принципе? Немножко сложно...

Может быть, как раз и следовало начинать роман со второй части, а продолжать ее — первой?.. Но — подчинимся хоть тому, что получается, — это, в конце концов, тоже принцип. Так и не уяснив себе последовательность частей, какая вторая, а какая первая, то есть какая из частей является основной, а какая — ее версией и вариантом, мы приступаем к нашей следующей части — вслепую, как тот Лева, который будет в ней жить, не ведая о том, что ему предстоит. (В первой — мы уже знали, что с ним будет.) Мы продолжим и доведем его бытие до той же точки времени и пространства, где он остался дожидать нас в части первой. Параллельные наши пересекутся, и мы сольем время с той счастливой надеждой, что время героя обретет полноту своего течения как бы совсем сейчас, в самый момент написания, и мы узрим тогда Настоящее — прямо перед собою, не из прошлого

и не из будущего, мы увидим перед собою безвариантное настоящее, и это не будет глухая стена.

Не знаем, какая часть тяжелее для героя, первая или вторая. Может быть, что и вторая, хотя она — об одном лишь счастье... Потому что историческая оценка личного прошлого все-таки облегчает участь некоторой торжественностью принадлежности каждого к громышанию исторического процесса, реальная же жизнь погружена в безвременье, где человек не ведает будущего и лишен возможности оценить себя, где человеку достаются все навсегда отмеренные ему муки, независимые от страны и века, хоть нам и кажется временами, что и на ДНК проступил общий знак качества.

Конец первой части

ПРИЛОЖЕНИЕ
к первой части

ДВЕ ПРОЗЫ

Они думали, что у дяди Диккенса никого нет, но, опоздав на похороны, из Йошкар-Олы приехала его сестра, учительница в отставке. Кто-то даже что-то вспомнил, что дядя Диккенс что-то как-то говорил, что есть сестра... они еще даже все поспорили, говорил или не говорил. Но сестра, вот она, сидела на кухне у Одоевцевых и, стыдливо и бурно, пила чай из блюдца: пальчики у нее были толстенькие и упорные. От всего, кроме чая, она наотрез отказалась. Она робела и стеснялась, мама была особенно предупредительна — Лева усмехнулся, на них глядя. Она была «другой породы», как сказала потом мама. И действительно, это выглядело так, будто у пойнера была сестра такса. Она была, наверно, не то в бабушку, не то в маму дяди Мити, не то башкирку, не то чувашку. Об этом тоже как-то что-то говорил дядя Митя... Одоевцевы еще поспорили, чувашка ли. Но чувашка наконец попала в квартиру дяди Мити и сейчас, взглядом цепким и испуганным, фотографировала матеральные ценности...

Ничто не упустила отставная учительница, до гвоздя все вывезла в Йошкар-Олу. И сколько ни говорили ей Одоевцевы, рояль-то хоть оставьте, что рояль они купят, что он не вынесет перевозки, что в Йошкар-Оле он никому и не нужен — губы ее становились все более ниточкой, и она не дала себя провести: рояль поплыл в Йошкар-Олу. Кажется, именно не поехал, а поплыл, потому что так оказалось дешевле, а торопиться ей было некуда. Любопытно, что семьи у нее тоже не было.

Даже Пюви де Шаванна, сколько ни объяснял ей Лева, что это всего лишь репродукция, не стоящая ни копейки, а ему дорога как память... — она, передергиваясь от слова «копейка», тоже не дала. Ну да, как память... Можно было вспомнить рассказы дяди Диккенса о фамильной жадности... Одоевцевы их потом, перебирая учительницу, вспомнили.

Только и сумел Лева, что стащить «Атлантиду», пока она следила за Левиной мамой, к которой с самого начала отнеслась с необъяснимой пристальностью. Он перечитал ее и растрогался... «В эту тихую, лунную ночь де Сент-Ави убил Моранжа...»

Зато бумаги дяди Диккенса отдала она Леве с легкостью. Их, впрочем, отобрала мама и заперла. Лева не уверен, что она их не почитывала, оставаясь в одиночестве. Однажды она передала Леве «как специалисту» две тетрадки: посмотри, может, тебе будет любопытно... Это были сочинения Диккенса.

Одна тетрадка называлась «Стихотворения», другая — «Новеллы». Лева испытал стыд и боль любви, читая их... Он неизбежно «уценил» дядю Митю по отношению к культивированным детским представлениям. Но эта уценка была не совсем хамской, а многоступенчатой и сложной: низкое удовлетворение от полупадения кумира сменилось разочарованием (не от кумира, а от этого падения), а разочарование — стойкой нежностью. Боль от крушения старого образа оказалась легкой и быстрой, а становление нового — было зато светлым и радостным, уверенным и окончательным — как бы истинным. В общем, Лева лишь сильнее полюбил этот образ, теперь уже не прибавлявший к себе черт.

Стихи были бесспорные: слабые и наивные до неправдоподобия, — но и в них сквозила незапятнанная диккенсовская душа. (С прозой, в отношении оценок, вообще обстоит сложнее... Ее труднее оценивать категорически, как поэзию: поэзия и непоэзия — середины как бы не существует. В прозе всегда что-нибудь да окажется выраженным: намерения ли автора, сам ли автор... Как документ хотя бы она всегда представит частный интерес.) Проза же Диккенса (дяди) нам даже чем-то нравится, и мы оцениваем ее выше, чем Лева, еще не вполне свободный от снобизма. С Левы, в данном случае, и нельзя спрашивать, хотя он и специалист в этой области более профессиональный, скажем, чем мы.

Он не может судить объективно потому, что чтение прозы Диккенса-дяди для него скорее непосредственный, личный опыт, нежели опыт опосредствованный, читательский. У него возникают иные связи, кроме выраженных именно этой прозой. Для него, например, потрясением было некоторое приоткрытие завесы между поколениями, завесы, всегда существующей... Так юный человек, достигнув сам возраста личной жизни и с головой уйдя в нее, вдруг задает себе наивный вопрос: а что, неужели у других так же? — и, в поисках ответа, вспоминает (кого же еще может вспомнить человек столь юный?) своих родителей и обнаруживает, что ничего-то в этом смысле ему про них неизвестно: любили ли они, страдали ли, какие они были и, может даже, есть для себя и друг для друга, когда его, скажем, нет? неужели они тоже... и т. д. То есть ему, уже взрослому, казалось бы, человеку, предоставляется постигать все самому в формах, предложенных его временем, а то, предыдущее, поколение стареет и уходит, так и не раскрыв перед ним карт: жило ли оно вообще? — оставляя ему на всю жизнь запас образов и опытов детства о жизни людей взрослых. Это, наверное, замечательно, и тут есть тайна, нерушимая и святая — охранная. Потому что даже совершенная логическая уверенность, что у других так же, остается пустой и неживой, неплодотворенной. Это-то, возможно, ценой страданий и позволяет человеку прожить дальше свою жизнь...

Так вот, когда Лева читал сочинения Диккенса-дяди, то завеса эта как бы шевельнулась от ветерка и чуть загнулся край... Никаких «подробностей» в пошлом смысле он там не вычитал, зато образ человека, старого и мудрого, с неким уже сверхопытом, выраженным в одном лишь поведении, где каждый жест является конечным и итоговым, завершает глубокий ряд. — такой образ сильно покатнулся, обнаружив бесконечную детскость, наивность, sentimentalность, отсутствие вкуса и силы. Зато, тут же, этот образ был заново отштукатурен и раскрашен в трогательность: раньше люди были чище и благородней, раньше люди были разные, раньше они были наивней, трепетней

и идеальней — это и есть индивидуальность в истинном, а не в «профессиональном» понимании («стать индивидуальностью»), — все эти «раньше люди были» равнялись одному ушедшему дяде Диккенсу.

Тут наблюдался один эффект, который наводит нас на одну легкую мысль о природе прозы, и мы не можем удержаться от этого намека...

Эффект этот заключается в том, что, внезапно наткнувшись на страничку человека, хорошо знакомого или даже близкого, но про которого мы не знали, что он «пописывает», и, с непонятной жадностью, прочтя ее, мы тут же начинаем знать о нем как бы во много раз больше, чем знали до сих пор путем общения. И не в каких-либо секретных или ревнивых фактах дело. Доказателен как раз пример, когда подобных фактов для любопытства или ревности мы бы на этой страничке не нашли. Именно в этом случае нам ничто не заслоняет и мы узнаем про автора еще больше. Та непобедимая любознательность, с которой мы поднимаем, при случае, подобную страничку — есть не что иное, как жажда узнать «объективную» тайну — тайну «без нас», а такая тайна — это облако, на котором мы живем. Что же мы узнаем из этого листка, если в нем нет сплетни? Стиль. «Тайну», о которой мы говорили, несет в себе стиль, а не сюжет («ревнивые факты»).

Кроме задач и фактов, поставленных автором к изложению, получившаяся проза всегда отразит более его намерений, проявившись самостоятельно от автора, иррационально, почти мистично, как некая субстанция... (У нас есть опыт неожиданных удивлений перед ней.) Человек, впервые взяв перо в руки, еще смущенный этим неожиданным позывом, еще защищающийся пренебрежительной ухмылкой (хотя его никто не видит, он улучил этот момент) от возможного своего фиаско, а на самом деле, инстинктивно (здоровье!) страшась того, что сейчас не с ней (с прозой) — с ним будет... этот человек уже столкнулся с феноменом литературы: хочет или не хочет — он выдаст свою тайну. С этого момента он всегда может быть изобличен и узнан, пойман — он виновен, он зрим, он — на виду. Потому что стиль есть отпечаток души столь же точный, столь же единичный, как отпечаток пальца есть паспорт преступника.

И здесь мы приходим к давно любезной нам мысли, что никакого таланта нет — есть только человек. Никакого такого отдельного таланта, как рост, вес, цвет глаз, не существует, а существуют люди: добрые и дурные, умные и глупые — люди и нелюди. Так, хорошие и умные — талантливые, а плохие и глупые — нет. И если у человека есть ум сердца и он хочет поведать миру то, что у него есть, то он неизбежно будет талантлив в слове, если только поверит себе. Потому что слово — самое точное орудие, доставшееся человеку, и никогда еще (что нас постоянно утешает...) никто не сумел скрыть ничего в слове: и если он лгал — слово его выдавало, а если ведал правду и говорил ее — то оно к нему приходило. Не человек находит слово, а слово находит человека. Чистого человека всегда найдет слово — и он будет, хоть на мгновение, талантлив. В этом смысле про талант нам внятно лишь одно: что он — от Бога.

Поэтому так неловко, так страшно, так стыдно и опасно узнать о близком человеке, что он «пописывает». Поэтому же мы обязательно воспользуемся первым же случаем узнать об этом... Писать — вообще стыдно. Профессионал

защищен хотя бы тем, что давно ходит голый и задубел и закалился в бесстыдстве. Он так много о себе уже сказал, разболтал, выдал, что уже как бы и сократил полную неожиданность информации о человеке, которая есть литература. И мы снова о нем ничего не знаем. Человек во всем имеет цель быть невидимым (защита) другим, и к этому есть лишь два способа: абсолютная замкнутость и полная открытость. Последнее — и есть писатель. О нем мы знаем все и ничего. Поэтому так пристально (с той же неподвластной жадностью, что и подглядывание в чужой листок...) начинают после его смерти устанавливать, кто же он был: письма, воспоминания, медицинские справки, — и не достигают успеха. Этот человек, проживший так открыто, так напоказ, так на виду — оказался самым скрытным, самым невидимым и унес свою тайну в могилу.

Чтобы было так, писатели должны быть гениальны, графоманы — кристально искренни и чисты.

В тетрадке «Новеллы» было до десяти масеньких штук. Все они были написаны на фронте летом и осенью 1944 года. В самой маленькой было чуть более ста слов, в самой большой не более трех страничек.

Вот новелла, события которой, видно, и послужили толчком ко всему циклу — «Одиночество». Герой («Он») приезжает на побывку в город и приходит к любимой («Она»), чтобы еще раз (без надежд и посягательств) заверить ее в своей любви. *«Я знаю, — тихо сказала Она. Сдерживая волнение, но уже спокойным голосом, как бы не придавая значения своим словам, он добавил:*

— Я приехал с фронта — и снова уезжаю на фронт.

Сказал — и вышел из комнаты».

Потом он бродит весь день по городу, всю ночь простаивает на мосту... *«И только в полдень, когда уже солнце высоко залезло на небо, — он сел на поезд и уехал на фронт».*

Очень одиноко жилось дяде Мите! Тем с большим уважением отнесемся мы к его независимости. Вот он встречает на дорогах войны сиротку («Девочка»): *«...ведь у меня нет ни хлеба, ни копейки, так же, как у тебя, вероятно, нет ни близких, ни родных, которые могли бы приютить тебя...» «Бедная моя крошка! — пойдем со мной по этой прямой дороге. Мы не будем сворачивать ни вправо, ни влево... Нам некуда сворачивать, моя маленькая сестренка! — у нас ведь нет ни друзей, ни дома — даже нет маленькой, медной копейки».*

Дальше идет новеллка, свидетельствующие о том, что никаким скептиком или циником не стал этот человек, поддаваясь жизни... Столь искрення и простосердечна его ненависть к немцам: *«Никакая залетная птица, никакой голодный зверь не будут клевать и жрать эту мерзость»,* или: *«Что думал этот подлый ублюдок поганой немецкой нечисти, выполняя задание хозяев-палачей?»* И столь безусловны и надличны сочувствие и боль: *«Я стою у окна и смотрю на это пепелище — и сердце мое обливается кровью».*

А вот и то и другое вместе, сплав: *«...Это еще более останавливает ваше внимание и, глядяваясь пристальней, вы уже ясно видите, что это «фриц», сраженный пулей во время своей работы».*

Эта фигура с естественностью самой позы, производящей ремонт проводов, вас ошеломляет, поражает своей живучестью и вызывает в конечном счете чувство отвращения и глубокой ненависти».

Замечательно это «в конечном счете»! И мы верим, что Диккенс был настоящий солдат. Одиночество его судьбы, безответная любовь, вечная война, боль за отечество — какими немногими чистыми и сильными линиями набросан его автопортрет! Чувствительный и романтичный... и мы чуть ли не впервые принимаем и прощаем романтику — для этого потребовалась лишь кристальная чистота.

Проза Диккенса (дяди) бесспорно выражает его больше, чем он — ее. Он, пожалуй, и не подозревал, насколько она его выразила... Но сам он так для нас хорош — что лучше любой, самой крепкой прозы, и мы благодарны Прозе, что она нам его выразила.

Для чистого человека и чистой бумаги не жалко...

Вот самая длинная его новелла.

МЕТЕЛИЦА

Это было давно, очень давно, — в дни моей далекой молодости, когда я был влюблен в одну девушку. Звали ее Настенькой. Может быть, она была не так красива и не так хороша, может быть, даже не так умна, как другие, но я ее любил, как только может любить пылкое сердце молодого человека. Любил безумно, страстно, неистово, — любил, как говорят, до преступления, — и в то же время чувствовал всю безнадежность своих мечтаний, всю тщетность своих порывов.

Я был беден, даже очень беден, — и это мешало мне осуществить свои надежды и быть более смелым и решительным. — В конце концов, не в силах более сдерживать свою страсть и честные намерения, я пал к ногам Настеньки, прося у нее руки и сердца.

Настенька не удивилась, не возмутилась и не пала мне на шею. Она только ответила: «Пойдите к папеньке. Без папеньки я не могу».

Как мне ни было тяжело, я все же вынужден был это сделать.

Как и следовало ожидать, я получил отказ. Отказ суровый, категорический.

Я был взбешен, оскорблен, — я был готов застрелиться с горя, — и вдруг случай или сама Судьба повернулись мне навстречу, обнадружили золотыми лучами и толкнули на путь искать счастье другой дорогой.

Мой приятель, лучший мой школьный товарищ, надоумил меня «украсть» невесту, обвенчаться с ней втайне, помимо желания родителей... Я, как сумасшедший, ухватился за эту мысль, побежал к Настеньке и поделился с ней своим планом. Настенька страшно испугалась, замахала руками, но в конце концов согласилась и даже заинтересовалась будущим путешествием.

Все было готово к назначенному дню и часу. И крытая бричка, и пара добротных лошадей, и верный ямщик. Вот — я с Настенькой сижу в бричке и едем в село, от нашего города в верстах 40—50. Едем молча,

невесело, а тут еще подула непогода, закрутилась метель по дорогам, замела все пути и перекрестки. Снег валит, ветер... одним словом, нахлынула вьюга, метелица, света божьего не стало видно.

Настенька нервничает, грызет губки, но молчит и ни о чем не спрашивает. Я сижу, сдерживаясь от бешенства, готовый перегрызть горло всякому встречному существу — зверю, лошади, готовый разбить окна в бричке и собственными руками задушить ненавистную метелицу.

Я потыкаю ямщика, ругаюсь с ним, злюсь, — но кони стоят на месте, а вьюга все больше, все нещадней заметает следы и мою бричку.

Уже стемнело, когда мы въехали в какую-то, совсем незнакомую деревушку. Вьюга стихла. Снег перестал падать. На небе всходила луна, большая, светлая луна, как серебряный рубль или обеденное блюдо.

Настенька плакала и просилась домой. «Хочу к маменьке, хочу домой», — по минутно всхлипывала она и настойчиво требовала возвращения.

А я... я понимал безутешность настоящего горя, непоправимость обстановки, — и был подавлен несчастьем, обманут безжалостной Судьбой, — и ничего уже не мог поделаться перед охватившим меня ужасом.

К ночи мы с трудом добрались до города. Настенька вылезла из брички, даже не попрощавшись со мной.

С тех пор я ее больше не видел. Память о злополучном приключении до сих пор живет в моем сердце, волнует меня и заставляет переживать прошлое.

Как наяву, я и теперь вижу Настеньку, сидящую в бричке, закутанную в шубку и тихо-тихо плачущую. Я вижу синие глаза, растерянный вид милого личика, — вижу красивые, детски-капризные губки, вздрагивающие от нервности, — и вижу светлые, как хрусталь, слезинки, пробивающиеся из-под темных густых ресниц.

Это было давно, очень давно, когда я был молод и влюблен — и, как все молодые и влюбленные люди, я должен был заслужить прощенья в своем легкомыслии и неистовых юношеских порывах. Но я не просил прощенья и даже не искал в чьих-либо глазах сожаленья. А теперь — я слишком стар, чтоб менять свои привычки и вкусы.

И все же это все очень грустно, мой дорогой читатель.

И мы настолько поддаемся такой прелести, что не можем удержаться и не привести еще одной новеллки, хотя и так все уже ясно. Но у вас не будет другого шанса прочесть это — и мы приводим здесь еще одну... (Это последняя новелла в цикле: все началось с приезда и кончилось возвращением.)

ЗЕРКАЛО

После многих лет странствований и скитаний по дикой местности, где иной раз месяцами не встретишь ни человека, ни зверя, — я попал в местечко, где ютились люди со своим скудным хозяйством, обычной беднотой и грязью.

Меня приняли гостеприимно и разместили в небольшом домике, показавшемся мне уютным и симпатичным.

По какой-то странной случайности в комнате оказался и камин. — и это еще более привело меня в хорошее настроение. Наконец-то я смогу отдохнуть и привести себя в порядок!

Я растопил камин и стал обогреться. Приятная дремота овладела мной. Я старался ни о чем не думать, не мыслить — так приятно было сидеть у камина, но всяческие образы будили воспоминания, залезали в голову, копошились, как черви, и понемногу растръвляли мои нервы.

Я вспомнил прошлое, своих друзей, любимую женщину. Вспомнились дни горьких разочарований, несбыточных надежд, одиночества...

Как все это казалось теперь далеким, давным-давно позабытым, — и только сердце еще билось в груди, заставляя переживать пережитое.

Да, да! Ты право, мое бедное, измученное сердце. Я все еще люблю эту женщину, — и никакие годы разлуки не смогли заглушить моих чувств и страсти.

Я все еще хочу любить, мечтать, надеяться, я все еще жажду быть обласканным рукой любимой женщины. Ведь я еще не так стар, чтобы не иметь прекрасных желаний, — и разве дороги рано или поздно не сходятся на жизненном пути, и разве весной реки не всплывают из берегов?..

Все меняется в жизни — и времена, и люди, и чувства. Может, и та, которую я еще люблю до сего дня, осчастливит меня своей улыбкой и нежностью.

Так я сидел у камина, вспоминая прошлое и мечтая, как в былые дни, о счастье.

Вдруг я увидел на стене зеркало, — снял его и... рука моя вздрогнула. Старческое лицо, с седыми волосами, с высоким, полысевшим лбом, с тусклыми, провалившимися вглубь глазами, — смотрело на меня.

Нет, нет! — это не мое лицо, это был не я. Я не верил, не узнавал, — я был поражен жестокой переменой.

Горькая, какая-то ехидная усмешка скользнула по лицу старика и заставила меня встрепенуться. Я захохотал — и с отвращением и ненавистью швырнул зеркало в камин.

— «Пусть горит все, — и позолоченная рама, и старость, и фантазии!»

Я выпил стакан застывшего кофе и лег спать в теплую, мягкую постель впервые после долгих лет странствований и скитаний.

И если Диккенс (дядя) не столько выразил что-нибудь словом, сколько Слово выразило его чистую душу, то дед Одоевцев, по нашей гипотезе, мог сам что-то выразить Словом (скрыть в нем), поскольку, в нашем допущении, нес в себе (вместо чистой души) черты гения. Попробуем проверить. Две жизни, два достоинства, две смерти, две прозы...

Роясь в дедовых бумагах (их, кстати, сохранилось не так много), набрел Лева на текст своеобразной рукописи, оставшейся незаконченной. Это не был еще зрелый и великий Модест Одосевцев (зрелым ему быть всего несколько лет, а «великим» — для нас, потом...); заметки носили личный, как бы дневниковый

характер — «для себя»... Однако сочинение это не было дневниково-беспорядочным, у него явно намеревалось общее строгие, свидетельствовавшее о конечности замысла, но в чем он состоял, по этим страницам судить было рано. Называлась рукопись «Путешествие в Израиль¹ (Записки гоя)² и была разбита на главы с чередующимися названиями «Бога нет» и «Бог есть». И опять: «Бога нет» и «Бог есть»... Глав сохранилось не то шесть, не то семь.

Шансов на опубликование такой рукописи не было, однако Леве она так же понравилась, как деду ее писать... «для себя». И Лева кое-что из нее выписывал, для себя. Вот одна из его выписок, помеченная им: «Из «Бога нет»:

«Вот отечественная иррадиация: вполне имея от чего страдать, страдать не от того. Как нас, однако, уже успели воспитать (то ли еще будет!..): что что-нибудь непременно у тебя должно быть, что как-нибудь именно так должно быть, кроме как есть, что как-нибудь надо, чтоб было. С чего бы, казалось? Откуда пример? С чего взять, что именно тебе должно даваться то, что никому не удалось? Откуда взялась эта толпа ложных идеалов, которая сообщает нашему, и действительно несчастному, человеку еще и чувство необоснованной неполноценности (ибо есть повод для обоснованной...)? Эта постоянная российская озобоченность судьбой Пизанской башни... Как, однако, надо было подтасовать общественную жизнь, чтобы добиться такого эффекта! Что надо сделать еще, чтобы окончательно в нем утвердиться? За отсутствием маломальской жизни, ввести в сознание доступность категорий и идеалов, смутить души возможностью материализации абсолютных понятий, заменить способность к чему-нибудь на право на что-нибудь — что проще? — назвать усталое супружеское соитие «простым человеческим счастьем»... и — готов новый человек! Однако как это близко: свербит упущенное счастье, ноет первородный обман. «А счастье было так возможно, так близко...» Кажется, совсем недавно под «счастьем» и понимался только миг (сейчас, счас, счастье... настаиваю на этимологии!), мотыльковый век счастья никого не смущал, подразумевалось, что счастье — только есть (или нет), но не продолжается, не экстраполируется, не будет. Пообещаем его впереди, но зато уж навсегда, навек. Обмануть инстинкт несложно — это называется «развернуть». Незаметно внушить, что может иметь место поллюция длиной в год, каких и у слонов не бывает... и тут же получится, что лишь случайное и злое стечение обстоятельств помешало именно тебе (потому что кто и рожден для этого, как не ты?) достичь упомянутого эффекта. А для того чтобы не было обиды на судьбу (раз было тебе единственному предназначено, значит, единственному и не удалось...), то к судьбе-то как раз и следует привить материалистическое, вульгарное отношение, как к предрассудку, необъективному фактору, просто — как всего лишь к слову. Вот к Слову-то и надо, прежде всего, привить

¹ В 1913 году М. П. Одоевцев путешествовал по Ближнему Востоку.

² Слово «гой» не было знакомо Леве, как и те слова, о которых мы уже говорили. Но «тем» он уже обучился, а с этим у него возникла единственная ассоциация: «Ой ты гой еси, добрый молодец».

новое отношение, переставить его в конец житейского ряда, а «В начале было Слово...» — отдать поэтам, под метафоры. Короче говоря, надо передать пошлость в вечное и безвозмездное пользование народу, благо — не земля, пошлость удобрять не надо, она сама себя удобрит. Пошлость — это, впрочем, не сама по себе «доступность», а отношение к «доступному», как, скажем, к воде и воздуху у нас пошлое отношение (то есть что они — даром). Счесть законы природы оскорбительными для Человека с большой буквы (или дороги...); победить Природу с ее тяготением... Ввести материальное отношение к абстрактным категориям, с одновременным привитием романтического взгляда на реальность — вот методология Пошлости. Основа уже заложена, русло под ее поток распахали борцы с нею, пророки «новой жизни» — «милый Чехов», «сложная фигура Горький».

Что-то, однако, ноет, что именно твоя жизнь прошла... что именно ты провалился в промежуток... что именно тебе не повезло с веком... Вот это-то Она и есть».

Странное это чувство — время! То ли мы это уже писали, то ли кто-то уже читал... Тот же Лева уже читал. Было, стало, сбилось... Какой смысл — про то, что познал, узнать, что это было известно давно? В чем пафос?... Эта радость нам не понятна... Пусть независимо, пусть даже раньше нас, пусть в 19-м году, пусть до революции даже... Приоритет — вот, что нас уже не тронет.

Другое соображение задевает нас: какими бы разрушительными ни казались изменения, происшедшие с человеком, личность в нем, коли она была, остается тою же на всем протяжении, может быть даже, за счет искажения, деформации, даже обезображивания всех прочих обнимающих ее параметров. Поздний дед, ранний дед — нам это уже без разницы: он — был, был — он.

Другое дело — Лева. Что именно в этом отрывке так особенно понравилось ему, трудно сказать. Деду было 27 лет, когда он писал это; Лева — 27, когда он это читал. Но это еще не означает, что прочитано было именно то, что написано. Скорее, наоборот. Слишком уж с большим подъемом переписал Лева этот текст. Радостное поддакивание устремило почерк. Против слова «Горький» стоит Sic! переписчика. Однако именно на инерции этого подъема прорвался Лева дальше, в главу «Бог есть»:

«Господи! каким молчанием бываю я наказан! шарю в темноте, пустоте, слепоте и звука шороха не слышу. Вот уж доказательство, что ничего-то вокруг нет. Когда тебя — нет. Поиски вне себя — тщетны. Мир невидим в твое отсутствие. Наказание Божье, награда Божья миром, существованием вокруг тебя...

Когда совесть говорит — уста молчат. О чем?..

«Служу Богу или Дьяволу?»

Борясь, не признаю ли за действительное то, с чем борюсь?

Враждуя с прогрессом, не служу ли ему, совершенствуя и оттачивая его механизм?

Изгоняя дьявола, не искушаюсь ли?

Доводя до сведения людей на живом языке то, что не было им доступно, проводя в жизнь идеи, быть может, самые благородные и, как мне вдруг покажется, Богу угодные — не выступаю ли слугой прогресса, расширяя Сферу Потребления еще одним Новым Наименованием? Чем и из Духа извлекать «прок и пользу», так не лучше ли — не просвещать потребителя?

То есть угодно ли Богу то, что я делаю? или я пользуюсь им, ворую у Него и сбываю?

Богу, людям, себе? своему богу?

Ответ: одному лишь Богу — не расширит «сферы потребления».

Но знаю ли я, что Ему угодно? могу ли знать? могу ли я знать, что — есть, а что приписал Ему в искушении?..»

Вот молитва молчания.

Если человек не может создавать, он может подать пример. Но — Господи, погоди! — я не готов.

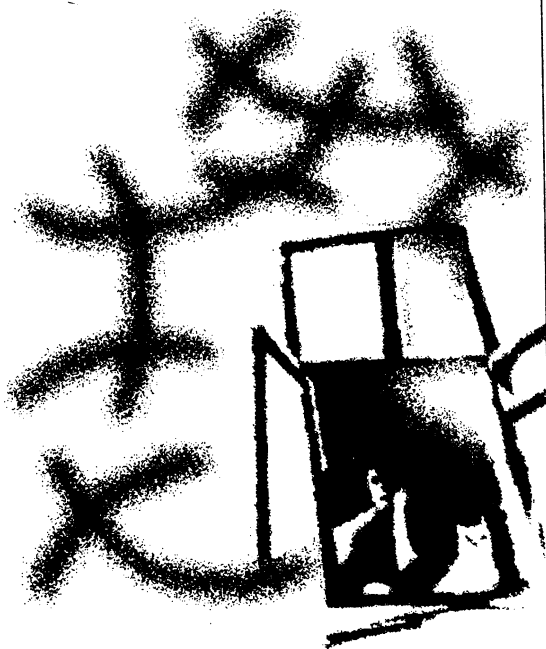
Господи! дай мне слова! У меня куриная слепота слова. Дай договорить! У меня в глазах темно, словно я долго смотрел на солнце. Так пусто, так немо сердце мое, Господи! как небо...»

Лева, видно, утомился переписывать. Буквы его становились ровнее, скучнее, теряли трепет. Странная тоже вещь — узнавание: кто — в чем, кому — что... Переписчик уснул.

И это не Бог, а Лева — не услышал.

Виноват...

ГЕРОЙ
НАШЕГО
ВРЕМЕНИ



*И долго я лежал неподвижно и плакал горько,
не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал
грудь моя разорвется; вся моя твердость,
все мое хладнокровие — исчезли как дым.*

*Душа обессилела, рассудок замолк,
и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел,
он бы с презрением отвернулся.*

Лермонтов, 1839

(КУРСИВ МОЙ. — А. Б.)

Мы вывели крупно, на отдельной, пустой странице название второй части и вздрогнули: все-таки наглость... все-таки Лермонтов... надо знать свое место.

Да, за последние сто лет Лермонтов безусловно произведен из поручиков в генералы и обращаться к нему надо соответственно званию, через ниже и ниже стоящего начальника. И его сомнительный «Герой» за те же сто лет тоже подвинулся по служебной лестнице, к нему тоже, пожалуй, не пробьешься на прием... Так и слышу: «Так то же Печорин! А у вас, я извиняюсь, кто?..»

«Наша публика так еще молода и простодушна, — писал Лермонтов в своем предисловии, — что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения».

Но перечитайте это предисловие целиком, оно стоит того; мы даже идем на риск сравнения с текстом, находящимся в исторически более выгодном положении, чем наш. Все равно — перечитайте. Мы не можем отказать нашему времени (тем более!) в том, что намечалось уже сто тридцать лет назад.

А мы, пока вы читаете, выведем здесь, тайком и поспешно, несколько слов в свое объяснение и оправдание...

Странное это, телескопическое, завинчивающееся оправдание... Лермонтов оправдывался перед публикой в том, что присвоил Печорину звание Героя Нашего Времени, а мы — проходим какой-то век! — извиняемся уже за одно то, перед ним самим, перед товарищем Лермонтовым, что позволяем себе смелость процитировать его...

И, ища себе оправдания, мы опять натываемся на газету.

Газета поддерживает нас своим опытом в употреблении «готовых» заголовков... Почти в каждой газете можно обнаружить статью или очерк под каким-либо уже известным нам по литературе или кино названием, иногда чуть измененным, и, как правило, по содержанию статья и оригинал не перекликаются. Но не только газетчики... И у современных нам писателей замечается подобная практика — слегка изменен-

ные названия знаменитых произведений, — но измененные так, что и прежде сразу узнается, и тем, по-видимому, становится автор неодинок и незатерян в своих намерениях, устанавливает «связь времен» и подчеркивает свою современность легким искажением акцента (аналогия и противопоставление) и, таким образом, к своим силам прилагает еще проверенные силы предшественников. Не всегда это классика, иногда — бестселлер. Например, в одной районной газетке попался нам как-то фельетон под заголовком «Щит и печь» (тогда как раз всюду шел одноименный фильм «Щит и меч» по одноименному роману) — о сопротивлении некоего начальства строительству некоей печи. Или вот только что, припоминая другой характерный пример... раскрыли журнальчик — «Автомобиль, который всегда с тобой» — о том, как самому построить малолитражный автомобиль-амфибию (автор читал Хемингуэя, автомобиль для него — праздник).

Таких примеров, может менее забавных, но более прямых, можно привести тысячи. Можно было бы даже написать на эту тему небольшую, но оригинальную структуралистскую работу...

Но дело в том, что и «Щит и меч» — уже цитата, перефразировка. Получается совсем интересно: «Не мир пришел я вам принести, но печь», — впрочем, тут нет «щита»... Тогда, возможно, автор знаменитого романа имел в виду арию «Иль на щите, иль со щитом...», которую все слышали — но тут нет «меча»... Все равно — откуда-то это цитата. Название же Хемингуэя — тоже цитата, из одного американского поэта, которого мы не читали.

(У него (Хемингуэя) вообще почти все названия — цитаты: «По ком звонит колокол», «Иметь и не иметь», «И восходит солнце...» — то есть это бывшие эпитафии девятнадцатого века — теперь названия. «Анна Каренина», по Хемингуэю, называлась бы «Мне отмищение» или «Аз воздам».)

То есть меньшее знакомство с предметом — вызывает большую прямоту обращения... «Эй ты!» — вместо «милостивый государь». И когда мы встретим в газете заголовок «Время — жить!», можно сказать с уверенностью, что автор заметки намекал на Ремарка, а не на Ветхий Завет.

Получается интересно, как мы и что узнаем, и когда, и из каких, так сказать, рук...

И мы, не приступив, отступаем... Мы недавно посмотрели фильм «Евангелие от Матфея». Его смотрели профессионалы — режиссеры, артисты, сценаристы, редакторы. И вот мнения

разделились: одни были потрясены, а другим — «понравилось, но...». Такое разделение нормально, но любопытно то, что и в том и в другом лагере было приблизительно поровну людей: умных и глупых, со вкусом и безвкусных, правых и левых, старых и молодых, восторженных и равнодушных, искренних и неискренних, — то есть никаким образом не удавалось отчислить их восторг и умеренность по какому-либо признаку, как обычно: «так это же дурак» или «так это же сволочь», — общая структура зала сохранилась уменьшенно в каждом из лагерей. Мы бы так и ушли, не разгадав феномена, если бы кто-то из восторженных сторонников в запальчивости, по-видимому, как довод в пользу фильма, не вскричал: «А Нагорная проповедь?..» И тут нас осенило, и на нескольких опытах мы проверили правильность своей догадки. Мы подходили и сначала вынуждали какую-нибудь страшную клятву в том, что на наш вопрос будет отвечено честно, а потом спрашивали: «А вы Евангелие-то читали?» И вот что получилось: в безусловный восторг пришли те, кто не читал Евангелие, а кто был уже знаком, отнесся более объективно и строго. Напрашивается простой вопрос-вывод, что произвело впечатление: Евангелие или сама картина? Цитата или фильм? Честные, розовея, соглашались, что да, цитата, нечестные соглашались не розовея. Значит, многие были впервые потрясены Евангелием, читанным им по подстрочнику сидящим в темноте переводчиком.

Так что важно — из чьих рук. А не все равно.

Даже трудно оценить общий вес подобного цитирования в нашем образовании... Иногда кажется, что именно благодаря ему начитанные люди знают имена «Христа, Магомета, Наполеона» (М. Горький), или Гомера, Аристофана, Платона, или Рабле, Данте, Шекспира, или Руссо, Стерна, Паскаля... и ряд их «крылатых» выражений.

И название этого романа — краденое. Это же учреждение, а не название для романа! С табличками отделов: «Медный всадник», «Герой нашего времени», «Отцы и дети», «Что делать?» и т. д. по школьной программе... Экскурсия в роман-музей...

Таблички нас ведут, эпиграфы напоминают...

ФАИНА

...идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности...

В жизни Лёвы Одоевцева, из тех самых Одоевцевых, не случалось особых потрясений — она в основном протекала. Образно говоря, нить его жизни...

Даже оторопь берет: сейчас нам придется рассказать заново все то, что мы уже рассказали. Начать следует с того... Это, впрочем, очень произвольно. Опустим рождение и раннее детство, которым и в первой части посвящено не более десятка страниц — оставим их в том же значении: в каком-то смысле, самые первые годы проходят для человека всегда в одном значении. Подчеркнем из них — любовь к маме как первейшую, предшествующую первой. И продолжим, мимо отца, мимо Диккенса, мимо деда, скорей — к Фаине. Про отрочество ведь у нас вырвалось: отрочества не было. И, начав вторично рассказывать историю Лёвы, мы снова его (отрочество) опустим.

И начнем с его конца. Будто Лёве уж так повезло: рубежами возраста отмечать исторические рубежи. И рождение его и намек на смерть — все даты, все вехи в истории страны. Опустив отрочество, начиная юность, мы опять совпадаем с датой. Той самой, которой определена вся первая часть, все отбытия героев и, главным образом, возвращения. Брюки... Там эта дата не названа, быть может, именно потому, что причинна. Здесь же — как же еще начать историю первой любви? — здесь же назовем эту дату без причины: 5 марта 1953 года умер известно кто.

Как нам ни хотелось избежать в этой части неаппетитных объятий исторической музыки (мраморная, без глаз...), как нам ни хотелось избежать школы — заскочить туда на секунду, по-видимому, придется, именно в этот памятный день...

Как школе не хватает света! День растёт уже третий месяц, а все — темно. Очень уж по утрам темно — вот все,

что надолго запомнит Лева о школе. Именно на утреннем морозном бегу в присутствии можно еще раз помянуть Петра: что может быть нелепее Северной Пальмиры?.. Какие, к черту, пальмы!

9.00, темень. Леву выстроили в школьном актовом зале на траурную линейку. Вот он стоит на линейке, «учащийся выпускного класса», полный, розовый мальчик, басовитой наружности, мечта растлителя, но и растлители повывелись в то время... вот он стоит. Он не вполне уверен в себе — очень уж глубокая должна быть скорбь... Трудно описать...

Действительно, трудно. Как раз то, чего мы так хотели избежать, приступая ко второй части, ради чего, собственно, к ней и приступили... и опять — туда же! Как изображать прошлое, если мы теперь знаем, что, оказывается, тогда происходило — тогда не знали. Это сейчас мы придаем этой смерти именно такое значение, будто ее понимаем. Лева же понятия не имеет, что эта смерть обернется для него прежде всего сексуальным раскрепощением — более дикую мысль нельзя представить себе: ручаюсь, ее не могло быть ни в одной голове. Между тем именно эта смерть — конец раздельному обучению, ура-а!.. Но Лева не воспользоваться уже этими плодами, потому что он как раз заканчивает школу. Так в его биографии и останется на всю жизнь: будто женщины водятся не в пространстве, а во времени: снаружи шестнадцати лет, после получения паспорта... Так что поди знай, чему придать значение: тому ли, что люди не знают, что их, как песчинку, волочит глетчер исторического процесса, или тому, что им наплевать на этот процесс, ибо им кажется, что это они сами ползут? Трагедия или комедия? Лишь взглядом назад отмечен исторический поворот. В корабле настоящего ничто не движется — все движется вместе с кораблем. Чудом ожившая муха вокруг лампочки летает...

Все замерло. Лева старательно не смотрит на муху. Он стоит и понятия не имеет, как это именно для него важно то, что он на этой линейке сейчас стоит. Он не ведает, что в этот миг кончается его сладкое почитывание в отцовском кабинете, дверь распахивается и входит... Фаина. Совсем иначе переживает он эту смерть, вовсе не как освобождение: он — смущен. Он смущен недостаточностью своего потрясения, неглубокостью своего горя. Он — боится. Он боится, что недостаточность эта видна на его лице. Ибо что потрясает его во всех остальных лицах — это именно искренность и глубина скорби. У завуча полные очки слез. Портрет, обвитый черной лентой, — его Лева

немножко жалко: это портрет уже неживого человека. Это странное чувство, что портрет — уже не жив, ибо жив был именно портрет, потому что самого-то живого — никто не видел. Леве хочется понять, что исчезло из портрета: ему кажется, что он изменился, хотя, ясно, не мог он измениться за одну ночь... Лева опять не смотрит на муху.

Пахнет отмерзающей хвоей. Леве кажется, что хоронят учителя литературы: хорошо учителю — он не пережил вождя, как бы он сейчас рыдал, обгоняя завуча. Лева увлекается воспоминаниями об этих похоронах: так же пахло хвоей, так же не смотрел он направо, где стоял гроб... Лева рискует посмотреть направо — и не видит гроба. Удивляется и спохватывается: старается нагнать скорбную тучу на свое розовое и доброе лицо. Как сластолюбец, хочет он испытать скорбь — и не может.

(Нет, он не знает, в отличие от остальных, которые уж точно не знают и именно поэтому так глубоки в своей скорби... нет, он не знает об истинном лице усопшего: родители сумели не посвятить его. Так что род его равнодушия совсем особый и для Левы непонятный: Лева никогда не сомневался в божественной природе этого гения — и вот, однако, стоит и не чувствует ничего, кроме того, что не чувствует ничего... Это особая, Левина, статья.)

Он не может скорбеть так же сильно, как Гарик Покойнов, самый красивенький и самый глупый мальчик в классе. Какие слезы вскипают на длинных, изогнутых ресницах Покойнова! Как он хорош...

Вся страна застыла в пятиминутном простое... А Лева думает, что первый урок — физика, контрольная, к которой он так был не готов, и не может не испытывать кощунственной радости, что урок этот тем временем идет, что контрольной, пожалуй, не будет...

Очень смущается он, поймав себя на этой мелкой нехорошей мысли. Думает, что это он один такой душевный урод среди всех этих, умеющих так глубоко чувствовать, людей. Как бы они отвернулись от него, как бы вознегодовали, с каким презрением... если бы только мысли его стали всем видны. Но до этого еще не дошло развитие общества, и Лева в эту минуту благословляет это отсталое человеческое свойство, то есть что на лбу ничего не написано. Один только ненавистный физик, этот тупой крестьянин, короткий человек... У него единственного — туп же! — ничего не написано на лице, кроме томления. «Небось жалеет, что контрольная пропала...» — ядовито думает Лева.

Физик не выдержал Левиного взгляда и постарался незаметно выскользнуть из зала. Тут все как-то кончилось, прозвучали торжественные слова клятвы завуча вечно учиться... голос его дрожал, был он в эту минуту красив, как Покойнов, который наконец не смог подавить вырвавшихся из груди рыданий. Муха немножко посидела на лысине математика, он боялся ее согнать кощунственным жестом. Улетела... Все разошлись по классам, разнося в своих душах скорбь, как в переполненных сосудах, боясь расплескать.

Они удалились в класс, не перемолвившись ни словом, не шелохнув своего горя, тихо опустили за парты, не стукнув крышками. Покойнов уткнул свое необыкновенно красивое — в ладони. Многие воспользовались той же позой. Так тихо не бывало в классе за все десять лет. Слышно, как муха пролетит. Но она осталась в зале... Контрольная между тем явно прошла... Где-то Лева уже читал, что глубочайшее горе не имеет уже форм выражения, что оно иногда замещается самыми странными проявлениями и ощущениями... Если это так, как у него... то он ставил под сомнение истинность подобного наблюдения. Он хотел бы именно так истолковать свое равнодушие, чтобы стать как все, не быть уродом, но, по чести, он не мог так себя в этот миг истолковать. И Покойнов оставался недоступным идеалом, красота его оказалась такой оправданной и не внешней... Лева был смущен.

Не могли же все так думать, как Лева: об удаче, что он умер, раз контрольная прошла?... Этого Лева, казня себя, никак не мог допустить про других. Другие все просто забыли напрочь о таких мелочах, как контрольная, убитые... Именно поэтому все, как один, остались скорбно сидеть в своем классе, не поднимаясь в кабинет физики... Все, как один, — и один лишь Лева. Одинокó было Лева в таком самоощущении посреди этой стихии народного горя...

Не мог Лева, конечно, подумать, что все притворились на какой-то счет. «Ну один, ну двое... — думал Лева логикой следователя. — Все не могут же одинаково притвориться?..»

Так что не всегда эта смерть понималась, как сейчас. Но и не просидеть им вот так всю жизнь в скорбном классе. Ведь даже за окном посветлело... Попробуем не придать ни того, ни другого значения этому мировому событию. Оставим Лева в его недоумении насчет собственной искренности. Куда важнее хорошо отнестись к истории — с человеческим пренебрежением: мне тогда было не до того, не до ее поступи —

я запомнил рубчик на ее подошве, когда она на меня наступила.

Конечно, невозможно предположить, что все, не сговариваясь, могут одинаково притвориться. Но что же тогда общество? Рано еще Лева подумать, что общество и есть коллективная неискренность.

Тем более что через минуту в класс ворвется раскаленный физик: какого черта не идут они в кабинет?.. Ну и что ж, что умер!.. — вырвется у этого грубого, недалекого человека. Как все будут им возмущены! А Лева с трудом удержит идиотский, возмутительный, ни с того ни с сего в себе смех: контрольная-то прошла. Не знает он, что это в нем — хохот самой Истории, если она все-таки есть. Не знает он, что о ненавистном во все школьные годы физике станет когда-нибудь вспоминать с теплотою, а о кумире и властителе дум завуче — с содроганием. Не знает физик, что заведет себе наконец домик с садиком и огородом, не знает завуч, что станет вице-президентом Академии педагогических наук, не знает Покойнов, что придет через комсомол к русской идее, не знает Лева, что за дверью проходит Фаина... Никто ничего не знает из того, что все мы теперь знаем.

Итак, попробуем переменить тон всеведения и займемся унылой реставрацией Левиного прошлого. Попробуем привыкнуть к фанерной и ветреной лачуге настоящего взамен комфортабельных и пышных развалин прошлого. Приготовимся к резкой перемене повествования: мы попадаем в разреженный, слепой мир Левы, каким он был, когда он был...

Тут нельзя не рассказать историю о кольце. Хотя бы как символ она чрезвычайно характерна.

Поскольку весь Левин сюжет легко свертывается кольцами, образуя как бы бухту каната или спящую змею. И если рассказ был начат с красивой фразы, как Левина нить мерно струилась из чьих-то божественных рук, то с какого-то момента это божественное существо, как нам кажется, то ли утомилось, то ли просто уснуло, завороченное мерным и однообразным мельканием Левиной нити без узелков и обрывов, и клубок как бы вывалился из его рук, и нить, разматываясь, стала падать кругами на воображаемый пол, петля за петлей, как на тех детских картинках, где уснула бабушка и котенок играет ее клубком. Не хватает, правда, котенка. Но можно с успехом принять за него Левину первую и вечную

любовь или его друга-врага Митишатъева как некий собирательный образ, воплощающий собой некую силу, Лева, противостоящую.

И потому еще — кольцо, что тут все трое из треугольника как бы схватились за руки и закружили, притопывая, с неестественной радостью, и началась цепочка, по которой, если один делал гадость другому, то тот и незамедлительно передавал ее третьему, а третий возвращал первому, и, в конце концов, все закрутилось на одном месте, как заскочившая пластинка; и вряд ли, пытаясь вернуться памятью к исходному, кто-либо мог утверждать наверное, что начал первый или что не он начинал, а уже выглядело так, что начинали они одновременно, да и так как-то лучше, поскольку — равенство, и никто больше других не ущемлен, и никому не обидно, так, по крайней мере, выигрывает Лева в мужском своем самоощущении.

История эта тем более характерна, что была, пусть наивным, но наиболее сильным из первых или первым из сильных выражений воздействия на Леву того самого механизма отношений, по которому Лева чрезвычайно быстро и легко подпадал под власть каждого, умеющего этим нехитрым механизмом пользоваться, а также и потому, что показывает, как испытывавший поражение уже заражен. становится тем самым механизмом, который ему ненавистен, то есть становится не только оскорбленным, ущемленным или проигравшим по сюжету, ситуации, повороту, но и действительно пораженным, как бывают поражены болезнью.

Потом, эта история, не претендуя на первоисток, просто открывает перечисление, она — № 1 если не по значимости, то по порядку. Если исключить нечто смутное об отце, что в ту пору Лева вовсе не было известно, но все-таки как-то существовало, неким облачком, как бы в том воздухе, которым дышал Лева, не замечая еще того компонента, не смертельного, но все-таки опасного, от которого если не угоришь, то, по крайней мере, получишь склонность к угоранию впоследствии, некоторую незаметную предрасположенность организма... Так вот, если исключить этот запашок, который Лева не был, в общем, известен, то история с кольцом, действительно, № 1, если считать по порядку.

Ряд этих колец и протянется по рассказу, отражая определенный отрезок Левиной жизни, а именно тот, когда существо задремало и нить, выпадая из его рук, стала ложиться кольцами, причем верхнее так же ложилось на предыдущее, как то — на

еще предыдущее, как все они, скапливаясь, лежали на первом кольце. И остается только надеяться, что что-нибудь вдруг подтолкнет это существо в бок, оно встрепенется и возьмется за упущенную нить.

К тому же история эта и действительно о кольце, о самом обыкновенном обручальном кольце («желтого металла», как выразился бы следователь), о круглом дутом колечке, которое носила на своем пальце Фаина.

Только о кольце.

Начать же ее следует с того, что, выйдя из класса, где проходил последний экзамен на аттестат зрелости, выйдя из класса после того, как им объявили оценки за этот последний экзамен, — все вдруг закурили. То есть Лева даже не предполагал, что все в классе курят. Оказалось, существовала даже договоренность, что все закурят, только Лева, по какой-то случайности, не был этой договоренностью охвачен. Каждый достал свою пачку и закурил свою папиросу, в большинстве — неумело. Митишатьев встряхнул свой «Север» и предложил Лева. И Лева взял.

Экзамен этот был «История СССР», и Лева получил пять, а Митишатьев, единственный в их сильном классе, — три, потому что увлекался в ту пору историей и все экзамены провел за чтением старинного Соловьева и Карамзина, а «Краткий курс» прочесть не успел и, таким образом, знал одни лишь третьи вопросы, и те — совершенно в противоположном, чем надо, виде; Лева же прочел лишь «Краткий курс», а третьего вопроса у него не спросили вовсе. Таким образом, испытывая скрытое торжество над Митишатьевым, Лева тоже взял папиросу, и, когда сумел не поперхнуться от первой затяжки, некая даже гордость, вместе с головокружением, охватила его, и тут он вдруг почувствовал, что наконец-то со школой — все.

Так и соединилось в его памяти на всю жизнь ощущение первой затяжки с окончанием школы. Все поплыло перед глазами, и он вдруг испытал легкость необыкновенную, и ему показалось, что он не прошел, а перелетел солнечный, вытоптаный школьный двор и очутился с Митишатьевым на улице. «Напиться бы», — сказал Митишатьев, мрачный от своей тройки. «А что, не мешало бы», — радостно сказал никогда не пивший Лева и удивился. Он словно впервые очутился на открытом пространстве и сразу подставился всем ветрам.

Митишатъев тут же договорился, что Лева купит за них обоих, потому что у Левы деньги были, а у Митишатъева не было. «Будут настоящие женщины, — сказал он, — француженки». — «Как — француженки?..» — задохнулся Лева. «Студентки иняза». Но и «студентки» прозвучало для Левы, как куртизанки. Одна из них, как сказал Митишатъев, была даже замужем...

И Лева уже не столько одалживал Митишатъеву деньги, сколько сам становился навек ему обязанным. Потому что все это Леву, что естественно, необыкновенно занимало и ничего этого он не знал, а Митишатъев, много раньше Левы начавший продвигаться во всех этих вопросах, никогда раньше Лева подобных предложений не делал, а намеки Левины и редкие и робкие напрашивания с ухмылкой обходил, чем и обижал его, оставляя наедине с достоинством, которым тот почти уже готов был пожертвовать...

Теперь — все обстояло иначе. Они уговорились встретиться вечером, и Лева, закулив еще одну митишатъевскую папиросу, ушел домой, и не ушел, а снова полетел, как бы уносимый всеми открывшимися вдруг ветрами, в сторону дома...

Весь день он чистился и скоблился, и, за час до условленного часа, уже кружил, порхал, попыхивал только что купленными сигаретами с золотым ободком и успел облететь один и тот же квартал раз сто, пока подошел не спеша Митишатъев.

В пустоватой комнате оказались три девушки — обозначим их условно: черненькая, беленькая и голубенькая. Говорили они по-русски (Леве непременно казалось, что они будут говорить только по-французски — тут он мог блеснуть, потому что, усилиями родителей, владел этим наречием своего рода). Время было еще кое-как заполнено, пока Митишатъев здоровался сам, знакомил Леву, Лева пожимал непривычные ладошки и выдерживал взгляды; потом он извлекал бутылки, два «Муската», который, как слышал Лева, так любят дамы, что теперь показалось Лева нелепым, хотя это он сам покупал их; время опустело, и он вдруг смутился.

Митишатъев тут же предоставил его самому себе, заговорив в уголку сразу с черненькой и беленькой. Лева ничего не предпринимал, смущаясь, заговорить был не в силах и пока оправдывал это тем, что надо же определить из трех девушек

одну, причем не митишатьевскую. «Которая из них была замужем!» — гадал Лева... Пока получалось так, что Лева предназначена голубенькая: она так же, как он, была несколько в стороне. Лева перелистывал журнал, ничего в нем не видя, иногда поглядывал на свою голубенькую. Она была действительно голубенькая, и платьем, и волосы как-то так отливали. Беленькая — хозяйка — все входила и выходила...

Лева, собственно, не предпочел ни одну: все они были как-то одинаковы для него, хотя и разномастны. То ли нерешительность свою и смущение подменял он как бы безразличием и незаинтересованностью конкретно ни в одной из трех... Он уже стал инстинктивно выискивать в себе силы, чтобы из всех ему понравилась именно голубенькая, и начал понемногу преуспевать в этом, отыскивал в ней достоинства и отличия от подруг. Но тут все сбил Митишатев: незаметно покинув свой кружок, он оказался вдруг разговаривающим (Лева даже возмутился) с Левиной голубенькой. Черненькая засуетилась: «Ну что же мы не выпьем? Где же Фаина? Долго мы ее еще будем ждать!»

«Кто из них Фаина? — заторможенно подумал Лева. — И почему ее надо ждать, когда все здесь...» Как тут же отворилась дверь, и в комнату, отбрасывая ладошкой сыроватые распущенные волосы, вошла совершенно новая девушка... И не девушка — женщина! — в самом настоящем, с точки зрения Левы, смысле этого слова. Да, это была женщина — так она вошла. Лева, сам не заметив, быстрыми шагами пересек комнату, пока она успела сделать едва три шага от двери, и встал перед ней истуканом, слегка расстегнув рот и как бы сказав «О!». Фаина, — потому что это была именно она и это именно она была замужем, никакого сомнения в этом и не могло быть, — Фаина, как бы только от того, что что-то преградило ей путь, подняла глаза на Леву, застывшего перед ней, и, улыбнувшись как бы от той же внезапности, что и Лева, тоже сказала «О», причем так, что Лева в этом могло слышаться даже одобрение, оно и слышалось. «Фаина», — сказала она сиплым, тут же восхитившим Леву голосом и протянула ему руку; Лева ощутил эту руку и податливой и уверенной одновременно, прохладной, нежной — у него по спине пробежал сладчайший холодок от этого пожатия. Он все держал ее руку в своей, когда услышал: «А вас как же?» — «Да, да... — сказал он, поспешно выпуская руку и как бы припоминая, — Лева, Лева меня зовут», — проговорил он, как бы сам себя в этом убеждая.

В общем, это была любовь с первого взгляда и наповал. Лева и не заметил, как мускат был выпит, отодвинулся в сторону стол, сама собой завелась радиола, а Митишатьев затанцевал с беленькой хозяйкой. Лева, танцевать не умеющий, зато умеющий по-французски, разговаривал с Фаиной, перемежая русские фразы с французскими, где она как специалист не могла не оценить его произношения. Стыдно ему не было. Они помещались у стенки, в проеме между двумя кроватями, держались за никелированную спинку, как за поручень, и куда-то ехали в этом автобусе, далеко, и пассажиров не было... В их купе было довольно тесно, до руки Фаины оставалась маленькая никелированная полоска — кольцо, — Лева задыхался от этой близости, сжимал это кольцо, и у него красиво белели пальцы. Митишатьев танцевал уже с черненькой. Голубенькая подошла к Лева и простодушно протянула руку, вовлекая в круг. «Нет», — как-то даже зло сказал Лева. Она пожала полупрезрительно плечами и отошла.

Митишатьев отдувался за Лева, танцуя с голубенькой. Он танцевал, как бы все более заводясь и уже в неистовстве, но Лева этому неистовству, хотя оно, в общем, у Митишатьева и получалось, не доверял. Тут было, по мнению Левы, слишком видно усилие этой безотчетной конвульсии, слишком уж оно говорило за неистовство митишатьевской природы. Сам же Лева, в противовес Митишатьеву, разговаривал легко и непринужденно — так ему казалось. Фаина больше молчала, слегка подлакивая, очень, впрочем, точно, умненько и в такт, так что Лева все больше убеждался в незаурядном ее уме, и ковчег ее достоинств, в представлении Левы, уже становился чрезмерен для возможности оценить и одарить эту женщину сполна. К тому же Фаина, хотя и помалкивала, как-то умудрялась не давать Лева почувствовать неловкость от его неумеренной болтливости и от того, что она так чутка и тактична, Лева становился ей тем более благодарен и сильнее влюблялся, если такое было еще возможно.

Митишатьев, оттанцевав с голубенькой, подошел к Фаине и, слегка покраснев, стал знакомиться, чрезвычайно чопорно, как бы в контраст с неистовством только что законченного танца. Лева немнотко удивился, что вездесущий Митишатьев не был, оказывается, знаком с нею, и ощутил оттого над ним чуть ли не превосходство. Познакомившись, Митишатьев пригласил Фаину на следующий танец, и Лева взглянул на него так грозно, что Митишатьев, все-таки оттанцевав один танец и с Фаиной, даже нашептал ей что-то к особому Левиному недо-

вольствию, во всяком случае больше ее не приглашал, полностью предоставив Леве.

Веселье между тем выдохлось; черненькая совсем ушла, а беленькая хозяйка непрестанно, кстати и некстати, и словно нечто подчеркивая, входила и выходила из комнаты. По всему, Фаина сегодня оставалась у хозяйки и никуда уходить не собиралась, а Леве — давно пора было уходить, о чем и намекнул ему помрачневший Митишатъев, надевая плащ, и времени у Левы для тех решительных действий, на которые он решался весь вечер, заключавшихся в том, чтобы обеспечить и гарантировать себе следующую встречу с Фаиной, чтобы она теперь уже никуда от него не делась (потому что именно это странное ощущение преследовало его: что она уже пропадала у него однажды, словно он давно с ней знаком), — времени для этих, так и не продуманных, действий не оставалось никакого. И он, уже впопыхах, как бы зажмурив глаза и прыгнув, ни с того ни с сего (а именно хотелось, чтобы плавно и между прочим) предложил Фаине сходить в ресторан. Лева очумел от собственной смелости и задохнулся в непременном ожидании отказа и даже возмущения. Но Фаина согласилась удивительно легко, сразу же, будто в этом ничего такого сверхъестественного не было; это было неожиданно для Левы, и тогда его смелость повисла для него в пустоте. «Только когда?» — спросила Фаина, и в тоне ее прозвучала деловитость. «Да хоть завтра!» — восторженно воскликнул Лева. «Нет, тогда уж послезавтра», — сказала Фаина. Они сговорились встретиться послезавтра, в восемь вечера.

И Лева брел домой, совершенно уже порхая. Митишатъев ушел в другую сторону, с голубенькой. Лева еще удивился, что с голубенькой (ему почему-то казалось, что Митишатъев — с черненькой), удивился — и тут же забыл. Потому что, судорожно вспархивая вместе с сердцем, взлетая и опускаясь, мгновенно очутился у своего дома и тихо ковырялся в замке, чтобы не разбудить уже спавших родителей. И все вспыхивало кругом странноватым дрожащим светом, лившимся неизвестно откуда, потому что лампочка на площадке не горела...

Как Лева дождался послезавтра, как нашел в себе силы преодолеть это бездонное время, остается только удивляться, — но вот он уже сидел в самом роскошном ресторане (его выбрала

Фаина), за столом с двумя растратчиками из республик, и говорил с Фаиной, в основном по-французски, потому что разговор его (они уже немало выпили) был таков, что посторонним не предназначался, и Лева воспарялся все выше, потому что дело, насколько он мог судить по молчаливым и оттого для него как бы еще более красноречивым, поддакиваниям и взглядам Фаины, явно шло на лад.

Они досидели до самого закрытия, остались почти одни в зале, во всяком случае — за столиком, а дальше Лева почти и не видел: в тумане. Официантка, милейшая женщина, к которой Лева испытывал все большую симпатию, потому что особая, казалось ему, ее забота простиралась на их стол, — стояла у стенки и поглядывала в их сторону чуть ли не материнским, умиленным взглядом... Лева все было приятно, все его трогало: он ловил и этот взгляд, — и тогда как-то особенно распрямлялся и говорил громче... Фаина слушала его, потуплялась, крутила на своем суховатом пальце обручальное кольцо.

Тут произошла совсем символическая сцена, наполнившая Леву окончательно — восторгом. Официантка подошла к ним и сказала, разгибая блокнотик: «Вы, наверно, молодожены?»

Лева покраснел в замешательстве. А Фаина вдруг легко, так же легко, как в свое время согласилась идти с ним в ресторан, сказала «Да». Тогда и Лева, спохватываясь и давясь, тоже сказал: «Да, да». «Сразу видно, — сказала официантка, — самая хорошая сегодня пара... И давно вы женаты?» Лева растерянно глянул на Фаину. «Полгода», — сказала она. «И три дня», — обрадовавшись, пошутил Лева и тут же очень стал собой недоволен. «Сразу видно, — сказала официантка, — что удачный брак. Теперь это так редко». — «Да...» — нелепо вздохнул он. «Ну, вы посидите еще немного? Еще минуток пять можно...» — с благоволением сказала она и опустила блокнотик в карман. И, отходя от их столика, спросила: «А живете с родителями?» — «С родителями», — уже уверенно сказал Лева. Тут Фаина, к некоторому Левиному удивлению, подозвала ее снова и зашептала ей что-то на ухо. Официантка бросила коротенький и блестящий взгляд на Леву и ответила так же шепотом. Лева воспитанно откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел в сторону, как бы ничего не слыша, но, как ни напрягался, — ничего не слышал. Только какое-то другое, недоступное Лева, понимание между ними насторожило Леву: они были как «свои», официантка и Фаина, — а потом и этот странный смех, и потом официантка отходила

еще с улыбкой, относившейся к тому, о чем они говорили, и последний обмен взглядами, — во всем этом померещилось Леве что-то плотское и нечистое, но он постарался тут же об этом забыть, что ему и удалось. Официантка вернулась через некоторое время и принесла небольшой пакет, вручив его Фаине. Тут они и рассчитались, Лева много дал на чай и поморщился, потому что поймал себя на пересчете чаевых на билеты в кино.

Но дальше было вообще чудо: провожание это слилось для Левы в сплошное цветение, полыхание и благоухание. Никогда не говорил он так дивно, как тогда, когда они вдруг приостановились на канале, оперлись о парапет и смотрели на черную воду, и он наконец решился взять Фаину за руку... Потом они целовались в парадной так истово, так неудержимо, что за окном предательски светлело. Фаина говорила ему такие слова, такие слова, что повторить их нельзя даже про себя, потому что они ничего уже не будут значить и завянут тут же, не оставив ничего, кроме разочарования.

Он и не подозревал тогда, что в свертке Фаины лежат шесть пирожных; что она ни слова не понимает по-французски, потому что в инязе никогда и не училась, выйдя замуж сразу по окончании курсов машинописи; что и из его, уже русской, речи тогда, у парапета, которая, казалось Леве, и утвердила окончательно его победу, без которой он не добился бы ее любви, и из этой речи она ничего не запомнила, вполне удовлетворяясь прекрасным пониманием и знанием его состояния, и только; он не имел представления, в какой мере те единственные слова, которые он впервые услышал от Фаины тогда в парадной между лобзаниями, столь же естественны и обязательны для нее, как поцелуи, и почти ничего не значат: просто она знала, как доставить ему радость, и не было никакого повода отказать ему в ней... (Хотя не следует до такой степени отказывать и Фаине — в искренности. Потому что и неискренности мы — отдаемся. Во всяком случае, она отдавалась ей вполне.) Лева же ничего этого не знал — это было бы даже отвратительно, если бы он подозревал об этом. Он ничего этого не знал, и единственное, что нестерпимо отравляло его упоительное счастье, была одна маленькая нужда, застилавшая своими размерами свет... (Позже, когда он поведal ей об этом своем смешном мучении в ту ночь, в расчете на некоторое даже умиление с ее стороны при воскрешении столь радостных воспоминаний, Фаина лишь пожалала плечами: «Мог бы и отойти, я бы подождала», — сказала она.)

Следующее их свидание было опять послезавтра. Лева не прожил, а как бы силой прорвал это время и очутился утром в комнате Фаины; никого наконец не было, и, проявив неожиданную смелость, он тут же овладел ею; она, впрочем, нисколько ему в этом не препятствовала. Лева тотчас чуть не помешался, но не от божественного наслаждения — оно оказалось не так уж и велико, как он ожидал, и он впервые провел границу между желанием и наслаждением, — а от самого факта, разрывавшего его сознание со счастливым треском и не умещавшегося в нем. Он, не зная, чем отблагодарить, как уравновесить то, что она ему дала, осыпая ее поцелуями, радостно признался, надеясь польстить ей, что она первая женщина в его жизни (до достижения он, наоборот, старался казаться бывалым), — Фаина же ему не поверила: то ли действительно уж больно оказался ловок и спор на этот раз, то ли польстить хотела тоже.

На следующий день Лева расчувствовал все несколько больше. И теперь ему, в его опьянении, казалось, что так и будет, все выше и выше, до какого-то уже нестерпимого по сладости звона -- и так всю жизнь...

Но почти тут же заметил, что в Фаине что-то изменилось, будто она удивлена, что он опять пришел, что она отводит глаза и молчит, когда он требует прежних слов, теребя ее жарко за руки, что и отдается она ему, при всей уже отмеченной Левою преданности этому делу, с каким-то даже равнодушием, чуть ли не с неохотой.

Один раз ее уже не оказалось дома, и он дежурил три дня — ее все не было; наконец поймал — и она была веселее и добрее, чем обычно... А Леву теперь мучило не только ее исчезновение на эти три дня — куда? к кому?.. — но и то, что она вернулась такая довольная. Лева, уже обеспамятевшему, все хотелось понять, в чем же дело, чтобы ему «только лишь» объяснили, чего не хватает в нем и что еще нужно делать, чтобы все было «как прежде», — потому что нет такой вещи, — это было очевидно ему, — которой он не сделает для Фаины, точнее, ради нее.

Он решил поговорить с ней «начистоту» (в этой «чистоте» он, бессознательно, подразумевал лишь одну сторону — восстановление ее прежних слов и признаний) и повел ее для этой цели в кафе, отчасти желая повторить тот прекрасный вечер в ресторане и все больше уверяясь в том, что он непременно повторится, этот вечер (это давно следовало сделать, укорял себя Лева, это следовало сделать раньше, до «похолодания»

Фаины). Но повел он ее в кафе, а не в ресторан, потому что у него мало денег (так мы всегда, давая все меньше, полагаем, что отдаем последнее, а за последнее — требуем от другого всего), но и кафе это, по признанию Фаины, очень ей всегда нравилось: какое-то уютное, особое освещение, там можно «побывать вдвоем» и т. д.

В этом кафе и спросил он, с отчаянья напрямик: что ей еще нужно?.. Она не рассердилась (потому что продолжала пребывать в некотором добродушии после своего исчезновения) и сказала тоже напрямик: «Ты должен дать почувствовать мне свою силу». Что она под этим имела в виду, догадаться трудно, но Лева, как ни странно, сразу ее понял, и сердце его сжалось в тоске и отчаянье. Это означало попросту, что он слишком хорошо относится к Фаине и что все было бы лучше, если бы хуже...

Лева целый час говорил, столь же вдохновенно и прекрасно, как в тот вечер у парапета, о том, как она не понимает, что это отвратительно: эта игра «кто кого», что он, Лева, просто не хочет в нее играть, в эту игру, что он не может, как некоторые, как, к примеру, тот же Митишатъев («Какой Миша? Ах, тот, что танцевал. Хороший мальчик!»), что он верит, продолжал Лева, что могут быть истинно прекрасные отношения, большинству неведомые, вне этой игры, что он ее любит именно так, а это редкая любовь, даже не редкая, а единственно та, что может быть названа любовью. («Вот... — сказала она и даже ласково погладила ему руку. — Просто ты меня слишком любишь, а мне это трудно». Лева удивился и ужаснулся этой простоте, хотя надо отдать Фаине должное: никогда потом не говорила она так же чисто и честно.) Но, говорил Лева, он не хочет, да и не может становиться в один ряд со всеми, и тогда, в таком-то смысле, он может показаться кому-нибудь и слабым, но это вовсе не слабость, а сила, сила его! что это тот самый, редкий дар, который случается с человеком раз в жизни... И как же можно отворачиваться от него (дара и Левы), когда он таит в себе (дар или Лева?) самое высокое счастье, какое только может дать один человек другому человеку! Отворачиваться от этого дара даже преступление... (Но Фаина и впрямь отворачивалась, давно уже пропуская Левину речь мимо сознания, потому что тоже давно ее как бы знала, в принципе и в целом, и все, что могла сказать Лева по этому поводу, очень откровенно уже высказала. Она отворачивалась, провожая взглядом только что вошедшего длинного молодого человека в усяках.) «Там-то как

раз и бессилие, бессилие чувствовать и любить по-настоящему, где она подразумевает силу...» — сказал было Лева и ослаб, сник, смяк и не мог больше выговорить ни слова.

— Я вдруг ужасно проголодалась, — сказала Фаина (придя в кафе, она от всего отказывалась). — Закажи мне, пожалуйста, лангет. Тут его очень хорошо готовят.

«Откуда она знает, как здесь готовят лангет?» — подумал Лева.

Они продолжали «встречаться» (трудно было бы не встретиться, даже если бы Фаина хотела этого). Лева, так и не доказав своей силы, маялся и страдал, и денег на все это уходило как-то больше и больше. Отец косился и, дойдя до определенного, по каким-то своим соображениям избранного предела, дотаций не увеличивал. Один раз выручил дядя Митя, хотя Лева, наслышанный о его скаредности, и не думал у него просить. «На, — сказал он, со вздохом прощаясь с купюрой, — тебе деньги нужны». И, опуская в карман свой «портмоне» без этой купюры, рассердился: «Ты, Лева, не человек, а добыча». Лева не обиделся и был растроган до слез. В другой раз это была Альбина, единственная, пожалуй, девочка, с которой Лева был знаком даже раньше Фаины (по стечению жизненных, а не романтических обстоятельств, — дочь старинной приятельницы того же дяди Мити). Лева считал ее некрасивой и стеснялся при встречах: она всегда смотрела в глаза, — и он всякий раз не знал, что сказать, чтобы скорей распрощаться. В этот раз — пожаловался, что бедствует, и она тут же предложила займы. И, почувствовав себя скверно, уронив взгляд, Лева — воспользовался. Воспользовался еще и тем, что знал, что сама она никогда ему об этом долго не напомнит. Впрочем, он сознавал свою некоторую низость лишь как унижение и то до тех пор, пока не скрылся за углом с этими деньгами. И — все. На этом самаритяне кончились, началась — «нужда». И ее синонимы. Лева потаскивал книги, продал какую-то фамильную печатку одному жулику за суший бесценок, — но и эта сумма, для Левы тогда очень значительная, мгновенно утекла, именно как в песок.

Так что теперь его, чуть и не наравне с выяснением отношений между ним и Фаиной, стала интересовать проблема, как и где раздобыть денег (так он, незаметно, привыкал покупать любовь). Он учился экономить (это был уже семейный процент их отношений), ходить в ресторан ему казалось уже

слишком невыгодным, потому что существовали куда более насущные траты (чулки, косметика, электричество и газ, булавки, нитки, не забыть купить два метра к о р с а ж а , так и спроси: «кор-саж»...). Хоть бы он цветов когда-нибудь купил!.. Лева улыбался криво.

Тогда-то и принял он участие в «складчине» (которая дешевле ресторана). Эту складчину устраивал его одноклассник с двумя другими, очень продвинутыми в развлечениях сверстниками, в том числе и Митишатъевым. У кого-то из них высвобождалась квартира («предки» куда-то уезжали), и они могли там делать, что хотят. Митишатъев вспомнил о Лева и пригласил его «с дамой», за что Лева, давно истощив все доступные ему варианты развлечений Фаины и находясь по этому поводу в глубокой растерянности, был ему очень признателен, даже тронут.

Фаина долго ворчала, не соглашаясь идти, морщилась: «детский сад»; потом собиралась так же долго, даже тщательнее обычного.

То, что нас утомляет впоследствии, Леву еще несколько не утомляло — он несколько не скучал, наблюдая ее сборы, даже получал удовольствие. Он находил особую красоту и прелесть в этих заученных, машинальных, почти инстинктивных движениях Фаины перед зеркалом. Именно в этих, вовсе не рассчитанных на постороннего, на эффект, не эстетизированных движениях — находил он теперь именно и прежде всего красоту...

Его радовала закопченная железная вилка, которую Фаина уходила калить в кухню на газе и бегом возвращалась, оставив слегка руку в сторону с раскаленной вилкой и помахивая ею (на эту вилку она наматывала прядь, совершая последний и самый выразительный локон), и столовый нож, которым она с поразительной ловкостью загибала себе ресницы, и иголка, которой она разделяла по отдельности ресницы, уже покрашенные... Эта возня с колющими и режущими предметами (у самых глаз!) казалась Лева рискованной и опасной, а то спокойствие и деловитость, с каким Фаина это все проделывала, и восхищали, и пугали его, как смелость артиста в цирке. Притягивало и пугало его и выражение глаз Фаины в зеркале, когда она занималась всем этим, — отсутствующее, холодное, прицеленное, снайперское какое-то. Заученная, непреклонная последовательность движений и операций, проводимых Фаиной при сборах, при всем единообразии, не теряла прелести для Левы; он испытывал определенное удовлетворение от мысленного

опережения, предвосхищения движений Фаины и некую радость от совпадения воображенного движения с действительным через какую-нибудь секунду.

(И пока он так робко наблюдает и безропотно ждет Фаину, у нас есть время разглядеть его взгляд... Как он умудряется, не сводя с нее глаз, настолько не видеть ее? Насколько ее не видеть, что, глядя в этой повести его глазами, и мы — не видим ее?..)

Особенно нравилось ему, когда она смывала старую краску и становилась на миг будто растерянной и близорукой, будто ее легко можно было сейчас обидеть, а Лева бы — защитил... Вообще, Лева все больше любил и дорожил этой незамеченной красотой Фаины: заспанным или усталым ее лицом, какой-нибудь небрежностью в одежде, неуклюжим безотчетным движением — это вселяло в него блаженное ощущение прочности, принадлежности и благодарности, которые, в иных условиях, Фаина давала ему испытывать все реже.

Так уж получалось, что, когда Фаина жаловалась на то, что плохо выглядит, то казалась Леве наиболее красивой, любимой и близкой. Если бы это было вполне осознанно, можно было бы сказать, что его радовало, когда она бывала измученной, слабой и несчастной (так, особенно любил он ее, когда она заболела), и наоборот, пугало, когда она была «в форме»: красивой, уверенной, бодрой. В первом случае возникала иллюзия ее зависимости от Левы, она никуда не уходила от него и никуда не могла деться; во втором — она уходила от него бесконечно, всегда, уходила тем безнадежней, чем была красивее, уходила, даже если была рядом и они были вдвоем: он как бы уже над ней не простирался и отставал, задыхаясь от отчаянья.

Тут была какая-то парадоксальная путаница в понятиях близости и отдаления, в обозначениях этих состояний словами — обычно и иногда, естественно и неестественно, как правило и в исключительных случаях. Для Фаины обычным и естественным, приносящим легкость и удовлетворение, было состояние «в форме», а исключительным, редким — обратное состояние: усталости, неуверенности («сегодня я «не в форме»). Для Левы — наоборот, все более нежелательным, неприятным и неестественным казалось ее пребывание в форме, а обычным, естественным казалось как раз ее состояние «не в форме». В Левином сознании эти два ее состояния приходили все в больший антагонизм: «в форме» Фаина казалась Леве неестественной, злой, лживой, черствой, эгоис-

тичной, наделенной всеми пороками, «не в форме» — милой, естественной, нежной и т. д. Именно не в форме, казалось ему, бывала Фаина сама собой, а в форме — чужая, не своя, подмененная. И хотя он был не властен поколебать соотношение этих двух ипостасей Фаины, хотя Фаина прежде всего стремилась свести к минимуму те свои состояния, которые, чем дальше, тем больше становились дороги Леве, а именно: она стремилась как можно реже бывать не в форме — тем не менее Леве казалось, что Фаина, пусть медленно, через бесконечные его страдания, но приближается, подвигается к тому своему состоянию, которое Лева полагал ей естественным, ее сутью и которое, если снять покровы с неосознанных Левою явлений, называлось «принадлежностью Леве». И поскольку никаких действительных оснований к тому, чтобы полагать, что она принадлежит ему все больше, у Левы не было, скорее, наоборот, ему удавалось видеть желаемое способом, который может показаться странным, но совершенно естественен в то же время; он все больше узнавал Фаину лишь с одной стороны, он все копил и собирал в себе эти ее состояния «не в форме», столь любезные ему: он их просто лучше видел и узнавал, сосредоточивая внимание на моментах, которые, может, были чрезвычайно невелики в общем образе Фаины, но как бы увеличивались и росли именно за счет возрастающего к ним внимания. То есть явление это было чисто психическим или даже оптическим, но оно придавало силы и помогало пережить самые обезнадеживающие ситуации.

Впрочем, осознай Лева необоснованность подобной логики, был бы он наименее несчастнейший человек, потому что не обладал достаточными силами, чтобы справиться со своим знанием. Таким образом, чем больше проводил он времени рядом с Фаиной, тем меньше знал ее. Это, по-видимому, и значит, что «любовь — слепая». Ту Фаину, которую мог видеть любой и каждый, прохожий и встречный, Фаину реальную, он — не видел ни разу.

Когда Фаина красилась и готовилась, момент этот хоть и радовал Леву, но был все же двойственен: она была с ним и не уходила, поскольку не была готова, поскольку самой неестественной женщине нельзя отказать в естественности, когда она пребывает перед зеркалом, но она и уходила — уходила, в перспективе оказаться наконец совсем готовой, красивой, в форме и — вздохнув в последний раз с облегчением или удовлетворением, бросив последний взгляд в зеркало, — в один какой-то миг, сразу и окончательно в эту готовую форму войти, в ней

оказаться — и тем уйти от Левы. А пока Лева сиживал и наблюдал этот переход, он еще бывал счастлив, наблюдая: лишь легкое волнение и муть набегали на его расшатанную любовью душу (по мере приближения к концу ее туалета, все чаще), он снимал, как бы смахивал это со лба легким движением руки, как смахиваем мы в осеннем лесу паутину. Жест слабый, как вздох...

Конечно, это неточно так говорить, что у зеркала Фаина бывала наедине с Левою, нет, у зеркала, конечно, она была совершенно одна во всем мироздании, как и любая женщина, — но она и не была ни с кем другим — и этого Леве было достаточно, а определенность и последовательность ее движений рождали в нем ощущение устойчивости. Так же натяжкой было бы говорить, что Фаина повторяла свой ритуал перед зеркалом всегда одинаково. Эта одинаковость была скорее явлением качественным, но не количественным. Она вела себя у зеркала по-разному, в зависимости от того, куда собиралась: был ли это рядовой, ответственный или исключительный случай сборов. Она могла собираться наспех, с обычной тщательностью и — с вдохновением. Это были как бы малый, средний и большой набор операций и движений, с разным объемом вкладываемых физических и духовных сил. (Сейчас она, поругивая сосунков, к которым вынуждена идти, потому что больше идти некуда, и, соответственно, поругивая безответного Леву, собиралась тем не менее по самому полному, максимальному комплексу.) Но каждый из этих комплексов: и малый, и средний, и большой, — были постоянны внутри самих себя, почему Лева и любил сопереживать эти моменты.

Впрочем, ни возражать на ее замечания, ни откровенно наблюдать за ней Лева не имел права — это ничем хорошим для него не кончалось. Но он уже прекрасно видел Фаину каким-то боковым зрением, в отношении ее необыкновенно обострившимся, особенно на людях... Он мог видеть ее даже спиной, ничего зато не различая в журнальчике, который листал с видимым интересом.

В результате они несколько запоздали и застали уже то возбуждение и оживление, которое называется первым, или легким, опьянением. То есть они пропустили тот таинственный момент, когда некоторая холодность, скованность и разброд полужнакомых людей понемногу накапливались и подошли к тому пределу, когда все в сборе, и готов стол, и вот все рассаживаются, уже возбуждаясь и отпуская напряжение; раз-

ливается по рюмкам водка, и она, еще не выпитая, уже как-то подействовала: а потом, за первой рюмкой, ходом вторая — и уже все знают друг друга, тормоза сброшены, и кто-то говорит громко, и кто-то очень смеется, и всем кажется, что веселье длится уже давно, — но если кто-либо, с напрасной исследовательской жилкой, засекает бы время, оказалось бы всего десять минут, как они сели за стол, от силы — пятнадцать; а уже первый хмель начинает свое плавное и неумолимое перерастание во второй, — и все это тем быстрее, чем независимей, чопорней и чинней ожидали гости этого момента...

Когда они пришли, дверь им уже открывали с неумеренной улыбкой на лице, без пиджака, с расстегнутым воротом, при галстучке, приспущенном, как флаг, с ничем не оправданной радостью говоря: наконец-то! и все вас ждут, — хотя вы и не знакомы вовсе. Такой открытый прием всегда, впрочем, впору — что-то вы оставляете за порогом: какую-то тяжесть, как шубу на вешалке. А поскольку время летнее и ни о каких шубах не может быть речи, тяжесть была единственной невидимой одеждой, которую Лева скинул тут же в передней и как бы даже проводил ее падение взглядом: взгляд упал на сундук.

Передняя незнакомой, тем более коммунальной квартиры — тоже таинственна: небольшое чистилище перед веселием, впрочем, темноватое, заставленное и захламленное — скорее, предбанничек. Сундук, над ним велосипед, над велосипедом рога, под рогами подкова — все это незаметно входило в Леву, когда он, достав бутылки и передав хозяину, поджидал Фаину, внутренним усилием ее поторапливая, пока она, движением столь легким, что, казалось, и практически ненужным, прикасалась, как бы чуть подталкивая, ладонью к прическе, меняла туфли и еще раз пронзала самое себя неподкупным взглядом; вся она тут будто вздрагивала, вытягивалась, лицо ее становилось холодным, как бы чеканным, почти величественным — это все отражалось какую-то секунду в зеркале, Фаина поворачивалась и, не глядя на Леву, чтобы не растерять выражение, шла к дверям, а у Левы было впечатление, что это уже не Фаина, а отражение ее вышло из зеркала и пошло, неживое, — и сердце его чуть сжалось.

Если продолжить сравнение, то из холодного и темно-го предбанничка они очутились прямо в парилке; или, если вспомнить сравнение с шубой, оставленной в прихожей, то они вошли как бы с сильного ночного мороза в жарко нагретую и освещенную избу, когда из распахнутой двери

большим светящимся шаром вываливается пар, а потом, когда дверь захлопывается за вами и вы начинаете видеть, то сами оказываетесь в пяточке холода, исходящего от вас; или, проще — на них опрокинулся шум, и дым, и смех, и некоторое не окончательное и не всеобщее, но вполне осязаемое замолкание и разглядывание, как бы туше, а потом — снова тот же шум.

Их рассадили порознь — это был принцип компании. Лева он показался глупым, и Лева досадовал, — но делать было нечего, и он был помещен рядом с пухловатой девушкой в прозрачной кофточке, сквозь которую просвечивало очень розовое белье; она прыснула, когда Лева садился, а Лева каменил и еще раз досадовал, потому что девушка не шла ни в какое сравнение с Фаиной — и это так же нелепо, как сесть на транспорт, идущий в противоположную сторону. Но он уже мог осмотреться. Собственно, осматриваться он начал еще до того, как сел, потому что у него сразу же включилось острое его боковое зрение в отношении Фаины.

Она была помещена рядом с Митишатьевым, и это Леву до некоторой степени удовлетворило: хотя бы знакомый человек. Она сумела сохранить свое выражение, вернее, свое отражение, которое она вынесла из зеркала, столь чинное и холодное, и, присев, исподволь, но цепко осмотрелась. Это был тот же ее как бы отсутствующий, но снайперский взгляд, каким она прицеливалась в зеркало, орудуя, например, тем самым столовым ножом для загибания ресниц. Лева был ничего все равно не увидел вне Фаины, он просто последовал за ее взглядом — взгляд был обращен сначала на девушек: они все были очень юны, даже не девушки, а девочки, но, как говорят, «развитые» (в те годы это было еще не частое явление, своего рода заслуга). Взгляд был мгновенен, пристален и пронзителен, он мигом расставил оценки и как бы успокоился, удостоверившись, что никакого намека на подвох нет: она их отбросила, она вне конкуренции. Лева мысленно согласился с нею: никакого сравнения быть не могло. Фаина была гранд-дама в этом птичнике. Успокоившийся и как бы размякший ее взгляд, во вторую очередь, прошелся по парням, уже более медленно, лениво и благодушно, но тоже ни на ком как будто не задержался. Ну, парней-то Лева всех знал, ему их рассматривать было и ни к чему, и, проследив ее взгляд, он потянулся к водке. Все это разглядывание протекло, впрочем, в кратчайший промежуток, скорость, с которой справилась Фаина с рекогносцировкой,

свидетельствовала об опыте, но об этом Лева как раз и не подумал.

Митишатъев уже наливал Фаине, Лева приподнял рюмку, выжидая ответного взгляда Фаины, желая установить невидимую и столь сладостную, как бы телепатическую связь через стол (натянуть бы эту нить и держать ее весь вечер...), и увидел, что Фаина, еще раз безучастно охватив взглядом все молодое собрание, незаметно стянула со своего суховатого пальца обручальное кольцо и спрятала его в сумочку. Затем она приподняла рюмку и ответила кивком Лева; Лева весь как бы подался ей навстречу, но ответного желания установить эту невидимую связь не обнаружил: Фаина словно бы не заметила этой протянутой руки и обернулась чокнуться с Митишатъевым. Лева несколько расстроился и с жадой выпил, сразу повторив («штрафная» пришлось кстати), инстинктивно желая поскорее набрать то же ускорение, которым обладали все сидящие за столом, и не находиться вчуже, мучительным особняком, что всегда тебе и другим неприятно.

Тут какой-то отрезок времени промелькнул для него незамеченным. Он обнаружил себя вдруг что-то впопыхах жующим, чтобы поскорей сбить неприятный вкус очередной рюмки, и при этом еще говорящим что-то смешливенькой соседке. Это (что он жевал и говорил одновременно) как-то его удивило — он проглотил и перестал говорить; с удовлетворением откинувшись на спинку стула, понял, что рывок уже сделан, что он — нагнал. Приятная теплота пробегала волнами и блаженно проталкивалась все дальше, к пальцам рук, к кончикам пальцев. Лева посмотрел на свои пальцы и подумал, что ему чего-то хочется, чего-то еще не хватает, какой-то простой вещи — только что же это? «Закурить, — вдруг радостно сообщил он, — как же это я забыл?» Закурив, он почувствовал себя окончательно хорошо, словно был до того мучительно разорван на две части, и вот сейчас они соединились, слились: ни шва, ни следа разрыва — и он опять тот самый, каким был всегда — целый. Почувствовав себя таким образом более живым, он, откинувшись и покуривая, мог осмотреть стол во второй раз, совсем иначе, и как бы даже в первый раз его увидел — все приобретало привлекательность, девочки были даже милые. Но все это приятное единство прожило в его душе секунду-другую, между первой и второй затяжкой, потому что должен же был он увидеть, вновь оглядывая стол, и Фаину, помешавшуюся по диагонали в дальнем углу. То, что он ее

увидел не сразу, как бы во вторую очередь, уже было достаточно странно.

Сейчас он поймал взгляд Фаины и по выражению его понял, что она уже некоторое время, по-видимому, следит за ним. Взгляд был чуть насмешливый и удивленный одновременно. Лева тотчас вспомнил, как запихивал вилку в рот и одновременно говорил нечто соседке, от чего она так хихикала — что-то в нем сжалось, и тут же он снова ощутил в себе разъединение, раздвоение этих двух мучительных частей: они снова были порознь, самостоятельны и начали слегка друг друга покусывать. В нем, мельком, ощущением, проскочила мысль, что Фаина не находится ни в той, ни в другой из этих разъединенных частей; ее не было, следовательно, и когда эти части были только что вместе — тем более не было, даже, быть может, не могло и быть... значит, Фаина и есть сам факт раздвоения, сам разрыв, та пустота, что разделяет две части. Она — абстракция, ее и нет — так почему же она реальна, если вся помещается в разрыве?..

Неверно было бы думать, что, когда он поймал ее взгляд, его испугала ревность Фаины — ревность, если бы она была, могла бы только его обрадовать как некое обеспечение и гарантия. Испугало Леву, что она тут же могла этим воспользоваться (тем, что он забыл о ней на минуту), испугал не сам взгляд, а его перемена. Потому что и он, Лева, тоже, в свою очередь, застиг ее взгляд немного врасплох и увидел тогда в нем лишь прохладное удивление и любопытство; когда же их взгляды встретились и до Фаины дошло, что Лева видит ее взгляд, она поспешила его переменить на взгляд чуть ли не обиженный и вот, бросив Лева именно такой взгляд, повернулась к Митишатьеву. Лева весь внутренне заметался, готовый придать своему лицу самое предельное выражение виноватости и мольбы, но был оставлен с этим своим лицом, как и тогда с протянутой рюмкой, безответным.

По-видимому, Фаина с Митишатьевым лишь ненадолго прервали свой разговор, причем весьма частный, какой-то даже сближенный: так они его теперь продолжили, так наклонились они друг к другу, улыбались и кивали. Это насторожило Леву. «Они же не были знакомы», — поразился он. Лева вспомнил, как удивился тогда, в первый вечер, что они не были знакомы, — теперь же они явно выглядели давно знакомыми. И эта неясная степень их знакомства, эта окончательная путаница во времени и собственных представлениях — закружили в Лева. А может, они и были знакомы, еще

до Левы? И то, что Митишатъев тогда так подчеркнуто с Фаиной знакомился, было лишь дурацкой шуткой в его стиле?.. Но Лева не мог вспомнить, улыбалась ли тогда в ответ Фаина, — кажется, и не улыбалась... а может, это была даже не шутка, а такое подчеркивание, понятное лишь им двоим, может, Митишатъев так выразил свое недовольство, даже ревность? А может, они потом встретились, разговорились и познакомились ближе?

В общем, Лева запутался, его даже перестало интересоваться, слишком волновал его сам факт их разговора теперь, эта очевидная близость, интерес, особая оживленность... О чем там они говорят? Он никогда об этом не узнает... Это его всегдашнее бессилие что-либо знать о Фаине снова подступило в полный рост, и самым сильным его желанием сейчас было иметь бы некий фантастический аппарат, чтобы все это незаметно от них слышать. Левино воспитание, по которому подслушивать считалось нижней ступенью падения, было сейчас вовсе ни при чем. Желание было слишком страстно, чтобы воспитание выдержало... Но аппарата ведь и не было. Тоже и телевизорчик махонький с удовольствием имел бы сейчас Лева, потому что не видел их рук и ног, лишь склоненные головы, — а вдруг Митишатъев уже держит Фаину за руку или они касаются горячими коленями? Но и телевизорчика — тоже не было. О чем они там так уж говорят, так уж поглощены? А может даже — о нем? Посмеиваются? Вот и Митишатъев, смеясь чему-то, что сказала Фаина, поднял взгляд на Леву как бы удостовериться, словно Фаина экскурсовод, а он, Лева, — экспонат, такой взгляд. Удостоверился, как бы даже усмехнулся еще больше, удостоверившись, — и снова весь поглощен Фаиной, говорит ей что-то, и теперь смеется Фаина... Так и не обернулась с тех пор к Леве ни разу! Как Лева ни протягивал немую свою мольбу, как ни вызывал мысленно ее ответный взор — ни разу...

Что-то говорила Леве, пытаюсь продолжить прервавшуюся их беседу, его розовая соседка — он отвечал рассеянно, односложно и невпопад. Она даже обиделась, ощутив столь резкую подмену, замолкла, но, проследив Левин растерянный взгляд, по-женски, несмотря на юность, тут же рассекла, что к чему, и рассмеялась. «Ревнуешь? — сказала она, наклонившись к нему. — Выпей лучше». Лева мучительно покраснел, ему было стыдно, что он настолько ничего с собой и своим лицом не мог поделать, что полностью себя выдавал; потому что вторым по

силе желанием после подслушивающего аппарата было именно желание сделать как можно более равнодушное, безучастное, даже холодное лицо. И это вот лицо, которое он с такой энергией над собой совершал, оказывается, больше всего и выдает. «Нет, что за глупости, нет, конечно!» — зло, впопыхах ответил Лева розовой соседке, тут же понимая, что если он и хотел ее разубедить, то не такой фразой этого возможно достигнуть. «Что, и выпить не хочешь?» — насмешливо передергивая, сказала соседка. «Нет, это я в другом смысле, это я в смысле, — окончательно смешался Лева, — выпить-то я с удовольствием...» Они выпили. Лева даже сумел несколько опять отвлечься, ему удалось выровняться в глазах соседки, сказав что-то такое, чему она опять чрезвычайно рассмеялась. «А вы ничего, остроумный», — сказала она. «Остроумный, но без чувства юмора...» — подумал с тоскою Лева.

Ему мучительно хотелось обернуться к Фаине с Митишатьевым, и он себя сдерживал из последних сил. И конечно, не выдержал. И тогда опять поймал взгляд Фаины. Этот второй взгляд был, как второе предупреждение, и смысл его был вроде: «Ну, раз так...» Лева даже показалось, что он застал, в последний, правда, момент, некий кивок Митишатьева в его сторону, почему и обернулась к нему Фаина. Лева показалось, что за ним все наблюдают: и Митишатьев, и Фаина, и соседка, и весь стол, — ему стало неуютно, а Фаина снова повернулась к Митишатьеву, так определенно, так подчеркнуто навсегда, что Лева захотелось опрокинуть на них стол, даже все тело напряглось для усилия. Он, конечно же, не опрокинул и тогда тоже демонстративно (только кому была нужна эта демонстрация, ведь Фаина на него не смотрела?) снова повернулся к своей соседке, с неудовольствием ловя и ее наблюдательный взгляд. Хотя она была уже изрядно пьяна, соседка. Она, хихикая, сама налила себе еще и протянула бутылку Лева. Он, чувствуя, что именно эта рюмка сильно на него подействует, тем не менее выпил ее с самым решительным видом и замелел.

Тут заскрежетали все разом отодвигаемые стулья, и Лева наконец услышал, какой гвалт стоит в комнате... До этого момента со звуком творилось что-то неладное, его как бы не было: была Фаина с Митишатьевым и прислушивание к ним, которое-то и сводило на нет все прочие звуки, — Фаину же с Митишатьевым ему тоже не удавалось расслышать, и тогда звук врывался на секунду, как уличный шум из распахнутого окна. Так жил звук, то включаясь, то выключаясь... И вдруг загрохо-

тали стулья, кто-то погасил верхний свет, все разом встали из-за стола и словно бы разом и заговорили: «Танцы, танцы! Почему мы не танцуем!» — вот, оказывается, почему все встали. Лева тоже встал, слегка качнувшись.

Поволокли в сторону стол. Лева тоже поволок, вернее, он глупо следовал за столом, все ища, куда бы можно было просунуть руки, потому что стол облепили со всех сторон, словно огромную тяжесть: это было всем очень весело — тащить стол, кто-то даже упал — совсем восторг!

Именно в таком глупом виде, следуя за столом и пытаясь найти себе место, чтобы тоже за него уцепиться, обнаружил Лева в двух шагах от себя Фаину с Митишатьевым — они в этом предприятии не участвовали, лишь наблюдали, единственные из всех трезвые. Лева поспешно выпрямился и приотстал от всей компании, сделав каменное вытянутое лицо, и почувствовал себя мучительно глупо. «Левушка, — сказала ему Фаина ласково, — какой ты смешной!..» Лева и расстроился, что она так сказала, когда рядом с ней Митишатьев, и обрадовался ласковому ее тону, которого не ожидал. Ласка была ему важнее. «Смешной? Правда?» — сказал он словно так, что если это плохо, то он больше не будет, а если Фаине нравится, так он может стать еще смешнее: как она захочет — так и будет. Фаина, смеясь, потрепала его по руке. Лева растаял.

Танцевали. Фаина сама пригласила Леву. Лева танцевал радостно и неловко и очень смешил Фаину. Он наконец понял, что все его страхи насчет Митишатьева — полная ерунда: просто был он сосед — естественно, она разговаривала с соседом. А так, вообще-то, она все время была с ним, слевой. Это наполняло его радостью, а глядя на других, и гордостью: конечно же, она была лучше всех и ни у кого такой дамы не было.

Танец кончился, Лева, расплывшись, сам подвел Фаину к Митишатьеву, как бы вернул кавалеру — такая шутка. Тут же Леву подхватила розовая его соседка: она все смеялась и держалась на ногах нетвердо. Лева посмотрел в растерянности на Фаину, находясь в той странной позе, когда человека тянут за руку, а он, уже шагнув от внезапности, начинает тянуться в противоположную, а именно — к Фаине, к Фаине!.. Но Фаина кивнула ему с улыбкой: мол, ничего, давай.

И Лева танцевал теперь с розовой соседкой — она была горячей и мягкой, таяла в Левиных руках и все хихикала, глаза ее плавали, не в силах посмотреть в одну точку — на Леву это,

к удивлению, даже действовало... Тут увидел Лева спину Фаины — она танцевала с Митишатьевым. Леве показалось, что у них это очень красиво получается, и сам он тогда стал вовсе неловок. Соседке это было все равно и даже нравилось, когда он на нее наталкивался. Фаина же танцевала как-то так, что все время была к Леве спиной, и он никак не мог улучшить момент, когда она повернется, и видел все время лишь лицо Митишатьева, улыбавшегося какой-то взятой из кино улыбкой и беспрерывно что-то Фаине тихо (так, что опять без аппарата не обойтись!) нашептывавшего.

Лева, стремясь поправить положение, бросился приглашать Фаину на следующий танец, но ее опять словно подменили. «А ты растанцевался...» — сказала она холодно и как бы с ехидством, будто опять намекая на соседку, и отказалась.

Но танца и вообще не произошло, потому что вдруг кто-то зажег свет и скинул иголку с проигрывателя. «Играем в бутылочку!» — закричал он. «В бутылочку, в бутылочку!» — кричали все. Лева вспомнил, что слышал об этой игре: она — с поцелуями. Образовался круг. Митишатьев с Фаиной тоже в нем оказались — тогда втиснулся и Лева (это его запоздание напомнило ему передвигание стола, и он поморщился). В центре оказалась большая бутылка из-под шампанского. «Крути, крути!» — кричали. Кто-то попробовал ее крутить — ничего не получилось, сам упал. «Не можешь, не можешь, освобождай!» — кричали стоящему на четвереньках. «Она и не будет крутиться», — сказал тот обиженно. «Почему ж не будет?» — неожиданно для себя спросил Лева. «А так — не будет, — рассудительно сказал тот, поднимаясь с четверенек, — нужна бу-ты-лоч-ка, — зло сказал он Леве, — а тут бутылкища! Нужна же бутылочка, пузырек!» — «Пузырек! — хохотали. — Пузырек!»

Кто-то крутанул ловчее, и серебряное горлышко уставилось на Фаину, как стрелка компаса на Север. «О-о-о!» — пронеслось по кругу. «Крути — с кем! крути скорее!» — крикнул кто-то нетерпеливо. Лева весь замер и побледнел даже. «На меня, ну, на меня же!» — мысленно приказывал он бутылке, и даже губы у него шевелились. Бутылка указывала на Митишатьева. Лева помертвел. «Целуйтесь же, целуйтесь!» — закричали. Митишатьев вопросительно посмотрел на Фаину. Лева впился в нее взглядом. Фаина странно засмеялась, взглянула на Леву и покачала головой. «Ну, вот!» — с досадой протянул кто-то.

Бутылочку крутанули еще раз, но указала она на самую неинтересную девочку — целоваться всем расхотелось, всё как-

то само собой распалось. Снова потушили свет и начали целоваться просто так, кто с кем хотел,левой опять завладела розовая соседка, она тащила Леву куда-то в угол, а он все упирался и озирался, но нигде не находил Фаины с Митишатъевым, ни в одном темном углу. Их не было.

«Да, да... я сейчас...» — невнятно сказал он соседке и вскочил с дивана, на который она-таки успела его усадить.

Так он стоял некоторое время, побледнев, весь состоящий из толчков и порывов, делал стойку — даже ноздри у него раздувались (или слышал вдали призывные звуки рога?). — Ну, зачем же ты уходишь?» — ласково спросила соседка. Он не ответил. «Ах, вот что, опять ее ищешь?..» — догадалась она. «Да нет же! — зло буркнул Лева, — мало ли зачем?» — и широкими, прямыми шагами, все равно казавшимися нетвердыми, направился к двери.

Он увидел Фаину с Митишатъевым настолько сразу, как выскочил из комнаты, что даже опешил и как бы споткнулся: чересчур разбежался — и резко затормозил. Фаина стояла у сундука, прислонившись спиной к стене, а Митишатъев — перед ней, поставив одну ногу на сундук и одной рукой уперевшись в стену над плечом Фаины. Вроде бы они так и стояли, не касаясь друг друга, и до прихода Левы, но Лева почувствовал некий шорох, какое-то их движение, которое он не сразу уловил. (И некоторое время потом, смотрел ли он «Утраченные грезы» с Сильваной Пампанини в главной роли, где она стоит на лестнице, а ее матрос как-то особенно поджимает ногу, или читал у Хемингуэя его знаменитую фразу: «Как всякий мужчина, я не мог долго разговаривать о любви стоя», он не мог ни видеть, ни читать этого спокойно — все мерещился ему сундук в той прихожей).

Они оба посмотрели на него спокойно и вроде без замешательства. «Ну, что, Лева, — сказала Фаина, — как твоя соседка?» — «Ничего», — выдавил Лева, не в силах побороть в горле спазм. «А мы тут разговариваем, — сказала Фаина. — Там душно». — «А», — сказал Лева. Митишатъев слабо кивнул и только теперь несколько изменил позу, оттолкнулся от стенки и убрал руку, ногу же оставил на сундуке — все у него получилось как бы так, что ему нечего скрывать от Левы: ничего необычного в его позе и не было: могут же два человека, увлекшись разговором, стоять именно так (в наш век нескованных и естественных движений), — думать что-нибудь другое, мол, было бы глупо на Левином месте, и что может быть смешнее неоправданных подозрений... Но Лева думал как раз

то самое, а все силы уходили на то, чтобы этого никто не заметил. Но он ошущал, что ничего поделывать с лицом не может... «Иду писать», — сказал он тогда, как бы шутя и оправдываясь. «Фу, Лева», — смеялась Фаина, чуть ли не одобрительно. И Лева прошествовал не оборачиваясь. Он постоял некоторое время на кухне, остервенело куря, и вернулся назад. Митишатъева с Фаиной уже не оказалось у сундука.

Они были уже в комнате. «Ну, как ты?» — участливо осведомилась Фаина. «Как, как! Естественно, как», — сказал Лева даже раздраженно. «Да я не об этом... ты что, дурачок, подумал что-нибудь? Это же смешно». — «Я ничего не думаю», — гордо заявил Лева. «Вот и молодец», — сказала Фаина. Подошел Митишатъев. «Может, выпьем? — предложила Фаина. — Позови свою соседку». — «Да ну ее!» — сказал Лева. «Что же так? Нехорошо...» — сказала Фаина. Лева разбудил соседку, она встрепенулась и радостно согласилась. Лева пришлось ей сильно помочь встать с дивана. Выпили. Лева опять оживился, заговорил, все время испытывая неловкость оттого, что розовая соседка висела у него на руке, и неживо топорщил локоть, стараясь казаться отдельным от нее. «Смотри, ей совсем плохо», — сказала Фаина. — «Проводи ее». — «Тьфу, черт!» — чуть не взвыл Лева и посмотрел на Фаину с ненавистью.

Он повел соседку к дивану, но тот уже был занят: на нем целовались. Он посадил ее на кровать и хотел там и оставить, но она не отпускала его руки. Лева, не способный все-таки на грубость, с тоской сел рядом. Соседка замычала и мягко и ласково приткнулась к нему, терлась головой о плечо. Лева совсем одеревенел. Фаина с Митишатъевым стояли там же, где он их оставил, спиной к Лева. Соседка вдруг застонала и начала мучиться. «Этого еще не хватало», — с тоской подумал Лева, слегка отстранившись. Он увидел ее лицо, открывшийся пухлый рот — она была совсем ребенок. Мучительная, брезгливая жалость к ней подступила вдруг. «Ну, пойдем, ну, пойдем, — уговаривал он ее, — ну, пойдем...» Он тащил ее и тут снова обнаружил, что Фаины с Митишатъевым нет в комнате.

Не было их и у сундука. Он тащил розовую соседку с совершенно белым уже лицом по темному коридору, затравленно озираясь по сторонам, словно мог увидеть Фаину в какой-нибудь щели. Ткнулся в ванную — она была заперта

изнутри, из-под двери выбивался свет. Он почти втолкнул соседку в уборную, сам бросился на кухню — там их тоже не было. Снова бросился к ванной — там было по-прежнему заперто. Он даже наклонился, припал к полу, но ничего не увидел и не услышал. «Я схожу с ума», — сказал он себе, поспешно вскакивая и отряхивая колени.

Он вернулся в комнату и бессмысленно озирался, снова ища Фаину как бы в щели. Ее не было. Он обнаружил лишь ее сумочку, приткнутую за настольную лампу. Он схватил почему-то сумочку и с нею выскочил в коридор. В дверях столкнулся с той парочкой, что целовались на диване. Дверь в ванную была отворена, и там теперь никого не было. Он услышал тогда за спиной, как хлопнула дверь на лестницу. Некоторое время стоял в тяжелой растерянности и ничего не соображал. Бросился на лестницу. Внизу были слышны голоса. Сбежал через три ступени вниз. Никого. И во дворе — никого. Ему вдруг показалось, что идет снег.

Он вернулся и в тупости сидел на диване, открывал и закрывал сумку — шелкал замком. Наконец заглянул внутрь: пудреница, огрызок карандаша, платочек... Завязан узелком. Развязал узелок и обнаружил кольцо. Вспомнил, как она тихо сняла его с пальца. Примерил. Оно не лезло ни на один палец. «Ну и что же, сама говорила, что оно стоит пятьсот рублей¹, — как-то сухо подумал он, — мы можем три раза сходить в ресторан, — прокрутилось в нем безучастно, как в арифмометре. — Что же я могу поделать, раз у меня нет денег...» И он сунул кольцо в карман. Завязал обратно узелок на платочке. Закрыв сумочку. Отнес ее и задвинул за настольную лампу. Отойдя, еще раз посмотрел — точь-в-точь. Уселся ждать, странно спокойный.

«Разве так можно, Фаина! — говорил он мысленно, у него даже шевелились губы. — Разве так поступают люди? Даже если я не прав и зря тебя подозревал, разве можно так

¹ Масштаб цен до реформы 1961 года. Деньги тогда были другими, большего формата, но меньшего номинала. Так что когда Лева мучился насчет раздобыть 50 рублей, то это не то, что 50 рублей сейчас, а так — рублей 5 по-нынешнему. А вот то, что 5 рублей теперь ни для кого не серьезно, а 50 тогда могло быть очень даже серьезно — этого уж совсем не объяснишь тому, кто этого не помнит — ВРЕМЯ! (Вот секрет возраста, каждым человеком достигнутого: только вспомни все, как было, как следует... даже на день вспять я не хотел бы вернуться!)

измываться надо мной! Чем я виноват? Разве не видно, как человек страдает... Тут и любви не надо — любой сжалится. А ты — как вивисектор. Мне даже представить невозможно, что один человек может другому такое... Да еще любящему. Именно любящему — не Митишатъеву же? Что же ты, Фаина...»

Так он тихо уговаривал Фаину, и она появилась. Подскочила к нему. «Что с тобой, бедненький?» Лева молчал, пощупывая в кармане кольцо. «Мы гуляли. Знаешь, как хорошо на Неве!..» Лева молча поглаживал кольцо. «Ну, что ты, глупый?.. Нельзя же быть таким глупым! Ты обиделся на меня? Но как же с тобой еще можно...» — «Ну, как же с тобой еще можно...» — повторил Лева. «Пошли отсюда, пошли скорей! Как тут можно находиться! Так хорошо на улице... Светло уже». — «А я думал почему-то, что снег пошел...» — сказал Лева. «Какой же снег в июле? Вот чудак!..» И Фаина направилась к столу, извлекла свою сумочку из-за настольной лампы. Лева с непонятым удовольствием проследил, как она это проделала. Что-то в нем расслабилось, и он вздохнул.

И они вышли все втроем.

На улице действительно было прекрасно.

Лева шел, все в нем слегка и высоко звенело, он не чувствовал своего тела и словно даже летел; что-то они говорили все втроем, и Лева казалось, что что-то все время несильно вспыхивает рядом — он даже поворачивал голову проследить эту вспышку, но там ничего не вспыхивало, а вспыхивало еще рядом, еще немного в стороне... Время от времени он с испугом ощупывал кольцо; оно же — никуда не девалось, было на месте. Он вздыхал с облегчением, немножко гладил его, и вспыхивание становилось ярче. «Как Аладдин...» — вдруг сказал он вслух. «Что — как Аладдин?» — спросил Митишатъев. «Шпиль, — сказал Лева, поспешно выдернул из кармана руку, и именно ею показал на знаменитый золоченый шпиль, что был через реку. — Его хочется потереть суконкой, и все тогда пройдет...» — «Это, я тебе скажу, образ...» — сказал Митишатъев. «О чем вы?» — сказала Фаина.

Потом они долго прощались у дома Фаины, словно выжидая, кто первый пойдет домой, а кто останется. Лева молча и терпеливо ждал, разглядывая три выбитых кирпича (они как

раз были на уровне его глаз), и наконец они расстались все сразу: Фаина вошла в свою парадную, они же с Митишатьевым пошли вместе.

Лева испытывал облегчение и радость, и это странное вспыхивание вокруг при каждом шаге еще усилилось. Они шли к трамвайной остановке, подозрения спадали с Левы, как душные одежды, и в сердцевинке, голенький и чистенький, окруженный лишь вспыхивающим белым светом, оставался Лева — ядрышко, зернышко!.. — вдыхал всей грудью, слушал звуки и запахи, и отчетливо зажигались для него звезды; у остановки уже совсем светлело, Митишатьеву еще два шага — и он дома; они дружески, открыто пожимали друг другу руки, и Лева вспрыгнул на подножку первого утреннего трамвая...

ФАТАЛИСТ
(*Фаина — продолжение*)

— Вы нынче умрете! — сказал я ему.
Он быстро обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

— Может быть, да, может быть, и нет...

Он ожидал услышать с порога про кольцо, но Фаина была весела, неожиданно ласкова и приветлива, и он удивлялся. Пусть он немного подождет на лестнице, а она быстренько оденется, и они пойдут гулять. Он ждал.

И тут же появилась Фаина, и на ней не было лица. «Что с тобой?!» — воскликнул Лева, чувствуя, какой он бездарный актер. Через минуту он уже раскаивался в содеянном — никогда еще не видел он Фаину в таком неподдельном горе! Его любящее сердце обливалось кровью. С радостью вернул бы он сейчас ей кольцо и утешил, но все в нем сжималось от страха, лишь представлял он себе это свое признание... Фаина его прогонит сразу же, и никогда, никогда больше не увидит он ее! «Хорошо, ну не плачь же, я куплю тебе другое! — говорил он, как в сказке. — Не простое, а золотое... Может, не такое дорогое... Но это будет мое кольцо. Тебе ведь дорого само кольцо, а не то, что оно от него?...» — спрашивал он с испугом и надеждой, уже умиляясь возможному счастью: его кольцо — его тогда навсегда и Фаина. «Конечно же, само кольцо! при чем тут, что от него!..» — очень прямо сказала Фаина. «Ну, тогда будет, будет тебе кольцо! — с восторгом сжимая ее суховатые руки, говорил Лева почти плача. — Только не расстраивайся, только не плачь!» Фаина вдруг очень быстро успокоилась. «Правда, значит, ты купишь?» — «Правда, правда», — говорил Лева, чувствуя, что вместе с ней успокаивается и сам, и даже огорчаясь, что она так быстро успокоилась. «Ну что ж, продам это и куплю другое... — почти равнодушно уже думал он. — Раз уж так...» «Ты знаешь, — говорила Фаина. — Можно купить кольцо сравнительно де-

шево... За двести, даже за сто пятьдесят рублей, если поискать... И тогда уж мы будем обвенчаны...» — сказала она; поцеловала его нежно, как она это умела.

Лева опять растаял и остался ждать, пока она соберется. «Ну что ж, — рассуждал он. — Продам это, куплю другое, дешевле, и у меня еще останется, и мы сможем раза два сходить в ресторан. Не два, а три, — опять сухо, как в арифмометре, прохрустнуло в его голове, — какая разница. А то, что я ей куплю кольцо, так это мне еще вознаградится, — так ужасно он думал. — Поймет наконец, как я ее люблю. Знает же, как трудно мне достать денег...»

В скупочном пункте приемщик повертел в руках кольцо и сказал: «Пятьдесят рублей». — «Нет, пятьсот!» — чуть не закричал Лева. «Нет, не может быть! Жулик, ну, конечно, старый жулик!»

И он мчался в другой пункт. В другом пункте был уже не приемщик, а приемщица; она бросила кольцо на весы, такие точные весы («Ну, конечно же, тот был жулик, — радостно подумал Лева, — даже не взвешивал!»); приемщица тщательно, без конца подталкивая нежную гирьку, взвешивала, потом щелкала на счетах — у Левы все сжалось и замерло внутри. «Сорок девять рублей», — наконец сказала она.

Он остолбенело стоял, держа перед собой кольцо, и оно тускнело на глазах. «О Господи! медяшка!» — воскликнул он и в сердцах чуть не выбросил в урну, но что-то вдруг, какая-то неясная мысль остановила его, он увидел, как с любопытством смотрит на него приемщица из своего окошка, зажал кольцо в кулак, кулак засунул глубоко в карман и, резко повернувшись, быстро вышел.

Узкое, длинное, пустое небо проспекта уходило вдаль. Ни одна птица не пересекла эту полосу, сколько он ни смотрел. Именно почему-то — хоть бы птица пролетела... Понял Лева, что у него никого нет. Ни отца, ни друга... Почти счастье — такое горе...

Именно это чувство привело его... ноги сами пришли... случайно его бесцельный путь пролегал мимо... и не заметил, как оказался в этом подъезде, на этой площадке... дернул на себя медную надраенную пуговицу... В глубине старинно звякнул колоколец. Дядя Митя открыл сразу, будто под дверью стоял, небритый, в шали, без зубов. «Не дам, — сказал он через цепочку. — В долг — не дам».

Лева еще походил по магазинам, просто так, чтобы время шло — приглядывался к кольцам: разбить витрину, попросить показать, вырвать... и — бежать, бежать! Он успевал прежде, чем они спохватывались... Сердце его стучало над прилавком. Кольца все были очень дорогие, даже за двести-то не было. А откуда же у него хотя бы и двести? А кольца, действительно, в основном стоили пятьсот и дороже. Фаина была права, Фаина правильно лгала... Вдруг неотчетливая та мысль, по которой он кольцо все-таки не выбросил, как-то вывернулась в его мозгу и стала такой ясной, что Лева чуть не подпрыгнул, во всяком случае воскликнул нечто невнятное, вроде: «О-ля-ля!» Какая-то злость и даже торжество шевельнулось в нем.

Когда он пришел к Фаине, идея уже настолько владела им, что он не мог затягивать игру, придумывать какую-то мерку, которую должен снимать с ее безымянного пальца... а прямо приступил к делу, уже не заботясь о том, чтобы все было правдоподобно. Он все еще ощущал непонятную, непривычную в себе силу и злость.

«Дай мне свою руку», — сказал он Фаине. Фаина несколько удивилась непривычному его тону, но, как-то сразу подчинившись, руку дала. «Закрой глаза», — приказал он. «Ой, миленький! — вдруг догадалась Фаина. — Неужели!.. — И она бросилась ему на шею. — Но как же ты смог?..» — «Закрой глаза, — повторил он, — и не смей открывать, пока я не скажу». — «Хорошо», — покорно согласилась она. «На каком пальце ты его носишь?» — спросил Лева, вдруг сообразив, что этого-то он не помнит. Фаина отогнула безымянный. Кольцо наделось легко, как того и следовало ожидать. «Теперь можешь открывать», — сказал Лева.

Он все еще держал ее руку в своих так, что кольца не было видно. «Ой, Лева, в самый раз!» — восклицала Фаина, блаженно пошевеливая в его руке пальцем. Никогда Лева не видел у Фаины такого самозабвенного, такого счастливого лица. Она подпрыгнула поцеловать его и попала как-то неловко, мимо, не то в нос, не то в глаз, не то в лоб. Лева почти ненавидел ее.

«В самый раз! — воскликнула она, и Лева отнял руку. — Как ты сумел...» — Фаина осеклась, глядя в кольцо. Такое лица, пожалуй, Лева тоже никогда у Фаины не видел... Огромное расстояние пролегало между первым и вторым лицом — оно было преодолено мгновенно, со скоростью того света, который пробежал по нему. «Где ты достал это кольцо?» — спросила Фаина другим голосом.

«Купил», — спокойно сказал Лева. «Где?» — «С рук», — сказал Лева. «Это мое кольцо», — сказала Фаина. «Не может быть», — сказал Лева, леденя от неизвестного ему удовлетворения. «Мое. Я знаю свое кольцо», — сказала Фаина. Жизнь, казалось, вовсе исчезла из ее лица. «Неужели ей так больно узнать, что это сделал я?» — почти удивился Лева. Словно у нее ускользнула почва из-под ног, и она уже пошатнулась упасть — такое было у нее лицо.

«Оно не может быть твое. Сколько стоило твое?» — спросил Лева. «Пятьсот», — механически, тускло отвечала Фаина. «А это я купил за сто», — сказал Лева, — и то переплатил вдвое. Я потом оценил его — оно стоит на самом деле пятьдесят». Фаина молчала. «Не веришь — пойдем проверим», — уже пережимал в своем торжестве Лева.

«Я не хочу», — сказала Фаина, и лицо ее даже слегка оживилось. — Я не хочу носить кольцо, которое уже кто-то носил». Лева чуть растерялся. «С чего это ты взяла, что его кто-то носил?» — «Это сразу видно». Лева растерялся еще больше. «Ты бы сама походила по магазинам — увидела бы, что дешевых колец вовсе нет. Откуда бы я взял такие деньги? Мне еще повезло, что я на это-то натолкнулся». — «Все равно я не буду носить чужое кольцо! — настойчиво, еще более оживая и воодушевляясь, сказала Фаина. — Новое я бы надела, потому что это было бы твое кольцо, от тебя... а это — нет».

И Фаина стянула кольцо с пальца и протянула Лева, отсутствующе на него глядя. Лева потупился, цепенел, с силой сжимал кольцо, словно желал раздавить его... И опять что-то спасительное вспыхнуло в его мозгу, он не успел даже четко понять что. «Ах так! — вдруг вскричал Лева. — Ну, так мне оно тоже не нужно. Никому оно не нужно!..» И он размахнулся с неестественной силой и подбежал к окну. Рука его уже летела в замахе, и он все сильнее сжимал кольцо, чувствуя, что никогда не сможет действительно его выбросить... Вдруг он почувствовал, как Фаина вцепилась в его руку — обернулся, взглянул высокомерно: что, мол, еще такое? Так он обернулся, все еще замирая от сладчайшей ненависти, столь заполнившей пространство горькой его страсти, поражаясь этому мгновенному равенству, с колечком в занесенной руке... «Не надо, — сказала Фаина. — Отдай его мне...» — сказала она тихо и покорно. И Лева подавил облегченный вздох.

Много позже, когда все, так сказать, быльем поросло, Лева взглянул однажды на ее кольцо (Фаина теперь никогда не снимала его) — и вдруг все ожило и завертелось перед его глазами, воскресло и ощущение того вечера с Митишатьевым, и всех последовавших дней... Так сильно, так точно это ощущение вспомнилось, как бывает иногда от забытого запаха или музыки. (Они ехали в стареньком трамвайчике, на последней площадке, по окраинному пустырю, и перед тем, как вдруг увидеть кольцо, Лева долго смотрел на рельсы, убегающие из-под вагона в этот пустырь...)

Лева вдруг все это так вспомнил, что не удержался и спросил (а они никогда с тех самых пор обоюдно не заводи́ли разговора об истории с кольцом, а тут он спросил): «Слушай, Фаина, сколько стоило твое бывшее кольцо? Скажи правду...»

Фаина удивленно, недоуменно на него взглянула: «Почему бывшее? Всегда это и было. Оно стоит пятьсот рублей».

«Нет, оно стоит пятьдесят», — настойчиво сказал Лева.

«Ну да, — сказала она, — в новом масштабе цен оно стоит пятьдесят».

(Примечательно, что после истории с кольцом у них был, пожалуй, самый продолжительный и мирный период их отношений. «В настоящем-то смысле, все науки — естественные, — подумал по этому поводу Лева, — и филология...» И возможно, именно тогда отправился на поклон к деду. Впрочем, не придавая этому шагу столь уж большого значения...)

АЛЬБИНА

— Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она наконец голосом, в котором были слезы... — не правда ли, — прибавила она голосом нежной доверенности: — не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение...

Во всех выяснениях отношений, особенно, если они давно уже выясняются и обрели свою периодичность, свой ритуал и ритм, как бы сложны и разработанны ни были надстройки обвинений и доводов, участников интересует, в принципе, один вопрос: кто начал первый?

И положила руку на сердце, на которое он в эти моменты ее сценически клал, трясась от отчаяния, Лева, что совершенно естественно, был убежден, что — Фаина и только Фаина, что он — даже вот на столечко!.. а она... Да что тут говорить, вопиющую несправедливость ее упорства мог снести только Лева, любой бы другой на его месте... «Ну, ладно, не он первый, не он последний, сам факт еще можно пережить... — говорил он, — но вот эта стена лжи, о которую он бьется, она-то за что?! это же сойти с ума! Именно, что она хочет свести его с ума... Ведь что такое «правда», Фаина? Правда — это хирургия, операция: ты лишаешься чего-то, но и выздоравливаешь... Все еще будет хорошо у нас... но для того, чтобы оставить прошлое в прошлом, надо там оставить все. Понимаешь, ВСЕ!..» О, Господи! Он-то выдержит, он все ради нее выдержит... но — сердце!

Это действительно подлежит удивлению, как выдерживает наше бедное сердце! Оно — выдерживает. Всякий раз.

Но если бы он действительно положил руку на сердце, вернее, если бы мог положить сердце на руку, то там, на дне его, в еле угадываемой сосудистой перспективе, тайлось что-то такое маленькое, неразличимое, самое страшное, на что бы он никогда не согласился, в чем бы он не сознался ни под какой пыткой, будто здание его неопровержимой правоты, возводимое

в лесах логики по типовому проекту ссоры, было единственной его недвижимостью, обеспечивающей какое ни на есть продолжение их жизни... одна спасительная опора — была его правота, единственный берег в океане ее предательства... Но там, на доньшке, которого он не приближал и не разглядывал, потому что уже знал, что там, — там он не знал, кто же первый. Конечно, Фаина — та была действительно глубоко грешна, а он — так, пустяково, неблагодарно, не в счет, но все-таки... если помнить об этой ерунде, позиция его начинала зыблиться и заваливаться...

Несомненно, что Лева любил Фаину. Даже если поставить под сомнение «истинность» его чувства, то хоть и в «неистинном» — он любил ее всегда. Даже тогда, когда ее в помине не было (еще в школе он дружил с Митишатевым...). Но однажды (пусть это звучит как в сказке) и Фаина любила Леву. Не то, чтобы любила, но так, в общем, сложилось или получилось. Возможно, это тот самый «мирный» период, которым завершилась история с кольцом... Вернее, что просто некий промежуточный был период у Фаины, может и не любовь — просто ничего другого не было, так что Лева, прекрасно это чувствуя (все мы прекрасно это чувствуем), был спокоен и мысли о том, что любая уверенность оплачивается у него последующей неуверенностью, куда более мощной, не допускал, как и всякий живущий. Тут и вся разница: одни получают уверенность как бы в награду за предыдущую неуверенность, другие получают неуверенность в наказание за предыдущую уверенность. Впрочем, все это неразделимо и едва ли различимо и все это вместе. Короче, Лева был спокоен, но, как это ни странно (быть может, одному Лева это и странно), того ровного и бесконечного счастья, какое могло бы тут померещиться, вовсе не произошло, а возникла просто некая пустота, приправленная некоторой сытостью и самодовольством, которые, возможно, и не суть, а лишь форма той же, свойственной людям Левиного типа растерянности, когда неизвестно, как тут быть. А им всегда это неизвестно, только иногда это страдание, а иногда — сытость. Лева очутился перед возникшей перед ним пустотой удовлетворения и — то ли был растерян, то ли сыт.

Тут и появляется Альбина, как возможность. Хотя Альбина с точки зрения Левы, никогда бы не уязвила Фаину, измена с ней ровным бы счетом ничего не значила и никакого равнове-

сия установить не могла. Если Лева и обращал иной раз внимание на женщин, то только как бы с точки зрения Фаины, только на тех, кого Фаина могла бы счесть своими соперницами (так мы усваиваем вкусы противника и начинаем насвистывать «Розамунду»).

Однако именно Альбина. Она была бедная девушка, и Лева очень стыдился своего долга (которого так никогда и не отдал). Они встретились снова на дне рождения дяди Мити. Лева был удивлен, увидев у дяди Мити Альбину. (Приглашая его, Диккенс сказал: «Только без своей бабенки», — он не любил Фаину, и только ему Лева прощал это.) И еще был удивлен Лева, отметив особую предупредительность и галантность Диккенса в разговоре «с этой молью». Это-то и заставило Леву обратить на нее некоторое внимание. К тому же он подналег на «Митинку», в жилах его загудел ржавый чифирик. Дядя Митя, продолжая любоваться своей гостьей, достал даже какую-то репродукцию Гирландайо и всех приглашал отметить сходство. Тут-то Лева и имел неосторожность пожать под столом руку бледной Альбины. Некоторое время он мял ее нежную ручку, и она не отбирала.

Лева и думать наутро об Альбине забыл — только голова трещала. А она не забыла. Она звонила ему без конца. Лева, к стыду своему, вспоминал, как жал ее руку и договаривался о встрече. Она звонила об этой самой встрече. И голос в трубке был такой, что и отказать он не мог, ни тем более согласиться. Он очень ругал себя за это. Он вспоминал дядю Диккенса — вот это мужчина! это джентльмен... Этот бы никогда не постеснялся за ближнего. Как он вчера был предупредителен с нею!.. Но даже пример дяди Диккенса не вдохновлял его.

Пора признаться себе, нам очень хочется, чтобы именно в этой части впервые объявился дядя Диккенс! Как вариант деда, вместо деда — он бы очень подошел и очень украсил (на роль лермонтовского Максима Максимыча...) Тем более именно его воспринял Лева в красках юности и таким запомнил... Но — поздно. Мы истратили дядю Митю в первой части, другого такого у нас нет. И все-таки он необходим именно в той части, чтобы уравновесить некрасоту деда. Он там «нужнее» (как бы он отнесся сейчас к этому словечку!..). Он ведь всегда там, где кому-нибудь нужнее (чем ему): Лева, стране, мне... Он всегда и покорно там — с бедной гордостью на лице.)

В общем, Лева не хотел идти на это свидание. То ли застенчивость Левина (раздельное обучение), то ли Фаиныны

вкусы (что скорее) невольно выражались в этом внутреннем хамстве, но, во всяком случае, ничего он поделывать с собой в этом отношении не мог: не столько останавливало его то, что свидание это ему было нисколько не нужно, сколько необходимость встретиться и быть вместе с Альбиной на людях. Хотя она отнюдь не была некрасива. Было в ней что-то... И еще что-то, как говорится, хорошее и чистое: врать она не могла, к примеру, — но вот Лева в высшей степени были безразличны эти ее столь редкие достоинства, в том числе и ее внезапная преданность, столь вроде бы ничего не требующая от него... Не мог он с ней появиться на людях, хоть тресни. Но доброе его сердце каждый раз не только раздражалось, но и обливалось кровью, как только он слышал в трубке ее голос, ее старательно спрятанную и оттого столь очевидную мольбу. Он бы с радостью уже согласился... Он уже уговаривал себя: мол, и лицо у нее ничего, и одета она со вкусом, что это только он ее так стесняется, другие — нет... а ведь об уме, сердце, всяких внутренних качествах и говорить не приходится — полный идеал. Но было, тут Лева можно понять, в ее отнюдь не безобразном лице нечто, выдававшее подвластность тому же механизму, к которому столь страдательно до сих пор был причастен сам Лева. Она была, как Лева, — вот в чем дело. Только Лева был уже не тот... И он пошел наконец на это свидание.

Была крошечная, слякотная, с ветром, погода — выбрал же! — они сразу свернули из центра на безлюдные боковые старые улочки, темные почти совсем. Это Лева свернул, сказав так, что не переносит толпу, что ему просто дурно делается. Он, в данном случае, и не врал: ему действительно почти делалось дурно от кажущегося внимания толпы к нему с Альбиной. (Может, это был все-таки страх встретить случайно Фаину?... Хотя Лева и верил математике: вероятность этой встречи в большом городе так мала... Но и эта вероятность могла его испугать.)

Они свернули в эти улочки, здесь Лева было холодно, но хотя бы темно и людей не было. А она ему в рот смотрела, что бы он ни говорил. Говорил, что толпы не выносит, — так и принимала, соглашалась охотно. Она все как бы ждала (это Лева прекрасно чувствовал), чтобы он напомнил о том вечере, что все это не просто так, что он жал ей руку, а раз не просто, то чтобы пожал еще раз и чтобы дальше все пошло, развиваясь. Но Лева старался не замечать этого молчаливого требования, говорил какую-то скуку о своей работе запальчивым голосом: как

бы его сегодня очень разозлили, и у него все с ума не идет. Он как бы не замечал, как она снова и снова протягивала ему свою мольбу (хотя только ее и видел), ему было очень нехорошо, стыдно, неловко — никогда он себя таким мерзавцем не чувствовал, что вот не в силах ответить на чувство, столь абсолютное...

Альбина же все равно ему в рот смотрела, хотя и не слышала ничего. Только вот у нее все шнурки развязывались. Она краснела, жалобно просила прощения и начинала их завязывать: от желания проделать все поскорее, принимала такую неловкую позу, что завязывать их и вовсе становилось невозможно. Лева же стоял над ней, суетливо торопящейся, ничего не могущей поделать со стынувшими на этом ветру руками, молчал, злой дебил... — да и что он мог сказать, весь искореженный стыдом за ближнего и стыдом за этот стыд! И не дай Бог проходил прохожий, одинокий в этом пустом переулке, оттого непременно было ему необходимо оглянуться и посмотреть с любопытством...

Альбина распрямлялась наконец.

Они шли немного дальше, шнурки ее снова развязывались, снова все повторялось — она стояла, скрюченная на ветру, без конца теряя равновесие, суетливо от поспешности путаясь в шнурках и от отчаяния уже, по-видимому, вовсе забывая, как она это всю жизнь проделывала: левую петлю на правую, правую на левую?

А погода была — ужас что за погода! Альбина в пальтишке своем уже ходила крупной дрожью и тоже ничего не могла с этим поделать, как и со шнурками. А Лева был почти счастлив, что погода именно такая, что она как бы кладет естественный предел, и он стал уговаривать ее: она так продрогла, еще заболит, так не повезло им сегодня, лучше в следующий раз, когда погода будет не такая, — непременно в следующий раз, обещал Лева. Альбина же говорила, что сама не понимает, почему дрожит, потому что ей тепло. Это у вас, наверно, жар уже, лихорадка, говорил Лева, и как жаль, что все так вышло...

В общем, с помощью погоды, все еще как-то обошлось сравнительно недолго, и Лева, собрав последнее мужество и терпение — довести ее до дому, лишь только хлопнула за ней дверь парадной, — уже летел как из пращи, ощущая легкость необыкновенную, чуть ли не счастье даже, хотя бы и постыдное. Он так быстро вылетел за поворот, что Альбина, тут же отворившая снова дверь парадной, чтобы что-то у Левы еще спро-

сильно или выяснить, никого уже не увидела на этой пустой улице, лишь ветер залепил ей лицо мокрым, тяжелым снегом...

А Лева летел назад, к Фаине, пел даже от радости и клялся себе, божился, что никогда больше на такую жуткую штуку не попадется: кому же приятно ощущать себя скотом?

Однако, вернувшись, он не застал Фаины. Он ждал ее, ждал — она же куда-то делась, неизвестно куда, не оставив даже записки, не предупредив. Собиралась же весь вечер быть дома?.. И не звонила даже. Впрочем, был уже час ночи, объяснял он себе, и она боялась разбудить соседей...

Лева не спал ночь. Так вот — возмездие! Фаина появилась даже не рано утром, а в первой половине дня. Какая-то фантастическая история, тут же с порога, была предложена дрожащему холодной дрожью Лева, вместе с поцелуем в лоб (для чего Фаине пришлось сильно привстать на цыпочки, потому что Лева, стараясь быть каменным, холодным, невозмутимым, головы не нагнул; впрочем, Фаину такой его вид никогда не принимал).

История была о том, как в Левино отсутствие совершенно внезапно пришел ее старинный приятель и предложил покататься: машина ждет внизу... (Она же знала, сказала Фаина, что Лева сам пошел на свидание, хоть он и старался скрыть, но он же все равно этого не умеет, пусть и не пытается никогда, так она и решила, что почему бы и ей тоже не...) В общем, они поехали за город... нет, они не были вдвоем, был еще приятель приятеля, тоже доцент, он-то и вел машину, потому что ее приятель еще не получил прав... Такая красота! — тут все тает, а там елки в снегу, настоящая зима. Они приехали на дачу, нет, не ее приятеля, а приятеля приятеля, тоже доцента, там поужинали... ну да, выпили немного, она почти не пила... сейчас, погоди, тут-то все и начинается... приятель приятеля, тот, который должен был вести машину, вдруг напился, совершенно напился, и они не могли выехать... что же они делали всю ночь? играли в карты, в кинга... можешь мне поверить, никогда такой тоски не было... да, играли... ты что думаешь, я не знаю, что в кинга вдвоем не играют? троим играли... ну, и что ж, что пьян, играть-то он мог... да и не в этом дело — бензин кончился, да и не в этом дело — машина сломалась, ах, отстань, пожалуйста, не приставай!..

Лева обнаружил на руках, груди, шее такие следы, что — какой там шофер! Фаина еще слегка попуталась, поплавала, но и Лева был ловок ловить в этой мелкой воде. С его обостренной логикой насчет Фаины он быстро припер ее к стене, и она,

с неожиданной, мучительной легкостью, созналась во всем. И, сознавшись, к Левиному несчастью, уже ничего не врала. У Левы мигом выскочили рога, причем если бы она хоть соврала с кем, а то с лучшим другом Митишатьевым, и чуть ли не сам Лева виноват: откуда она знает, зачем Лева пошел на свидание? да, если хочешь знать, из ревности... Господи, во что обошлось Лева его свидание!

А потом началось, поехало: сколько раз, да раздевались ли?.. Конечно, это был не Митишатьев... Ах, какая тебе разница, кто он... не все ли равно! Ну, один раз, и не раздевались вовсе. Так он и поверил, ха! Ну уж, и разделись! да, догола, а что же терять было уже? Ну, и пусть Митишатьев... Пьяна была, вот и вышло так. Ах, отстань! Истинно он про тебя сказал: ...страдалец! Да нет же, не он... Сам сволоочь!

Оставим их.

Лева удалился на пустую дачу пестовать свое горе. Фаине, в общем сильно его жалевшей, сказал, что не может никого видеть и хочет остаться один. Отцу — что надо срочно завершить одну работу. Сам же пребывал там в жутком слюняйстве и маразме, раскладывал без конца какой-то тупой пасьянс, единственный, какой знал, и пил. Тут и навестила его Альбина. Ей сказали по телефону адрес (Фаина, что ли?)... да, женский голос.

Альбина привезла ему какие-то дурацкие пастилки в шоколаде и бутылку кислого вина. Лева холодно и тупо погасил свет. И, странно ничего не чувствуя, ничего, кроме власти, именно о владел Альбиной. Будто разглядывал себя сверху, будто висел под потолком и мстительно наблюдал механический ритм покинутого им тела... И лишь повторял на жаркие ее расспросы, полагая в этом некую свою честность, что нет, он не может врать, он ее не любит, то есть любит как человека и очень хорошо относится, но — не любит.

Утром Альбина заспешила на работу, робко пытаясь разбудить его: у него сна ни в одном глазу не было, но он мычал, как бы не в силах проснуться, и глаз не разлеплял. Она, из нежности, не стала будить его, раз он так крепко спит. Нацарапала какие-то свои теплые и жалкие слова на коробке от пастилок и, в последний раз погладив его дрожащей рукой и пролепетав что-то вроде «ласточка моя», отчего Лева покраснел безумно, хотя уже и храпел для убедительности, — ушла наконец.

Лева сел на кровать и завыл. Это именно то слово, без всякого преувеличения. Выл он долго: сначала от души, потом

с удивлением к собственному вытью прислушиваясь, потом уж вовсе просто так, от отупения. «Вот тебе и пастилка! Ну и сволочь, — сказал он себе равнодушно. — Что ж такого?» Быстро собрался он и с дачи съехал. В пустой электричке выпил маленькую и проспал всю дорогу.

Он знал, что он сделал это после Фаины. Да и разве мог он считать свою измену изменой?.. Но и ее было достаточно, чтобы все сдвигалось, колебалось. Он теперь не был абсолютно чист: хотя бы — поперся ведь на это свидание?.. И, как бы это теперь ни объяснялось, абсолютной правоты уже не выходило — все это было как бы несущественно для следствия... и тогда открывалось второе донышко, а там, в глубине глубины, что еще могло таиться? Там таилось настоящее головокружение: Лева не был теперь уверен и в этой последовательности. В этот раз — да, он пошел на свидание, которое заведомо не могло привести к измене. Но вот почему же он все-таки на него пошел?.. Был, кажется, все-таки был один незамеченный, вернее, не отмеченный им эпизод, почему Альбина и могла для себя остаться в недоумении и проявлять свою настойчивость. Он, конечно, не мог считать (тем более!) тот растаявший факт фактом. Он списывал и этот факт, но там уже воспалялось другое забытое, и это была снова Фаина: неужели уже тогда?! Он ведь так и не знал, куда она еще и в тот, и в тот раз пропадала, к какой подруге ездила на дачу?..

«Да что ты говоришь! что говоришь!.. — восклицала в этом погружении темы Фаина. — Да в самый первый вечер, когда мы познакомились, тебе нравилась другая! Будто не помнишь?.. Стелла...» — «Какая еще Стелла!..» — взревел Лева. «Голубенькая такая... — И Фаина так ловко ее передразнила, что Лева не мог не усмехнуться, не вспомнить. — Ты же тогда к ней к первой полез!» — «Ну уж...» — опешил Лева, польщенный ее ревностью, и Фаина снова была — родной.

«Так что, вот так вот, — думал Лева. — Вплоть до Евы (и Ева изменила Адаму до того, как стала его женой), до первородного греха... Дрожит, как элементарная частица, все дробясь и не уничтожаясь... Есть ряд АБ, АБ, АБ, АБ... Измена А, следом измена Б, измена следом опять А, опять Б — такая цепочка... раз начавшись, тянется. Опустим первое А, и получится: БА, БА, БА... Какая разница, если ряд в бесконечность уходит?» Так математично рассуждал филолог Лева Одоевцев, тяготея к естествознанию.

«Ну и убирайся!» — сказала Фаина. «Почему это я — убирайся? — ядовито цедил Лева. — А не ты — убирайся?» Эти слова звучали в их жизни не в первый раз, и каково же было Левино удивление, когда он нашел вместо Фаины лишь маленькое, на редкость ласковое письмо. Она ушла. «Не пытайся меня разыскать» — и все такое. Лева рванулся, но на Сахалин все-таки за ней не поехал.

Дня через три он очнулся. Он шел в этот момент по Невскому, вечереющий проспект как-то особенно отчетливо лоснился после дождя: зонты, автомобили, асфальт, сытое шуршание шин, красное вспыхивание и повизгивание тормозов, — будто видел он все сквозь подсыхающие последние слезы и будто все это мчалось, притормаживая и объезжая его... Он не чувял под собою ног, задира л голову в выполосканное, пересиненное небо и понимал, что он жив, жив!.. Это ни к чему, ни к какому помыслу не относилось: он был жив, потому что дальше его горю двигаться было некуда, он стоял на вершине его и с легкостью смотрел вниз на окружающее и предстоящее пространство жизни. И он вдруг ожил и зажил, зажил — ровно, мерно... будто в прошлом, в пропущенной им более ранней жизни, словно до войны, до революции даже... Тихо, не убыстряясь и не медля, уходил день за днем, и Лева все успевал. Матушка не нарадовалась: Лева — работал, писал, без труда сдал экзамены в аспирантуру... И не заметил, как. И всего-то — месяц прошел.

И так вдруг, так внезапно! — умирает дядя Диккенс. Вот горе! Лева дается подумать о том, как ненасушны его личные дразги, какое это все не то, как мелко и стыдно — перед лицом этой, на букву С...

...Лева увидел Альбину в церкви, на отпевании, и был поражен. Он ничего не подумал, не вспомнил неуместного, он не сказал про себя, как ей к лицу этот черный шарфик... но именно этим был поражен. Когда ему пришлось неопытной рукой кинуть в яму горсть песка, он заплакал. Все тут же и кончилось: маму, быстренько и деловито, как бы скатав; свернув в узелок пустого пальто, увел отец, почему-то мимо Левы, почему-то даже показав ему молча, ладонью, за ее спиной — не подходить... Леву взяла под руку Альбина.

Всю дорогу с кладбища они прошли пешком. Альбина замечательно говорила о Диккенсе. Лева удивлялся: он тоже почти так думал, но слов таких у него не было. Оказалось, они были не просто знакомы, а дружны с Альбиной — об этом Лева понятия не имел. «Он был очень одинок, — сказала Альбина. —

У него совсем, совсем никого не было. Все его «погибли». Кое-каких подробностей даже Лева не знал... «Может, ему там будет лучше, — сказала Альбина, — там наших больше». Как-то хорошо она это простое соображение сказала, как-то особенно, будто имела на него право.

Она имела в виду своего отца.

Его фотографию, висевшую над тахтой, Лева разглядывал утром, лежа рядом с пустой промятой подушкой и откинутым уголком одеяла... Белое, расстрелянное лицо близоруко-чисто смотрело сквозь пенсне на смятую половину постели, где только что лежала его дочь. Он был подданный государства Литвы, строитель, возводивший свои сооружения в Париже и Берне, европейское имя, затерявшееся после войны в просторах Азии... В сумрачной глубине квартиры звякнула чашка, вспорхнул халат... «Ты проснулся?..»

...Фаина для Левы всегда была одна не только потому, что единственна, — вокруг нее никого не было. У нее, как и у Альбины, не было отца, но, кажется, — вообще его не было. Засмутившаяся же ее мать, приехавшая из Ростова (на Дону), — куда-то тут же пропала, будто Фаина ее спрятала. Мать была толста и черномяса, двух слов не связала... Лева с еще пущею нежностью прижимал к себе тогда — одинокую, безродную красоту Фаины. Лишь один раз видел он на улице ее бывшего мужа, тенью которого (богатство, успех у женщин...) бередила она Левину ревность, и Лева, с некоторым даже разочарованием, успокоился: разве что богатство... Муж был старый и некрасивый. Даже по этим, застаревшим, застрявшим в лексиконе Фаины по отношению к прошлому (до Левы), провинциально-девичьим меркам — Лева был лучше. Такие оседания образа для Фаины были недопустимы. Образ этот не мерк лишь с глаза на глаз. Вокруг Фаины — не было никого.

Альбина никогда не была и не бывала одна: она была с легендами об отце; с сохранившей и в бедности какой-то заграничный жест богатства мамой (Леве нравилось ее лицо, нравилось проявлять молодые черты сквозь «следы бывлой красоты»); с фотографиями вилл и бабушек; с кошкой Жильбертой и устройством ее котят, с быстро возросшими «общими» воспоминаниями: соседство школ, дядя Диккенс, Левины идеи и «замыслы»... Ее «прошлое» было предложено Леве тут же, как бы все без остатка: муж, за которого она вышла без любви (ни

одного дурного слова о нем), интеллигентный, мягкий человек, они разошлись по ее воле (получалось — после того свидания севой...), муж просил, хотя она уверяла, что все кончено и не может быть, просил еще некоторое время подождать с разводом: готов вернуться по первому ее зову... — все было рассказано, как бы чтобы и не поминать об этом. («Все жены — вдовы», — как сказал однажды дядя Митя.)

лева был молчаливее. Он спокойно лежал рядом с Альбиной на спине, разглядывая на потолке призрачный оконный переплет, с нечеткой сетью забалконной дворовой листвы, и бесстрастно думал о Фаине... Ведь вот что получалось: он никогда ее не видел, не понимал, не чувствовал: она была не человек, а предмет... ну да, «предмет страсти»... как точно! Ах, слова!.. (лева любил слова.) Пред-мет. Только рядом с Альбиной начинал он что-то понимать и видеть. Ведь ясно: Альбина тоньше, умней, идеальней, интеллигентней, сложнее... а вся — понятна и видна леве, реальна. А Фаина? — груба, вульгарна, материальна и — совершенно нереальна для левы. Реальна была только его страсть, ведь и лева переставал ощущать себя реальным в этом поле. Но он, хоть и не понимал ничего, даже и себя, в отношениях с Фаиной, — однако мог быть уверен, что знает про себя все. Про Фаину же — ничего. Только ряд бестолковых, редко даже когда ему помогавших навыков в обращении: сейчас не стоит к ней подходить... сегодня пора уже изобрести какой-нибудь подарок... этого надо не заметить... эту прическу надо особенно расхвалить («Какой ты внимательный и милый!..» — вдруг вьявь слышал он ее голос — и оборачивался с сердцебиением). «Что с тобой?» — спрашивала чуткая Альбина. лева стонал и, выдавая грубость за страсть, привлекал ее к себе.

Она неистовствовала и исходила в его руках, чужая любимая жена, но при чем тут она и при чем тут лева? — это Фаина выкручивалась в руках Митишатьева, и не лева изменял Фаине, а Фаина, в который раз, повторяла для него все это, и лева был не лева, а уже Митишатьев, — это было уже почти раздвоение личности в самом медицинском смысле слова; отвращение и непонятное, страшноватое по силе и остроте наслаждение испытывал тогда лева, так и не обладая ни той, ни другою...

И тут, внезапно, вернулась Фаина. Оказалось, вовсе не на сахалин, а к матери в Ростов она ездила... Это леву тут же успокоило, что не на сахалин. На сахалин бы, уж точно, без мужика не уедешь... лева смотрел в ее загоревшее, попро-

стевшее лицо и с удовлетворением отмечал некоторое спокойствие в своей душе. Все-таки за этот краткий период с Альбиной он набрался какого-никого самоощущения. Фаине он, однако, не сказал про свой роман. Не то чтобы что-нибудь его останавливало... что-то, впрочем, и останавливало. От Фаины он несколько отвык, но тут же понял: от отношений, от счетов, от вражды — несколько не отвык. Он с удивлением это отметил: как быстро с нею он становится другим человеком, темлевой. Он ничего не сказал ей об Альбине, как бы запасая козырь... Однако Фаина заметила переменную. «Я в тебя, кажется, снова влюбляюсь», — сказала она. В ее лексиконе это означало, что она почувствовала «силу». Лева ее презирал и был удовлетворен.

Сложнее ему пришлось с Альбиной. В первый день он не решился ей сказать о возвращении Фаины. Во второй — не сказал, угрызаясь, что не сказал сразу. Муки совести донимали его. (С Фаиной было хоть то преимущество, что там эти муки у него начисто отсутствовали.) В третий раз... Альбина уже и сама знала.

Леве было, конечно, сильно не по себе. Он — раздваивался. «Какое же одиночество в наше время — действительно найти друг друга!.. — думал Лева, тоскуя рядом с Альбиной. — Нет, этой обреченности вдвоем — не вынести, когда рядом есть перед кем прикинуться таким же, как другие. В чужом мире легче с чужими, чем со своими: не заметишь, как хрюкнешь, — и никто не заметит».

Но когда вдруг выяснилось, что в Ростове Фаина тоже не была, а загорела в Махачкале, то все вернулось на прежние места: актеры снова разобрали свои роли, которые по-прежнему помнили назубок. Фаина — жизнь, Фаина — красота, Фаина — страсть, Фаина — судьба... Что — Альбина!..

Ах, какая все это мука!.. какая муть. Одна красивая, другая — нет. Но и это поди докажи. Красота — это такой обман! А красива ли Фаина? Смешной вопрос — какая разница. Отекшая, с расплывшейся косметикой, храпящая (лишь бы рядом...) — она дорога Леве, и все тут, даже дороже. И как же измучит его отворачиванием крохотный угорек под ухом раскрасившей Альбины, когда он, лишь только погаснет этот сладкий и такой не вечный миг, отрывается от нее всем своим существом и разглядывает со стороны. Нет ничего некрасивей женщины, если вы ее не любите, если уже на то пошло. Только временный обман, оптический фокус, а потом — одно уродство и неудобство.

И сколько же люди накрутили на женскую красоту — бред какой-то! Красивая Альбина некрасива, когда ее не любят. Вот идут они слевой, умолила о встрече, напросилась в кафе, ест пирожное и плачет — что, кроме ужаса, испытает Лева?.. а потом они идут рядом, и Лева словно в километре от нее, и руки в карманы спрятал, и локти к бокам прижал — и ей руки никак под локоть ему не просунуть... Тычется бедная лапка, бедная варежка, бедное отдельное существо ее руки, рыбка об лед, рыбка с тупой меховой мордочкой. Плачет красивая Альбина, говорит что-то жарко, слитно, горячее дыхание рвется с ее губ, глаза ее в Леву заглядывают, просят, а он и не посмотрит и не слышит ничего — идет в километре. И только все видит боковым своим неприязненным зрением, как крошка от пирожного застряла у нее на губе и прыгает, прыгает. Отвратительна ему эта крошка от пирожного — и больше ничего в Лева нет. Какая там красота — одно уродство! какое там уродство — одна красота...

Только не раз еще вернется к ней Лева, и каждый раз после того, как ему сделают больно. Придет передать боль. Поначалу совесть помучит, а потом возникнет удобный механизм. А Альбина-то — сразу и поверит, и разбежится. А Лева, как наберется уверенности — то и уйдет сразу же, а как растеряет — то снова придет. Подло? Подло. Но — пусть читатель оплатит свои счета...

Тем более что и не так это все. И Лева не такой уж подлец, и наша Альбина — не такая уж нищенка. Она, конечно, страдает, но «и страдает»... Очень существенно это «и»! Она убеждена, что Лева хоть часто и ведет себя не так, как ей бы мечталось, — а ведь любит ее. Иначе зачем же бежит, а все возвращается и возвращается, как привязанный. И видит она эти проявления любви во всем и копит их. Пришел — любит, ушел — тоже любит. Ласковый — это к ней. Неласковый — неприятности по работе. А вдруг заболел?.. А может, Лева и любит Альбину, кто знает. Хотя бы — «по-своему»... Она-то одна и может это знать. Ведь Лева знает, что Фаина любит его. Только напускает на себя что-то: молода еще или не понимает, не осознает...

Все ложь, и все правда...

В этот свой недолгий и настолько потом отрицаемый, что, со временем, как и вовсе с ним не бывший период жизни с Альбиной, дано было Лева на своей шкуре испытать всю силу

и ужас чувства собственной НЕ любви (именно отдельно НЕ, а не вместе: просто нелюбовь — простая эмоция), дано ему было испытать тиранию чужого чувства и христианскую беспомощность человека.

За что мы не любим? Ведь положи ту же руку на то же сердце, Альбина была более достойна его любви... Но когда он клал эту руку, то клал ее — на ту же Фаину: сердце его было занято. Нас так мало, чтобы досталось место еще кому-нибудь, и за это свое меньшинство мы еще раз не любим того, кто дал нам его почувствовать. «Ты можешь меня не любить, — сказала Альбина, истощив богатство своих предложений. — Но ведь у тебя сейчас никого нет? — (Что наговорил ей Лева?..) — Тебе ведь женщина нужна? Я же не хуже других...» Лева вздрогнул, будто его ударили — опять его достигала вся мера. «Ты — не другая...» — догадался ответить он. В этом была доля. И вот еще за что мог он ее не любить: она была из своих, он ее предельно чувствовал: она была, как он: каждое ее движение проектировалось в его душе как узнанное, как понятное: они были одинаково устроены и настроены на одну волну: он мог не любить ее, как себя. Он принимал каждый ее сигнал, прекрасно знал, как ей следует ответить, но — чем? — и не мог. За это — кто же полюбит? И еще сильнее мог он ее не любить за Фаину: от сравнения Фаина не выгадывала — обиднее становилась потраченная Левина жизнь. И еще он мог досадовать, что теперь Фаина уже знала про Альбину и не столько была уязвлена, сколько воспользовалась этим. А самое, за что он не любил Альбину, был первый опыт узнавания того, что он так напрасно всегда пытался выяснить у Фаины: действительное ее отношение к нему, что же она к нему питала во всю их жизнь... А вот то и чувствовала! — осеняло иной раз Леву, когда он корчился от своей ложной несостоятельности рядом с нелюбимой Альбиной. Какая же убийственная тоска пронизывала от этого допущения Леву! Тем более что на собственном опыте он мог теперь выразить Фаине некоторое сочувствие и чуть ли не восхититься ее корыстным долготерпением. А за это можно бы и не только не любить, но и убить виновницу (опять Альбину)... В общем, то чувство НЕ любви, о котором мы здесь говорим, — крайне утомительно и чрезвычайно НЕ лестно тому, кто не любит. Не знаем, как сносят это чувство женщины, как они имеют дело с успехом, которого жаждут (нам кажется, что они должны в момент успеха никого не любить, чтобы ощущать его), не знаем... но мужчина, любя-

щий свой успех у женщин, нам кажется не вполне мужчиной... И Лева проклял это чувство безответной любви к себе. Но — не свое.

Как сильно он не любил! Как навсегда... Если и через десять лет (старательный потомок может попытаться определить дату, покопавшись в истории ширпотреба...) Левино сердце ныло какою-то тошною тоскою при виде невинных предметов, впервые встреченных им почему-то именно у Альбины, как-то: род цветастых тапочек с вдетой в них резинкою, так мягко облежавших ее ногу, или предмет того же рода — «подследник» — невидимый носочек, «дефицит» своего времени, — все вещи, казалось бы, даже трогательные... Но и на «дефицит» более поздний, к Альбине уже не имевший отношения, — на модный складной зонтик — перенеслась ни с того ни с сего Левина ненависть. Все это сжималось, съеживалось, сворачивалось — без ноги, без дождя... Образ бесформенности, невыносимый тлен... Торопливо сдернутые с ноги, покинутые на полу, тапки эти неоправданно сжимались, как его сердце, и пугали, как Альбина своею нагою покорностью. И впоследствии самое очаровательное существо могло погибнуть в Левиных глазах от одной лишь принадлежности ей подобной вещи.

Лева старался видаться с Альбиной все реже, но оскорблять ее чувство все же не мог: слишком, ему казалось, знает он, что она испытывает, как страдает, и когда не видел ее, до некоторой степени начинал сочувствовать ей (может, издали, неконкретно — такое страдание все-таки лестно нам?..). Так он виделся с нею все реже, из чисто христианских побуждений освежая ее раны. Но однажды-таки решился на последний разговор.

Они встретились на каком-то углу и молча дошли до ее дома. Он — не решаясь, она — боясь. К ней Лева отказался подняться. Вышло, что он ее только проводил. Ей надо было еще что-то Леве сказать. «Что?» — спросил Лева. «Не здесь». — «К тебе я не пойду», — сказал Лева, представив себе тихо исчезающую в сумраке маму, успевающую «почти не посмотреть» Леве в глаза. Альбина воспользовалась случаем взять Леву под руку и повела его неподалеку в скверик.

Там они сидели молча, будто уже сидели, когда туда пришли... Небо сквозило в поредевшей листве, было преждевременно холодно, стыли руки. Это был такой первый осен-

ний холод, до пальто и перчаток... Этими-то озябшими руками Альбина расправляла на колене слетевший к ней кленовый лист. Лева позволил себе разозлиться, приняв это за кокетство. Кокетство — не было привилегией слишком хорошо воспитанной, своей Альбины. Оно ей не шло, было жалким. Лева был несправедлив к Альбине: она на самом деле была занята листом: чтобы ненароком не заглянуть Лева в глаза, не прочесть в них...

«Ну так что?», — сказал Лева, разозлившись. Большая одна капля упала на лист. Тут Лева опять ощутил всю ее муку в себе, мечущейся в его чужой душе, и не вынес ее... Зажмурился — и сказал. Она молчала. Лева не вынес паузы и еще довольно долго говорил, обмазывая пилюлю таким признанием ее достоинств, что от этих ледяных комплиментов Альбина застыла окончательно, капелька повисла на ее носу... «Но ведь ты — мой, мой!..» — отчаянно воскликнула она и увидела, что смотрел он ей — на кончик носа, на каплю... Она не засуетилась, не смутилась, а смахнула ее и сказала каменно: «Ну что ж, прощай». — «Ты пойми...» — начал Лева и не продолжил. «Иди». Лева почувствовал какой-то холодный укол, будто с другой стороны сердца, с которой никогда не ощущал боли, будто его сердце, как Луна, имело обратную сторону, понял, почти с разочарованием, что достиг своей цели, что — не кажется, а — все. (В этом и мужское сердце элементарно, как женское.) Он понял, что должен встать и уйти, что ее право, чтобы он ушел, ее последняя (единственная за все их время) привилегия, какой она воспользовалась. Тут Лева наконец увидел, что Альбина — красива, высокая шея... что она могла бы быть желанна и любима, но почему-то опять не сейчас, а тем, отдаленным Левою, который так щедро не любил ее, именно тем, а не этим, все еще сидящим рядом, все еще не уходящим и почти любящим ее. Да, он мог бы любить ее, она могла быть его женой. (Ему представилась ее квартира, открытые двери, мелькнул в сумраке и запахнулся халатик, тоненькая кофейная чашечка в руке...) «Я не люблю тебя больше», — сказала Альбина.

Мокрая полоска все еще блестела на ее руке. Лева молча охнул и поднялся... Но если б он вдруг распался, рассыпался, раскололся и оборотился наконец к ней с чувством, — то было уже поздно. Эта необратимость поразила Леву — в первый и последний раз перед ним реально возник тот врожден-

ный образ вечной любви, с олицетворением которого он так настойчиво приставал по первому же адресу... Это была Она — и он тут же простился с нею навсегда, больше не мечтая о том, чего не бывает в жизни...

(Больше они не виделись. Лева шел по желтой дорожке садика, и уходил, и долго он так шел с этой желтизной перед глазами, бормоча какие-то ненаписанные стихи, вроде: «Прощай! До встречи... Там нас больше... Прощай!.. Та-та-та, та-та-та...»)

Так прочитана история под знаком Альбины: другие звезды в этом небе иначе расположены по отношению друг к другу. Лева не видит их точно так же, как не видим мы в нашем Северном полушарии Южный Крест.

ЛЮБАША

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря.

Третью же Левину женщину назовем простым русским именем Любаша. Любимая, нелюбимая и любая... Она не играет роли в его судьбе, лишь — что-то в ней означает. Какую-то прибыль, чью-то убыль. Времени еще прошло. Ничто вроде не изменилось, а все стало другим. Ничего не узнать, а все то же самое. И Лева — на вид совсем другой: поосунулся, переоделся, стал поуверенней, понахальнее, попривык к своим мукам, пообтерся об себя же. Хвастаться вроде нечем, а что-то уже было в его жизни, а это, само по себе, что-то. Он приобрел кое-какие черты из тех, что всегда у него были. Он как бы проявился, проступил сквозь себя.

Лева появлялся у Любаши неожиданно, невзначай. Дома у нее телефона не было, а на работе был, но неудобный, далекий. Любаша ему этот телефон дала, но как бы одновременно не советовала им пользоваться: чуть ли не требовалось сначала позвать некую Лиду, а Лида, близкая Любашина подруга, уж непременно ее позовет. Это было как-то неловко Леве; он один раз было попробовал, и тот мужской голос был недоволен, казалось, даже тем, что позвали Лиду, а потом Лида, сказав «сейчас», пропала так надолго, что Лева изнемог вслушиваться в это далекое немое потрескивание, потел в жаркой телефонной будке, поглядывал на мнущегося за стеклянной дверью нетерпеливого на вид человека, который, однако, в стекло монетой не стучал, чем действовал на Леву еще хуже: Леве приходилось тупо молчать, меняя позы и придавая лицу осмысленность; ему становилось жарко, и по всей коже он уже ощущал покусывание, происходившее словно от потрескивания в трубке, тем более что чуть ли кто-то не подошел, пока он ждал, опять

мужчина, и снова спросил: кого надо? — и когда Лева с испугом назвал Лиду, тот сказал, что Лида вышла, и чуть ли не повесил трубку прежде, чем Лева сообразил как-то объяснить все это... в общем, когда он наконец услышал в трубке ленивый Любашин голос, то, одновременно с облегчением, почувствовал некое замешательство от явного несоответствия всех этих трудностей и переживаний с тем, что он должен сказать сейчас Любаше. Он замешкался, замолчал. «Что-нибудь случилось?» — очень спокойно сказала Любаша. «Нет, ничего, я просто хотел к тебе зайти». — «Ну так заходи», — просто сказала Любаша. Лева повесил трубку. Телефончик Любашин у него, выходит, был, но на экстренный случай. Какой же мог у них быть с Любашей экстренный случай? — этот, что ли? — поэтому Лева больше не звонил. Не дожидись он тогда, ничего бы могло и не быть. А не было бы, то что бы было?..

Он заходил невзначай и довольно редко, но всегда до сих пор заставал Любашу дома, причем одну, и она будто ждала его, хотя никакой лишней радости не разыгрывала, но всегда была приветлива. Они садились не торопясь пить чай, и Леве никогда не удавалось заметить, как это все начиналось и оказывалось, но как-то они все успевали и уходил он всегда вовремя, как ему это требовалось: на следующее утро или в тот же вечер, — тоже как-то не замечал этого.

Сначала его эта непривычная удача, что он всегда заставал ее дома одну, удивляла, потом даже польстила, потому что, при столь нетребовательных отношениях, Лева нисколько бы ничему не удивился, потому что полагал себя вне ее личной жизни. То ли ему просто поначалу везло так нападать на Любашу, то ли что ли, но и тут вдруг что-то переменялось, стало «проще»... Он застал, как кто-то вышел, когда он подходил к двери, потом кого-то не пустили, когда он был у Любаши, а потом однажды и Леву не пустила: мама внезапно приехала.

При этом широкое ее лицо ту же широту и выражало. А Леву это будто даже устраивало, что сегодня к ней нельзя. Будто это время, которое было некуда деть, как бежать к Любаше, вдруг становилось подарком...

Интересно также отметить, в каком редком для себя настроении сворачивал Лева со своего обычного пути и заходил к Любаше. Не как к Фаине — где, чем невыгоднее бывало его положение и настроение, тем неотвязней был его приход, и Лева как бы уже дожимал, почти настаивал на своем все большем проигрыше, как мы давим на больной зуб или, сдержанные, трогаем его языком; где попытки разжалобить, тронуть, уни-

зиться были тем настойчивей, чем бесполезней... и не как к Альбине — где он появлялся лишь почерневший, расслабленный, несчастный или злой.

Во всяком случае, именно не несчастный, закахивал он к Любаше. Может, еще злой, но не несчастный.

Что-нибудь вдруг удавалось ему, вселявшее в него силы: или Фаина бывала неожиданно любезна к нему, или даже вдруг — зависима; то ли погода, давившая неделями в этом дождливом городе, вдруг оборачивалась первым весенним днем или бабьим летом; или просто бодрость непонятная нисходила на Леву внезапно, ни с того ни с сего, как та же редкая погода, и он вдыхал тогда воздух, неважно какой, широко раздувая ноздри, радовался жизни в неприметном ему листочке и нравился сам себе, казался сильнее и выше ростом; или кто-то нравился ему на улице или в автобусе, и он ловил ответ, чуть ли не перемигивался уже, но она проходила дальше или сходила на остановке, а он так и не решался догнать, соскочить... — но внезапное возбуждение и прилив неожиданных сил оставались в нем и уже распирали его, подталкивали и приводили — к Любаше.

И такой, не привычный никому, возбужденный, запыхавшийся, чуть ли не с горящими глазами, легкий самому себе, даже радостный, оказывался он у Любашиных дверей и уже нажимал звонок.

Он и не думал, и не вспоминал о Любаше, иногда подолгу, у него вполне хватало Фаины на это... И вдруг оказывался у Любашиных дверей, свежий, красивый, такой далекий от отчаяния — и уже нажимал звонок.

Или даже так уж образовался механизм впоследствии, что, оказываясь у Любашиных дверей, становился он вдруг совершенно другим, свежим, красивым и т. д... — и решительно нажимал звонок.

То есть он уже мог приходить сюда забывать свои горести, исправлять настроение, тут уже как бы рефлекс, и тогда все звучит гораздо банальнее, но и в этом случае необходимо отметить, что настроение его исправлялось не только в результате встречи с Любашей и не в процессе, а еще и до этой встречи, по крайней мере, у самых ее дверей, и то, что он так менялся прежде, чем видел Любашу, что-то нам свидетельствует, не то о Леве, не то о Любаше... Была в ней та поразительная способность, не договариваясь, не выясняя, сразу определить меру, характер и единственность отношений — в противном случае, люди ей, по-видимому, не подходили, и Леве, чтобы подходить, приходилось это учитывать, хотя бы и инстинктивно.

Только и Любаша однажды спросила, правда, спокойно очень и будто без чувства: «Я ведь тебе больше нравлюсь, чем Фаина?» Лева очень изумился и чем-то был польщен. Задумался и так и недодумал. А Любаша и не требовала ответа. Спросила, и ладно. По-своему-то она знала, что — больше.

А Любаша всегда бывала дома, и даже тогда, когда Лева отказался от нелепых своих, хоть и лестных предположений, что он единственный у нее. Она была всегда дома и тут не подводила, устранив в определенной своей жизни лишние волнения встреч и сборов в дорогу: то ли когда-то в сердцах отвергнув, то ли спокойно отрицая наличие какого бы то ни было другого и сколь-нибудь интересного мира или образа жизни, дополнительного к какому ни на есть, но своему. Она всегда была дома или на работе, никуда, кроме бани и кино, не отлучалась, приходили же — к ней, и имели в этом потребность и даже необходимость.

Итак, Лева внезапно для себя оказывался у ее дверей — и уже нажимал звонок.

Любаша открыла ему и впервые как будто удивилась. «Этот ты? — посмотрела на него внимательнее обычного и словно что-то тут же про себя решив: — Ну что ж, проходи. Только я не одна». И пока Лева, как обычно возбужденный, неожиданно быстрый в движениях, следовал по коридору, и не было подозрений, способных приостановить или расхолодить его в стремительном беге следом за медлительной Любашей (потому что в чем же возможно было заподозрить Любашу?), пока он, проходя по темному коридору, что-то спрашивал: «А кто же у нее?» — и недорасслушивал ответа, — все было по-прежнему чудесно. Но тут же он стоял в тесной Любашиной комнатке, и ему становилось не по себе...

Они не могли не встретиться. Эта встреча столь естественна здесь...

— Пришел-таки!.. — восклицал Митишатьев. — А я тебя поджидаю...

МИФ О МИТИШАТЬЕВЕ

Нынче поутру зашел ко мне доктор; имя его Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Проходит время, и в прошлом — все становится как бы более простым и понятным, чем было в настоящем... Теперь уже могло показаться странным, но Митишатъев был еще школьным товарищем Левы. Просто Митишатъев до времени полысел и обрюзг, а главное, как-то незаметно и давно уже приобрел тот ряд незначительных движений и привычек чисто внешних, по которым мы всегда отличим человека пожилого хотя бы со спины: садится ли он в автобус, вытирает ли ноги, сморкается ли. Если вспомнить, а Леве это еще легко удавалось, то и в школе Митишатъев уже выглядел старше всех, даже мог выглядеть старше учителя, словно он менял свой возраст в зависимости от собеседника так, чтобы всегда быть слегка старше его. Вообще, он с видимым удовольствием набрасывался на свежего человека, тем более если они были полностью противоположны друг другу, но всегда умудрялся сойти за своего, даже чуть больше, чем за своего. Говорил ли он с работягой, фронтовиком или бывшим заключенным, то становился чуть ли не более собеседника — работягой, фронтовиком и заключенным, хотя никогда не работал, не воевал и не сидел. Но никогда не перебирал — оставался, в общем, наравне, лишь слегка обозначив превосходство так, словно бы он, если и пересидел в окопах или в лагере своего собеседника, то всего на день какой-нибудь или месяц, но, в то же время, хоть и на день какой-нибудь, но пересидел. По этому ли желанию казаться всегда постарше и помногоопытней, по физиологическим ли своим особенностям или по некой внутренней нечистоплотности, которая старит до времени, но Митишатъев выглядел чуть ли не вдвое старше Левы.

Таким он и сходил. Никто толком не знал его года рождения, а кто вдруг узнавал (начальник отдела кадров, к примеру),

то от удивления естественно возникала версия о каких-то невиданных событиях и травмах, потрясших недолгую жизнь Митишатъева и наложивших свой неумолимый отпечаток и след. Так или иначе, Митишатъев сразу же внушал уважение и избирался собранием в президиум.

И Лева, знавшему Митишатъева с детства, казалось неправдоподобным быть его сверстником. Лева с большей легкостью соглашался с фронтовым и лагерным прошлым Митишатъева, чем с тем, что они сидели на одной парте. Конечно, никаких заблуждений на этот счет у Левы быть не могло: просто в сознании его мифы Митишатъева давно уже стали более реальными, чем сама правда. Поэтому-то Лева никогда его не выдавал, ему не стоило никаких усилий перешагнуть в себе правду о Митишатъеве и согласиться с любой неправдой (ибо, опять же, неправда была в отношении Митишатъева как бы большей правдой); Митишатъев это ценил, хотя и относился к такому парадоксу как к чему-то совершенно естественному. Во всяком случае, он перестал опасаться Левы в обществе посторонних, не опасался даже молчаливого, косоного или насмешливого взгляда, всегда нас расхолаживающего, и нес при Лева что на ум взбредет, чуть ли не вдохновляясь его присутствием.

С самого детства Лева оставался непонятым секрет особого воздействия на него Митишатъева. В этом было что-то чрезвычайно простое, даже простейшее — чисто силовое и ничем не оправданное движение, некий прием, всегда один и тот же, даже запрещенный (ниже пояса), но всегда безотказно действовавший на Леву. Это голое давление не поддавалось ни анализу, ни логике: никак не мог Лева расположить его, поняв, в своей системе, то есть победить, перешагнуть разумом, — оно просто было, как некое особое физическое явление, в поле действия которого Лева непрестанно попадал. Более того, оно его притягивало. Лева, конечно, восставал, сопротивлялся (в том-то и дело!), выдвигал щитом свой разум, но противник был неожидан и неистошим.

С детства действовала эта модель, как вечный двигатель... После долгого и безрезультатного препирательства, где правда убедительно оказывалась на Левиной стороне и преимущество неоспоримо, Митишатъев вдруг говорил: «Давай поборемся!» («Стыкнемся!») — и, соответственно, побарывал... и это вдруг оказывалось не просто насилием или физическим превосходством, а подлинно — победой! — в моральном, умственном, во всех возможных планах: так подавал все Митишатъев, и так ощущал это Лева.

Постепенно Лева не мог не заметить, что, испытывая интерес и пытаясь разрешить механизм воздействия Митишатъева, он всегда терпит поражение, а когда, отчаявшись и прозлившись, просто на время забывает о нем, отодвигает, нисколько и не победив, то и воздействие кончается, и в этом как бы мерещится победа. Но это неглупое открытие не очень помогло Лева — Митишатъев умудрялся снова и снова втягивать его в свой механизм и подчинять себе. Начиналось это с ласки: с дружбы, с утверждения Левиных достоинств, с равенства и признания, — и когда Лева, растаяв и даже насладившись лестью и ощущением превосходства, снова клевал на наживку, то тут же бывал подсечен: от него отворачивались, над ним смеялись, и он оказывался в полной власти.

Этот, все тот же, цикл заманивания и последующего предательства, такой простой и всегда непонятный, притягивал к себе Леву, как мотылька свет, и растлевал его душу, постепенно залегая в сознание и там прорисовываясь. Страдание, всегда сопровождавшее этот Левин процесс вовлечения в предательство, каждый раз проходил словно по тому же нежному месту, которое со временем могло перейти просто в нечувствительную ткань, некий плац, по которому шествует предательство, не оставляя следа.

Особенно четко выразилось это в отношениях Левы с его первой и бесконечной любовью. Однажды (по прошествии нескольких лет) Лева внезапно сообразил, что секрет воздействия этой женщины на него, тайна бесконечного его плена удивительно сходны, по механизму своему, с секретом Митишатъева. Господи! ни там, ни там это не была вполне Левина инициатива... просто эти люди, как некие животные, ощущали как бы некий запах, исходивший от Левы, и чуяли по нему, что Лева им необходим. В том-то и дело, что скорее им был необходим Лева, чем они ему. Они заманивали его, он ощущал эту свою притягательность и некоторое время ходил гоголем, но потом все же раскрывался, разворачивал анемичные свои лепестки — и тогда ему смачно плевали в самую сердцевину... он сворачивался, створаживался и был уже навсегда ущемлен и приколот, не то бабочка, не то значок... И даже если Левина чаша переполнялась от такого глумления, он лишь срывался, как правило, на глупую и позорную грубость — в этом не было и тени превозможания, преодоления или победы. А они пользовались: он тут же оказывался виноват, они же как бы бесконечно обижались в своих чистых чувствах, — и тогда тот же Лева не

успевал ползать, умолять и извиняться, более и более попадая под власть.

Все тут совпадает до смешного, все время пульсируя по той же простенькой и всеильной схеме. Даже Митишатьев совпал с Левиной возлюбленной в какой-то точке однообразного Левиного сюжета. Они, конечно, не могли не встретиться, поскольку питались одним и тем же Левою, а встретившись однажды, будто по чистому стечению обстоятельств того же сюжета, как бы всплеснули руками и уже не могли друг без друга — слились.

Лева навсегда запомнил тот дрожащий, расплывчатый вечер, угол ее дома с тремя выпавшими кирпичами (они как раз были на уровне глаз и без конца отвлекали Леву), а они втроем расставались и никак не могли расстаться. Чья-то фраза распалась на полуслове и повисла неоконченной, внезапно обозначив никчемность всего предыдущего разговора, столь оживленного; горячее, неприличное даже молчание вытесняло Леву; все трое переминались от нетерпения, и в глаза уже давно друг другу не заглядывали... А Лева все не мог уяснить себе что-то, что было, по-видимому, ясно Митишатьеву и Фаине, не позволял себе думать так.

Наконец они разошлись все-таки, и Лева испытывал облегчение и радость, вышагивая рядом с Митишатьевым к трамвайной остановке. Подозрения спадали, как душные одежды, и в сердцевинке, голенький и чистенький, оставался Лева — ядрышко, зернышко! — слышал звуки и запахи, и отчетливо зажигались для него звезды... У остановки они расстались с Митишатьевым (тому было еще немного пройти — и он дома), Лева дружески, открыто пожимал Митишатьеву руку, и тот тоже жал изо всех сил и даже поцеловал, внезапно и порывисто. Лева вспрыгнул на подножку, смущенно улыбаясь и маша рукой, и честно ехал домой.

Спустя несколько лет, в период наиболее длительного разрыва с любимой, когда он уже начал забывать ее понемногу, с удивлением обнаруживая, что, вот же, может быть без нее — и ничего, и хорошо, и не уставал радоваться этому, он встретил на улице Митишатьева. И они бродили, заходили в погребок, потом в зоопарк... Митишатьев вдруг поразил Леву тем, как примечательно точно отзывался он о зверях, с большой интуицией и проникновением. В Лева снова ожило школьное представление о некоей самобытности, скрытой талантливости натуры своего врага и друга: Лева любил, когда говорили точно,

радостно раскрывался навстречу слову... Полукавив и посенти-ментальничав о зверях, они пили пиво.

— Послушай, князь, — сказал Митишатъев, сдувая пену, — у тебя есть фотография нашего школьного выпуска.

— Есть, конечно. Что вдруг?

— Так... с удовольствием сейчас бы взглянул. Слушай, а ты часто ее рассматриваешь?

— Нет... зачем? — удивился Лева. — Она у мамы где-то лежит...

— А как ты думаешь, сколько у нас в классе было евреев? Лева опешил:

— Никогда не считал...

— А ты припомни, припомни!..

Лева задумался.

— Да нет, странно, — сказал он, — не припомню. Все русские фамилии, ни одной еврейской. Не было, что ли?

Митишатъев расхохотался:

— Как же! Скажешь... А Кухарский, по-твоему, кто?

— Крыса-то? Русский, конечно, — сказал Лева. — Такая ряха, да и фамилия...

— Фамилия, фамилия! — передразнил Митишатъев. — Мало ли что! Еврей он, еврей. А Москвин, по-твоему, не еврей?

Лева от души рассмеялся:

— Ну уж ладно, Кухарский... Но — Москвин! Мы его, правда, все Мойшей звали. Но ведь это так, для смеха, ни у кого и в мыслях не было... Было бы — так и не звали бы.

— Значит, это была у вас интуиция, — сказал Митишатъев. — Она никогда не обманывает. Мойша и есть.

— Да ты что? — удивился Лева.

— И Тимофеев твой — тоже еврей.

— Тимсон-то?

— А как же, — важно сказал Митишатъев. — Вот вы его и прозвали Тимсон.

— Может, и Потехин — еврей? — ехидно спросил Лева.

Теперь расхохотался Митишатъев:

— Потехин? Ха-ха... Лева — ты святая душа! Конечно же, стопроцентный!

— Ну, а Мясников?

— Какое может быть сомнение! Ты его нос видел?

Лева в раздумье потрогал себя за нос.

— То-то, — сказал Митишатъев. — Слушай, князь... — как-то испытующе, секретно заговорил вдруг Митишатъев, — а ты сам, часом, не еврей?

— Я?! — Лева даже задохнулся.

— Ну да... — поспешно отступил Митишатъев. — Ты же князь. Почему же тогда тебя Левой зовут?

— Господи! — воскликнул Лева. — Да что с тобой? И Лев Толстой был Левой...

— М-да... Толстой... — произнес Митишатъев как бы в явном сомнении. — И друзья у тебя все были евреи.

— Как так все? Кто, например?

— Тот же Тимофеев хотя бы. Или Москвин.

— Да не евреи же они!

— Евреи, — неколебимо сказал Митишатъев.

— Сдурел я, что ли! — вдруг спохватился Лева. — А хоть бы и евреи, мне-то что?!

— Вот видишь... — удовлетворенно сказал Митишатъев.

— Постой, — Леву вдруг осенило. — А ты-то сам? Ты-то, часом, не еврей?

Митишатъев от души расхохотался. Потом как бы покачивал головой и чуть всхлипывал — так уморил его Лева.

— Ну, а как же, — продолжил Лева. — Вот у тебя тоже носик-то подкачал, а?

— Но-сик... — только и смог выговорить Митишатъев, снова задохнувшись смехом. — Чайник...

— И потом, ты же мой друг, — с непонятной радостью и восторгом говорил Лева, — а у меня все до одного, по твоему же признанию, друзья — евреи. И сам я — вроде тоже еврей. Так что и ты тоже. Мы ведь тебя, помнишь, Мякишем звали? Очень тебе подходило, — говорил Лева с приятной, протрезвляющей резкостью, — Мякиш, — тоже что-то еврейское...

— Мякиш, — Митишатъев вроде очнулся и даже обиделся: — Что же тут еврейского, в мякише-то?

— И потом, почему тебя этот вопрос так донимает? Это обычно с теми, у кого у самих рыльце в пушку, бывает. Ну, если и не еврей, то полукровка, к примеру, или кварталон. — Лева вдруг обнаружил, что они просто обменялись с Митишатъевым текстами, настолько похоже у него стало получаться. — Или даже осьмушка — тоже чего-то стоит?

— Ну уж нет, — отрезал Митишатъев.

— Что же ты тогда имеешь против них?

— Евреи портят наших женщин, — твердо сказал Митишатъев.

— Как так?

— А так. Потом, они — бездарны. Это не талантливый народ.

— Ну уж, это ты извини!.. А как же...

— Только не говори мне ничего про скрипочку.

— При чем тут скрипка! — Лева вдруг рассердился и пере-
числил поэтов.

Митишатъев их отверг.

— Ну, а Фет? От Фета-то ты не отречешься?

— Фета оклеветали:

— Ну, а Пушкин? — озарило Леву. — Как — Пушкин?

— При чем тут Пушкин, — пожал плечами Митиша-
тъев. — Он — арап.

— А арап — знаешь что? Э-фи-оп! А эфиопы — семиты.
Пушкин — черный семит!

Довод был силен. Митишатъев мрачно замолк. Лева тор-
жественно, становился снисходителен...

Митишатъев уловил это и воспрял. И, отвернувшись, будто
пряча, будто безразлично сказал:

— А ты, кстати, свою Фаину давно видел?

Это же надо так — в лоб, в пах, в поддых! — Лева
задохнулся.

— Давно вроде... А что?

— Да так... ничего, — сказал Митишатъев, допивая пиво. —
Встретил ее недавно... Ну что, пошли?

А у Левы вдруг так захолонуло, так засвербило воспоми-
нание о том вечере: как стояли они у ее дома, все втроем...
И Лева теперь все собирался и не решался задать мучивший его
вопрос. Митишатъев вышагивал не глядя и молча, собранный...

— Может, еще выпьем? — робко попросил Лева.

— У меня нет денег, — твердо сказал Митишатъев (хотя
и до этого все шло за Левин счет).

У Левы — были.

Лева угощал и, симулируя беспечность — о том, о сем, —
все подбирался к цели. И когда наконец, не узнавая свой голос,
сразу выдав себя с головой (хотя все силы его были направлены,
чтобы вопрос был безразличен и между прочим), все-таки задал
его, то неповторимая улыбочка вдруг подернула губы Митиша-
тъева, хотя он и сказал, что нет, ничего такого не было. Ох, эта
улыбочка... Лева уже готов был снова мчаться к Фаине и обивать
ее пороги. А Митишатъев — в этом было даже какое-то безволие,
погружение в порок — не удержался и добавил, что, если уж
быть до конца честным, каким он и должен быть перед лучшим
другом, чтобы уже — все подчистую и между ними ничего не
оставалось, так он вернулся все-таки тогда, когда Лева поехал
домой, но, опять же, ничего такого не было.

А тут уж и вовсе кто скажет: было или не было? Хотя, с другой стороны, зачем было бы Митишатьеву скрывать, раз он знает, что все у Левы с Фаиной кончено? Хотя, и еще с другой, зачем ему признаваться в том, что он вернулся, и скрывать дальнейшее?.. Короче, Лева снова погрузился по уши в прежнее, будто и годы не проходили один за другим и ни шага не сделал он от все той же печки.. Вскоре он задавал тот же вопрос Фаине...

И она уклонялась, потому что у них слевой был мир — только что после встречи — но тоже, как и Митишатьев, не удержалась и выдала мучительную Левочке улыбочку. А потом, как бы устав от Левиных наседаний и махнув рукой, согласилась с предложенной им же версией, тут же отказалась от нее, сказав, что да, Митишатьев вернулся потом, но она его не пустила, а они просто пошли прогулялись и поговорили, что да, конечно, он приставал к ней, но ничего у него не вышло, да, не вышло, хотя он даже затащил ее в подвал своего дома, где хорошо знал все ходы и выходы, что там было тепло и он там тоже приставал, но, опять же, у него и там ничего не вышло и что — к черту, наконец! лишь бы Лева отстал от нее! — все, все было, только не в подвале, конечно же, а у нее дома, потому что когда Лева уехал, Митишатьев вернулся и провел у нее ночь, и потом тоже, когда она однажды не пустила Леву (помнишь?) — это тоже был Митишатьев, и потом еще несколько раз... Ну, ладно, это она назло говорила, ничего этого не было, ничего-ничего! всегда был только Лева (иди ко мне, милый...). Ну, хорошо, было, тогда, в подвале, было, но только один раз и то — один позор... Да нет же, ничего никогда не было (чтобы я с этим уродом?.. да мне и смотреть-то на него противно!), просто Лева сам напрашивается, что же она может ему еще ответить? ну не надо, милый, я же люблю тебя, ну и убирайся к черту — надоел совсем!..

И такую, все воскрешающую и освежающую, пыточку испытал тогда Лева, так ничего и не узнав! «Да и что мы вообще можем знать о другом?» — мудро думал он, но в этом было даже больше отчаяния — и ничуть не утешало. Он вспоминал своих других женщин — и тогда взлетал, как от зубной боли, и все освещалось ярким белым светом: раз уж у него... то у нее что же?! И изменять-то он не изменял, оказалось — его измены лишь ложились на него же добавочным грузом и тянули вовсе на дно. В каждой своей другой женщине ему чудился, прежде всего, ее другой мужчина, еще Митишатьев. И эта единственная, известная Леве ее измена (замужество в счет как-то не шло)

оказывалась наиболее из всех ему неизвестной. И вскоре Леве должна была прийти поздняя мысль, что он и не любит уже, а лишь мечтает от этой любви избавиться...

И Лева примерял уже картонные латы и выдергивал из ножен некстати деревянный, раскрашенный меч! Но, пытаясь бороться с врагами их же оружием, то есть, в свою очередь, предавая их, так и не удавалось переиграть их, перешеголять в предательстве. Он сам же поскользнулся на слабенькой и тихой своей продаже, отшатнувшись от внезапного, возникающего как бы ниоткуда, невероятного их предательства. Чудище огромное, и головы каждый раз новые отрастают... Надо прятать деревянный меч — весь демонизм Левин вдруг оказывался простительной ребячьей шалостью, им преувеличенной до гиперболических размеров, над ним можно было лишь снисходительно и ласково посмеяться.

И хотя эти двое так и не дали Леве ни разу совершить истинно предательство и перешагнуть их, это, к сожалению, вовсе не означает, что чистая его натура вывозила его и не давала пачкаться — это лишь в сравнении с ними обстояло так. На самом деле, вовлеченный в этот процесс, в этой погоне за растущим, как снежный ком, предательством, он и сам подвигался к краю, только как бы не сам, а с ними, за ними следом. То есть незаметно для самого себя он оказывался по ту сторону и уже потихоньку был способен совершать в отношении других то, от чего страдал сам. И эта возмутительная игра «кто — кого», которую все время подсовывали Леве, пока он верил, что должна быть любовь, а не «кто — кого» (откуда-то льется свет и играет музыка, и они идут и идут, рука об руку, растворяясь и утопая и не наступая друг на друга, и все танцует и кружит в плавном танце, взлетая и разбегаясь, как планеты и миры, расширяясь за все пределы), — эта игра «кто — кого», эта нереальность (Искушение) становилась все более явью для Левы, и он, пусть неумело и не в силах еще сравниться, но уже пробовал шкодливой ручонкой... переносил свой опыт на всех, и ему казалось: все делают — так чем же он хуже всех?.. И так эти двое вдруг стали делиться и помножаться в его глазах, распространяться со скоростью опыта, что мир уже отчетливо начинал делиться на ОН (Лева) и ОНИ (все).

Вот так, подвигаясь по миллиметру, с невыразимыми мучениями и страданиями (что еще никогда ни для кого не было оправданием), все более к краю, должен же был Лева и свалиться, и оказаться в том большом и набитом людском зале (вокзале), где состоялось бы торжественное закрытие души Льва

Одоевцева! И Лева никогда бы уже не знал, какой он на самом деле, — потому что его бы уже не было.

Лева в конце концов просто поздно стало понимать, что не столько митишатъевы его давят, сколько он позволяет им это. И то, можно отдать ему должное, он долго сопротивлялся системе отношений «кто — кого», пока, подвинувшись вслед за своими мучителями к краю, с удивлением не обнаружил, что лишь время разделяет их, и кого-то другого он уже продает и предаёт потихоньку, передает, так сказать, эстафету кому-то, возникающему в недалеком времени, — и не хотел ведь принимать ее, а вот уже и сжимает палочку...

...Но в одном Фаина все-таки помогла Лева — он вышел из-под власти своего друга. После расплавленного свинца Фаины его уже не обжигал соленый кипятик Митишатъева. Время лечит.

Но и в этом он ошибался. Так ему, естественно, должно было казаться, потому что долгое время ему было не до Митишатъева. Но Митишатъев, как известно, терпелив. Он может ждать своего торжества сколь угодно долго. А у Левы лишь засыпала бдительность. И однажды, в наиболее спокойный и полный Левин период, когда Фаина уехала с кем-то чуть ли не на Сахалин, а Лева, наконец как-то стабилизировавшись, поступил в аспирантуру, набрел на очень интересную тему и погрузился в науку, был горд и счастлив от этого, ощущал прилив сил и некий творческий потенциал, выносивший его над однокашниками, коллегами и руководителями, когда он, хоть в своем деле, но почувствовал себя зрячим, когда жизнь наконец начала приносить удовлетворение и он почувствовал, что его не собьешь — Митишатъев объявился из небытия. И Лева повторил ту же ошибку, которую бесконечно повторял еще в школе.

Митишатъев не менял основного своего метода, но менял обличье. Против всех его обличий, казалось, Лева уже выработал противоядие и развенчал их для себя. Но он все-таки ошибся, наивно предполагая увидеть в Митишатъеве одно из прежних обличий и восторжествовать, будучи до зубов вооруженным: Митишатъев же зашел, как всегда, с тыла. В наше время уже очевидно, что Ахилл самый обреченный человек и падает едва ли не первым. Потому что бессмысленно бить по неуязвимым местам, когда есть эта прозрачная пятка... На этот раз Митишатъев обвел Леву вокруг пальца так просто, так примитивно, что потом, отойдя, Лева лишь оставалось развести руками, недоумевая. Это было все равно, что, ожидая быть отравленным ред-

костным азиатским ядом, подсыпанным в столетнее вино, попросту получить в зубы.

Митишатъев позвонил Леве и, опустив всяческие приветствия и рассказы о том, что произошло за все это долгое время их разлуки, сразу, рывком, вырвал у Левы немедленное свидание. Тем особым для такого случая голосом, который Лева прекрасно узнал, Митишатъев сказал, что им обязательно надо встретиться и поговорить, потому что он должен объяснить Леве нечто чрезвычайно для всех важное, до чего додумался только он, Митишатъев. Принципиально новый взгляд на историю... Все было так на него похоже: и многозначительный тон, и намерение поделиться каким-то своим сверхопытом, — что Лева чуть ли не потирал руки от удовольствия, как невластен окажется Митишатъев со своими прежними штучками — против него, Льва Одоевцева, в равновесии и мудрости; Митишатъев со своим невежеством — против научной, совершенной мысли... Вся беда, что Лева слишком вооружался, слишком воображал себе врага — враг же был прост.

Условно (а эту сцену и можно изобразить лишь условно) дело происходит так...

Митишатъев с порога заявил, что он — мессия, что достиг вершины и способен перевернуть мир. Что были до него, пользуясь выражением Горького, Христос — Магомет — Наполеон (он назвал, впрочем, иные имена), — а теперь он, Митишатъев. И потому он, Митишатъев, для начала духовно задавит Леву. «Ну, и как же ты это сделаешь?» — сказал Лева, снисходительно улыбаясь. «Очень просто, — сказал Митишатъев, — я ощущаю в себе силы». — «Силы — для чего?» — «Для того, чтобы перевернуть весь мир, а для начала духовно задавить тебя, потому что ты — мой идейный враг». — «Почему — враг? Мы же еще не...» — «Враг», — твердо сказал Митишатъев. «Хорошо, но как же ты меня задавишь?» — «Очень просто, — уверенно отвечал Митишатъев. — Я ощущаю в себе силы. Были «Христос — Магомет — Наполеон», — а теперь я. Все созрело, и мир созрел, нужен только человек, который ощущает в себе силы — я ощущаю в себе силы». Все, больше Митишатъев ничего не мог сказать. Лева подставлял ему ловкие подножки, развенчивал, глумился — Митишатъев лишь презрительно морщился: ерунда, интеллигентские мелочи, слабость ваша вас же и съест, слабость ваша сильнее вас, с вами и бороться не надо — вы все сделаете своими руками, им уже написана статья «Уверенность в собственном враге», и скоро она появится в «Правде», и тогда все поймут, а Лева — враг, и он, Митишатъев, просто поставил

сегодня маленький эксперимент (небольшая проверка теории на практике) и еще раз убедился, что прав и ощущает в себе силы... «Откуда правота, какие силы? — думал, слабея, Лева. — Просто подонок...» — «А что, — говорил Митишатъев. — Подонок сейчас — человек главный. Все так расслабились, растеклись, что он-то один и может сказать хоть слово отчетливо, хоть матом послать...» И вдруг Лева устал и сник. Он не мог уже ничего противопоставить Митишатъеву, не мог ему возразить, не мог его победить — побеждать было нечего: все то же голое давление, голое пространство, пустыня... «Стыкнемся?...» — Лева обессилел.

«А что, если действительно? — уже почти в бреду, даже отодвигаясь от Митишатъева, подумал Лева. — Он же действительно их в себе ощущает... Я вот знаю, но бессилён доказать ему даже то, что знаю. А я же не ощущаю в себе силы? А Митишатъев ощущает...»

«Ты чувствуешь в себе эту силу?» — грозно, как бы в ответ на Левины мысли, сказал Митишатъев. Лева машинально, прежде чем опомниться, отрицательно и робко дернул головой. «А во мне?» — шагнул он к Лева. Лева чуть ли не сжался, и действительно, какое-то чудо происходило на его глазах с Митишатъевым — тот раздувался, становился громоздок и постепенно заполнял собой комнату, надвигаясь на Леву и жарко дыша. Лева ощутил сильный, настоящий ток, исходивший от Митишатъева. Это было как психическое поле необыкновенной силы, и Лева цепенел и глядел неподвижными глазами — Митишатъев заполнял собой комнату... «Чувствуешь силу? — громко шептал Митишатъев, жар так и полыхал в его словах и дыхании, и Лева все сильнее прижимался к шкафу как к последнему оплоту. — Ну, говори, возражай, что же ты молчишь?! Чувствуешь или нет?!» — «Чувствую...» — беззвучно разлепил губы Лева. «То-то же», — удовлетворенно сказал Митишатъев и вдруг, резко развернувшись, ушел. Лева остался, чувствуя себя совершенно разбитым и больным. Он не мог себе объяснить, что же произошло и не померещилось ли ему все это. Он уснул вскоре тяжелым сном и наутро попросту отогнал от себя все, как мираж и видение.

Но и это прошло. Они столкнулись с Митишатъевым в учреждении, где Лева уже дописывал диссертацию, а Митишатъев только поступал в аспирантуру. Оба теперь производили весьма солидное и заурядное впечатление, обо всем вспоминали как о детстве, и, когда Лева не совсем уверенно намекнул, на тот странный визит, Митишатъев все начисто отверг и посмеялся.

Тут же он очень путано рассказал, как лечился одно время в нервной клинике. «Странных, знаешь ли, людей там повидал... — самодовольно говорил он. — Берет тебя такой за пуговицу среди бела дня и шепчет пронзительно: «Видишь, звездочка? зелененькая, видишь?» Но и эти рассказы несколько напоминали его окопы и тюрьмы. Не мог Лева, столько лет принимавший Митишатъева на свой счет, согласиться с тем, что он просто сумасшедший.

И хотя все проходит и мы, со временем, все-таки выходим из-под вещей и людей, нас тяготивших (точнее, изживаем их в себе), хотя Лева теперь уже уверенно полагал, что Митишатъев попросту незначительный и дрянной человек, — нечто, если и не загадочное теперь, то загадочное по воспоминаниям, нечто, освященное детством, сохранилось в отношении Левы к Митишатъеву до сих пор. «Все мы отчасти Митишатъевы...» — успокоенно говорил себе Лева и уже не обязан был ощущать нечто, непременно значительное в людях, попросту дрянных. «Как и не мы»... — говорил себе Лева словно с грустью, употребляя любимое выражение Митишатъева: «Как и не мы».

Примечательно, что, несмотря на свои необыкновенные для карьеры достоинства и чуть ли не из-за этих своих талантов, Митишатъев, так сказать, еще малого достиг в жизни, даже много меньше Левы. Хотя они и работали в одной области, и тут Митишатъеву следовало, по старой его схеме, ни в коем случае не уступать. Но Митишатъев словно успокоился, а может, и растратился бескорыстно, в огромной степени на Леву, еще в школьных и университетских стенах.

Курил Митишатъев только «Север».

Не совсем такие, но такого рода мысли и воспоминания, с особой четкостью и внезапностью, пронесутся однажды в голове Левы, и повод для этого будет достаточно далекий. Тем более что Митишатъева Лева теперь видел почти каждый день и вовсе не думал о нем.

... Был морозный день, и Лева топтался на углу, под часами, вблизи автобусной остановки, ожидая одну действительно престелную девушку (не Фаину), которой в ту пору так старательно морочил голову, что даже сам заморочился, хотя бы из честности. Он пришел чуть раньше, так получилось, он несколько не нервничал, так как был уверен, что она придет, даже примчится, а потому спокойно поглядывал по сторонам, по возможности развлекаясь зрением улицы.

Тогда-то он и обратил внимание на одного юношу, стоявшего на автобусной остановке, не в очереди, как все, а несколь-

ко поодаль. Юноша этот, несмотря на мороз, был без пальто и без шапки, причем было видно, что так он ходит всю зиму, а не просто выскочил в ближайший магазин за вином. По какому признаку это было очевидно, трудно сказать: то ли не было в нем того возбуждения и нетерпения, которое естественно для раздетых людей на морозе, то ли так спокойно он стоял — не дрог, не переминался, что было понятно, что это для него привычное дело, закалка; то ли еще и одет-то он был бедно под несуществующим пальто — свитер, нечистый и коротковатый, и большие стылые кисти вылезают из рукавов, сколько их ни поддегивай; ну, естественно, брюки мешками на коленях и тоже короткие... Лицо его было сделано крупно и неплохо, довольно мужественное лицо, несколько сероватое, из тех, что даже у чистоплотных людей кажутся немывтыми или слегка порочными; было и еще выражение, не очень броско, но четко расположенное в его лице — его можно было бы назвать выражением самолюбия: некая сумма отблесков вызова, скрытности и недоверия. Так он исподволь поглядывал на прохожих, со скрытой насмешкой, что ли, особенно на девушек — тут скрытая усмешка чуть возрастала и почему-то очень его выдавала не открытостью выражения, а, наоборот, его скрытностью, ощущением невероятного напряжения воли, уходящей на эту скрытость. Такой вот он стоял, вполне нормальный, разве чуть более независимый и отдельный, с книжками в руке (наружу смотрел Писарев золотыми буквами), и Лева вдруг сообразил, что видел подобного юношу не однажды — только внимания не обращал. Давно уже попадался ему на глаза такой молодой человек. Он объявился в их группе на втором курсе. Его закаленность вызывала уважительную усмешку, и прозвали его поэтому и почему-то «циклоп»; девушки все посматривали на него внимательно и заинтересованно, но ни одна бы с ним не подружилась; учился он не слишком ровно, но иногда становился мазохически трудолюбив, поднимая какую-нибудь, ни с того ни с сего, очень узкую и странную область знаний и прочитывая чудовищную по объему литературу; в нем был намек на призвание, но к диплому он уже охладел и надежд не оправдал, что же еще? — подтягивался на перекладине он безусловно рекордное количество раз (в длинных трусах, с некрасиво согнутыми ногами), вызывая удивление без восхищения, но в общем был не слишком ловок, занимаясь наедине подниманием утюгов и стульев... Перед Левой вдруг отчетливо всплыло его тело: с чрезвычайно мощным брюшным прессом и длинными сильными руками, очень бледное... оно

именно всплыло; как тело утопленника, на поверхность его памяти.

Справедливости ради, он вовсе не был похож на Митишатъева, но вспомнил же Лева именно Митишатъева, причем с такой внезапной ясностью и свежестью, которые были уже невозможны благодаря столь долгому, близкому и затертому общению. Особенно тот момент, тогда у шкафа. И еще один, о котором не вспоминал никогда, более того, не понимал никогда и только сейчас вот, глядя на юношу, ощутил и понял...

Митишатъев не умел звонить по телефону-автомату! То есть опустить монету, снять трубку, набрать номер, нажать кнопку... Вся эта последовательность была для него абсолютно неясна. Пожалуй, он научился этому лишь на последнем курсе университета. Да, да, да! Он не знал, как это делается, и спросить ни у кого не мог. И всегда, когда Лева говорил: «Так ты позвони мне», — Митишатъев странно улыбался и никогда не звонил. И даже за каким-либо пустяком пер через весь город, совершенно без всякой гарантии застать, а позвонить не мог. Зато никто не знал этой его маленькой слабости... Тут Лева так пронзительно ощутил человека этого изнутри, что у него даже слезы навернулись. И эта странная, непонятно откуда пришедшая убежденность, что этот-то момент больше всех прочих раскрывает душу Митишатъева, тоже была ни на что не похожа, и объяснить ее себе Лева бы не мог.

(...Лева стоял и смотрел на поверженного своего врага и ощущал некую пустоту, не то печальную, не то сладкую, и враг его уезжал от него, ловко повиснув последним, и сам он был уже в автобусе, а рука с Писаревым еще плыла по улице.)

ВЕРСИЯ И ВАРИАНТ

«АБ, АБ, АБ...» — думал как-то Лева и, опустив лишь первое А, получал: — «БА, БА, БА...»

Б, Б, Б, Б! — вот ряд. Это все равно как сказать: Лев Одоевцев! Как же, знаем-с, читали... Или — Одоевцев Лев! — «Здесь!» — и руки по швам. Разница все-таки есть.

Ведь есть же действительность! Есть, — можем или не можем мы ее постичь, описать, истолковать или изменить, — она есть. И ее тут же нет, как только мы попытаемся взглянуть чужими глазами... Тут-то и возникает марево и дрожь, действительность ползет, как гнилая ткань, лишь — версия и вариант, версия и вариант. Не разнуданная, как воля автора, не как литературно-формалистический прием и даже не только как краска зыбкой реальности, — но как чистый механизм так называемых «отношений», в который следовало бы никогда, ни при каких обстоятельствах, больше не вступать. Но и оглянуться не успеешь — как снова барахтаешься в этой паутине.

И тут уже начинают мерещиться, двоиться, множиться и исчезать — и Фаина, и Альбина, и Митишасьев... Может, Фаина — уже другая Фаина, не в том смысле, что изменилась (на это мы не уповаем), а просто другая — вторая, третья... И Митишасьев — наверняка ведь не один, с десяток митишасьевых пройдет через Левину жизнь, прежде, чем он постигнет первого. Любаш же — можно и со счету сбиться. Разве что Альбина — его первая вторая женщина — так и останется неповторенной... Может, их с самого начала было сто, а я как автор слил их одну Фаину, одного Митишасьева, одного... чтобы хоть как-то сфокусировать расплывчатую Левину жизнь?... Потому что люди, действующие на нас, — это одно, а их действие на нас — нечто совершенно другое, сплошь и рядом одно к одному и никакого отношения не имеет, потому что действие их на нас — это уже мы сами. И поскольку нас занимал именно Лева и действие людей на него, то и наши Фаина и Митишасьев — тот же Лева: то ли они слагают Левину душу, то ли его душа — раздваивается и растранивается, расщепляется на них. Мы воспользовались правилами параллелограмма сил, заменив множество сил, действовавших на

Леву, двумя-тремя равнодействующими, толстыми и жирными стрелками-векторами, пролегающими через аморфную душу Левы Одоевцева и кристаллизующими ее под давлением. Так что некоторая нереальность, условность и обобщенность этих людей-сил, людей-векторов не означает, что они именно такие, — это мы их видим такими через полупрозрачного нашего героя. И раз все они прочерчены через его душу, то они не могут не встретиться хоть однажды все вместе, стоит только Леве замереть и остановиться.

Все остыло в прошлом, и легко доступное будущее крошится под его резцом. Раскаленная стружечка настоящего обжигает бумагу. Мы — не знаем. Только версия и вариант, версия и вариант тасуются перед взором автора при приближении к настоящему времени его героя.

Что же думает сам Лева, поражаясь тому, как его жизнь день за днем отъезжает в прошлое, нигде не останавливаясь, все время проскакивая полустанки настоящего по дороге из будущего — в отсутствие его?

Думая о неверном ходе своей истории, Лева начинает в последнее время все большее значение придавать двум, непонятно откуда подхваченным им понятиям — «жизненности» и «нежизненности». Ему кажется, что они что-то значат и объясняют его собственный сюжет и близкие ему судьбы. Подавленный своим опытом, он полагает, что жизненность и нежизненность — есть некая врожденная данность. Ему кажется в последнее время, что он — нежизнен или маложизнен. Он удручен этим заключением.

Никак ему не достичь, как бы ни хотел он сохранить свою жизнь, вернее, существование, — той жизненности, которая притягивала его в других: в Митишатъеве или Фаине, не говоря о деде или Диккенсе, где все иначе измерено. Ему бы уже хотелось так же убежать, увилить, ускальзывать из рук, оставаясь победителем.

Потому что, что такое победитель, думает Лева, как не человек, убегающий от поражений, в последний момент прыгающий с подножки идущего под откос поезда, успевающий выпрыгнуть на ходу из машины, летящей с моста в воду, — как не крыса, бегущая с корабля. А в наших условиях, скорее всего, — крыса. Никто не виноват, что жизненность воплощается в наше время в самых отвратительных и, прежде всего, подлых формах. Никто не виноват, потому что все виноваты, а когда виноваты все, прежде всего виноват ты сам. Но жизнь уже строится по такому костяку, чтобы люди никогда не сознавали

своей вины, этим способом и будет воплощен рай на земле, самое счастливое общество. Убегание, измена, предательство — три последовательных ступени, три формы (нельзя сказать, жизни, но сохранения ее), три способа высидеть на коне, выиграть, остаться победителем. Такой ход приняло жизнеизъявление. Ну, а нежизненные — должны вымирать. Их усилия дуть в ту же дуду необоснованны и жалки и не приводят к успеху, а лишь к поражению. Они если и спрыгивают с машины, то, во всяком случае, несколько позже, с той разницей от неспрыгнувших, что летят в ту же пропасть отдельно от машины, параллельно ей. И жизнь теперь — затянутое совокупление с жизнью, отодвигаемый оргазм.

Лева думает, что деться ему теперь уже некуда, что он тут, навсегда тут, голубчик.

Ему так вдруг показалось, но мы не уверены...

Они не могли не встретиться.

Наиболее простое и естественное общее место для такой встречи — у Любаши.

— Пришел-таки! — восклицал Митишатъев. — А мы тебя поджидаем... — И действительно, не только Любаша на этот раз была не одна в своей светелке — не один был и Митишатъев.

И Лева, глядя сквозь объятия (Митишатъеву через пле-о-чо...), с внезапной прозорливостью признавал в третьем, по виденной им когда-то мельком и вскользь и, казалось, тут же забытой фотографии, — мужа Альбины.

Они подавали руки и называли себя по именам, до отворачивания друг другу знакомым. Их было трое, и они «скинулись». Жребий бежать за водкой выиграл, как приз, Лева.

Выскочив на улицу, он некоторое время очумело озирался и подчеркнуто вдыхал всею грудью воздух. «Бред, бред, бред! — повторял он. — Все, что было, оказалось — всего-то... Господи! есть же реальность... Вот она! — и Лева обводил благодарным, исполненным спасения взором деревья в соседнем скверике, мокрый асфальт после только что проехавшей поливалки, воробьев, развозившихся на крыше сарая, баню напротив и распаренную бабу, направляющуюся от бани, казалось, прямо к Лева... Глаза его увлажнились. — Неужели спасся? Не было этого ничего! Бежать, скорей бежать...»

И Лева выбегает из этой версии, из этого варианта.

«Что ж, и такое бывает...» — думает он с удивлением. Да, в жизни такие варианты встречаются сплошь и рядом — они скомпрометированы лишь на сцене...

Лева выбегает — и вбегает в другой вариант...

Этот вариант — не в общем, а в общественном месте. Речь пойдет о кафе «Молекула», самодеятельном молодежном кафе при крупнейшем и очень секретном научно-исследовательском институте. Это место также принадлежит к разряду тех мест, где подобные встречи не могут не происходить.

Кафе отмечало свой пятилетний юбилей. Готовился роскошный вечер. На него были приглашены в качестве гостей самые знаменитые люди: поэты, артисты, космонавты.

Кафе было построено самими сотрудниками института — молодыми учеными — по проектам самодеятельных архитекторов и расписано собственными абстракционистами. Мебель была изготовлена по собственным чертежам в собственных мастерских. Все это — не без трудностей, не без сопротивления отдела кадров, на одном энтузиазме и не без борьбы. Но — все было преодолено: роспись оказалась несколько дилетантской, но вполне милой, мебель — несколько неудобной, но оригинальной, помещение, полуподвальное, — несколько сыроватым, но уютным. Встречи в кафе всегда были с необыкновенно интересными людьми — всем было лестно выступить в столь знаменитых и секретных стенах — и проходили в живой, непринужденной обстановке. Отчеты об этих вечерах, тоже живые и непринужденные, помещались в городской молодежной газете.

Юбилейный вечер должен был превзойти все предыдущие. В гости были приглашены такие люди, как Евтушенко, Смоктуновский, Гагарин и т. д., — люди интересные, как дельфины. Впуск будет производиться строго по пригласительным билетам и по списку — избранная публика. Кроме выступлений приглашенных и лестного соседства с ними за столиками, предполагался также показ редкостного фильма не то Хичкока, не то Феллини. Прислуживать за кофейной машиной должен был лауреат Нобелевской премии, директор этого института, а подавать — доктор наук, не меньше.

И действительно, контроль пускал строго по пригласительным и по списку. Патруль теснил толпу прекрасно одетых интеллигентных молодых людей, рвавшихся, но не имевших билета. Но в последний момент оказалось, что Евтушенко быть

не может, вместо него — пустили поэта Х., и Смоктуновский — не может, а вместо него — У., и Гагарин — Z. Наблюдался даже такой парадокс: Х., У. и Z. — тоже были в списке, но только где-то ближе к концу, так что вместо них было впушено еще трое. Строго пятьдесят человек было впушено по списку, ставились галочки, зачеркивались и надписывались фамилии: каждый — вместо кого-то. И за кофейной машиной стоял не Нобелевский лауреат, а кандидат наук, подавали — лаборантки. Вместо икры была семга, а вместо семги — шпроты. Не говоря уже о фильме.

Любопытно отметить, что, по некоей случайности, вместо Х., на вечер попал один меньше, чем Х., известный, но зато — поэт. Среди прочих он прочитал такой милый стишок:

То ножик — в виде башмачка,
То брошка — в виде паучка,
То в виде птички — ночничок,
То в виде бочки — башмачок.

Все вверх тормашками, вверх дном!
Какой-то сумасшедший дом!

.....

Предмет кивает на предмет:
Вот столик — он же табурет,
Вот слоник — он же носорог...
Назад! на воздух! за порог!

Не жизнь — чудовищный вертеп,
Подмен неслыханный притон!
Творец метафор, ширпотреб,
Как мыслит образами он!

Так вот откуда этот вкус
К сопоставленью слез и бус
И страсть к стихам у продавцов...
Домой! от чтений и стихов!¹

.....

И дальше — тоже славно. Этому стихотворению все аплодировали особенно бурно.

¹ Использовано стихотворение А. Кушнера.

«Странно, — думал по этому поводу Лева, потому что он тоже оказался на вечере, — вот они аплодируют... У всех довольные и веселые, даже подмигивающие лица. Им по-настоящему понравилось. Им лестно быть причастными. Но ведь понравилось-то потому, что этот стишок — именно о них, о их призрачности за этим отсутствием столиков... Понравилось именно прямым отношением к ним — и, в ту же секунду, таким таинственным, не ранящим душу способом, впечатление их стало абстрактным, и они оценили лишь уровень поэзии, отнюдь не проникаясь безнадежностью собственного существования. Они довольны стихом, поэтом, этот стих написавшим, собою, этот стих выслушивавшими, тонкостью своего восприятия — довольны намеком на что-то внешнее и над всеми довлеющее, который они в стихе сообщая, перемигиваясь, обнаружили — довольны... и никакого самоощущения! Как это он сказал: «Вот что-то — он же пистолет...» — никто не стреляется!..»

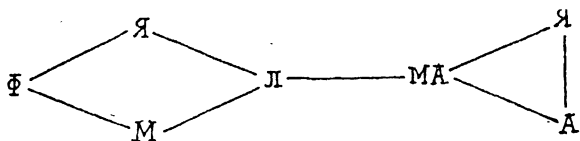
Эти суровые обобщения имеют под собою еще более почвы, если сообщить, что он оказался за одним столиком с Митишатьевым и мужем Альбины. Это немудрено: Лева там оказался, кажется, вместо Шкловского, Митишатьев — вместо Z., и лишь муж Альбины был как бы при деле, потому что сотрудничал в институте и был одним из главных устроителей вечера. Сейчас он, не выговаривая всех букв и брызгая Леве в ухо, рассказывал о трудностях, с которыми пришлось ему столкнуться, приглашая на вечер такого-то, ведь вы знаете, что он подписал одно письмо... но он не уступил и настоял, дошел до директора — и вот, видите, он сидит, слева от нас... Муж Альбины смотрел в Леву собачьими глазами, и Лева очень хорошо понимал сейчас Альбину...

Они сидели за одним столиком, все вместо кого-то, но все они были самими собой, и все разыгралось почти в той же последовательности, что и в первом варианте. И они играли в ту же игру; все много знали друг о друге — но, в то же время, только познакомились; будто ни разу до этого ничего друг о друге не слышали — и не должны были выдать, где они друг о друге слышали. И пока методика поведения каждого не была определена, естественно, самым выигрышным было поведение н и к а к о е — это было, впрочем, и наиболее привычное поведение для каждого. Игра, так сказать, носила позиционный характер.

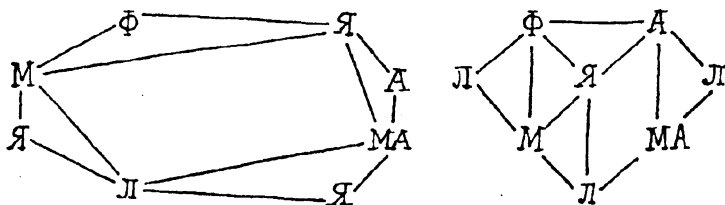
«Господи! — думал Лева, вспоминая, что, кажется, видел, и мельком, мужа Альбины — у Любаши... — Какое все ненастоящее!..» Тут же выпил, налив себе больше других, и резко захмелел.

...Ему вдруг очень явственно показалось, что все они — детали некой конструкции, не вполне до этого сознававшие свое назначение, а теперь внезапно слившиеся воедино так прочно, так плотно, что уже никогда им не разъединиться. Что, если у него, Левы, в одном боку был штырь, а в другом — отверстие, — то сейчас все обрело свое место, потому что там, где у него был штырь, у мужа Альбины было рассчитанное под этот штырь отверстие, и они совпали сразу же... и, соответственно, у Мишишатева — и все это совпало, упрочилось, конструкция обрела устойчивость. И теперь, скрепленные, все они уже не могли стронуться с места. Формулы из школьного учебника химии вдруг вспомнились ему. «Да, да, именно! — почти радостно кивал он самому себе. — Органическая химия. Цепи. Циклы. Каждый элемент связан с другим одной или двумя связями, и все вместе — связаны...»

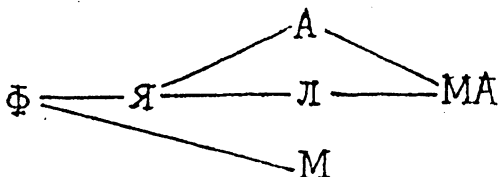
С пьяным вдохновением он стал чертить что-то на салфетке, чувствуя себя немножко Менделеевым. Выглядело это сначала так:



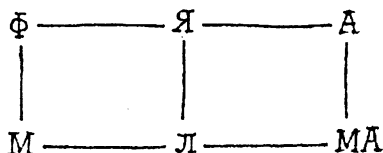
потом так:



Не получалось...
Так?..



Наконец все выглядело более обобщенно и просто, как все гениальное:

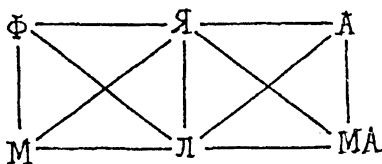


ГДЕ:

Ф — Фаина, А — Альбина, Л — Любаша, М — Митишатъев, МА — муж Альбины. Я — сам Лева.

«Молекула... — повторял себе Лева. — Настоящая молекула! Ни один из нас не представляет собой химически самостоятельной единицы. Мы — единое целое. Где у меня дырка — там у него штырь, и где у меня штырь — там у него дырка. И где у меня выпуклость, у него — впуклость. И мы притерты и собраны тщательно. Часики, колесики. А Любаша нам как СН или ОН, всех нас соединяет. Колесики, часики... детский конструктор... Как ни крути, либо тележка, либо подъемный кран...»

Он разделил два получившихся квадрата диагоналями — и у него зарябил от множества треугольников: кажется, по числу участников, у них использованы все варианты соединений в треугольник.



«Я — Фаина — Любаша, Я — Фаина — Митишатъев, Любаша — Митишатъев — Фаина, Я — Альбина — Фаина, Я — Альбина — муж Альбины, Любаша — муж Альбины — Альбина...» Молекула, настоящая молекула... не хватает, чтобы Фаина сошлась с мужем Альбины, а Альбина — с Митишатъевым, ну, да все впереди! ФАЛ, ЛФМ, — бессмысленно думал Лева. — ЯФМ и ЯЛМ...»

Тут можно сказать, что распахнулась дверь и вошла — Фаина... Такое — тоже вполне реально и допустимо. Она могла бы прийти на свидание с Митишатъевым, или разыскивать Леву, или просто так. Это вполне реально и допустимо... «Но — невыносимо», — сказал Лева.

(Заканчивая отчет об этой встрече, мы должны сознаться, что несколько увлеклись, несколько чересчур прямо поняли задачу и легко клюнули на жирную наживку. Все это водевиль, и не стоит того... Теперь уже поздно: мы вытоптали это пространство прозы, — на нем уже не растет трава. Зря погорячились...

Перед глазами почему-то маячит такая картинка-загадка, картинка-ребус из журнальчика нашего детства: какие-то деревья, сугробы, — бурелом из тонких и лишних линий. Найдите на этой загадочной картинке медведя, ворону, зайчика... Куда спрятался мальчик? Чем-то нас это до сих пор задевает: где мальчик...

Смысла не больше и в нашем ребусе:

КТО — ЛЕВА?
КТО — ФАИНА?
КТО — МИТИШАТЬЕВ?

Мы, водевильно же, представляем себе затруднения Господа на Страшном Суде... Он вертит нашу картинку и так, и так... пожимает плечами. Где они?

Бросает в папку:

«НЕОПОЗНАНЫ НА СТРАШНОМ СУДЕ».)

(КУРСИВ МОЙ. — А. Б.)

...Пока я вот так расставляю и расставляю фигуры, и все затягивается необыкновенно, и мне никак не начать партию, то есть никак не подойти к тому развороту, который я знаю и лелею с самого начала, ради которого все и затеял, в надежде расставить фигуры в течение каких-нибудь двух-трех первых страниц... а вдруг появляется дед, Фаина, многие... Вдруг, пешкой, выскакивает муж Альбины, даже не пешкой, а минус-пешкой — то и начинает понемногу мерещиться, что так я никогда и не дойду до самой партии, она отомрет и отпадет, и то ли в ней не окажется уже необходимости или просто, от слишком долгого ожидания, не захочется уже играть.

То есть я наконец, расположив их всех в надлежащем порядке и связи по отношению друг к другу, так и оставляю партию в боевой позиции: все фигуры в ней будут выражать готовность ринуться в бой и не смогут стронуться с места, схваченные слишком

жесткой и безысходной конструкцией — «так и есть», — и я не смогу взорвать эту конструкцию...! Ибо для чего и вся возня, для чего все отодвигающийся сюжет, если не для того, чтобы взорвать все это накопленное изнутри, и тем хотя бы пролить на все яркий, пусть мигом исчезающий свет: свет взрыва! Я все больше чувствую по своему герою, который все больше превращается в коллективного героя, что даже, если и удастся написать самый сюжет, то будет это мнимым взрывом. То есть, может, и потрясающим, — но все останется на месте, лишь утихнет его гул и распространятся, затухая, волны... Но и тогда у меня еще останется надежда на свет: если взрыв даст трещину хотя бы в одном из героев, снова, как при рождении, отмежевав хотя бы одного и тем расколов неприятную их слитность. Они же, как ком, у меня — авторская кома... едины в своих лицах. Так что уже и не они, и тем более ни один из них, не становятся героями повествования (если только не отнестись к делу формально, приняв за главного того, о ком больше всего говорится, допустим, Леву).

Так вот, так все развилось, как я и не ожидал, что ни один из них не герой и даже все они вместе — тоже не герои этого повествования, а героем становится и не человек даже, а некое явление, и не явление — абстрактная категория (она же явление), такая категория... которая, как по цепной реакции, начавшись с кого-то, и, может, давно, за пределами рассказа, пронизывает всех героев, их между собой перепутывает и убивает по одиночке, передаваясь чуть ли не в момент смерти одного в суть и — плоть другого; потому что именно у этой категории, внутри моего сбивчивого романа, есть сюжет, а у героев, которые все больше становятся, от протекания через них одного лишь физического (не говоря об историческом) времени, «персонажами» — этого сюжета все более не оказывается; они и сами перестают знать о себе, кто они на самом деле, да и автор не различает их, чем дальше, тем больше, а видит их уже как некие сгустки, различной концентрации и стадии, все той же категории, которая и есть герой... Но — что же это за категория?!

И только тогда автор сможет как-то вздохнуть и испытать маломальское удовлетворение, если кто-нибудь из этих сгустков, из этих персонажей, вдруг все-таки сможет обрести сюжет и хоть разорвать, хоть вкрапленным войти в сюжет категории, который уже томит своей однообразностью, своей примитивной передачей, своей неизбывностью и нарушением всех энергетических законов, не только не теряя в силе, но словно «с ничего» возрастая, от самого себя... И вот, если кто-нибудь обретет этот сюжет, скорее всего погибая, и все окрасится

трагедией: человек обретает сюжет, сюжет обретает человека... — хоть одна цепь окажется законченной, и в конце ее покажется светящаяся точка, как выход из лабиринта в божий мир, точка света, которая, может, и не осветит, но хоть силы какие придаст хотя бы и автору: добраться до конца, — хоть что-то задрожит, как далекая звездочка, пусть недосыгаемая, — хотя бы видимая невооруженным глазом. И если так, дай Бог, случится с повествованием, чего искренне жажду, на что уповаю, и начнется сюжет не категории, а хотя бы одного сгустка, хотя бы Левы, я с радостной жестокостью дам ему даже погибнуть во имя его сюжета, лишь бы не вернуться к сюжету проклятой «категории». (Как мне недавно рассказал один образованный человек, в древние времена, при приготовлении целебного бальзама, в варево из меда, трав и прочего бросали живого раба, непременно живого, чтобы он, погибая, в мгновение перехода отдал составу свою жизненную силу, растворившись в нем...) Ну, а как он не погибнет, не ползет в мой чан — и мне не удастся разрушить этой цепочки, этого ручейка предательств — и все замкнется в кольцо? — то повествование покончит с собой, как скорпион, ибо и скорпион образует кольцо в этот свой последний момент... не дай Бог автору задохнуться в собственном воротничке! Одеядло, видите ли, его душит...

Третья часть, третья часть!.. Господи, дай силы завершить содеянное...

Г-ЖА БОНАСЬЕ (Дежурный)

(Главы, в которой первая и вторая части сливаются и образуют исток третьей)

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами?

Сейчас нам придется забежать вперед и изложить эпизод, по последовательности принадлежащий лишь будущей, третьей части романа; этот эпизод, однако, очень нам нужен именно здесь...

На праздники Леву оставили дежурным по институту. Было у них такое заведение.

Лева спал на директорском диване и видел сон. Разбудил его звонок Митишатьева. Митишатьев собирался его навесить. Очень важное дело...

Опять та же таинственность... Лева добродушно усмехнулся этому постоянству. Лева прекрасно знал, что это за «важное дело», — Митишатьев хлопотал по поводу юбилея их школьного выпуска, организовывал встречу. «Уже четырнадцать лет!» — растрогался Лева.

И проснулся. Он был рад, что проснулся другим человеком. Вчерашнее намерение утром поработать, несмотря ни на что: ни на злополучный разговор с Фаиной, ни на все эти праздничные неудачи, — пометавшись секунду, легко исчезло... и остался всего лишь Лева, радующийся подвернувшемуся случаю быть не одному, а на людях, без необходимости вести тяжкий диалог с самим собой; Лева, отпустивший вечного своего партнера (двойника); Лева, вскакивающий с дивана, потягивающийся неловкими членами, криво улыбающийся,

протирающий глаза, собирающий у конторского зеркала свое разбежавшееся лицо в некое частное целое; Лева, вдруг направляющийся к окну и выглядывающий в него...

Это было неожиданное и неоправданное движение, проделанное уже другим Левою, внезапно вернувшимся. Как уж там замкнулось в его мозгу, таким легким мостом соединив две точки, столь удаленные, трудно объяснить, как и во всем последующем сейчас куске трудно установить последовательность, что после чего и что в результате чего, и трудно не перепутать причину со следствием, чем дальше, тем больше являющихся полным равенством в отношении моего героя, — но он подбежал к окну с той внутренней легкостью и невесомостью ребенка, которая не имела никакого уже внешнего выражения: он протопал поспешно к окну, что-то подтолкнуло его поскорее выглянуть в него. И пока он подбегал к окну и выглядывал в него, небольшая мысленная картинка вставала перед ним, будто объясняя его внезапную детскую легкость. Картинка была из «Трех мушкетеров», в том виде и ощущении, какое было вот тогда, давно-давно, лет так двадцать назад, когда он, вернувшись из школы, в пустой квартире сидел с ногами в мягком кресле, напялив отцовскую ермолку и прихлебывая чересчур сладкий чай из стакана в фамильном подстаканнике (вензель с подстаканника стоял внизу картинки, как подпись художника). На картинке г-жа Бонасье в монашенском одеянии, такая прелестная, подбегала к узкому монастырскому окну и застывала в той неостановившейся позе: как бы еще бежала туда, за окно, и дальше, ступая легкими ногами уже по воздуху; замерев, выглядывала она в окно, а там скакал спасительный и надежный д'Артаньян, и плащ его развевался с крестом мушкетерским; но было уже поздно: она могла подбежать к окну, могла выглянуть, — но простоять в этой своей стремительной позе не могла дольше, чем д'Артаньян, стуча запыленными каблуками, вбежал бы по монастырской лестнице, оттолкнув шпионку-настоятельницу... А там госпожа все падала и падала, сладко охнув, так медленно, что д'Артаньян успевал пробежать всю залу и подхватить ее, падающую, и лишь тогда она испускала дух на возлюбленных руках, и этот вздох был последним поцелуем, таким сладким, что, что же делать, как не умереть! — продолжения уже быть не могло... Фаина, о Боже, Фаина! Она падала у высокого стрельчатого окна, и успеть можно было лишь подхватить ее, но уже мертвую, обрекающую ее д'Артаньяна лишь скакать и скакать до самой смерти, чтобы плащ его развевался...

Лева подбежал к высокому окну бывшего особняка, а ныне учреждения, заточившего его в свои стены на время всенародного праздника и гулянья, и выглянул в окно с защемленным сердцем.

Набережная, как всегда пустынная, имела все же некий отплеск гула проходившего рядом потока демонстрантов; черный копер, ныне столь безжизненный, плавал, приткнувшись к недобитой свае; булыжная мостовая кончалась, не достигая реки, оставив земляную полосу, огражденную от воды частоколом шпунтовых досок, и по этому тротуару, по этой тропе шла Фаина с неизвестным доселе Леве спутником... Был он как-то высок, кудряв, неожидан для Левы по внешности, почему-то в ватнике — не пижон. Как раз они огибали лужу, лужа в этот момент раздвинула и разъединила их, дотоле шедших рядом, руки их натянулись над лужей, посреди лужи оборвались и упали со смехом. Были они одни на набережной, отдельно и странно, точно актеры, точно сзади медленно полз открытый ЗИС и велась за ними съемка, а Лева, где-то сверху, следил за разыгрываемой сценой — режиссер и бог.

То ли погода была. Ветер высоко в небе. Раздутые струйки облак. Прозрачность. Странная погода, что в голову приходило, что действительно накануне демонстрации разгоняют непогоду самолетами, чтобы сама природа праздновала вместе с людьми, как в отчетах. Вчера — непогода и слякоть, завтра — та же непогода, даже еще большая, озверевшая от людского вмешательства, сбитая с толку, запутавшаяся в собственной злобе... А сегодня — ясность, промытость, синь разорванного пополам пространства, разорванного таинственными и мощными боевыми машинами, которые сегодня полетают еще на парадах в расчищенном для себя небе, хорошо видимые народу.

Лева замер в окне, распахнув его одним ловким движением, только что не вываливаясь из него на улицу. В Леву дуло пронзительным, с иголочками, ветром, словно бы получившимся в результате этих неправдоподобных самолетов. Дуло словно в люк, и, действительно, все это синее, прозрачное и пустое пространство было вполне дырой, стремившейся сомкнуться и исчезнуть, прорубью, которую тянет затянуться льдом, и ветер был вполне понятен.

Лева стоял в этом окне никогда не спавшим человеком, имея в душе непонятное сходство с этой рваной, истерзанной, проясненной погодой.

Видел он и Фаину, еще вчера такую мучительную, и ее нового спутника, именно того, неведомого и недосягаемого, который стоял за всеми конкретными ее спутниками, который удалял Фаину, осязаемую и близкую, в далекую даль — туда убегала Фаина с опрокинутым и уносящимся лицом, исполненным некой отчаянной и рискованной надежды, похожей все на ту же сегодняшнюю погоду.

И спутника ее, такого кудрявого... Что-то кудрявые и не встречаются нынче?... Лева вдруг одобрил ее вкус. Красивым тот, конечно, не был. Но было в нем нечто, избранное Фаиной, открытое ею. То, что Лева никогда бы не увидел в нем, не будь Фаины рядом. Лева ощутил нечто вроде того удивленного почтения, которое мы испытываем, увидев некрасивого партнера с красивой женщиной или, наоборот, видного мужчину — с некрасивой, когда красивые кажутся нам обладателями некоего знания или истины, позволяющей им быть вместе с любимыми, независимо от общественного мнения, и владеющими потому тайной счастья. Он вспомнил свое тихое недоумение над иностранными журналами с фотографиями кинозвезд и их супругов.

Спутник шел, исполненный силой, которую придала ему Фаина, и это не убивало Леву, как обычно, навывлет, хотя Лева и видел все, как всегда видел, но — не так видел. Тут был и неважен факт, который так терзал обычно Леву в отношении его любимой: было или не было? С этим или с другим?.. Что за глупость! Это ли может кого бы то ни было интересовать? Это ведь даже не факт... Факт — это сама Фаина. Перед Левой вдруг впервые за много лет возник сам предмет, реальный предмет, реальная Фаина, идущая вот сейчас мимо его окон, по набережной, с незнакомым Лева спутником. Лева впервые за много лет увидел Фаину...

Была она совсем не так хороша, как казалась его растроженному воображению. Была она устала и невесела, хотя и было в ней что-то, не позволявшее подумать, что она несчастна сейчас, — тишина, что ли, и покой. И значительность ей, пожалуй, мог придать лишь ее спутник, как и она ему. Нет, он не смотрел на нее ни восторженно, ни восхищенно, ни умиленно — просто во взгляде его не было и тени сомнения, что Фаина — единственная на земле женщина, и о достоинствах и недостатках ее говорить не приходится, потому что сравнения нет и быть не может. Так выглядят, наверно, счастливые люди, неотъемлемыми друг от друга...

У Левы все замерло от любви к ней, именно к ней, ни к кому больше — и себя в этом не было. Впервые, быть может, за все время его чувство и можно было назвать любовью, разве что еще какой-нибудь один далекий момент, самый первый, уже забытый им.

То ли резкая такая была сегодня атмосфера, что хоть через улицу и сверху, Лева видел все как в бинокль: морщину на шее и слабеющую уже кожу щек, шляпа какая-то дурацкая, пуговица болталась на ниточке, истерзанный один каблук (в эскалаторе, наверно, побывал) и подламывающаяся ее походка... Резкость изображения вдруг начинала исчезать — слезы Левины.

И то, что всегда представлялось ему броней, силой, направленной против него: наряды, марафеты, повадки, — вдруг показалось Леве трогательной беззащитностью, неуверенностью, слабостью — нежный хлыстик против навалившейся жизни — все это не имело знака ни плюс, ни минус, не имело вектора, не было направлено, чтобы пронзить его... И недавний, последний их разговор: Лева все нападал в отчаянии и не добивался ничего, бился об нее, а она — как стена, — и словно бы кровь течет по его лицу, терновый венец... Что она сказала ему? Молчала и молчала, непроницаемая, и вдруг: «Ну что я тебе сделала? Что я с тобой такого сделала? Ну, ответь? Ответь!» И вдруг Леве нечем ответить ей, ведь действительно: что она ему сделала?.. Лева опешил, и все его многочисленные, разветвленные доводы испарились, и просто — не было ничего. Действительно, что она сделала? Лева остался в немом удивлении, и она ушла.

Счеты?.. Какие же у них могли быть счета!..

Вот и лужу они обошли. И руки их снова нашлись. И лица повернулись к Леве в профиль и исчезать начали... Затылок у него смешной... Смех, ее извечный смех, вдруг рассыпался по мостовой, по отдельным булыжникам запрыгал, отскакивая, страшный ее смех, Леву пугавший всю жизнь... Жалкий ее смех, слабый и к Леве не относящийся... «Вот она, — вдруг осенило в озарении Леву, — любовь моя! она — жена моя!..»

Ему вдруг захотелось высунуться по пояс из окна, закричать, замахать руками. Радостный такой и возбужденный, Лева машет ей руками и кричит: «Фаина! Эй, Фаина!» Она оборачивается, удивленная, и улыбается, узнавая. «Заходите ко мне! Заходите оба!» — «И я?» — молча спрашивает ее спутник, указывая себе на грудь, и улыбается обаятель-

но. «Конечно, конечно! Вместе!» — кричит Лева и машет руками.

Лева стоял, задохнувшийся, в окне и смотрел им в нелепые их спины. Как вдруг Фаина узнала что-то (Ну да, ведь она приходила к нему сюда, и не раз! — вспомнил Лева) — и обернулась. Взгляд ее заскользил по зданию, узнавая. И бровь приподнялась. И спутник приостановился и отраженным от ее изменившегося лица взглядом скользнул по окнам.

Лева отпрянул от окна и чуть не заплакал от некоего страшного чувства, что ему нельзя, чтобы она вдруг увидела его, потому что он не может никогда ей объяснить, почему и как он на нее сейчас смотрел, потому что эту возможность он потерял навсегда, и этого права посмотреть на нее у него нет, и гнев ее справедлив будет... Лишь — подглядеть.

Лева стоял, отпрянув, прижавшись спиной к стене, будто возможно было его увидеть, испуганный тем, что его увидят, представил себе вдруг, как она, взяв спутника за руку, повлекла его: «Пойдем, пойдем отсюда быстрее!» — «Что с тобой?» — сказал, допустим, спутник. «Ничего, так», — сказала она.

«Неужели она... от меня?.. — с ужасом подумал Лева. — Боже, как страшно. Когда?..» Он закрыл лицо — ему не хотелось видеть. Дни его побежали перед ним в темноте ладоней. Так хотелось найти простую, маленькую ошибку, объясняющую все. Но дни его были продолжением один другого, и не было, все не было спасительной этой точки, с которой-то все и началось. Он не мог найти обрыва в своей нити и нащупать узелок. «Не надо было брать тогда кольца...» — без всякой уверенности сказал себе Лева.

«Вот что! Просто я не позволял ей любить себя... Не позволял», — с облегчением подумал он и отнял руки.

Со странным спокойствием выглянул он снова в окно. Две маленькие фигурки вдали, и уже не определить, спешат ли... Может, бегут даже.

— Я люблю ее, просто люблю — и все. При чем тут я? — сказал Лева. — И она — жена моя. Так.

Он вспомнил лицо ее спутника. «Ей это приснилось однажды, она рассказывала... Нагретое поле, полынный запах. Вот в чем дело. Просто поле. И запах. Что-нибудь невнятное на горизонте, как забытое. И что кто-то идет за ней сзади, не спеша нагнать».

— Холодно, — поежился Лева и закрыл окно.

(Он смотрел сквозь почти прозрачное стекло, и мысль, так давно уже казавшаяся ему окончательной в его опыте, мысль о том, что ничто как предательство приковывало его к этой любви столь долго, — показалась ему вдруг самой предательской и пошлой. То есть сама мысль о предательстве показалась ему предательской. Вот что.)

Конец второй части

ПРИЛОЖЕНИЕ
ко второй части

ПРОФЕССИЯ ГЕРОЯ

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Мы собирались улучшить момент... Нам кажется, что он не только поспел, но и опять упущен в угоду композиции.

Мы собирались подробнее рассказать о том, чему же Лева посвятил себя, какому делу.

И сразу настаживает, что дело, которое мы ему подобрали, возможно, не вполне нравится ему. Не вполне удовлетворяет. Хотя, если это и так, он это тщательно скрывает даже от себя. (Знал бы он, чем, по замыслу, грозит ему эта неискренность!) Может быть, даже так, что это лишь нас не устраивает его профессия — а Леву-то она как раз и устраивает. И эту, обычную для человека, ошибку — подставлять себя на чье-нибудь место и делать выводы — автор тогда не вправе уже делать даже по отношению к собственному герою. Раньше надо было думать. В самом начале...

Вообще выбор профессии для интеллектуального героя — есть профессиональное затруднение романиста. Если ты хочешь, чтобы герой ходил, видел, думал, переживал, — то какая же профессия в наше время позволяет иметь время на это? Ночной сторож? Но он приобретает черты непризнанного гения, как только автор пытается вложить ему в голову мысли отчасти интеллигентные. Так сказать, «правда жизни» сразу пострадает при таком неудачном выборе. Вот и возникает перемежающаяся лихорадка дела: «один молодой архитектор... нет, слишком торжественная профессия... Молодой врач... слишком ответственная профессия, надо быть врачом, чтобы... Один молодой, подающий надежды мостостроитель... громоздко, но ладно... но когда же он успеет, если уж подает надежды, задуматься? на берегу реки? стоя на собственном мосту?.. что-то веет снизу сыростью и холодом, прозрением самоубийцы... и потом, при чем тут мостостроитель?!» — досадный холодок, приходится выбирать сначала... Тут

объявляются неожиданные возможности: выход на пенсию, первые расслабленные дни, первые мысли за весь допенсионный возраст... герой староват... Тогда болезнь, выздоровление... но хочется, чтоб хоть со здоровьем у героя было в порядке... Тогда демобилизация, освобождение из тюрьмы... не подходит?... Тогда — отпуск... Как много пишется рассказов а la Бунин, когда герой, отдышавшись на лоне, прозревает адаптированными откровениями автора! Необитаемый остров — вот что мираж сюжета! Его давным-давно отобрал у нас Дефо. Вообще много таких вот решений уже отобрано — можно сказать, все.

Не мне одному мука... Еще Лев Толстой... (Еще или уже?) Помнится, один советский писатель тонко упрекал его за Левина: мол, решишь Толстой назвать Левина писателем (кошку — кошкой) — и избежал бы всей связанной с Левиным фальши... Однако это кажущаяся легкость решения. Назови его писателем — сразу подумали бы, что это сам Лев Николаевич и есть. А надо сказать, что пропасть между помещиком Левиным и помещиком, похожим на «правду», покажется крайне незначительной по сравнению с пропастью, разделяющей писателя Левина и писателя Льва Толстого. Тут есть один парадокс, никогда не учитываемый неблагодарным читателем с его скорой расправой. Парадокс в следующем: о себе-то как раз писатель-то и не может написать. Приближение героя к себе — лишь оптический обман: края пропасти сближаются, но сама она углубляется. Есть классический пример: многочисленные на Западе исследователи Пруста испытывают затруднения при попытке отыскать прообразы героев и ситуаций его бесконечного романа, задуманного как повторение собственной жизни, производящего впечатление неискаженной реальности. Между тем у того же Л. Толстого, служащего образцом реалистической типизации и объективизации, — без труда находятся многочисленные кузины и дядюшки, послужившие прообразами почти всех его героев.

Но в те времена — ладно... В те времена герой, имеющий время на все оттенки переживаний, мыслей и чувств, — ни для кого не удивителен. У Толстого и у Пруста была среда, которую они, скажем так, разоблачали, но она же, эта среда, их и понимала. Хватало просвещенных и не поработанных жизнью людей, у которых были и время, и деньги. Некоторая утонченность или там интеллектуализм, при всем «беспощадном» разоблачении, были им доступны и льстили им. Теперь значительно труднее так занять героя, чтобы он более или менее выразил последние мысли автора. Чехов еще несколько раз изящно вывернулся из подобного положения. В наше время это стало выглядеть удивительно неуклюже. На нашей памяти в последний раз из этого профессионального затруднения с головокругительным чувством меры сумел выйти один лишь Мих. Зощенко. Предоставим ему слово:

«По профессии своей Котофеев был музыкант. Он играл в симфоническом оркестре на музыкальном треугольнике.

...Странные и удивительные бывают профессии.

Такие бывают профессии, что ужас берет, как это человек до них доходит. Как это, скажем, человек додумался по канату ходить, или носом свистеть, или позвякивать в треугольник.

Но автор не смеется над своим героем. Нет. Борис Иванович Котофеев был...» и т. д.

Гениально. Не только трудно стало подобрать подходящую профессию герою, чтобы он более или менее пододвинулся к автору, и не наврать при этом против «правды» жизни, но и неловко как-то, стыдно... Вот и в автобусе стыдно, когда какие-нибудь два, резонируя друг от друга, громко разговаривают об «умном», интеллигентные фразы выгибают, будто в автобусе больше никто не едет, будто они не в автобусе едут... Стыдно до жути, неловко... Стараешься не вспомнить, когда ты сам в последний раз мог вот так же себя вести.

Это вот то самое чувство, про которое можно сказать, что «писатель вместе с народом». Писатель, даже тот, что «не про народ», существо очень народное. Этим народным чувством и производится тот тайный отбор, где критерием отнюдь не является понятность, доступность или популярность. Писатель-то как раз, даже самый разутонченный, прежде всего не интеллигент, если он настоящий писатель, конечно. Но, выйдя, уверенно скажем так, в любом случае из народа, писатель приобретает новый социальный опыт, жаждущий своего воплощения, и, проверяя этот опыт от рождения свойственным ему «народным» чувством (шестым?), испытывает неловкость, замешательство и стыд. Отсюда можно заключить, что совесть — черта народная, опять же не в том смысле, что народ обязательно с совестью — бессовестный бывает народ, что и говорить. И это с особенной силой относится к тем, кто как раз из него вышел. Так вот. Это, быть может, и есть писатель, кто не теряет народной совести, выйдя из народа.

В общем, неловко, стыдно, совестно. Зря писателя пригрели — он всегда ренегат того слоя, в который проникнет с таким трудом. Если ему требуется герой интеллигентный, интеллектуальный для более прямого выражения и соответствия своему уровню, можете быть уверены: герой этот будет разоблачен.

Неловко ездить в автобусе и громко разговаривать «об умном». А Лева как раз способен увлечься и что-нибудь такое брякнуть не к месту. Хотя, к чести его могу добавить, что он легко краснеет. Ведь профессию ему какую выбрал!.. Чтоб не писатель был, но все-таки писал. Чтобы жил литературою, на литературе, с литературой, но не в ней. Мне-то удобно стало, ему — нет.

И действительно, стоило мне заняться его пристрастным описанием: погрузиться в его семейные, исторические, любовные переживания и мытарства, развивая и формируя героя самой его жизнью и все не достигая того узла, в котором вся присвоенная нами проблематика должна была найти свое суровое разрешение, — все вроде стало получаться верно, но через время стала проступать какая-то большая неприглядность героя, чем я бы хотел и был намерен. В чем дело? Он все чувствует, думает даже кое-какие мысли, ничего скверного или подлого во всяком случае... но он ничего НЕ ДЕЛАЕТ. Странно было испытать это поражение авторского самолюбия. Ведь я вовремя сообщал, что он учится, в школе, в университете, в аспирантуре, вот уже и диссертацию закончил, только еще не защитил. Где-то он даже, может быть, работал, между университетом и аспирантурой, набрался опыта... Каждый может себе представить, как это не просто; однако по-прежнему — он ничего не делает. А когда такой чувствительный лоб ничего не делает — то поневоле станет несколько противно. У меня упоминались время от времени еще некие его сокровенные замыслы работ, упоминалось, что замыслы эти вызывали даже восхищение сотрудников, во всяком случае, способствовали закреплению за ним репутации

даже «талантливому». И все равно оставалось это бездельное впечатление. И это окончательно топило моего героя.

Но нет худа без добра. Раз уж я так неудачно выбрал профессию моему герою, что никак его труд не облагораживал его на страницах романа, то в этом же, понял я вдруг, и удача. Потому что вряд ли, избрав любую другую профессию, мог бы я приложить к роману непосредственно продукт труда моего героя, скажем, сноп пшеницы, или паровоз, или тот же мост... А здесь — я же могу привести в романе сам продукт его труда, опубликовав, скажем, какую-нибудь статью Л. Одоевцева из тех, что он сам считает у себя «за дело», или из тех, что вызвали наиболее горячей отклик его соратников...

Мы уже говорили, что аспирантом Лева написал статью о трех поэтах. Что она была кое в чем наивна, а еще кое в чем стала наивна. Что она не строго научна, но зато Лева много сказал в ней от себя, а это в наше время ценно. Что тем она и свежа до сих пор, что она не о Пушкине, не о Лермонтове, и, тем более, не о Тютчеве, а о нем, о Лева... в ней сказался его опыт. Встреча с дедом, любовь к Фаине, любовь Альбины, дружба с Митишатьевым — не прошли-таки даром и этим опытом сказались. Любопытно приурочить работу Лева над этой статьей как раз к тому моменту, когда его «побеждает» в последний раз Митишатьев (к моменту «у шкафа»). То есть писание этой статьи совпадает, по времени романа, с главой «Миф о Митишатеве» и значительно опережает главу «Г-жа Бонасье», вырвавшуюся даже вперед последующего нашего повествования, — никак все это не примирить...

Итак, статья называлась

«ТРИ ПРОРОКА»

Статье были предпосланы два эпиграфа, напечатанные не друг под другом, а бок о бок, параллельно, что отчасти говорит не только о содержании, но и методе...

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.

Завистник, который мог ос-
вистать «Дон Жуана», мог отравить
его творца.

Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении — творца!
И смысла нет в мольбе!

Пушкин о Сальери, 1832

Тютчев, 1836

И Лева продолжает сопоставление. Он берет два хрестоматийных, школьных стихотворения: «Пророка» Пушкина и «Пророка» Лермонтова, — и это бы была не новость, но он нашел третьего, и они у него охотно «скинулись». Третьим оказалось стихотворение Тютчева «Безумие». Все три были написаны в разные годы, но Лева радостно употребил арифметику, вычел из дат написания даты рождения и во всех трех случаях получил один и тот же результат — 27. Лева шел двадцать седьмой, и это вдохновило его. Первым из всех четырех

двадцать семь исполнилось Пушкину в 1826 году (Пушкин еще успел родиться в XVIII веке! — восклицает Лева. — Этот один год очень знаменателен...»), — и он написал своего гениального «Пророка». Но и в другие годы (и эпохи, думал Лева, подставляя себя) люди достигали того же возраста: Тютчев — в 1830-м (он опоздал родиться в XVIII веке, что тоже знаменательно, отмечает Лева), Лермонтов — в 1841-м (Лева — в 196...м, добавим в скобках), — и их начинали волновать те же вопросы.

Какие же это вопросы?

Лева утверждает, что суть их сводится к проблеме непрерывности. Что он подразумевает под этим словом, не сразу становится понятным, но и потом — понятно не до конца. Лева говорит, что люди рождаются и живут непрерывно до двадцати семи лет (год-два — туда-сюда — все равно, в двадцать семь, утверждает Лева), они живут непрерывно — и в двадцать семь умирают. К двадцати семи годам непрерывное и безмятежное развитие и накопление опыта приводит к такому количественному накоплению, которое приводит к качественному скачку, к осознанию системы мира, к необратимости жизни. С этого момента, говорит далее Лева, человек начинает «ведать, что творит», и «блаженным» уже больше быть не может. Полное сознание подвигает его на единственные поступки, логическая цепь от которых уже ненарушима и если хоть раз будет нарушена, то это будет означать духовную гибель. В такой жесткой системе духа выживает уже только Бог. Человек вымирает. Эта точка критична, конкретна и очень кратка по времени, не очень-то растяжима... и человек должен решить и избрать дальнейший путь, не опаздывая и потом уже не оглядываясь. Перед ним три дорожки, как перед богатырем. Бог, черт или человек. Или, может быть, Бог, человек, смерть. Или, может быть, Рай, Ад, Чистилище¹ (и эти образы, утверждает Лева, взяты из нашего опыта: три стадии одной человеческой жизни, вечно повторяющиеся — в каждой и не зависящие от времени Истории). Пушкин, Тютчев и Лермонтов выбрали из трех и каждый свою. Пушкин выбрал Бога (или у него хватило гения жить непрерывно до тридцати семи, что, в общем, одно и то же), Лермонтов предпочел смерть прерывности, повторности, духовной гибели: Тютчев продолжил жить прерывно. В двадцать семь умирают люди, и начинают жить тени, пусть под теми же фамилиями, — но это загробное существование, загробный и мир. На пороге его решается все, вся дальнейшая судьба души. Поэтому-то и обратились к одному и тому же все три гения и все трое ответили по-разному. Они все спорили с первым, с Пушкиным. Тютчев даже злобствовал (один Лева, через сто-адцать-ать лет, протянул ему руку...).

Мы, конечно, слишком сжато и бесстрастно передали сейчас то, что волновало Леву, то есть, возможно, ничего не передали, но мы читали статью

¹ Нам не хотелось исключать эти Левины построения как к делу не относящиеся: они Леву — характеризуют. В этом возрасте бывают поражены числом «три», ибо оно означает рождение ряда, первую родовую схватку опыта.

давно и уже привыкли бродить в потустороннем, теновом, загробном, по определению Левы, мире. Нам трудно соотноситься с тем, что мы уже успели забыть...

А Лева, благословясь, начинает литературную часть статьи с одной примечательной оговорки... Что вот он берет три бесспорно гениальных стихотворения, написанных тремя бесспорно гениальными двадцатисемилетними поэтами. Все три стихотворения абсолютны по форме и поэтической выраженности. Именно поэтому он берет на себя смелость, не вдаваясь в обсуждение развития поэтических форм, сравнить их по содержанию, что в науке в последнее время не принято, потому что содержание — есть предмет не вполне научный. Раз так, то он выступает как критик... Пусть меня простят, заявил Лева, что я слышу не форму, а смысл.

Вся статья, в целом, была написана откровенно (со всей прямоотой) в пользу Пушкина. Во имя его...

Лева поставил ему в заслугу высокое отсутствие личного, частного «Я», а наличие лишь высшего, общечеловеческого «Я», страждущего исполнить свое назначение на земле. И действительно,

Духовной жаждою томим... —

все восхищало здесь Леву. И точность записи духовного сюжета, и лаконизм почти нечеловеческий, «нагорный». И полная неважность личного, житейского, в чем-то непосредственно заинтересованного «Я» перед «Я» духовным и божественным...

Полной и смешной противоположностью являлся для Левы «Пророк» Лермонтова. Это была тоже гениальная по точности запись сюжета, но и только. Не совсем уж не духовная, но «додуховная», юношеская, чуть ли не подростковая. Самовыражение гениальное, но сам, кто выражается, словно бы еще не гениален. Вернее, он-то гениален, но то, что он выражает, совсем уже негениально. (Лева не до конца обижал Лермонтова, потому что «Пророк» — последний в томике, чуть ли не завещание, дальше уже дуэль и смерть, так что поправиться Лермонтов не мог.) Каждые первые две строки свидетельствовали, для Левы, о бесспорном природном гении Лермонтова; если бы все оно было составлено из этих первых строк минус вторые, то все было бы так же хорошо, почти как у Пушкина. Но зато вторые две... Боже, зачем же так! все насмарку; начал за здравие, кончил за упокой; теза — прекрасна, антитеза — насквозь лишь детская, наивная обида; не признали, не отблагодарили! Но ведь именно в этих, «задних», строках — сам Лермонтов, именно их он противопоставляет от себя первым двум, которые как бы не его, чьи-то, опровергаемые самой жизнью — Пушкинские... Лева разбил это стихотворение и построил, как диалог: начинает как бы Пушкин (тот же Лермонтов, но — басом, поскользываясь в фальцет) — отвечает, обиженно бубня, надув губы, сам Лермонтов, жалуясь на какую-то детскую, дворовую, игровую несправедливость... Например:

ПУШКИН:
С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка...

ЛЕРМОНТОВ:
(перебивая, высказывая, тонко
и сердито):
В очах людей читаю я
Страницы злости и порока.

ПУШКИН:
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья...

ЛЕРМОНТОВ:
(опять перебивая, срываясь
в слезы):
В меня все ближние мои
Бросали бешено камня...

И так далее, в том же духе. Вот вам, заключал Лева, то недостойное и жалкое поведение, которое неизбежно свойственно каждой Я-личности, вступающей в борьбу, предъявляющей миру свои права. Чем и велик Пушкин, что его это не занимает, что он выше и занят ей, чтобы обижаться на боль (мозоль) собственного тщеславия... Лермонтов за все ждет признания и благодарности, конфетки, поглаживания, обиженный мальчик...

Это же само человечество! — восклицал дальше Лева, — ни с того ни с сего обиделось на самого себя, или споткнулось о камень и еще, в досаде, пнуло его ногой — и обиделось на камень и заплакало... Пушкин и Лермонтов, пускался он в свободные аналогии, как Моцарт и Бетховен. У одного — еще целое здание мира перед глазами, храм, ясность; другой — забежал туда и потерялся, видит каждый раз какой-нибудь угол или балку, хочет воздуха, света и забыл, где выход... Видит балку — она и становится миром, на нее и проливается и печаль, и злость, и отчаяние: некрасивая балка, нехорошая. Или опять же, угол, паук в нем, обидно. В раздробленном на кусочки мире человек входит в каждый кусочек, как в мир; появляется Я — «свое», ущемленное, сопротивляющееся самому себе, борющееся во внезапном закутке, само себя хватающее и царапающее и противопоставляющее себя собственной тени. Бетховен — бурная борьба под свалившимся с балкона и накрывшим с головой одеялом¹. Я уже кричит во весь голос, что оно Я, и обижается, что не слышно его, что не слышно уже ничего, потому что все одновременно орут свое Я и не слышат ни себя, ни тем более другого...

Так решительно и образно расправлялся Лева (открещивался от самого себя, добавим в скобках). Это еще хорошо, чисто и понятно: Пушкин-Моцарт, но вот появляется, кроме шумного и несчастного Лермонтова-Бетховена — Сальери-Тютчев... Хотя он и раньше Лермонтова (ему раньше двадцать семь), но он — позже, он ближе к нам, он нам современной. Тоже утерять из виду ориентир и целое здание, он не расплакался, как Лермонтов, без бабушки, а тщательно, глубоко присмотрелся ко всем паучкам и уголкам одного из притворов. Пушкин еще не знал такой пристальности, он стоял на свету и на просторе, но Тютчев-то почувствовал, что он видит то, чего Пушкин не видит, а этого за ним не признают, что он — д а л ь ш е... Это мы уже, спустя, признаем, а тогда —

¹ Оставим «музыку» на совести Левы...

нет; тоже, как и Лермонтову, не досталось сразу — но иначе, злобней, мелочней реагирует Тютчев. Ему не ласка нужна, как Лермонтову, ему — памятник. Он хочет себе места. Смотрите...

И дальше Лева, тем же приемом, строит параллель пушкинского «Пророка» и тютчевского «Безумия». Только если Лермонтов говорит в открытую, на той же площадке, лишь выглядит смешно, — то «этот» (Тютчева Лева уже не пожалел) и не на площадке, а из-за сцены, из-за кулис, спрятавшись, тайком, почти шипит, злым и громким шепотом: за каждое пушкинское слово — словом секретным, потемным — даже не перебивает (как Лермонтов), а зудит, вслед и одновременно со словом пушкинским...

ПУШКИН: «Пророк»

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влячился,

И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;

Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:

Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

ТЮТЧЕВ: «Безумие»

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод,

Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.

Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,

Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.

То вспрыгнет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.

И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,

И шумный из земли исход!...

Тютчев писал как бы емче, короче, хлестче... Его яду хватило лишь на пол пушкинского стиха. На вторую, божественную (уже не процесс к Богу — обретенный Бог), половину пушкинского стиха Тютчеву не оставалось силы: изжалив сапог, он уполз. Так рассуждал Лева.

Пушкин открыто рассказывает, как у него было дело с Богом. Лермонтов довольно линейно и монотонно жалуется, как у него не вышло с Богом. И оба говорят от «Я». У Тютчева в стихотворении нет Я. Он его скрыл. Он утверждает свое мнение о другом, а его самого — нет. Он категоричен в оценке — и ничего не кладет на другую чашу весов (не оценивает себя). Такое впечатление, что он хочет уязвить, оставшись неузнанным. Какая-то есть злая трусость в скрытом

наблюдении и суждении, на которое ему не ответят. Он не надеется, что его услышит тот, над кем он издевается, и поэтому успевает спрятаться прежде, чем его не заметили. Ведь самое, быть может, обидное для самолюбия: нанести оскорбление — и чтобы его не заметили...

Пушкин отражал мир: отражение чистое и ясное; его Я — как дыхание на зеркале — появится облачком и испарится, оставив поверхность еще более чистой. Лермонтов отражает себя в мире открыто, у него нет за пазухой... и как бы мутно ни было отражение — это все он, он же. Тютчев, более обоих искусный, — скрывает («Молчи, скрывайся и таи» — гениальные стихи, в том же тридцатом году; их тоже привязал Лева к своей мельнице...). Он первый скрывает что-то — самый свой толчок к стиху, занавешивает его, прячет, даже отсекает сюжет, и, в результате, он, такой всем владеющий, не выражает себя, а сам оказывается выраженным. Так заключает Лева, пытаясь формулировать некий парадокс мастерства, границами своими непременно очерчивающего очаг поражения, язву души, рак индивидуализма. Только откровенность — неуловима и невидима, она — поэзия; неоткровенность, самая искусная — зрима, это печать, каинова печать мастерства, кстати, близкого и современного нам по духу.

Но не надо Тютчева полагать «опередившим время» — он частный случай своей эпохи, который, без культуры и гения, стал ныне всеобщим. Он не прародитель, а прецедент во времени; если только пытаться заключить о нем по законам его времени, а по каким же еще законам его судить? По нашим? — «закон не имеет обратной силы». До таких парадоксов договаривался Лева. Но далее он договаривался и до более странных...

«Тютчев как убийца Пушкина» — одна из самых впечатляющих глав. Она — не то сама опыт в криминалистике, не то предмет для криминалиста; не то пример из психиатрии, не то свидетельство для психиатра. Во всяком случае, психоаналитику — раздолье... Автор статьи строит некое неустойчивое сооружение из дат, цитат и ссылок, некую таблицу, напоминающую Менделеевскую, где буквы и цифирки, кое-как уцепившись хвостиками друг за друга, держатся на одном трении, — строит довольно, впрочем, нетерпеливо и торопясь дойти до того, ради чего он строит. (Мы не в силах, естественно, вспомнить эти его выкладки; на кафедре статьи уже нет: Лева отобрал у них в свое время и перестал показывать; обращаться к самому Лева нам не хочется...) Суть этих выкладок сводилась не к собственно доказательству, а к доказательству непротиворечия, возможности Левиной версии. Он высчитывает «Тактику» Тютчева в издании своих стихов. Он окружает «Безумие» плотным кольцом стихотворений, опубликованных Пушкиным же в предсмертных «Современниках». Он рассуждает, мог ли читать Пушкин «Безумие» в некоем альманахе, где оно было единственный раз опубликовано. Характерно, что «Безумие» не было включено (хотя по уровню поэзии могло бы...) в цикл, предложенный «Современнику», характерно, что ни в какие прижизненные издания Тютчев более его не включал, словно хотел, чтобы «быльем поросло». И еще целый ряд подобных предположений, и все это он как-то показывает...

И тут Лева (мы помним ощущение от этого места, но не в силах воспроизвести) делает некий стремительный, завинчивающийся логический переход, от того, что «что-то есть» в отношении Тютчева к Пушкину, к тому, что «что-то было» в этих отношениях. Что-то было такое, что-то имело под собой... был предмет этих отношений, между ними был сюжет, и что

самое жгущее для Тютчева, Пушкиным не замеченный. Дальше Лева называет слово «дуэль» и долго и красиво ездит на нем от предложения к предложению, сшивает, как челнок в швейной машине... Мы хорошо запомнили это колебательное движение. Дуэль — дуэль, которой не было — дуэль, которая была — именно это и дуэль. Дуэль тайная, потому что никто, кроме одного из дуэлянтов, не знал о ней, — дуэль явная, в которой один из противников просто не заметил, что с ним стрелялись (мало ли было у него вызовов и дуэлей?).

И через тридцать с лишним лет, через двадцать пять лет после гибели Пушкина, Тютчев помнит, и ох как помнит! Не так уж много у него переключек в стихах через тридцать лет, — а тут цитата... И это уже дважды скрыто, трижды зарыто. Скрывается уже факт «Безумия», оно переписывается и переадресовывается Фету...¹ в тоне менее «задетом», более эпическом, умудренном и смиренном (усталом?):

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески-слепой,
Они им чувят, слышат воды
И в темной глубине земной...

«Иным», видите ли... «Пророчески-слепой»... Здесь наконец прорастает слово «пророк». Значит, уже согласен с тем, что «пророческий», но продолжает ревновать и ненавидеть саму природу явления — «инстинкт», которым не обладает. «И в темной глубине земной» с тютчевским же многоточием — это, чуть ли не из могилы, все еще «чувет и слышит» Пушкин².

Этому четверостишию противопоставлены четыре строки, вялые и в себе неуверенные... И если первые четыре — о Пушкине, то им противопоставлен то ли Фет, то ли некий образ вообще «посвященного» поэта, включающий в себя и Тютчева. И что забавно, единственно, быть может, кто не противоречит идеалу поэта, выраженному в этих противопоставленных строках, так это тот же Пушкин. Тютчев кроет Пушкина Пушкиным же...³

Что же касается этих «водоискателей» (на которых ссылаются все исследователи), якобы послуживших прообразом для обоих стихотворений Тютчева, то что же в этих несчастных и ничтожных так лично, так конкретно, так дневниково задело Тютчева? такого мастера именно к о н к р е т н о й поэзии, так новаторски введшего именно конкретные детали личного, даже частного, подлинного (подленького?) опыта в свою поэзию? Чем они его обидели, водоиска-

¹ Кстати, отмечает Лева, если Пушкин мог читать и не читать «Денницу» 1834 года, то Фет, почти наверняка, ее не читал, и «Безумия» не знал, и отнесся к посвященному себе стихотворению как к новому...

² В тоне «смиренном и усталом» чудится Леве, некстати, потупленность старого Дантеса: «Бес попутал...».

³ Лева предполагает, что «мостом» от этого стихотворения к «Безумию» является статья Фета «О стихотворениях Ф. Тютчева», которую Фет строит «от» Пушкина, сопоставляя два стихотворения с темой «сожженного письма» (метод так не нов!).

тели?.. «Водоискатели», следует заключение, та же тютчевская новаторская «ширма», которой отгораживается поэтическое переживание, выраженное необычайно отчетливо и конкретно, от сюжета этого переживания.

Что же в этом случае — сюжет?

Сюжет — обида. Причем сложная, многогранная, многоповоротная. Самая тайная, самая глубокая, скрытая едва ли не от себя самого, обида, которую тем более легко было скрыть и тем более трудно заподозрить, потому что, со временем. Тютчев очевидно доказал всем (и себе?), что он тоже гений, — обида эта была на самую природу, вследствие чего он так замечательно и надолго над ней задумался. (Это уже слишком! — воскликнем мы.) И никогда не ощутил бы он этой обиды, если бы не было рядом, бок о бок, затмевающего и опровергающего всякую логику постепенного возвышения и роста, примера для сравнения. — Пушкин!

Все было «лучше» у Тютчева, в самой строчке — лучше, но чего-то все равно не было из того, что так легко, так даром, так само собой было у Пушкина. Тютчев при жизни пере-писывал Пушкина (в смысле дальше, в смысле перегонял), — но Пушкин не видел его спины, а все спина Пушкина маячила, уже маниакально, перед Тютчевым. И Тютчев знал втайне от себя, не выговаривая словами, но знал глубоко, что у него нет одной «маленькой вещи», казалось бы, второстепенной, даровой, но которой уж совсем негде ни заработать, ни приобрести... а Пушкину и знать было не нужно, что у него есть, раз у него было. Они были одного класса, но Пушкин — аристократичней: у него *было*, не задумываясь откуда; Тютчев — уже разночинней, он хотел, чтобы у него было, но у него не было. Это была тютчевская шепетильность — заметить, что ему чего-то не хватает; никому и никогда не бросилось это потом в глаза — его дело было не проговориться. И он не проговаривался. Проговорившись же (по собственному мнению), тотчас прятал, как «Безумие», но не уничтожал... Достался же гений — мелкому человеку!.. Что его толкало? Чего ему не хватало? Он опоздал? Позавидовал? Посягнул?.. Но этого своего ма-аленького отсутствия, незаметного и не осязуемого для обычного человека, нормального, но уродливого для гения, каким был Тютчев, — и не мог простить именно тому, у которого было все — Пушкину.

Из этого мог быть один выход: признание и дружба самого Пушкина. Чтобы еще при жизни связались имена, и то, чего недодал Господь Тютчеву («Вот! — осенило Леву, — счет Тютчева с Богом в отличие от разговора Пушкина и обиды Лермонтова¹.) — они бы отчасти поделили с Пушкиным, похлебав из

¹ Кажется, в этой связи не пощадил Лева и Бунина, проводя историческую параллель. Мол, «опоздавший», лучше, совершенней (как и Тютчев) писавший Бунин ревнует все признанные судьбы. И когда наконец переживает всех и остается один, последний и единственный, то всю жизнь потихоньку отодвигает себя от современников и пододвигает поближе к Толстому и единственному современнику Чехову, пытаясь восстановить историческую (временную) справедливость попросту своими силами. У него, как и у Тютчева, есть к тому все основания. Отступление это, как мы сейчас припоминаем, называлось «Опоздавшие гении», и высказывалось намерение посвятить этой теме отдельную статью. Этой статьи мы не видели.

одной тарелки, и этой тарелкой, которую можно поделить, лишь разбив ее, предметом хрупким и прочным — быть соединенными в веках. Но Пушкину было не до того, чтобы следить, какую новую гимнастику выдумал г.Тютчев в Германии... он носил свою железную трость. И он не заметил подтянутой фигурки г.Тютчева, с напряженным по красоте бицепсом под тонким сукном... И тут — вторая обида, тем более сильная, что вступает в резонанс с первой (она могла ее погасить, она же ее удваивает) — 1830 год. Тютчев почти пять лет не был в России и приезжает в Петербург, и здесь он читает в «Литературной газете» ту пресловутую статью, где Пушкин признает талант беспорочный за кем?! за Шевыревым и Хомяковым и отказывает в нем Тютчеву!

Возможно, они даже встретились где-то мельком (у Смирдина, скажем); Пушкин прошел мимо, раскаленный, белый, сумасшедший, не обратив внимания на трепет и подрагивание незнакомого молодого человека (которому двадцать семь, не так мало! — это возраст самого обидчивого самоощущения пропущенной жизни, возраст прощания с непрерывностью жизни — недаром не пережил его Лермонтов...), который уже пишет свои совершенные и более «далекие» стихи, пребывая в тени и неузнанности... Про себя-то он всегда знал, для себя-то он никогда не был «второстепенным» (по определению Некрасова), как для истории... А где же Пушкину в это лето замечать хоть что-либо? Когда его опять не выпустили за границу; когда Гончаровы наконец дали согласие; когда он вырвался от образцового и непривычного жениховства в Петербург, где «к стыду своему, признаюсь, что мне весело...» (как и где там ему весело?..); когда вокруг него особенно сгустилась мелочная атмосфера непризнания и дележа славы («пересмотра») и литературная жизнь ему уже успела опротивить до крайности; когда впереди у него — Болдинская осень, то есть внутренние давления развиваются в нем, по-видимому, непереносимые?.. «Там, там он напишет!.. — восклицает, кажется, Лева. — Единственную драму, дважды поставленную при жизни»¹. Он может не заметить сейчас Тютчева, потому что уже видел его, знает давно и надолго вперед, насквозь, навывлет!.. «Так он прошел мимо Тютчева, обдав его потом и ветерком, ничего не видя, посмотрел на Тютчева белыми глазами, взбешенными жизнью, как на вещь, не посторонившуюся, — значит, и не живую... обошел не видя. Может, он раскланивался и улыбался оскальной, мышечной улыбкой... может, нагло, может, как гаер... и Тютчев примерил на него только что перечтенный стих из начавшего выходить четырехтомника (собрание сочинений — первые публикации: какой разрыв! — несправедливо превышающий четыре года в возрасте), — примерил на него «Пророка», будто Пушкин, раз что-то написав, должен был уже ходить в этом стихотворении всю жизнь, как в пиджаке! Примерил и... обратите внимание, даже фон — петербургско-августовский, с духотой, маревом, пожаром... а сколько портретности в «Безумии», стихотворении о незнакомых

¹ Лева имеет, по-видимому, в виду и действительно поразительное совпадение дат. Трагедия «Моцарт и Сальери» шла дважды в 1832 году (27 января и 1 февраля) и успеха не имела, а через пять лет, ровно в те же числа, «в новой режиссуре» — дуэль и отпевание.

Тютчеву водоискателях! «В беззаботности веселой...» — где он наблюдал беззаботность водоискателей? («к стыду своему признаюсь, что мне весело...»); «стеклянными очами чего-то ищет в облаках...» — легко представить себе взгляд Пушкина, когда он никого не хочет ни узнавать, ни видеть; «С довольством тайным на челе...». Нет, это все портрет, и портрет мимолетный, прозленный, задевший душу фотографа. Перечитайте «Безумие» — какая подробность описаний движения и жеста! Наступил на ногу и не извинился, что ли, Пушкин? Как мог Пророк наступить на ногу?! Мы не знаем... но в Тютчеве вдвойне прорывается желчь, и он пишет «Безумие» — с образом Пушкина — шамана, «водоискателя»...

Такое и еще какие-то предположения предположил Лева, кое-как их обосновывая. В частности, напал он и на легенду об особой якобы благосклонности Пушкина к Тютчеву при публикации знаменитого цикла в «Современнике». И в заглавии, данном самим Пушкиным, «Стихотворения, присланные из Германии» — усмотрел Лева, в разрез с привычным толкованием, не подчеркивание философской направленности лирики Тютчева, а просто — что они не из России, а из Германии, и нечего спрашивать с них по-русски. Именно это якобы имел в виду Пушкин. Но тут даже мы, не будучи специалистом, с ним не согласны¹.

Но вот с тем, как Лева заявляет, что вовсе необязательно вечно должен работать двигатель «Старик Державин нас заметил...», что надо немножко отвыкнуть все наблюдать так, как в недавней живописи: «Белинский и Гоголь у постели умирающего Некрасова»; что современники не жили, сговорившись насчет своего будущего значения и места в литературе, как нам по-школьному кажется, когда мы уже привыкли, что все прозревали насквозь в наши и ради наших дней... — с этим трудно не согласиться...² В этом сказался его личный опыт недавнего среднего образования...

¹ Просто так Пушкин слова не ставил, и что-то в этом заглавии есть, какая-то формула. Но, думается, оттенок смысла в ней не тот, и не другой, а более тонкий и двусмысленный, чем почтительность к немецкой мысли или оголенное русофильство. Пушкин еще и тем замечателен, что никогда не впадал.

² Что он не читал статью Ю. Тынянова «Пушкин и Тютчев», кажется нам непростительным для литературоведа, хотя Левина статья написана где-то в начале шестидесятых, и тогда статья Тынянова еще переиздана не была. Но «лазил» же Лева по иным недоступным источникам еще и значительно раньше?.. Впрочем, это характерное свидетельство, это типично для нашего времени — выпадение целых очевидных областей даже при пристальном изучении предмета. Но если Лева тогда и не читал, то прочел позже, и тогда не мог не огорчиться и не обрадоваться одновременно. Огорчиться, что не он первый взял под сомнение отношение Пушкина к Тютчеву. Обрадоваться же — толкованию Тыняновым эпиграммы «Собрание насекомых»: «Вот Тютчев — черная мурашка, вот Раич — мелкая букашка», — если еще напомнить, что Раич был учителем Тютчева... Однако не весь приоритет у Тынянова: Лева, быть может, первый обратил проблему: вместо «Пушкин и Тютчев» — «Тютчев и Пушкин».

Но тут уж Лева договаривается до совсем страшных вещей. Он ставит под сомнение искренность стихотворения Тютчева на смерть Пушкина! (Кстати, Тютчев и не публиковал его при жизни.) Вялое, спертое, утверждает он, удовлетворенное стихотворение. Такое испытывает человек после кризиса, когда миновало. И проговорные словечки: «будь прав или виновен он» (о противнике), «мир, мир тебе, о тень поэта, мир светлый праху твоему!..» (это как «лежи, лежи...»). И все стихотворение, как прислушивание к послеобеденному пищеварению...¹ И только в конце — искренняя, совпадающая сила:

Вражду твою пусть Тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...

Характерно, что «вражду» еще «рассудить» надо... И не те же ли «водоискатели» отзываются: «слышать воду» и «слышать кровь»?

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

И вот эти две, уже замечательные, строки — подлинные. Первая любовь!.. — в этом отношении к Пушкину сам Тютчев. Первая и безответная. Всю жизнь терзающая и ревнуемая. И то облегчение, которое испытывает, вместе с как бы горем, неудачливый и сосредоточенный любовник от смерти возлюбленной: уже больше никому не станет она принадлежать, и это еще что... главное, никого больше не сможет любить. Уф! Но жить-то надо... и Россия будет жить с женой, с любовницами, с ним, с Тютчевым.

Тут Лева написал еще много отвлеченных от Тютчева страниц, рисующих психологическую картину подобного чувства, написал со знанием и страстью, и в этом сказался его опыт печальной любви к Фаине. Как, в свою очередь, сказался и его опыт попытки сближения с дедом при выкладках насчет тяги Тютчева к Пушкину, безответности этой попытки и, в таком случае, «уценки» самого предмета влечения («не очень-то и хотелось» и «сам дурак»). Мы не можем восстановить по памяти, но там было несколько примечательно разумных страниц психологических обоснований (тоже в отвлечении от Тютчева), свидетельствовавших также о личном опыте, пережитости подобных вещей автором.

Тут следует какое-то неожиданное отточие, и статья обретает еще один, кажется, внезапный и для самого автора, оборот, даже перелом...

...А вдруг был ответный выстрел? В конце концов, у Пушкина была реакция, которой можно и позавидовать — он был отличный стрелок. Не раздались ли выстрелы почти одновременно? Только Тютчев знал в кого, а Пушкин — на шорох в кустах...

¹ Лева ссылается и на удовлетворенное оплакивание Л. Толстым Достоевского: «Как мы сможем жить без него?» И, походя, толкует, как им не было места в одном времени, подобно Пушкину и Тютчеву.

ТЮТЧЕВ, 1830

«Безумие»

Там в беззаботности веселой
Безумье

..... жалкое

..... живет.

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод...
...Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.
То вспрянет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.
И мнит, что слышит струй кипенье
Что слышит ток подземных вод,

И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!..

ПУШКИН, 1831–1833

«Не дай мне Бог сойти с ума»

Не дай мне Бог сойти с ума;
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад.

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!

Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса...

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума;
Как раз тебя запрут;
Посадят на цепь дурака,
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров,

А крик товарищей моих,
Да брань зрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

Чувствовалось, что Лева набрел на идею такой параллели в процессе работы, когда все у него в мозгу уже было «готово». И можно понять Леву, сотворившего-таки себе кумира: можно отказаться и от чести дуэли с Тютчевым, ради свидания с Пушкиным! Берясь за свой труд, никак не мог Лева рассчитывать или надеяться на это. Волна чувства слизнула его и отнесла совсем уж вдале от науки, с тем чтобы выбросить к ногам Пушкина. Эта встреча оправдывала все. К чести Левы, можно сказать, что он все и отдал.

Ах, как хотелось бы Лeve, чтобы «стеклянные очи» Тютчева взглянули в «пустые небеса» Пушкина, чтобы раскаленный пейзаж пустыни переключал

сквозь тютчевское «Безумие» из «Пророка» в «Не дай мне Бог...!» Лева могло казаться, что такое пересечение сняло бы все затруднения дальнейшего доказательства. Нам так всегда кажется, что только то и препятствие, что на дороге... Но — это было бы слишком «на пальцах» для Пушкина, поворачивает Лева. Даже если представить себе те редкие обстоятельства, абсолютно к тому же неведомые, при которых Пушкин познакомился-таки со списком «Безумия», то, безусловно, он — лишь глянул, лишь пробежал не дрогнув. Его ответ был написан по мгновенному впечатлению, а впечатление это было негативным. Причем негатив этот точен до физического смысла, как в фотографии: по светотени эти два стихотворения соответствуют, как негатив и позитив. У Тютчева — сень в самом безумии, а пламя — вокруг: у Пушкина — наоборот (только хронология позволяет так сказать, потому что наоборот-то как раз у Тютчева, а позитив, как верное изображение, вышел у Пушкина...), у Пушкина — сень вокруг, а безумие — как пламя. Действительно, у Тютчева: тайное довольство и веселая беззаботность безумия — на обгорелой, надтреснутой земле, под слившимся с нею, как дым, небом; у Пушкина: пламенный бред и забытье в чаду — на воле, в благостной прохладе ночи, леса, небес, пенья соловья... Но откуда волны-то взялись в лесу? — изумляется далее Лева. И тут, отмечая некоторый формальный блеск предыдущего построения, мы вынуждены отметить и некоторую натяжку: Лева объясняет это несоответствие в пушкинском стихе подсознательным отражением «водяной темы» Тютчева.

Но Лева и сам спохватывается. Наскоро обсудив возможность прямой реакции Пушкина на тютчевское «Безумие», Лева отказывается от этой возможности ради более важных утверждений. Он принимается рассуждать о сути, выраженной в этих стихотворениях, о соотношениях Ума и Разума и достигает предельной невнятности. Как будто он силится вспомнить что-то когда-то слышанное и не может — такое впечатление. Он предпочитает Разум Уму и провозглашает Пушкина первым и единственным носителем Разума в России. Со смертью Пушкина, утверждает он, в поэзии победил Тютчев. И масштабы современного официального признания Пушкина ничего в этом смысле не доказывают, никакого господства пушкинской линии нет. Это была дуэль, в которой Дантесом был Тютчев. Дух пушкинской поэзии был убит в неявной и неравной борьбе. Пушкину был оставлен почетный мундир поэтической формы — самого его не стало. К мундиру пришили несколько пуговиц и более изящный позумент и набили всякой тусклой душевной дрянью. Цельность, гармония, воздух, мир — все было порешено. И это Лева пишет так же длинно и неясно.

Пушкина он обожествляет, в Лермонтове прозревал свой собственный инфантилизм и относился снисходительно, в Тютчеве кого-то (не знаем кого) открыто ненавидел.

Заканчивает Лева свою историческую новеллу (иначе мы не можем это определить) рассуждением о правомерности собственных построений. Он высказывает одну ускользающую по простоте мысль о том, что равно, если не более ложно, заключить какую бы то ни было историческую картину на

основании лишь отчетливо известных и досконально выверенных данных. Что таковых мало и они чрезвычайно бедны. Современник и его историк движутся в темноте навстречу друг другу, но это странная одновременность, ибо современника уже нет, а историка еще нет. Для историка слишком отчетливы те немногие вещи, на которые он оглянулся, для современника они — поглощены жизнью. С чего бы, казалось, если исследователю удастся что-либо установить в точности, то в прошлом это становится как бы более очевидным и известным? Исследователь чаще, чем драматург, впадает в заблуждение, что «каждое ружье стреляет». Узнав что-нибудь «новенькое» из ушедшей от нас эпохи, перекувыркнувшись от радости, он совершает и некое логическое сальто: начинает, не задумываясь, считать, что то, что он установил с такой убедительностью, с тою же неумолимостью становится фактом, знанием, переживанием участников изучаемого им отрезка процесса. И как бы ни хотел ученый быть объективным, одним последовательным перечислением известных фактов — он уже рисует, даже помимо воли, определенную жизненную картину и расстановку сил в нашем сознании. Но поскольку в этой картине неизбежно отсутствует какая бы то ни было полнота и, более того, нет никаких оснований утверждать, что факты дошли до нас и исчезли от нас, сохранив подобие и пропорцию действительной когда-то жизни, — то такая «научная» картина так же неизбежно неверна, как, возможно, и его, Левина, с той разницей, что, не держа ни одной фактической ошибки, «научная» работа узаконивает и впоследствии предписывает всем свою скудость и нищету понимания. Ибо как же мы бываем пойманы именно фактом несомненной достоверности! Едва ли не больше, чем двоящимся предположением.

Пусть многое было неверно в статье Левы, а даже то, что оказалось верно или может вдруг оказаться, получилось случайно (в этом, кстати, весь смысл слова «получилось»), из неверных посылок — совпало. Мы думаем, что если бы версия, подобная Левиной, могла бы получить столь же широкое и предписанное распространение, как и существующая за «научную», то она бы быстро стала столь же скучна и безвкусна, как все легенды о прогрессивной преемственности, о дружбе великих людей, об эстафете мысли и Прометеевом огне. Даже, может, она приелась бы и еще быстрее: столько в ней настырности и шуму. Но у нее есть одно неоспоримое преимущество: она таковой (узаконенной) не станет никогда.

Нас еще могут спросить, как мы все это упомянули. Но, во-первых, мы упомянули (по объему страниц) едва четверть, мы не «упомнили» почти всю «научную» часть статьи. Во-вторых, когда мы читали эту статью, то уже очень интересовались нашим героем. В-третьих, вернувшись домой после чтения, мы тут же бросились листать имеющиеся у нас три томика означенных поэтов, чтобы все проверить личным впечатлением... В-четвертых, это неважно, как мы упомянули.

Мы нашли сочинение Левы основательным, но необоснованным, содержательным, но недоказательным. Но сопоставление текстов, освежение и пере-

тряхивание их в нашей памяти было небесполезно, и это благодаря Лева. Поэтому-то, может, и удалось многое остановить в памяти, и до сих пор, как только возьмем томик с полки, неизбежно и неотвязно помнится статья Левы, — так что, в конце концов, мы с ней чуть ли не примирились. И тогда подумали, что, может, и не так уж он не прав, то есть, может, он и не прав, но имеет п р а в о... и тогда посягновение его на святыни не кажется нам уже столь святотатственным. Посягать на святыни можно ведь и ради с в я т о г о . Авторитеты заслоняют нам суть, решительно заявляет Лева. Нам нравится, в этом смысле, больше всего в Левиной статье то, с чего он начал — с с о д е р ж а н и я , оставляя совершенство формы как бы в стороне, как необходимое условие для начала разговора: о чем все это?.. ах, вот о чем...

Единственно, в чем нам остается упрекнуть Лева, что позиции и принципы, выраженные в его статье, при последовательном им следовании, исключают возможность самой статьи, самого даже факта ее написания. Что нас удивляет всегда в опыте нигилизма — это его как бы завистливость, его потребность утвердиться на свержении. Своего рода сальеризм борцов с Сальери... Ведь если ты отрицаешь, то отрицай до конца. Почему же такое стремление занять место свергнутого? Тот (свергаемый) хоть утверждал в соответствии с занимаемым им в пространстве и времени местом. Его утверждение и его место столь едины, что отрицать утверждение можно лишь вместе с его местом. Парадоксально отрицать одну половину, желая вторую... В этом смысле любая выраженность отрицания удивительна. Человек, ненавидя, скажем, суету, начинает, суетливо же, ее клеймить. Нет чтобы, раз уж ненавидишь ее — не суетиться?.. Ненавидя несправедливость, начинают восстанавливать справедливость по отношению к незначашему и отмершему, на пути к этому восстановлению верша похода несправедливость по отношению к чему-то живому. Если осточертеет пустота и никчемность человеческого многоговорения, то, отрицая ее, сам начинаешь болтать как безудержный... И так во всем. А главное, что в результате этой деятельности — ничего не происходит, ничего не создается... О люди!

Ну что, скажем, Тютчев сделал Лева? Да что он сделал такого Пушкину, в конце-то концов?.. Даже если Лева во всем прав, то в чем виноват Тютчев? В том, что приревновал Пушкина и к Пушкину? В том, что сквозь всю жизнь пронес он особые и тайные свои с ним отношения? Это еще не преступление. Личного отношения к Пушкину всегда было больше, чем пушкинского к кому-либо, а со смерти его это стало даже своего рода российской традицией — односторонние личные отношения с Пушкиным (у Пушкина род таких же отношений устанавливался лишь с Петром...). Так что Тютчев — лишь пионер этих отношений, как пионер и во многих других отношениях. К тому же это именно он написал «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...» и много других замечательных стихов (что не отрицает и Лева). И виноват он разве лишь в узнавании, в узнавании Левай самого себя, в нелицеприятном противостоянии собственному опыту. Тютчев виноват в том, что с Левой произошла Фаина, произошел дед, он виноват и в том, что, как и Лева, опоздал с рождением и возникновением (каждый — в свое время), и опоздавший Лева, обратившись

сердцем к другой эпохе, не прощает Тютчеву его «современное» пребывание в ней, для Лева желанное и недоступное... Ах, если бы то был Лева! то он бы обнял, то он бы прижал к сердцу Александра Сергеевича... но хватит, он уже обнимал раз своего дедушку.

Нет, положительно, всякий опыт ужасен! Тем более — выраженный. Воплощенный, он торжествует над создателем, хотя создатель, быть может, и тшится, что наконец его превозмог... Воплощенный опыт жалит самого себя, как скорпион, и идет на дно. И если ты уж имел несчастье приобрести его (опыт — как «лихо» в сказке: в торбочке, в мешочке...), то уж не воплощай, потому что не ты его — он тебя повторит!

Тютчев же — на своем месте. Он так же не заметил, что с ним стрелялся Лева, как Пушкин (если Лева прав) не заметил, что с ним стрелялся Тютчев. Но есть и разница...

К тому же странно, перетряхивая и свергая авторитеты, возводить, еще повыше, другие. Действовать любимым авторитетом против нелюбимых, как фомкой, как рычагом, как дубинкой... Опять то же: ненавидя авторитеты, класть себя во славу их. О люди!

О Пушкин!..

БЕДНЫЙ ВСАДНИК



*На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный.
Не за себя.*

«Медный всадник», 1833

■

*А то ведь, ангел небесный мой,
это будет последнее письмо;
а ведь никак не может так быть,
чтобы письмо это было последнее!
Да нет же, я буду писать, да и вы-то пишете..
А то у меня и слог теперь формируется...*

«Бедные люди», 1846

■

(КУРСИВ МОЙ — А. Б.)

Рыхлая дачная колода с круглыми уголками... Что было, что есть... — (Мы раскинули карты.) — что будет... Для себя, для дома... — (Гадаем на Леву.) — для сердца... Эта пара ушла, и эта ушла... с чем он остался? Бубновая Фаина, крестовый Митишатьев... — (Мы знаем лишь это простенькое гаданьице.) — Чем сердце успокоится?

Потрясеньице, бубновая дама, недалняя дорога, хлопоты... Все это так — кто откажется? Что было, что есть... что — будет?.. Карты бывают на редкость правдивы, потому что обо всем расскажут, лишь одного не обозначив с достаточной точностью — времени. Да, дорога, да, казенный дом и, конечно, дама. Но — когда?..

О будущем — я не могу. Тем более что, орудуя опытом, в будущем все развивается с какой-то химической неизбежностью. Реакция $H_2O + NaCl =$ соленая водичка. Слезы.

Будто так: раннее утро, молодая жена, мы строим дом... Лесом пахнет стружка, да и сам лес неподалеку. Нам хватает любви не представлять труда... Мы, для начала, роем яму, котлован. Фундамент, первый венец... Жена склоняет голову мне на плечо, шепчет. У нас будет сын... Рубашка липнет к спине, все шустрее машу топором: будущее — сын, дом. Главы, части, флигельки. Оконные проемы, дверные. Герой вошел, забыл выйти, кто-то лезет в окно. Но, ах, я устаю, все устает... Устает топор, устает бревно, устает жена, ребенок устает во чреве. Уже лень родиться — устает само время.

Размахнулись мы с этой жизнью — длинная... Пожадничали. Не стали строить времяночку — сразу дом, домину. Надоело, едва гвоздь за день заколотить — конца не видно. День стал короче, ночь длиннее, а все — вставать неохота. Жена — незнакомая, с вечным пузом, — зарябела, как осень. Осень и есть: пошли дожди, скорее крышу надо.

А может, и так, без крыши? Чтобы стоял среди щепок, сквозя окнами во все стороны света: южный сквознячок, восточный лес, западный сосед, северный проселок?..

Скажут, как жить в таком доме?

Я отвечу:

— *А в Пушкинском доме и не живут. Вот один попробовал, три дня всего — что вышло? Нельзя жить в Пушкинском доме.*

— *Запутали вы нас вашими аллегориями, — скажет читатель.*

Я отвечу:

— *А вы не читайте.*

Так. Читатель вправе меня спросить, я вправе ему ответить.

Или, как сказал про меня поэт:

*Напишу роман огромный,
Многотомный Дом — роман...
Назову его условно,
Скажем, «Ложь» или «Обман»...*

Мы обещали, мы надеялись — свет в конце... Но — у нас предчувствие... Мы не сможем теперь дописать до такого конца. Никакого конца, между нами, нет. Его писатель выдумал.

Мы спешим — впереди Варшава, на носу 1 сентября — срок сдачи, капли первой осени каплют мне на стол и машинку — крыши-то нет. Впереди Варшава — творческая командировка по роману (нам важно изучить Россию в границах Пушкинского века). Нам, в таком случае, еще предстоит Финляндия и Аляска, прежде, чем мы решимся выехать в Западную Европу или, скажем, в Японию; но это уже для следующего романа — Япония... Печальный опыт строительства склоняет нас к иной крайности: безнадежное стремление построек вверх, эту несчастную вертикаль, вызванную в нас малой площадью петербургского участка, хотим мы, в мечтах, претворить в горизонталь — для свободного и безвольного размещения в пространстве путешествия и гостиничной принадлежности бытию...

У нас далеко идущие планы: нам хочется понять страну в состоянии Империи.

А мы все еще — в Петербурге, переезжаем в Ленинград...

Торопливость, может, и порок, но что поделать, если жизнь и время имеют безнадежно разные скорости: либо ты вырываешься из времени, либо отстаешь от собственной жизни. Плоду надоело ожидание рождения к концу второго месяца,

и, если он появится к концу девятого, то от безнадежного безразличия к вопросу бытия и небытия. Не удалось стать вовремя рыбкой, попозже птичкой, все пропущено — человек родился.

Дом мой с непокрытой головой — пуст. На полу желтеют листья, которые сбросил мне клен в пустое окно. Герои в нем не живут — мышам пожить нечем. Герои жмутся у соседей, снимают угол.

В Пушкинском доме и не живут. Один попробовал...

ДЕЖУРНЫЙ

(Наследник — продолжение)

Итак, именно так обстояли у нас дела слевой накануне ноябрьских праздников 196... года. Прожив для себя достаточно длинную жизнь, Лева был человеком мнительным. То есть он преждевременно взволновывался предстоящим и встречал его почти равнодушно, когда оно наступало. Так он жил по соседству с бедою, всегда переживая ее рядом с непосредственной болью. Он «так и знал», когда что-нибудь с ним наконец случилось, а потому бывало еще обидней, что судьба тупо не меняла своего рула, легко смывая преграду его предвидений и предчувствий...

Эту осень Лева переживал особенно остро. Слишком мерно струилась та самая «божественная нить», слишком долго ничего не происходило, чтобы все это «ничего» не скопилось и не означило хоть «что-нибудь». Лева ощущал над собою некое неявное сгущение, какой-то замысел сил... Неизвестно, откуда и что ему грозило, но Оно подкрадывалось к нему, неопределенное и неоправданное, оттого все страхи Левины казались и ему самому неумными и неуместными, делиться, без боязни быть непонятым, было не с кем, до тех пор пока они не оправдались бы — все смыкалось вокруг Левы. Ждать удара было по-прежнему неоткуда, и он объяснил себе свои предчувствия так, что слишком давно ничего не писал «своего», уже без малого год, даже больше года... Проходила осень, на которую он еще весной с такой надеждой все отложил, золотая осень, которую он, по примеру Алесандра Сергеевича, предпочитал для вдохновения, вот и октябрь прошел — ничего. И если он не сядет наконец, то и будет совсем плохо — так объяснял Лева тягость своих предчувствий. Если он не сегодня-завтра не одолеет себя, то и впрямь, то и что-нибудь внешнее случится... заключал Лева, изучив свою судьбу.

И случилось. Было это скорее насмешкой, чем ударом этой судьбы. На каждые праздники кого-нибудь из наиболее невезучих сотрудников оставляли дежурить в институте... В этот раз такая честь выпала Лева. Выбор пал на него по многим причинам, самой веской из которых, хотя и не названной, была та,

что Леве на этот раз необычайно трудно было отказаться. Как молодой, неженатый (разведенный), не несущий никаких особых общественных нагрузок, хотя и беспартийный, сотрудник, у которого, кстати, вскоре после праздников назначена была защита, отказаться он не мог.

«Вы, конечно, можете на часок-другой отлучиться днем, — ласково, по-отцовски говорил заместитель директора по административно-хозяйственной части, он же секретарь парткома, говорил «идя навстречу»... — Часок-другой... Поесть там, то-другое... Предварительно договорившись с вахтером. Ночью — ни-ни!» Все та же Левина «репутация» не давала ему возможности возразить. Его отказ мог бы быть истолкован антиобщественно, что и подчеркнул взглядом, одним лишь взглядом, замдиректора. Взгляд у него был особый: приходилось думать, вставной ли у него глаз, но, присмотревшись, оказывалось, что не вставной.

Отказаться Леве было не выгодно.

«Ну что ж...» — думал Лева. Он убедил себя, что так даже к лучшему (что ему, впрочем, оставалось?), что с Фаиной он, так и так, снова в разводе и потому никаких планов веселья на праздники у него не было, что наконец-то он сможет сесть за дело, а где же еще, в праздничной суете, ему удастся проработать, как не здесь?.. Решительно, иметь возможность поработать три дня в полном уединении — есть божье благословение!

Тем не менее первый же свой, предпраздничный еще, вечер в институте Лева провел в совершенной и все возрастающей тоске. Ему показалось, что это его праздничное невезение вовсе еще не отвело от него руки судьбы...

Сесть за работу ему не удалось. Он отворил свою диссертацию («Некоторые вопросы...»), брезгливо полистал стоя. Поза его была небрежна и пластична, демонстративна и отдельна от этой пухлой рукописи... будто кто-то мог его видеть! — он все еще оборонялся, с абстрактной ловкостью... Полистал, скривился: набежал полный рот слюны — приступ тошноты. Сглотнул — и захлопнул театрально. Оглянулся — но никто не мог его видеть.

Он слонялся по коридорам, заходил в пустые комнаты, рылся в чужих столах и ничего не находил там любопытного — одну чепуху и дрянь. Погода за окном была, как грязная и мокрая вата. В заведении было холодно, хотя и топили. «Топят — музей...» — сыро подумал он... В течение рабочего дня

Леве никогда не бывало так холодно. Он впервые так остро ощутил неприязнь к своей академической цитадели.

Он звонил Фаине — ее все не было дома. Когда же он наконец услышал ее бодрый и веселый голос, его тренированное воображение мигом нарисовало определенные картины, столь привычные, что почти необходимые ему в своей растрavляющей яркости. Но нет, сказала она, он все это придумал как всегда, просто такое у нее сегодня настроение, просто предпраздничное... а как его дела? Она, казалось, ничего не помнила: ни их последнего разговора, ни оскорблений, ни разрыва... Она ему звонила — его не было дома... Вот как, даже звонила? От ласкового ее тона, от неожиданной снисходительности Лева растерялся, растаял и охотно стал жаловаться на судьбу, запереувшую его в стенах института, по-видимому ожидая от Фаины сочувствия. Но она вдруг рассердилась: вот всегда с ним так, а она-то хотела провести праздники вместе... — повесила трубку...

Лева привычно раздергался, начал судорожно звонить, путая цифры, но все было занято. Вдруг, не успев положить трубку, телефон зазвонил сам. Лева, затрепетав, выхватил трубку как пистолет. «Я тебе все звоню, звоню — все занято и занято! — бодрым и веселым, как бы не позволяющим себе никогда унывать, голосом говорила мама. — Левушка, мы все тебе очень сочувствуем, но ты не унывай, Левушка...» Лева вздрогнул: что? откуда это «не унывай, не унывай...»? «Вот и отец тоже...» — быстро говорила мама (она полагала себе задачей — улучшить отношения между отцом и сыном)... В Лева приподнялось и упало, как в лифте, он безнадежно сел на стул, оплыл. Да, да, говорил он, отставляя трубку от уха. Ел ли он, а то она сейчас прямо к нему приедет и привезет, ты не поверишь, грибы!.. коржики, она как раз только испекла, совсем свежие... Коржики — это почему-то задело Леву, и все в нем зазудело и заныло. От любви, жалости, стыда и нетерпения — Лева, зашипев, подпрыгнул и перевернулся, как гриб на маминой сковороде. Может, Фаина ему звонит как раз сейчас? Нет, нет, ничего не нужно! — грубо и сухо прервал Лева.

Тут же решительно набрал номер Фаины. Хватит! Он хотел ей окончателно сказать, чтобы она его не разыгрывала, что он все знает, что он не мальчишка уже, чтобы вертеть им, как... и т. д. Но было занято. Тогда он захотел ей объяснить, что это не его вина, что он застрял в институте, что (хочешь?) он плюнет сейчас на все, и на институт, и на диссертацию, и придет... Но было занято. Тогда он захотел сказать ей просто, не объясняясь, что по-прежнему любит ее, пусть на него не сердится, и они

тогда придумают, как быть, потому что всегда что-нибудь можно придумать, если любить и не мучить друг друга... И тут вдруг соединили. Лева сказал ей, с кем это она, интересно, болтала полтора часа... Фаина сказала... У них состоялся совершенно беспредметный разговор, и оба уверенно швырнули на рычаг трубки. Больше никто к телефону не подходил, сколько Лева ни звонил. Потом он без конца стал попадать в аптеку.

Но и эти телефонные страсти помогли ему скоротать вечер, и он улегся на директорском диване — уснуть же не мог.

Он вдруг вскочил, решительно и бессонно, зажег свет и осветил свое вытянувшееся и побледневшее, с разверстыми, блестящими глазами лицо... Он подошел к столу, резко отодвинул диссертацию, чуть не сбросив ее со стола. Достал из портфеля зашарпанную тонкую папку: давно он все носил ее с собой, давненько не раскрывал...

Там была и статья «Три пророка», тот самый экземпляр, с ушами... Ее он отодвинул туда же, к диссертации: он относился к ней теперь, как к «Пророку» Лермонтова. Дальше была другая, наполовину перепечатанная, наполовину в рыхлых, будто отсыревших заметках от руки — эту придвинул к себе. Перелистнул, перелистнул — приостановился, стал читать. Радостно зачмокал, закивал головой... Да, да! подумать только...

И мы заглянем ему через плечо...

Это была «Середина контраста» — работа Левы о «Медном всаднике». Начал он ее тогда же, сгоряча, после «Трех пророков», но, уже в середине, стал всем показывать... и с чем-то таким столкнулся, с неким недоумением. Работа получилась, уже можно было судить, даже более уверенная, ясная и крепкая, более и профессиональная — Лева стремительно обучался — и вдруг она оказалась как бы не новостью... Хотя Лева так же повествовал, так же непосредственно («не» — вместе и отдельно) излагал новые и не новые, но свои, самостоятельно его озарившие мысли — читавшие похваливали, но без энтузиазма, словно они где-то это уже могли читать, словно эта статья как бы уже была раньше: не новость... Не новостью стало то, что Лева, в принципе, способен написать что-то, с началом и концом, от себя. Ну, можешь... ну, показал... но — сколько можно? — хватит, отметился, и будя... Что-то из этого было в соскальзывающих по щеке взглядах. И Лева остыл, расплескался, охладел. Его нагнал новый, уже грандиозный, суперзамысел. Лева стал азартно что-то набрасывать — и осекся...

Сейчас он читал «Середину контраста» и ерзал от нетерпеливого удовольствия: «Как это все верно, верно!..» — озирался

по сторонам. Как это он, такой еще молодой, ничего не понимавший и не знавший, все знал! Он прочитал сейчас о Государстве, Личности и Стихии — и охнул: Господи, неужели это он, Лева, написал?!.. Вскочил, пробежался по комнате, нетерпение его нарастало, взвивалось к потолку, глаза не видели и туманились, потирал руки: так, так... так! А как это он здорово написал — о середине контраста, о мертвой зоне, о немоте, которая есть эпицентр смерча, тайфуна, где спокойно, откуда видит неуязвимый гений! Про главное, гениальное, немое, опущенное, центральное, про ось поэмы!.. Здорово!

Лева бросился к столу... Нет, и это уже пройдено! Он выхватил оставшиеся в папке листы... вот он! свод, купол! сейчас, сейчас... поймаю... Это же, это же мое дело! Вот и напишу, здесь, всем назло... — более мелко трепыхнулось в нем и отстало — он погрузился в листы. Образ деда, приникшего к кружке, подскочил и отскочил напрочь. Вот оно... ради чего... стоит... Это и был его суперзамысел. «Я» Пушкина» — не больше и не меньше. Собственно, это естественно для него, такой замысел... Отойдя на несколько лет, он теперь отчетливо видел, что и «Три пророка», по сути, о том же, и тем более в «Средине контраста» — там уже вообще только об этом. Уже тогда намечалась такая органическая линия! уже тогда... Эта невольная цельность еще вдохновила Леву. Он взял перо. Сейчас, именно сейчас!.. Купол!..

Он придвигал и отодвигал листки, выравнивал их края... Он читал эти вдохновенные, обрывочные и «для памяти» записи — и не понимал, что он имел тогда в виду. Это его теребило и мучило: он не мог отдалиться тому, что им владело сейчас — ему непременно необходимо было вспомнить, что он имел в виду тогда, — и не мог. Он отодвинул заметки и взялся за стопку «планов» работы. Их было уже много — первый, другой, третий... Это были следы его «возвращений». Планы становились все отчетливей, и под конец он нашел даже просто копию — патологически ровный, тщательный и мертвый почерк.

Ужас подкрался к нему не до конца: Лева решительно встал и отвернулся от того, что в темном углу, от этой годуновской кашицы во рту. «Заново! заново!» — немо вскричал он, как Шаляпин: «Чур, чур, дитя!» Новый план! — и не заглядывая, не оглядываясь, начинать все снова, сейчас! Только так.

Чистой бумаги не было. Ящик стола был заперт.

Все еще возбужденный, и испуг прошел... выскочил он искать бумагу. Дернул соседнюю дверь — ага, ключи у вахтера.

Он спустился тогда, с бессонным своим лицом, к вахтерше, и они разговорились. Лева вежливо выслушал ее рассказ о дочери и пьющем зяте, и ему показалось, что он этот рассказ где-то уже слышал или, может, читал. Ему стало скучно и хотелось поговорить о себе. Что он и сделал, постепенно увлекаясь и впадая в ненужную откровенность. Вахтерша слушала со здоровым любопытством и туповатым оживлением на лице: Лева рассказывал о своей любви с большим чувством. Он уже ощущал тот ужасный осадок, который сопутствует излишней болтливости. И чем больше он его ощущал, тем стремительней говорил. Вахтерша уже могла не поддерживать беседу — лишь слушала с очевидным сладострастием. И Лева вдруг сморщился и осекся. Тогда вахтерша, совершенно точно почувствовав свою власть над Левою, попросила отпустить ее к дочке, чтобы помочь ей справиться с пьющим зятем: все равно они вдвоем тут ни к чему, и он прекрасно справится сам. Лева тут же поспешно согласился, сказав «спасибо» вместо «пожалуйста».

Лева поднялся к себе наверх. Освещенно и отдельно лежали раскиданные по столу листы, будто они одни и были в остальной невидимости комнаты... будто плыли. Лева подкрался к ним, заглянул тихонько и сбоку, как через чье-то плечо. «Ну да. Конечно... Но — кому? для кого?! зачем!!!» — молча вскричал он — и сгреб их, не разбирая, в портфель.

Воровато потушил свет и поспешно лег. Он хотел не вспоминать о вахтерше — но вспомнил. Тут Лева, такой большой, представил себе безбрежность казенного дивана, черного даже в темноте, сжался в комочек, как маленький мальчик, чтобы как бы сиротливо и крохотно поместиться на нем, и начал нарочито всхлипывать. Ему очень хотелось плакать. Он представил себе, как в детстве, собственные похороны — и все равно заплакать почти не удалось. Но немножко все-таки удалось, сухими, разучившимися слезами. Больше не получилось, и ему ничего не оставалось, как решить, что — хватит, что за детство!, что он уже успокоился. «Утро вечера мудренее...» — криво подумал он и торопливо, с опаской, уснул.

Снилась ему широкая река, как бы та самая, что течет у их института, но и не та самая. Она неожиданно и не вовремя вскрылась ото льда и оказалась густая, как клей. Над ней стоял тяжелый пар, и все сотрудники института, невзирая на положение и возраст, должны были плыть через нее, для сдачи норм ГТО.

Многие уже плыли, нелепо и медленно вытягивая белые руки из густой слизи. И лишь он да еще один доктор, благородный старик с длинной бородой, которого все за глаза звали Капитаном Немо, жались и прятались между свай, и Капитан Немо все дрожал и подсовывал бороду под плавки. А у самого берега, болтаясь на медленной, густой волне, как поплавок, лежал на спине, в полном своем костюме и с орденскими колодками, заместитель директора по административно-хозяйственной части и, глядя на них неправдоподобно круглыми и застывшими глазами, манил их картонной рукой...

Разбудил его телефонный звонок. Лева судорожно вскочил, проглотил затрепыхавшее, подступившее к горлу сердце и некоторое время озирался, не понимая, где он и почему. Наконец прошлепал в носках к телефону и как раз опоздал: телефон смолк — только Лева потянулся к нему. Лева так постоял над ним, на вывернутых стопах, поджимая пальцы, рассматривал, не узнавая стол, словно на нем было пятно. Вдруг вчерашний вечер опрокинулся на него, но все это, тем более вахтерша, был еще сон, театр теней — Лева этого не помнил, он просто еще раз проснулся с тем странным вечерним чувством интеллигента, что был вчера как бы пьян: брал или не брал в рот — безразлично. Кто бы это мог звонить так рано? Фаина?.. Однако — не Фаина: телефон зазвонил снова, как бы громче и чаще, чем в первый раз... В трубке раздавался волнистый плеск, как в тазу...

— Ну как, князь, дела?

Это был Митишатъев, один из наиболее близких новых институтских приятелей, заведшихся в последнее время... Лева взглянул в окно, в казавшееся ледяным небо, и обрадовался Митишатъеву.

— Гниешь? — ласково сказал тот своим прочным, уверяющим баском. — Ну, так я сейчас к тебе забегу. Мы идем в тесных рядах и как раз поравнялись с твоей клеткой...

Так вот откуда этот странный плеск в трубке! Действительно, институт был расположен так, что, с одной стороны, это был совсем тихий и безлюдный уголок, а с другой, всего через квартал, пролегал магистраль, по которой всегда протекал поток демонстрантов, направляясь к Площади. Следовательно, Митишатъев был в трех шагах. Так, так.

Лева подошел к окну... Фаина! о Господи... Что это за ватник? «Ха! — подумал Лева с тоскливым злорадством. — Столкнется ли она с Митишатъевым? ...Прошла... Вот все, что у меня осталось...» — скорбно вздохнул Лева, снова доставая бедные свои листки.

Внизу стучали, звонили, гремели. Это вдруг достигло его — грохот... «Слетаются... — мрачно подумал Лева, скорее сгребая со стола бумаги. — Чья это служба так налажена — непременно не дать человеку создать хоть что-либо?..» Когда он подошел к двери, перебирая ключи, — к стеклу уже припало, расплющив нос, толстое лицо Митишатъева: тот слепо шурился и ничего не видел в темном вестибюле, сам хорошо освещенный. И был он не один: за его спиной маячил еще кто-то, рыжий, без шапки. Лицо показалось знакомым.

Лева сам не ожидал, что так обрадуется Митишатъеву.

— Ваш пропуск? — игриво сказал он, ожидая, пока они пройдут, чтобы запереть за ними.

— Вот! — и Митишатъев достал из кармана маленькую.

— Готтих, — представился рыжий мальчик, чопорно поклонившись, даже шаркнув, и покраснел.

— Фон Готтих! — воскликнул Митишатъев и хохотнул. — Мой дипломник. Твой поклонник. Считает тебя четвертым пророком...

Лева припомнил смутно, что как-то видел Готтиха в коридорах института.

И они пошли наверх, похохатывая и похлопывая друг друга, Готтих скромно приотставал на ступеньку.

— Ты с ним поосторожнее... — сказал полушепотом Митишатъев. — Он... — и выразительно постучал по перилам.

— Что ж ты его привел?.. — изумился Лева.

— Уважает нас... — довольно рассмеялся Митишатъев.

И они достигли директорского кабинета.

— Осваиваешься, значит? — сказал Митишатъев, иронически взглядывая на дверную табличку. — А что, я всерьез говорю... Был бы хоть директор с приличной фамилией. Князь! фирма! — говорил он, с треском распахивая дверь, врываясь в кабинет и начиная с запозданием оттаптываться и отряхиваться — отдуваться. Он сбросил на диван пальто и с шумом и удовольствием забежал по кабинету, потирая словно бы озябшие руки. — Вот и стаканы есть! — восклицал он. — И запить есть чем. — И он переносил поднос с графином на директорский стол. — И закусь есть чем, — продолжал он, схватывая со стола массивное пресс-папье и подчеркнуто беспомощно пробуя его укусить, — промокашка, так сказать, имеется... Нет, ты мне вот что, князь, скажи, где мне тридцать рублей занять?

Короче, Митишатъев произвел столько шуму, словно ввалилась с морозу большая компания. «Зачем ему еще общество? — с восхищением и завистью подумал Лева. — Он один

целое общество...» Готтих пока что тихо снял пальто, повесил его куда положено — на вешалку и стоял около вешалки, разглаживая волосы и выравнивая плечи. Митишатьев тем временем успел сбежать за недостающим стаканом и принес целых два. Вскрыл банку с бычками, разлил маленькую по стаканам.

— Ну, прошу... Чем Бог послал.

И он поднял свой стакан.

Готтих подождал, пока Лева поднимает свой, и тогда тоже поднял.

— С великим праздником, дорогие мои-и! — вскрикнул Митишатьев как бы с дрожью в голосе и даже со сдержанным рыданием. — Водкой можно и чокнуться, — добавил он спокойно. — Твое здоровье, ночной директор... И ваше, Готтих... И наше, — и Митишатьев опрокинул стакан и выпучился, поспешно запихивая в рот бычка. Лева выпил с достоинством, а Готтих поперхнулся и уронил бычка на ковер, уронив, вчень покраснел и засвистел «Сердце красавицы», незаметно подпихивая бычка под стол.

— Ай-яй! — сказал Митишатьев. — Этому я вас не учил. — Митишатьев, без тени брезгливости, поднял бычка за хвост и бросил его в корзину. — Надо все-таки уважать...

Уничтожив так Готтиха, Митишатьев подбежал к пальто и достал еще маленькую.

— Еще по одной? — И, не услышав ответа, разлил.

Выпили. Лева ощутил тепло и приятность, глаза его повлажнели.

— Что бы я без тебя делал? — сказал он Митишатьеву.

— Уж и не знаю — привел бы девочек, а?

— Да ну! — махнул рукой Лева. — Так вот куда лучше...

— Что ж мы стоим? и не курим?

— Действительно, — удивился Лева. — Всегда забываю, что я курю, когда выпиваю, и все думаю: чего же не хватает?

— Еще выпить, — подсказал Митишатьев и достал маленькую.

— Ну, ты даешь! — восторженно сказал Лева. — Сколько же их у тебя?

— Сколько есть — все наши, — сказал Митишатьев.

Готтих посмотрел на маленькую мутно и с испугом.

— Ладно, перекурим, — вздохнул Митишатьев, взглянув на Готтиха. — Скажите, князь, отчего это так приятно производить: к-н-я-зь...

— В детстве я больше любил слово «граф», — задумчиво сказал Лева, глянув на Готтиха.

— Это от Дюма, — сказал Митишатъев. — Гр-граф-ф де-ля Ф-фер-р!.. Да ты не обращай на него внимания, — кивнул он в сторону Готтиха. — Он же пьян.

— Теперь мне тоже больше нравится «князь», — усмехнулся Лева.

— Теперь вообще всем это стало нравиться... Куда ни придешь на вечерок, обязательно окажешься рядом с древним отпрыском. Это у нас-то, через столько-то лет — и вдруг такая тяга у интеллигентов к голубой крови!.. Чуть выпьет-то и граф уже, по крайней мере, тайный советник. Тяга прямо как у кухарок до революции... Ну, те хотя бы у них служили. А эти-то что? Недавно прихожу в один дом, начинаю знакомиться, хлыщ один, действительно на гусара похож, только в териленовом костюме — Нарышкин, говорит. Вот, думаю, кровь-то сказывается — сразу видно! Я у всех спрашивал: что, действительно Нарышкин? — смеются. А он, оказалось потом, Каплан вовсе...

— Да... — довольно засмеялся Лева, потому что разговор был ему лестен: он-то действительно князь, и это ни у кого не вызовет сомнений. — Это ты верно подметил, расхвастались необыкновенно.

— И не хвастались бы, если б это не выгодно было... Да что, на этом сейчас почти карьеру можно сделать! Во-первых, если князь, то уже не еврей, но если и еврей — все равно лестно: сочувствующий, уважительный найдется. Соскучились люди никого не уважать и всего бояться. Уважать им охота. А тут, чего проще — князь... Не страшно. Вот ты, например, думаешь, что ты все сам, что в твоих успехах это ничего не значит, что ты князь? Как бы не так. Тебе многое прощают из того, что не простят другому, тем более ты так прост, лестно для сволочи прост, многое тебе посчитают естественным из того, что другой понимать должен и знать свое место. Или еще доказать должен...

— Да что ты раскипятился? — растерялся Лева.

— Конечно, какие сейчас князья!.. А все-таки... Анкет перестали бояться, — ядовито заключил Митишатъев, — вот знамение времени, так сказать... Вот и хвастают.

— Почему же хвастают? — с трудом разлепив губы, сказал Готтих. — Вот я, например, барон, а не хвастаюсь же?

— Цены бы тебе не было!.. — расхохотался Митишатъев, а Лева отвернулся улыбнуться в сторону. — Цены бы тебе не было — будь ты пролетарского происхождения... Но ты же у меня — фон! Это точно, Лева. Так... Встаньте же, ведите себя,

как положено в высшем свете. Вообразите, свечи горят, дамы вальсируют, и я вас представляю друг другу, хотя последнее труднее всего вообразить... Я сын простого лавочника. Вот ведь как, тоже не пролетарий, тоже с происхождением. Ну да в наше время чего не бывает... Итак, я вас представляю друг другу: Князь Одоевцев! Барон фон Готтих! А? Каково! Звучит... Князь Одоевцев — осколок империи, и барон — тоже осколок... Я — в осколках! Ха-ха-ха! — захохотал Митишатъев надолго. Наконец, как бы вытирая слезу, разрешил: — Ну, можете сесть. Все. Вообразили — и хватит. Больше такого вам не представится, поверьте мне. Или ты надеешься на реставрацию? А, Лева?

— Ну, уж нет, — с неподходящей серьезностью все-таки косясь на Готтиха, отвечал Лева. — Мне-то она уже зачем? Что я-то с ней буду делать? Это смешно даже представить: что во мне осталось от князя... Имя? Какой я князь, — молвил он печально.

— А достоинство твое? Достоинство-то твое, оно выпирает?

— Какое достоинство — лень одна, нежелание сорваться.

— Не говорите так, — вдруг сказал Готтих, — это недостойно. Надо нести... с честью...

— Что надо нести? — переспросил Митишатъев. — Чепухи не надо нести, милый... И перебивать старших тоже...

— Я могу и встать! — обиделся Готтих, бессильно опираясь о подлокотники и падая назад в кресло. — Я могу и уйти!

— А как же маленькая? — сказал Митишатъев. — Мы же еще не допили?

— Вот допьем — и уйду, — сказал Готтих.

— Ты уж меня извини, барон, — сказал Митишатъев, когда они выпили. — Это я пошутил. Может, грубо, глупо, но пошутил, но любя... Дай мне свою руку. Вот так. И никогда, чтобы больше, верно? На всю жизнь, правда? Ну, давай поцелуемся... — И он подмигнул Лева.

Лева стало противно и скучно.

— Не надо, — сказал Лева.

— Ладно, ты прав, — посерьезнел Митишатъев. — Прав, как всегда... Нет, серьезно, примечательная судьба у парня. Он, представь себе, поэт. Печатается. Сотрудничает в патриотических редакциях... Фон Готтих — стихи о мартенах...

— О матросах, — поправил Готтих.

— Ну да, о матренах... Такой судьбы в русской поэзии еще не бывало. После десятилетки отпустила его баронесса со слезами в плавание. Плавал он, плавал — и вдруг сообразил. Пошел

в библиотеку, взял подшивки старых областных газет и поспысывал оттуда он праздничных стихов и стал их носить по редакциям: соответствующие стихи — к соответствующим праздникам. Ну, а это такое дело — как известно, голод. Порядочные не пишут, а непорядочным и без того хватает... Стали у него эти стихи брать и стали их, соответственно, печатать. Так он жил от праздника к празднику и носил вырезки в кармане: показывал уполномоченному, если что. Как вдруг — крушение. Какой-то кретин узнал свое! Подумай, какая память у людей!.. и зазвонил, затрубил... Даже фельетон появился: лицо без определенных занятий, плагиат и так далее. Наш барон оскорбился и решил: что мне отвечать за всякую дрянь, я и сам могу не хуже. Попробовал — и действительно: вышло лучше. С тех пор сам и пишет. Луч ш е пишет. Печатается. Сотрудничает... С портретом. И уполномоченному нос утер... Он теперь старше его по чину...

— Вы надо мной издеваетесь... — вяло сказал Готтих. — Я хочу уйти.

— А может, мы еще выпьем?

— Эт-то можно, — сказал Готтих.

— Только надо сбегать, а?

— Сами бегайте.

— Ты же все равно хотел уйти — все равно выйдешь на улицу — так что тебе стоит? — просительно сказал Митишатъев.

— Разве что так... Это верно, я не сообразил... — сказал Готтих. — Все равно ведь на улицу выходить... — И он, резко оттолкнувшись, встал, страшно побледнев при этом. И так некоторое время стоял, вытянувшись, идеально прямой и бледный.

Зазвонил телефон. Готтих упал обратно в кресло, а Лева снял трубку.

Это был старый Бланк.

Сняв трубку, Лева потерял равновесие: несколько оступился и некоторое время балансировал на одной ноге, — но главное, он балансировал на телефонном проводе, покачивался и зависал.

На одном конце провода, на конце Левы, находился Митишатъев — это была реальность: они были вместе и пили, Лева и Митишатъев; на другом конце, где-то очень далеко... (Лева даже странно подумал о некоем неправдоподобии: раз он не видит человека, с которым разговаривает, так, может,

его и нет; конечно, колебания переходят в электрический ток, меняется сопротивление, угольная пластинка, бред какой-то! что за отношение это имеет к тому, что один человек говорит что-то другому? При чем тут угольная пластинка?... на другом конце тем не менее — Исайя Борисович Бланк, благородный старик...

Одного Лева знал Митишатъев, другого — Бланк.

Лева был вынужден разговаривать с Бланком в присутствии Митишатъева. Его неприятно поражала столь резкая перемена собственного тона, словно заговорил другой человек; от собственной благовоспитанности — слегка мутило. Митишатъев иронично поглядывал из-под трубки, словно все про Лева понимая. Эта ухмылка, не более чем привычная масочка Митишатъева, тоже злила Лева своей выработанностью, что ли, техничностью, тем, что, независимо от прозорливости Митишатъева, она так подходила к случаю.

И пока на том конце рассыпался в любезностях старый Бланк, — Лева на этом конце тоже в ответ рассыпался, но рассыпался буквально, зримо для Митишатъева. Он был уже готов нахамить Бланку в угоду Митишатъеву, — но что-то не пускало: кровь не давала... Тут Бланк стал извиняться некстати — заизвинялся и Лева. Митишатъев, для иронии, сыграл «на зубариках» «Марш Черномора». А Лева, устав от этой своей двойственности, столь постыдно — надо же так получиться! — обнажившейся, уже не слышал, что говорил Бланк, со всем соглашался, в суть не вникая. Когда же повесил трубку — все понял и похолодел: Бланк сейчас будет здесь.

— Сейчас здесь будет Бланк, — сказал Лева иронично молчавшему Митишатъеву, неприятно ощущая, как в этой короткой фразе успела перемениться его интонация: он как бы не то вынырнул на поверхность, не то, наоборот, погрузился, — и если слово «сейчас» было еще произнесено в точности тем тоном, каким он разговаривал с Бланком, то слово «Бланк» Лева уже произнес тоном, каким перед тем разговаривал с Митишатъевым.

— Грядет Исайя! — хохотнул Митишатъев. — Гряди, гряди... Ис-сайя! А что, как ты думаешь, если я у него денег займу?

Леве все еще не хотелось поймать взгляд Митишатъева.

— Не стоит... — испуганно сказал Лева.

— Почему же не стоит? — Митишатъев как бы обрадовался, привычно ухватив Лева, ощутив его слабинку. — А вот и займу!

— Прошу тебя, не надо, — съезжившись от предчувствия, сказал Лева.

— Почему же не надо? Как раз он и может дать. Подумает, что купил или унизил меня, — и даст.

Лева молчал.

— Слышите, как каплет время? — спросил Митишатъев. — То грядет Исая!

— У Исаяи было удивительное лицо... — глубокомысленно изрек Готтих.

— Иди же вниз, отпирай, — сказал Митишатъев, — не слышишь, как Исаяя отряхивает свои бобруйские галоши?

Лева спустился по лестнице в невыразимой тоске.

Спускаясь с Левою по лестнице, мы расскажем немного о Бланке. Он — наш последний персонаж...

С Бланком у Левы были особые отношения. Бланк уже давно не работал в институте, существуя на пенсии. Он не хотел на нее уходить — он любил намекать на это: что его «ушли». Он терпел и продолжал появляться в институте, скорее чтобы потолочья в родной суете, посмотреть, послушать, чем для дела. Но у него имелся и вечный повод: «Одна работа, которую он сейчас пишет», нет, нет, говорить о ней преждевременно... Был он старик живой, бодрый и общительный, и просто ему было скучно торчать все время дома. «Творить» в тиши кабинета он не умел, да, кажется, и не хотел. Он приходил раза два-три в неделю и перебирался из кабинета в кабинет, слушая новости, сплетни и анекдоты и разнося услышанное из одного кабинета в другой. Он «не мог без людей».

Первое, что обращало на себя внимание в Бланке, была чрезвычайная внешняя опрятность, которую можно было почти счесть изысканностью и изяществом, хотя этими качествами она (опрятность) еще не была. Это была та нечастая печать физической чистоты, какая бывает у давно богатых и давно цивилизованных людей, в прочих же условиях эта черта все-таки индивидуальна... Бланк как бы мог легко общаться с кем угодно, с последней сволочью — и оставался все тем же отутюженным Бланком, без пятнышка. К Леве он потянулся сразу же, авансом — на породу, на фамилию. Он любил останавливать Леву в коридоре, и они подолгу разговаривали, и каждый проходивший мимо них вполне питал их разговор, состоявшийся, главным образом, из оценок и удовлетворения друг другом от совпадения этих оценок и, в свою очередь, от совпадения уже этого совпадения с некой общей, как бы абсолютной, оценкой, которая есть *мнение круга* (на этой «бирже» было точно вывере-

но, кто гений, кто талант, кто честен... и раздвигание подобных «обойм» было смелостью духа, грозившей повышением или понижением в мнении круга, как по службе). Так они обсуждали, и каждый проходивший мимо раздувал огонек их разговора, и, за какой-нибудь час, они успевали обсудить многих. Кроме радостно-общих тем, Бланк и Лева имели как бы и одну общую коллекционную страстишку. Один как бы уже давно собирал, — другой — тоже как бы собирал или собирался начать собирать. Были это то ли монеты, то ли спичечные коробки...

Лева охотно становился тем, кем его хотел видеть Бланк — человеком «породы», той культуры и порядочности, которая в крови, и ничем ее не заменишь, никак уж ее не выбьешь... Лева подыгрывал, конечно, но это доставляло ему то удовольствие, как будто Лева вспоминал что-то о себе, и была в этом какая-то не проявившаяся в его жизни правда. В этой роли он чувствовал себя естественно и, поскольку давно уже не знал сам, где находится и кто же он, даже доходил до полной достоверности ощущения, что он именно тот, за кого его Бланк принимает и за кого он ему себя выдает. Примечательно, что никогда — здесь его инстинкт был на высоте — не разговаривал Лева с Бланком в присутствии третьего лица: он замолкал и уходил, как только оно появлялось. Для Бланка это, естественно, сходило как бы за то, что у них разговоры не для чужих ушей и ни к чему профанировать настоящее их общение.

Бланк был как бы вот какой человек: он не мог говорить о людях плохо. Если он говорил, что все — ужасно, то его оценка отдельных людей была превосходна. Если же он позволял себе ужаснуться кем-нибудь, то говорил о жизни как о даре Божьем... Всякий раз его сознание, описав фантастический логический круг, взмыв спиралью, обернувшись, находило себе объяснение любому человеческому поступку с гуманистической точки зрения, когда еще не все потеряно, рано ставить крест и т. д. (Любопытно только, что, при такой его способности, для Бланка существовала группа людей, объединенная одной всего лишь общей чертой, группа, на которой крест был им поставлен заранее. Но — тем лучше становилось остальное большинство...)

Это-то безразмерное свойство, которое можно обозначить как доброжелательность, особенно прибилизило Леву к Бланку после той самой пресловутой истории с Левиным приятелем и того процесса, когда Лева так заметался и растерял лицо... Лева как раз вернулся из спасительного отпуска (а приятеля уже не было в стенах) и сносил, как мог, всякие недомолвки и намеки сослуживцев — тут-то к нему и подошел благородный Бланк.

Лева сжался, потому что, если мнение остальных было ему безразлично и могло быть безразлично лишь по расчету, по расчету же получалось, что им безразличен, прежде всего, сам Лева и что мнения у них и нет, то мнение Бланка, казавшееся таким незначительным в карьерных выкладках, словно бы, странно даже, именно оно, это пустяшное мнение, как раз что-то и значило, причем не только по-человечески — от него-то как раз что-то и *зависело*. То, с чем опасней всего не посчитаться... И тут благородный Бланк выдал Лева огромный аванс. Я понимаю, сказал он глубоко сочувственно, как вам тяжело переносить все эти слухи, всю эту грязь, тем более что вы и возразить-то не можете, как порядочный человек, потому что, защищая себя, как бы чистоплотно вы это ни делали, вы как бы невольно продаете своего друга, а в их зрении безусловно так, и только так; вы не способны на это, я вас так понимаю! но пусть вас хоть утешит, что я ни во слово из всех этих сплетен не верю... Лева чуть не расплакался, тут же в коридоре, от радости и от стыда, и взятку принял, тут же поверив, что все именно так, как говорит Бланк. Ведь это же надо, какой голубой человек! Бланк растрогался, увидев Левино волнение, опять истолковал его по-своему, благородно, и они долго, в сладком молчании, с влажными глазами жали друг другу руки. После этого их разговоры стали еще более проникновенными и у них появилась как бы общая тайна, и при встрече Лева уже предавался ему как пороку, сладострастно разыгрывая то, что хотел видеть Бланк. Так у Бланка появилось некое «право» на Леву...

И чем резче был контраст со всей Левиной жизнью, с тем, что он говорил только что сотрудникам, за минуту до того, как Бланк просунул в дверь свою седую кудрявую голову, и Лева, оборвавшись на полуслове, сразу же выходил к нему и начинал говорить совсем другие вещи, и даже голос его менялся — и чем резче и мгновеннее был контраст, тем, как ни странно (это самого Леву удивляло), ему было не больше, а слаше. Правда, никогда этот их разговор не происходил при посторонних.

Над их привязанностью посмеивались. Над Левой, как над его слабостью, пусть даже простительной; над Бланком же — вообще посмеивались.

И вот сейчас Митишатьев сидел напротив, а Бланк говорил в телефон трезвеющему с каждым словом Лева, что вот он, конечно, представляет, до чего сейчас ему тоскливо сидеть в праздники одному в этой богадельне, что вот его послала жена за хлебом — у них сегодня гости и как жаль, что его не будет, — и вот он уже с хлебом и возвращается домой и как раз порав-

нялся с институтом и звонит из автомата и сейчас зайдет, чтобы хоть как-то развлечь Леву и скрасить ему его тоскливое время... И Лева, совсем расслабев, так и не смог сказать Бланку, в чем дело и почему ему не стоит сюда заходить. Митишатъев ухмылялся, еще не зная сам чему, прислушиваясь к Левиному разговору, и тут же вдруг входил в силу, словно оживал и снова наливался жизненной силой старый механизм воздействия его на Леву. Лева уже был подвластен Митишатъеву, Леву раздирало между ним и Бланком, и не перевешивал ни тот, ни другой. В результате родилась какая-то его немота и мычание — и он ничего не сказал путного Бланку.

Митишатъев и Бланк были противопоказаны друг другу. Митишатъев убивал Леву в глазах Бланка, и Бланк убивал Леву в глазах Митишатъева. Развенчивание и разоблачение... И как предстояло Лева выкрутиться, как говорить сразу на двух языках, поступать в двух противоположных системах одновременно, — Лева было невдомек. И что сейчас произойдет — скандал, презрение — и где та малая кровь, которой, быть может, еще можно обойтись?.. — Лева казалось невозможным распутать этот, по слабости возросший, момент.

И он спускался отпирать Бланку дверь, тускнея с каждой ступенькой, и ему хотелось проглотить ключи.

«Слетаются...» — думал Лева.

НЕВИДИМЫЕ ГЛАЗОМ БЕСЫ

Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...

.....

Затем произошло нечто до того безобразное и быстрое, что Петр Степанович никак не мог потом уладить свои воспоминания в каком-нибудь порядке.

.....

— Что это у вас обои?

Передонов и Варвара захохотали.

— На зло хозяйке, — сказала Варвара. — Мы скоро выедем. Только вы не болтайте. (...)

Передонов подошел к стене и принялся колотить по ней подошвами.

.....

Пушкин
«Бесы»
1830

Достоевский
«Бесы»
1871

Ф. Сологуб
«Мелкий бес»
1902

Кто бы знал, до чего мне неохота вводить сейчас Бланка!.. Но — поздно: он войдет... А Готтих давно уже здесь. Раньше надо было думать, — а дальше все происходит единственным образом, безразличное к нашим попыткам как-нибудь улучшить отдельно взятую ситуацию.

Мы знаем, как Лева предавался своей несостоятельности в одиночестве. Но как бы он ни был жалок в те часы, в этом был все-таки намек на благородство: он находился в этом состоянии один, никого в него не замешивая. Это, скажем так, было его дело. Лева был один, потом пришел Митишатъев. Он привел с собой Готтиха. Затем наметился Бланк... Мы не знаем, в каком состоянии находились эти люди, пока они не пришли к Лева. Здесь и мы, как Лева, полагаем, что они такие, какими переступили порог, какими — кажутся. И у нас нет сомнения, что для себя они такие же, как и снаружи. Мы это без всякого основания подразумеваем, что для них содержание и выражение — адекватны. Поэтому вполне понятно, что, ощущая эту границу между одиночеством и обществом, замирая над этой

пропастью, Лева старается быть таким же, как они, ничем себя не выдавая. Трое, затем четверо... автор не заметил, в какой момент их стало пятеро. Они выпили и еще выпили, радостно уподобляясь и понижая уровень. Они говорили как один человек, обрадовавшись себе, как обществу. То есть как бы сам про себя человек знал все и потому считал себя недостойным, а вдруг оказался окруженным милыми людьми, из которых ни один про него не думал так же плохо, как он сам. И на поверку, при сравнении, совсем он не оказался таким уж негодным, как думал в одиночестве про себя. Они говорили как один человек, как один такой громоздкий, неопределенно-глиняных черт человек, который, вобрав в себя всех, обновил все стертые слова тем одним, что никогда еще их не произносил именно этот глиняный рот, что никто еще их же из этого рта не слышал... Они говорили о погоде, о свободе, о поэзии, о прогрессе, о России, о Западе, о Востоке, об евреях, о славянофилах, о либералах, о кооперативных квартирах, о дешевых заколоченных деревенских домах, о народе, о пьянстве, о способах очистки водки, о похмелке, об «Октябре» и «Новом мире», о Боге, о бабах, о неграх, о валюте, о власти, о сертификатах, о противозачаточных средствах, о Мальтусе, о стрессе, о стукачах (Бланк без конца предостерегающе подмигивает Лева за спиной Готтиха...), о порнографии, о предстоящей перемене, о подтвердившихся слухах, о физике, об одной киноактрисе, о социальном смысле существования публичных домов, о падении литературы и искусств, об их одновременном взлете, об общественной природе человека и о том, что деться — некуда...

Как странно они говорили! Словно раздав всем поровну ровненькие дощечки и обмениваясь ими, одинаковыми. Словно это было такое детское домино: на одной половинке груша, на другой яблоко, и яблоко приставлялось к яблоку, а груша — к груше. Митишатьев дуплился, мечтая сделать «рыбу»; Лева ехал «мимо». Пластинчатая эта дорожка ловко изгибалась, выделявая коленца и все не обрываясь. Беседа ровненько бежала по шатким этим мосткам. Это было такое детсадовское домино, но какие жуткие картинки повторялись в небольшом количестве на этих досточках-матричках для узнавания!.. Вместо яблока и груши — миллионер и голая баба. Присутствие Бланка и Готтиха раскаляло беседу. Эти две масти были особенно в ходу. То, что ни в коем случае не предназначалось для ушей Готтиха, кричалось на ухо Бланку, а то, что не годилось для ушей Бланка, хором вшептывалось Готтиху. И то и другое говорилось тем более вслух, тем более громко, чем менее предназначалось для

высказывания. Это странное равновесие однако очень точно соблюдалось, чашечки этих весов едва колебались, перегружаясь, но ни одна другую не перевешивая. Словно то лишнее, что не стоило говорить при Готтихе, совершенно нейтрализовалось тем лишним, что говорилось при Бланке, и наоборот. И этот удивительно разбухавший нуль такого разговора волшебным кольцом обнимал безрассудное бесстрашие говорящих...

Они говорили, что погода стала совершенно другая, что раньше в Москве — так был совершенно другой климат: крепкая зима, жаркое лето, а теперь, что Ленинград, что Москва — одно и то же. Да и на Кавказе и в Крыму — один черт, не поймешь. Ну да, говорили они, скажешь, одно и то же!.. Да только сравни Москву и Ленинград — совсем никакого сравнения: разве это Ленинград?..

Они говорили о свободе слова — никакой не может быть и речи. И в этом глиняном водовороте общего голоса лишь изредка ловлю я фразу, принадлежащую кому-то, различаю чей-то голос. Готтих говорит, что это возмутительно, что, рассуждая так, мы окончательно погибнем. Лева отмечает, что литературе никакая свобода слова не нужна, а нужна гласность как условие, допускающее лишь самую ее возможность, не более. Митишатъев говорит, что они сами не знают, о чем говорят, потому что того, о чем они говорят, не бывало в России ни при какой погоде. Как же так, вовсе наоборот, уверяет непьющий Бланк и подтверждает это самим фактом, самую возможность книги Чехова о Сахалине. Митишатъев же вполне уверен в том, что существование литературы никогда не доказывало возможности ее существования, скорее наоборот. Бланк просит не говорить так при юноше, которому не чужда поэзия. Готтих вполне согласен, что Блок — гений, но ему гораздо ближе Пастернак. Митишатъев говорит, что Пастернак вообще не поэт. Лева мягко уговаривает Бланка переменить его точку зрения на Есенина. Бланк не возражает Леве.

В разговоре о России Бланк молчит, переводя умный и скромный взгляд с Митишатъева на Леву. Из этого разговора, как всегда, мы не запоминаем ничего. Лева цитировал своего деда, якобы лично сказавшего ему однажды, что Россия — заповедник, последний очажок, сопротивляющийся прогрессу. Митишатъев восхищен этими словами. Бланк единственный раз вмешивается, чтобы отметить, что они искажают подлинный смысл этих частных слов великого человека. Естественно, что этот разговор тесно переплетается с темой прогресса, на что Митишатъев едко замечает, что «Америка —

еврейская страна». Готтих заикается о свободе личности как о главной ценности. Никто из собравшихся не поддерживает разговора о лагерях. Разговор легко переходит на обсуждение проблемы других отдельных помещений, Митишатьев клеймит кооперативное строительство как главный стимул в возрождении мелкобуржуазной психологии обывателя. Лева проповедует прелесть обратного течения из города в деревню; оказывается, Готтих знает, где можно купить дом за сто рублей; «Никуда ты никогда не уедешь...» — решительно говорит Митишатьев. Лева обижается: «Мне незачем быть славянофилом хоть бы потому, что я славянин». — «Почему это ты славянин?» — интересуется Митишатьев. «По крови». — «Оригинально, — хмыкает Митишатьев. — Мне никто еще так не отвечал». — «А вы всех спрашиваете?» — иронизирует Бланк. «Вас — нет», — хамит Митишатьев.

О Китае, об искусственной икре, о Высоком Возрождении...

— Вентури цитирует Вазари...

— Нет, я вам скажу, самый простой секрет успеха — это поговорить с ней об умном... С бабой непременно надо об умном поговорить...

— Как раз наоборот, — уверяет новый, совершенно неведомо откуда взявшийся персонаж, продукт ложных представлений интеллигенции о народе. — Главное, никогда с бабами об умном не говорить. Как раз надо не говорить об умном, а дать ей как следует выговориться. И сразу — брать... честно, по-солдатски.

Этот персонаж вызывает общее восхищение общества тем, что способен связывать слова, что и у него есть подлежащее и сказуемое. Это зять отпущенной Лево́й вахтерши, зашедший к ней за оставленным на прошлой неделе у нее рулоном линолеума и очень было огорчившийся тем, что не застал ее... Ко всеобщему удовольствию, он разрешает любой спор, говоря последнее слово. Оно всех убеждает и примиряет. Не человек, а кладезь... Еще он радостен тем, что при нем все острые темы становятся вдруг как бы безопасными... Как им всем повезло, что он зашел, влил здоровую струю... Сейчас уже невозможно представить, что его бы среди них не было. Снисходительный зять позволяет им эту лесть.

— Как это верно! — подхватывает Лева. — Что поразительно, что практически нет женщины, которая не была бы лучше всех. Именно поэтому им надо дать поговорить, что это, так или иначе, будет разговор об их достоинствах. Попробуйте упомя-

ните, даже самым незаинтересованным тоном, просто к слову, имя какой-нибудь вашей знакомой — что вы услышите?.. «Говорят, что у нее глаза красивые... Глаза у нее, конечно, красивые, но...» И от подруги ничего не осталось, потому что она не обладает этим «но», которым как раз, по чистому совпадению, в высшей степени наделена как раз ваша спутница, у которой, не будем говорить о глазах, зато... Это «зато» будет являться самым бесценным и совершенно неповторимым сочетанием качеств...

— Согласен. Можно сказать короче: женщины — в высшей степени патриотки самих себя.

— Из литературы известно, что проститутки чрезвычайно лояльны...

— Но ведь все люди так!.. — обиделся за женщин Готтих.

— В высшей степени благородно, молодой человек! — воскликнул Митишатъев. — За женщин!

Мы не знаем, в какой момент их стало пятеро, но когда их было семеро, они говорили вот о чем...

— Нет, нет, не говори... Наталья Николаевна была прежде всего Женщина. Зачем ей было понимать миссию мужа? Он сам ее понимал. Он не был настолько пошляк, чтобы нуждаться не в женщине, а в товарище по оружию... — Пожалуй, это были Левины слова.

— Да все эти поэтессы, о которых говорил сейчас фон Готтих, все они просто хотели бы спать с Пушкиным, вот и вся философия! Они не могут простить ей всего лишь, что опоздали родиться вовремя, чтобы исправить его ошибку в выборе. Уж они бы оценили его гений!.. На это они способны. Одного они не учитывают, что, может, не привлекли бы его как женщины... — Нет, это нам только послышался голос Митишатъева... Кто этот черненький, как бы изящный, ядовитый человек? Автор с ним незнаком, краем уха отмечает чей-то шепот: как? вы не читали его замечательную статью «Что вычеркивал Пушкин?» Нет, автор ее не читал.

— Да он, может, и... их не захотел! — подхватил зять.

— Ну, Александр Сергеевич не пропускал... — Общая ухмылка.

— «На днях с божьей помощью»... Александра Николаевна...

— Нет, батенька, это еще не до конца известно...

— Позвольте, как это еще может быть до конца известно?! Крестик в его постели нашли? Нашли. Конечно, он жил с ее сестрой. Даже смешно...

— О чем вы спорите! Вы забыли, о чем вы спорите! Надо установить А, а потом уже Б... (Ха-ха-ха! — рассмеялся сам.) Так вот А... Спала все-таки Наталья Николаевна с Дантесом или не спала?

— Спала.

— А я говорю: не спала!

— Да какая разница, господа...

— Просто дура, и все.

— Я целиком согласен. Вульф подтверждает, что она просто глупая, не очень даже красивая, неопрятная и безвкусная девочка. Его свидетельству можно верить.

— Она — прелесть!..

— Но как можно было жить рядом и настолько не понимать!..

— Да кто его понимал! кто его вообще понимал!.. что вы требуете от девочки?! — вспыхнул Лева. — Вяземский? Боратынский? Но они не только не были прелестными девочками, но и не понимали его тоже. Вам ли мне пересказывать эти азбучные истины... Вяземский, тот просто к ней приставал, писал ей даже после смерти... Все это грязный миф! Легенда и миф! И то, что нашли сейчас из ее писем, свидетельствует о том, что она вполне входила в заботы мужа, была толкова в денежных и хозяйственных делах. В конце концов, юна, чиста, красива...

— Невинна...

— Вот именно — невинна. Невинна и невиновна. Да что вы, в конце концов, она же не просыхала! Самый большой перерыв между детьми — полтора года.

— Пусть так. Но любила ли она его?

— «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением... — начал читать с выражением Готтих. — Куда милее мне...»

— Гениальные стихи! — прослезившись, перебили его. — Нет, господа! Да знаете ли вы хоть во всей мировой лирике что-нибудь подобное по обнаженности, по конкретности!.. Это же все здесь названо буквально, теми словами, никакого иносказания!

— Тут же ясно сформулирован секс и эрос!

— Вот именно! Но любила ли?..

— Если и не любила, то во всяком случае не знала этого. Любви не знала.

— Да нет же, любила. Была влюблена, как кошка. Ревновала...

— Ну, ревнуют и не любя.

— Это — точно.

- Ланского она любила.
- Между прочим, Пушкин был счастлив, когда получил от нее пощечину за Крюднершу. А Крюднерша — первая любовь Тютчева, вот гримаски судьбы!..
- И Николая — тоже.
- Как, и она?
- А потом Бенкендорфа.
- Обратите внимание на общность вкусов. Дочь Пушкина замужем за сыном Дубельта.
- Да Пушкину самому нравился Дантес! И царь ему нравился.
- Красивый, высокий, такой цар-р... — передразнил Бланка Митишатьев.
- Наталья Николаевна была с ним сурова.
- Да, два года была сурова.
- Да бросьте, господа, как не стыдно! Посчитайте, сколько у нее, кроме мужей, мужчин. Может, один, может, два...
- А может, ни одного.
- По современным нормам она просто святая.
- Святая и есть.
- Но как нужна была Пушкину поддержка в этот последний год! Она же совершенно не хотела понимать его мучений, его отчаяния...
- Вы пошляк, фон Готтих! Она его выносила и терпела — мало вам? Представьте себе только этого психа, этого желчного арапа, непотребного...
- Сейчас получишь в морду.
- Стойте, стойте, уймись, господа!
- Да, да! «Жалкий, грязный, но не такой, как вы, подлецы!»
- А вот другое письмо... «Законная... есть род теплой шапки с ушами...»
- Да... точно... и как все переменялось! Пушкин, всю жизнь издевавшийся над рогами, — и вдруг поборник женской чести и верности...
- Вы не читали «Амур и Гименей» Ходасевича?! Да что же вы читали??
- Все это так, но мы все время забываем, что тогда было все другое, другое все тогда было. Вы меряете на свой аршин.
- На свой сантиметр... ха-ха-ха!
- Слушайте, а сколько было у Пушкина?
- А у Петра было восемнадцать спичин... — (зять вахтерши?..)

— Вдоль или поперек?

— Ха-ха-ха-ха.

— Фу, фу, господа! Хватит, стыд, грех, позор! Что мы мелем. Да Наталья Николаевна прекрасна по одному тому, что Пушкин ее лю б и л. Он же не любил Ахматову — он ЕЕ любил.

— Браво! Она была его жена.

— Единственная. Одна.

— Господа! В честь Натальи Николаевны! Все встали!.. Готтих, не падай. За самую прекрасную из женщин, господа!..

Леве вдруг не по себе. Он ловит себя на слове. Он увлекся и почти забыл, как ему на самом деле нехорошо. Безотчетный страх охватывает его, такой полный страх, что сочетание Митишасьев — Готтих — Бланк, так ему угрожавшее, уже не пугает его. Тошнотворное чувство овладевает им. Слово произнесенные здесь хором слова никуда не делись, не оттрепетали в воздухе, а застряли в нем, запрудив его душу, и томят, как грех. «Сколько слов поняли люди за последние несколько лет! — думает, вспоминая, Лева. — Еще недавно ни одного не знали... Как быстро они научились! И как страстно разменивают все новые и новые смыслы. Будто они что-то поняли — поняли, как понимать... Люди поняли и не посчитались с тем, что поняли. Будто понять одно, а жить другое. Поэтому все, что они поняли, стало говном, хотя говном и не было. Ничего они не поняли, а — научились... Вот за что и придет возмездие — так это за Слово! Вот грех...» И ему кажется, что предчувствия, томившие его в последнее время, так недаром! Они обязательно теперь сбудутся, отрететированные, заслуженные... может, уже сбылись — то это теперь и не предчувствия. Он ощущает возмездие как некую слитную темную массу погибших слов, уплотнившуюся своими ядрами, тяжкую, как потухшая звезда; это мрачное тело, качающийся объем тошноты, равный массе произнесенных слов... По-губленных, за-губленных, при-губленных... Масса — критична... Что будет, что будет?!

— Господа! Молчание... — Лева встал, покачнувшись. — Я должен сказать...

С гневом и болью произнес Лева эту речь о растроченном слове. Он говорил о неискупимом грехе перед ним, о неизбежном возмездии, о Вавилоне... Слово в нем было тошно, и оно вырывалось. Речь его была воспринята с восторгом. Готтих плакал. «Откуда ты такой?..» — восхищался вслух Митишасьев, как бы стоя у подножья. Насторожившийся было Бланк горячо сжал ему руку как истинно внуку великого деда... И вдохновленные Левой, все заговорили еще свободней, наперебой, наперегонки.

«Их семеро, их семеро, их — сто!» — бормотал Лева и пьянел, как тонул.

За всем не уследишь. В какой-то момент Лева обнаружил в комнате очень много людей. Тут был и Бланк, и Митишатев, и снова нашелся Готтих. Были еще две девицы, происхождение которых трудно было бы отыскивать, разматывая время вспять. Был еще какой-то красавец, все время полузатененный, как шкаф в углу: нагло поблескивал оттуда золотым зубом — красавец устаревшего образца. Он вел себя молча, тяжелый и как бы неподвластный опьянению — с таким ожидалась драка, и он это, по опыту, знал, почему и был, наверно, столь пассивен в своей убежденности: старайся, не старайся... — все равно не избежать. С ним мелькнула тень, не вызвав даже Левиного подозрения — так, просто образ, образ Фаины. Ее самой, однако, не было. Появлялась, вот только Лева не ручался, в какой момент, Любаша. Она терпеливо и равнодушно поприсутствовала на собрании и исчезла, так же неназойливо, как объявилась: возможно, что с этим золотозубым, — зуб в углу перестал блестеть, драки почему-то не случилось...

Так пульсировало время и дышало пространство, обозначаемое полустанками «маленьких». То вдвоем, то втроем, то вдесятером, то опять впятером отмечали они бутылочку, все одну и ту же, казалось. Самое неуловимое — последовательность — очень легко изменялась от каждой из этих противоречивых доз и — что предшествовало чему, а что за чем следовало? — наконец перестало маршировать, как на параде, в затылок друг другу, а приняло легкую и рассредоточенную форму, как будто само время собралось на милый вечерок встречи с самим собою, где настоящее ждало прихода прошлого, а будущее пришло раньше всех.

— Не скорость вызывает опьянение, а опьянение — есть скорость! — провозгласил Лева.

— Bravo, bravo! — И все выпили.

Лева помнил входы — и не помнил выходов... Что-то есть точное в Левином определении «опьянения», по крайней мере, в отношении самого Левы: чем более отекал он в неподвижности и отсутствие тела, чем бездейственной было его вещество — тем стремительнее несло его существо, с перестуком сердцебиения на стыках и стрелках; все сливалось вокруг от этой скорости, размытое и смазанное.

Все реже встречались полянки по сторонам движения, все разряженной становилось удаление, вдруг — стоп, остановка, крутая волна инерции и яркий свет, останавливалось и фокусировалось пятно освещенности, в него умещалась новая чья-то маска, скорее, менее, чем более, удачная, мелькало название станции — что-нибудь подмосковное: Особая, Маленковская, — и состав трогался дальше, стремительно рвал с места, на секунду оставляя позади себя свое вещество; Лева бурел от перегрузки, потом скорость становилась привычной, и в две равномерных и неразличимых полосы сливались и зримость и освещенность.

Так мчал Лева, где время отмерялось не пройденным расстоянием, а количеством остановок. На некоторых он пробовал выйти, но как-то не успевал.

— Нет, не водку люди пьют! — восклицал он на следующей станции. — Люди пьют время!

— Гений! — уверенно восхищался Митишатъев.

— Слышите?.. пьют часы! — Слезы навернулись у Левы на глазах от слова «гений».

Так не помнил Лева самих перегонов; они были «состояние» — скорость, расстояние и время: их-то он и пропивал... Помнил он лишь станции и полустанки, но не помнил, которая после какого. Они перемешивались в его голове, как мелочь в кармане: в любом порядке, но каждая — отдельно, в силу приданной ей номинальной формы.

Озарения приходили к нему в голову, он растрогивался от их пронзительной силы, в голосе появлялась предательская дрожь, когда пытался высказать их вслух. Например, отделив в себе вещество от существа, понял он, что вещество — это растение, а существо — это животное...

— Курьерская жизнь животных и почтовая — растений... — сказал он, никто не понял, и Лева обиделся: так ведь сказал прекрасно! — но он и сам забыл контекст (долго расшифровывал впоследствии эту фразу, нацарапанную Левою для памяти на папиросном коробке...).

Не мог он вспомнить, когда и при каких обстоятельствах испарился Бланк. Помнил, что на предыдущей станции он еще был, а на следующей — его уже не было. На предыдущей станции дали внезапный свет на потрясенного Бланка: бритые его, как молоко, щеки прыгали над фарфоровым воротничком, он их успокаивал, опирая на его твердость; в этом было продолжение той же линии, что образовывала его пухлая, белейшая рука на набалдашнике трости, — и то и другое «покоилось». Но

покой этот был выражением глубочайшего возмущения и гнева, при котором над воротничком так и трепыхались и вились, как ленточки на ветру, слова, многочисленные и произнесенные. Был освещен, но не так ярко, и Митишатъев, подчеркнуто отчетливый и экономный в движениях, однако невообразимая суэта видна за этой экономностью, будто под кожей что-то прыгало и бегало, небольшое, вроде мышки, хоть и невидимое: так выглядит всякий невоспитанный человек, отравленный представлениями о тоне и лоске. Изображение включалось для Левы, когда он опускал опустевший стакан, — и было непонятно, кто из них только что говорил, а кто собирался ответить, Бланк или Митишатъев; в углу, подчеркнув сдержанностью иронию, поблескивал золотым зубом шкаф (значит, тогда он еще не ушел...). И переждав, но так и не сказав Митишатъеву, Бланк обернулся к Леве, сменив гнев на растерянность.

— Лев Николаевич! что же вы молчите? — детским от невообразимости происходящего голосом говорил Бланк; брови его дальнозорко всплывали, будто он отодвигал руку с Левиным изображением.

— Что? я не слышу... — говорил Лева с митишатъевской улыбочкой на лице: Она плавала в бесформенных уже чертах, как клецка в супе.

— Как? — Брови замелькали на лбу Бланка, как бегущее изображение в телевизоре: брови... уплыли... и снова — брови.

— Да вы не волнуйтесь, — встревал Митишатъев, — я ведь только что хотел сказать... Вот вы намекнули, что, в таком случае, я сам тоже могу оказаться еврей... Верно! могу. Я ведь не знаю своего отца. И мать, кажется, тоже, — тут он оскалился как бы ледяной усмешкой много видевшего и страдавшего человека. — В таком случае, именно вы — можете оказаться моим папой. Как в классическом сегрегационном романе о капле крови... Ничего странного или удивительного — придется вам с этим считаться. Оригинальный вариант «Отцов и детей», написанный Виктором Гюго в соавторстве с Говардом Фастом...

И тут Левин «состав» так резко трогал с места и устремлялся вдаль, что Лева подавался всем телом назад, пережидая ускорение...

А на следующей остановке — Бланка уже не было. Какие бездны плещущего сознания переплыл в этой паузе Лева?

И так же не понимал он, что до чего было, и потом: искали они девушек при Бланке или после? На этой станции свет падал скорее на самого Леву, чем на окружающих, хотя и не мог же

он сам себя видеть, — но стыд и детский позор внезапной всем понятности и видимости обрисовывал здесь ему, прежде всего, его собственную фигуру. Они все звонили по телефону, Митишатьев и Лева...

Раззадорили они друг друга каким-то предыдущим разговором: слушай, давай девочек позовем? — оживлялся Митишатьев. Ну конечно! что может быть проще... Но чем больше они крутили телефонный диск, тем яснее становилось для каждого, что каждый из них есть не только то, чем представляет его себе другой, но и сам по себе — что-то такое маленькое, беспомощное и домашнее. У каждого из них, казалось, записная книжка должна была быть набита девицами, для портативности и карманности выраженными в не очень сложных шестизначных числах... Но кому, скажем, мог позвонить Лева? Все той же Альбине. У Любаши ведь был только рабочий телефон... Не Фаине же звонить! Да и бесполезно... Вот когда поймал себя Лева, что набирает любые шесть цифр и спрашивает другую Любу, другую Лору и разную Розу — и понял он цену многочисленных мужских побед. Но то, что Митишатьев оказался в том же положении, — было Лева удивительно. Не те же ли три номера набирал он?.. Лева заглянул через плечо — Митишатьев захлопнул: «Махнем не глядя?» — предложил он. «Нет», — сказал Лева. Так Митишатьев опять обыграл Леву в этот телефонный покер, но сам был сильно раздосадован. На какое-то время Митишатьев куда-то исчезал, и, униженный всеобщей мужской жалостью, пытался Лева дозвониться Фаине — напрасно!

Пауза приплыла и уплыла — Митишатьев вваливается громкий, как с мороза, в каждой руке у него по девушке.

— Знакомься — Наташи! — провозгласил он, довольный и гордый: сумел-таки показать Лева, как это делается!..

— Князь Лев Одоевцев! С другой стороны!.. — провозгласил он. Девушки хихикнули над шуткой. — Ну, как? — спросил он самодовольно. — Долго я отсутствовал?

Он отсутствовал действительно очень недолго. Это Лева долго отсутствовал — вздремнул. Вздремнул он как-то назад, оказался где-то во вчерашнем дне, и теперь никак сразу не мог перебраться в «сейчас», к Митишатьеву с Наташами, через ворох сегодняшнего дня... Обвел взором, неровной линией...

— Хлеб... — сказал он. Он видел перед собой хлеб. Это был хлеб Бланка, большая сетка, набитая на большую семью, на большой обед. — А где Бланк?

— Какой Бланк? — сказал Митишатьев.

Лева помотал головой: значит, девушки появились все-таки после Бланка или до?..

Девушек было две Наташи. Одна Наташа, такая полная, несколько вся книзу, с примечательной башней на голове и газовой косынкой вокруг неподвижной шеи, с тупым выражением неприступности на лице — ее Лева окрестил для себя Анной Карениной в роли Дорониной — стала как бы митишатьевской; другая, худенькая, проволочная, с мелким, как бы хорошеньким асимметричным лицом и пятнами острого румянца на узких щечках, все стрелявшая своими как бы большими, как бы живыми глазками — стала как бы Левиной, она так и осталась Наташей, но в роли Одри Хепбёрн. Каждому свое...

Новая маленькая пронеслась без остановки. Девушки отказывались. Они смущались. Лева решил для себя так, что смущались они от того, что попали во дворец, в музей. Анна Каренина взглянула на лепной потолок и вздохнула, тщательно огладила юбку на коленях, похожих на дыни, и так замерла, руки на коленях... Одри, легонькая, проскакала по залу — первый бал! — на своих струнках в чуть свободных чулках, но, взглянув на подругу, спохватилась и села рядом, так же чинно, застыла. «Выпейте с нами, девочки! Ну чего вы стесняетесь?.. — говорил Митишатьев. — Может, тогда чаю хотите?»

— Хотим, — сказала Анна Каренина басом.

Каренина ушла с Митишатьевым помогать ему приготовить чай.

— В отличие от Виктора Набутова, дорогая, — между тем говорил Лева, — Владимир Набоков — писатель.

Лева рассказывал Наташе, как Толстому приснился женский локоть. Женское общество сделало его сентиментальным: «Надо же, — полагал он, — мы этим всем заняты — и никакого трепета, кроме скуки, в нас это не вызывает, а они...»

— Ты «Анну Каренину» читала? — спросил он.

— Угу, — сказала Наташа. — Картину смотрела.

«...а они, может, и книги ни одной стоящей не прочли — откуда в них-то трепет и уважение? к одним лишь стенам? априорно?»

Наташа дунула ему в ухо.

— Ты что? — встрепенулся Лева.

— Ничего, — обиделась Наташа, — дунула тебе в ухо, и все.

— Зачем?

— Просто так. Я всегда дую мужчинам в уши...

«Господи! За что?» — взвился в себе Лева.

Появился Митишатъев с чайником и Каренина с еще более неприступным лицом.

— А ты все беседуешь?..

Лева вскинул взгляд на своего врага: издевается?.. — по лицу Митишатъева ему этого не удалось прочесть.

И они выдули еще маленькую. Девицы пили чай из блюдец (для полноты картины...), потому что чашек не нашлось. Отставляли пальчик. Чинные... Леве казалось, что его увозят от них спиной. Он все смотрел на часики на руке Карениной. Поразили эти часики: золотые, крошечные, на широком и пухлом запястье, они утонули в складочках и улыбались там. Лева смеялся. Он смеялся, нарочито тряся плечами, как бы беззвучно рыдая от смеха, как бы до слез...

Митишатъев был мрачен. Он взвешивал в руке сетку Бланка. И так, с сеткой в руке, вдруг направился, решительный, к окну. Распахнул. Свежий ветерок прошелся по залу, встрепнул Леву. Митишатъев погрузил руку в сумку, достал каравай и, подкидывая, прикидывал его в руке, как бы взвешивая поточнее.

— Тяжелый хлеб... — сказал он раздумчиво и непонятно. — Тяжелый!

И выбросил его в окно.

— Тяжелый хлеб! Тяжелый... — взвешивал он теперь следующий.

— Ты что это? зачем? — поморщился Лева, перехватив взгляд Карениной.

— Ты в блокаду где был? — спросил Митишатъев.

— В эвакуации...

— А я здесь... у меня здесь мать умерла, — и Митишатъев выкинул хлеб в окно. — Тяжелый, тяжелый хлеб!

— Что ты! перестань... — испугался Лева. — Не надо!

— Я вру, — сказал Митишатъев. — Погаси-ка свет!

— Зачем — свет?.. — опешил Лева.

— Слушай, что я говорю! погаси...

Лева шелкнул выключателем. Вспухла темнота. Присмотрелись — легкий сумрак пополз по залу... Лева осмелился взять Наташу за руку. Ладонь ее была жесткой и неловкой. И вдруг свет взорвался в окне, выросла пальма холодного бенгальского огня и осыпалась... Окно еще секунду белело с черным Митишатъевым на фоне. И после света стало совсем невидимо темно.

— Салют! Ура! Салют!

Новый сноп созрел за окном — разноцветный. Осыпаясь, слабея и угасая, звездочки теряли окраску и совсем белели на уровне подоконника, обрезавшего свет в ночь. И снова.

Этот взлет и осыпание веером показались вдруг Леве смехом.

Беззвучный, ослепительный хохот взлетал и взлетал за окном.

— На улицы!.. — кликнул Митишасьев. — На баррикады!

.....



МАСКАРАД

Я вижу, вы в пылу, готовы все спустить.
Что стоят ваши эполеты?

Лермонтов, 1836

Свежий и холодный воздух, первый глоток которого был воспринятевой как счастье и освобождение, оказался, однако, как новая большая водка. Лева выбыл, хотя и следовал за Митишатевым, более или менее успешно, не отставая и не падая.

Изредка он приходил в себя. Тогда отмечал он над собой холодный укол звезды, мелькнувшей меж стремительных облаков, подбитых лунным мехом. Лева терял тогда свою способность к движению и замирал, казался себе на дне каменного колодца; сознание его было безлюдно — его не толкали, ему не попадались навстречу. Ничто не попадало в его раздвоенный взор, и отчетливо он мог видеть лишь в самую далекую даль — все ту же звезду...

Выхожу один я на доро-гу-у... —

пел он. Навстречу ему шло массовое народное гулянье. «Кремнистый путь» — был асфальтом...

— Нет, ты заметь! — придержал Лева Митишатеву. — Какой упоительный пейзаж в этом стихотворении, а ведь ни одной детали! И все через этот «кремнистый блеск»! Из-за отсутствия деталей — возникает главное: осенняя пустота... А ты видел когда-нибудь кремнистый путь? Разве такой бывает? Между тем это точнейшая метеосводка: поздняя осень и заморозок, прихвативший еще бесснежную дорогу... Какая неумышленная, истинная точность! кремний — это песок, блестит — лед, и слово «тернистый», неупомянутое, по соседству... Надо проверить — это обязательно в ноябре написано, при позднем и пешем возвращении домой¹. Пьяный он был, протрезвевший...

¹ Не мог Лермонтов написать эти стихи осенью, потому что погиб летом, — не тот пейзаж... (Прим. автора.)

— Ну да, — сказал Митишатъев, — ты это не забудь. Куда ты Наташу-то упустил?

Лева крутанулся на ножке — и правда, не было Наташи.

— А ты свою куда дел? — спросил Лева, потому что второй Наташи тоже не было.

— Я-то свою от-пустил, а ты у-пустил.

— Я не хочу страдать и наслаждаться! — продекламировал Лева.

— И не надо, — охотно согласился Митишатъев.

...Следующую звезду Лева разглядел над Исаакиевским собором.

У Медного Всадника был водоворот народного гуляния.

Тут бы гоголевское восклицание о том, «знаете ли вы?» и что «нет, вы не знаете!», что такое массовое народное гуляние. То есть все, конечно, знают, и каждый. Сейчас все всё знают. Форма эта известна. Форм у нас не так много, и они все взаимозвестны. Где был? на гулянии. Что делал? гулял. Форма — известная, содержания — нет.

Стихийное, или массовое, праздничное гуляние (потому что оно стихийное — это правда: его учитывают, а не организуют) — есть потерявшаяся демонстрация. Неуверенные в его точности, мы этим соображением что-нибудь объясним... Нас несколько удручает это невеселое хождение. Мы рассматриваем толпу, заглядываем в лицо, ищем узнать — нет лица! Что за невеселье такое?... То, что мы наблюдаем в толпе как «жизнь», — так это В толпе, а не толпа. Толпа — лишь среда живого. Живое шныряет в ней: хулиганство, флирт, драка. Живое — это воровство у толпы. Воров бьют.

Утром, на свету, этого нет. Мы идем, нестройные, разбродные, но все в одном направлении, все стекаемся в общее тело дня и демонстрируем это тело. У нас пишалки и флажки, мы поем не очень уверенно, все несколько слишком озарено — денек с утра выдался, смущаемся про себя за себя — оглядываемся: так ли другие смущены? — а вроде и нет. И мы — перестаем. Все увереннее шагаем, кричим «ура» нерешительно. Площадь — вот куда мы шли! Но и ее мы проходим.

Вот тут недоумение: мы больше не обязаны... Мы — прошли.

Что с той стороны Площади? Площадь — это полдень. С той стороны — вечер. Растерянные, что больше никуда не идем, что некуда, а расшагались, мы выходим на улицы уже просто так, гуляние.

Это, так сказать, экзистенция. По ту сторону Площади мы должны интересоваться уже сами себя, а мы привыкли, уже успели, к формальному обобщающему целеустремлению — по эту. Так резко... Вечером мы можем быть интересны только как правонарушители. Этого мы не рискуем и гуляем деть себя, просто так.

Гуляя, мы стечемся на ту же Площадь, куда нас вели, где нас покинули, — бродим бессмысленно по месту потери, ищем. Найдем — знакомство, собутыльника, драку, ничего не найдем, пойдем спать.

А нас еще упрекнут, что мы здесь разлили много водки... Зато — не крови! Водка — мироносица сюжета. И поступком становится не что, а где и с кем... Протрезвеем — обнаружим труп.

С Площади толпа перетекает, ничего там не найдя, распределяется по освещенным местам. Темнота набережной — серый мотыльковый лёт, Площадь — фонарь. Понравилось нам освещать свои декорации, как в театре... У нас, как что войдет в моду, уж не выйдет. Обнаружили мы в этом вкус, в пределах этого разоведемся до полноты... в любви делать то же самое. Освещено: купол Исаакия; Медный Всадник (подсветка снизу, обратные тени, громоздятся подковы и ноздри — ракурс Бенау...); Адмиралтейская игла (чтобы была всегда «светла»...); желтая стена Адмиралтейства подсвечена желтым же, снизу (софит? рампа?); напротив, через черный провал Невы, чуть подсветим университет (филфак); кораблик, корабль военный, осветит сам себя: обведет себя, по-детски, лампочками, а из носовой пушечки будет происходить бегущий пунктир лампочек же, — пробежится — погаснет, пробежится — погаснет, будто стреляет пушечка, сплевывая лампочки по одной в черное отсутствие окружающей воды... Так учли мы стихию вечернего последемонстрационного гуляния и расставили ей, где ходить, что видеть: пушечка стреляет, статистов полная сцена, — как не почувствовать себя солистом, не выйти на середину и запеть! (Вот мы и уплатили дань всеобщей обязательной карнавализации повествования...)

Митишатьеву пришлось-таки повозиться слевой... От проветривания Лева сделался совсем пьян, от толпы — буен. Буйство его было веселое, доброжелательное, приглашающее порадоваться на него — безобидно, — но поди разбери! Митишатьеву приходилось его удерживать.

Это нам так себе — Лева было весело. Он, точно, понял, что все это ему снится: эти обмылки лиц (смазанный фон

статистов во сне); эти щели в декорациях (откуда дуло), этот картонный, нарочито вздыбленный конь (вблизи, на самой-то сцене находясь, — как видно, что нарисованный!); эти складочки, пузырящаяся тень на заднике Адмиралтейства; эта общая небрежность, даже халтурность сновидения... — как не воспользоваться безопасностью сна! — Леву очень радовало это сообщение, что во сне все можно безнаказанно: он — прыгал. Переворачивался через ножку и — задом, задом! потом снова делал пируэт, чтобы побольше окинуть взором. Ему нравилось, что он догадался, что это сон, и теперь он радовался обманывать статистов — делать вид, что верит в их существование: извинялся подчеркнуто галантно, что задел, расшаркивался. Митишатьев подправлял его, поддерживал — снился ему Митишатьев. Лева ему подмигивал: мол, я догадался, что ты во сне... Паровая музыка играла «Дунайские волны» — хороший, детский, безопасный фон: легкие и далекие воспоминания во сне... Под эту музыку приснилась ему писательница-ветеранка. Отплясывала она в кружок под гармонь, гремя боевыми медалями на грудастой гимнастерке, — ах, огневая шаловница! — с вечной памятью своего полкового девичества в глазах, счастливая от ощущения, что она снова с народом. И когда Леву невзначай обсыпали халтурным, нарочным конфетти... он этот маскарад принял и опять обрадовался своей, хоть и во сне, а догадливости. Тень Митишатьева отбрасывала рожки — ага! учтем.

— Ты мой Вергилий! — сказал Лева, чтобы тот не догадался, что Лева знает.

Митишатьев подкинул белый шарик и поймал на черный — раздался пистон. Запахло серой.

— Ой! — обрадовался Лева. — Покажи! Я таких с войны не видел! Помнишь, такие после войны были? — теребил Лева, как ребенок. — Где ты их достал??

— А я их хранил... — усмехнулся Митишатьев.

Он дал и Лева разок подкинуть — тот поймал черный на белый и засмеялся, счастливый. Но Митишатьев отнял: уронишь, расколешь...

Так они продвигались.

— Видишь ту маску? — прыгал Лева. — Хорошенькая... Мадам! — он галантно шаркал. — Какое прелестное домино! Домино... — Лева вдруг стало так смешно — все засверкало в слезах, в длинных острых усиках света... — Домино! ведь как все переигралось! Тогда бы не поняли, что значит это слово сейчас, а сейчас уже никогда не поймут, что оно значило раньше! Представляешь, она решила, что я предлагаю ей сыграть в до-

ДУЭЛЬ

Стрелялись мы.

.....

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже напевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов.

.....

— Бросьте жребий, доктор! — сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

— Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

— Орел! — сказал я.

Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.

— Вы счастливы, — сказала я Грушницкому: — вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь! — даю вам честное слово.

.....

— Я буду драться серьезно, — повторил Павел Петрович и отправился на свое место. Базаров, с своей стороны, отсчитал десять шагов от барьера и остановился.

— Вы готовы? — спросил Павел Петрович.

— Совершенно.

— Можем сходитьсь.

Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета... «Он мне прямо в нос целит, — подумал Базаров, — и как шурится старательно, разбойник! Однако это неприятное ощущение. Стану смотреть на цепочку его часов...» Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновение раздался выстрел.

.....

Кириллов тотчас же заявил, что дуэль, если противники не удовлетворены, продолжается.

— Я заявляю, — прохрипел Гаганов (у него пересохло горло)... — что этот человек (он ткнул опять в сторону Ставрогина), выстрелил нарочно в воздух... умышленно... Это опять обида! Он хочет сделать дуэль невозможной!

— Я имею право стрелять как хочу, лишь бы происходило по правилам, — твердо заявил Николай Всеволодович.

— Нет, не имеет! Растолкуйте ему, растолкуйте! — кричал Гаганов.

Оказалось, что из всех присутствовавших ни один не был на дуэли ни разу в жизни и никто не знал точно, как нужно становиться и что должны говорить и делать секунданты...

— Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова? — спросил фон-Корен смеясь. — У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там...

— Плевать я на тебя хочу, — спокойно сказал Передонов.

— Не проплюнешь! — кричала Варвара.

— А вот и проплюну, — сказал Передонов.

— Свинья! — сказала Варвара довольно спокойно, словно плевок освежил ее... — Право, свинья. Прямо в морду попал...

— Не ори, — сказал Передонов, — гости.

1828	1830	1839	1862	1871	1891	1902
Боратын-ский	Пушкин	Лермон-тов	Тургенев	Достоев-ский	Чехов	Ф. Соло-губ

...Едва дыша, они ворвались в свое учреждение. Они в него вбежали, влетели, ввалились, упали — рухнули. Все тело представляло собою один сплошной пульс. Но страх все еще нагонял... Лева внезапно нащупал ключи (они были в кармане! — он не сумел даже удивиться). Пополз запирать. Именно пополз — и потому, что ноги были как две воздушные колонны, вроде аэростатов, и не держали тела, и потому, что боялся показаться в застекленную часть двери. И вот так, движениями, преподаанными ему кинематографом, подкрался он к двери, как партизан, закладывающий мину под поезд, и — сидя на корточках и боясь высунуться за край, за границу дерева и стекла, — стал, в позе столь неудобной, подкрадываться ключом к замочной скважине. Так неопытные воры взламывают, как он запирал. Он боялся лягнуть, каждый звук раздавался в мире небесным грохотом. Ключ то не лез, то проваливался, то влезал, а назад — никак: Лева не помнил ключа... Скучно описывать, как долго он не справлялся с за-

дачей, отчаивался и умирал. Наконец настойчивость его увенчалась, и он отполз, радостно и поспешно.

Укрытый теперь внутренней темнотой помещения, за двойными дверьми, он рискнул немножко высунуться и выглянуть в стекло...

Там никого не было.

«Уф! — сказал он и вытер тыльной стороной руки лоб, как в кино. — Кажется, пронесло».

«Пронесло?..» — хихикнул наглый голос, и только тогда Лева вспомнил про Митишатъева.

В глубине вспыхнул огонек папироски.

Митишатъев курил, сидя на столе вахтера.

И тут наконец странное спокойствие овладело Левой. Он сидел на полу, привалившись к косяку, так полно и отрешенно вытянувшись. Безопасное его тело испытывало счастье отсутствия. Пот просыхал, натягивался лоб, впадали щеки — сосудистое торжество. Раскаленное безумным бегом тело сжималось, остывая, — прохлада ветерка...

«Чего же я так боялся?! — удивлялся Лева с трезвой простотой. — Почему так бежал?.. От милиционера?.. Но ведь это именно нелепо — бежать от милиционера? Он же как раз ничего и не сделает! Не убьет. Не имеет права убить. Про него-то больше, чем про кого бы то ни было, известно, что он сделает и чего не сделает. Он не убьет. А что еще страшного? — Он вспомнил розовое, как земляничное мыло, детское, под деревенский пушок, лицо; синий розовощекий топот мундира — все-таки страшно. Но вовсе не потому. Страшно, что такое ребячье, мамкино лицо, это физическое неудобство солдатского тела, от сапог до воротничка, что убегающего — догнать, как в какие-нибудь горелки-жмурки, не подлежит обсуждению. А бежать вот так, обо всем забыв, разве, само по себе, не страшно? Перед собой-то, дойти до такого — должно быть очень страшно. Унизительно ведь так бежать! Какое тут достоинство или личность... Ничего не было. Было только одно — убежать. Такое облако, такое мыло, круглое, как страх. В нем, внутри — Лева, как муха в янтаре. Он ведь не только сам бежал, не от страха убегал: куда же это он мог из страха-то выбежать? — он с ним, в нем бежал, мчался в нем под парусами ужаса, как темная в ночи лодка, гонимая ветром власти. Власть? этот цыпленок! смешно. Это замкнутое пространство страха, с пульсирующей границей за спиною — нагоняет, отстаёт... с распахнутым, далеким объятием надежды на избавление впереди. Странное сооружение. Неба над головой не было, звезд. «Каким дробным

ужасом оборачивается отсутствие страха божьего! — приоткрываю щелочку для духа, восклицал, избежав себя, Лева. — В страхе я находился — в страхе и нахожусь. Ведь страшно то, что я так страшился и чего! Вместо Бога — милиционера бояться! Махнулись...»

Мысли эти поражали его своей заслуженной очевидностью...

«Чего я боюсь? Да всего я боюсь!»

«Ведь вот сам рассуди, — с детской дрожью голоса в мысли, с детским же ханжеством редко выпадающей роли старшего, играл он с собою в дочки-матери... — Что тебе угрожало? Спокойненько слезть, предъявить документ. Мы проводили научный эксперимент. Документ-эксперимент-экскремент. Больше научных слов. Его-то напугать легче, чем меня! Почему же я напугался с такой легкостью, с такой безусловностью, с такой мгновенностью — без всякого сопротивления? Ну, побежал по ошибке... Остановись. Что будет с тобой? Максимум, дадут по шее. Разве это больно или обидно? По сравнению со страхом? Отведут в участок, сообщат на работу... Да ведь даже с работы-то вряд ли выгонят. Наоборот, поймут. Пожурят, полюбят, пойдут навстречу... Как же это так до сих пор не знать то, что знаешь уже так давно? Да и выгнали бы. Ведь благо! Сам рассуди... Ведь то, что можно потерять, ничто по сравнению с уже потерянным. Ведь любой вариант — самый худший — благо в сравнении с унижением и страхом. От чего я убежал? Выбирал между унижениями, боялся унижения большего. И выбрал самое большое. Если бы просто убежал, как он догонял: догоняют — беги, — то это правильно, по природе. А то ведь от страха бежал! Ах, какая ошибка! Господи! как я ненавижу все это!»

Он встал, хрустнул. Прямой, решительный, с блеском глаз.

Митишатъева миновал не глядя. Слишком было ясно, как тот сощурился папироской. Нашарил выключатель и включил безбоязненно. Но чувство все разрешающего света не было разрешено слабой дежурной лампочкой. Ничто так уж не озарилось, как представлялось. Он увидел зато тот замечательный синий ящик с несходящимися дверцами — символ артели. Там мог быть пожарный рукав или рубильник. Ящик был свежескрашен к празднику — Лева измазал руку синим. Там был рубильник. Решительно преодолев робость перед электричеством, Лева его врубил. Порскнули три голубые искры, и лестница озарилась парадным светом. Лева вскинул голову — и впервые увидел всегда висевшую люстру. Сколько Лева помнил, на лестнице всегда был резной дубовый полумрак. Значит, никогда

не зажигали, думал Лева, торжественно поднимаясь по лестнице, наступая на ступени, как на клавиши некоего органа, от которых приходила в пение люстра. «Надо же! так высоко и много!» — думал Лева, играла музыка, распахивались двери, вспыхивали залы. Он покачнулся в темном коридорчике, оперся рукой о случайную стенку — прямо попал в выключатель. Эта невольная, неожиданная удача подтвердила в нем всю эту решительную светомузыку, так что он, уже не оглядываясь и не расплескиваясь, прошел прямо в директорский кабинет, не глядя нажал во все кнопки, озарив его; руку — в свой портфель, на ощупь — сразу нужный лист и сразу, в продолжение, точно войдя в дыхание, быстро записал, записал... Он тем более чувствовал себя вправе наконец продолжить прерванное, что сам вот дожид до предвосхищенного им опыта, сам находился «в середине контраста». Ему казался отчетливым личный мотив, водивший когда-то рукою гения — этот мотив совпадал, Лева ощутил большое и легкое пространство своего тела. Оно было сейчас — весь этот ДОМ. Озаренный, плыл он сейчас в ночи, как прекрасный корабль, прорезая общий бесшумный мрак.

И основной движущей силой его сюжета явился страх. «Выбор между унижениями, страх унижения большего... Страх во всем, страх в с е г о ; всего своего и сейчас: движения, жеста, интонации, вкуса, погоды... что-то нам все время напоминает что-то... А тут сказали чьим-то голосом слова другого, ты в этот момент подносил ко рту чашку жестом утонувшего в младенчестве брата, погода напомнила тебе вкусом папиросной затяжки другой возраст, другую местность, другое чувство, а сам ты обнаруживаешь, что эту-то вот мысль, о чашке и затяжке, уже думал когда-то — ужас!»

Это протрезвление фразы в конце уравновесило и то, что он не подносил сейчас никакой такой чашки и что брат его никогда не тонул, да и в младенчестве не был, потому что брата не было, и то, что страх Евгения не имел-таки отношения к уловленнойлевой линии собственного страха... Но он уже проскочил позор и неловкость случайности разбега — прыгнул:

«Завершение ряда, срывание ягод — вдруг что-то выпадает на дно со стуком: брякает вниз чье-то случайное лицо... Оказывается, ты его уже отмечал не раз, не замечая — набрался ряд. Мысль эту ты уже думал не лоя — тут вдруг, ветерком, поймал — никогда больше ее не подумать. Смена времен года — в который раз! сколько можно! надоел этот букварь.

И перед ужасом заслуженного возмездия, — наконец писал Лева, — идиотская российская мысль о том, что счастье уже

было, что именно то и было счастьем, что было. Мол, не пропущено... Смирение бунта...»

Как-то потемнело, что ли? Лева потерял нить. Не то чтобы потерял, но дальше напряжение становилось еще выше, еще невыносимей, там уже ледяной ветер позванивал в подвесках лестничной люстры. И Лева довольствовался фразой о возмездии — пропадал свет, таяло. Но и действительно, ничто не освещало более комнату, как настольная лампа. Лева сидел в мохнатом комке света, — а вокруг был мрак. Детский страх чьего-то еще присутствия совсем очистил душу — он встрепнулся, каша ужаса во рту; осторожно, незаметно для того, темного в углу, стал оглядываться. Над плечом, вытянув шею, заглядывая, не дыша, не касаясь, руки за спину, стоял Митишасьев.

«Ты?» — с ужасом спросил Лева. Голоса своего он не узнал, но голос происходил из него.

— Ты чего так испугался? — смутившись, сказал Митишасьев. — Всюду свет зажег...

«Ага, значит, это Митишасьев потушил...» — понял Лева про свет. Лева мог бы про себя отметить это редкое для Митишасьева качество смущения, но тут вспомнил, как шел торжественно и зажигал, а Митишасьев, стало быть, сзади крался и тушил... Погасил иллюминаторы — темный корабль шел на дно.

— Ты что, милиционера испугался? Ха-ха-ха. Решил, что Готтих уже донес?.. Так он и не стукач вовсе. Я это просто так, для тебя, сказал.

— Ну, и сволочь же ты все-таки, — с медленной и прохладной дрожью возвращающегося голоса сказал Лева.

Митишасьев выпрямился, избавился от позы подглядывания, головой ушел в темноту.

— Ты так думаешь? — тоже спокойно прозвучал его голос, уже без тени смущения.

— Я раньше думал, что ты все-таки порядочный человек, — дрожащим детским голосом говорил Лева, — а теперь понял, что нет.

— Почему же это ты думал? — вразрядку, ударяя и выделяя каждое слово, ядовито, мерно говорил Митишасьев, так что каждое из слов попадало в мнительную душу Левы, и Лева постепенно обижался все сильнее. Особенно обидна была ирония насчет «ты — и думал...». Словно бы и не писал он только что конгениальных слов. Что касается наших умственных способностей — тут мы словно бы меньше всего уверены: так легко нас задеть.

— А вот думал! — вспыхнул Лева.

— Почему же ты раньше-то думал, что я порядочный? — ровно сказал Митишатъев, и в этом была убедительная логика.

По природе-то Лева был справедливый человек и поэтому не успевал, за соображениями выгоды, не согласиться с правотою. Поэтому он опешил и забыл про обиду.

— То есть как? А за кого ты себя выдавал?

— А ни за кого. Это ты меня принимал за кого-то. Нет, Лева, все-таки ты дурак. Все-то тебе кажется, что если человек дерьмо, то он таким только кажется, нарочно, из неких психологических причин, имеющих социально-историческую основу, — а он и есть дерьмо. Хочешь, Лева, я тебе, от всей души, совет дам? Так сказать, одно правило подскажу. «Правило правой руки Митишатъева»... «Если человек кажется дерьмом, — то он и есть дерьмо». Хочешь, я тебе — правда, сколько можно человека мучить! — хочешь, я тебе расскажу, как на самом деле? Ведь ты очень, всю жизнь, хотел бы узнать, как другие на самом деле, и не можешь? Ведь тебе кажется, что тобой особенно интересуются силы зла, ведь кажется? Я тебе скажу: действительно, интересно. Я ведь как на тебя напоролся? Смотрю: не сволочь... Ах, ты, думаю, чем же он не сволочь?! Все, как у сволочи, а не сволочь! Ну, стал испытывать. Испытывать, известно, на ше, сил зла, дело. А ты не испытываешься. Из-под всего выкручиваешься. Все объяснишь по-своему и успокоишься. А если не успокоишься, — то так мучиться и страдать начнешь, таким мировым упреком, что, кажется, убил бы тебя собственными руками — так ненавижу тебя за то, что ты меня виноватым в своей жизни делаешь. Ведь не имеет к тебе жизнь-то отношения! Что ты принимаешь ее на свой счет?! Она сама по себе. Она к тебе не расположена. Тебе еще везет, ты не думай — тебя любят... А ведь есть еще люди, которых и не любят. Не любит никто! Ты об этом, об этих хоть раз задумывался? Каково им? Ты думаешь, что тебя предают, изменяют? Да чему же изменить, как не любви! Нелюбви нельзя изменить, ее можно лишь поменять на нелюбовь же. Ты думаешь, ты любишь?! Как же! Да ты за человека никого не считаешь. Ты ничего за другими признать не хочешь, кроме верности себе же. Тогда ты снисходителен. От неверности — страдаешь, чтобы допыт человека до дна, высосать изменника — поэтому неверности за ним не признаешь, признание заменяешь страданием. Да ты любой бунт задушишь! только задушенных ты тоже не любишь — как посинеет, так и разлюбишь, причем, по справедливости, за дело, с полным правом. Господи, да совести-то как раз у тебя нет!

Потому что остальные мелки, подлы, корыстны, расчетливы и знают об этом! У них — совесть! Ты — над этим. Да если б от ума... Я все разгадать хотел, не от ума ли? Уважать так хотел, в такое беззаветное ученичество вылиться, в служение и алтарь. Так нет, не заслужил ты своих черт, своей верховности, не умом взял — вот что возмутительно! — природа у тебя такая! Нечестно. Порода? Кровь? Что там в крови-то — от этого с ума сойти! Ни за что человеку такое... Вот если даже всю власть над людьми сосредоточить в моих руках, не дастся мне это превосходство — я всегда буду знать, кто они, потому что я из них. Пропасть у меня под ногами, я на краю, сколько ни выбирайся из нее. Я всегда выходец, тебе всегда принадлежит. Ведь почему мы евреев не любим? Потому что, при всех обстоятельствах, они — евреи. Вот, кажется, совсем уже не еврей, сживешься — и вдруг — да какой еще еврей! Мы принадлежность в них не любим, потому что сами не принадлежим. Между прочим, задумывался, что в тебе евреи любят? Как раз принадлежность. Господи, да я об аристократизме в десять раз больше знаю, понимаю и вижу, чем ты, а тебе и знать не надо! Чем тут гордиться, раз это и так твое? В этом-то и есть все твое пресловутое хорошее отношение к людям — никакого отношения! Ты же за мной, например, даже подлости признать не хочешь. Так то, что есть для тебя, то — норма. За нормой — океан страданий. И все. Дудки, есть жизнь, другие люди; вряд ли кто-нибудь еще любит, страдает, ревнует. Сколько раз я осторожненько — и всегда смотрел, как ты ответишь — говорил: «Ну, это и у всех так», — а ты всегда: «Ну да, у всех...» Как бы даже имея в виду — вот, почти подло! — что, в крайнем случае, и у тебя, то есть у меня тоже. В компанию приглашал... В компанию-то ты собеседника приглашаешь, чтобы было кому послушать. Слушайте, люди, что с человеком происходит! Вникайте! Как ты оберегаешь свой ареал! Ты думаешь, у примитивных силен инстинкт — как раз у вас! Вы — высшая форма, вы — самые приспособленные! Вы всегда выживете! Все не свое отвергнете, все свое примете без благодарности, как должное! Не вы сознаете себя выше — мы знаем разницу — в этом наша сила. Но достичь ничего нельзя — в этом наша обреченность. Бунт будет подавлен. Это его смысл. И вы осуществите этот смысл, не подозревая о нем. Вас, как и евреев, можно уничтожить только физически! Но я сегодня наконец полюбился на свою работу. Уж я потешился...

— Послушай, послушай!.. — растроганно говорил Лева. — Ведь вот что удивительно! Удивительно, что ты мне говоришь!

Какой же ты, Митишатъев, удивительный человек! И опять, и опять остаешься человеком... Откуда в тебе эта одновременная остервенелость и нежность?.. — Кто-то ему уже говорил это... Лева рылся в углу памяти, что-то отбрасывая, отводя паутину... Дед! Но дед совсем не то говорил. О готовности принять мир в свою схему... Об опережении неграмотностью жизни... Странно, то же и как раз наоборот! То, в чем Митишатъев обвиняет аристократизм, в этом дед обвинял время. Вот, как раз когда совсем одно и то же, то и ясна разность. Нет, не то же. В одно и то же место уязвляет меня и Фаина, и дед, и Митишатъев, и время — в меня! Значит, есть я — существующая точка боли! Вот там я есть, куда попадает в меня все, а не я, где-то существующий, попадаю под удары, непредусмотренные удары случайного и чуждого мира! Это и есть доказательство моего действительного существования — приложимость всех сил ко мне. Но это не доказательство сил!

Так радостно объяснялся Лева...

— Ты вот сказал, Христос в пустыне... А меня обвинил. Не так! От искушения ведь и можно лишь выкрутиться, преодолеть — нельзя. Преодолевать — потерпеть поражение, потому что признать. Не признать искушение — вот победить его! И в Писании так! никогда не понимал... — восхищался Лева. — Нравилось, а не понимал. Мы чувство, вызываемое в нас, стали принимать за содержание того, что вызвало чувство, — вот наша неспособность любить другого. Как же иначе стали мы читать Евангелие — для удовольствия! А то бы поняли... «Искушение от диавола», — сказано в Писании, — ведь не диаволом же! И взалкал Иисус не от долготы сорока дней, а от окончательной готовности исторгнуть сюжет, уже не интересующий его. Ведь ни одного испытания не выдержал он, не хотел выдерживать — все отверг: и превращать камни, и прыгать на них, и владеть ими. Вот эта-то невнимательность к искушению, бережливость ненапрасных сил, нежелание демонстрировать силу — и была уже зрелость и сила Христа, чтобы можно было уже идти к людям, не желая себе. Нет другого способа преодолеть искушение — лишь не увидеть его! Господи, как ты прав, Митишатъев, как ты прав!

— А ты запиши это, запиши! — растерянно и зло говорил Митишатъев. — Это ведь поинтереснее страха, зачем ты про страх-то пишешь, раз ничего не боишься? значит все-таки видишь уже искушение? И Христос, по твоим же словам, стал Христом, а ты всегда был Левою. Ты обладал — но потеряешь, уже теряешь: рассуждаешь о страхе, — ведь я к тебе,

за тобой шел, а ты сам обернулся и уже сделал шаг от себя ко мне... Ты вот про Христа запиши — это же так прекрасно, запиши — и пройдет, опять выкрутишься. По Слову-то ведь жить и поступать надо, а записанное — оно само поступок. Что же ты не пишешь? Неловко передо мной? Ведь пропадет же вдохновение твое на меня даром!

— Как тебе не стыдно, как тебе не стыдно! — оскорблялся Лева. — Неужели ты думаешь, что я коплю, что мне что-нибудь для самого письма надо! Я ведь и не пишу уже ничего. Ну — жизнь моя!.. неужели упрекать в ней человека можно! Я ведь все-таки живу, не понимаю и живу — мне же это важно! Что я могу, свидетель собственного опыта?.. Но ведь я его не избегаю...

— А я яму вижу! я всегда буду видеть яму перед собой! и всегда признавать твое первенство и ненавидеть тебя! а ты всегда не заметишь, что я есть! и так будет всегда! Ты будешь страдать и брезговать реальностью, а я мелко торжествовать над тобой и терпеть природное поражение, слуга твоей реальности! Не хочу больше демонстрировать поучительные картинки твоей неисправимости, твоей принадлежности! Ты никогда не заговоришь по-нашему — до сих пор двух слогов не сложишь. Только будешь улыбаться своей дебильной растерянной улыбкой: мол, за что ж вы себе-то такие плохие, ведь вы же хорошие! — как бы нас жалея, собою за нас страдая... Да не хорошие мы! а нас больше! Когда ты это-то поймешь, усвоишь и нам полезен станешь? ведь чего мы от тебя хотим? чтобы ты для нас был, раз уж мы тебя над собою признали. А ты путаешь, злишь нас, пытаешься нас для себя любить, а нас любить не надо — мы тебя любить будем сами. Никогда ты этого не поймешь, а мы тебя — всегда. И так будем. Сойдешь в могилу — зачем мы жили?

— Митишатъев, Митишатъев... ты не прав. Никогда я не думал, что я чем-то лучше или выше тебя, зачем ты так... Право, я не знал. Какой я, действительно, эгоист. Ведь наоборот, всегда восхищался тобой — ты сильнее, жизненной, самобытней. Вся твоя жизнь — ты сам, сам всего достиг, до всего додумался, ведь что может быть убедительней, когда человек сам!

— Говно — сам! Сам — ничто! Самородок — говно! Ведь нас много, и мы все поодиночке, прекрасно зная и понимая механизмы жизни, низость друг друга, — у нас нет сил, и каждого из нас — мало! А вас мало, но вы одно, и каждый из вас не один, а много, и, не понимая, вы сильны! И что вам никогда не простится, что вы нам уступили, лишили нас права

признавать вас. Ведь как вы себе изменили — вас правильно убить надо, ликвидировать; вы не оправдали, вы подло с нами поступили! Гуманитет вонючий... Зачем вам-то гуманитет, зачем вы-то рабски стали угадывать наши-то идеи и делать вид, что нам их приносите, зачем вы внушили нам, что мы люди, когда это практически невозможно быть человеком в вашем-то смысле — перпетуум мобиле — и нас не научили и сами разучились. Вот, правда, как я вас ненавижу за свою-то любовь, за вашу-то измену!

— Ты надо мною потешаешься... — обижался Лева. — Ты что же думаешь, я не понял? Ну почему ты не признаешь за мной... Ну да, я многого не понимаю — но не всего же! Видишь, я очень изменился за последнее время — вдруг обнаружил людей вокруг себя. И как раз вот в этот момент, даже странно, ты так нападаешь на меня... Как все, однако, вовремя: наверно, справедливость в этом. Только никакого зазора у времени нет — сразу. Вот только поймешь, — а уже не воспользуешься плодами, не разнежишься, не покайфуешь — возмездие за первую же секунду понимания, прожитую в инерции (ведь длинное же предшествовало — привык!) непонимания. Так сразу же, так жестоко, так справедливо, так сил нет, так жить надо, так не выдержать понимания! Грешен! Вот что — грешен! Прости меня, Митишатьев, прости...

Так они говорили, каждый о своем. И чем больше обнажались и приближались к правде, чем скорее возможно было понять, что же они хотят друг другу сказать, в чем же дело, чем более возрастала возможность понять наконец другого, тем меньше понимали они. И, сблизаясь, разбегались они — Лева оставался Левою, Митишатьев был Митишатьевым. Надо несколько раз повторить эту фразу, перемежая ударение со слова на слово. Тогда, может, понятно... Лева оставался Одоевцевым, Митишатьев и есть Митишатьев.

Так ли они говорили? Мы еще однажды перепишем все сначала, для скуки. Перемелем монологи в реплики, чтобы один как бы больше отвечал другому, и — попроще, попроще! — слово зачеркнем — слово надпишем. Мог ли Лева употребить слово «Писание» вместо «Евангелие» — помучимся — оставим так. Еще помучимся — и все оставим так, как было. Где же еще другой случай представится быть тому, что уже было однажды. Оставим так. Проговорим восклицание и воскликнем шепотом: не так, не так, конечно, они говорили, но именно это!..

— Но уж я потешился! — сказал Митишатьев.

Так они махали руками, две большие тени на стене, ибо Митишатъев ведь выключил свет. Эта бесшумность и бескровность — тень уговорит тень: биясь, тени обнаруживают общность, так легко сливаясь.

— Как — потешился? — опешил и похолодел Лева. — Ты опять про Готтиха?

— Ты уже забыл Бланка? — демонически спросил Митишатъев.

Мука прошла по лицу Левы. Он все отчетливо помнил, — но, в таком случае, жить он больше не мог. Ужас сковал его.

— Что ты ему сказал?! — вскричал Лева, неловко вцепляясь ему в грудки. Митишатъев нарочито не сопротивлялся, остужая Леву прозрачным безразличным взором.

— Ничего я ему не сказал, чего ты всполошился?

Лева тут же успокоился.

— Прости — сказал он, отпуская.

— Да ну, что ты... — ухмыльнулся Митишатъев — в руке у него была маленькая.

— Откуда? — изумился Лева.

— А это уже и не так важно, — сухо сказал Митишатъев.

И пока они выпивали... и Лева умудрялся проглатывать это голое ядро водки, что прыгало и топорщилось в нем, как живое; пока Лева менял пространство, по-детски оцепенев перед самостоятельностью и независимостью принятой в себя посторонней жизни, и пространство, состоявшее из мутной воронки завинчивающейся тошноты с перламутровыми переливами по краям, стремившейся то поглотить, то центробежно выкинуть его в темную верхнюю пустоту, — наконец приостанавливалось и становилось подчеркнуто резким и прозрачным, с оптической гнотостью по краям, напоминавшей выпученный глаз глубоководной рыбы, и тогда становилось особенно звонко, напряженно тихо, как на дне, а потом этот оптический эффект растворялся и таял, уступая бархатной пыльной мягкости, отсутствию масштаба, где Лева теперь уютно устраивался в самой дали новой вытянутой перспективы, наслаждаясь неподвижностью, камерностью и равновесием маленькой теплоты в себе, — пока он вот так менял измерения и покидал пространства, то есть пока он имел дело с ее, проклятой, прелестным действием, которое я сейчас описал чуть длиннее, чем принято, но зато слишком кратко по отношению к тому, чего это действие заслуживает, ибо, по-видимому, не так уж просто то, что ему столь подвержено само человечество, не достигая того же «действия» иными путями... Пока он, пьянея, трезвел и, трезвея,

пьянел — гораздо более примитивная и суровая тошнота оценки происходящего, меняя ракурсы, простреливала его со всех сторон. Потому что что-то произошло, что-то произошло... А если что-то произошло, то чего-то не могло и не должно было уже никогда быть, с этих самых пор. Только — чего?

Тут было так, что все сегодняшние события еще не были тем, что наконец произошло. Даже Бланк, этот воспаленный очаг Левиного предательства, очевидное событие — еще не был тем, что произошло, ни тем более, эти девушки, ни даже милиционер и погоня... а вот этот разговор с Митишатьевым. Разговора, впрочем, Лева тоже почти не помнил, словно где-то что-то когда-то читал такое — и все. Так вдруг испарился смысл... Смысл сопротивлялся воспоминанию упруго и решительно, Лева оставил его тошнотворное усилие — память привычно и легко выстроила из остатков слов и фактов **о т н о ш е н и е**, а отношения, как известно, вполне заменяют утраченный смысл. И — опять тот же Лева!

Вот он сидит, с водкою внутри, и думает — о чем? Он думает о том, что странно и не может быть, чтобы Митишатьев обнаружил «комплекс» (приходится применить-таки это не объясняющее ничего слово, потому что Лева этим словом думает...); что «комплекс» всегда был его, Левы, монополией, а оказалось, что наоборот, и «демон» Митишатьев — весь закомплексован; что комплекс нынче и есть демон, время такое... С другой стороны, Лева тут же начинает уценивать эту свою победную позицию; не слишком ли ему показалось? Может, Митишатьев просто потешался над ним, над его серьезностью? Тут все легко опрокинулось на свои места — и Митишатьев уже безусловно потешался и разыгрывал Леву, вовсе не раскрывшись в своих откровениях. И все-таки, что было у Митишатьева с Фаиной?.. — эта тень, лишь однажды мелькнув, навсегда делала бессмысленной саму возможность какого бы то ни было поражения Митишатьева. И все очевидные выводы, сделанные Левой из митишатьевских признаний — об его комплексе неполноценности, об испепеляющей его всю жизнь зависти, даже о социальной природе его демонизма — все это прах, ибо Лева ревновал к нему. Даже проиграв, Митишатьев вышел победителем, потому что Лева тут же водрузил поверженного врага поверх себя. Как он это умудрялся делать каждый раз — оставаться всегда побежденным? — его загадка, его природа. Тут можно сделать лишь один бесспорный вывод, который, в свое время, когда Лева еще не мог оценить этого по достоинству, так окончательно

сформулировал дядя Диккенс: «Различие по говну является классовым», — сказалась его утонченная обостренность в восприятии запахов. Лева принюхивался и забывался...

Митишатъев задумчиво парил. И упал, камнем:

— Откуда такая убежденность, что все так, как ты думаешь?

Лева открывался легко, как спичечный коробок...

— Я как раз все время сомневаюсь... — тут же стал оправдываться он.

— Откуда такая убежденность, что все так, как ты сомневаешься?

Леве снова показалось-опрокинулось, что Митишатъев над ним потешается.

— В чем я сомневаюсь? — насторожился, сбившись с толку, Лева.

— Во всем: во мне, в себе, в Бланке!.. Ты вот даже успел устроиться: да был ли Бланк? — почти так уже думаешь. Был! Был здесь Бланк! И ты его выгнал!

— Как я?!

— Ты, а кто же? Ко мне бы он не пришел, да из-за меня бы и не ушел. А вот из-за тебя — ушел. Ты оказался на моей стороне — и он ушел.

— Постой, постой!.. — Озноб гулял по Левиной спине и оптика алкогольного пространства показывала старый детский фокус — перевернутую трубу: где-то в очень узкой дали отчетливо ухмылялось личико Митишатъева, именно личико, величиной с детский невымытый кулачок... — Постой! Ты мне можешь наговаривать что угодно, я мог вести себя как угодно не точно, не четко, даже трусливо... но я никогда, никогда не мог сказать ему что-либо из того, чего я просто не способен сказать! Я не способен оскорбить Бланка — может, он мог истолковать мое поведение, но — только...

— Почему же не способен! Мне ты способен сказать, а ему нет. Если бы был не способен, то никому бы не сказал, слов бы таких не имел, не мог бы мою тему слушать и поддерживать... Почему ж не способен? как раз способен! Мне-то ты говорил!..

— Что я тебе говорил? что я тебе мог сказать такого... Да и потом, разница: тебе я еще, может, что-то могу сказать, это не значит, что я и ему это скажу...

— Ага! попался... что «это»? Значит, есть «это»? А я что говорю? Почему же мне ты говоришь, а ему нет? Зачем старику заблуждаться на твой счет... Ты же его обманываешь — вот я ему об этом и сказал.

— Что-о? Что ты ему сказал! — Лева было теперь так страшно, что он не мог и не хотел стронуться в знание того, что было.

— Что, что!.. — передразнил Митишатъев. — Да вот то, о чем мы говорили, ему и пересказал. А ты молчал. Сначала еще дергался, а потом отключился и улыбался, улыбка у тебя была такая — как кашка... улыбался и кивал.

— Кивал?

— Да что ты все переспрашиваешь! — вскипел Митишатъев. — Нет, ты неисправим! Я тебе твою подлость демонстрирую, — а ты не видишь. Ты же ничем, ничем уже не лучше меня, даже хуже, потому что я такой и есть, а ты предал то, чем родился. А ты опять вывернуться хочешь! Опять делаешь вид. Опять — сравнялся, а опять — не хочешь отнестись ко мне как к равному, опять за человека меня не считаешь, даже подлости за мной признать не хочешь. Только на этот раз это уже не подлость, я долго ждал — это теперь справедливость. То, что я сказал Бланку от твоего имени, — справедливость. Должны же хоть однажды концы сойтись! Ты мастер, конечно, за все ниточки держаться... А только теперь ты одну упустил. Никогда, слышишь, никогда в жизни не удастся тебе убедить Бланка, что то, что сегодня произошло, было ошибкой. Ничего-то наконец не загладишь, не исправишь, не залижешь! Вот, отвечай, плати душой, как мы! Мы уже всю выплатили — там и было чуть. А ты все себе и позволить хочешь, и душой не поплатиться? Вот теперь ты в одной точке — пустяк, это тебе не попортит ни жизни, ни общего вида — в одной хоть точке ты окончателен. Бланк — пустое место, но он знает теперь тебя. Он тебя видел! Вот как я тебя вижу — так он тебя видел!

— Господи! — взмолился Лева. — Это же невозможно видеть — ненависть! Ну, что я тебе сделал? Я хочу понять, объясни...

— Ни-че-го. Ничего ты мне не сделал — за это! Только я тебя не ненавижу! Тут другое слово. Я бы сказал, что люблю, да пошло — литература уже съела такой поворот. Жить мы на одной площадке не можем — вот что! Может, это и есть классовое чутье? — Митишатъев захохотал. — Или нет, это, наверно, биология. Ты, думаешь, я тебе не даю покоя? Нет, нет! ты! Я не могу, пока ты есть. А ты все есть да есть! Ты неистребим. Видишь, я постарел, облысел, обрюзг, — Митишатъев разошелся в роли и бесконтрольно бесчинствовал на этом любительском помосте, демонстрируя академическую школу: оттягивал жидкий волосок на голове, складочку на пузе, оттягивал под глазом

и язык показывал. — Страшно?... — Он хохотал, как Несчастливцев. — Прости, я все шучу... Пьяный я, пьяный, понимаешь? Ты не придавай этому... я тебя люблю... Ты один у меня. Что я без тебя? Фан-том! Атом и фонтан... фантик я!

— Я тебя сейчас ударю... — наконец-то сказал Лева.

— За что? — удивился Митишатъев так искренне. — Ведь я только хотел... Я ведь вот сейчас самую правду и сказал, не больше. Я хотел, чтобы ты больше не путался с ними — ты нам нужен! Ты — князь! Ты — русский человек! А ты опутан ими с ног до головы! Ты заметь, ты самый неискренний, самый лживый человек становишься, когда тебе надо им показаться... А чем показаться? Тем, чего они от тебя хотят! Вот ты и сидишь у них на крючке. Они видят твою неискренность — а она-то им и нужна! А потом они, когда заглотишь поглубже, однажды тебе объяснят — и ты ихний!

— Ты сумасшедший! — сказал Лева. — Я наконец понял. Ты сумасшедший, ты маньяк. Я тебя бить не буду. Ты ступай, ступай... — И он откинулся, прикрыв глаза. Тошнота слизнула его первой же волной прибой и потащила, потащила внутрь, в темноту.

— Ах, князь! Все-таки ты — князь! Я это так чувствую, как ты себе и представить не можешь! Вот никакой разницы, — а князь. Наверное, наверно, я маньяк, аристократоман, так это называется?... Люб-лю! Эх...

Отчаянным усилием Лева вернул голову, отпер глаза, остановил бешеный, воющий, как детская юла, волчок — вынырнул на поверхность, чтобы успеть увидеть, как со словечком «эх» смахнул Митишатъев глазом с рукава...

— Перестань! — он чувствовал омерзение и безволие, тот самый гипнотизм лести, который превышает басенную очевидность и происходит как кошмар сознания, как болезнь... Однако уже не пнешь ногой, когда облизан сапог...

— Перестань... ну, я погорячился, ты пьян, никем я не опутан, что ты, право?

— Опутан, опутан, — неожиданно трезвым, новым голосом сказал Митишатъев. — Даже все бабы твои — ихние...

Лева застонал. «Прав Митишатъев, тыщу раз прав! — в отчаянье воскликнул он, но — молча... — Гнать! в шею гнать — вот что я разучился...»

— Какие бабы! — обессиленно простонал он.

— Вот и жена у тебя еврейка! — ласково уговаривал Митишатъев.

— Какая жена, у меня нет жены! — взмолился Лева.

— Ага, видишь! — торжествовал Митишатъев. — Ведь не сказал же, что какая разница! чуешь, значит, разницу? А говоришь, нет жены... Ай-яй... А Фаина? — И Митишатъев хитренько выглянул из себя.

Лева ощутил широкую и длинную силу, она его обняла и приподняла — показалось даже: на некоторое время в воздух, откуда он, сверху, посмотрел на Митишатъева, — и так все было освещено ровным, сильным, матовым, хирургическим светом. С этим Лева еще не сталкивался в своей жизни: такая страсть, такая ярость, такой гнев — ослепительный! — что нельзя было уже и чувством назвать — это было неведомое состояние, показавшееся ему своего рода спокойствием.

Они долго, они обстоятельно и старательно дрались — некрасиво и неловко со стороны. Это была добросовестная, немного скучная, непривычная и равномерная работа — так казалось Лева, — он ничего не чувствовал, только легкий ком внутри, ком детского покоя после рыдания — этот невесомый шар катался в Левойной бесчувственной оболочке, состоявшей из тела и костюма, и в такую же бесчувственность опускал Лева свои пустые кулаки, в какую-то вату и тряпки, пока Митишатъев тербил и трепал тряпочку его лица... Никакой заботы не было теперь у Левы — это было почти освобождение, почти счастье. Во всяком случае, этого нельзя было прекратить — вот он бы так прожил до конца дней своих, в этой-то вот, внезапно возникшей — Бог с ней, как она выглядит! — непрерывности своего существа. Так бы катался и бил и мял, не чувствуя ничего, кроме отсутствия, чтобы силы, которых уже не было, кончились полностью и вместе с ним, но...

Митишатъев укатился в уголок, всхлипывая, как баян. И Лева очутился с пустотой и недоумением в руках, поднялся и отряхнулся с чувством одной лишь досады: что Митишатъев его сейчас обманул своей покорностью, обокрал, ушел... Время, было исчезнувшее, снова предало его — оно продолжалось. Лева огляделся.

Они причинили ущерб. Перевернутый, валялся застекленный ящик, вверх ножками. Лева приподнял за край — увидел упавший ничком томик — опустил назад. Ничто не трогало его. Он был совершенно равнодушен. Когда вот только они спустились в музей? — это он не вполне помнил. Начинали-то они маленькую в кабинете директора — это точно. Лева еще прошелся внутри себя, как в футляре, как манекен — ничего не чувствовал — пожал плечами.

— Ну, ты что? — спросил он Митишатъева.

— Ты хоть знаешь, за что ты меня бил? — спросил Митишатъев.

— Знаю, — сказал Лева. И правда, он — знал.

— За что?

— Не скажу, — и тут Лева был немножко доволен собой; тут он вспомнил еще одно, дополнительное, что было в нем, катаясь по полу, — и что он так и не выкрикнул — за что. Это он вспомнил, что очень заботлив был, когда дрался — не сказать. Ах, немножко обидно, но дело было проще простого — это не была борьба мировоззрений, нет. Вот уж чего бы Лева не позволил себе никогда, не позволил — не то слово, ему и позволять не надо бы было — мог бы: воспользоваться поводом для активного благородства, — от этого-то он страдал с Митишатъевым, что никак не мог воспользоваться все новыми и новыми поводами, раз не воспользовался когда-то самым первым — только когда тот, первый-то, был? — так давно... А получилось-то у него наконец, разрешилось и удалось — совсем по другому поводу. И тут-то он и смолчал. Фаина! — как просто. Так невыносима была мысль, что, если то, что тогда могло быть, было, то как же Митишатъев, сволочь, смеет сейчас... Вот что, молодец, промолчал сейчас Лева, довольный собой.

— Не скажешь? — прозвучал Митишатъев, отдышался... — Так я тебе скажу, за что ты на меня набросился...

Темно, совсем темно стало в глазах Левы; его прижало к земле кашеобразной мутной силой — ну, ровно наоборот, чем перед дракой вознесло белым светом гнева.

— Убью, — сказал он глухо из своего нового подземелья. — Скажешь — убью.

Лева, что он спасал? Что он сейчас так уверенно, прочно и твердо спасал? Он — знал.

— Ладно, — сказал Митишатъев, поверив. — Не скажу.

Лева этим удовлетворился. «Вот это договоренность, это да! — подумал он без удивления перед жизнью. — Мне достаточно, чтобы он не произнес вслух. А мы знаем, и он и я, что. Так вроде бы нельзя...»

Но так было можно.

Митишатъев выкатил из-за шкафа маленькую и так покатил ее, на четвереньках выкатил, носом. Лева смотрел на него спокойно: все-таки и этого немножко достаточно — победить в драке...

Митишатъев выкатил маленькую на коврик и сел рядом с ней, отдуваясь. Поднял глаза на Леву, улыбнулся ему готовно, открыто — больно было, — поморщился, облизал разбитую губу; оттянул ее, осмотрел комически, опять улыбнулся.

— Садись, дорогой! — щедро показал он рядом с собой, вернее, рядом с маленькой.

...Обаяние? — что-то новенькое...

— Ты мой кошмар, — сказал Лева смеясь. — Тебя нет.

И сел на коврик.

— Я тебя понимаю, — сказал Митишатъев, когда они по-братски, по очереди, отхлебнули, — я тебя понимаю... — Они сидели на этом дурацком коврике, как на плоту, и плыли в этой тесной праздничной ночи, просто так, раз уж оказались на нем, мимо остывших реликвий русского слова... Вот борода Толстого мелькнула из специального чехольчика, лязгнули садовые ножницы, которыми Чехов подстригал крыжовник Ионыча, застекленный, восстановленный Бунин, без вещей, был плоско размазан по стене...

— Не любишь? Я тебя понимаю, — сказал Митишатъев. — Я тебя очень понимаю, за что ты на меня накинулся!

В Лева все приподнялось навстречу счастью — скажи сейчас Митишатъев, что глупо, несправедливо, напрасно приревновал его Лева — бросился бы, расцеловал, расплакался и — в любом случае! — поверил бы! Но не дано было Лева испытать этого счастья. Вот в чем разочаровал его Митишатъев:

— Ведь я что? Я ведь не причина, я просто под рукой оказался. Почему ты такой легкий предмет для борьбы-то избрал... Вот что ты ненавидишь, а не меня... — И Митишатъев произвел широкоплавный жест, приглашающий и эти стены, и эти экспонаты, и эту ночь, и этот город в стан Левиных врагов. — Почему ж ты несправедливо караешь? Их боишься, меня — нет?

Лева поморщился:

— Я не разночинец, мне эта логика тупа.

— Молодец! — обрадовался Митишатъев. — Слушай! вот мы плывем, представь себе... — Лева даже улыбнулся от удовольствия: все-таки что-то было в этом Митишатъеве! — Вот мы плывем на корабле, — продолжал Митишатъев. — Ну, и что там... Налетаем на айсберг. Видишь, опять! Опять они! — И Митишатъев посмеялся над собою, приглашая Лева. Лева все-таки улыбнулся. — Ну, и вот айсберг — мы тоном. Только ты поймал бревно и я поймал бревно, представляешь? Ты погружаешься — я вынырываю, я тону — дышишь ты. По очереди. Друг друга не видим. Не знаем пока, стало быть, что у нас одно бревно. Ну, еще скажем, ночь, темно, как сейчас. На, — он протянул Лева маленькую, — твое... Так, стало быть, проходит наше плавание. Корабль, быть может, был большой,

суперокеанский; мы, может, и не заметили еще друг друга, не успели, а тут, на бревне, — тоже не видим. Так бы мы и пошли ко дну, устав на этих качелях, — но выбрасывает нас на остров, естественно необитаемый. Ну, мы лежим, бездыханные, — восходит солнце. Освещает оно нас — ба! да мы же в одной школе учились! Вот так, представляешь. Только вдвоем и спаслись. Так живем — кокосы, пресная вода — это все есть.

— А как же айсберги? — Лева слушал с удовольствием. — Если кокосы?

— Представь себе, айсбергов на этом острове тоже нет. Только вдвоем. Национальное. абсолютное чистое большинство. Ты да я.

— Ну, ты бы со мной затеял то же самое, ты бы уж доказал мне, что я на самом деле еврей, без этого не обошелся. Был бы у нас с тобой, Митишатъев, суэцкий инцидент.

— Да перестань ты, — отмахнулся Митишатъев. — Я не о том. Я ведь всерьез тебе сказку-то рассказываю. Нас двое, понимаешь, на острове — и день и другой. Неделю, месяц, год. Никаких кораблей на горизонте. Постепенно понимаем, что мы тут навсегда. Ну, никаких извращений, естественно. Национальная вражда тоже отпадает. Конфликт будет? будет. Ты меня возненавидишь? возненавидишь. За что? Вот я о чем! Вот, что ты возненавидишь в первую очередь: корабль? айсберг? океан? остров? себя? причину путешествия? саму жизнь? судьбу? провидение? Нет! Ты возненавидишь меня! Понял? почему? потому что я рядом!

— Очень убедительно, — согласился Лева, — но убедительно все, что доказывается. Это вопрос времени — убедительность. Только если я тебя и возненавижу, то не за то, что ты рядом. А за то, что меня предашь.

— Ну кому, кому, сам рассуди, я тебя предам, на необитаемом-то острове?

— Я не уверен, что наш остров необитаем, — мрачно сказал Лева. — Там кто-то ходит. Я видел во сне. Я вспомнил, я догадался — и нас много. Я, в конце концов, не уверен, что остров обитаем, в такой же степени не уверен, как и в том, что мы-то вдвоем есть. Но ты все равно выкрутишься и предашь.

— Какой ты все-таки... Верткий князь. Ведь о чем я? Почему ты не ненавидишь то, что нас за одно бревно заставило ухватиться, то, что нас на один остров выкинуло, в один корабль посадило?! ты меня за всех ненавидишь? Вот, вот! — Митишатъев вскочил. — Вот эти стены, эту пошлость, этих мертвецов! Которых мы, живые, сосем! Это время, заставляющее нас знать

друг о друге все! Потому что мы же знаем все! Мы так страшно много знаем друг о друге, что не то что ненависть — почему не убили друг друга уже десять, пятнадцать, двадцать лет назад — непонятно! Ведь мы же друг на друге живем, в один сортир ходим, один труп русской литературы жрем, и одним комплексным обедом заедаем, и на едином месячном билете в одном автобусе в одну квартиру ездим, и один телевизор смотрим, одну водку пьем, и в одну газету единую селедку заворачиваем! Почему ты все это терпишь, а меня вот, бедненького, не терпишь?

— Я не замечаю этого, — я даже не представлял, что это тебя-то так занимает. Своей у тебя жизни, что ли, нет, чтобы так-то вокруг смотреть! Мне своей жизни — во как хватает, — я всего этого не замечаю, на что твоя сила ушла...

— Не-ет! нет у меня своей жизни! — завопил Митишасьев и пнул ногой в шкаф — дощечка в дверце треснула и подломилась. Он лягнул вторично и промазал, пнул воздух. — И ты врешь, что у тебя есть! И у тебя нет! Если бы была, — ты бы так не ненавидел меня...

— Да с чего ты взял, что я тебя ненавижу?

— Ты трус! в этом все дело! Вот слабо ведь согласиться, что не делом во всю жизнь занят, что пристроен по стопам отца, что дедушку вы вдвоем подъездаете, что — есть же у тебя талант! — своего уже давно не пишешь — я жду — не пишешь! знаю! Ты не можешь восстать, ты стал таким же рабом, как я, только образцовым, рабом-позитивистом, уж ты работаешь на хозяина не за страх, а на месте совести! Я-то всегда был рабом, я родился рабом и вижу. А ты еще привыкаешь, тебе в новинку, радуешься: получается... — вот трусость законную ненавижу! Сам трус, знаю. Ведь в тюрьму лучше сесть, чем то, что мы делаем, делать, а! Ну, слабо, давай! Я же прав, а? А-а-а...

Как это случилось? — тут неуловимый переход. Ах, самые сильные чувства пробуждаются в нас, когда нам говорят в лицо то, что мы сами-то прекрасно знаем. Да и Леву провоцировать — за такую работу гроша платить не надо. Как это, однако, переросло? — не заметил, не уследил, простите. Скучно было. Отвернулся в окно — там нагнеталась, тихо набухала погода. Бенуа еще на закате какую-то ленточку оставил: красивый город! — стесненный вздох...

И тут, на тебе! — Лева рванул дверцы шкафов и стал швырять вниз пухлые и пыльные папки; Митишасьев радостно принимал и швырял их в воздух; залежавшиеся диссертации

разлетались по залу по листикам, вольными птицами. И стекло хрустело под ногами.

— Слабо, говоришь? слабо! — восклицал Лева, подтаскивая стремянку, чтобы дотянуться до средних полок, — а вот на тебе, не слабо! Вот тебе «Некоторые вопросы», а вот тебе «Связь башкирской и албанской литератур»! Вот тебе, вот тебе!..

К счастью, стремяночка зашаталась. Лева так стоял на одной ноге, в невесомости, вращал руками... — Митишатъев прыгал по листам диссертаций, надоело ему швырять их в воздух — пыли-то! — чихнул, новую игрушку обнаружил: прыгал теперь Митишатъев с посмертной маской Пушкина в руке.

Она была мала.

— Не лезет... — удивлялся Митишатъев. — Смотри ты — не лезет! Акцелерация! — кричал он. — Акцелерация!

И тут Лева спрыгнул на него, как ястреб.

— Отдай, сволочь! — закричал он. — Хам! Быдло! Положь, су-ука!

— Ты что? — отпрыгивал задом Митишатъев. — Ты что?

Как зайчик. С посмертной маской Пушкина в руке.

Опять небольшая схватка. Лева отбирает, Митишатъев не отдает. Не потому не отдает Митишатъев, что не хочет отдать или уступить натиску, а просто так, не понял, опешил — и не отдает. Поборолись чуть, — Митишатъев оступился, Лева подзадел — махнул рукой Митишатъев...

Стояли они теперь молча над битыми белыми черепками.

Казалось, и Митишатъев что-то понял.

Безумно и бледно горело длинное Левино лицо.

— Ну, все.

Он не видел Митишатъева. То, что перед ним — было зло, геометрический его объем.

Испугаться — можно было. Митишатъев испугался.

Чернильницу Григоровича незаметно опустил в карман и там держал наготове. Лева совершенно не заметил этой его уловки. Он был безумен — это то слово. Широко расставились его глаза и плыли по бокам лица, как две холодные рыбы. Щетина проросла на его посмертной маске. Волос вдруг стало много — спутанные кудри. Шея стала худой, свободно торчала из воротничка. Был он совершенно спокоен. Руки его так висели, ни к чему.

— ЕГО я тебе не прощу, — ровно сказал Лева.

— Дуэль? — опасно хихикнул Митишатъев. Он испугался Левы.

— Дуэль, — согласился Лева.

— На пушкинских пистолетах?

— На любых, — Лева все бледнел.

— Мне льстит дуэль с тобою, — усмехнулся Митишатъев. — Ты меня возвышаешь до своего класса.

— Мы из одного класса, — сказал Лева без выражения. — Из пятого «а» или из седьмого «б», точно не помню.

— Ха-ха! — сказал Митишатъев. — Bravo! Какой юмор накануне дуэли! Удивительное самообладание.

— Покончим с этим делом скорее, — брезгливо поморщился Лева.

Митишатъев взглянул на него с удивлением.

— Не может быть... — сказал он потрясенно. — Ты это всерьез?..

— Вполне, — Лева стоял все на том же месте, губы его с трудом произвели это «вп» — он чуть качнулся.

Митишатъев усмехнулся и потупил взор.

— Хорошо, князь. Но ты должен помнить, что дуэль подразумевает равного соперника. Дуэль со мной тебя обесчестит.

— Дуэль подразумевает только одно, — ровно пробубнил Лева, так же не видя перед собой этими своими широкими рыбами. — Она подразумевает полную невозможность нахождения каких-либо двух людей на одной земле.

— Слава Богу! дожили, — обрадовался Митишатъев. — Но это, князь, не дуэль, это как раз то, о чем я тебе давеча изволил докладывать, а именно, что мы живем друг на друге. У нас не может быть дуэли. Мы можем лишь убить друг друга.

— Мне безразлична классификация, — твердо сказал Лева. — Главное, что одного из нас не станет.

— Однако логику ты не утратил. Даже... я бы сказал, приобрел... — Хорошо. Идет. — И Митишатъев направился в уголок смерти Пушкина и вернулся с пистолетами. — Вот что я отметил, любопытно, что, когда ты тем или иным способом, когда писал или вот как сегодня, оказываешься в своем, совсем своем мире, которого, кстати сказать, нигде, кроме как в тебе, не наблюдается, то ты становишься как раз тот, тот самый... Я сегодня целый день к тебе приглядывался: дурак, думал, или не дурак, все-таки дурак! За что только тебя твоя Фаина так любит! — никак не мог понять...

От слова «Фаина» Лева пошатнулся.

— Слушай, на тебе лица нет! — воскликнул Митишатъев.

Лева провел по лицу, проверил.

— Есть. Дай пистолет.

Митишатъев все удивленнее взглядывал на Лева, лицо его странно светлело. «Однозначен... — непонятно пробормотал себе в ответ. — Однозначен!»

— Слушай, Лева, прости меня! — сказал он искренне.

— Дай пистолет.

— Да ну тебя! — Митишатъев передернулся, изъясвился. — На. Держи дуру.

Он, однако, успел выбрать себе поновее и с усмешкой подал ему ржавый, двуствольный.

— А как стреляться? Барьер? Сходиться? Ты знаешь, что это, как?

— По жребию, — сказал Лева. — Кстати, надо тебе объяснить насчет классов. Я понял. — Он говорил с медленным прозрачным усилием. — Разные классы — это отсутствие отношений между ними. В том смысле, в котором мы сейчас все в отношениях. Сейчас всё — отношения. Допустить отношения с другим классом — недопустимо. Если они допущены, то мы уже равны, мы одного класса. Дуэль — это отказ от отношений, это прекращение их самой возможности. Поэтому мы равны, и дуэль у нас может состояться по всем правилам. Это справедливо, и справедливость установлена. Все.

— Ты прекрасен, — сказал Митишатъев. — Я сдаюсь.

— Нет. — Лева был тверд.

— Я был уверен, князь, что вы не примете моих извинений. Я думаю, вам стоит отойти и прислониться к тому шкафу, чтобы вы не упали в случае легкого ранения. Я же отойду к тому.

Лева протащил свое достоинство к шкафу с усилиями командора.

— Ну-с, орел или решка?

— Орел, — сказал Лева.

— Рубль, юбилейный! — усмехнулся Митишатъев. — Итак, бросаю. — Тускло звякнув, но сверкнув по всем правилам, рубль был ловко пойман тем же Митишатъевым. Разжимал он кулак с той значительной медлительностью, как игрок приоткрывает прикупленную карту при игре в «очко» — те же пригородные ужимки. — Однако, решка! Веришь?

— Верю, — глухо откликнулся Лева.

— Итак, князь, как же будут разрешены наши классовые противоречия? А если я вас сейчас застрелю?

— Это безразлично, — холодно сказал Лева. — Они будут разрешены.

— Это ваши предсмертные слова, князь! — скривился Митишатъев, медленно опуская пистолет и старательно целясь. — Раз, два...

Лева стоял мертвый, прикрыв глаза. Двустольное чудище висело в его руке. Костяшки пальцев окостенели и побелели в судороге.

— ...три! — Лева вздрогнул... В третий раз автор не вынес халтуры жизни и отвернулся в окно. Раздался хлопучечный выстрел. Легко запахло серой. Митишатъев, что ли, подкинул и поймал свой шарик?..

Раздался стон, скрип, авторский скрежет... Пространство скособочилось за плечами автора. Потеряло равновесие, пошатнулось. Автор бросился подхватить — поздно — посыпался звон стекла. Шкаф еще фанерно подпрыгнул, треснул и поскрипел, для окончательности. Лева же лежал неподвижно, ничком, как упал.

Митишатъев был несколько озадачен произведенным эффектом. Растерянный, подошел он. Осмотрел шкаф — он был безногий, вот в чем дело! Он сполз с кирпича...

— Лева! Лева! — Но Лева молчал.

Потряс его за плечо. Лева не шевелился. Потряс сильнее. Поднял голову. Лицо было зеленым и прозрачным. С ужасом смотрел Митишатъев на свою ладонь — она была в крови.

— Лева! Лева!

Митишатъев судорожно глотнул и попробовал выдернуть из-под Левы подломившуюся при падении левую руку — оставил это. Попробовал вытащить из правой руки пистолет — он был зажат, как в тисках. Митишатъев судорожно искал пульс — это было достаточно странное зрелище: как он искал пульс на руке с пистолетом... Все с большим испугом искал он этот пульс, не вполне уверенный в том, что делает это как надо. Лицо его отражало то отчаяние, то надежду, то страх.

— А! — сказал он и зло встал. Закурил свой «Север».

Несколько раз судорожно затянувшись, он что-то подумал в окно.

Рассеянно взял со стола толстую папку и сунул ее Лева под голову. Махнул рукой. И еще раз жадно и глубоко затянувшись, наклонился и засунул окуроч в ствол Левиного пистолета.

— Дурак! — сказал он уверенно, но без особого чувства — как факт.

Из ствола пистолета плыл дымок. Митишатъев усмехнулся.

Дальнейшие действия его были быстры и окончательны: он погасил свет, обнаружил в кармане чернильницу, глянул на нее с отвращением и запустил в окно. Посыпалось стекло. И похлопав себя в последний раз по карманам, Митишатъев выскользнул из зала — в темноте еще красненько дотлевал окурок.

Митишатъев, уже в пальто, сбежал вниз, в подвал. Там нашел подходящее окно и выскользнул на газончик перед институтом. Тщательно прикрыл окно за собой, ущемив себе при этом палец и матюгнувшись. Вышел к решеточке, огляделся — никого не было в этой черной, вздувшейся, как вена, невской ночи. Перемахнул решеточку и пошел не оглядываясь, руки в карманы, стремительно и бегливо. Полы его пальто раздувались.

«Ах, черт! — вдруг приостановился он. — Ах, черт! — хлопнул он себя для убедительности по лбу. — Забыл!»

Он подумал на секунду, что это улика. Лицо его выразило привычку к страданию и было почти благородно в эту секунду. Вот что удивительно.

ВЫСТРЕЛ

(Эпитог)

Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня.

Пушкин, 1830

Мы уже пытались описать то чистое окно, тот ледяно-небесный взор, что смотрел в упор и не мигая седьмого ноября на вышедшие на улицы толпы... Уже тогда казалось, что эта ясность недаром, что она чуть ли не вынуждена специальными самолетами, и еще в том смысле недаром, что за нее вскоре придется заплатить.

И действительно, утро восьмого ноября 196... года более чем подтверждало такие предчувствия. Оно размывалось над вымершим городом и аморфно оплывало тяжкими языками старых петербургских домов, словно дома эти были написаны разбавленными чернилами, бледнеющими по мере рассвета. И пока утро дописывало это письмо, адресованное когда-то Петром «назло надменному соседу», а теперь никому уже не адресованное и никого ни в чем не упрекающее, ничего не просящее, — на город упал ветер. Он упал так плоско и сверху, словно скатившись по некой плавной небесной кривизне, разогнавшись необыкновенно и легко и пришедшись к земле в касание. Он упал, как тот самолет, налетавший... Словно самолет тот разросся, разбух, вчера летая, пожрал всех птиц, впитал в себя все прочие эскадрильи и, ожирев металлом и цветом неба, рухнул в касание. На город спланировал плоский ветер, цвета самолета. Детское слово «Гастелло» — имя ветра.

Он коснулся улиц города, как посадочной полосы, еще подпрыгнул при столкновении где-то на Стрелке Васильевского острова и дальше понесся сильно и бесшумно меж отсыревших домов, ровно по маршруту вчерашней демонстрации. Проверив таким образом безлюдье и пустоту, он вкатился на парадную площадь, и, подхватив на лету мелкую и широкую лужу, с разбегу шлепнул ею в игрушечную стенку вчерашних трибун, и, довольный получившимся звуком, влетел в революционную

подворотню, и, снова оторвавшись от земли, взмыл широко и круто вверх, вверх... И если бы это было кино, то по пустой площади, одной из крупнейших в Европе, еще догонял бы его вчерашний потерянный детский «раскидайчик» и рассыпался бы, окончательно просырев, лопнул бы, обнаружив как бы изнанку жизни: тайное и жалостное свое строение из опилок... А ветер расправился, взмывая и торжествуя, высоко над городом повернул назад и стремительно помчался по свободе, чтобы снова спланировать на город где-то на Стрелке, описав таким образом нестеровскую петлю...

Так он утюжил город, а следом за ним, по лужам, мчался тяжелый курьерский дождь, по столь известным проспектам и набережным, по взбухшей студенистой Неве со встречными рябеющими пятнами противотечений и разрозненными мостами; потом мы имеем в виду, как он раскачивал у берегов мертвые баржи и некий плот с копром... Плот терся о недобитые сваи, мочая сырую древесину; напротив же стоял интересующий нас дом, небольшой дворец — ныне научное учреждение; в том доме, на третьем этаже, хлопало распахнутое и разбитое окно, и туда легко залетал и дождь и ветер...

Он влетал в большую залу и гонял по полу рассыпанные повсюду рукописные и машинописные страницы — несколько страниц прилипло к луже под окном... Да и весь вид этого (судя по застекленным фотографиям и текстам, развешанным по стенам, и по застекленным же столам с развернутыми в них книгами) музейного экспозиционного зала являл собою картину непонятного разгрома. Столы были сдвинуты со своих, геометрией подсказанных, правильных мест и стояли то там, то сям, вкривь и вкось, один был даже опрокинут ножками вверх, в россыпи битого стекла; ничком лежал шкаф, раскинув дверцы, а рядом с ним, на рассыпанных страницах, безжизненно подломив под себя левую руку, лежал человек. Тело.

На вид ему было лет тридцать, если только можно сказать «на вид», потому что вид его был ужасен. Бледный, как существо из-под камня, — белая трава... в спутанных серых волосах и на виске запеклась кровь, в углу рта заплесневело. В правой руке был зажат старинный пистолет, какой сейчас можно увидеть лишь в музее, другой пистолет, двустольный, с одним спущенным и другим взведенным курком, валялся поодаль, метрах в двух, причем в ствол, из которого стреляли, был вставлен окурок папиросы «Север».

Не могу сказать, почему эта смерть вызывает во мне смех... Что делать? Куда заявить?..

Новый порыв ветра захлопнул с силой окно, острый осколок стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для него это не было ни серьезным, ни даже заметным поступком. Он мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые буксирчики, которые в это измочаленное и мертвое утро одни суетились у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем приколе.

Ветер мчался дальше, как вор, и плащ его развевался.

Ветер умчался, но мы вернемся в нашу залу...

От звона разбитого стекла по безжизненному телу пробежала конвульсия и дрожь; раздался звук, напоминавший мычание. Тело выпустило из рук пистолет, с трудом высвободило из-под себя вторую руку и, упершись обеими в пол, попробовало приподняться. Но — рухнуло, со стоном.

Так еще в бессилии полежав, оно ощутило наконец холод и неудобство и более решительно приподнялось на руках. Покрутило головой, помычало и еще лишенным сознания взором уперлось перед собою в пол. Перед глазами оказалась толстая папка, служившая в эту ночь изголовьем. Человек (назовем теперь так наше «тело») долго и тупо смотрел на эту папку. На ней был наклеен белый квадратик с четкой надписью: М. М. МИТИШАТЬЕВ. ДЕТЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В РУССКОЙ РОМАНИСТИКЕ 60-х ГОДОВ (ТУРГЕНЕВ, ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, ДОСТОЕВСКИЙ), диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук...

Человек, будто что-то наконец сообразив, будто что-то пролетело в его сознании и связало его жизнь с сегодняшним утром, будто испугавшись и все еще не веря... вдруг резко перевернулся и сел.

Раз уж он повернулся к нам лицом, мы не можем больше продолжать делать вид, что это мог быть кто-нибудь еще, кроме Левы. Это был Лева. Хотя, может, и не было преувеличением, что мы его не сразу узнали — мы его никогда еще таким не видели...

Он стремительно приходил в сознание (почему-то принято в таких случаях писать «постепенно» или даже «медленно»). Не дай Бог вам когда-нибудь проделывать это с той же скоростью. Он приходил в сознание — сознание приходило к нему. Они сближались, как в дуэли. До «барьера» было уже недалеко. (Это, однако, странный каламбур: неприятно приближаться к барьеру сознания от туда, с той его стороны.)

Он обвел взглядом залу: рассыпанные рукописи, лужи, растоптанный гипс, битое стекло, — классический ужас выразил его взгляд, лицо, и без того бледное, побледнело так, что мы перепугались, не потеряет ли он сознание.

Лева вскочил и со стоном ухватился за голову. Это была спасительная боль: она отвлекла его. Он стоял, пощупывая голову, там была здоровая шишка, причиненная вчера шкафом. Впрочем, ничего серьезного: он жив, наш герой... Он взглянул в окно — окно взглянуло на него.

Он подходит к окну, из которого ужасно дует. Он еще не вполне он: он подходит для себя еще в третьем лице... Выглядывает. Нет, сегодня там уже не идет Фаина... Холодный ветер еще проясняет нам Леву. Мы на него дышим и протираем тряпочкой. Он — отчетлив. Бедная погода за окном совсем осатанела.

Сознание выстрелило. Дым рассеялся. И мы видим Леву...

Лева поворачивается к нам. И это уже он, он — сам. Смертельная ровность на его челе. Кажется, он все вспомнил. Он смотрит перед собой невидящим, широкоразверстым взглядом в той неподвижности и видимом спокойствии, которое являет нам лишь потрясенное сознание. Ему холодно, но он не замечает этого. Однако его бьет жестокий озноб.

«Что делать! — думает, пожалуй, он... — Что делать?»

А что делать?..

«Это — конец», — думает Лева, не веря в это.

(КУРСИВ МОЙ. — А. Б.)

И впрямь, это конец. Автор не шутил, пытаясь убить героя. Лев Одоевцев, которого я создал, — так и остался лежать бездыханным в зале. Лев Одоевцев, который очнулся, так же не знает, что ему делать, как и его автор не знает, что дальше, что с ним — завтра. Детство, отрочество, юность... а вот — и В Ч Е Р А прошло. Наступило утро — его и мое — мы протрезвели. Как быстро мы прожили всю свою жизнь — как пьяные! Не похмелье ли сейчас?..

Настоящее время губительно для героя. И в жизни герои населяют лишь прошлое, литературные же герои живут лишь в уже написанных книгах. Жалкое современное, трамвайное зрелище бывшего аса не докажет нам, что герой — жив. Не так же ли убога попытка написания второго тома (хромое слово «дилогия»...), как жизнь после подвига?

Собственно, уже задолго до окончательной гибели нашего героя реальность его литературного существования начала истощаться, вытесняясь необобщенной, бесформенной реальностью жизни — приближением настоящего времени. Как только мы наконец покончили с предысторией и приступили к собственно сюжету (анекдоту) третьей части, то и вышел анекдот: «Приходит Бланк к князю Одоевцеву, а там Митишатъев»... Тут и произошел окончательный обрыв Левиной тающей реальности. И лишь их чудовищные организмы, выдерживавшие такую пьянку, то есть та нереальность, к которой они сами прибегли (опьянение), позволила автору дотянуть до конца. Я хочу сказать, что то, чего мы сейчас достигли, началось уже давно, так давно, как только мы в силах помнить. Пользуясь языком наших растениеводов литературы, в романе «зрели ростки будущего, уходящего корнями в прошлое». И вот нам не откусить от этой будущей смоквы. И с запальчивостью того, кто не нам чета, и мы говорим: «Засохни!»

Да и по законам построения литературного произведения, он действительно окончен, наш роман. Мы достигли «пролога», то есть уже не обманываем читателя ложным обещанием продолжения. Мы вправе отложить перо — еще более вправе читатель отложить роман. Он его уже прочел. Пусть остановит именно здесь свое впечатление от целого и ограничится им. А если он такой уж мой друг, что последует за мною дальше, пусть отобьет в своем сознании эту границу и сделает все свои выводы прежде, чем продолжит. Ибо погиб или воскрес наш герой в последней строке — ничто, кроме личного вкуса, уже не руководит дальнейшим повествованием — логика развития исчерпана, вся вышла. Собственно, и вся наша негодная попытка продолжения — как раз и есть попытка доказать самому себе, что продолжение невозможно, попытка скорее литературоведческая, чем литературная: герой кончился, но мы-то прижились под академическим сводом и еще некоторое время потопчемся и помедлим из-под него выйти. Все, что я написал до сих пор, я написал для него, Воображаемого, пусть же он меня извинит или идет к черту — я хочу немножко и для себя, невообразимого, для своего уяснения, для своей чистой совести: я хочу изгнать запах писательского пота, того усилия, с каким заставлял Воображаемого со-переживать романские события как действительные. В этом для меня, видите ли, честность: образ и должен быть образ: он может быть вызван, но не должен существовать,

облепив действительность, на правах реальности. Хотя бы потому не должен, что реальность — есть и меняется каждую, даже самую крохотную, секунду, а однажды вызванный образ застыл если и не навек, то на бумаге, то есть на ее век. Я, видите ли, не претендую на власть, которой уже добился. И если кто-нибудь решит, что он, как я, я его предупредил. Пусть не сердится, если окажется, что он — не я.

Итак, Лева-человек — очнулся, Лева-литературный герой — погиб. Дальнейшее — есть реальное существование Левы и загробное — героя. Здесь другая логика, за гробом, вернее — никакой. Действие законов завершено неизбежностью исполнения последнего — смерти. Что там, дальше, никто не знает, и никто из большинства не поделился с нами, с живущим меньшинством. Мы шествуем в небольшой процессии за останками моего героя — существование его чрезвычайно предположительно. Здесь, за этой границей, за которой никто еще из нас не побывал, как в будущем, — все приблизительно, зыбко, необязательно, случайно, потому что здесь не действуют законы, по которым мы жили, пишем и читаем, а действуют законы, которых мы не знаем и по которым живем. Я не хочу никого задеть, но здесь очевидно протупает (на опыте моего героя), что живая жизнь куда менее реальна, чем жизнь литературного героя, куда менее закономерна, осмысленна и полна. Вот мы и вступаем в полосу жизни Льва Одоевцева, когда он перестал быть созданием разума, а сам его приобрел и не знает, к чему приложить, то есть стал почти так живым, как мы с вами. И это весьма бредовая наша рабочая гипотеза для дальнейшего повествования, что наша жизнь — есть теневая, загробная жизнь литературных героев, когда закрыта книга. Впрочем, такая гипотеза отчасти подтверждается самим читателем. Потому что, если увлеченный читатель сопереживает написанное в прошлом о прошлом как реальность, то есть как настоящее (причем почти как свое, личное), то нельзя ли софистически предположить, что настоящее героя он воспринимает как свое будущее?..

Настоящее — неделимо. Оно — все. Мы можем взглядывать на его пульсирующую плоть и видеть, что оно — живо. Эта его жизнь помимо нас — окончательная измена, ибо настоящее — не имеет к нам отношения, а мы приучили себя к принадлежности, препарировав прошлое. Слитно, цельно, неделимо — попытка отражения бедна во всем: в каждой нашей попытке уже не мы что-то доказываем, а наша попытка — доказывает нам. Ибо нет большего доказательства тому, что есть, чем его собственное существование.

После вступления героя в настоящее время, совпадающее с авторским, можно вяло следовать за героем, тупо согладаясь-стать (что, кстати, и осуществлять-то практически невозможно) и описывать последовательность его движений, которые неизвестно куда ведут, кроме как в следующее мгновение настоящего — описывать со скоростью самой жизни. Это было бы еще как-то возможно, если бы автор сам был героем своего произведения и вел своего рода дневник. Но автор желает жить своей жизнью, и ему не очень ловко столь назойливо преследовать героя. И потом, это бесконечное ожидание, пока герой проживет столько, что, обратившись в прошлое, отрезок этот можно будет изложить со скоростью связного повествования... Нет, такая перспектива не увлекает автора, решили тогда мы. Роман окончен.

Но нет! — Пока пишется предложение, в прошлое уходит мгновение, свет которого меняет все прошлое, все повествование. Хотя бы последняя фраза романа является весьма существенной: герой закрыл глаза или герой открыл глаза, проснулся или уснул, поднялся или упал со стуком, заговорил или замолчал, вспомнил или забыл, задумался или махнул рукой, вышло солнце или пошел дождь, вдохнул и выдохнул, — любое из этих действий последней фразы есть оценка всего в целом, а так всегда хочется поставить точку именно на вдохе и при хорошей погоде!

Роман окончен — жизнь продолжается...

ВЕРСИЯ И ВАРИАНТ

(Эпизод)

Чего, однако, мы добились, слив время автора и героя?

Продолжать оконченный роман — такая же невозможная задача, как Лева выходить из своего окончательного положения. И нам ничего не оставалось, как попросить в редакции отсрочку с тем, чтобы Лева все успел...

Так что слив время автора и героя в одно, настоящее время, мы добились некой идентичности отчаяния: Левы — перед созданным положением, автора — перед чистой страницей. В результате, автор может лучше, так сказать, изнутри почти, как сам Лева, оценить затруднительность его ситуации и свою невозможность или неспособность помочь ему.

Что мы ему можем предложить?

Тут, как нигде в романе, оправдано рождение «версии и варианта», то есть предположения в чистом виде.

Без всяких предположений мы можем утверждать, что Лева проснулся в состоянии ужасном. Он не все помнил. Он помнил только восемь маленьких. Он практически ничего не помнил от появления Бланка до появления девиц — так, фрагменты. Содрогнулся, вспомнил Готтиха, а вернее, так и не вспомнив, в чем так страстно убеждал его... Он совсем не помнил прогулки, а лишь фейерверк в окне — и потом его стягивают за ногу с псевдомраморного зверя. Драку с Митишатъевым он хорошо помнил, из-за Фаины. Последние его воспоминания были достаточно странны: будто они с Митишатъевым сидят на коврике на берегу океана, остров — необитаем, и они засовывают в горлышко маленькой записку с мольбой о снятии с коврика... Дальше он ничего не помнил. Лева ломал голову над загадкой двуствольного пистолета: в ней таился намек на будущее. Спасибо Митишатъеву за окурок «Севера»! Лева стало не так одиноко в неведомом ему конце вчерашнего дня... Значит, сегодняшнее утро, по-видимому, было сотворено вчера в равноправном соавторстве, только слава вот досталась одному. Злость на Митишатъева — уже не одиночество.

Голова... Что сказать вам о голове? Когда люди говорят «болит голова» — что они имеют в виду? Неужели это?! Нет, нам кажется, что все они жалуются на боль лишь из зависти,

что другие жалуются — милый инфантилизм! — чем я хуже? Ни у кого она никогда не болела, кроме как у Левы восьмого ноября тысяча девятьсот шестьдесят какого-то года!

Голова была положена на дрожащую, тающую из тела подставку, довольно небрежно. Когда Лева делает шаг, ему кажется, что он выходит из-под нее, а она остается на месте, немножко сзади, и некоторое время они находятся в разных пространствах, голова и тело.

Поэтому Лева старается не делать лишних движений; он замирает, дожидается головы и соображает:

вчера было седьмое
завтра — девятое
значит, сегодня — восьмое...

Это хорошо, это хорошо. Впереди почти сутки. Почти сутки, прежде чем появятся люди и все это увидят. Пока что — никто ничего не знает. Кроме Митишатьева. Но тот, пожалуй, даже Лева не сознается, что был тут. За него можно быть спокойным. Ну конечно, а что за него беспокоиться? — ухмыльнулся Лева. — Он, как всегда, ускользнул. Но — хорошо, — постановляет себе Лева с ложной четкостью, — давай думать последовательно, — приглашает он себя. — Значит, никто ничего... Не стоило так решительно кивать себе головой и потирать руки — нет, не стоило! Лева застал и подержал голову в руках.

Замерев, Лева дожидается, когда боль немножко забежит вперед и провожает ее взглядом. Тогда он возвращается к своим соображениям и составляет мысленный реестрик:

окно — одно (но стекла два)
шкаф — один (стекольщик и столяр)
витрина — одна (стекольщик)

всего три — еще не так много... думает Лева. К витрине, которую он помнит, у него даже какое-то родственное чувство. Лева смотрит на штукатурку на полу, осторожно поднимает голову — потолок цел. Поднимает осколок и вертит в недоумении — бакенбард!

Свинцовый страх расплавляется в нем, ровно поднимается по рукам, по ногам, окружает сердце. Сердце чирикает в маленькой оставшейся полости. Лева паралитически нагибается и поднимает с полу листок. *«После погребения Патрокла, Ахилл ежедневно привязывает тело Гектора к своей колеснице и волочит его вокруг могилы своего убитого друга. Но как-то ночью к нему при-*

ходит Приам и умоляет принять выкуп за тело Гектора. Приам падает в ноги Ахиллу, но тот берет его за руку, и они вместе начинают плакать о горестях человеческого существования.

Дальнейший ход событий, как и их начало, в поэме затрагивается мало, т. к. автор предполагает, что все это слушателю известно. Итак, разгромом Трои заканчивается повествование поэмы «Илиада».

Не меньший интерес представляет для нас и другая поэма Гомера «Одиссея»...»

Что это? Боже! И тут ему становится все понятно: где, кому и что он наделал и что за это они тут ему причинят... Страх застывает в готовой форме внешнего спокойствия и равнодушия к происходящему.

Срочно требуются:

стекольщик
столяр
поломойка
полотер
скульптор
анальгин

Работа — аккордная.

Оплата труда — по соглашению (двойная, тройная, десяти-терная...).

...Тут мы Леву выпускаем наконец в народ, посмотреть, как люди живут. Он имеет об этом небольшое и очень отдаленное представление. Отдаленное, прежде всего, во времени — первые послевоенные годы. Тогда еще городской народ жил «на глазах», был виден во дворах и подвалах... Леву тянуло к ним, как барчука в людскую. Был у него друг Миша (тезка Митишатъева), дворницкий сын, положительный, отстающий ученик. Лева ему по урокам помогал и любил есть у них суп. Отличался этот суп! В Левиной «отдельной» квартире, где сколько чего было, столько было всегда и оставалось на месте; где слова «пододеяльник» или «жених» были если и не неприличными, то не произносились никогда; где такие вещи, как подушки, простыни, вилки-ложки, тарелки никогда не прибавлялись, не покупались (уже взрослым человеком, когда однокурсники-молоджены затащили его в магазин и он чуть поприступствовал при «обзаведении», Лева очень удивился, что этих вещей у кого-то нет и что они продаются и покупаются...), — так вот, в Левиной квартире те же супы не имели ни запаха, ни вкуса. Лева прожил в этом залатанном, застиранном, шербатым мире всю

свою жизнь, — а память о другом супе осталась в нем навсегда. Он бы не мог определить точно, в чем этот привкус, но он состоял из всего: из тех слов, которые в его семье не произносились, из «селянок» и «жаренок», из бурной, чувственной жизни с вещами обихода: перебирания подушек, проветривания матрасов, выбивания половиков... И вот с таким запасом, с воспоминанием о вкусе супа (и то бессознательным — для неопрустовских вылазок у него сейчас не тот строй!) — и выходит Лева на улицу, в эту ужасную погоду...

И все-таки — на погоде легче! Леву продуло и протрепало на мосту, промыло и простудило, и, заходясь крупной дрожью, чувствовал он свое пальто великоватым, болтающимся, и это было почти приятное чувство. Он чувствовал, как его утренняя оладья обращается под хлыстом дождя и ветра в лицо. Лицо свое он чувствовал со стороны — настрадавшимся: увеличивались глаза, тонко прилипали щеки. Леве все легче становилось представлять себе, как он дельно все сейчас организует.

Не будем описывать всех его плутаний — это «Одиссея». Увидим его сразу, через шесть часов — уже на Охте. Потому что, что же обнаружил Лева?.. Что «народу» — не стало. Означает ли Левина неосведомленность отрыв от народа или отставание от детства, когда мы неизбежно были именно в это время и в этом мире, — но что-то означает точно.

Не было никакого такого теперь «народу», как представлял себе Лева!

Народ этот перебирался в новые районы, в отдельные квартиры, и работать не хотел. При одном взгляде на Леву сомнений не оставалось, что с него можно спустить все skóry, — но это ни в ком не пробудило алчности. Народа не было ни за какие деньги. «Да ты с ума сошел, — сказали ему, — какое сегодня число? Кто же сегодня работать будет! Где ты стекло достанешь?.. Какие двадцать пять рублей, дорогой, что ты говоришь...» Так говорили ему в коротеньком коридорчике, стесненном наполовину безобразной вешалкой с дохлыми ватниками и брюками, и стоявшими без ног сапогами, освещенном голый лампочкой в двадцать ватт и запахом того супа минус двадцать лет. Лева стоял на площадке последнего пятого этажа, пробравшись между детской коляской и мотороллером; наверх вела железная лесенка в черный чердачный люк — туда вводило, в мечтах, отчаяние... и Лева спускался безнадежно, на дно погоды, становившейся все более ужасной. Не дождь, не снег — какая-то рваная небесная плоть слетала теперь с вспухшего, висящего тяжелым венозным пузом ленинградского потолка и в одно мгновение облепливала путника, придушивая его стылой

и тошнотворной маской обморока. После такого наркоза с ним можно было делать что угодно.

Дыхнув друг на друга роднящим классы запахом перегара...

— А я тебя вчера видел, — сказал мужичок.

— Не может быть, — напрасно возражал Лева. — Вы не могли меня видеть.

— Как — не видел!.. Кого же я тогда видел? — мужичок чуть приострял взгляд подозрением: не морочат ли его, — но Левин мятый вид и родственный запах заставляли верить.

— Ты нашего маляра знаешь?

— Нет, не знаю.

Мужичок с досады даже крякнул — экий дурак непонятливый!

Подводила Леву его интеллигентность — это же надо, настолько не понимать условности жизни!! Ведь как это может выглядеть на людях? Только как глупость. Но раз на вид нормальный парень — значит, хитрость, тайный умысел. Невольной, инстинктивной хитростью это, может, и было — найти человека и нагрузить его своею беспомощностью... То, что называется: простота хуже воровства.

— Как же это ты не знаешь... — сокрушался мужичок чуть сердито. — А он, хоть и маляр, но и стекла вставлять может. — Он еще раз взглянул на Леву с сомнением. — Ну, ладно, что с тобой делать? Давай свой четвертак, пойду его уговаривать... Я в двадцать пятой квартире буду, если что...

Лева радостно отдал деньги и долго, терпеливо ждал. На плечи ему легли толстые сырые лепешки, как эполеты — был он произведен в великие страстотерпцы, но причисления к лику святых все-таки не дождался... «Может, наконец, наступило это «если что»...» — подумал он, с усмешкою жалкою и кривою. Что любопытно, что ни одной здоровой подозрительной мысли так и не допустил он в себя до этого момента, оберегаясь последовательной окончательности жизни.

Приговоренный, исполняющий лишь последние формальные обязанности, вроде подстригания ногтей или смены рубашки, — вышел Лева из-под накопившегося на нем сугроба и постучал в № 25.

Вот уж, в чем он был теперь уверен, так это, что в ней никакой маляр жить не может. И опять ошибся.

— Они, — сказала ему его жена буднично, — вместе ушли. Теперь их не жди.

Бестелесный, почти восхищенный, спустился Лева на следующий дантов круг... «Это же надо, не соврал! Не соврал

ведь!..» — восклицал он в такт своему полету. Потому что он именно летел, подхваченный ветром и наводнением, на гладком, раковисто-стеклянном буруне, цвета обсидиана.

Это было на Охте.

Нева выходила из берегов. Она уже затопила романтические ступени, на которых сидят в белые ночи, обнимая девушку за свой пиджак. Нева мерно и уверенно билась в парапет, и хлынуть через край ее удерживало, казалось, лишь известное из школьной физики поверхностное натяжение жидкости — она вздулась противоестественным пузырем, как линза. Этот бугор Невы почти уже соприкасался с висящим страшным брюхом неба, и слиться им мешала лишь ледяная похоть воображения. Лева хотелось быть пониже ростом, чтобы не чиркнуть невзначай головой по этому набрякшему пологу, к которому стоило лишь прикоснуться...

Стоит ли сейчас вкладывать в большую голову героя его окончательные мысли?.. Он ни о чем не думал.

У нас припасены ему еще закономерные приключения в области межклассовых контактов — например, одалживание денег... Но — хватит! Он еще может это вынести — у него нет другого выхода; мы — уже нет.

Мы видим этого победителя трудностей на знаменитом мосту. Мост положен прямо на подушку Невы. Город вымер, транспорт не ходит, фонари не горят. Лева на мосту один, на самой его горбушке, на полпути, в середине контраста «земля — небо», «герой — автор», «левый — правый берега»... Лева нужно на то т берег. У него на это столько же шансов, сколько у мухи, попавшей в клейстер. Именно что-то такой же вязкости и однородности представляет собою погода на мосту — петровское варево.

Лева несет стекло — три больших листа, ему едва хватает рук. Его крутит под этими чудовищными острыми парусами. На шее у него, на веревочке, — пакет с замазкой, что придает ему окончательный вид самоубийцы. И правда, на его месте мы бы уж лучше — в воду, благо она так подступила совсем рядом, и камень на шее уже есть... Но мужество человеческое безгранично, как отчаяние, и равно ему. Оно равно и этой погоде, этому ветру, и за пределами этого равенства ничего нет. Лева не может стронуться с места. Его крутит, он не чувствует рук, они приросли к стеклу — их можно оторвать только от Левы, но не от стекла. Стекла чуть попискивают в небольшом, но тесном и мокром трении. По стеклу текут крупные капли. Мы видим Леву сквозь это стекло. Последнее, прекрасно его лицо! «Дивная, нечеловеческая музыка!», Бетховен.

Никого нет в этом мире, кроме застекленного, прозрачно-го Левы. Только, совсем на краю невской линзы, шарит проектор и гудит сирена. Три отчаянных черных буксирчика суеются вокруг легендарного, льдистого в серебре непогоды и свете прожекторов крейсера. Он — всплыл. Он всплыл впервые за долгие годы, оторвавшись от насеста. Глухо и ватно выпалила пушка — нет, это не на корабле! — Петропавловской крепости. От такого пустого, вакуумного звука — вполне понятно, как в старину, может всплыть утопленник...

Оптимистическая воля автора переводит Леву на берег его учреждения, она же не позволяет ему разбить стекла в конце героического пути, что он, без нас, наверняка бы проделал. От невыносимости продолжать автор схалтурит сейчас для Левушки удачу.

Никто нам не поможет! Ибо к тем, кто всегда поможет нам, обращаться уже нет никакой совести... Мама!

Кто же любит нас??

Мы можем обрадовать читателя — дядя Диккенс еще жив! По крайней мере, для романа он оживет еще раз и еще раз умрет. Он нам сейчас нужен — его никто не заменит. (Мы оправданы хотя бы тем, что известие об его смерти входило, в свое время, в главу под тем же расхристанным названием «Версия и вариант». Может, кто-нибудь предпочитает, чтобы Бланк «благородно» ничего не заметил и вернулся за хлебом... и они, растроганные, пожали друг другу руки так крепко, что рукопожатие это теперь не распадется вовек?..)

Нет, прозрачный образ Диккенса помогает нам достать стекольщика и стекло, осуществляет надзор. Он ведь умеет с ним и разговаривать!.. Именно он проследил за тем, чтобы в этом, наводнившем город похмелье, похмельный же стекольщик не изрезал все стекла до размеров форточных в старательно-колебательной пристрелке и примерке. Дядя Митя всегда убережет от перекоса.

Он производит приемку и оценку разгрома.

— Ах, болван... ну и болван! Не ожидал от тебя... Не ожидал! — говорит он и сердечно жмет Леве руку, довольный...

...Альбина, тем временем, моет полы.

И пока она моет полы, Лева складывает, листок к листику, диссертационные страницы — башкирскую литературу с албанской — познает всю горечь подавленного восстания.

И вот все преобразилось! Сияют цельные стекла. Лева — сама аккуратность — приклеивает последнюю щепочку к шкафу специальным клеем БФ-2, в точном соответствии с инструк-

цией, которая мешает ему в руке... чтобы поймать вдруг взгляд Альбины, удивляющейся собственной любви — когда она выжимает тряпку, поправляет локтем прядь — близорукое мытье полов... С какой легкостью позволяем мы себе заметность!.. — пренебрегаем достоинством ради почти удовольствия гарантированно не посчитаться с любящими нас — что же еще эксплуатировать, как не посторонний механизм к нам любви, как не механизм нашей, в ответ, нелюбви, окрашивающей нас в коричневое право принадлежать самим себе?..

Вы спросите: а маска? Ее принес Митишатъев — пусть это будет его благородный поступок, с похмелья. Потом, ему надо же было забрать диссертацию... Митишатъев, наверно, опять нужен Лева, чтобы вспомнить, что же было. Тут у Митишатъева опять появляются возможности власти — и Лева, в свою очередь, становится нужен Митишатъеву, чтобы в этих возможностях удостовериться... Да нет, конечно, маска была не настоящая! Копия.

А чернильница Григоровича? «И на тебе эту еврейскую пепельницу», — мрачно сказал Митишатъев. Он нашел ее в газончике под окном. Нет, она не разбилась. Такое, значит, было тогда стекло. Григорович не пострадал.

Однако предполагать примирение Левы с Митишатъевым так трудно, так не хорошо, что лучше пусть маску принесет та же Альбина. И в том и в другом случае, маска, самая непоправимая деталь, наиболее пугавшая Леву, окажется как раз наиболее всего поправимой... Альбина, легкая, счастливая от Левиной зависимости, бессмысленно нелюбимая Альбина, скажет: «Левушка, пустяки! У нас их много...» И спустится в кладовую, где они лежат стопками, одна в одной. Альбина — опытная кастелянша. Лева об этом и понятия не имел.

Предположить, что он из всего выкрутится, — было так же невозможно, как создать ВАРИАНТ настоящего или ВЕРСИЮ реальности...

Однако он выкрутился. Не верите? Я тоже не верил...

Но это же, на самом деле, я, я вставил ему стекла! Ночью, как фея, выткал волшебное полотно...

Он выкрутился, и глава написана.

УТРО РАЗОБЛАЧЕНИЯ, или МЕДНЫЕ ЛЮДИ

(Эпизод)

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли.

Медный всадник, 1833

...Некий загород, обжитый в снах. Такой, вполне возможно, бывал и наяву и существует где-нибудь, но ни одного точного намека для узнавания в нем нет. Еловый загород (в этом ли странность? — что-то не припомнить деревни в еловом лесу...), и они тут впятером, друзья-приятели, снимают дом. Лица друзей, как и местность, и очень знакомы и неизвестно чьи. В 5.30 утра, все вместе, должны выехать в Ташкент. Для этого надо выйти из дому в 4.30. Уже поздно, ночь, но все так бояться проспать, что никто не ложится. Без толку толкаются по избе. К трем часам ночи сон окончательно сморил всех, но страх проспать почему-то проходит, и все решают прилечь на часок, надеясь на «внутренний» будильник, да и не могут же они все впятером проспать — кто-нибудь да проснется...

Лева взглянул на лежащих поверх смятых постелей друзей, и ему вдруг расхотелось дремать с ними вместе. Он поднялся с кровати и вышел на улицу. Звезды. Перешел дорогу и устроился в избе напротив — там никого не было. Лева быстро уснул.

Проснулся он резко, и в нем сразу возникло подозрение, что он проспал. Однако это не был страх, что его забыли и оставили, — он испугался, что проспала остальные. Но часы показывали 4.15, и надо было лишь чуть поторопиться — и они прекрасно успевали. Лева выбежал из избы, чтобы увидеть, как стало светло, что напротив выгоняют корову, и не на шутку встревожился... Он судорожно поднес часы к уху — они исправно тикали. Успокоился. Спросил у пастуха, который час. Последовал ужасный ответ: 6.30. От страха Лева не поверил — бросился к дому, где спали друзья... Соседняя бабка выгоняла со двора хворостинкой свое милое стадо: петуха и собачонку.

Петух с собачонкой очень дружили... На них с лаем бросилась корова, приседая, как собака. Однако петух с собачкой не испугались, не разбежались, а нежно положили головы на шею друг другу, как лошади. Лева и у бабки спросил, который час. Она посмотрела на крохотные игрушечные часики с нарисованными стрелками — опять 6.30! Лева ворвался к друзьям — они уже проснулись и тоже всполошились. Сверили часы — у всех одинаково 4.15, у всех тикают.

Хозяин, суетливый мужичок в татарской камилавочке, тоже очень расстроился, что они проспали. Он сказал: «Это вам за то, что вы тогда полтыта в лесу побросали». (??) Невероятно, но факт — проспали! придется теперь ехать в Ленинград, сдавать билеты. 30 процентов стоимости они, конечно, потеряли... $30 \times 5 = \dots$ Впрочем, самому ему, как Лева тут же рассудил, это только на руку: ведь, так и так, он не мог бы поехать, потому что должна быть защита, а деньги ему как раз очень пригодятся, чтобы сходить с Фаиной в ресторан...

С этим бледнеющим, как ранний рассвет, трезвеющим соображением, Лева выкарабкался из сна и проснулся.

Взглянул на часы — они стояли. С вечера Лева все твердил себе задание: не проспать. Ему надо было хорошенько все еще раз обдумать, собраться и подготовиться к началу рабочего дня — наступал самый ответственный момент: выплывет или не выплывет то, что здесь произошло позавчера... К чему бы этот сон? Лева был, в принципе, суеверным человеком, но он был настолько непросвещен в суевериях, что только и знал, что сны могут быть истолкованы — но как именно, понятия не имел.

«Вообще-то это забавный сюжет: коллективно-неверное время...» — усмехнулся Лева. Сон напоминал школьную задачку. Однако как это могло практически произойти, что все шло неправильно? Лева старался тщательнее припомнить сон, приблизить его и рассмотреть памятью поподробнее. Это было неприятное, головокружительное и не очень успешное усилие.

«Давай рассуждать логически... — сказал себе Лева, потягиваясь на директорском диване. — Допустим, у одного из нас остановились часы... он это заметил и стал заводить, намереваясь спросить у кого-нибудь время, но шел какой-то разговор, и он завести-то завел, а переставить забыл. И тут — такое совпадение! — что часы стояли и у другого, он взглянул ненароком на часы первого и поставил свои по ним, не спрашивая. Третий же спросил время у второго и переставил время по нему. Тут первый вспомнил, что ему надо перевести часы и спросил

у третьего который час — и очень удивился, что время совпало. Значит, подумал он, я завел их ровно тогда, когда они стали, и они не успели отстать (так ведь, редко, но бывает — у каждого из нас есть и этот немой опыт...). Или могло быть иначе, — размышлял Лева, — так будет даже короче и смешнее: первый ставит часы по остановившимся несколько позже часам другого, а тот, в свою очередь, через некоторое время замечает, что часы остановились и переставляет их по ушедшим вперед часам первого...»

Лева рассмеялся, вспомнив, как строго и серьезно, ответственно, нахмурясь, как в кино перед боевой операцией, было сказано во сне перед тем, как прилечь на часок: «Сверим часы». И у всех оказалось точное время. А у всех было уже неправильное время. Они уже опаздывали, когда еще только собирались вздремнуть.

И все-таки сон не удавалось истолковать. «Коллективно-неверное время» — это, конечно, была формулировка, но она ничего не говорила о сегодняшнем дне: что будет?.. Лева похолодел: ах ты, Господи! он тут рассуждает о времени, а ведь часы стоят! ведь он же наяву не знает, который час!

Лева спрыгнул с дивана...

Мы тоже не можем усмотреть в этом сне никакой проекции, ничего провидческого, никакой даже притчи... Я долго прожил под занесенным топором времени. И это суета. Не есть ли время, как ужас, лишь наше отношение к нему?

Ах, что удивляться одинаково неправильным часам, когда нам уже сны общие снятся!

Тщательнейше, как Бланк, выбритый, с безукоризненным пробором, в холодящем фарфоровом воротничке, с чрезвычайно, раз семь, перемытыми руками, готовый к казни, как к бенефису, и к бенефису, как к казни, бледный, длиннолицый — выглядывал на Леву большими настрадавшимися глазами неизвестный человек, в котором Лева признавал себя лишь по аккуратненькому, чистенькому крестику на лбу — из пластыря: его приклеила нежнейшими пальцами Альбина...

Однако он сумел обрадоваться своему несходству, рассудил: раз меня не узнать, то и ничего будет не узнать... Имея в виду, что все сделал тот, а не этот, непохожий, и к этому Лева, отраженному в сегодняшнем дне, претензий быть, следовательно, не может, раз виновник исчез... Мысли его стройно путались.

Эта его чрезвычайная заметность, зримость, видимость всем — пугала и смущала. Он ощущал свою неустранимость так же остро, как, наверно, случайный убийца может ощущать неистребимость тела жертвы: как невозможно, как некуда деть эти несколько килограммов мяса! И он будет сидеть перед ними до утра, качаясь как от зубной боли, перед кучей плоти, из которой так легко ушла жизнь и которую так некуда, так невозможно куда-нибудь деть. Так он будет сидеть, потрясенный материальностью мира, впервые столкнувшись с непреодолимостью воплощенных категорий. Агностики ничего не совершали — им легко. Попробовали бы они поступить в снящейся им реальности?.. Преступник — обязательно материалист: он совершал поступок, он видел причину и следствие, вот так, «как я тебя вижу». Причина лежала ничком — следствие шло. Материалист — это идеалист, совершивший преступление.

Человек давно уже не живет в материальном мире. В материальном мире жив только зверь. В материальном мире так страшно, так правильно, так неизбежно! Лева понимал страх.

Лева шел из парикмахерской — все люди видели его. По тому, как они все, спешившие по мелкой своей насущности, все знали о нем, понимали с полувзгляда, видели насквозь, прятали ухмылки в уме — Лева мог догадаться, что за эту ночь стал совершенно знаменит.

Он разминался с прохожими, как бы непрестанно сморкаясь: без конца отворачивался и прикрывался носовым платком.

Лица людей пугали его своею обнаженностью, голостью и откровенностью — неприличностью. «Почему, интересно, они прикрыли все самое обыкновенное, нормальное: руки, ноги, задницу, — а обнажили самое откровенное и непристойное — лицо! Все — наоборот...» — так думал Лева. И правда, не мог он перенести это лукавство узнавания, легкое ехидство и любопытство, которые различал в каждом взгляде, — он еще не привык к славе, скромность его страдала. Они все, все видели его вчера, когда он — не помнил! Ужас прерванного существования владел Левой. Вот для чего нам нужно помнить все, каждый шаг. Чтобы про нас не знали. Чтобы мы всегда могли оставаться единственными творцами собственной версии, единственными свидетелями и толкователями себя. Чтобы мы были невидимы. Раз забывшись — достанешься людям навсегда. Преступник и грешник — уже не раб Божий, а — людской. Невидимость — вот мечта, вот принцип! Лева вдруг легко объяснил себе, исходя из одного лишь опыта детских мстительных представлений, все человечество: оно живет прячась. Как в джун-

глях, под цвет листы, под фактуру коры, как в пустыне, под цвет песка, в воде — подражая прозрачности — единственное, что вынесли и развили — мимикрию под благополучие, под здоровье, под благоденствие, под нормальность, под спокойствие, под уверенность. Самое неприличное, самое гибельное и безнадежное — стать видимым, дать возможность истолкования, открыться... Тут ты обнаружишь, что давно, не замечая этого, живешь в культуре каннибализма: человек зримый в несчастье, в поражении, в болезни, в беспамятстве, в преступлении, то есть окончательный человек, человек открытый — есть добыча мира, его хлеб. Он будет растворен, рассосан толпою в одно мгновение, и каждый побежит в свое продолжение, зажав в кулачок ниточку, имея во рту тающий вкус, клочочек, капельку жизненной силы, ухваченной на бегу с пораженного. На панели будет тряпочка лежать...

Только не обнаружить себя, свое — вот принцип выживания... так думал Лева. Невидимость!

А уж как Лева стал виден! Так, что не увидеть его стало невозможно... Еще вчера лежал он в острых осколках на полу, его взгляд пробил дыры в окнах, на полу валялись тыщи страниц, которые он зря и пошло всю жизнь писал, от него отвалился белоснежный бакенбард — он был самым видным человеком на Земле! Его гнев, его страсть, его восстание и свобода...

А сейчас он был виден в лишней натертости пола, в более чистых и более целых, чем прежде, стеклах, в свежей, цыплячьей замазке окон. Вчера он был виден в своем поступке — сегодня стал виден в поведении.

Страх заметности поражал Леву — открытое пространство пугало. Он вспомнил кино: человек бежал по безбрежному капустному полю, а поле простреливалось со всех сторон, взрывались под ногами кочаны, — так бежал он во все стороны, нелепо вздергивая ноги, спотыкаясь и падая: и бежать невозможно, и падать неудобно... Эти кочаны, как грехи, ровные, гладкие, однозначные — во все стороны, до горизонта. Плоды.

И кадры другого фильма — из собственной жизни — с периодичностью вспыхивали в нем, и чем темнее и глубже были провалы забытых эпизодов, тем ярче запомнившийся между ними кадр. Вот он разговаривает с вахтершей (она вернулась в учреждение раньше всех, ничего не заметила, первая репетиция прошла, стало быть, успешно, но второй страх оказался больше первого, и то, что хоть что-то прошло, еще усугубило ожидание того, что предстоит... сейчас она дремала,

улав от дома)... Вот он доказывает Готтиху, что Россия, вне классов, никогда не существовала... «Гений!..» — восхищается Митишатъев. Вот Бланк: «Что же вы молчите, Лев Николаевич!» (Но тут другой позор, смешанный с позорным же успокоением: Бланк не донесет никогда)... А вот Лева что-то страстно доказывает асимметричной девочке со вставными глазками — про локон Анны Карениной!.. Лева было трудно подавить в себе вой — он даже прислушивался: не вырывается ли наружу.

Учреждение оживало потихоньку; приходили, пожимали, сочувствовали потерянному Левоу празднику: впрочем, что ты потерял? опять то же, выпили-разошлись, куда только дни делись? — ничего не потерял. Кто-то сказал, что он прекрасно выглядит, Лева, и что воздержание на пользу не одному Толстому.

Лева бродил по коридорам, был остроумен, элегантен — тени коридоров, тени людей, сон. Гораздо ярче была реальность вспыхивающих, обрамленных чернотой беспамятства картин. Он там продолжал жить, а сегодняшний день вяло снился ему.

Никто ничего не замечал!

Что-то едва ли не похожее на разочарование шевельнулось в нем: он преувеличил свою славу... «Господи, до чего же не наблюдательны люди! — мысленно восклицал он. — А им и не нужно, зачем? Меня травил небрежность моей тайны, вопиющая демонстративность улик... Вот же, вот же, вот! Почему вы не замечаете? Вот вы подошли к окну: отчего замазкой все измазано? — свежая, видите? не закрашенная!.. Нет, никому никакого дела. Дела нет. Я страдал от халтуры своих поправок, от того, что не достигнута возможная, та тщательность подделки, при которой, еще может быть, все как-нибудь, если повезет, то и сойдет... Так нет же! Я — перестарался...»

Эта пренебрежительность вернувшейся на свое место жизни к Левиным недочетам и небрежностям — очень задела его. Меньше всего ожидал он такого оборота. Сама жизнь была столь небрежна, что Левины заусенчики оказались в этом слитном море общей небрежности — излишней старательностью.

Однако этот вялый сон оборачивался кошмаром! Тем более что, в легком смещении своей бесплотности, оказывался этот сон неуловим, недоказуем. Не разбудить, не проснуться... Сам воздух, сам серый свет содержал в себе этот легкий жест недоуменного и холодного пожатия плеч и возвращения к прерванному разговору с полноправными гражданами этого сна; не отвлекаясь на пришлых, которым этот сон снится... сам сон

пожимал плечами схалтуренного кое-как пространства: о чем это вы? не понимаю... что это вы, право?

Лева метался, скользил по натертому полу, подводил всех по очереди к уликам, намекал, выспрашивал, хихикал — никакого эффекта! Лишь ласковая улыбка неловкости, на всякий случай вежливая ироничность взгляда воспитанного и не прерывающего разговор собеседника: чтобы не обидеть чудака, он у нас такой... — и отойти потом к своим. Лева казалось: он сходит с ума.

И вот наконец итог, пик, крещендо-мещендо, апогей, кульминация, развязка, что еще? — НИ-ЧЕ-ГО; вот наконец то критическое НИ-ЧЕ-ГО, божок, символ: небольшое, гладенькое, темновато-лоснящееся, продолговатенькое, уместяющееся в ладонь... — ! и нет его; вот оно!.. — наш поэт предстает пред очами (или пред оком, что мы не выяснили: вставной ли второй глаз? или первый, почему второй?..), нашему поэту предстояло и он предстал, очно, пред единственным трезвым и недреманным оком этого академического сна — заместителем директора по административно-хозяйственной части, он же... (зам по АХЧ). Видит ли своим вставным глазом зам?

И вот Лева кажется, что он видит. Он словно бы потрогал щечку, приклеенную к шкафу: хорошо, молодец, тщательно; сокрушился по поводу замазки — ах, как народ испортился, совсем работать не хотят! еще, наверно, и кучу денег содрал за такую работу — посочувствовал; зато стекло, из двух половинок состоявшее — давно собирался все заменить и все никак руки... сами знаете... спасибо; неужели вы про маски не знали? этого добра у нас полно — не стоило так переживать... С чернильницей смешно... Нет, нет, Готтих мне ничего не говорил... Какой Готтих?

Зам и вида не показал, может быть, лишь чуть намекнул, а то и нет, — пожал руку, поблагодарил, извинился, что вот так пришлось, сами знаете... спасибо. Теперь у вас, Лев Николаевич, заслуженный отгул — гуляйте, веселитесь законно. Хвалю, цену, похвала обжалованию не подлежит и приведена в исполнение.

Только вот... Одну минуточку, Лев Николаевич!.. Ах, как в Лева все пошло стремительно на дно, но в то же время и ожило, как последняя надежда... Сколько достоинства сумел вложить Лева в это «слушаю вас», вернее, сколько послушности вложил он в свое достоинство!

Тут у нас один иностранец — сами знаете этих иностранцев! — приехал... интересуется... сами понимаете... Пушкиным

Александром Сергеевичем (вставной глаз, фрикативное «г»...) А. С., так сказать... Не могли бы вы, я вам настоятельно рекомендую, вот вы в прошлом году в Париже не побывали, но ведь еще будете, будете!.. И вам приятно, и нам полезно. Известный, между прочим, иностранец, американский...

Это ножницами, ножницами! кто-то стриг и клеил, стриг и клеил все более фантастический коллаж: сочинял из обрезков и обрывков, подхихкивая, — а вот сюда я еще цифирку наклею, 88 и хвостик, и — готово! бездна юмора и вкуса... довольно потер ручки, поерзал... ах, хорошо! можно сказать, завершено. Каким же чувством чувствуем мы, что что-то еще надо было доделать, чего-то не хватало, а вот сейчас уже совсем готово — не прибавишь, не убавишь: швейная машина в пенсне, бюстгальтер в пустыне, кольт в манной каше и семь одинаковых бюстиков на роале... И Лева на фоне, с едва заметной булабочкой в груди.

Так, так! все в порядке!.. — восхитился Лева художественной точности жизни. НИ-ЧЕ-ГО — и заграница как награда! — Непреходящая и вневременность любимой родины обрадовали его.

Лева уже мысленно замечательную статью писал... Факты, положим, всем известные, но угол... ракурс... какой пронзительный свет! «Путешествие из России» — так назову. (От Польши до Китая) — в скобочках. Так сухо, строго, академично. Эпиграф: *«...и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России»*. Почему про это — все знают, а никто не обобщил? — «Пушкин и заграница» — Лева не припоминал такой статьи...

...Это был тот самый американский писатель, который написал впоследствии знаменитый фельетон «Как я был Хемингуэем» (но не тот, которому у нас этот фельетон приписали). Лева читал, в свое время, его рассказы и не уценил их до сих пор. Удивление, столь наивное, перед человеком, который написал то, что ты читал с восхищением в детстве, превышало Левину профессиональную опытность, и то, что хорошую литературу создают не только мертвые, а вот, в частности, и этот человек, поражало его...

Он вглядывался в его черты и не видел никакого сходства. Он бы спросил себя: в чем он ожидает увидеть это сходство? — и не мог бы ответить. А главное, где скрывался этот пыльный южный юмор?.. Равнодушное, застывшее, бугристое и красное забулдыжное лицо ничего не выражало. Кто за него расточал

весь тот блеск, отражение которого неизбежно ожидал Лева некими отблесками на лице? Странный тип.

Они катили в просторном черном ЗИМе, откуда Лева так хорошо, так ново и полно (из-за рядом иностранца) был виден Петербург. Господи, Господи! что за город!.. какая холодная блестящая шутка! Непереносимо! но я ему принадлежу... весь. Он никому уже не принадлежит, да и принадлежал ли?.. Сколько людей — и какие это были люди! — пытались приобщить его к себе, себя к нему — и лишь раздвигали пропасть между градом и Евгением, к нему не приближаясь, лишь от себя удаляясь, разлучаясь с самим собой... Вот этот золотистый холод побежал по спине — таков Петербург. Бледное серебряное небо, осеннее золото спиелей, червленая, старинная вода — тяжесть, которой придавлен за уголок, чтобы не улетел, легкий вымпел грубого Петра. С детства... да, именно так представлял Петра! — как тяжелую темноту воды под мостом. — Золотой Петербург! именно золотой — не серый, не голубой, не черный и не серебряный — зо-ло-той!.. — шептал Лева, разглядывая свою родину глазами, которыми зря награждал иностранца.

Американец вообще не смотрел по сторонам — он смотрел ровно перед собой, и его укороченный взгляд ничего не отражал. Это было невозможно: абсолютный рекорд неподвижности было его лицо! Чуть живее становилось лишь от его жены: юная и хорошенькая, этакая живогазенькая мартышечка, она все куталась в невиданное манто из выведенного в Сибири валютного зверя и дышала в мех. У нее, однако, сын заканчивал курс в Оксфорде.

Что еще? Литой, изваянный из мяса затылок шофера и кудрявый человек, похожий на молодого Бондарчука, рядом с шофером. Он, по-видимому, недавно научился улыбаться, что и проверял, время от времени оборачиваясь. Лева, если пробовал рассказывать что-то, всякий раз сбивался от его улыбки, и тогда тот поощрительно кивал. «Ну, в общем, это...» — говорил тогда Лева и приглашал в окно, отворачивался сам — в славное, не слепящее, не червонное золото Петербурга.

Всюду был вторник. В музеях вторник был выходной день. (Служители приобщили его к праздникам — им повезло.) Такая неосведомленность «Интуриста» удивила Леву, — но девиз сегодняшней реальности был «небрежность», и Лева присовокупил. И пока они вот так, от одной музей-квартиры к другой, мотались по городу — целенаправленно, с плавным бесшумным шорохом, от памятника к памятнику — памятников вдруг стало много, от скорости они выстраивались почти что в ряд, плечом,

что ли, к плечу; город был светел, бесшумен за окном, пространен и прозрачен — покинут... И эти сомкнувшиеся памятники — неожиданно много, целое население, медное население города — поводыри ослепшего времени, приведшие Леву за ручку в сегодняшний день...

Музеи были закрыты, Лева волновался и суетился от этой неловкости, от своей неспособности обнаружить причастность к своему кумиру, от невозможности причастить... Американца, впрочем, это никак не трогало. То ли удивился он уже чему-то навсегда, то ли постановил не удивляться — Леву это отсутствие реакции бесило... Американец выходил из машины, читал табличку, долго и тупо осматривал замок. Во дворике был памятник: крохотный Пушкин стоял... Американец обошел его неторопливо кругом, осмотрев как замок. Маленький вредный мальчик с пластмассовым автоматом носился вокруг памятника — тат-та-та-та-та! тат-та-та-та-та! — расстрелял иностранца; но и его американец осмотрел, как вещь, — хоть бы согрелся его взор, хоть бы фальшиво!..

И еще выдался символ на этот день: они не могли отыскать место дуэли Пушкина (для Левы замкнулось кольцо — тот морозный визит к деду)... Лева выскакивал из машины и спрашивал — не знали, посылали подальше, послали не туда. Может, и нашли бы, — но Лева тут и сам не захотел разрушать символ: ну и пусть, правильно, пусть не видят это святое место, политое его кровью, кто его не видит. Ему помстилось: это место, видимое лишь посвященному, лишь достойному, а для остальных — нет его: стоит газетный ларек, закрытый на обед, и все. Леве так понравилось, он не стал проявлять настойчивость — миссия его закончилась, они возвращались в «Асторию».

Солнце склонялось, и Петербург все золотел. Как он мал-невелик!.. Как быстро, как осень, пролетел он за окном: только что Острова — и уже Исаакий...

— А это, — скучно и неубежденно сказал Лева, — знаменитый Медный Всадник, послуживший прообразом... — Лева тут мучительно покраснел, потом кровь стремительно отбежала со словами: — Господи! что я говорю...

Нева отчалила и уплыла. В кунсткамеру, мой друг...

Отцизне посвятим... пора, мой друг, пора!.. Мой страх переживет...

Лева открыл глаза — вокруг, неузнаваемо оживленный и преображенный, суетился американец. «Кудрявый» ласково улыбался и кивал одобрительно. Шофер был столь же неправдоподобен и неподвижен, как муляж. Американка давала Леве

нюхать какую-то чрезвычайно изящную неземную вещь, волшебная грань посверкивала в ее ручке, выглянувшей из пышного меха, как некое юное, недавно проснувшееся существо... Лева вдруг почувствовал постыдную неотмытость, которой не помогла утренняя тщательность его туалета — да и никакая бы не помогла: неотмытость в принципе.

— Извините, простите, я... выйду... пройдусь... вы, пожалуйста... — бормотал Лева, поспешно и неловко перелезая через американца. — Я потом... простите...

— Шай!.. Соу шай... — восхищенно говорил американец.

...Мы оставим Леву подчеркнуто глубоко вдыхающим невский нефтяной воздух. Лева облокотился о парапет и следит за своим плевком, поглощаемым маленьким водоворотиком. Леве кажется, что ему хорошо, что он наконец вырвался. Он смотрит в грязную воду, в радужные завитки и всякий небольшой мусор, который ему уничижительно кажется подходящим для его взгляда. Он долго не подымает глаз на столь любезный ему, золотистый и пыльный, вытершийся от времени, с торчащими проволочками поломавшихся тускло-золотых ниток, гобелен, что кажется подвешенным на том берегу для просушки. И пока на том берегу проветривается золото петербургского пейзажа, Лева думает, что — подними он взор — вполне может оказаться, что кто-то шустро потянет за веревочку вверх и свернет пейзаж в трубочку. Что же окажется за ним?

Вот какие мысли он уже передумал: что недаром его не разоблачили сегодня; что именно такой, нашкодивший и добросовестно из-под себя все подъевший и вылизавший, он им и нужен; что тут ничего удивительного, что они его даже поощрили снисходительно; что именно такому можно было доверить... что раб, своими силами подавляющий собственное восстание, не только выгодная, но и лестная рабовладельцу категория раба; что именно так признается власть и именно так она держится. «Что я не ИХ — это они знают, а вот то, что я — для НИХ — это я и доказал сегодня. А если и не ИХ, а для НИХ — то какое еще удовлетворение могут ОНИ пожелать?» Это все он уже передумал.

А вот что он думает, пока мы отплываем от него как бы на речном трамвайчике, и Лева начинает плавно качаться у нас перед глазами на фоне выцветшего золота с силуэтом Медного Всадника, будто Лева, как Евгений, станцует нам сейчас свое па-де-де, пластически выражающее тоску по Параше (Фаине)... Вот что он думает, пока мы отплываем и пока не вздернули наверх его заплечный фон: он чувствует (это чувство и есть его

мысль), что он вернулся. Только откуда и куда? Это ему и хочется догадаться. Но убежденность, что в этой вот точке жизни он уже был, уже стоял, и тогда — где же он прощлялся долгие годы, описав эту мертвую петлю опыта, захватив этим длинным и тяжелым неводом, которым, казалось, можно выловить океан, лишь очень много пустой воды?.. С этим горбом, с этим рюкзаком опыта за плечами, вернулся он на прежнее место, ссутулившись и постарев, ослабев. И что делать с этим глубоким барахлом, которое он протаскал за собою во все свои странствия и войны? Устал. Помнится, хотел он установить однажды точку, с которой все началось, точку, в которой все прервалось, — думал он уже такое соображение... — и не находил.

Вот он и стоит в этой точке, покачивается, уменьшаясь на фоне, а мы на своем трамвайчике... качаемся в его глазах.

Конец третьей части

ПРИЛОЖЕНИЕ
к третьей части

АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА

(Отношения автора и героя)

Так мучился он, трепеща пред неизбежностью замысла и от своей нерешительности.

«Бесы», 1871

...Действительность не содержала в себе места для романа. Прошло время, прежде чем я понял двойственную природу окружившей меня действительности: она монолитна и дырява. Прошло время, прежде чем я понял, что дыры — заделываются прочнее всего, прежде чем мне надоело расшибать лоб об дыру, зашитую перед моим приходом — я попер на стену и беспрепятственно прошел насквозь. Ах, как быстро бы я справился с романом, если бы знал об этом! Теперь я кутаюсь от сквозняков, объявившихся (всегда бывших!) вокруг возможностей, и по привычке обхожу тело, казавшееся мне сплошным. Этот странный танец — вокруг следующего романа. «Азарт», роман-эпilog... нет, не продолжение, а такой роман... как бы выразить?.. в котором не было бы прошлого — одно настоящее... как до рождения, как за гробом...

Помнится, автор посмеивался над простаками, желающими узнать, что стало с полюбившимися героями. — посмеивался над незнанием законов построения литературного произведения, непониманием меры условности, отсутствием художественного вкуса и т. д., — ибо какое может быть продолжение вслед за точно обозначенным концом? Здание достроено, подведено под крышу, в нем живут...

Теперь, в предчувствии романа-эпилога, автора тоже стало занимать, куда же деваются герои... Как, например, преобразается Раскольников после того, как его великий летописец вынул из него всю его жизнь и потратил ее за короткий отрезок времени так, что жизнь и невозможна дальше при таком-то выводе и приговоре? Приговор приведен в исполнение — какие щепочки и крошки сметает автор со своего стола в Эпилоге? Прочтите любой эпилог: вам почудится циничная усмешка создателя: счастливая ли то семейная жизнь, свершения ли духа... — там может быть что угодно. Там неподвластное, настоящее время, и не потому автор прекращает писать, что все сказал, а потому, что дальше у него не хватает сил, что дальше он не может. Мы уже

рассуждали, что настоящее время — обязательно смерть героя, поэтому так уместны трагические концы. В наше ненастоящее время трагические концы неуместны. Что же ожидает героя вслед за его не признанной за смерть смертью?.. Даже мертв ли он, мы не знаем, потому что числим себя живыми.

Так что теперь это наивное желание продолжения кажется нам имеющим более глубокую, более подводную основу. Впрочем, маловероятно, что кто-нибудь захочет мучиться вместе слевой и дальше. Тяжело и надежд мало. И вот тут мы испытываем определенную вину перед героем, заставляющую нас откладывать и откладывать роман (эпизоды — первый, второй, третий...), чтобы напевал новый и новый, опять не удовлетворяющий нас конец. И мы снова и снова пойманы в тоску летописца, который, лишь ради того, что никто за него этого не сделает, воспроизводит то, в чем он окончательно не уверен, единственным способом — исключения собственной жизни.

Право, стоит ли? Единственное счастье пишущего, ради которого, мы полагали, все и пишется: совершенно совпасть с настоящим временем героя, чтобы исчезло, докучное и неудавшееся, свое, — так и оно недоступно. Ахиллес никогда не догонит черепаху... нам не удержаться — мы прилагаем лемму.

Мы бредем в настоящем времени, где каждый следующий шаг является исчезновением предыдущего и каждый, в этом смысле, является финалом всего пути. Поэтому настоящее время романа есть цепь финалов, линия, по которой отрывается прошлое от несуществующего будущего, трассирующая дискретность реальности, которой мы изрешечены насквозь. Любая точка настоящего является концом прошлого, но и концом настоящего, потому что жить дальше нет никакой возможности, а мы живем. Собственно, «любой» точки у настоящего и быть не может, настоящее — само есть точка, точка в математическом смысле, которую можно уподобить лишь остренькому уколу, и то нельзя.

И вот на острие этого укола и помещается та нравственная проблема, и если не проблема, то особый случай, касающийся взаимоотношений автора и героя. Нам скажут, что герой нематериален, фантом, плод сознания и воображения, и поэтому автор не несет перед ним той же ответственности, как перед живым, из плоти и крови, человеком. Как раз наоборот! Живой человек может воспротивиться, ответить тем же, сам причинить нам... в конце концов, на его стороне закон — и я очень несвободен в обращении с инотелесным, чем я, человеком. Герой же безответен, он более, чем раб, и отношение к нему дело авторской совести в гораздо большей степени, чем отношение с живыми людьми. Проблему эту можно если и не уподобить, то сравнить с проблемой вивисекции, искони считавшейся проблемой нравственной. Ибо если так остро стоит вопрос отношений с нашими застрявшими на служебной лестнице эволюции меньшими братьями, как-то — кролики и мыши, то почему же не ставить его в отношении собственных подобий? Внешний рисунок проблем чрезвычайно схож. Как существует принципиальная качественная граница между мертвым и живым, и то, что можно делать с мертвым (все), нельзя делать с живым, так же качественна граница прошлого и настоящего, и с героем, вступившим, в результате повествования, в настоящее, свое время, нельзя поступать в той же мере беспощадно и жестоко, как с героем, только что

существовавшим в прошлом. В какой-нибудь прекрасной стране, еще более прекрасной, чем Англия, вполне могло бы возникнуть Общество охраны литературных героев от их авторов. И впрямь, эта немая череда страдалцев, навечно заточенных в тесные томики, эти бледные, изможденные от бестелесности, навсегда потрясенные своими преступлениями перед идеалами и категориями невинные узники вызывают искреннее сострадание. Они тем более вызывают сочувствие, что муки их лишь отчасти их собственные муки, а, в значительно большей степени, это муки другого человека, жестокого и несправедливого, к тому же услаждающего себя реальностью и материальностью собственной жизни на стороне, — автора. Отзывчивость героя к мукам их творца, их терпение и терпимость являются беспримерными и абсолютными, наихристианнейшими. Герои вызывают сострадание, но не получают его. И они безропотно несут на себе весь груз чужих моральных, нравственных, этических, гражданских, социальных и каких там еще проблем, которые перекалывают на их бесплотные плечи писатели, как, в свою очередь, перекалывает эти же проблемы человечество на плечи писателей. И что бесспорно, что с героев своих автор требует больше, чем с себя в снисходительной практике жизни. По отношению к ним законы возмездия и рока действуют со значительно большей отчетливостью и эффективностью, чем в жизни. Ибо жизнь — это все, а литература все-таки — кое-что.

Только прошлое могло быть прожито тем единственным способом, который оказался, и в отношении прошлого мы снимаем с себя ответственность перед героем. Настоящее же неизвестно и неделимо, и то авторское коварство, при котором мы знаем, что будет с нашим героем, никак не может ужиться с чувством справедливости, ибо он этого не знает. Впрочем, иногда, к концу произведения, герой начинает догадываться, что некие прикосновенные к нему силы зла и чьей-то авторской воли подобрали ему художественные детали неизбежности жизни, герой начинает несколько роптать, сопротивляться, иногда даже (счастливый, вдохновенный случай!) ему удается навязать что-нибудь автору, небольшое, как каприз... но — сойти с ума, если узнать, что осуществление этой верховной воли находится не у Бога, а в частных руках некоего конкретного автора, который к тому же вполне может быть дрянной человек; сойти с ума — узнать, что какой-то конкретный человек вершит с нами, в совершенно неподходящей и не соответствующей воспроизводимым событиям обстановке, своею рукой нарушает свою и разрушает нашу жизнь; сойти с ума, что кто-то по отношению к нам присвоил себе и рок и судьбу и захватил власть Господа. А это самое страшное бесправие, какое только можно себе вообразить — отсутствие права на Бога.

Невыносимо допустить версию настоящего как вариант будущего — вся авторская развязность летит к чертям... Лева встал. Лева сел, снял шляпу и зажмурился — было солнце. Лежал окурок. Лева сидел в ожидании времени, которое все не шло. У него были: дыхание, сердцебиение... — все это инерция, ибо и мышь без воздуха имеет инерцию, чтобы сняли (успели) колпак. Один лишь герой — живет без времени, тратя всю свою жизнь на готовность к реанимации: умереть ровно тогда, когда к тебе поспеют с помощью...

Мы воспитались в этом романе — мы усвоили, что, лично для нас, самое большое зло — это жить в готовом и объясненном мире. Это не я, ты, он —

жили. Это жить рядом, мимо, еще раз, в энный раз, но не своей жизнью. И здесь мы соприкасаемся с еще одной темной проблемой психологии творчества — с проблемой власти. Мы, конечно, не имеем в виду поверхностный, первый, лежащий в другой плоскости пласт государственной власти и взаимоотношения с ним автора в процессе письма. Тут и говорить нечего — он есть, этот пласт, есть и его давление на процесс. Мы опускаем рассмотрение и другого существенного аспекта проблемы — стремления пишущего к власти (почет, влияние, деньги...). Опустим и еще один, более тонкий и сильнее нас занимающий аспект — интереса к власти, некоторого противоречивого тяготения к ней как раз свободного художника: это уже творческая проблематика, это уже — тема, слишком большая, чтобы здесь... посвятим ей грядущий роман. Здесь мы коснулись лишь самой частной стороны этой проблемы: власти над собственными героями. Мера этой власти, правомерность и справедливость ее, чувство этой меры в процессе — в этом как раз и состояли наши затруднения к концу третьей части... Мы могли высветить умирание героя, его агонию юпитерами нравственных законов: что, мол, Лева после истории с Бланком? — после нее он уже необратим, на этот раз наконец — погиб, ибо кто в нем может продолжать жить снаружи души?... Но все-то вокруг живут: автор, читатель и тот, кто никогда этого не прочтет. Неужели один лишь Лева необратим? В нас закрадывалось подозрение, что остальным-то несколько комфортабельнее в темном зале, чем ему, залитому на своей площадке светом совести у всех на виду. Поэтому мы перестали жать на эту педаль. Гибель героя интересует нас теперь лишь теоретически: сколько можно жертвовать в жизни и — на бумаге? Не напрасно ли убиен очередной герой на алтаре художественной литературы? Не откуп ли это?

В том-то и дело, что если рассказать с некоторой правдивостью любую жизнь со стороны и хотя бы отчасти изнутри, то картинка наша будет такова, что этот человек дальше жить не имеет ни малейшей возможности. Мыслимое ли дело — продолжение! а ты живешь. Хоть в литературе-то все сбудется: конец так конец. Литература компенсирует беспринципность и халтурность жизни своей порядочностью.

Что станет с литературой, если автор будет в ней поступать, как в жизни, — уже известно: не станет литературы. Она сольется с жизнью, от которой призвана отделиться. И в этом, так сказать, этическом рассуждении мы оказались в той же точке вывода: продолжение невозможно.

Однако проверим и это. Поступим в литературе халтурно, как в жизни, окончательно разрушив дистанцию герой — автор. Допустим очную ставку с героем и распробуем эту беспринципную со стороны автора встречу — на литературный вкус...

...Мы вспоминаем тот растерянно-подозрительный взгляд, взгляд ревнивца, боящегося оскорбить предмет ревности еще недоказанным подозрением, взгляд точного чувства, лишенного, однако, права голоса — взгляд страдания, брошенный на нас Левою в тот растленный (правда, единственный) раз, когда мы не удержались и полюбопытствовали взглянуть на него. Этот детский взгляд было невозможно вынести, и автор смугился и потупил взор. И в дальнейшем разговоре глазки у автора бегали, и дано ему было тогда понять и присовокупить к художественному опыту, что чувствует человек, у которого

глазки бегают... (Усвоивший лопату причинно-следственной связи и довольствующийся этим своим навыком сказал бы, что взгляд оттого был подозрительным, что глазки автора бегали, и я не соглашусь с ним.) Правда, несколько оправдывает нас то обстоятельство, что надо же было хоть раз посмотреть на обстановку, в которой происходило действие романа... Наглость, конечно, описывать учреждение¹, в котором побывал всего только раз, но еще большая наглость описывать его, не побывав там ни разу... Ну, почему же сразу — наглость?

Все, однако, пока совпадало с моими описаниями... Я ткнулся в три двери, прежде чем отворил одну, на которой было ясно написано: «Вход». Дальше шла парадная, широкая и короткая лесенка на бельэтаж; вот и стол вахтера; вот и сама вахтерша, несколько другая, чем я описал, с налетом академизма, как капельдинерша из филармонии. Но стол — тот самый и на том самом месте: на нем сидел и курил Митишатъев, когда Лева возился с ключами, спасшись от погони... Лестница не была освещена, резной дубовый полумрак — это было верно. А есть ли наверху парадная люстра, я так же забыл посмотреть, как не замечал ее Лева. На вахтершу я не произвел впечатления, а Левина фамилия — произвела. Вахтерша встряхнула седой завивкой, привстала, сообщила мне добавочный, для точности проверила его, отыскав по таблице под стеклом, подвинула телефон... И пока меня соединяли, я разглядывал ну в точности такой ящик, как описал, — дверцы его не сходились — только в нем был не рубильник, а пожарный рукав. Я мог бы откомендовать Лева от кого угодно — от Фанни, от Митишатьева... — но предпочел — от Альбины, чтобы не ввести Леву в соображения по поводу моей информированности, не сознавать, так сказать, метеопомех в нашей беседе. Я знал, что, при упоминании Альбины, Левин голос поскучнеет и готовно обнаружит свою от нее свободу и независимость — так и было. Лева не заставил меня ждать, он сбежал по лестнице легко и небрежно и был, пожалуй, почти такой, как я его себе представлял, только значительно выше ростом и блондинистей, что меня поразило.

С особым чувством вглядывался я в его черты... это чувство мне не с чем сравнить. Разве однажды, во сне, увидел я самого себя (не в третьем лице, как бывает, не в роли героя сна — я уже был во сне, а я-он вошел...) — это было достаточно страшно, вернее, должно было быть страшно, потому что страх был

¹ Роман несколько раз переименовывался, последовательно отражая степень авторских посягательств. А la recherche du destin perdu или Hooligan's Wake («В поисках утраченного назначения» или «Поминки по хулигану»)... Наконец, пришло последнее — ПУШКИНСКИЙ ДОМ. Оно, бесспорно, вызовет нарекания, но оно — окончательное. Я никогда не бывал в «Пушкинском Доме»-учреждении, и поэтому (хотя бы) все, что здесь написано — не о нем. Но от имени, от символа я не мог отказаться. Я виноват в этой, как теперь модно говорить, «аллюзии» и бессилен против нее. Могу лишь ее расширить: и русская литература, и Петербург (Ленинград), и Россия, — все это, так или иначе, ПУШКИНСКИЙ ДОМ без его курчавого постояльца... «Il faut que j'arrange ma maison» («Мне надо привести в порядок мой дом»), — сказал умирающий Пушкин... Академическое же учреждение, носящее это имя, — позднейшее в таком ряду.

подавлен другим, одновременно возникшим, но гораздо более сильным в этот момент чувством — любопытством. Это было горячее, сладострастное любопытство, и я его тотчас, во сне, определил как женское (вообще в этом сне я как-то очень быстро соображал, то есть спал с включенным сознанием, что, само по себе, тоже нечасто). Я быстро оценил чрезвычайную редкость и возможную неповторимость ситуации, я никогда не видел себя до этого, если не считать зеркальных отражений, а их, как я тут же понял, можно не считать, то есть я видел себя в первые. Помню, что я прекрасно сознавал, что все это происходит во сне, подумал и о том, нет ли тут зачаточного симптома раздвоения личности, но еще яснее помню я абсолютную свою убежденность в подлинности двойника, что я могу совершенно доверять этому зрению и что все, что я сейчас успею пронаблюдать, потому что, чего я не знал, так это продолжительности аудиенции (то есть не проснусь ли я внезапно), — я должен вобрать и впитать в себя как губка. Именно такое пористое, засушливое любопытство настолько владело мной, что я даже не тратил силы, чтобы скрыть его для приличия (помню, это парадоксальное соображение мелькнуло во сне; что себя-то как раз и можно стыдиться и пытаться вести себя перед собой скрытно). «Так вот я какой? именно таким меня видят другие?» — я ревниво взглядывал на себя, как на соперницу. Первое впечатление удовлетворило меня: я выглядел лучше, чем привык думать о себе, некоторая высокомерность (я знал, что она не зависит в данном случае от самомнения) удивила меня, но не задела, — я испытывал даже некое странное уважение к «нему-себе», может, потому, что «он-я» вовсе не проявлял такого жгучего интереса ко «мне-мне»: он меня как бы уже знал, а лишь я его — нет. Теперь я страстно хотел, чтобы он заговорил, мне надо было услышать его. «Он-я» прошелся по комнате, как бы ему был нужен кто-то другой, чем я, и лишь убедившись, что никого тут не было, оборотился ко мне. «Ну?» — сказал он с усмешкой. «Ты извини, что я на тебя так смотрю, но это ведь понятно», — сказал я. «Пожалуй», — сказал он. «В таких впечатлениях надо быть откровенным — знаешь, первое, что я подумал?» — «Что?» — спросил он из вежливости, явно зная что. «Можно ли меня любить? то есть полюбил ли бы я тебя на месте женщины?» — «Удостоверился?» — «В общем, да». — «О чем ты еще хочешь меня спросить?» — «Даже и не знаю... что бы поглавнее выбрать... — странное уважение испытывал я к нему! — Ну скажи, что мне делать? ты знаешь, о чем я спрашиваю». — «О чем?» — сказал он, опять зная о чем. «Да вот, как жить дальше?» — «А так же», — гениально ответил он. И тут он исчезает — то ли из сна, то ли я просыпаюсь, — но впечатление действительного и важного события, происшедшего со мной, долго не покидает меня наяву...

Я отступил больше, чем на шаг, потому что такого рода признания требуют невыдуманности, а невыдуманность — длинна. Именно так взглядывался я в первые Левины черты и могу теперь не тратить на описание своих чувств. Он посмотрел на меня чуть длинно большими, несколько выпуклыми серыми глазами, и я потупился. Черты лица его были лишены индивидуальности, хотя лицо его и было единственным в своем роде и под какой-либо привычный тип не подходило, но — как бы сказать? — оно и одно было типично и не принадлежало в полной мере самому себе. Черты эти можно было «экспертизно» описать как правильные и крупные, чуть ли не «сильные», но

что-то так безнадежно и слабо вдруг шло вниз в этом вылепленном рте и крутом подбородке, что выдавало в славянине арийца с его безвольным мужеством и тайной бесхарактерностью — скорее, я бы себе так представил как раз Митишатъева, а не Леву. Может, подозрительный его взгляд придал ему столь неожиданное сходство с его антиподом, и тогда это моя вина, потому что он был прав, подозревая меня... Когда я, нарушив правила литературного тона, сам оказался в повествовании в качестве героя, то впервые как бы поколебалась социальная структура Левы, он оказался социально нарушен и взглянул на меня взглядом Митишатъева, каким тот смотрел на Леву. А Лева не мог подозревать кого бы то ни было в чем бы то ни было (социальная опытность — не в его социальной природе) — тем более незнакомого человека... и тем более мучительно было его подозрение, что, неоправданное и неподтвержденное, оно ему самому казалось мнительностью, а он — подозревал себя в мнительности. Так бы он и меня заподозрил в связи с Фаиной, как на меня взглянул... Да, он безукоризненно почувствовал и заподозрил что-то не то. Еще бы! Между нами произошёл вот какой разговор.

АВТОР (*какое коварство! — он же знает ответы на свои вопросы...*): Вот еще я хотел вас попросить... Я очень наслышан о вашей работе «Три пророка». Не могли бы вы познакомить меня с рукописью?

ЛЕВА: Но эта статья наивна, устарела, детская моя статья... Я стал другой — зачем же вы будете судить по ней обо мне? В других работах, как, например, «Середина контраста», «Опоздавшие гении» или «Я» Нушкина», — все значительно зрелее и сильнее...

АВТОР (*подлец!*): Где можно прочитывать эти работы?

ЛЕВА (*сардонически*): Нигде. Они не опубликованы.

АВТОР: Тогда, может, вы мне дадите их почитать в рукописи?

ЛЕВА (*смущаясь*): Видите ли, они даже не перепечатаны, как бы не вполне завершены — вряд ли вы разберетесь в рукописи... (*Уверенно*): Перепечатаю и дам.

АВТОР: Но дайте все-таки «Три пророка». Ведь если бы статья была в свое время опубликована, то не в вашей власти было бы ограждать читателя от знакомства с ней, даже если она юношеская и незрелая...

ЛЕВА (*почти невежливо*): Если бы она была опубликована, то были бы опубликованы и другие. Вы могли бы судить, сравнивая.

АВТОР (*откровенно провокационно*): Но работа над другими не завершена. Как бы вы их уже опубликовали?..

ЛЕВА (*зло*): Если бы да кабы... Тогда бы они были завершены!

Если прибавить к такому диалогу мои бегающие глаза и справедливое предчувствие Левы, что я — не к добру, то я должен был произвести на Леву довольно-таки неблагоприятное впечатление. Вряд ли бы он, кабы знал, доверил мне свое жизнеописание.

Тем временем мы прошли в музей, который, как явствовало из записки Альбины, мне тоже следовало показать (еще бы! его-то я очень хотел проверить!). Ну, а музей, если не считать легкой путаницы в расположении стен и окон, был в точь такой, как мною описан. В нем не было ни души.

Тень, вроде привычной и тупой боли, пробежала по Левинуму лицу, когда он окинул зал...

— Ну, в общем, вот это... — сказал он кисло, неопределенно обводя рукою. — Вам ведь не нужно пояснять, как экскурсии?

— Нет, конечно, нет, — поспешил заверить его я. Какая-то совесть во мне все-таки была...

— Я сам тут давно не был, — с облегчением, доброжелательно сказал Лева, тут же раскаявшись в «неоправданной» нелюбезности со мною. — Я вас ненадолго покину, вы сами все посмотрите: что вас особенно интересует — я могу потом пояснить. И не забудьте, пожалуйста, записаться в книгу: у нас почти не бывает посетителей и велено всех фиксировать.

И только я отпустил Леву, только я встал в середину первого зала, мысленно сличая его с романом и ставя птички неточностей на полях... как в зале стало твориться нечто такое, что можно было бы отнести за счет переутомленной под утро авторской фантазии, если бы это не был (как и пересказанный выше сон) единственный документальный факт этого романа.

.. В зал, во всех доспехах, в сверкающей серебряной каске, вошел пожарник. За ним суетливо вбежала вахтерша-капельдинер. «Вот, пожалуйста, одну минуточку, сейчас я позову...» — говорила она и, поволновавшись, рассыпалась. Пожарник выглянул за ней следом: «Обылись? мыжите зыхадить!» — зычно сказал он, и в зал, по одному, смущаясь, деревenea и топорщась, как крабы, стали проходить пожарники, волоча на сапогах музейные трупы тапок. Зал набился. Так они стояли, кто как встал, посматривая каждый на то, что прямо перед ним находилось, и на потолок. «Шас, шас, рыбаля», — сказал серебряный, он от всех тут отличался изяществом формы, бог пожара («Брандмайор», — вспомнил я подходящее слово), у него у одного была такая каска — у остальных были одинаковые, серо-зеленые, из какого-то тухлого металла... И вошла стройная, чрезвычайно интеллигентная, с мудрым и насмешливым лицом женщина-экскурсовод. Ах, как хорошо, что Лева вышел, — это была Альбина! я бы попал в неловкое положение.

По ее лицу было видно, до чего же это все радостно и редко — народ в музее, да еще такой замечательный. Она охотно, чувствуя на себе взгляды и подставляясь им, как греясь от этого простого и ровного тепла, вышла в центр и хлопнула себя указкой по стройному голенищу модного сапога, как амазонка или, скорее, укротительница (или это был ее первый экспонат? — пожарники все посмотрели ей на ногу). «Ну, что вас интересует?» — спросила она, сразу оториентировавшись и выбрав серебряную каску. «Всо», — сказал он. Она мило улыбуналась, кивнула с иронической готовностью... как странно, однако, подумал я, что именно она — Альбина, а Лева — роковой любовник... кому чего надо? ...— все невпопад. «Ну, хорошо, — сказала она. — Мы находимся...» Она немного рассказала про что тут было раньше, в этом здании. «Это надо запомнить», — подумал я и не запомнил; потом сказала, что первый зал является как бы обобщающим, но что уже тут появляются и некоторые реликвии, относящиеся в первую очередь к графу Льву Николаевичу Толстому (она так сказала — «графу» — ах, смелая женщина..!), а вот картина Пастернака, отца поэта, писанная им в Ясной Поляне. Она на секунду приостановилась, обдумывая, по-видимому, свой контакт с аудиторией, и тут бог пожара, резко вскинув головой и ослепительно сверкнув каской, сказал: «Ну, теперь вы поняли, какие здесь все ценности и что водой тут действовать нельзя!» По-

жарники дружно оживились и удовлетворенно загудели. «Вот апогей бережного отношения к культуре! — подумал я. — Но чем же тушить пожар?..» — я посмотрел на Альбину и понял, что не понимаю Леву и влюбляюсь — такой свет, такое обещание!.. так пробивался смех сквозь милое лошадиное лицо... И, справившись, она спросила: «А какова, собственно, цель нашей экскурсии?» Брандбог покраснел и сказал: «У нас сегодня учебные занятия, и выбор пал на ваш абъехт». Альбина мило распросалась с ними, и, хорошо запомнив лица пожарных и не очень хорошо экспонаты, я вскоре последовал за ней.

Я поблагодарил Леву и повеселил рассказом об этом торжестве. Он пришел в благорасположение духа. Видно, состояние настороженности и подозрительности в последнее время донимали его — он с радостью освобождался от них, тут же полагая себя несправедливым, а мнительность именно своєю дурной чертой (муштра Фаины, она неплохой агент...). Но только облако окончательно соскользнуло с его лица и оно осветилось простым доверчивым светом собирающегося разговориться человека — как я начал откланиваться и уходить с видимою решительностью. Что ж, я сделал свое дело, свой 101 процент, вступать в короткие отношения с героем в мои намерения не входило (тут был и своего рода авторский страх за проделанную работу...).

— Я вас задерживаю... — Это простое наблюдение было для него пронзительною догадкой, и, по мере того как мысль его начинала жить сама, лицо его бледнело и таяло, растрачивая плоть. — Заходите еще, — сусливо добавлял он, — я, право, отдам наконец статьи машинистке... Для начала «Середину контраста». Она почти готова. Через неделю?..

Я поспешно пообещал — он мне не поверил.

— Вы так торопитесь? — поразился он. — Подождите хоть секунду... Я сейчас.

Он убежал, не дожидаясь моего согласия. Я хотел было уйти, неловкость становилась несносной... но он тотчас и вернулся запыхавшись.

— Вот эти три странички... — Я взглянул на него, не скрыв удивления. — Нет, это не мое, — усмехнулся он. — Но вы же интересовались наследием моего деда, я знаю... Зайдете через неделю — вернете...

Я несколько замаялся.

— Не зайдете? — догадался Лева. — Впрочем, что это я?.. — Он махнул рукой или почти махнул: — Все равно берите. Можете не возвращать. Это копия.

Я поблагодарил и окончательно заспешил, буркнув под мышку, что, конечно, зайду, мол, до свидания...

— Прощайте, — усмехнулся Лева, и мне почудилась в этой усмешке доля презрения.

...Так мы живем, преувеличивая чужие чувства к себе и недооценивая свои, и время подступает к нам вплотную. Мы стоим супротив и отделиваемся тем, что не видим на близкие расстояния. В будущем мы близоруки, в прошлом — дальноворки. Ах, выпишите мне очки для зрения сейчас! Таких нет.

И теперь, противоестественно навязав герою очную ставку с автором, нам уже некуда отступать: время наше окончательно совпадает, мы живем с ним, с этого мгновения, в одном и том же времени, каждый своей жизнью, и в нашем, бытовом, пространстве параллельные — никогда не пересекутся. Так что это краткое свидание — разрыв. Собственно, всякое свидание, как это ни грустно...

Он давно наметился, он давно произошел... Когда симметрия была построена, и прошлое, в зеркале настоящего, увидело отражение будущего; когда начало повторило конец и сомкнулось, как скорпион, в кольцо и угроза сбылась в надежде; когда кончился роман и начался авторский произвол над распростертым, бездыханным телом: оставить его погибшим от нелепого несчастного случая (от шкафа...) или воскресить, по традициям трезвости и оптимизма (реализма...), наказав законами похмелья (возмездия...) — уже тогда... и с тех пор (воскресив-таки...), тяготясь случайностью и беспринципностью, воровал автор у собственной жизни каждую последующую главу и писал ее исключительно за счет тех событий, что успевали произойти за время написания предыдущей. Расстояние сокращалось, и короткость собственных движений становилась юмористической. Ахиллес наступил на черепаху, раздался хруст в настоящем и с этого момента... хоть не живи — так тяжело, ах, соскучав, так толсто навалилась на автора его собственная жизнь! Взгляд заслоняют итальянские виды. А, что говорить!..

Мы снесем сейчас эту страничку машинистке, и это — все.

Мы тихо посидим, пока она печатает: этот ее пулеметный треск — последняя наша тишина. Встрепенемся, выглянем в окно...

...В последний раз увидим мы Леву выходящим из подъезда напротив: ага, значит, вот где провел он эту ночь! Он имеет невыспавшийся вид. Он остановился и как-то растерянно дрожит, словно не узнает, где он и в какую сторону идти. Смотрит в небо. В небе видит голубую дырочку... Чему ты улыбаешься, сентиментальный дурак?.. Я не знаю. Похлопал себя по карманам, забко ссутулился. Что может быть еще? Ну, прикурил. Пустил дымок. Еще потоптался. И — пошел.

Привет! пока! — мы можем еще высунуться и окликнуть:

— Эй, эй! постой! заходи... Заходи сам!

Как хотел же, в свое время, он сам окликнуть Фанну... И мы не окликнем его. Не можем, не имеем... Мы ему причинили.

Куда это он зашагал все более прочь?

Мы совпадаем с ним во времени — и не ведаем о нем больше

НИ-ЧЕ-ГО.

27 октября 1971 — (1964, ноябрь...)

Но что это? Что это шуршит в кармане?

Я забыл в нем те листки, что сунул мне Леву на ступенях Пушкинского Дома.

СФИНКС¹

...говорил и не слышал своих слов. Даже не сразу понял, что уже молчу, что ВСЕ сказал. И все молчали. Ах, как долго и стремительно шел я к выходу в этом молчании!

Вышел на набережную — какой вздох!.. У меня уже не осталось ненависти — свобода! Ну, теперь-то, кажется, все. Больше они не станут со мною цацкаться. «Утек, подлец! Ужо, постой, расправлюсь завтра я с тобой!» Еще бы... Испуганно озираясь, за мной вышмыгнул доцент И-лев. Он упрекал и журил. «Вам и не надо было ни от чего отрекаться... Вы же знали, что на заседании Комиссии будет сам З.!.. Сказали бы, что это, прежде всего, великий памятник литературы, что Екклесиаст — первый в мире материалист и диалектик, — они бы и успокоились. Они совершенно не хотели растоптать вас до конца, Модест Платонович. Вы сами...» Я утешил эту заячью душу, как мог. Мы дошли до Академии художеств и простились. Он побежал «дозаседать».

Я спустился у сфинксов к воде. Было странно тихо, плыла Нева, а по небу неслись, как именно в сером Петербурге бывает, цветные, острые облака. Неслось — над, неслось — под, а я замер между сфинксами в безветрии и тишине — какое-то прощальное чувство... как в детстве, когда не знаешь, какой из поездов тронется, твой или напротив. Или, может, Васильевский остров оторвался и уплыл?.. Раз уж сфинксы в Петербурге, чему удивляться? Им было это одинаково все равно: тем же взглядом смотрят они — как в пустыню... И впрямь: не росли ли до них в пустыне леса, не было ли под Петербургом болота?.. Станный Петербург — как сон... Будто его уже нет. Декорация... Нет, это не напротив — это мой поезд отходит.

Я. видите ли, для И-лева загадка... Что я, если и в этих сфинксах нет ничего загадочного! И в Петербурге — тоже нет! И в Петре, и в Пушкине, и в России... Все это загадочно лишь в силу утраты назначения. Связи прерваны, секрет навсегда утерян... тайна — рождена! Культура остается только в виде памятников, контурами которых служит разрушение. Памятнику суждена вечная жизнь, он бессмертен лишь потому, что погибло все, что его окружало. В этом смысле я спокоен за нашу культуру — она уже была. Ее — нет. Как бессмысленная, она еще долго просуществует без меня. Ее будут охранять. То ли, чтобы ничего после нее не было, то ли на необъяснимый «всякий» случай. И-лев будет охранять. И-лев — вот загадка!

Либеральный безумец! Ты сокрушаешься, что культуру вокруг недостаточно понимают, являясь главным разносчиком непонимания. Непонимание — и есть единственная твоя культурная роль. Целую тебя за это в твой высокий лобик! Господи, слава Богу! Ведь это единственное условие ее существования — быть непонятой. Ты думаешь, цель — признание, а признание — подтверждение того, что тебя поняли?.. Болван. Цель жизни — выполнить назначение. Быть непонятой или понятой не в том смысле, то есть именно быть не признанной —

¹ Из главы «Бог есть». Последнее возвращение М. П. Одоевцева к «запискам». Можно датировать по стихотворению Блока не ранее 1921 г. — Л. О. (Примечание Левы. — А. Б.).

только и уберезет культуру от прямого разрушения и убийства. То, что погибло при жизни — погибло навсегда. А храм — стоит! Он все еще годен под картошку — вот благословение! Великая хитрость живого.

Ты твердишь о гибели русской культуры. Наоборот! Она только что возникла. Революция не разрушит прошлое, она остановит его за своими плечами. Все погибло — именно сейчас родилась великая русская культура, теперь уже навсегда, потому что не разовьется в свое продолжение. Каким мычанием разразится следующий гений? А ведь еще вчера казалось, что она только-только начинается... Теперь она камнем летит в прошлое. Пройдет небольшое время, и она приобретет легендарный вкус, как какой-нибудь желток в фреске, свинец в кирпиче, серебро в стекле, душа раба в бальзаме — секрет! Русская культура будет тем же сфинксом для потомков, как Пушкин был сфинксом русской культуры. Гибель — есть слава живого! Она есть граница между культурой и жизнью. Она есть гений-смотритель истории человека. Народный художник Дантес отлил Пушкина из своей пули. И вот, когда уже не в кого стрелять — мы отливаем последнюю пулю в виде памятника. Его будут разгадывать мильон академиков — и не разгадают. Пушкин! как ты всех надул! После тебя все думали, что — возможно, раз ты мог... А это был один только ты.

Что — Пушкина... Блока не понимают! Тот же И-лев с восторгом, подмигивая и пеңясь, совал мне его последние стихи.

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

И-лев способен понять лишь намек — так уж тонок: слов он — не понимает. Он восплаляется от звуков «тайная свобода-непогода-немая борьба», понимая их как запрещенные и произнесенные вслух. А тут еще «пели мы» — значит, и он... Он, видите ли, не Пушкин лишь потому, что ему рот заткнули... Во-первых, никто не затыкал, а во-вторых, вынь ему кляп изо рта — окажется пустая дырка. Господи! прости мне этот жалкий гнев. Значит, это все-таки стихи, раз их можно настолько не понимать, как И-лев. Значит, эти стихи еще будут жить в списках И-левых.

То и вселяет, и именно нынче (Блок все-таки царь, назвав это лишь «непогодой»), что связь обрублена навсегда. Если бы последняя ниточка — какое отчаяние! — пуля в лоб. А тут: сзади — пропасть, впереди — небытие, слева-справа — под локотки ведут... зато небо над головой — свободно! Он и в него не посмотрят, они живут на поверхности и вряд ли на ней что упустят, все шелки кровью зальют... Зато я, может, в иных условиях, головы бы не поднял и не узнал, что свободен. Я бы рыскал во все свободные стороны по Площади имени Свободы в свободно мечущейся толпе...

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Ведь не «дорога свободы», а дорога — свободна!.. Дорогою свободной — иди! Иди — один! Иди той дорогой, которая всегда свободна — иди свободной дорогой. Я так понимаю, и Блок то же имел в виду, и Пушкин... Куда больше. Понять — можно. Немота нам обеспечена. Она именно затем, чтоб было время — понять. Молчание — это тоже слово... Пора и помолчать.

Нереальность — условие жизни. Все сдвинуто и существует рядом, по иному поводу, чем названо. На уровне реальности жив только Бог. Он и есть реальность. Все остальное делится, множится, сокращается, кратное — аннигилируется. Существование на честности подлинных причин непосильно теперь человеку. Оно отменяет его жизнь, поскольку жизнь его существует лишь по заблуждению.

Уровень судит об уровне. Люди рядят о Боге, пушкиноведы о Пушкине. Популярные неспециалисты ни в чем — понимают жизнь... Какая каша! Какая удача, что все это так мимо!..

Объясняться не надо — не с кем. Слова тоже утратили назначение. И пророчить не стоит — сбудется... И последние слова онемеют от того, что сумели назвать собою, что — накликали. Они могут снова что-то значить, лишь когда канет то, с чем они полностью совпали. Кто скажет, достаточно ли они хороши, чтобы пережить свое значение? А тем более — признание. Признание — возмездие либо за нечестность, либо за неточность. Вот «немая борьба». Какое же должно быть Слово, чтобы не истереть свое звучание в неправом употреблении? чтобы все снаряды ложных значений ложились рядом с заколдованным истинным смыслом!.. Но даже если слово точно произнесено и может пережить собственную немоту вплоть до возрождения феникса-смысла, то значит ли это, что его отыщут в бумажной пыли, что его вообще станут искать в его прежнем, хотя бы и истинном, значении, а не просто произнесут заново?..

КОММЕНТАРИИ

По инерции пера, исходя из выявившихся к концу романа отношений с героем, автор тут же приступил к комментарию, писанному якобы в 1999 году, якобы героем, уже академиком Львом Николаевичем Одоевцевым, к юбилейному изданию романа. Тут автор давал возможности бедному герою поквитаться с автором: соблюдая академическое достоинство, он аргументированно выводил автора на чистую воду, то есть попросту изобличал в невежестве. Автор, как мог, защищался, пытаясь выдать комментарий за пародию, но герой вдруг начал превосходить автора квалификацией...

И автору вдруг, как говорили в старину, наскучило. И замысел протянуть диалог автора и героя до конца века не состоялся. Автор не заметил, как увлекся совсем иным комментарием: он стал комментировать не специальные вещи, а **общеизвестные** (ко времени окончания романа, то есть к 1971 году)¹.

Автора вдруг осенило, что в последующее небытие канут как раз общеизвестные вещи, о которых современный писатель не считал необходимым распространяться: цены, чемпионы, популярные песни... И с этой точки зрения, в комментарии 1999 года Льву Николаевичу как раз логично было бы рассказать именно о них. «Боюсь, однако, что он сочтет это недостаточно академичным (или забудет...)», — подумал автор. Между тем предметы эти могут уже сейчас показаться совершенно неведомыми иноязычному читателю. С национальной точки зрения, восприятие в переводе — есть уже восприятие в будущем времени.

Естественно, что к собственному тексту автор не мог отнестись с исследовательской шепетильностью, отсюда ряд несоответствий с академическим протоколом.

Стр. 5 ... *Оглавление...*

Автор считает, что одного взгляда на оглавление достаточно, чтобы не заподозрить его в так называемой «элитарности», упреки в которой запестрели в наших литературных журналах и газетах (чуть ли не единственная у нас беда...).
Вовсе не обязательно знать хорошо литературу, чтобы приступать к чтению данного романа, — запаса средней школы (а среднее образование в нашей стране обязательно) более чем достаточно. Автор сознательно не выходит за пределы школьной программы. (То же в отношении и других упоминаний... см. комм. к стр. 130).

¹ Возвращения к комментарию растянулись, однако, до 1978 года.

Стр. 7 ...эта ясность... чуть ли не вынуждена специальными самолетами...

7 ноября (25 октября ст. ст.), как правило, бывает отвратительная погода. Таково время года. Мокрый снег, летящий в лицо, не способствует праздничному настроению тысяч демонстрантов, намокают флаги и лозунги. Однако в последние годы все чаще бывает, что на время демонстрации устанавливается достаточно ясная, хотя и пронзительная погода. Подобное обстоятельство всегда отмечается в праздничных газетах, ему придается значение. По непроверенным данным, погода и впрямь устанавливается, причем — сверху, получившими праздничное спецзадание боевыми самолетами (См. комм. о погоде к стр. 9).

...*Детское слово «Гастелло»...*

Иностранная красота этой фамилии способствовала славе подвига и в конечном счете ее затмила: все знают фамилию героя, но не все — что он сделал. Известно, что — летчик. Имя «Гастелло», как и имя нечитанного еще «Монте-Кристо», осело на чистых стенках памяти детей моего поколения первым романтическим слоем. (Гастелло Николай Францевич (1907—1941), Герой Советского Союза, модифицировал подвиг Нестерова (см.): на пятый день войны погиб, направив свой горящий самолет на колонну немецкой военной техники и взорвавшись вместе с нею).

Стр. 8. *Раскидайчик* — дешевая базарная игрушка, продается на улицах во время демонстраций 1 Мая и 7 Ноября, обычно цыганами. Представляет собой мячик из бумаги, набитый опилками, стянутый меридианами ниток, на длинной тонкой резинке: брошенный, он возвращается назад к владельцу. Раньше ассортимент подобных игрушек был значительно богаче: и «уйди-уйди», и «американский житель», и «тещин язык», и леденцовые петушки, и много других соблазнительных штук. Теперь весь репертуар сведен к красным флажкам и воздушным шарам (нелетающим), еще встречается «раскидайчик», но с каждым годом все реже. Думаю, тут действуют свои экономические причины, диктующие частному рынку, но пока они диктуют, — их просто разучились делать, эти игрушки.

Нестеровская петля — Нестеров Петр Николаевич (1887—1914) — великий русский летчик, выполнивший в 1913 году так называемую «мертвую петлю». Погиб, впервые применив в воздушном бою таранный удар.

Стр. 9. *«Север»* — сорт дешевых, «работяжьих» папирос (раньше еще была «Красная звезда», но она снята с производства); курение «Севера» является некоторой социальной характеристикой: дешевизна, возможность не вынимать изо рта, когда заняты или испачканы руки, необходимость часто прикуривать, потому что она легко гасла, наконец, принадлежность к определенному поколению, начавшему курить в военные и предвоенные годы и не изменившему своему вкусу, — делает производство их все еще рентабельным. Но и в этих папиросах есть что-то от «раскидайчика» — однажды они, как и он, исчезнут, вытесненные жвачкой, «Мальборо» и пепси-колой.

...погода же нам особенно важна и сыграет еще свою роль...

До сих пор ленинградцы любят попрекнуть Петра за то, что он заложил свой город в болоте. По их убеждению, кроме плохой погоды, в воздухе присутствуют некие «миазмы», способствующие простуде (раньше говорили: «лихорадке», но выразительное это слово уже там, куда отлетает «раскидайчик»...), и это так: хронические заболевания уха, горла, носа чрезвычайно распространены в Ленинграде. Не могу удержаться, чтобы не привести здесь один образчик стиля, тем более что он относится к пушкинской эпохе:

«Климат С.-Петербурга, несмотря на главный свой характер — непостоянство, должен быть отнесен к **последовательным**».

Весна начинается довольно поздно. В начале мая нередко случается видеть падающий снег. В 1834 году снег шел 18-го мая!

Лето весьма кратковременно. Хорошего, теплого времени редко бывает более шести недель; прочие, так называемые летние дни, во всем уподобляются дням поздней осени.

Осень, нередко весьма продолжительная, есть самое неприятное в Петербурге время, коего главные принадлежности: туман, дождь, ветер, а иногда снег, скоро исчезающий при температуре между —2 и —6 Реом. Чрезвычайная краткость дней дает повод сказать, что в течение Октября, Ноября и Декабря Петербург покрыт мраком, особенно для жителей высшего класса, которые, просыпаясь поздно, едва успевают узреть дневной свет, скрывающийся в Ноябре и Декабре около трех часов пополудни».

*(«Статистические сведения о Санкт-Петербурге»,
1836, изданы при Министерстве Внутренних дел)*

Стр. 8, 9. *...революционная подворотня, легендарный крейсер...*

В 1819 году К. И. Росси приступил к завершению ансамбля площади перед Зимним дворцом. Мастерство его с особым блеском сказалось в проектировании арки, соединяющей здания министерств с Главным штабом. Она была переброшена над Луговой Миллионной (ныне ул. Герцена), раньше подходившей к площади по касательной. Решительно повернув последний отрезок улицы, Росси вывел ее на площадь точно напротив центра фасада Зимнего, зафиксировав таким образом положение оси симметрии всего ансамбля.

Росси навел дуло на Растрелли сильно заранее, и хотя и впрямь вовсе не бежали перепоясанные пулеметными лентами революционные матросы на Дворцовую площадь сквозь арку Главного штаба, а просто эйзенштейновским кадрам был впоследствии придан характер фотодокументов; хотя и не был отбит угол Зимнего, который до сих пор демонстрируют экскурсоводы, выстрелом с «Авроры»; хотя никакого боя за Зимний не было и охраняли его не кадеты, а женский батальон; хотя введение нового стиля смазало не только факт, но и дату, так что революция Октябрьская, а праздники Ноябрьские... хотя ни штурма, ни залпа, ни ноября... автор не **разделяет** этого мелкобуржуазного торжества: мол, ничего не было. Как же не было!.. А это все — что такое??

Триумф замысла Росси.

Стр. 11. ...великий роман «Три мушкетера».

Дюма Александр (отец) (1802—1870) — национальный гений Франции, популярный в России. В 1858 году Д. совершил путешествие в Россию и описал его своим скоростным пером — «От Парижа до Астрахани». В. В. Розанов в статье «Вокруг русской идеи» писал, что гению достаточно любых крох опыта, чтобы суметь воссоздать точную картину. Он имел в виду Гоголя, проехавшего разок в кибитке и сочинившего «Похождения Чичикова», и Бисмарка, подцепившего в России не что-нибудь, а сразу главное слово «ничего», которое любил повторять, уже став «железным» канцлером, в затруднительных положениях... Александра Дюма можно вставить в этот ряд, ибо это именно он подарил России «развесистую клюкву».

...клочок газеты...

Автора уже спрашивали и, опережая подобные вопросы, отвечаю: никакой пародии здесь нет, клочок подлинный, и я не потратил много времени, отыскивая курьез в ворохе подшивок. Я нашел его там, где их можно найти (в поселке Рыбачий Калининградской области, бывший Росситтен в бывшей Восточной Пруссии (бывший Бисмарк...) в августе 1970 года), и не употребил по назначению. Самый большой упрек, который можно было бы вчинить автору, это, что он отщипнул доставшийся ему обрывок в двух местах исключительно ради графической выразительности. Можно предположить, что это из «Литературной газеты» (одним из основоположников которой был тот же Пушкин).

Стр. 15. ...Лева был зачат в «роковом» году...

Что могут значить подобные кавычки? Какой смутный яд изволил капнуть здесь автор?.. Автор просит учесть, что, хотя и бегло, хоть и формально, он начал свое повествование не с зачатия героя, а на двадцать лет раньше, прогнав относительно вечный в ноябре ветер по маршрутам 1917 года.

...«во глубину сибирских руд...»

Это стихотворение мы заучивали наизусть в 1949 году. Сейчас мне особенно приятно представить себя в том классе, с чувством произносящим строки:

Россия вспрынет ото сна!

Там, в 6 «а» классе 213 мужской средней школы, была заложена основополагающая брешь между эмоцией и сознанием. Эмоция абстрагировалась как реакция на пафос. Впрочем, на перемене мы по-своему боролись с этим растлением, повторяя строки иначе:

Во глубине сибирских руд
Сидят два мужика и...

Но и в такой редакции мы понимали лишь последнее слово... Мы не понимали, что это не вообще крестьяне, а нечто более определенное: мужик — это зека (не блатной). Лагерный фольклор был значительно более распростра-

нен, чем сведения о лагерях. Мы знали наизусть много таких лагерных переделок из знаменитых басен, песен и стихотворений, не ведая о их происхождении. Впрочем, пионерлагерь — тоже лагерь.

Храните гордое терпение...

Стр. 19. *...широченные чесучовые брюки...*

Перед смертью И. В. Сталина ширина брюк доходила до 40—45 см, уже 35 см пошив брюк был запрещен. Вскоре после смерти в мастерских стали шить и 30 см, но за 22 см еще выгоняли из вуза.

«Здоровье» — один из популярнейших советских журналов (основан в 1955 году), — образчик подлинного китча. Свидетельство того же «освобождения»: стало можно. Стало можно прочесть, что бывает аборт, онанизм и даже — оргазм!

Стр. 21. *...с есенинской чистотой и обреченностью в глазах...*

Есенин в описываемом году был запрещен, лагерно популярен. Лишь в шестидесятые годы популярность Сергея Есенина официально и окончательно возродилась и достигла популярности Хемингуэя. Это первые два писателя, чьи портреты стали продаваться в киосках Союзпечати. Хемингуэй улыбается глазами, загримированный под популярного артиста Ефима Копеляна, Есенин же — в шляпе, с трубкой и тростью (Америка!..), с ангельским выражением глаз и губ.

Стр. 22. *...можно было бы воссоздать некую атмосферу детского восприятия народной драмы...*

Поколение писателей, к которому принадлежит и автор, очень уж эксплуатировало свое так называемое «военное детство». Объясняется это не только тем, что первыми воспоминаниями человека стали ужасные события, но и тем, что это последнее поколение, которому удалось вскочить на подножку великого исторического события, закрыть ряд. Революция, гражданская, военный коммунизм, нэп, коллективизация, индустриализация, Отечественная... — к этому прибавляется разве что «восстановление», но и оно закрывается смертью Вождя; мир, труд, будни последующих лет уже лишены окраски героической принадлежности; жила военного времени истощена непосредственными участниками, но продолжает эксплуатироваться ввиду развития самой отрасли. Все труднее становится найти узнаваемые ростки прошлого в настоящем: стареющие героини романов и пьес вызывают недоверие тем, насколько хорошо сохранились и молодо выглядят; все труднее встретить девушку, с которой развела война, и полюбить ее вновь; адюльтеры свеженьких бабушек пользуются успехом лишь у самих исполнительниц, продляющих ампулу юности вплоть до Дома ветеранов, потому что и артисты эти — того же поколения. Агония темы затянулась, отодвигая надежду, что кто-нибудь наконец-то возьмется за настоящее время жизни.

Стр. 23. «Москвошвей» и «Лендежда» — крупнейшие предприятия готовой одежды (теперь переименованы в «фирмы»). У Мандельштама:

Я человек эпохи Москвошвея —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак!
Как я ступать и говорить умею...

Стр. 24. ...за советскую водку для финнов и финский терилен для Советов...

С финнами у нас открытая граница. В одну сторону. Они едут к нам без визы, предъявляя свой паспорт. Мы же «оформляем» заграничный паспорт в капстрану. В субботу и воскресенье Ленинград наводняется пьяными финнами, приехавшими на автобусах и собственных автомобилях. То ли пейзаж близок глазу как родной, то ли хочется после этого еще больше выпить, то ли Ленинград и впрямь очень красивый город, какого у них нет. Существуют три версии, почему они пьют именно у нас: одна, что у них вообще сухой закон, другая, что водка у них по карточкам и мало, третья, что просто у нас дешевле. Ленинград, соответственно, не то, чтобы наводнен, но все-таки финский ширпотреб встречается в нем чаще, чем в других городах. Еще лет пятнадцать назад нейлон, орлон, терилен казались нам верхом роскоши и изыска. За гнусную нейлоновую кофточку финн мог не просыхать с утра до вечера. Автор лично не может с тех пор сносить один костюм и один плащ финского производства: они — вечные. Свобода их к нам приезда куплена одним, четко ими выполняемым условием: они не принимают наших беженцев. Существуют две-три ходячих ленинградских легенды о трагических дураках, которые каким-то образом умудрились этого не знать. Одна из них почти гуманна: финский полицейский сопровождает попросившего политического убежища в наше родное посольство для сдачи, почему-то пешком; так патриархально доходят они до парома на шведский берег, и здесь полицейский просит беглеца подождать его, пока он купит сигарет; полицейский заходит за угол и там ждет и десять, и пятнадцать минут — выглядывает: а тот стоит, смотрит тоскливо в сторону Швеции и ждет полицейского: «Ну, пошли...» — со вздохом говорит полицейский через полчаса.

...«прошвырнулось» прошлое...

Из сленга пятидесятых годов. «Прошвырнуться по Невскому, по Броду». Прошвырнуться — пройтись, прогуляться; по Броду — по Бродвею. Брод был во всех, более или менее, городах. Русское значение слова «брод» подкрепляло жизненность идиомы: прошвыривались медленно, не отрывая толстенных подошв от асфальта, и впрямь будто что-то преодолевая более вязкое, чем воздух, будто вброд. Естественно, в Ленинграде Бродом был Невский, но не весь, а определенный его отрезок по левой стороне, от Садовой до Литейного. И назад. Насыщенное было время!

Борис Вяткин (р. 1913) — знаменитый ленинградский коверный клоун конца 40 — начала 50-х годов. Нашел свою маску, пародируя сначала шпану, а затем стилига (номера «Мама вундеркинда», «Тарзан»). Выходил почти без грима в щегольском костюме в сопровождении партнерши Манюни — дрессированной собачки.

Стр. 25. *Магазин «Советское шампанское»* — на Невском проспекте, между Садовой и Малой Садовой. Знаменитая «культурная» забегаловка, где можно было выпить «бурого медведя» (коньяк с шампанским 100х100). К сожалению, закрыта в 1970 году в очередную антиалкогольную кампанию.

Стр. 26. *«Юность»* — литературный журнал, созданный в 1954 году (первый редактор В. Катаев), дитя «оттепели», так до конца и не отогревшееся. В журнале зародилась так называемая «молодежная» и «исповедальная» проза, подкупавшая искренней несложностью и пользовавшаяся необыкновенной популярностью.

...творец космогонической теории... играет в теннис...

Сталин, как и Гитлер, имел свою космогонию, не столь научную, сколько тоталитарную (академики Шмидт и Фесенков). В теннис, однако, играл академик Опарин, основоположник другой тотальной теории — происхождения жизни.

Стр. 27. *...«Журчат ручьи, кричат грачи...»*

Популярная песенка из к/ф «Моя любовь» или «Сердца четырех» в исполнении Целиковской или Серовой (перед войной). Фильмы любопытны теперь разительным сходством с трофейными немецкими фильмами.

Стр. 29. *...был царский... стал красный...*

Автор выслушал упрек одного советского писателя, достаточно известного, совмещавшего в своем творческом лице линии «Нового мира» и «Октября», в том, что подобный переход неизбежно свидетельствует о шкурности и продажности моего героя; автор выслушал и позволил себе не согласиться. Во-первых, царский — это еще не белый, а во-вторых, в ту пору люди еще не были вооружены современными оценками, что бесполезно знать всем, вершащим суд (мог — не мог, понимал — не понимал, раскололся — не раскололся...) над людьми, безответно затерянными в Истории, из исторически более выигрышного и безопасного положения.

...вывез из Германии...

Нехорошо, конечно, но три «мебели» — не так уж и много по сравнению с тем, что вывозилось чинами повыше.

Стр. 30. *...бритва «Жиллетт»...*

Этот станок для безопасной бритвы был в моем детстве своеобразным памятником исчезнувшей цивилизации. Отец им бреется до сих пор. При этом он показывает, какую именно часть своей конструкции запатентовал г-н Жиллетт так, что уже полвека, если не больше, никто не может ее усовершенствовать, а он гребет миллионы. Действительно, мое детство характеризовалось отсутствием импорта. Все, что когда-то было, куда-то еще до меня делось. Оставалась вот эта бритва, хранящая отцом, как хранят разве боевое оружие. И впервые побрился я именно его бритвой. Когда я узнал, что мой будущий тесть тоже всю жизнь бреется «Жиллеттом», невеста стала мне как бы еще роднее. Этот ритуал

развинчивания, установки лезвия («визитная карточка марсианина», по определению Мандельштама), затем протирания и продувания трубочек — делал меня мужчиной. А теперь... И качество щеки не сравнить, и обрядности никакой.

...вензель «Н» с палочкой внизу...

Получается, что графин принадлежал Николаю I (1825—1855), но автор в этом не совсем уверен. Слишком часто он встречал в разных домах такой графин. И хотя после революции производился агитационный аукцион дворцовой утвари, так что многие вещи могли попасть к самым неожиданным владельцам, все-таки их не могло быть столько, чтобы в каждом доме оказалась вилка, или чашка, или стул (чаще скатерть...). Автор не знаток, и проконсультироваться в данный момент ему не с кем, но он бы не удивился, если бы такие графины водились до революции в каждом трактире, а вензель бы символизировал государственную монополию, или правление императора, или 300-летие дома Романовых, или принадлежность поставщику двора... Во всяком случае, трудно поверить, что у царя было столько одинаковых вещей, чтобы каждому хватило. Просто, не только царской утвари, но и дореволюционного ширпотреба осталось так мало, что вещицы эти обрели индивидуальность, превратились из старых в старинные, в антиквариат.

Стр. 33. ...*Чифирь, чифирок...*

У Л. Толстого в «Казаках» чихирь — казацкая самогонка. В наше время чифирь — это чай чрезвычайной концентрации, популярнейший лагерный напиток. Существует бездна секретов приготовления, по вкусу каждого изготовителя. Чай не за-варивается, а вы-варивается, пачка на кружку. Получается густо-коричневый непрозрачный настой, сверху плавает радужно-ржавая пленка. Чтобы кайф не пропал, чай вываривается и второй, и третий раз; конечно, их не сравнить с первачком. Пьют мелкими глоточками, передавая по кругу (компания три-четыре человека) и старательно куря после каждого глоточка. Учащается пульс, расширяются зрачки, поднимается давление, проходит сонливость и усталость — чифирист начинает «торчать». Торчат до утра, сначала за разговором, а потом уже — отрешенно и тупо. Чифирият обычно ночью в компании с дневальным или в сушилке (у кого печка). Прекрасна эта тишина и темнота с красноватыми отблесками на лицах... Есть рецепты усиленного, смертельного чифирия — на махорке, на спирту, водке, одеколоне, но на практике они употребляются редко, потому что курево и спиртное достать бывает труднее чая и их предпочитают потреблять в чистом виде.

Стр. 34. ...*«буржуйка»...*

Маленькая кустарная печка, которую можно быстро истопить всяким мусором и дрянью — согреться и вскипятить чайник. Бывают круглые, бывают квадратные, из железа, чугуна, из листов для пирога — формы разнообразны, зависят от навыков кустика и доступного ему материала. Труба выводится прямо в форточку. И печка, и слово возникли во время топливного (и прочего) голода в 1918 году. Топили мебелью и книгами — отсюда и деклассированность

нового слова. Уцелевшими «буржуйками» спасались и во время второй мировой войны, так продлилась жизнь этого лихого слова.

...зяблик...

По латыни *fringilla*. Это самая дальняя граница эрудиции автора.

Стр. 36. *Гостиница «Европейская»...*

Наряду с «Асторией» — самая фешенебельная из старых гостиниц (1874) в Ленинграде. Расположена на б. Михайловской улице, в 1940 году переименованной в ул. И. Бродского, не иначе как в честь рождения поэта. После закрытия ресторана «Восточный», обжитого ленинградской фарцой и богемой, многие осиротевшие завсегдатаи перебрались по соседству на «крышу» — ресторан на верхнем этаже гостиницы, примечательный тем, что расположен под фонарем (стеклянной крышей), а обычных окон в этом заведении нет. «Крыша» тоже уже портится, но туда все еще можно сходить пообедать, если, конечно, все столы не зарезервированы для иностранцев. Но если вы финн или имеете подход к метрессе, то пообедаете.

...«Афродита», «Атлантида», «Зеленая шляпа»...

Это только мне, на фоне бритвы «Жиллетт» (см. комм. к стр. 30), эти романы могли казаться «модернизмом». Как современник Лоти и Бенуа, их читала еще моя бабушка, молоденькая и хорошенькая, не дожидаясь перевода. Майкл Арлен же — посовременнее, родился и умер год в год с дядей Дикенсом (1895—1956). Любопытно, что он — армянин (Тигран Куюмджян). См. комм. к стр. 117.

...попурри из грибоедовских вальсов...

Грибоедов Александр Сергеевич (1796—1829) — окончил Университет шестнадцати лет, знал дюжину языков, профессионально увлеклся дипломатией и поэзией, женился на грузинской княжне Нине Чавчавадзе, был зарезан в Туреччине, гроб с его телом встретил, путешествуя в Арзрум, Пушкин, о нем написан один из лучших романов «Смерть Вазир-Мухтара»... — к тому же прекрасно музицировал, автор нескольких вальсов, исполнявшихся профессионалами (автор их не слышал, но расспрашивал музыковедов, которые отзывались благосклонно). Такое многообразие интересов и короткая жизнь не позволили ему посвятить себя как следует литературе. Он автор всего лишь одного гениального произведения.

Стр. 41—43. ...Было много наивного и трогательного в этих старых предателях...

Здесь и далее автор недоговаривает о разоблачении сексотов, доносчиков, анонимщиков, о пафосе выведения на чистую воду, особенно сильным после 1956 года, когда Хрущева поняли так, что теперь можно. Эти тенденции не особенно развились и мало к чему привели. Впрочем, немало и то, что про многих непокаранных стало известно, в чем они замешаны. Автор судит лишь о том, что знает. Вот две судьбы, сложившихся противоположным образом, несмотря на общий характер заслуг... М. М., полковник, если не генерал

государственной безопасности, замешанный во все, в чем можно быть замешанным, служивший, по легенде, в охране Вождя (пробовавший, не отравлен ли суп); кинодраматург, соавтор множества сценариев (по одному был снят лучший детектив послевоенных лет); сел в 1952 году по доносу своего соавтора (бывшего в 1937 году следователем по особо важным делам), вышел досрочно в 1954-м, но уже как жертва; первое, что он сделал — пошел к своему соавтору, но не бить морду, а предложить работать вместе над новым сценарием. Был директором Высших кинокурсов (замечательных!), я у него учился смотреть кино и многим ему обязан. Я. Э., литературовед, человек богатой и темной биографии; сидел сразу после революции, написал там книгу, похваленную нашим выдающимся наркомом просвещения, с начала нэпа забросил литературу и подался в предприниматели, разбогател, возил любовницам тюльпаны из Голландии самолетом (легенда); после его смерти мой знакомый У. нашел у него в архиве (необычайно бедном, много раз разобранным и сокращенном самим Э.) фотографию 30-х годов: Э. с какими-то типичными лицами в США (сам Э. никогда не поминал об этом); в 1949 году оказался советником по вопросам культуры чуть ли не у самого Берии, получил соответственно за какую-то книжечку Сталинскую премию — всем известно, что это за советы, которые дает такой советник; в 1957 году его исключили из Союза писателей за доносы; в 49-м (единственный случай!..) на показательном собрании его защитная речь оказалась кратка: «А сколько писателей сотрудничало с вами в эти годы?» — спросил он сидевших в президиуме, сел и больше ничего не добавил. Всеобщее молчание оправдало его — вскоре его восстановили в Союзе, и он доживает свой век старшим научным сотрудником, не теряя интереса к литературе и жизни. Я ему обязан критической поддержкой. В именах, которые он хвалит, виден не утраченный в доносах литературный вкус. Хвалит он с тем же деловым цинизмом, с каким, по-видимому, когда-то ругал.

В Институте, в котором он трудится, имеются еще две биографии, аналогичные разобранным: директор и его первый зам. Их я знал значительно меньше. У обоих была нелегкая репутация. Репутация и есть репутация — она живет сама, независимо от носителя. Я любитель задать вопрос носителю прогрессивной оценки: а что сделал такой-то, про которого вы?.. и получить в ответ округлившиеся от ужасного многозначения глаза, переход на шепот, палец к губам, но так и не получить информации. Директор был мне симпатичен, вальяжен, глаза его с м о т р е л и, советская вельможность была в нем сдобрена и более принадлежным барством; он был упоенный собою карьерист: полагал, что добивается положения, сообразного своим качествам, знаниям и талантам. Он был ребячлив: полагал, что все склонны оценить его вместе с ним самим. Он взлетал и тут бывал пойман на отсутствии дистанции и — гремел. Он сел в 1947 году, уже вхожий на самый верх. По выходе (жертва) получил пропущенные посты и звания, но опять стал метить в министры, и тут опять обнаружилось, что он не *свой*. Его путь вверх был заморожен. Знал ли он за собой грехи, страдал совестью?.. У него была тяжело больная жена, он был приятнейший мужчина, но возился с нею неотступно, трогательно и благородно. У него была тайная программа — издать в России насильно пропущенную классику XX века: Кафку, Пруста, Джойса, — и он ее осуществил, он их издал, снабдив рафинированно-кривозеркальными отражениями собственных предисловий. И умер ни

с того ни с сего, так и не поняв, так и не разочаровавшись, что дорога в сверкающий верх была ему заказана. Именно потому. Говорю, что он был ребячлив.

Его зам не был столь внешне симпатичен, репутация его упрочилась в кампаниях 49-го года. Ни от кого не слышал я доброго слова. Как же я был удивлен, услышав дифирамбы ему от вдовы самого пострадавшего, на мой взгляд, писателя — Зошенко. Оказалось... Симметрично директору, он оказался главным ходатаем (причем реальным, деятельным) по собраниям сочинений Зошенко, Платонова, Булгакова. Он пользовался своей «заслуженной» репутацией как рычагом: его нельзя было заподозрить сверху; и он ушел в глухую «несознанку» перед мнением снизу, по опыту зная, откуда подносят спичку. Но люди, умеющие не проболтаться, затеяв розыгрыш, могущие не оправдываться, когда есть чем и от чего, — всегда мне казались чем-то. Тут я, конечно, не объективен. Когда, через пятнадцать лет бесполезных редакционных усилий, наконец вышел Мандельштам, — он был снабжен заведомой статьей этого зама, причем статья эта шла вместо статьи замечательной. Все это так бросалось в глаза, будто написано специально для невооруженного взгляда либерала. Однако Мандельштам наконец вышел; хоть и малым тиражом, хоть и на валюту; с хорошей статьей он бы не вышел... Здесь видна логика ходатая по чужим наследствам. Он умирает следом за своим директором, но не исполнив, в отличие от того, свою триаду, так и ограничившись попорченным Мандельштамом. По-видимому, Промыслу было очевидно, что добрые дела творятся все-таки не любимыми руками.

Итак, здесь схема для быстрого обобщения...

Директор и директор. Оба красивы, представительны, вельможны. Оба вовремя «пострадали», успев стать жертвами уходящей эпохи. Оба дальше не пошли по карьере. Оба соблюдали свою грозную репутацию гонителей и душителей перед теми, кому по-своему благодетельствовали. Оба любили свои заведения.

Зам и зам. Оба некрасивы (Бог шельму метит). Оба запятнаны окончательно и бесповоротно. Оба пытались делать добрые дела не просто неотмытыми, а теми же руками и способами. Оба не рассчитывали на большее, чем имели.

У всех четверых признаки жизни и своего рода «масштабности». Все четверо — скорее жертвы реабилитации, чем культа. Все четверо благодетели, меценаты: двое — живым, двое — мертвым. Все обобщаются демагогией «реальных», т. е. состоявшихся, добрых дел. Думаю, что такого рода «замаливание» было интуитивным, грехи — не впушенными в сознание, быстро заслоненными добрыми намерениями и достаточно трезвой оценкой: а судьи кто? Слишком много развелось ни в чем не замешанных (ни в зле, ни в добре), потому что с самого начала — ничтожных. Все четверо знали пропасти, заглядывали туда, и им нетрудно было себе представить морскую болезнь «незапятнанных» либералов, имей те хоть долю их опыта. Вот, в огрублении, их логика, даже пафос: позвольте, а чего стоили сами-то пострадавшие? да если б они хоть хорошо писали!.. а то ведь — ужас, ужасно плохо... никакой литературы не было, а та, что была... так кто же, как не мы, единственные, реально помогли их воскресенью? кто поддержал на нашей убогой современной поверхности единственные три всплывшие, полуживые головы (чтобы не захлебнулись, да,

если хотите, в том самом, в нем...)? Я, я, Я, я. Одна логика, все тот же отечественный (по слабости демократии) и уже не отечественный (по бессовестности и бесчеловечности) расчет.

Стр. 44. ...*что-то по системе Станиславского...*

Как десятилетиями нашим ученым не удавалось сформулировать, что такое социалистический реализм, а только он и был вместо литературы, так никто не знал системы Станиславского, хотя она и была вместо театра. Вершине полагалось быть одной, и вершина эта вздымалась всегда над нашей территорией. Поэтому, когда одного нашего видного футбольного тренера спросили, по какой системе намерена играть его команда в некоем ответственном матче, он, не без блеска, ответил интервьюеру: «По системе Станиславского».

...любил повосхищаться краткостью, «толковостью» толкований «этого шведа»...

Автор «Толкового словаря» был по происхождению датчанином. Дядя Митя знал это не хуже современных эрудитов, склонных его поправить.

«Толковым не оттого назван словарь, что мог получиться и бестолковым, а оттого, что он слова растолковывает».

В. И. Даль.

Стр. 48. ...*Отец, папа, культ — какие еще есть синонимы?..*

См. комм. к стр. 15, 19, 26, 41—43, 48, 52, 57, 88, 113, 129, 130, 132, 138, 243, 255, 275, 277, 287, 308, 324, 336.

Стр. 49. ...*фондовый зал...*

Особый зал в крупных библиотеках, куда вхож далеко не каждый любопытный читатель. Нужен *допуск*. Допуск выдается по *ходатайству* учреждения, в котором вы работаете. Или не выдается. Есть допуски различных степеней, в которых могут выдаваться материалы с тем или иным *грифом* секретности. Есть материалы, за которые расписывается в особой книге каждый, имевший к ним *доступ*. Здесь, наверно, много интересного в тонкостях, но автор не только не вхож, но и не посвящен. Распределяется все. В том числе и информация, и знания, и правда. Действительно, у нас нет общества потребления — у нас общество распределения. По меткому замечанию, кажется, К. Чуковского, самым редким материалом является — вчерашняя газета. Зачем доходить до ухищрений Д. Оруэлла в «1984-м», где Министерство правды искажает информации в прошлом году, когда можно просто не выдавать прошлогоднюю газету. Чтобы невзначай не заметить то, что всем известно: какой друг стал врагом и какой враг — другом.

Стр. 52. ...*рукоплещут из лож...*

В конце 40 — начале 50-х годов косяком пошли биографические фильмы о великих русских, с ласковым прищуром смотрящих в светлое будущее сегодняшнего дня, с тенью печали, что им не доведется его увидеть, что им не довелось родиться в истинно своем, нашем времени, и с тем большей истовостью совершающих свои подвиги на благо его, приближая его приближение. Павлов, Мусоргский, Пржевальский, Глинка, Попов... Это было кстати в связи

с борьбой с космополитизмом и утверждением русского приоритета во всех областях. Люди эти, принадлежа разным эпохам и сферам деятельности, были родственно похожи, сыгранные одним и тем же актером (Борисовым или Черкасовым), родственно же и связаны с народом и между собою... Вот в карете Пушкин и Гоголь наблюдают строительные работы, народ поет «Дубинушку», «Красив русский народ в труде!» — восклицает Пушкин, «Но забит, загнан в невежество и нищету...» — с видимыми миру слезами, сквозь невидимый смех вторит Гоголь; «Михаил Иванович!» — восклицают оба, увидев тут же, прислушивающегося к народным напевам, припавшего к истоку великого Глинку; «А я вас ищу!» — говорит Глинка, — сегодня премьера «Руслана и Людмилы»; и вот Глинка дирижирует, а в ложе, с трудом подавляя восторг, сидят Пушкин, Гоголь и примкнувший к ним Грибоедов — для него не нашлось реплики: просто сидит, кивает в очках, «Горе, — говорит, — уму»... Роднили их и биографии, вот обязательные моменты: а) советуется с простым народом: мудрый просветленный старик говорит им сказку, поет старинную песню, дает дельный инженерный совет; б) признание Запада: Глинку не соблазняет карьера великого итальянского композитора, Лист с восхищением исполняет «Марш Черномора»; Павлову, ежащемуся у «буржуйки», предлагают Институт в Калифорнии; Попову — подсовывает миллион Маркони, он выгоняет его, произнося гневную речь обступившим его студентам; английский полковник предлагает Пржевальскому открывать Индию, «Нет! — говорит тот. — Китай наш брат, у него великое будущее!» — гладит по голове смышленного китайчонка, уже постигшего компас, — китайцы тоже кое-что открыли первыми — и сейсмограф; в) мучительный творческий процесс в конфликте с Великим князем или княгиней, обычно в этот момент кредиторы выносят рояль, собаку с фистулой, подающий первые признаки жизни первоаппарат; г) шествие по длинной ковровой дорожке, в седой гриве и окружении верных, так и не обретших самостоятельности учеников, бурные аплодисменты, переходящие в о..., отворачивается Великий князь и рукоплещут, вываливаясь с галерки, студенты.

В армии со мной служил некий М-ов, прибалтненый, полуцвет, с примечательно торчавшими в стороны ушами, он был признанным комиком нашей казармы. У него было два коронных номера: чтение раннего Маяковского («Вошел в парикмахерскую, сказал спокойно: «Будьте добры, причешите мне уши...») и Стасов в роли Черкасова (великолепно гнусаво-громоподобно: «..., мне стыдно за вас!»). И теперь, когда вспоминаю эти фильмы, то непременно в исполнении — М-ова, перенесшего их в подлинное место действия.

Стр. 57. ...образ Жажды...

В 1965 или 66 году я зашел в ЦДЛ к самому открытию — не было ни одного человека, и пока я пил свой кофе, появился один, приковавший мое внимание. Он был в пиджаке на голое тело и в ботинках на босу ногу, долговяз и необыкновенно лохмат. Буфетчица, однако, приняла его предупредительно, как своего. Выдала ему большой бокал чего-то красного — то ли крошон, то ли вино, то ли компот... Он взгромоздился на табурет у самой стойки, взял обеими руками бокал и приник... точно так, как описано в романе.

В 1965 году вышел роман Юрия Домбровского «Хранитель древностей», я прочитал его несколько позже, года через три, и стал восторженным его

почитателем; в 1970-м окончательно написал своего «деда», а в 1973-м поселился в Голицынской богадельне и там познакомился с другим ее постоянным обитателем — Домбровским, и тогда, кроме чести стать собутыльником любимого писателя, был счастливо поражен: как раз с него я писал первый портрет деда. То, что Домбровский — великий человек, что биография его включает те же испытания (с 1932 по 1956), что я понятия не имел, что тот — это он, — все это польстило мне.

В наш век не иметь лагерного опыта невозможно. Если вы не сидели, то имели прикосновения и проекции: сами были близки к этому, или за вас отволокли близкие и дальние родственники, или ваши будущие друзья и знакомые. Лагерный же быт растворен повсюду: в армии и колхозах, на вокзалах и в банях, в школах и пионерлагерях, вузах и студенческих стройотрядах. Он настолько присущ, что не узнавать его в лицо можно, лишь не побывав в настоящем лагере.

Многие мои друзья сидели, по-маленькому и по-большому, от трех до пятнадцати лет, но «деда» среди них не было. (Они были почти моего поколения, на 8—10 лет старше.) Своего деда я сочинил из очень слабых реальных посылок.

Поводом для его «предположения» послужило начало возрождения репутации М. М. Бахтина и первые сведения о нем: что Бахтин пострадал не в 1937-м, а в 1928 году, что его по-своему спасло; что он без ноги; что появившиеся неожиданно деньги (от переиздания книги) он прячет в самоваре; что боится переезжать из своего Саранска... Затем вот этот образ жаждащего... И еще одна судьба, почти никому не известная до сих пор, о которой я узнал летом 1964 года, вскоре после смерти ее обладателя. Я передаю ее из чужих уст.

Игорь Афанасьевич Стин, граф, репрессированный, но так и не реабилитированный, скончался в поселке Сыр-Яга Коми АССР, в возрасте семидесяти (приблизительно) лет, где работал геологом в разведочной партии. Моя добрая приятельница Наташа Ш. работала с ним. Я встретил ее вскоре после похорон, потрясенную смертью, она могла говорить только о Стине. Она привезла с собой небольшое наследство: маленькую любительскую фотокамерку и четыре бобины с магнитофонной записью новелл Стина в авторском исполнении. С фотографии смотрел седой, юношески стройный, с красивым породистым лицом человек. Рассказы он исполнял в застолье, и между новеллами был слышен пьяный полуодобрительный гул, как между песнями. Я слушал пленку лишь один раз, новеллы хотя и прозвучали для меня несколько чересчур значительно и патетично (возможно, за счет нетрезвого исполнения, — но голос был приятный, хрипло-молодой и низкий), были они хорошего литературного уровня, а две-три новеллы были совершенно превосходны и произвели на меня сильное впечатление. По материалу их можно разделить на лагерные и «барские» (воспоминания о поместном детстве). Проза не терпит пересказа, тем более миниатюра требует передачи слово в слово, но я лишен какой бы то ни было возможности воскресить текст (Наташа Ш. тоже умерла), и я вынужден... Вот лагерная миниатюра. Старый зека целую неделю готовится к свиданию со старухой: бреется, моется, штопается и стирается, — волнуется,

как молодой. Его товарищи соперничают, но, как потом становится ясно, предвкушают спектакль (свидание не первое). Наконец наступает день, старик с утра не находит себе места, залезает на столб и высматривает оттуда старуху. Весь лагерь (воскресенье) напряженно ждет. И вот наконец она вываливается из-за бугорка. Кажется, даже раньше становится слышна ее ругань. Старик ей начинает вторить. И так они начинают сближаться, как в дуэли, все удлиняя периоды мата, закручивая их все витиеватее, пока, поравнявшись, не достигают соловьиной виртуозности. У старухи тяжелая корзина со снедью, с еще теплыми пирожками, у обоих ручьем текут слезы, и матерят друг друга они все неистовей. Им восторженно внимают самые искусшенные знатоки и слушатели. Все, что я пересказал, скрыто в минимальных размерах, а весь текст — дословное воспроизведение их «дуэли». Слушая новеллу, вы неизбежно заплачете слезами стариков. (Подобный сюжет, правда, встречается у Зошенко.) А вот — «поместная»... Старый Стин был суров и чрезвычайно сух с сыном. Маленький Стин его боялся и в то же время по-детски тосковал по его любви (кажется, рос без матери, не помню...). Однажды мальчик («я» в новелле) пробрался в отсутствие отца в строго-настрога запрещенную для него библиотеку и, достав первую попавшуюся книгу, — а это оказалась энциклопедия на «П», — стал разглядывать и увлекся. Он не заметил, как за спиной его оказался отец. А мальчик как раз разглядывал разворот с картинками, где прекрасно-ярко были нарисованы разнообразнейшие ПОПУГАИ. Особенно один нравился ему, большой и неправдоподобно разноцветный. «Ну, и какой тебе нравится больше всех?» — услышал мальчик из-за плеча. Мальчик перепугался: никогда еще отец не задавал ему никаких вопросов, тем более так добродушно, не наказав за самовольство... У мальчика возникло чувство, что от его ответа зависят все дальнейшие отношения с отцом, что с этого момента, может быть... Но Он такой человек, думал мальчик, ему же не может понравиться то же самое, что мне, мальчишке?.. надо угадать... Но попугаев было так много! они все перепутались в его бедной голове от напряжения... «Ну же?» — уже строже сказал отец. «Вот этот», — готовый расплакаться, сказал мальчик, ткнув в первого попавшегося, серенького и невзрачного. «Странно, — хмыкнул отец. — А мне вот этот». И указал на того самого, большого и разноцветного, которым и любовался мальчик. И, резко повернувшись, вышел из библиотеки. Кажется, больше ни разу не выпадало мальчику такой же возможности сблизиться с отцом. (Рассказ чем-то напоминает бунинского «Ворона», но Стин мог не знать о нем, поскольку он относится к эмигрантскому периоду творчества писателя).

Эти три впечатления и легли в основу, позволили «предположить» Модеста Одоевцева. Позднее автор познакомился с некоторыми похожими людьми-судьбами. Например, с тем же Домбровским, с О. В. Волковым и Ч. Амирэджиби и много прочитал нечитанной им до того лагерной литературы. Многое теперь он мог бы уточнить и добавить, но вряд ли мог бы написать.

Стр. 59. ...хороший человек: меня дважды не убил...

Мой друг по институту, потомственный рабочий, так однажды положительно охарактеризовал своего соседа: «Хороший человек... Меня дважды чуть

на работу не устроил». Сказано так было с основанием, искренне. Заслуга Коптелова, в таком измерении добра, неизмеримо больше.

Стр. 60. ...*расплывчатый и невидимый, как японский ниндзя...*

В советских научно-популярных журналах в свое время появилось много статей (перепечаток с зарубежных изданий) об этой фантастической средневековой секте «невидимок» — шпионов и наемных убийц. Искусство их было непревзойденным: они умели освобождаться от оков, расчлняя собственные суставы, исчезать из закрытых помещений, подслушивать с помощью каких-то гибких трубок на немыслимом расстоянии и растворяться в воздухе, скрываясь от преследования. Носили специальную бесформенную незаметную одежду, способствующую подобному растворению в тени или в сумерках. Реальность существования невидимок производила большое впечатление на незрелое сознание автора (и, по-видимому, самих издателей популярных журналов).

Стр. 73. ...*Вы будете читать «Улисса» в 1980 году...*

Не знаю, можно ли сейчас, через 15 лет после пророчеств Модеста Платоновича, в 1971 году, утверждать с тою же уверенностью. Поговаривают, что, может быть, и даже вскоре, мы увидим «Портрет художника в юности». Но мало ли, что поговаривают!.. Говорят даже, что не эта и не следующая, а после следующей — в Москве обязательно состоится Олимпиада, то есть, именно в 1980-м...

Стр. 86. ...*На темной и пустой улице шофер надавал Лева по шее.*

См. комм. к стр. 36: ...«Афродита», «Атлантида»...

Стр. 88. ...*Сыр-Яга (она же Вой-Вож и Княж-Погост)...*

Поселки в Коми АССР (см. также комм. к стр. 57. — *И. А. Стин*). Имена их стали известны, главным образом, по расположению в них в годы репрессий гигантских лагерей. Автору довелось проделать своеобразную «экскурсию», насмешливый смысл которой дошел до него много позднее, — тогда он просто служил в СА (армии) в ВСО (военно-строительных отрядах), прежде носивших привычное название «Стройбат» (строительный батальон). Как очкарика, не имеющего годной специальности, к тому же с полувысшим образованием (тогда еще в армии и человек со средним образованием встречался редко), что смущало начальство, автора через месяц-полтора перекидывали из отряда в отряд с группой таких же негодных, блатных, недоразвитых, больных; таким образом, я объехал многие бывшие места в Карелии, Архангельской области и Коми, еще толком не понимая, чему обязан их запустением. Работали мы на лесоповале, жили в бараках в зоне со снятыми часовыми (один раз даже с неснятыми — под «попками», за проволокой: вновь организованный отряд был гостеприимно принят на свою территорию дисбатом (дисциплинарный батальон), — ходили в лагерном х/б (зелененькую беспогонную форму ввели только в 1958 году). Правда, голосовали в Советы. Лишь много лет спустя я догадался, в какие скобки Истории был заключен: 1957—1958... К концу шел процесс реабилитации, освободилась масса лагерей, кому-то, однако, надо было продолжать внезапно прерванную работу... И сокращение вооруженных сил было отчасти

попыткой заткнуть эту дыру: дело в том, что стройбаты в численность вооруженных сил не входили — распогоненные солдаты были сброшены десантами на территорию бывших лагерей. И хотя никто из солдат не признавал себя за зека, форма обидела многих (ее поспешили сменить), а лагерный воздух подсознательно входил в души вместе с дыханием: пьянство, саботаж, выродившаяся уголовщина, проигранное обмундирование, чифирь и наколки — все это расцвело пышным цветом, и даже угроза трибунала мало чему помогла (выездная сессия не прекращала свою работу в течение двух месяцев).

Совершив эту «экскурсию», эту легкую пародию на лагерь, я читал впоследствии книги о лагерях не только с чувством узнавания, но и с прямым узнаванием.

...слесарь Пушкин...

Многие отмечали парадоксальные генетические рифмы в русских фамилиях. Например, прокурор Казнин, чемпион мира по сабле Кровопусков, балерина Семеняка, борец Медведь и т. п. Инструктора комсомола по идеологии, с которыми я столкнулся в своей писательской молодости, Чурбанов, Тупикин и Плешкина, сидели чуть ли не в одной комнате и были по-своему неглупые люди...

Не могу удержаться, чтобы не привести здесь один документ, списанный мною со стенки солидного учреждения, как стихотворение:

Приказ

Утвердить новый состав пожарной комиссии:

Зайцев
Немец
Пожидаев
Погорелов
Белина
Пилищук
Гресс
Гридчина-Рудь
Гончарок
Резникова
Затирка

Все это — не преувеличение, а — подлинник.

Стр. 93. *...явления, лишь сейчас единичные, но которым суждено будущее (Рахметов)...*

Николай Рахметов — один из героев романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» — революционер, «человек будущего». Когда его проходили в школе, наибольшее впечатление в романе производил на ребят именно он. Во-первых, потому, что воспитал в себе ту самую «силу воли», которую все хотели иметь, во-вторых, потому, что мечтательное воображение Николая Гавриловича надеждило его невероятной физической силой (как и Базаров, выкинул кого-то в пруд,

но к тому же гнул пятаки и побарывал быка за рога), в-третьих, на что никто из нас не был способен, даже самый волевой (о факирах и йогах тогда еще мало знали, поскольку йога была «реакционное, буржуазное, религиозное учение»), спал на гвоздях. Именно Рахметов давал повод литературоведам толковать «Что делать?» как первое произведение социалистического реализма по постановке проблемы типического, всегда бывшей краеугольным камнем реализма (критического). Рассуждения о природе типического были в точь такие, как и в нашем романе.

Стр. 97. *...всей сутью своего плебейства... которому не досталось...*

Чтобы окончательно отбросить все возможные подозрения в аристократическом происхождении, автор пользуется случаем заявить, что по социальному своему происхождению он мещанин. Происхождение его, как у Мишеля Синягина из одноименной повести Мих. Зощенко: «Он был сыном дворянки и почетного гражданина». Автор, поживаясь, но легко способен себе представить рецензию или фельетон, посвященный этому роману — «Мишель Синягин наших дней» (варианты — «70-х годов», «пятилетки качества» и т. п.)

Стр. 102. *...где-то, кажется, в Хакасии...*

Автор побывал в Хакасии в 1964 году. В краеведческом музее в Абакане он повстречал энтузиаста-археолога, явного бывшего зека. Крепкий старик достал из часового кармашка галифе маленького черного божка плодородия, подарившего ему в его годы дочь. Этот замечательный старик и послужил толчком для деда другого образца (варианта).

Стр. 106. *...тот самый кадр, который надлежит выстричь...*

Любопытный эпизод есть в советской экранизации «Отелло» (1956). Уже задушив Дездемону, Бондарчук выходит на берег моря и там, сидя на камне, имеет длинный-длинный план — смотрит в морскую даль и плачет; ему хватает метража сыграть всю ту неопределенно-сильную гамму чувств, положенную большому актеру; слезы прочертили в гриме две дорожки, а в чистом медитеранско-ялтинском небе, куда он смотрит с такой выразительностью, как раз летит самолет, прочерчивая свою белую нить. Удивлению старого мавра нет предела.

Стр. 113. *...будто ему надо сдавать нормы ГТО...*

Комплекс спортивных норм ГТО («Готов к Труду и Обороне СССР») введен Высшим советом физической культуры в 1931 году. Под лозунгом массового движения его обязаны были с энтузиазмом сдавать старики и дети. Сдача этих норм обязательна для школьника и студента. Во многом это выродилось в формальность, но если не строго обязательно выполнение нормативов, то необходимо уважительное посещение. Иначе преподаватель может не поставить зачет, а это ставит под угрозу всю учебу студента, независимо от успехов по основным дисциплинам. На практике, однако, но без волокиты и унижений, все выходят из положения: как-то эти нормы сдаются, как-то все выполняют нормативы (например, по плаванию — не умеющие плавать...), — студенты выполняют нормы, а преподаватели — план.

Стр. 116. ...на ДНК проступил общий знак качества.

Знак качества введен в 1967 году. Представляет собой небольшой пятиграннык, внутри которого написано «СССР». Ставится на продукцию, достигшую по качеству мировых стандартов. Одной из первых этим знаком была отмечена водка. Но после общественного обсуждения в печати было решено не ставить высокий знак на вредных продуктах: алкогольных напитках и сигаретах. Необходимость поставить на чем-нибудь знак качества ставят некоторые предприятия в тупик, и тогда он появляется на очень неожиданных изделиях. Неудивительно было бы его обнаружить на туалетной, скажем, бумаге или на крупных денежных купюрах...

Стр. 117. ...«В эту тихую, лунную ночь де Сент-Ави убил Моранжа...»

См. для сравнения на стр. 86:

«На темной и пустой улице шофер надавал Леве по шее...»

Конструкция и музыка фразы общая. Единственный писатель, оказавший на автора прямое влияние, был Пьер Бенуа (1886—1962). Другие непосредственные влияния автор отрицает. Он исключительно шепетилен и тупо честен в этом вопросе: во всем, в чем можно признаться, он признается. Подробнее по вопросу о влияниях см. комм. к стр. 179, 342.

Стр. 129. ...присвоил Печорину звание Героя Нашего Времени...

Звание Героя Советского Союза введено постановлением ВЦИК в 1934 году. С вручением высшей награды Родины ордена Ленина и медали Золотая Звезда. Оно именно при св а и в а е т с я: «Присвоить имяреку звание...» По-видимому, разрушение чувства собственности привело к изменению грамматики: стало возможно присвоить не себе, а кому-то. В блатной песне есть строки:

А главное, за что Звезду героя?..

Ему б вообще не надо бы давать...

Поначалу это звание было окутано густым романтическим ореолом. Героев было еще мало, и звание было нелегко заработать. После войны, после смерти Сталина, его стали давать куда щедрее. В народе были недовольны такой девальвацией, особое осуждение вызвало присуждение этого звания египетскому главе Насеру. Впрочем, в этом осуждении большую роль играло не унижение звания, а распространенное в народе убеждение, что мы всех кормим, самим скоро нечего и нечем, а они потом нас же... Народный опыт во внешней политике.

Стр. 130. ...И когда мы встретим в газете заголовок «Время — жить!», можно сказать с уверенностью, что автор заметки намекал на Ремарка, а не на Ветхий Завет.

Смерть Сталина проделала первую дырочку в занавесе. Оттуда просочилось, а у нас всех было ощущение, что хлынуло. Мы смотрели первые французские, итальянские, польские фильмы, мы читали первые американские, немецкие, исландские книги. Неважно, если эти книги писались и издавались двадцать, тридцать лет назад — они воспринимались сейчас. «Три товарища»

Ремарка были явлением 1956 года, а не 1930-го. «Потерянное поколение», разразившееся романами в 1929 году, — были мы (словно не было перерыва между мировыми войнами). Как в школе всем преподавалась одна и та же литература, так, и выйдя из нее, мы все продолжали «проходить» одни и те же книги, одновременно читая Ремарка, Фейхтвангера, Хемингуэя. Вы читали? вы читали? — был основной метод знакомства и сближения (несложно было обнаружить общие вкусы). Анекдот о милиционерах, думающих, что подарить на день рождения своему другу («Бритву?» — «Бритва у него уже есть». — «Часы?» — «Часы у него уже есть». — «Фотоаппарат?» — и т. д., все у него уже есть. Видят плакат «Книга — лучший подарок!» «Подарим книгу!» — радуется первый. «Книга у него уже есть», — безнадежно отвечает второй...), так вот этот анекдот оборачивается другим смыслом, не милицейским: книга — это Кафка, Ремарк, Хемингуэй, Пастернак — то, за чем гоняются, чего не достать; «книга у него уже есть» — это значит, он достал последний (единый для всех) дефицит. Когда в Истории намечается движение жизни, все люди, им настигнутые, stanovятся как бы одного поколения (военного, хрущевского...), все читают одну книгу и волнуются ею. Но хоть читают! Когда История снова замирает, так и не хлынув, люди утомленно разбираются на вкусы и поколения и уже ничего не читают, благоустраиваясь в нише остановки. Хлебный голод сменяется на книжный: достать книгу, чтобы она «уже была»; вкусы, с упоением разработанные интеллектуалами ушедшей эпохи, спущены вниз на правах товара; даже наш неподвижный рынок уже приспособился выпускать фешенебельными корками, под «фирму», мертвейшие нечитаемые книги — и иностранные, и классические, и памятники — все это уже мебель, а не дух. Ничего к нам не хлынуло в дырочку, никто на нас оттуда не заглядывает — это мы хлынули и застряли, это мы из зала рассматриваем сцену, через слабо проковыренную актерами дырочку...

...Мы недавно «посмотрели» фильм...

См. комм. к стр. 209.

Стр. 131. ...«Христос, Магомет, Наполеон...»

Слова Сатина из пьесы «На дне» — Лева проходил ее в школе как раз в то время, с которого начинается следующая глава.

Стр. 132. ...5 марта 1953 года умер известно кто...

Сталин. Дату эту кто-то оспаривал, она — официальная. Но всем было куда важнее, чтобы он умер официально, а не фактически. Тридцать лет — не шутки! Я родился, была война, я учился, я влюбился — это все при нем... А сколько людей при нем умерло! и никогда не узнает, что он — тоже. Однако мы знаем о нем теперь много больше, чем тогда. Что знали мы, школьники его школы? Что он не спит ночами, работает: горит его окно. Что он прочитывает в день 500 страниц (великий читатель!), а мы вот урока, трех страничек, не осилили. Что у Ленина были (хоть и мало) ошибки (какие — неизвестно), а он не ошибся ни разу. Что он участвовал в создании автомобиля ЗИС-110, но из скромности не назвал свою фамилию (за автомобиль дали Сталинскую премию — не мог же он сам себе ее вручить!..). Были и вопросы, так и не

разрешенные (в обоих смыслах): был ли он на фронте? знал ли иностранные языки?.. Конечно, был, только секретно; конечно, знал, но не любил говорить, только читал (те самые 500 страниц). А он уже не стригся, не фотографировался, не говорил речи... Когда в 1952 году его наконец увидели в кинохронике (на XX съезде), то пожалели: старичок... Мой одноклассник, мальчик с нежным лицом, занимавшийся в балетном кружке и делавший пируэты на перемене, сказал мне доверительным жарким шепотом: «А Маяковский — враг». (Мы проходили поэму «Владимир Ильич Ленин...») «Что ты!» — испугался я. «А как же! Довольно валяться на перине клоповой, товарищ секретарь, на тебе, вот! просим приписать к ячейке эркаповой сразу коллективно весь завод!» (До сих пор не знаю, как поставить ударение: мой одноклассник сказал «клоповой»...) «Ну и что?» — не понял я. «А то, — неслышно сказал бдительный мальчик, — что секретарем тогда был КТО?..»

Стр. 138. ...«желтого металла», как выразился бы следователь...

Протокольная точность. Ведь не послал на специальный анализ, следователь не может с законной уверенностью утверждать, какое кольцо — золотое или медное. Никак нельзя, заводя дело, начинать со следственной ошибки... «У задержанного (потому что еще не проверено, что я Битов А. Г., это пока что всего лишь мои слова) изъяты: ремень брючный — 1 шт., очки, часы круглые желтого металла («А если потом скажу, что золотые?», «Я тебе покажу смефучки!») ...желтого металла, денег 006 коп.» — «Распишитесь! Да не в том, с чем вы не согласны! а в том, что у вас изъяли...»

«Краткий курс»...

«Краткий курс истории ВКП(б)» — наряду с книгой «И. В. Сталин (краткая биография)» — был обязательным для всех обучающихся. Говорили, с полной убежденностью (если бы это была ошибка, то простительная...), что их написал сам Сталин. Почему не подписал?.. Из той же скромности. Автора ведь на обложке нет? Неужели он сам свою биографию писал?.. Ну, во всяком случае, редактировал. И, впрямь, обложка выглядела странно: сначала крупно СТАЛИН как название книги, а помельче, как подзаголовок, «краткая биография», — почему бы не так: Сталин — автор, а под ним — название книги.

Стр. 147. ...Они продолжали «встречаться»...

После исчезновения обращения друг к другу, все, кто моложе пятидесяти, превратились в «девушек» и «молодых человек». Так же, как и обращение, исчезло сколько-нибудь внятное обозначение для внебрачных отношений: «дружить», «встречаться»...

«Раньше они дружили, а потом начали встречаться», — рассказывала мне одна девушка про свою подругу. Я попросил разъяснить мне разницу. «Сам понимаешь», — покраснела девушка.

Стр. 152. ...взгляд упал на сундук...

Где, по-видимому, прятался автор... См. стр. 60 и комм. к стр. 60.

Стр. 162. К сноске...

Реформа 1961 года повысила стоимость денег в десять раз. «Помяните мое слово, — говорили маловеры, — пучок травы, который стоил 10 копеек, и будет стоить десять». (Сейчас 15—20). Все продолжали думать старыми деньгами, рассчитывались новыми. Путались. Моя теща постоянно ошибалась, но уже не в 10, а в 100 раз: опять меня обсчитали, взяли рубль вместо 10 копеек, а это десять рублей по-новому... в таком роде. Единственный человек, мне известный, который разбогател на этой реформе, был мой однокурсник по институту З., очень интеллигентный и бедный юноша: он копил медные копейки (после войны был долгий и упорный слух, что за сорок рублей копейками можно получить патефон, только никто толком не знал где... хорошо, что не срок за задержку разменной монеты, — будто была и такая статья...) К реформе он накопил четыре мешка, которые и выросли в одночасье в десять раз (копейки не обменивались). Теперь З. в Канаде.

Кажется, автор совершил ту же ошибку (в 100 раз), но не в силах был пересчитать.

Стр. 179. ...*Ростов (на Дону)*...

Есть еще и другой Ростов (Великий), старинный русский городок. Почему-то все знают, что Ростова — два, хотя в Ростов Великий вряд ли кого занесет. Во всяком случае, при затяжной игре в города, когда все запасы знаний исчерпаны, а победитель все еще не выявлен, как правило, возникает ситуация на букву Р: «Ростов!» — «Уже был». — «Так я про другой Ростов...»

Стр. 195—197. ...*(весь разговор Митишатъева о еврейх)*...

По существу этого разговора автор может показать следующее: такой разговор, без сомнения, был. Подозреваю даже, что он не слишком оригинален.

Зимой 1964 года, под Новый, 1965 год, автор был в Москве и читал у друзей главы из своего романа, в частности эту. Всем понравилось. Среди слушателей оказался и еврейский поэт Овсей Дриз, которому тоже понравилось. Красивый был человек! Седой, беззубый, молодой... Мы с ним подружились с того дня и достаточно часто встречались, и вот через несколько лет он как-то склонился ко мне доверительно (мы выпивали) и сказал: «Сделай, что попрошу!..» — «Для тебя, Овсей, все!» — «Вычеркни!» — «Что вычеркнуть?» — опешил я. «Ну, тот разговор...» — «Какой разговор?» (Я никак не мог ни предположить, ни вспомнить.) — «Ну, тот, который ты читал...» — «Когда?» — «Тогда, помнишь...» — «А-а... вот ты о чем, но почему же? Ведь я...» — «Ты мне обещал». — «Когда?» — «Сейчас». — «Но почему я должен вычеркивать, что написал?! — возмутился я. — Ведь я не в том смысле... я как раз в обратном...» — «Все равно — вычеркни!» — непреклонно твердил он. «Но я же...» — «Я тебя когда-нибудь о чем-нибудь просил? я тебе когда-нибудь что-нибудь не так сказал?.. вычеркни». — «Но я...» — «Я же тебя люблю и тебе верю, — говорил он, — и это не для меня прошу, а для тебя». Долго мы пререкались, и я обижался на него. Он был неумолим; я обещал подумать, расстроив его своей несговорчивостью. Больше мы не виделись, он вскоре умер. Это было его завешание, которое я не выполнил. Он мне сказал тогда: «Пойми! это та-а-кая кров'! та-ка-ая кров'! — он так замечательно красиво, картаво и беззубо, говорил... —

Тебе не следует к ней прикасаться... никому не следует». «Это так страшно! — добавил он. — Ты не представляешь, лучше тебе не знать...» Я сказал, что знаю про погромы, Майданек и т. д. Он отмахнулся, он не то имел в виду. «Эт-то та-ак ст'ашно...» — нараспев повторил он. Что-то приблизилось ко мне, непонятное, неизвестное, черное, как ночь, и я испугался и рассмеялся с дрожью. Я не знал, о чем он говорит. «Может, обойдется, а может, нет... — сказал он, словно выдавая тайну, словно рискуя (перед смертью, как оказалось) и все еще не договаривая. — Это такая бездонная кро-ов'... бездна... И тебя нет. И ты ничего никогда не объяснишь, никогда не поправишь...» Я не понял его до конца; отогнал смутную, непросвещенную догадку, — но я ему поверил. «Подумаю», — сказал я, расстроив его уклончивостью.

Мне уже не нравится этот разговор (как написан...) Может, я еще его и вы...

Стр. 201. ...«Христос—Магомет—Наполеон...»

Не надо забывать, что Митишатов — одноклассник Левы (см. комм. к стр. 131.)

Стр. 205. ...рука с Писаревым...

Может быть, это был и не Писарев.

Стр. 209. ...показ редкостного фильма не то Хичкока, не то Феллини...

Либеральная веточка, хрущевский побег... Никто сразу не отметил высшей формы недемократичности, выразившейся в новом либеральном понятии «просмотр». На него надо по п а с т ь. К этому надо приложить старание и даже страсть. Изначальная потребность в приобщении к современной культуре стремительно выродилась в чистую форму престижности: я это видел, я там была... Именно там, на первых еще просмотрах, на людях появились джинсы, замшевые пиджаки и дубленки: будто сами выросли. На лицах обладателей стало вырабатываться особое выражение подавленной гордости, понимаемое изнутри как свобода и естественность. Вопрос, откуда это на вас, не был бы никак удовлетворен, он был бы незтичен, шокинг. Усилия попадания на просмотр, доставания джинсов и т. д. выносились за скобки подсознания, унижение с лихвой покрывалось процентами с престижа. Просмотровый зал, в этом смысле, явился не столько очагом и рассадником вкуса, не столько первой ласточкой предстоящего расширения перспективы, сколько лабораторией дефицита — понятия, совершенно поглотившего к сегодняшнему дню все былые либеральные устремления. Именно эти люди, первыми прорвавшиеся на просмотр, стали писать книги о режиссерах и фильмах, никогда не показанных народу, защищать диссертации о ни разу не переведенных философах и т. д. Образовав круг, они же его и замкнули, охотно не допуская других к своим возможностям. Тенденция обратилась в привилегию, устроив и тех и других. Затяжка гаек шла всем впрок. И немудрено, что теперь книга потеряла читателя, а театр зрителя. Книга у того, кто может ее достать, а в театре сидят люди, которые сумели в него попасть. «Просмотреть» фильм, если верить русскому языку, значит его «не увидеть». Пропасть, естественно отделившая художника от народа, стала окончательной, образовалась почти естественно, а главное — бескровно. О, как бескровно!

Теперь уже можно было бы обойтись и без допусков, пропусков и запретов: ничто ни до кого не дойдет и никто никуда не попадет. Но это, столь удачно сложившееся соотношение, надо сторожить, чтобы никогда не пропадала тень запрета, проекция репрессии, чтобы на горизонте всегда стояла идеологическая туча. Иначе — зал опустеет и его заполнят новые люди, а книга попадет в руки читателя. Ах, как все сложилось! Само ведь собой. И это не они — Вы, Вы! Я.

Стр. 213. ...*ФАЛ, ЛФМ...* — бессмысленно думал Лева...

Фал — конец (*морск.*). Отсюда — фалить, фаловать.

Стр. 220. ...*Что-то кудрявые и не встречаются нынче?..*

С кудрявыми плохо... Мой отец никогда не был кудрявым, но мать рассказывает, что в медовый месяц он вдруг закурчавел. Для того, чтобы определить, естественно ли вьется волос или это завивка, судебная экспертиза применяет простой прием — бросает волос в воду: естественный распрямляется, искусственно завитой — нет. Это авторское предположение, но, возможно, не кудрявых, а счастливых стало меньше.

Стр. 224—242. ...*Приложение ко второй части...*

Глава «Профессия героя» требует слишком большого количества примечаний специального свойства. Отчасти они имеются в публикации этой главы в «Вопросах литературы» № 7 за 1976 год, куда автор отсылает неведомого читателя.

Стр. 225. ...*многочисленные на Западе исследователи Пруста...*

На соображения, связанные с сопоставлением Л. Толстого и Пруста, автора навела в разговоре Л. Я. Гинзбург.

Стр. 227. ...*но он нашел третьего, и они у него охотно «скинулись»...*

Скинуться на троих — выражение, родившееся сразу после хрущевского подорожания водки. В той же песне (см. комм. к стр. 129) дальше поется:

Он нашу водку сделал дорогою
И на троих заставил распивать.

Раньше ее пили на двоих, скидывались по рублю, а копейки как-нибудь наскребали. Теперь стало не хватать копеек, и стали скидываться втроем по рублю. Пить, оттого что та же бутылка приходится теперь на троих, какая раньше приходилась на двоих, меньше не стали, потому что стали скидываться дважды. Обычай приобрел международную известность благодаря рассказу американского классика (то ли Стейнбека, то ли Колдуэлла) «Как я был Хемингуэем», подробно описывающему его московский опыт.

При публикации в «Вопросах литературы» выражение это, отнесенное к классикам, было сочтено непочтительным, и слово «скинулись» было заменено на «сошлись».

Стр. 243. ...*БЕДНЫЙ ВСАДНИК...*

Автор не собирается отстаивать качество этого каламбура, но воспользуется случаем изложить одно беглое наблюдение. Последнее довоенное издание Достоевского наблюдалось в начале тридцатых. Другие годы он совсем не издавался, как крайне реакционный, буржуазный, не понявший, оклеветавший и т. д. Наконец, все после той же смерти (как много она разрешила? — вся страна разрешилась этой смертью, которую вынашивала, как рождение, тридцать лет...), в 1954 году (сдано в набор 29/Х — 1953) впервые после перерыва вышли именно «Бедные люди», с которых Достоевский начал свою карьеру. «Униженные и оскорбленные» — 1955... И последовавшие издания выходили в хронологической последовательности, будто Достоевский писал их наново. И наконец, к 1956 году, набежала возможность выпустить собрание, куда вошли даже «Бесы». Академическое издание, начатое в ознаменование 150-летия писателя, довольно быстро повторило пройденное и снова замерло над «Дневником писателя», как над пропастью.

Автор не библиофил, но в его разрозненной библиотеке имеется бесценный экземпляр — «Бедные люди» 1954 года с надписью на развороте: «П-ч Тане, чемпиону лагеря во всех трех сменах по прыжкам, метанию гранаты и бегу.

Нач. лагеря:
Ст. п/вожатая:
Профсоюз работников культуры.
П/лаг. № 17».

Стр. 246. ...*как сказал про меня поэт...*

Четверостишие Глеба Горбовского.

Осенью 1968 года я подписал в издательстве договор на этот роман. (Правда, в договоре был опущен эпитет «Пушкинский» как нецензурный и оставлен только «Дом».) Это означало аванс (1125 руб.). Страшно счастливый, я пришел домой. Буквально следом появился Глеб, настроенный мрачно и требовательно (тогда он еще пил). Он мне почитает стихи, а я сбегаю за бутылкой. К моему удивлению, и восторгу, он начал читать именно с этого четверостишия. И хотя стихотворение было пронизано каким-то антипрозаическим пафосом и таило выпад, я был потрясен совпадением, граничащим с прозрением. Роман!.. причем именно «Дом». Я допросил его с пристрастием — о моем «Доме» он впервые от меня слышал. Мы выпили. На следующий день, забежав в издательство (насчет, когда деньги...), я узнал, что вчера, буквально следом за мной, издательство посетил Горбовский, увидел договор, поинтересовался, был ли я здесь, и, узнав, что я только что вышел, последовал за мною. Пафос стихотворения был в том, что не будь он поэт, а пиши романы, у него было бы много денег.

Стр. 253. ...*для сдачи норм ГТО...*

См. комм. к стр. 113.

Стр. 255. ...— *Он... — и выразительно постучал по перилам...*

Раньше, когда это и впрямь грозило жизни, стукачей угадывали безошибочным чутьем, по запаху, и обходили стороной, а если было не обойти, замыкались. Интуиция выработалась потрясающая: кому, что и когда можно говорить. Человек переключался в ту же секунду, не замечая, почти не испытывая неудобства. Область этой подвижной корреляции языка не изучена, не описана как феномен. Этот рефлекс, работавший с безошибочностью инстинкта, во многом атрофировался, как только отпала непосредственная угроза жизни. Стук теперь угрожает разве карьере: человек может не поехать за границу, остановиться на служебной лестнице, в крайнем случае, слететь с нее на пролет ниже. Но на уровне меркантилизма инстинкт не работает, точно угаданное знание отсутствует, а воображение — их не заменит. Теперь подозревать за собою стук — почти повышение, этим можно похвастаться громким шепотом. Наличие стукача подразумевается на каждом шагу: накрывается подушкой телефон, включается изысканная музыка... Успех ближнего подозревателя: почему его выпустили, почему напечатали, почему выставили?... И впрямь, — не почему. Каждый, в меру своей образованности и привычки логически мыслить, стал думать за власть, забыв, что она не думает, а — есть. Подозревать стало — либо некого, либо всех. А будет надо — возьмут. По дороге вы вспомните, что забыли вытащить карандаш из телефонного диска.

Стр. 256—258. ...*отчего это так приятно произносить: кня-я-язь... (и далее)*

Суть Митишатьевым схвачена грубо, но верно. У нас уже уважают за титул, в основном, каким-то детским, из Дюма вычитанным, уважением. Девочки, без подсказки, играют в принцесс и королев: врожденный ролялизм. Все это соскучившееся детство неожиданно выперло в кинематографе: в потоке заведомых фильмов актеры с чувством и вкусом начали играть отрицательных персонажей: белых, дворян, офицеров, князей... комиссары стали получаться все дежурней и плоше. В среднеазиатском кино эта тенденция так заголилась, что поток юбилейных картин типа «остерн» был метко кем-то назван «Басмач-фильм».

Стр. 266. ...*об «Октябре» и «Новом мире»...*

Резкость их контраста была главным культурным завоеванием так называемой либеральной эпохи. Если при основании журналов названия их были синонимами, то теперь в передовых умах они стали антонимами: «Октябрь» был отвергнутым прошлым, а «Новый мир» невнятным, но «к лучшему» будущим. Наличие их обоих означало — время. Что оно течет. Что оно — есть. Диалектическая разность наконец восторжествовала и дала плод — нового двуглавого орла. Чем ярче разгоралась рознь журналов, тем более становились они необходимы друг другу и в каком-то, пусть неосознанном и нециничном смысле, начинали работать на пару, на слам. Но, по остроумному выражению одного биолога, «никакого симбиоза нет — существует взаимное паразитирование». Разницу подменили розноью, и практически неизвестно, кто умер первым, но тогда умер и второй. Да, сначала был разбит «Новый мир», но и торжество «Октября» оказалось не менее скоростижным: без «Нового мира» он уже ничего не значил. Борьба с «Новым миром» была для «Октября» самоубийством.

И там же в ФРГ проживает его «тетушка» Анни Бессель, праправнучка Пушкина и шефа жандармов Дубельта, о которой мальчик из Висбадена, возможно, не имеет ни малейшего представления, поскольку она значительно более низкого происхождения, хотя в тетушке вдвое больше пушкинской крови, а в нем всего 1,55125%, но это единственная кровь, которая их роднит, не считая, правда, такого же % от Натальи Николаевны.

Вот таких смелых рифм в области генеалогии наделала одна только младшая дочь Александра Сергеевича, Наташа! Ибо первым мужем у нее был сын Дубельта (и это была скорее мстительная тяга к жандармскому мундиру, чем пренебрежение к отцу, поскольку хотела-то она по глубокой любви выйти за кн. Орлова, но его отец, шеф жандармов после Дубельта, не разрешил мезальянса с дочкой Пушкина), а вторым — принц Нассауский, одну дочку от которого она выдала за великого князя Мих. Мих. Романова (отчего пришел в ярость Александр III), а младшего сына женила на Юрьевской, урожденной Долгоруковой, дочери Александра II (от мorganатического брака). Сильна была ее первая страсть и обида! Ее браки, браки ее детей и даже внуков восходят к этому первому отказу, переключаясь с комплексами отца и их преувеличивая, — породнив Пушкина с двумя¹ царскими домами и продолжив традицию связывать кровью поэтов, царей и полицию.

Стр. 273. «...Их семеро, ..., их — сто!..»

Из стихотворения Владимира Хлебникова (1885—1922), Председателя Земного Шара (1918—1922).

Стр. 275. ...в соавторстве с Говардом Фастом...

Этим писателем была заполнена единственная лицензия на современную американскую литературу в СССР в конце 40 — начале 50-х годов. В США о нем никто не слышал. Там в это время всю писали писатели, о сосуществовании которых мы не слышали, в том числе и тот, портрет которого («в трусах, на рыбной ловле...») запроектирован в каждом доме (см. комм. к стр. 21).

Стр. 277. ...В отличие от Виктора Набутова, дорогая... Владимир Набуков — писатель...

В те времена, когда у нас всего было по одному — в том числе и футбольный комментатор был один. Тогда голос Набутова был известен каждому из двухсот миллионов граждан и зеков. Голос его соперничал с голосом самого Синявского (не путать с писателем...), как, в свою очередь, голос Синявского уже забивал (по случаю мирного времени) голос Левитана, которого уже никто не путал с художником.

...Лева рассказывал Наташе, как Толстому приснился женский локоть...

Знаменитая история, связанная с замыслом «Анны Карениной». Почему-то это именно она, наряду с прискоком Пушкина («Ай да Татьяна! Какую

¹ Даже с тремя, поскольку ее внучка, происходя уже из двух царственных, хотя и мorganатических, линий, стала законной супругой принца Маунтбеттена.

штуку выкинула!..») и симптомами отравления у Флобера, — входит в расхожую триаду массовой эрудиции по теме «психология творчества».

Локон (а не локоть!) принадлежал М. А. Гартунг, старшей дочери Пушкина.

Стр. 281. ...*Тут бы гоголевское восклицание...*

Любопытно, что основоположник социалистического реализма М. Горький, в художественном отношении, кроме романа «Мать», ничего для нового направления не дал. Он дал ему ряд лозунгов, собственную фигуру и ряд образчиков нового писательского поведения, не больше. За художественными открытиями молодая литература «сходила», прежде всего, к Л. Толстому и, как ни странно, к Гоголю, писателям, мягко говоря, очень далекой идеологии. Начиная с Шолохова и Фадеева, все писатели «полотен» не могли не прибегнуть к той или иной толстовской интонации. И современная наша классика, включая К. Симонова, и даже неупоминаемый все изгнанник (в той своей ипостаси, в какой он как художник бывает соцреалистичен)... катится на паровой его тяге. В самое же залакированное время и эта эпическая интонация стала слишком объективна, тогда-то и прибегли иные к интонации гоголевской, но именно и исключительно романтической его интонации. Откройте антикварную книгу «Кавалер золотой звезды», и вас закачает на днепровской волне: «Чуден Днепр...» Пафос! Большой пафос! Еще больше... «Ты думаешь, я не знаю, за что мне платят? За пафос!..» — с горечью признался мне в ЦДЛ ныне крупный деятель третьей волны. «И те, — добавил он, — и эти».

Стр. 283. ...*Паровая музыка играла «Дунайские волны»...*

Автор испытывает слабость к этой музыке. Она ему нравится прежде, чем он понимает, что она ему нравится, и, во всяком случае, не потому, что должна нравиться. Услышанная внезапно на вольном воздухе, она попадает сразу в кровь, минуя вкус и голову. Но марши — еще безусловней, еще точней. После них вальсы — уже рафинад и упадок. Марши — это первомузыка вне обсуждений. Однако снобизм меломанов дошел до того, что была записана пластинка из старинных маршей и вальсов для слушания в домашней обстановке. В прекрасном исполнении Сводного военного оркестра под управлением генерал-майора и с главным дирижером полковником. На одной стороне — марши, на другой — вальсы. И вот что любопытно: маршами дирижирует полковник, а вальсами — генерал. (Так секретари Союза кинематографистов, ратуя за современную тематику, предоставляют ее режиссерам, еще добивающимся того же, что и они, положения, а сами — экранизируют русскую классику...)

...*подкинул белый шарик и поймал на черный...*

См. комм. к стр. 8 — *Раскидайчик*.

Стр. 287. ...*синий... топот мундира...*

Старая милицейская форма (сочетание синего с красным — еще дореволюционного происхождения). В 1970 году (сначала в столице) начался переход на новую благородно-дипломатическую форму цвета маренго. Вообще за последние годы большой прогресс наблюдается в области вторичных милицейских

признаков: спецмашины заграничных марок, рации, краги, шлемы, звезды на погонах... — все это стало красивее, и всего этого стало больше.

Стр. 288. ...*Документ-эксперимент-экскремент...*

Автору засела в незрелый мозг история, рассказанная братом, студентом Ленинградского университета, в самом начале 50-х годов. Она характерна и эпохально-бездарна. Ректор университета, сорокалетний академик-математик, лауреат Сталинских премий, мастер спорта по альпинизму, горнолыжник, романтически поразил голодное воображение студентов тех лет, кроме своих титулов, еще и следующей легендой: якобы он ехал на «колбасе» (буфер трамвая), милиционер засвистел и снял его с «колбасы», потребовал документы, тот достал книжку члена (Академии наук), мол, провожу научный эксперимент, милиционер взял под козырек: «Продолжайте, товарищ академик!»

Нет, я все-таки слишком давно живу!

Стр. 291. ...*«Правило правой руки Митишатъева»...*

Мука с этими мнемоническими правилами!.. Автор никогда не мог справиться ни с правой, ни с левой рукой, ни тем более с «буравчиком». Либо он понимал законы, либо запоминал правило. Автор и теперь не помнит эту мнемонику, а только муку, с ней связанную. Вот мука-то и пригодилась.

Стр. 304. ...— *Представь себе, айсбергов на этом острове тоже нет...*

Шутка эта не принадлежит автору (он так не шутит), не принадлежит она даже и Митишатъеву, который в данном случае переиначивает шутку не то Ильфа, не то Петрова.

Стр. 305, 309. ...*Как это случилось? — тут неуловимый переход...* (И до конца абзаца); ...*Раздался стон, скрип, авторский скрежет...* (И до конца абзаца).

Авторский эвфемизм. Автор убежден, что любой сюжет основан на ложном допущении, иначе он не будет замкнут и растворится в той самой жизни, у которой нет ни линии, ни темы, ни судьбы — ничего от структуры. Скажем, такой человек, как Раскольников, не мог убить процентщицу (он мог убить Лизавету, вторая жертва естественна после первой, но первая — невозможна). Перед Достоевским стоял выбор: преступление или наказание? — пойти за сюжетом или за героем. Либо взять героя, который мог убить процентщицу (он бы и не убил Лизавету), но это был бы не Раскольников, а роман — это Раскольников, это — наказание. Достоевский предпочел героя правде сюжета; но без сюжета, пусть основанного на ложном жизненном допущении, герой бы не вступил в реакцию той силы, какая была необходима Достоевскому. Достоевский соврал в сюжете и выиграл роман.

Можно найти и другие примеры. Язвы сюжетных допущений всегда на виду, на них коростой нарастает скороговорка, пропуск, прием. Но без них произведение не наберет силы, не выскочит на энергетический уровень великого произведения. Меня всегда смущала эта маленькая неправда больших вещей, и, восхищаясь достижениями, полученными с ее помощью, я никогда не мог на нее решиться для себя. С огорчением я понимаю и принимаю это в себе, как недостаток силы. Но — не могу преодолеть.

Как ни ослаблен сюжетно этот роман, но и он был замешен на метафизическом допущении, не выдержавшем проверку правдой: герой должен был быть убит на дуэли (смягченно: пьяной) из старинного дуэльного пистолета. Все шло хорошо, пока это ожидалось (но только потому, что это ожидалось), и все стало решительно невозможно, когда подошло вплотную. Литературный суп — обязательно из топора (в «Преступлении и наказании» это буквально так), но приходит мгновение облизывать его на правах мозговой кости. А — невкусно. Тут и сыплется последняя специя, колониальный товар: прием, фокус, ужимка, авторский голосок... Как раз то, ради чего все — всегда тяп-ляп.

Стр. 308. ...*«очко» — те же пригородные ужимки...*

Очко (двадцать одно) — игра умная, психологическая, на нервах (на нарах). В нее проигрывается и последний рубль, и последние штаны, и жена, и жизнь. Поэтому прикупивший карту ничем не должен выдать ее достоинства. Задача не обрадоваться и не огорчиться слишком трудно для охваченного азартом человека. Поэтому карта открывается для себя медленно, чуть-чуть, как бы тайком даже от себя, не только, чтобы не подсмотрели, но чтобы удержать маску. Так играют на нарах, такую же манеру можно увидеть в пригородных электричках: то ли народ, который в них ездит, отчасти деклассирован и успел всякого повидать, то ли лавки в вагоне напоминают отчасти нары...

Стр. 314. ...*хромое слово «дилогия»...*

В эпоху все более широкого развертывания «полотен» в нашей литературе, все стали стремиться к написанию не просто большого эпического романа, но непременно — трилогии. Скажем, «Заря» — «В бурю» — «Покой нам только снится» или «Шторм» — «Рассвет» — «Смерти не будет» (третий роман обычно дописывался уже в либеральное время, когда в моде бывали длинные названия). Писатели, позже включившиеся в это ковричество, не успевшие дойти до третьего или начавшие со второго, родили это новое в литературе жанровое обозначение неоконченной трилогии: дилогия. За нее уже пора получать премию. Постепенно стало ясно, что третий и необязателен. Понятие «дилогия» оказалось утвержденным как новый, секретарский жанр.

Стр. 319. ...*поднимает с полу листок...*

Листок подлинный (см. комм. к стр. 88 о фамилиях). Найден в том же месте, что и клочок газеты (см. комм. к стр. 11), но по другому адресу (Москва, ул. Руставели, 9/11 — общежитие Литературного института им. Горького).

Стр. 320. ...*Работа — аккордная...*

При отсутствии конкуренции и безработицы существуют три основных вида зарплаты: повременная, сдельная и аккордная. Последний вид идеологически не поощряется, как ведущий к штурмовщине, рвачеству, нарушениям требований охраны труда, таящий в себе зернышки капиталистического предпринимательства. К аккордной оплате прибегают в крайних случаях (когда надо сделать быстро и хорошо). Это заранее назначенная сумма за определенный объем работы, без учета времени и числа работающих (См. сноску к комм. к стр. 342).

Стр. 321. ...*Не было никакого такого теперь «народу»...*

Пока ничего не происходит — все становится другим. О колоссальных изменениях, происшедших после войны в структуре города, интеллигенция узнала по невозможности нанять какую бы то ни было прислугу. И только интеллигенция несколько окрепла материально, как окрепли и те, кого можно было нанять: переселились, обзавелись и «унижаться» не хотели. Плодом революционных преобразований явилось то, что никто не захотел служить другому, а общество, кажется, на этом основано. Процесс этот, длительный и сложный: отрыв от земли, бегство из деревни, обретение городского статуса — произошел скрыто от глаз коренного горожанина. И он жеманно обнаружил, что «прислуги не достать».

Стр. 324. ...*может всплыть утопленник...*

По реке плыл пароходик и стрелял иногда из пушечки... Описание подобной ловли можно найти у М. Твена в «Гекльберри Финне».

...*специальный клей БФ-2...*

Рождение нового наименования во времена культа было явлением. Оно происходило раз в год, а то и реже. «Клюква в сахаре», «Рябина на коньяке», велосипед «Турист», холодильник ЗИС или вот, клей БФ-2... Это были не предметы, а понятия, всеми отмечаемое движение жизни. Этим клеем клеили все; было склеено все, когда-либо разбитое; я боролся с искушением что-нибудь разбить, чтобы склеить. За клей была присуждена Сталинская премия, и все восприняли факт этот с большим удовлетворением. Уже немного оставалось... Нет, Сталин был обречен. Появление того же БФ-2 был один из звонков. Стиляги ведь тоже... Здесь в романе описано уже их движение. А первые появились еще до смерти — ласточки. Что-то стало появляться — вот в чем приговор.

Стр. 325. ...*коричневое право принадлежать самим себе...*

Автору трудно вразумительно объяснить эту окраску. Во всяком случае, на нацизм он не намекает. Но и нельзя сказать, что это только цвет дерьма.

...*«И на тебе эту еврейскую пепельницу!»...*

Любопытная сторона антисемитизма, перерастающего в манию преследования: перестают узнавать русских! И в лицо, и по фамилии. Надо быть белобрысым, курносый, корявым, с простецкой фамилией на «ов», чтобы в тебе не усомнились. Забыли, что у русских длинный нос, — гоняются за вырождением как национальной чертой. И Григорович — ни при каких обстоятельствах не еврей.

Стр. 326. ...**МЕДНЫЕ ЛЮДИ...**

Опять не вдаваясь в обсуждение качества каламбура, отсылаю к комм. к стр. 243.

Стр. 332. ...*Видит ли своим вставным глазом зам?..*

Автор проживал некоторое время в общежитии Литинститута (см. комм. к стр. 319). Так вот, директором этого общежития (комендантом) был бывший

комендант Бутырской тюрьмы, прозванный «циклопом» за одноглазость. Теперь он замдиректора того же института (по АХЧ). Это не означает, что автор писал с натуры, — обычное совпадение, подтверждающее правило.

...Нет, нет, Готтих мне ничего не говорил... Какой Готтих?..

Если Готтих и впрямь стукач, то стучал бы он, скорее всего, именно этому заму.

Стр. 333. *...Это был тот самый американский писатель...*

См. комм. к стр. 227.

Стр. 336. *...па-де-де, пластически выражающее тоску по Параше...*

Это не пресловутая чечетка нетерпения (Параша — с большой буквы). Параша (Прасковья, по-видимому) — героиня все той же поэмы «Медный всадник». На нее написан балет Р. М. Глиэром, того же рода, что и клей БФ-2 (см. комм. к стр. 324). Полагаю, что в нем должно быть па-де-де.

Стр. 338. *...Эпиграф...*

Учитывая все растущую тенденцию отмечать любые юбилеи и даты, автор подумывал посвятить свой роман 100-летию выхода «Бесов». Не только скромность остановила его, но и то, что у него неокончательное, двойственное отношение к великому роману. Ставить свой роман в хвост «Бесам», как бы подхватывая традицию и продолжая линию, было бы не только опасно по сравнению, но и не точно (последнее — важнее). Дело в том, что в некоторых вопросах все-таки остается неясным, что впереди чего: явление или отражение его, закон или его формулировка, поступок или мысль, дело или слово? Да, Достоевский с исключительной силой гения «просветил» насквозь, как рентген, явление, еле зачавшееся, еще ничтожное. Но ничтожное — и есть ничтожное. Не просветил ли он его и во втором смысле? Не сформулировал ли зло, настолько недееспособное, что без посторонней помощи никогда не смогло бы осознать себя? Было ничто, а стало — явление! описанное гением! Это ли не лестно?! Значит, мы есть, раз про нас пишут! и кто пишет! и как!.. Факт тот, что бесы вошли в силу, когда о к а з а л и с ь, после романа. Естествен (и принят) такой взгляд, что гений прозревает будущее, и бесы развернулись бы и без романа, а Достоевский — предостерег. Но никто еще не внимал художественным предостережениям. Литература вообще — не для «пользования». Она не лекарство и не все остальное, что не литература. Пользоваться ею умеют только сами бесы. Им все в лыко, все в строку. Несозидательные силы всегда разрушительны, даже если пассивны. Каким образом может быть активным то, что не способно ничего создать? Только обратив на себя чужую созидательную энергию, хотя бы в виде внимания. Что может привлечь большее внимание, чем великий роман?.. У бесов — ни гордости, ни уважения, ни паче... Они есть только в сознании других, иначе их нет. Не считать, что они есть, — это подвергнуть их самоаннигиляции. Не вдохнул ли в них Федор Михайлович?.. Не вдыхаем ли мы теперь??

Так что автор передумал посвящать роман. Он о другом. Он — о плодах отношения, а не о силах. Копаться в силах, это вызывать их к действию. Куда!.. Автор не посвятил, а принял обязательство закончить роман к знаменательной дате — к 100-летию со дня рождения бесов.

Стр. 339. ...*прилагаем лемму*...

Мне казалось, я тут же эту лемму найду, когда меня спросят... Оказалось, нет. Я пока не нашел такой леммы. Зато я нашел, что такое л е м м а : доказываемая истина, имеющая значение только для другой, более значительной истины — теоремы.

Стр. 340. ...*Общество охраны литературных героев от их авторов*...

Вряд ли такое общество было бы намного менее дееспособно, чем прочие общества охраны (природы, памятников). Литературный герой — тоже явление природы и памятник. Во всяком случае, возможности симпозиумов и конгрессов имеются, а что еще может поделывать общество охраны, как не развлечься на благородном и почтенном основании?

Мой просвещенный друг рассказал мне о существовании значительной книги Даниила Андреева (сына писателя) «Роза мира». Это большое системное сооружение духа, здание Бытия. Написано в лагере. Любопытны даты написания — 1949—1958. То есть пока был еще культ, а потом разоблачение его, пока сходились и расходились две эпохи, этот человек спокойно сидел между, не в историческом, а в Богом ему отпущенном времени и ДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО. Так вот у него (по пересказу) мир многослоен и в каждом слое реален, и один из этих слоев населен (!) литературными героями. (К вопросу о силе допущения... См. комм. к стр. 305, 309.) Н. Федорову, чтобы построить великое здание Общего Дела, потребовалось императивное воскрешение ВСЕХ мертвых. Не знаю, что в целом выстроил Д. Андреев, но даже на периферии своей постройки он допустил жизнь литературных героев не в каком-нибудь переносном, как у меня, а в буквальном и подлинном смысле. Из здравого смысла ничего не создать: он — паразит.

Стр. 342. К сноске. ...*Я виноват в этой, как теперь модно говорить, «аллюзии»*...

Это и впрямь стало редакционным словом. Я его часто слышу, означает оно (как я его понимаю по употреблению — толкового, словарного смысла я так и не узнал): различное восприятие одного и того же. Скажем, вы хотели сказать и думаете, что сказали одно, а вас поняли (или можно понять) иначе, может даже, в противоположном смысле, во всяком случае, не так, как вы бы хотели, и т. д. Вы не намекали, а получился у вас намек, вы и не думали сказать что-нибудь против, а вот получилось... Думаю, что новая жизнь этого слова обеспечена не столько возможным многомыслием сказанного, сколько его дву-мыслием, и поскольку у нас сейчас очень нежелательное мнение, то, чтобы не оскорбить честного человека неоправданным подозрением, а тем более не обвинить, и родилась эта удобная редакционная форма — словечко «аллюзия».

Вместо недавнего, прямодушного: ну, это, батенька, не пойдет, это вы загнули, да понимаете ли вы, где вы собираетесь печататься?.. — через промежуточно-грозное: понимаете ли вы, что вы написали?! — к мягкой форме: вы не то написали... вы, конечно, этого не имели в виду. я-то понимаю, что вы хотели сказать, но вот ведь вас легко можно понять и вот так... Но вы ведь так не хотели, не хотите?.. давайте снимем, заменим, изменим... При этом, чаще всего, и автор хотел сказать то, что сказал, и редактор его прекрасно понял, и именно в том, в его смысле.

Чтобы не быть голословным, приведу два-три («двойку-тройку», как говорят в отчетных докладах) примера «чистых» аллюзий из собственной практики, когда я впрямь не предполагал, что написал что-то, «чего нельзя», а оказалось... Например, в «Путешествии к другу детства» я лечу на Камчатку и подолгу торчу в промежуточных аэропортах из-за нелетной погоды. Этот прием мне был необходим, чтобы успеть все рассказать за время вынужденных остановок. Редактор был напуган: это что же получается? «Над всей страной кромешная нелетная погода»... У вас так и написано! это как же вас можно понять, что... и дальше началась такая политика, о которой я и впрямь не подозревал и сам испугался. «Но я имел в виду лишь метеорологические условия, никаких других! явление природы...» — «Я вам верю», — сказал редактор. Фразу эту мы «сняли».

Вообще про погоду — опасно... Мне не дали назвать книгу «Жизнь в ветреную погоду»: какой климат, где погода? откуда ветер дует?.. В повести «Колесо» у меня был пассаж о реальном месте спортивных страстей в окружающем мире. Для масштаба я взял газету и обнаружил в ней три и то перевранных строки о заполнившем все мои мысли и чувства событии. После возмущения по этому поводу я пошел вбок: а если бы я знал, какие действительные страсти, какие судьбы стоят за другими мимолетными соображениями, например, назначение и отзыв посла?.. а погода, далее восклицал я, вообще явление космическое, а о ней как мелко?.. В общем, крайне спокойный и умиротворенный вывод. А в конце пассажа следовал парадоксальный как бы вопрос: «Знаете ли вы, что самые быстрые мотоциклы производят сейчас в Японии и что, пока мы все пугаемся Китая, эти японцы куда-то вежливо и бесшумно торопятся?..» Что этот дурацкий вопрос мог вызвать аллюзию, я предполагал и был готов снять про Китай, ибо у нас его не положено поминать всеу, но я никак, никогда не мог предположить, как все обернется... «здорово это ты... Лихо... метко...» — О чем ты? — спросил я, предполагая Китай. «Про посла ты едко... Сводишь счеты?» — «Помилуй, с кем??..» — недоумевал я. «С кем, с кем... Ишь! делает вид... С Толстиковым!» — «С каким еще Толстиковым!..» Вот что оказалось. Как раз в день работы с редактором было опубликовано, что Толстиков, бывший первый секретарь Ленинградского обкома, назначается послом в Китай. Тогда и впрямь было много разговоров о том, что он каким-то образом проштрафился, прогневил и его снимут. Никто, конечно, не ожидал, что в Китай... И вот сняли, и, надо же, ни днем позже, чем в день редактирования «Колеса». Его сняли, но сняли и мой абзац про посла (и про Китай, конечно). Я предлагал только про Китай; мол, тогда не будет мостика, не станет и намек. Я говорил, что написал

этот абзац больше года назад, когда Толстиков прочнейше сидел на месте, что, когда это будет напечатано (ведь не завтра же!), все о нем и думать забудут и он сам будет далеко... Бесплезно! Характерно для аллюзии, что она действует именно в момент редактирования, отдаленный как минимум на полгода от аллюзий, связанных со временем опубликования, которых никто предположить не может.

Названия вещей поражаются аллюзией в первую очередь. Вот пример, связанный уже с «Пушкинским домом». Опубликовав в розницу за пять лет усилий пять глав, в основном из второй части романа, я решил их объединить в книге под заглавием «Герой нашего времени». И весь цикл и каждая глава сопровождалась эпиграфами из Лермонтова, что делало ясным присм. Категорически нет! Это, что же можно подумать, что именно такой герой нашего времени, как ваш Одоевцев?? Споры были бесполезны. Цикл был назван «Молодой Одоевцев» и даже под эпиграфами стояли то «Бела», то «Дневник Печорина» — названия глав, но ни в коем случае не того романа, из которого они взяты. Под запрет попал Лермонтов, а не Битов.

По-французски автор не знает, а «Поминки по Финнегану» не читал и не видел (не один он...). Здесь я воспользуюсь случаем объясниться по скользкому вопросу литературных влияний, по которому никогда не следует объясняться самому, чтобы не оказаться неизбежно заподозренным именно в том, от чего открещиваешься.

Конечно, я прекрасно сознаю, что вторичность — не простое повторение, что быть вторичным можно и не ведая, что повторяешь, что влияние можно уловить и из воздуха, а не только из прочитанной книги, что изобрести по невежеству еще раз интегральное исчисление все равно легче и для этого не требуется гений Ньютона, что первооткрыватель — это качество, а не регистрационный номер. Слышать звон бывает более чем достаточно, не обязательно знать, откуда он. Упоминания имени, названия книги бывает достаточно, чтобы опалиться зноем открытия. Зная, что кто-то взял высоту, не будешь надеяться перепрыгнуть чемпиона, ставя планку пониже. Достаточно знать, что кто-то рискнул, пошел на подвиг, чтобы твое самостоятельное намерение совершить то же самое стало вторичным. Литература, слава Богу, не спорт и не наука — свершения в ней не принимают вид формул и рекордов, в ней могут иметь цену одни и те же сюжеты, поднятые разными индивидуальностями, в ней могут одновременно и разновременно самостоятельно зарождаться близкие формы — они будут ценны. Но и в ней первое, как правило, сильнее независимого от него рождения второго. С рождением и повторением новых форм обстоит сложнее: гении, как правило, не изобретали новых, а синтезировали накопленное до них. У Марлинского и Одоевского изобретений в слове больше, чем у Пушкина, Лермонтова и Гоголя, их изобретениями воспользовавшихся. У Ф. Сологуба мы найдем стихи, написанные «раньше» Блока. Но «Процесс» все-таки мощнее «Приглашения на казнь»; но как жаль бы было, если бы Набоков «вовремя прочитал» Кафку и не стал бы братья за «Приглашение»...

Все это автор как бы понимает... От влияния было бы глупо отказываться. Но мне все-таки хочется отвести некоторые упреки в прямых подражаниях, которые автор уже слышал и надеется еще услышать.

Наиболее существенны три: Достоевский, Пруст и Набоков.

Пруста мне легче всего отвести: он не русский, этот упрек меня не волнует. Не исключено, что я попал под его влияние, когда начал роман, когда писал «Фаину» и «Альбину». За год до этого как раз впервые его читал, читал «Любовь Свана», и она мне многое напомнила в самом себе, была узнаваема, произвела впечатление и т. д. Но еще перед этим чтением я закончил «Сад», и мне кажется, что в «Фаине» гораздо больше именно этого автовлияния, я все еще не отошел от «Сада». В общем, Пруста я не отрицаю, это меня не волнует.

Сложнее с Достоевским, влияние которого вообще невозможно отрицать. Но тут есть два оттенка. Первый, что он один из самых «незапоминаемых» писателей и поэтому ему трудно было бы непосредственно подражать. И второй, что влияние Достоевского — вовсе необязательно литературное влияние. Он еще не изжит, он встречается в самой жизни, тем более в российской, и лишь для человека, узнающего жизнь преимущественно по литературе (каковы критики), тавро Достоевского паразит и существующую действительность. Описанность явления еще не означает его исчезновения из жизни (хотя должна бы... об этом в другой раз...). В Достоевского легко «попасть», именно забыв о нем и выйдя из-под его влияния, попасть по жизни, по личному опыту. У нас в России все еще так думают, так чувствуют, как у Достоевского, может даже, в большей степени, чем в его время. Тут сказалась та же пронзительность просвечивания, что и в социальных пророчествах «Бесов» (см. комм. к стр. 338). Так что в «подражание» Достоевскому может столкнуться сама действительность, описанная, но не отмененная (а даже утвержденная) им, не он сам. Вот характерный эпизод из личного опыта... В 1965 году я попал на поминки Е. (без всякого правильного смысла; я с ним не был даже знаком, не был и на похоронах... — по-достоевски, по-русски...). Это был человек рекордно-страшной репутации, из главарей идеологических кампаний 49-го года. Но что-то и в нем было не просто так (черной краски не хватало, так он должен был быть черен...). По рассказам, под конец жизни, он не мог читать ни одной строчки пропагандируемой им литературы, ушел в затвор, читал только Чехова и Достоевского, жена его истово вдарилась в религию, ходила в черном, как монашка, общался он только с ней (ее еще видели на людях, а его, годами, никто). Такой, значит, поворот. Умер. Я застал поминки в разгаре. Общество, кроме одного человека, который меня позвал, было мне незнакомо, но и через пять минут стало видно, насколько разнообразно и своеобразно: они были пародийно похожи на героев Достоевского. Были тут и Свидригайлов, и Шатов, и пародия на Ставрогина, и копия Верховенский, и два-три Лебядкиных (это я сейчас так пишу — тогда мне эти аналогии почему-то не пришли в голову, может, как раз из-за очевидного сходства; к тому же с тех пор я многих из них узнал поближе и, по отдельности, удостоверился в каждом случае, а соединил сцену еще позже...). Пили, Верховенский не пил, остальные — много. Говорили

речи. О покойниках плохо не говорят, и все начинали хорошо, отмечали размах и талант (к тому же и в ораторах было мало чего кристаллического), но потом как-то вдруг скатывались в глубокое «но», и, выкарабкиваясь из него, кончали прямым поношением. И так было с каждым. Народу было много, большинство просто пило, чокалось, ржало, гуляло по буфету, откровенно забыв о покойном, а те, кто пытался вправить (из лучших побуждений: как-никак смерть...) застолье в должное русло, сами же исправно Е. поносили. Но — пили и ели. В жизни не представлял себе таких поминок! Зрелище затягивало своею отвратительностью и как-то вязко не отпускало от себя, будто все это должно было еще, сверх всего, чем-то таким кончиться, что лучше бы и уйти вовремя, да никак невозможно. И — разрядилось. И как раз тогда, когда я не выдержал и собрался уходить, а за мною еще трое... И тут Верховенский обнаружил пропажу тридцати рублей. Все только этого и ждали — что началось! какая изысканность предложений и предположений... Никому не выходить, всех по очереди обыскать... Все-таки такое оказалось невозможно. Единогласно нашли жертву — ею оказалась самая молоденькая и смазливая (и бедная!) девушка, которую привел «Шатов». Она — отрицать и в слезы. Они (актив, миглом сложившаяся звездочка, «пятерка»...) — шмонать. Обсудили технику. Удалились, волоча ее за собой. (Сам Шатов с выражением непреклонной образцовости подталкивал ее в спину, назидательно увещевая); Верховенский в радостном комсомольском возбуждении был впереди и всюду вокруг. В общем, ее раздели в специально отведенной комнате — меня там не было, — ничего не нашли. Снова было предложено всех шмонать. Не помню, как я вырвался, унося эту сцену в зубах, трепеща от этого подарочка по линии опыта: уж куда-нибудь у меня эта сценочка войдет, не денется!.. И придумывать ничего не надо... Так целиком и плюхнется в роман, как в болото, разбрызгивая главы... Несколько лет держал я эту главу в запасе, да вот все романа подходящего не писалось... И — не пришлось. Перечитал-таки «Преступление и наказание», дошел до поминок Мармеладова — и глаза на лоб полезли: один к одному! Тоже своего рода аллюзия. Вот и я, описывая наспех этот эпизод, забыл о главном, о виновнике, о смерти, о самом Е., как забыли в момент шмона все участники. Это ли не возмездие — такие поминки! И отсюда единственный возможный тост в пользу покойного: значит, страдал, значит, даром затвор, значит, светилась в этой черной дыре точка совести, раз Господь успел покарать при жизни страданием и глумлением на похоронах, пока душа еще видела... Ведь кто ушел, избежав расплаты, на том окончательный крест, у того уже не было души, чтобы карать, того уже просто не бывало на этой Земле. А этот Е., может, уже по облачку под ручку с Антон Палычем беседует, и Антон Палыч, так, журит его слегка... Нет, от влияния Достоевского тоже никак не отказаться.

А от Набокова мне и не хочется отказываться. Но, с учетом всего выше и ниже сказанного, как раз и придется: имя я услышал впервые году в 60-м, а прочитал — в декабре 70-го. Как я изворачивался десять лет, чтобы не прочесть его, не знаю, — судьба. Плохо ли это, хорошо ли было, но «Пушкинского дома» бы не было, прочти я Набокова раньше, а что было бы вместо — ума не приложу.

К моменту, когда раскрыл «Дар», роман у меня был окончательно дописан до 337-й страницы, а остальное, до конца — в клочках и набросках. Я прочитал подряд, хотя и в английском переводе, «Дар» и «Приглашение на казнь» и — заткнулся, и еще прошло полгода, прежде чем я оправился, не скажу от впечатления — от удара, и приступил к отделке финала. С этого момента я уже не вправе отрицать не только воздушное влияние, но и прямое, хотя и стремился попасть в колею написанного до обезоружившего меня чтения. Всякую фразу, которая сворачивала к Набокову, я старательно изгонял, кроме двух, которые я оставил специально для упреков (на стр. 328 и 336), потому что они были уже написаны на тех забравших вперед клочках... В конце концов, «бенефис» и «гобелен» не принадлежат Набокову в такой же степени, как «бабочка» или «нимфетка». Вот что написал по такому же поводу сам Набоков в 1959 году в предисловии к английскому переводу «Приглашения на казнь», вспоминая обстоятельства выхода этой книги по-русски в 1938-м:

«Эмигрантские критики, которых эта вещь весьма озадачила, хоть и по-направилась, думали, что различили в ней «кафкианскую нить», не зная, что я не владел немецким и был полностью несведущ в современной немецкой литературе и еще не читал ни одного французского или английского перевода сочинений Кафки. Нет сомнения, существуют определенные стилистические связи между этой книгой и, скажем, моими более ранними рассказами (или более поздними...); но их нет между нею и «Замком» или «Процессом». В моей концепции литературного критицизма нет места категории «духовной близости», но если бы мне пришлось подыскивать себе родственную душу, то я выбрал бы, конечно, этого великого художника, а не Д. Оруэлла или иного популярного поставщика иллюстрированных идей и публицистической беллетристики. Между прочим, я никогда не мог уразуметь, почему любая моя, без различия, книга пускала критиков в светлые бега на поиски более или менее прославленных имен для необузданных сравнений. За последние три десятилетия они навешали на меня...»

И далее следует список из двух десятков взаимоисключающих имен, охватывающих пять веков и столько же литератур, включая Чарли Чаплина и героя одного из романов Набокова, писателя по профессии...

Подражая ему (на этот раз в твердой памяти), отношу читателя к прим. к стр. 117, 179.

И еще вот что. Литература есть непрерывный (и непрерыванный) процесс. И если какое-то звено скрыто, опущено, как бы выпало, это не значит, что его нет, что цепь порвана, — ибо без него не может быть продолжения. Значит, там мы и стоим, где нам недостает звена. Значит, здесь конец, а не обрыв. Чтобы нанизать на цепь следующее (новое) звено, придется то, опущенное, открыть заново, восстановить, придумать, реконструировать по косточке, как Кювье. Тут повторения, изобретение велосипеда и открытие пороха не так страшны, как неизбежны. Набокова не может не быть в русской литературе, потому хотя бы, что он — есть. От этого уже не денешься. Его не вычтешь, даже если не знать о его существовании. Другое дело, что такого рода палеонтология неизбежно слабее неизвестного оригинала. Набоков — есть непрерывная русская литера-

тура, как будто ничего не произошло с ней после его отъезда; судьбе пришлось уникально извернуться, чтобы организовать персонально для него феномен внеисторичности. Набоков мог продолжать ТУ литературу. Такой она была, такой бы она была, такой бы она стала. Он ее продлил, он ее закрыл. ТУ. Но как бы ни была прекрасна ТА, проза еще будет писаться. Писали же после Золотого века Пушкина, Лермонтова и Гоголя, хуже, но — писали. Отошел и серебряный, и бронзовый век. Но есть еще медный, оловянный, деревянный, глиняный, картофельный, наконец, картонный, и все это еще будет литература — прежде чем окончательно наступит век синтетический, бесконечный, как вечность.

Как видите, автор относится к собственной работе всерьез. Он полон веры. Ему все еще есть ЧТО ДЕЛАТЬ¹.

1971, 1978

¹ Например... стр. 346 ...свой 101%.

101% — есть то минимальное перевыполнение плана, которое уже влечет за собой определенные прибавки к заработной плате. Цифра эта — 101 — так часто мелькает в отчетах, что не может не вызвать подозрений. Один мой приятель слегка погорел на этом деле. В очерке о китобоях (бывших в то, докосмонавтовское время, в особой моде) он отразил именно этот процент перевыполнения ими плана. Сколько это означало: сто и одного кита или пятьдесят и половину, — не знаю, но очерк со скандалом был снят в цензуре, потому что план по китам оказалось возможным лишь выполнить, но никак не перевыполнить, ибо право на это убийство регламентируется неким международным соглашением и никак не может быть перевыполнено. «Им» это непонятно — 101%...

Таково и это, последнее, примечание. Их теперь 101%.

ОБРЕЗКИ

(Приложение к комментарию)

«Есть, Что делать...» Легко было сказать. В 78-м автор был моложе, по крайней мере, на двенадцать лет. Теперь уже можно то, что тогда было нельзя. Но автор подавляет в себе счастливый вздох освобождения в столь долгожданной им перспективе. Ему как раз и не хочется делать то, что он делал раньше.

Например, продолжать этот роман.

И вдруг именно эта ему предлагается возможность. Отсутствие бумаги, типографические сложности, охрана труда наборщиков — все эти проблемы подступили к автору вплотную. Освобожденный от цензуры текст попадает в технологическую зависимость. Текста нужно то ли кило-двести, то ли метр-шестьдесят, чтобы ровно уложиться в знаки и листы. То отрежь пять сантиметров, то прибавь пятьдесят граммов. И непременно в конце, где, казалось автору, каждое слово уже набежало, окончательное и одно.

И все-таки (автор — блокадник) лучше добавить, чем убавить. Вот обрезки 1971 года...

Как бы ни злил этот медлительный роман своею торопливостью, благодаря низкому труду и высокой лени — он трижды начат и один раз кончен. Три раза подкинули, два раза поймали. Упал, упал!

Он написан наспех — за три месяца и семь лет. Три месяца мы писали его, семь лет ждали этих трех месяцев, отыскивали шель в реальности, чтобы материализовать умысел. Это было невозможно. Думаем, что нам это не удалось. Мы развелись с романом — в этом смысле наши отношения с ним закончены.

Остается его назвать.

Сначала мы не собирались писать этот роман, а хотели написать большой рассказ под названием «Аут». Он не был, однако, из спортивной жизни: действие его теперь соответствует третьей части романа. Семь лет назад нам нравились очень короткие названия, на три буквы. Такие слова сразу наводили нас на мысль о романе, например: «Тир» (роман) и «Дом» (роман)...

Значит, сначала это был еще не роман, а «Аут».

Потом все поехало в сторону и стало сложнее и классичнее:

«Поступок Левы Одоевцева».
«Репутация и поступок Левы Одоевцева».
«Жизнь и репутация Левы Одоевцева».
Наконец, пришло — ПУШКИНСКИЙ ДОМ.
ПУШКИНСКИЙ ДОМ вообще...
Названия со словом «дом» — все страшные:

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ ДОМ
ХОЛОДНЫЙ ДОМ
ЛЕДЯНОЙ ДОМ
БЕЛЫЙ ДОМ
БОЛЬШОЙ ДОМ
ЖЕЛТЫЙ ДОМ
ПУШКИНСКИЙ ДОМ...

Название установилось, зато какое же раздолье открылось в изобретении подзаголовков, определяющих, так сказать, жанр! Жанр-то ведь у меня такой: как назову — такой и будет, жанр... или, как пишет моя пишущая машинка: жарн...

роман-протокол
соотв.: протокол романа
соотв.: конспект романа
соотв.: набросок романа

Все это уже облегчало задачу: мол, романа нет, а черты его налицо, а мы, мол, сразу так задачу и понимали, сразу так ее себе и определили... Потом: роман-показание

соотв.: роман-наказание
соотв.: роман-упрек
соотв.: роман-упырь
соотв.: роман-пузырь
роман-с

Далее: филологический роман
роман-музей, роман-газета
роман-кунсткамера-мой-друг
роман-попурри (на классические темы)
роман-признание в романе
роман-модель, роман-остов

Географич.: Ленинградский роман
Петербургский роман

Ориг.:	Воспоминания о герое Две версии История с неверным ходом Исследование одного характера История с топтаниями и прорывами История с возвратами и прозрениями История с уходами и возвращениями
Наконец:	Роман о бесконечном унижении Роман о мелком хулиганстве

На выбор... И поскольку я вместил здесь такое разнообразие «жанров», то даже если все это окажется не роман, — такое разнообразие внутренних тем, на которое как раз и намекается столькими подзаголовками, разве не достаточно для произведения такого объема?

Мы хотели сильно отступить и во всем признаться и объяснить-ся. Нам хотелось сделать виртуозный вид: что мы так и собирались, так и хотели... Мы хотели оправдаться преднамеренностью и сознательностью произведенных нарушений, придумали достаточно образных терминов для пояснения формы этого произведения. Например, горящая и оплывающая свеча — объясняла бы «натёчную форму» романа. Или телескоп — телескопичность, выдвижение форм друг из друга, грубее говоря, «высовывание» — но мы не знали, каким концом в данном случае подносим мы сей телескоп к глазу и к чьему, авторскому или читательскому: образ не работал... Или мы хотели с апломбом пройти по архитектуре, поговорить о современных фактурах, когда строитель сознательно не заделывает, например, куски какой-нибудь там опалубки, оставляет торчать арматуру — мол, материал говорит за себя...

Но не за меня! Это все чушь. Роман написан в единственной форме и единственным методом: как я мог, так и написал. Думаю, что иначе и не бывает. Вся проза — это необходимость вылезти из случайно написавшейся фразы; весь стиль — попытка выбраться из покосившегося и заваливающегося периода и не увязнуть в нем; весь роман — это попытка выйти из положения, в которое попал, принявшись за него. Было немало случаев, когда автор носился с гениальными идеями романов, которые помещались у него потом в одной случайно оброченной строчке. Но однажды случайно написанная первая строчка, о которой автор никогда и понятия не имел, так долго дописывалась и уточнялась, что оказалась романом.

Ну, что? В чем еще признаться?

Однажды, в очень плохую минуту, этот роман был записан стихами (к счастью, более коротко)...

«ДВЕНАДЦАТЬ»

(Конспект романа «Пушкинский дом»)

Добро, строитель Петрограда!..
Ужо тебе!..

Пушкин

Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

Блок

Конь — на скале, царь — на коне —
на месте кажутся оне...

(Стоит, назначив рандеву
с Европой,

сторожит Неву

и, дальновидно, пенку ждет —
но молоко — у нас уйдет!)

Под ними — змей! над ними — гений! —
мычит ужаленный Евгений:

бедняга напугал коня —

конь топчет змея и — меня.

Прошелся ветер в пиджачке,
проехал дождь в броневишке —

пока вскипало молоко,

мы оказались далеко:

«Подъявши лапу, как живые,

Стоят два льва сторожевые»,

на льве — герой мой (Лев на льве)

рисует «си» и «дубль-ве».

Итак, процессия Петра,

которой в гроб давно пора.

«Сии птенцы гнезда Петрова»

порхают.

Жизнь идет херово.

За внучком — дед, за бабкой — репка, —

и вождь вцепился в кепку крепко —

«Двенадцать»! Ровно.

(Блок считал —

я пересчитывать не стал.)

Им разрешается по блату

прикладом бить по циферблату.
 Часы отсчитывает — слово!
 Что ново нам, то вам — не ново,
 читатель моего романа...
 Однако — рано, рано, рано! —
 бежит мой Лев в черновике,
 за ним — наряд в грузовике:
 «Для правды красного словца
 поймаем зверя на ловца!» —
 но убежать герой мой должен! —
 и мы процессию продолжим...
 Идее предпочтя природу,
 сочтем существенной — породу
 (Петропольской погоды вред
 нам оправдает этот бред).
 и басню о Петре и змее
 мы перепишем подобнее:
 дождь, ветер и хлад,
 и Годовщина —
 достаточная суть причина
 концу романа.

Эти метры
 пройдем пешком, с дождем и ветром:
 он рвет полотнище кривое,
 фальшиво и простудно воет,
 и,
 погоняемые флагом,
 уйдем и мы нетрезвым шагом,
 вслед за собою
 цель маня...

Кто
 в прошлом
 вцепится
 в меня?

Двенадцать — ровное число,
 и стрелки
 временем снесло.

Если бы мы, заканчивая роман, могли заглянуть в будущее, то обнаружили бы растущее влияние героя на его автора. К сожалению, это не только доказательство творческой силы, вызывающей бытие образа почти материальное, но и разной силы возмездие. Поскольку влияние автора на героя вполне кончилось, обратное влияние становится сколь угодно большим (деление любой величины на 0 дает бесконечность). Аспект этот, безусловно относящийся к проблеме — «герой-автор», выходит, однако, за рамки опыта, приобретенного в процессе романа. Так, ровно через год после завершения романа автор оказался приговоренным к трем годам сидения в Левиной шкуре (будем надеяться, что одно и то же преступление не карается дважды...) ровно в таком учреждении, какое пытался воплотить одной лишь силой воображения.

Бывший горный инженер, а ныне автор романа «Пушкинский дом» (не опубликованного еще ни в одной своей букве) застигает себя весной 1973 года на ленинском субботнике в особняке Рябушинского в качестве аспиранта Института мировой литературы им. Горького, пылесосящим ковер, подаренный Лениным Горькому... «Нет сказок лучше тех, что придумала сама жизнь!» — восхищается автор.

И позднее автор застаёт себя время от времени за дописыванием статей, не дописанныхевой, как-то: «Середина контраста» (см. «Предположение жить» в сборнике «Статьи из романа». М., 1986) или «Пушкин за границей» («Синтаксис». Париж, 1989), или мысль уносит его в далекое будущее (2099 г.), где бедные потомки авторского воображения (правнук Левы) вынуждены выходить из созданного нами для них будущего (см. «Вычитание зайца». М., 1990).

ПОСЛЕ
ПУШКИНСКОГО
ДОМА



ФОТОГРАФИЯ ПУШКИНА

(1799—2099)

Вот сегодня наконец оказалось, что войны еще никакой нет.

А позавчера она разразилась, и еще вчера она, возможно, была.

А сегодня опять «еще не вечер».

А позавчера, «между собакой и волком» (надо же! одним присваивают героя, а другим — «часть речи»...), позавчера в сумерки спустился я с чердака включить на нем свет (он у меня включается внизу), все уже спали, прокрался, включил и вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел, на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, все еще с чердака, что-то там на чердаке недодуманное додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовала нам жизнь за день, из облаков, теней, трав и заборов, все теперь напрочь стерла, размазав своей резинкой: не получилось. Но так смазав белый лист дня, что-то, от спешки, пропустила: то куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика, как вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки... Так я буду сидеть, предаваясь, лентясь снова взойти на свой, теперь уже освещенный верх, впрячься в лямку своего чердака, поволочь его сквозь непроходимый текст. Тут невидимая уже калитка распахнется, обозначив свое отсутствие скрипом, и ввалится вполне видимый мужик, клонясь, как забор, на сторону, расшатывая нетвердой походкой сумерки. «Что-то я тебя раньше не видел», — скажет, усаживаясь рядом, попросит стакан.

Вообще в нашей развалившейся деревеньке (три жилых двора из двух десятков, пребывающих, как в ускоренной кино-съемке, в разных стадиях разрушения и разорения) у нас так не принято, чтобы заявляться запросто друг к другу даже днем. Я ему попробую стакан-то не дать, ссылаясь, что все спят, что сам я не пью, опасаясь разрушения своего маленького времени, как раз будто очень захотев подняться и продолжить работу...

я ему попытаюсь стакан не дать. Тут-то он мне и вывалит, преисполненный скорби, поигрывая то желваками, то быстро-ватыми взглядами, то роняя голову, как бы слезу не то смахивая, не то скрывая... Тут-то он: «Это что же, выходит, опять война?..»

А я только третьего дня отмахал по нашим дорогам за пятьсот километров, за Ярославль, за Кострому, за Судиславль и Галич — наконец вырвался из столицы, к сыну, к чердаку... Быстро домчал, без поломок и аварий, часов за двенадцать. Какая война? что плетешь?

А он мне, без обиды, а с огорчением, как недоумку — все, в подробностях. Как ехал из райцентра последним автобусом, как у одного парня транзисторный приемник был, как все в автобусе мужики слышали... как все это случилось, что война... Не хочу даже сейчас, когда миновало, подробности эти воспроизводить. «Это что же, — мотает он головой, как лошадь, — только внуков родили и поднять не сможем?»

И впустил, и чашку дал. Оказалось, что всего лишь воды и просил. Лишь она и требовалась... Только уселся он прочно, как навсегда. «Что, — думаю, — сейчас их всех поднимать и ехать или пусть уж поспят до утра?.. А может, и вообще уже ЗРЯ ехать — ничего-то там и нет, и такая судьба мне выпала: к сыну поспеть и выжить... А как же?..» Вот в эту сторону невозможно и подумать, про тех, кто ТАМ. Это как-то отрезвляет. Да полно, да не наплел ли ты все? Э, нет, говорит, кабы наплел... И опять вворачивает подробность. Мне ли не знать, какова она, подробность? Гипноз один... однако опять верю. Потому что страшно.

«Что это я тебя не знаю?» — опять говорит он, это у меня-то в доме, мною впущенный, сидючи!.. «А я тебя», — говорю. «Меня не знаешь?! Да нет такого, кто меня здесь не знает! Я — Чистяков! У меня брат на железной дороге...» И так далее.

Понял я про него: такой мужик — то он сидел, то воевал, то у него ордена, то внуки, то я ему сынок, то он меня младше — пьянь, поэтическая натура, я таких много не в деревне видел, а — ИЗ. Понял я про него, да не все: «Ты меня не знаешь, а знаешь ли ты, что ты в МОЕМ доме сидишь?» Историю покупки избы моим тестем я знал смутно — может, и правда. Нетрудно было в таком случае, с авторской сентиментальностью, вообразить, каково это: узнать про войну, быть не вполне, сами ноги привели... и вот на пороге, где родился и вырос, неизвестно какой, но инородец сидит, в усах и в очках («Почему у тебя усы, а у меня нет?») — в частности, спросил он меня с наигранной

социальной злобой, а про очки — нет, ничего не сказал...), сидит на родимом пороге, и в дом не пускает, и даже воды не подает... И вот я и впустил, и подал (за войну-то!), а он сидит, скорбит и воды той отпить не может: сидит в вечной наклонке, мастерски ни на что не опираясь, но и с табурета не падая, а чашка в его руке, в другую наклонку, но тоже не вываливается, и вода в ней, под острым углом, подчиняясь физике, обозначает горизонт и неправдоподобный угол, и Чистякова, и чашки. Оставим его до утра в этой позе.

А наутро та же трава и погода — ни Чистякова, ни войны; однако в трех дворах наших с удивительным спокойствием подтверждают: да, было дело — теперь война; подождем, сообщат... Да кто сказал-то?! А Чистяков и сказал.

Подождали еще денек — и ничего нам не сообщили, не подтвердилось, а нам и не до того было: погодка наконец выдалась — сено ворошить.

А мне — сено не ворошить. Я — на свой чердачок-с. У меня творческий процесс-с. А только чего — не знаю. Разве вид из окошка, в который раз, не сумею описать. Там-то как раз сено и ворошат. Баба и мужик. Костерочек в стороне развели. Отсюда не видно — кто. Наверно, Молчановы — их угол...

По стеклу на самом переднем плане муха ползет, и так же мысль моя уползает за мухой... Вот ведь, думаю, ни живопись и ни фото — никак этого не отобразить, что в эту рамку для меня вставлено кем-то, задолго до меня эту избу ставившим, никак планировку к виду из моего окошка, естественно, не учитывавшим, но меня, однако, к этому пейзажу приговорившим. Не сфотографируешь так, чтобы и рама окошка, как рама картины, и муха ползает по картине, а на переднем плане столб, проводами, как нотными линейками, пейзаж для начала разлинованный так, что на нижней линейке еще забор, на средней как раз сено ворошат, а на верхних двух — уже дальний лес и само небо...

Стоило отвернуться это записать, как ушла баба, улетела муха, мужик на глазах скрылся за стог, осталась одна собачка, которой до того, надо сказать, не было. А мужик-то, было пропавший, затоптал костерок да в ту же сторону, что баба исчезла, и направляется.

А теперь оглянусь и — ничего: ни дымка, ни собачки. И свет переменялся. Мирный пейзаж, столь утешающий своей вечностью! Где ты? Какое бешеное время свистит в нем! Тахикардия какая-то. Мчание. Не говоря уж о ветерке и облаках...

а там, под спудом, тихой сапой, там гриб растет, да вошь ползет, да мышшь шуршит. Дымок оторвался от земли, как душа, уже сам, без мужика — от порыва, от ветра, — и нет его. Пейзаж закрыт на обед. Кошка Наташка по опустевшему пейзажу к дому идет, тоже обедать, тоже кормить... сейчас и меня позовут снизу суп есть и — пропал пейзаж!

Так и было. Война не война, а шевелиться надо. Пора. Живой человек всегда только начал жить. Вот и я сейчас начну, но с чего? С этого или с того? Ужасна эта папка заброшенных начал и набросков — загибаются углы, желтеет бумага, выцветает текст, а ни с места. Не это, и не это, и этого неохота... Пейзаж не пейзаж... а какой-то свист времени: две бабочки об него теперь бьются, стучаются через стекло о пририсованных наспех овечек... Может, это? Ну уж нет! Сколько же это прошло? Семнадцать с половиной. Не минут (вот за минуту сколько в пейзаже случилось!), не часов (вон сколько за утро наворошили!..), не дней (вот уже неделя, как я здесь...), а — лет!! Лет, минут — какая разница! Мне было тридцать... Разница — НАЛИЦО. Не тот был чердак. И вид не тот. Продолжение не следует. Продолж...

— ...для нас нет сейчас более благородной задачи, чем на страницах наших изданий достойно отметить трехсотлетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вся жизнь Пушкина, его деятельность, его титанический труд являются близкими, дорогими для сотен миллионов жителей нашей планеты. Всюду звучит имя Пушкина...

Имя Пушкина звучало на этот раз под сводами (естественная оговорка, учитывая торжественность обстановки, потому что сводов, собственно, не было), вернее, в стенах, где оно (имя) вполне могло бы прозвучать еще при жизни виновника... Даже, быть может, голос его... Но нет, представить головокружительно — охватывает трепет... Нельзя не отметить заслуженной удачи организаторов этого, не будет преувеличением назвать, форума председателя хурала друга Албуу Сержбудээ и его бесценных заместителей друга Ивана Аронова и Джона Иванова (бурные аплодисменты и просто аплодисменты). Сама их идея перенести заседание юбилейного совета со Спутника Объединенных Наций (СОН) на старую нашу Землю, на которой жил Пушкин, не могла не сказаться благотворно на самой атмосфере, товарищи, собрания. Здесь, под серебряным небом Петрограда, под хрустальным облаком Петербурга...

Доведя свой голос до звона, докладчик сам вздрагивал, как от неожиданного окрика, терял нить и немножко озирался. И мы оглядимся сейчас, как бы вместе с ним, но не в такой уж растерянности, кое-что подметим и поясним. Серебряное небо Петрограда, по образному выражению докладчика, означает гигантский, отражающий некие жесткие и острые излучения колпак, действительно снаружи очень серебряный цветом, но, конечно, не из серебра, а из специального античегота (чтобы нам было понятно: род пластика, хотя, конечно, уже и не пластика); «хрустальное облако Петербурга» — не менее образно выражает тоже колпак, но меньшего размера, концентрически помещающийся в петроградском, только абсолютно прозрачный, стеклянный, хрустальный, плексигласовый, хотя, конечно же, и эти вещества давно устарели, и имена их звучат для далеких современников так же волшебно, как для нас эфир, зефир, веницейская амальгама. Этот петербургский колпак был род того колпака, какие ставили в наши далекие времена над сине-золотыми часами, чтобы в тщательные складочки бронзы не забивалась пыль и зелень; эти часы до сих пор позванивают в прошлом времени, звуковой паст-перфектум, и как-то напоминают мне — и я уже запутался, в какую сторону смотрю из своей посредственно-временной точки модели «Адлер» (то есть стуча сейчас на машинке) — «напоминают мне оне»... что на «хрустальном облаке Петербурга», с внутренней стороны колпака, были тоже пятна голубой эмали, прикрашенные (притороченные, приуроченные) к золоту шпилей Адмиралтейского, Петропавловского, Исаакиевского, наподобие живых штилевых облачек...

И вот, пока тикают эти каминные часики, показывая время внутри колпака, отмеряя четверть часа, проведенных моей прелестницей прабабушкой за кружевами и поглядыванием в окно, пока не присоединится к тиканью цоканье по торцу, а мелодичный бой не сольется с ее восклицанием в передней ...Господи! это представляет мне сейчас странную возможность рассказывать о небывшем... итак, пока не кончится завод, мы продолжим пояснения, ибо чувствую (будто слышу), что докладчик сейчас снова доведет свой период до звона и заозирается по сторонам, как бы ища нас в аудитории.

— ...Наконец наступила эпоха торжества охраны природы и памятников! (Я был прав: докладчик смолк и растерянно посмотрел на меня, вернее, сквозь...) И тут мы поясним, что она действительно наступила. Аналогичные колпаки были возведены над Парижем и Римом, Пекином и Лхассой. В гамбург-

ском зоопарке дал потомство кролик, а под колпаком Тауэра был восстановлен исторический газон. Очень красиво смотрелась Земля с кооперативных спутников: глубокого черного цвета, с серебряными пузырьками музейных центров, она выглядела теперь как ночное звездное небо — да и была ночным небом, — так смотрели на нее люди, снизу вверх. Они смотрели на Землю, как на небо...

А на трибуне новые ораторы...

— ...но у нас, господа-товарищи, досадный пробел. — Это без излишней эмоциональности и метафоричности, как и подобает ученому (факты и только факты!), говорил русского происхождения академик Прынцев. — Первая фотография, как известно, появилась в России в сороковых годах девятнадцатого века. Большой удачей нашей науки являются фотографии Гоголя, Чаадаева и других немногих современников Пушкина. Но сам Пушкин, к нашему глубокому сожалению, не успел сфотографироваться. По сути, что мы знаем объективно о внешнем облике великого поэта? Иконография необычайно скудна и, пожалуй, более говорит нам об индивидуальности портретистов, нежели модели... Мы должны исправить эту ошибку времени! «И назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык», — запел академик.

Ах, Александр Сергеевич! Зачем же так?..

Всяк сущий в ней язык наполняли зал. И мы пройдемся сейчас по рядам, затесавшись между фотокорреспондентами и кинооператорами, если их только можно так назвать, потому что в предметах, которыми они орудуют, едва ли можно узнать то, что мы считали фототехникой в наше время... Во всяком случае, эти люди не обязаны изображать внимание на лице или аплодировать в нужных местах — они заняты. То ракурс, то необходимый делегат — и вот новая голубая вспышка озаряет прежде всего их самих, а отпечаток этого мгновения навсегда обозначит, что мгновение это прошло, но утешит попавших в кадр тем, что оно будто бы было... И мы, как киноглаз, пошарим сейчас по рядам, выберем крупным планом того, другого — совершенно произвольно (вдруг понадобятся нам в дальнейшем повествовании в качестве героев — такое пошлое лукавство!).

Мы находим, однако, так много общего в разноцветных лицах, что никак не можем пока ни на одном остановиться. И правда, далеко не каждый мог бы удостоиться чести сидеть здесь, лишь избранные. Тем более такой экстренный случай —

сессия на Земле, на которую вообще нужен пропуск, виза (а Петербург, как в наше далекое время зал Публичной библиотеки, со спецдопуском): чтобы пройти все это, нужно скорее совпасть, чем выделиться. Это понятно: земное тяготение теперь небезопасно в идеологическом отношении. И вот нам трудно задержаться на чьем-либо лице... Задержаться, конечно, и можно бы, но тогда на любом, без выбора: предпочтение неясно, первое попавшееся пропущено... Но — вдруг! — некая тонкость в чертах, потупленность взора. Так ковыряют вилкой скатерть, как он потуплен, хотя нет, руки ведут себя выдержанно, то есть никак не ведут себя. Это-то, что невдомек соседям нашего нервного молодого человека (и невдомек-то потому, что самого подозрения в отличии уже быть не может, оно атрофировалось давно за ненадобностью, что и спасает, к счастью, нашего избранника, чем, мы подозреваем, он посвоему даже пользуется), это-то, что им невдомек, и заставляет нас остановить свой выбор именно на нем... и тут нам приятно отметить, что юноша этот не кто иной, как отдаленный потомок Льва Одоевцева и Фаины — незаконная ветвь, Игорь.

У Игоря першит в горле от сухости петербургского воздуха, и потомок невских наводнений — жаждет. Да, да, так все переменялось: именно — сухость. Когда, в день открытия сессии, Игорь посетил музей-квартиру и увидел там письменный стол, накрытый колпаком, а чернильный прибор внутри прикрыт еще одним, значительно поменьше, то он тут же (и как он прошел все проверки?!) представил себе колпак над Петербургом, а над ним верхний, ленинградский, — у него голова закружилась от телескопичности, и зачем-то, нелепо, он ее ошупал, свою голову...

Вовремя. Так ему казалось, что он легко, как некую насадку, снял свою голову с плеч и теперь (она сразу уменьшилась до размера яблочка, очень опрятная) повертывал в руках, с удивлением, но и как-то равнодушно разглядывая, как не свою... Это-то, пожалуй, и будет наиболее близким описанием того, как у него потупляется взор и что он там разглядывал перед собой на пустом пюпитре, привязанный к нему белым проводком (мини-репродуктор) за ухо, иногда переключая каналы с фламандского на японский или славное потрескивание готтентотов, но другому уху все равно было очень хорошо слышно...

— ...всего сто и три дня отделяют нас от великого события — трехсотлетия Александра Серг (г — фрикативное)еевича

Пушкина. Мы встречаем это событие в обстановке оГромноГо политическоГо и трудовоГо подъема, — говорило фрикативное Г. — Всенародное соревнование вызвало новый прилив творческоГо энтузиазма наших людей...

Игорь катал свою головенку по ладони, как шарик из подшипника моего детства. Подшипник, вращаясь, тоже издавал когда-то фрикативный звук, может быть, Г.

— ...вся Вселенная восхищена нашими достижениями в области покорения времени. Мы можем с полным правом утверждать, что первая машина времени была задумана в России уже почти два века назад. (Бурные аплодисменты.) Эта машина унесла нас в далекое будущее, сразу же оставив в далеком прошлом остальную историю Земли. И совершенно естественно, что вскоре, каких-нибудь полтора века назад, был сделан и первый шаг к покорению пространства — первый шаг в космос. Теперь пространство покорено, и так же естественно, что мы сделали первый шаг в покорении времени. На рубеже третьего тысячелетия нашей эры нами произведен первый в истории человечества запуск времелета с человеком на борту! (Б-урные аплодисменты.) Времелет «Аутлей-1», пилотируемый первым в мире первопроходцем генералом Флажко, благополучно пройдя расстояние почти в два века, при... при... временно остановился в намеченной точке с поразительной точностью в плюс-минус два года! (А-плодисменты.) Восполнен досадный пробел в исторической науке: нами получена пропущенная фотография — величайший триумф...

Игорь судорожно сглотнул; казалось, проглотил маленькую щеточку и вынул из уха белый сухарик. Он теперь слушал в оба уха: на трибуне был его шеф, научный консультант и руководитель, заслуженный пушкиновед галактики Джон Иванов:

— ...дух, друзья, захватывает от перспектив, открывающихся ныне перед мировым литературоведением! — Учитель Игоря представлял собою фигуру, несколько отличную от остального собрания: его амплуа было — старый чудак профессор, — такая милая и наивная, вечно юная восторженность энтузиаста науки, который варит часы, держа в руках яйцо; говорит «батенька»; охотно докладывает, обнаруживая отличную конкретность мышления и отчетливость наблюдений; недослышивает, представляя очень мытую руку, и тогда особенно отдельно смотрятся на нем клееная бородка, золотая пустая оправка и острый румянец, — тип, не изменившийся за два века, потому что иного отсчета так и не возникло, а потому вполне нам знакомый. Сейчас он грассировал:

— ...мы сможем в будущем, и не таком, господа-товарищи, далеком, заснять всю жизнь Пушкина скрытой камерой, записать его голос... представляете, какое это будет счастье, когда каждый школьник сможет услышать, как Пушкин читает собственные стихи! Этого мало, товарищи! Наше воображение еще слишком бедно, еще не в силах привыкнуть к новому чуду и вполне представить себе отвергающиеся возможности! Мы восстановим всю прежнюю культуру до мельчайших подробностей... Гомер нам споет «Илиаду»... Шекспир расскажет наконец автобиографию...

Головенка Игоря соскользнула с ладони — этот блестящий подшипниковый шарик покатился по проходу и остановился у пятки друга степей. Игорь вздрогнул и мысленно пополз по проходу, стараясь незаметно. Но незаметно было невозможно: он страшно рос в собственных глазах, и ему трудно уже было бы быть незаметным и уже, быть может, даже трудно помешаться в проходе... Поэтому он все так же сидел и печально смотрел на милый блестящий шарик из своего прапрадедушкиного детства и совершенно успокаивался насчет того, что кто-нибудь что-нибудь за ним заметил.

...Единодушным вставанием было поддержано предложение президиума форума сессии о направлении резолюции данного собрания в Президиум Академии наук с просьбой ходатайствовать перед Генеральным Советом Концерта «Березка» (ГКБ), а также перед Верховным Председателем Общества охраны природы и памятников (ООПП) о распоряжении Институту истории (НИИИ) и Совету Министров — послать следующий времелет «Расход-3» в пушкинскую эпоху с тем, чтобы иметь к юбилею подлинный увеличенный фотопортрет Александра Сергеевича, а также его голос...

Заседали. Узко.

— Тише, тише, товарищи! — стучал по графину Председатель (графин не изменился). — Пора наконец четко определить границы обсуждения и четко же поставить вопрос: КОГО мы посылаем во время — ФОТОГРАФА или ФИЛОЛОГА?

Голоса (недружно, лениво и вразнобой):

— Филолога!

— Фотографа!!

Обе профессии внушали одинаковые опасения.

— Кадрового работника!

Но кадры решали на этот раз не все.

Нужен был ОДИН человек, но делать он должен был уметь даже не одно, а ТРИ как минимум дела: снимать, записывать и ПОНИМАТЬ.

Чем надежнее были кандидатуры, тем меньше они умели из этого.

Так и вышло более фантастическое, чем сам времелет, предположение, что лететь Игорю Одоевцеву, из тех самых Одоевцевых, молодому и подающему, хотя и ничем себя не зарекомендовавшему, но и ни в чем пока не замеченному. Зато он умел записывать (опыт фольклорных экспедиций: легенды о мясе и рыбе), фотографировать (не вполне профессионально, но современная техника...) и был потомственный пушкинист, причем почти без сомнения русский. Это-то и внушало. Потомственный, мало ли что... А его пра-пра-Фаина, кажется, была на четверть... как раз седьмое колено. Раз на четверть, значит, прошло седьмое колено, резонно отметил кто-то. Но тут и еще всплыло... Сначала как плюс: у него же даже есть предки в пушкинской эпохе и уж точно русские... и тут же:

— Так у него же прямые родственники в том времени!!!

Молчали долго. Опыта полета в столь славную эпоху еще не было.

Поручился все тот же, кто сообразил про седьмое колено... Это был такой глубокий старик, что помнил в раннем детстве похороны его пра-пра-Левы, дожившего до 200-летия восстания декабристов. Старик уже ничем не рисковал, ручаясь, и им — рискнули.

Молодость не подвела, и медики не возразили.

Как билось его сердце! Игорь летел, и под ним шуршали времена, уходили, как в воронку, грибовидные облака, и вылетали обратно бомбы, зарубцовывалась Земля, покрывалась мегаполисами и населялась человеком, рассыпалась на города, городишки и деревеньки, зарастала травой и лесом, оживала птицей и зверем... Заходы солнца сменялись восходами, и солнце с частотой велосипедных спиц мелькало с запада на восток. Нам не понять, что с ним творилось, когда, косо чирикнув (звук был «кирич-кирич...»), испуганно влетела в ЕГО, Игореву, сознание первая птица!.. и уже под ее крылом — распалась дамба, заболотившая отчий город, опустели водохранилища и всплыли утопшие деревни и колокольни, зазвонили

с дон.. днов... дней... («Донь-динь» — слышал он обратный звон...) — стали землей.

Не следует преувеличивать: не так трудно вообразить нам в реальности, как он летел, чем представить себе, кто летел. Что это была за бедная голова! Какие мысли занимали ее... какие там мысли! Более века прошло после нас, не то что после Пушкина (тут нам самим легче подсчитать...). Подсчитать-то нам легче, но понять еще труднее. Ему нас понять еще труднее, чем нам Пушкина. Тут только мы и равны. Но мы ни его, ни Пушкина не поймем, а ему нас хоть понимать не надо. Великое благо, когда он пролетает в этот миг как раз над головой своего автора и что-то крикает в этой авторской голове, одаря вывернутой наизнанку, вспятой мыслью о том, что такое «и не мертв, и не чет, и не в лоб».

«Подлинное течение времени», — наконец догадался перевести я, а Игорь уже так давно пролетел! Пролетает над Аптекарским островом, отвоевав обратно две войны, летит где-то меж двух революций: там закладывают дом, где когда-нибудь родюсь... рождусь... родится автор. Но голова у автора трещит сейчас, путает шестидесятые с восьмидесятыми (да! да! двадцатого...) — а Одоевцев уже в том веке (нет, нет, не в двадцать первом, а — девятнадцатом) путает восьмидесятые с шестидесятыми, проскочил над деревней Голузино, не послал мне свой временавтский привет. Что ж ты так быстро пролетел, голубчик, не отметив под собою... Вот он я... вот он ты сидишь, автор мой, голубчик, где же ты застрял в густой паутине СЕГОДНЯ?

Но зато я сейчас вам точно скажу, на чем не успел задержаться обалдевший взор героя, но что он точно уж видел: НАС С ВАМИ. И тут вы мне не сможете не поверить. Это есть доказательство того, что все, что я вам говорил и говорю, ПРАВДА. Вот что я вижу перед собой: трехнедельный котенок в коробке дергается во сне, будто бежит, а он еще ходить не может: снится ему бег, он ловчее перебирает лапами, чем наяву. Снится ему погоня или охота, он убегает или преследует? Этого я не знаю, но знаю теперь, что видит он перед собой вовсе не опыт, которого у него нет, а будущее свое в виде самого древнего, до него существовавшего прошлого... Котенок бежит во сне... сам-то я, находясь в своей точке времени и пространства, неспособный ускорить или вернуть, что вижу перед собой более, чем котенка? в какой невнима-

тельности упрекаю я собственного героя, пересекающего по веку за страницу?.. Ну отведу я от котенка взор, пролечу взглядом над строкой справа налево, ничего не захочу понять, что в эту секунду пишу, посмотрю налево, в оконце мое чердачное, в которое минуту назад уже смотрел, пытаюсь уловить тот миг, когда надо мною промелькнет герой: там стояла корова, жевала под дождем, плоско двигая челюстью, у нее с рогов стекали капли и падали в траву, как драгоценности... — так теперь ее нет, коровы, и дождь перестал. Вот что я вижу. Остальное я знаю: что подо мною родился мой сын, восемь лет спустя, как я задумал и было начал именно этот рассказ, а теперь и сыну восемь... и стоит мне эту диффамацию про него изложить, как он тут же взберется ко мне по приставной лестнице, и вот он уже тут. «Кто пришел?» — говорю. «Мешатель», — говорит он и смеется. Какое счастье! Вот и сижу в своем времени и пространстве и вряд ли САМ передвинусь. Боже упаси...

«У тебя есть цветная копия?» — спрашивает он именно в ту секунду, как я это печатаю. «Нету», — говорю я и более синхронизировать события уже не могу.

У Игоря еще нет детей, вот он и летит. Вернется героем, получит, быть может, разрешение на право продолжения рода. Совет, может, пойдет навстречу, и будет там еще один Одоевцев или нет, уже не от меня зависит.

Игорь отвлекся, думая о невесте, пропустил, не заметив, Крымскую кампанию, а хотел ведь увидеть в дыму сражения смелого молодого Льва (Толстого...). Не заметил в дыму мечты о своей Наташе... «И шей горшок, и сам большой», — бормотал он, глупо ухмыляясь, пропустив под собой очередную эпоху, вошел в николаевскую, в плотные слои пушкинской. Сейчас ему особенно внимательным следует быть, не проскочить бы... Он жмет со всей силы на кнопку (очень напоминает она мне мамин дверной звонок, я даже дверь перед собой вижу вместо его хитроумной панели) — стукнется от перегрузки торможения затылком о предыдущее десятилетие (сороковые девятнадцатого...), и Гоголя тоже не отметил (как он сидит, застыв и не мигая перед фотоаппаратом в Риме), и пока он медлит...

За окошком моим совсем темно, да еще и лента, не только не цветная, но и бледная, не вижу, и в настоящем, не только в прошлом из будущего (время, до которого и английский не додумался), надо идти не в зримое, а в известное —

вниз, где сын: там у меня свет включается на чердаке. Пошел вниз. Пусть герой без меня повременит, да и привременится...

Итак, если он замедлился до сходного с нашим течением времени, если минута стала минутой, а час — часом и солнце снова взошло с востока, то, значит, он уже живет в том времени, уже параллельно мне, отделенный теми же полутора веками, но с другой стороны: у меня завтра и у него завтра, у меня сегодня и у него сегодня... но это значит, что он уже второй день, как овременился в желанной эпохе, потому что я как спустился, так и не поднимался, а проспал.

Не следует, однако, думать, что остановка его произошла столь благополучно и без осложнений, на уровне легкости авторского приема. Автор не собирается спрятаться за вензелем прозаической фигуры и тем скрыть действительное.

Сложности были. Но мне их столь же трудно объяснить читателю, как и себе. Мы так же наивны в представлении технического будущего в наше время, как и князь Одоевский в пушкинское время, рисовавший себе далекое будущее, сплошь увешанное воздушными шарами. Да и путешествия по времени во времена нашего героя делали лишь первые шаги, и они сами еще не знали, с чем встретятся. Короче, нашему герою довелось впервые столкнуться с неким эффектом, который он в силу своей гуманитарности никак истолковать не мог, и мы тем более не можем изъяснить физического смысла этого явления — можем лишь сравнить его с нашим опытом, скажем, с помехами в приемнике или телевизоре. Историческое время при такой скорости пересечения располагалось как бы полосами, иногда останавливаясь в устойчивую и отчетливую картинку, иногда начиная рваться и мелькать и плыть, вспыхивать и гаснуть. Закономерность у этой чересполосицы была крайне субъективна: помехи возникали как раз в наиболее интересных для наблюдателя местах. Учитывая склад мышления и восприятия нашего Игоря, не только гуманитарный, но отчасти как бы и, даже неосознанно, поэтический, следует отметить, что интересовали его не столько грандиозные или значительные с общепринятой точки зрения события, сколько то, что он про себя называл «живым». Так вот, грандиозное стояло в изображении неподвижно и мертво, как разрисованный слайд, а живое-то как раз и начинало рваться и мелькать, не даваясь глазу. Будто из оркестра

слышны были одни медные или одни ударные, но никак не скрипка, не соло — аккомпанемент подавлял мелодию. Впрочем, музыкальные сравнения некстати, ибо вся пластинка крутилась в обратную сторону, для уха неприятную, для глаза пародийную.

Видел он флаги и толпы, выстрелы и сражения, лидеров и тиранов, время разбивалось об эти утесы, и щепки летели в стороны, как океанские брызги, но разглядеть в этой мощи то, что, единственное, от него впоследствии осталось, то, что интересовало Игоря не только по профессии, но и в живом секрете его души, разглядеть хоть мельком эпоху «модерн», рисующего Врубеля или пишущего Блока — это ни за что. То, что осталось от всей этой грандиозной истории, то, что так потом лелеялось и берегалось его коллегами во времени, в том числе и им самим, то, что составляло сокровища мировой и национальной культуры, совершенно не было видимо в этом бурлящем под Игорем котле, в этом историческом вареве. А ведь он, Игорь Одоевцев, по сравнению с теми, кто варился под ним в этом котле, то всплывая на поверхность, то окончательно погружаясь, он по сравнению с ними **УЖЕ ЗНАЛ**, что **НА САМОМ ДЕЛЕ** с ними происходит, они — нет, но именно им, незнающим, дано было видеть (хоть бы и не узнавать) то **ЖИВОЕ**, что так хотелось повидать ему на правах очевидца: им было дано, ему нет. Им было дано жить, ему знать. Барьер был непреодолим: он видел только то, что знало **ЕГО** время. Он хотел поглядеть, чего оно не знало, — тут-то и возникали рябь, помеха, не знаем, как это назвать, «эффектом Одоевцева», что ли.

Не только не видимо, но и глумилось над ним... под ним...

Зачем на сто четырнадцатом году полета потянуло его снизиться над временем настолько, чтобы подробно разглядеть разрушенную северную русскую деревню, обложенную в этот миг каким-то удивительным дождем, отвесным и крупным, как град, таким пунктирным, как рисуют дети, разглядеть животное, крупное и рогатое, с упорством под дождем жующее как бы по слогу («Корова! Это же корова!» — догадался он); значит, кто-то здесь еще, последний, жил, с чердака покосившегося домика доносился, примешиваясь к гармоническому шуму дождя, аритмичный, предынфарктный будто стучок какого-то разваливающегося древнего механизма... «Это я, это я», — ни с того ни с сего стучок вдруг совпал с ударами его сердца; бессмысленно и обиженно заглянул он в чердачное окно: темно, никого, только в стекло билась бабочка... при чем тут это? Что там

обронили в трех веках? Ее уже давным-давно не было, той покинутой деревеньки: она заросла крепкими избами, людей набежало, все они шли к восставшему из праха храму, в красных рубашках под малиновый звон.

Шел ко дну «Цесаревич», капитан один оставался на своем мостике... Ага, русско-японская... «Цесаревич» всплыл на его глазах, заметалась муравьиная команда, капитан приставлял ко рту рупор... Игорь метнулся через всю империю, к другому берегу, финскому, чтобы застать... серые тона, вечерние цветы... Сердце выпрыгивало из груди, когда он наконец поспел ВО-ВРЕМЯ. Ялик с прекрасным гребцом... белая рубашка, отложной ворот, кудри, высокомерный взгляд... на корме дама в широкополой шляпе с солнечным зонтиком... бочком, как амазонка, лица под полями не разглядеть... лодка с разгона, шурша, ткнулась в песок, юноша выпрыгнул и подтянул ее к берегу... стройный! подал руку, и дама подняла лицо... заплаканное! Там они расстались, под соснами, на песчаной тропе... Игорь, как мог, остановил мгновение: Александр Алесандрович!.. чтобы в лицо... но это был уже кто-то вовсе другой, хоть и тоже в белой рубашке, но с ракеткой под мышкой: стоял поближе к кустам и озирался направо и налево...

Игорь взмыл над временем. Оно встало на дыбы и остановилось от скорости, как солнце в вечном закате. Странны были его лучи! Он их видел, а они светили другим. Какая-то серебристая редкая ткань рвалась вокруг волокнами. «Время?» — подумал Игорь, чтобы увидеть под собой недостроенную Эйфелеву башню. Почему-то именно на неё ему захотелось плюнуть, но он не был сверху — вот в чем парадокс. Место его в пространстве было еще более загадочным, чем во времени. Он в нем вовсе не был.

И он уже не стремился увидеть пенсне в Ялте... И дама будет не та, и собачка. Последовательно и ровно миновал он десятилетия. И тут едва не прозевал, замечтавшись (он тайно вывез с собой упаковку пенициллина от воспаления брюшины...), — остановиться-то хоть следовало точно. Не раньше и не позже. То есть не позже и не раньше.

Тут-то с особой убедительностью и проявился «эффект глумления». Уж больно точно была намечена автором для Игоря точка. 23 мая 1836 года, Александр Сергеевич возвращается из Москвы в Петербург...

Вдруг видит то, что хотел: Пушкин! Он лежал на подоконнике в гостинице Гальяни, что в Твери, и ел персики («Не сезон!..» — подумал Игорь). Игорь вылутился во все глаза

и онемел, а как готовил первую фразу!.. Александр Сергеевич посмотрел на него и плюнул косточкой. И попал. И рассмеялся, довольный.

Игорь тогда прямо к дому на Мойке подлетел, заглянул в окно: лампа горит, дети его, мал мала меньше, рядом сидят и чай пьют, все сплошь косые, как их мама, и со стульев по очереди падают...

Тут и «мешатель» на голову сел, я ему какую-то чушь плету про слетевшихся на мой свет насекомых, что это знаки препинания, вон, мол, точка с запятой, а бабочка, что стучается то о лампочку, то о белый лист, — то Муза моя... «Кто Муза? — резонно ставит меня на место Мешатель. — Кстати, — говорит он, — некоторые бабочки тоже нектар собирают. Если есть пчеловоды, почему нет бабочководов?» (Его сегодня укусила пчела.) «Впрочем, бабочки тогда бы тоже кусались». Наконец осерчал я на Мешателя...

Очнулся Игорь на кушетке, думки были подпихнуты со всех боков... Голову ему держал повыше господин в пушкинских баках и давал понюхать нашатыря. Хозяйка в чепце светила свечой и поправляла на голове смоченное полотенце.

— Глаз открыл... — ужаснулась хозяйка.

— Вот и хорошо-с. Вот и слава Богу-с. А то смотрю, господин хороший, а прямо на панели-с. В какой гостинице изволили-с остановиться, позвольте спросить-с?

Игорь сел и потер под полотенцем лоб.

— Я сразу понял, что вы иностранец-с, — с гордостью сказали бакенбарды. Что-то пародийно-пушкинское было в его лице: все так же, только нос пуговкой. — Апушкин Никандр Савельич, позвольте представиться... С кем имею честь-с?

— Что! как?! — встrepенулся Игорь. — Опушкин??

— Изволите говорить по-русски? Не О-пушкин, а А-пушкин, — сказал человек оскорбленно. — Сходно-с с известным нашим сочинителем.

Игорь вскочил. Бред продолжался!.. Он все еще в полосе анекдотической перегрузки, связанной с посадкой... он все еще в полете!

— Спасибо-с, не извольте беспокоиться-с, — лепетал он, вызволяясь из очередной петли времени, некстати вставляя, на всякий случай, повсюду-с это дикое «с»... — Но позвольте хотя бы узнать, который сейчас-с год?

— Что-сс?? — Свеча выпала, хозяйка упала, хозяин подносил ей к носу ту же ватку, а Игорь устремлялся к выходу.

— Извольте-с ваш сундучок-с и тросточку-с... — холодно сказал Апушкин, подавая Игорю его аппаратуру.

Игорь грубо выхватил их и скатился по лестнице...

И только тут, выскочив из двора на набережную — Фонтанка? Мойка? — и понял он, что уже СЕЛ. В Санкт-Петербурге. Но — когда?

Доказательством его прибытия больше, чем вид перед глазами, служила эта тросточка. Она была сл о ж е н а! Это была такая старинная трость с откидывающимся плетеным сиденьем для пожилых или больных грудной жабой. Это и был времелет. Верхом на палочке он и прилетел. А теперь она была сложена, и он стоял, на нее опираясь, чтобы не упасть. В сундучке-с находились аппаратура, валюта, смена белья и подложный паспорт на свое собственное имя.

— Пишу, читаю без лампы... — бормотал он, потрясенный.

И шагнул в белую ночь.

Но и следующий его адресок оказался неточен. И сложность его стульчика не показалась ему столь доказательной. Беседуя с коллежским асессором Непушкиным (как на будущей картине Федотова «Утро майора» — в халате, колпаке и с чубуком...), Игорь совсем перестал себе верить.

— Да, да, — гордо сказал майор. — Не Пушкин. К сочинителям, по своему достоинству, никакого отношения не имею. И не только НЕ Пушкин, а Непушкин, фамилия совершенно отличная. И извольте-с выйти вон.

Но одно майор, не разобравшись поначалу, Игорю таки выдал, а именно: нос к носу оказались как раз 23 мая 1836 года.

Игорь не мог быть на него в обиде, хоть и спущенный с лестницы.

Он вышел в белую ночь. И это была та самая белая ночь. В конце Невского была «светла адмиралтейская игла». И опять та самая.

Кто знал сейчас, что будут Лермонтов, Толстой, Достоевский?.. Левочке было восемь, Федору — пятнадцать, Михаилу Юрьевичу — двадцать два. Игорь был их старше. И Пушкин еще жив! И никто не знал. Он, он один!

Он чувствовал себя на вершине времени.

И он радостно шагнул с нее, чувствуя себя Онегиным, Башмачкиным и Макаром Деушкиным одновременно.

Зато в третий раз его спустил с лестницы сам Александр Сергеевич.

«Никифор! Что ты там грохочешь? Наталью Николаевну разбудите!..» — Он тарашил Игорю вслед наигранного гнева веселые глаза. Роженица спала, и новорожденная спала. Он их только покинул и крался в кабинет, спокойный! С такой точностью Игорь как раз и не угадал момент приземления...

«Сделайте одолжение, умоляю, — писал Игорь в своем хлестаковском чердачном нумере, ровно два месяца спустя, — Александр Сергеевич, почтите хоть ответом. Я уж не знаю, как и просить вас. Зачем вы не генерал, не граф, не князь? поверите ли, сто раз не употребишь: Ваше превосходительство! Ваше высокопревосходительство!! Ваше сиятельство!!! Сиятельнейший князь!!!! и выше....., то кажется и просьба слаба, никуда не годна и вовсе слаба...»

Теперь он подделывался под графомана (прилагая, впрочем, не менее как блоковские стихи...), пытаясь (в который раз!) «выйти» на самого Александра Сергеевича. Как незадачливый любовник, вычислял он часы и маршруты, подкрадывался — хоть краешком глаза... мысленно подсаживал под локоток, подавал трость, садился рядом в карету... так он оставался, глядя вслед экипажу, обрызганный грязью из-под колес. Пушкин оборачивался и смеялся. Сколько раз настигал зато его Игорь на Невском, проталкиваясь за ним по книжным лавкам. Старался незаметно, обрел бездну неведомых ему навыков, чем окончательно убедил поэта в том, что он шпион. И впрямь, лучше всего изучил он пушкинскую спину и плешь. Сюртучок у поэта был поношен, и пуговица на хлястике болталась, вот-вот оборвется. Доведенный до отчаяния Игорь как-то притиснулся к нему у книжного лотка и пуговку-то оборвал — тот и не заметил. Единственный и был у него трофей. Игорь пришил пуговку внутрь нагрудного кармана, и сердце его стучало в пушкинскую пуговицу при каждой встрече. А Пушкин продолжал ходить с одной пуговицей. «И пришить некому...» — чуть не плакал Игорь. (Наталью Николаевну он видел уже четырежды: дважды она показалась ему совсем не такой красавицей, один раз ослепила, а в четвертый, самый невзрачный, — он уже влюбился без памяти, но все ж меньше, чем в самого...)

Письмо он отправил, но ответа не получил (да и не ожидал, признаться).

Многому он научился за эти два месяца, много познал!

Во-первых, что бы он ни думал о своем времени (втайне от других и втайне от себя), как бы ни любовался избранными эпохами в прошлом, он автоматически предполагал свое время опережающим времена предшествующие. Он спустился сверху, с форой в три века. Он был на триста лет старше, он знал, находясь среди этих слепых котят, что с ними будет. Верховное звание наблюдателя подготовило в нем заведомые чувства — силы и снисхождения.

Какой там наблюдатель! Вовсе не он смотрел, а на него. Поначалу он все ловил себя на ошибках, своих и подготовки. Их было пропасть, он прибежал для успокоения к ядовитому смешку в адрес знатоков со «Спецкурсов вживания». Как приблизительно оказалось все, что они преподавали! И прежде всего суточные, выданные ему в твердой валюте 30-х годов XIX века (буквально твердой: монеты эти были еще и тяжестью, золотые десятирублевки), — из какого соображения о ценах отсчитаны они были под столь строгую отчетность и расписку? что знали они о соотношении обеда, гостиницы и извозчика?.. Какая каша! Кашу он в основном и ел в трактирах, никак не соответствовавших его костюму и претензиям на знакомство с Александром Сергеевичем. На кашу эту хватило бы ему и на десять лет, но на то, чтобы попытаться сойти хотя бы раз за человека — не хватало и на неделю. Понял он пушкинские затруднения! но в долг ему бы никто не поверил, вот что.

Итак, он снял самую дешевую комнату, ел кашу, хлебал ши, как Хлестаков, и ходил пешком не потому, что у него не было денег, а потому, что они могли всерьез понадобиться, а взять... «Откуда взять-то!» — вскипал он на лектора по финансам, рассуждавшего о дешевизне ТОЙ жизни. И деньги — они здесь такими новенькими не бывали... на них косились, а на него и так косились, но на зуб — сходило: золото! А эта профессорская убежденность в точности отдельных деталей костюма, произношения, манер!.. Как раз чем точнее оказывалась угаданная в прошлом деталь, тем и подозрительнее. Шов был не тот! На Игоре застревал взгляд так, что первое время он беспрестанно себя осматривал: застегнут ли, не измазался ли... Но взгляд этот недоуменный ничего, кроме недоумения, не выражал: все так, но что же не так? Ей-богу, спустись он в чем был, меньше бы привлекал внимания. Голос его не так звучал, слова... профессор фонетики преподавал ему произношение по церковным службам, а он выдавал себя за дворянина! В общем,

проколов была бездна, но губили, как он с удивлением потом понял, не проколы, а как раз совпадения, как раз точность. Точность торчала. Точным бывает лишь все, а не кое-что. Ах, если бы все было кое-как и равно приблизительно! Он бы беды не знал. Выныривал бы чудачком, иностранцем, сумасшедшим... провинциалом. Провинциал! — вот было откровение и спасение. Он был провинциалом в эпохе, а не в пространстве и наконец научился, пообносившись, носить именно эту маску. Ее на него надели и отвели взор.

Нет, это не он смотрел, а его показывали XIX веку.

Странное чувство (даже закон!) — он ожидал зрительного, слухового шока от встречи с прошлым — так ничего такого не было. Он видел лишь цитаты из того, что знал, остальное (все!) складывалось в сплошной и опасный бред совершенно иной и недоступной реальности, будто он посетил не прошлое, а другую планету. Другую цивилизацию... «А что, ведь это так и есть...» — догадывался он. Реальность сплошная, как забор с кое-где вывалившимися сучочками. Прикинешь — а там картинка, еще из школьного учебника, ее-то ты и знал. Разве что можешь сказать: своими глазами видел... Что от того Кремлю или Пизанской башне? Прошлое, в которое он попал, было сплошное и неведомое, как и для прошлого тот его настоящий день, из которого он вылетел. Оно оказалось для него и более неведомым. Прошлое было НАСТОЯЩИМ со всеми его закономерностями. Пришелец его не предопределял.

И он начал жить в этом времени, хуже других, одиноко, неумело и неуютно, но — жить. И с этого момента он становился обладателем бесценного и уникального опыта, который был ни к чему ни здесь, ни там. Там от него требовались пленки и слайды, но не этот опыт — здесь и пленки были ни к чему. Здесь от него НИЧЕГО не было нужно. Он понял, что отсутствует в этом веке, так же как отсутствовал в нем и до прилета. Удивительное это чувство абсолютного одиночества и заброшенности одарило его (впрочем, не сейчас — одарит еще однажды...) и удивительным счастьем, равным отчаянию: никому не ведомым на земле ни в какие времена чувством ПОЛНОЙ свободы. Его, Игоря, не стало.

Пушкин и Петербург заполнили его, и — хватило. Он лежал целыми днями на унылой своей койке и мысленно проживал пушкинский день в точь так, как и Пушкин (он вспомнил, что в каких-то поздних воспоминаниях о нем читал

его признание, что когда он влюблен, то не расстается с предметом своей любви ни на секунду: садясь в экипаж, мысленно подсаживает свою даму и садится рядом: гуляя, срывает ей цветок, подает упавший платок...): ехал с ним во дворец, забывал треуголку, возвращался за треуголкой... возвращался за полночь, проиграв или выиграв, целовал Наталью Николаевну в лоб, она с ног валилась... проходил в кабинет, звал Никифора, а тот уже знал, нес ему полный графин лимонаду... начинал Пушкин как бы нехотя рыться в рукописях: ни за эту и ни за ту не брался... Ведь Игорь все это ЗНАЛ, он все это изучил и любил, и теперь — каким же смыслом наполнялось все это, отрывочное, от параллельности (полчаса пешком) пушкинского живого существования! Он слышал за стенкой своего номера пушкинские вздохи и шаги.

Или бродил целыми днями по Петербургу, отыскивая НЕпушкинские места, где он НЕ ходил, НЕ бывал, где еще что-нибудь построят ПОСЛЕ него, — и тогда, соскучившись, возвращался в Петербург ПУШКИНСКИЙ, как будто вновь прилетал. Вневременность его, как, впрочем, и самого Петербурга (вот город-пришелец!), будто проступила в чертах Игоря, на него вновь стали оглядываться, но — иначе: кто-то здесь только что был? Никого. Он стал тенью Петербурга, слился. Тут и ожидал его успех, там, где не ждал и не надеялся. Успех ведь тоже хочет дожидаться...

Он решительно поразил одно воображение. Павел Петрович Вяземский... да, да! тот самый... сын друга... «Душа моя Павел»... как много про него знал Игорь, пока тот про него — ничего! Именно тот, кого Пушкин учил в карты, с кем гулял...

У Игоря зашевелились волосы, когда ему САМ представился, со множеством извинений, этот милый молодой человек. У меня шевелятся и ползают листки рукописи от множества бабочек, налетевших на мой свет. Когда кончается страница и удовлетворенно переворачиваю ее текстом вниз, чтобы, не дай Бог, не ужаснуться написанному и мочь продолжить... то кладу я ее на предыдущую, уже усиженную полдюжиной бабочек — они спят, но, покрытые страницей, начинают ползать, и рукописи мои шевелятся, к моему ужасу и восторгу. Три изумрудных вроде комарика ползают, тарашась хоть и микроскопическими, но на редкость отчетливыми глазками, по черновику; крошечный жук в ядовитую, как мухомор, крапинку упал на лист с устрашающим стуком... кто скажет, из какого времени они? Вы ничего не найдете в ушедшей эпохе, кроме того, что она вам сама оставила. Вы из

этого-то найдете не все. Человечество тоже живет своей частью жизнью, скрытой от глаз посторонних, — это и есть история. Она недоступна. Поглядывать в эпоху — опоздали-с. Иначе зачем же так тщательно писать дневники и письма, забывать их пыльные связки на чердаках и в чуланчиках, как не в расчете на Игоря? И Павел Вяземский напишет свои дневники, и в них — ни слова об Игоре.

Он прямо-таки неприлично для светского человека вцепился в Игоря, по-юношески влюбился как в старшего, в его воплощение, в его петербургскую тень. Всюду таскал за собой... Всем представлял. Муханову, тому самому, кому Пушкин первому свой «Памятник» прочтет... и Муханов не заподозрил, расположился... И впрямь Игорь стал знаток. Именно утаивая свое знание будущего, он как-то особенно умел прикоснуться к настоящему. Он стал то, что называлось поэт, как говорилось про человека, который необязательно стихи пишет. Поэты ведь тоже зрят будущее. Но вперед — не назад. Игорь был непишущий поэт. И в этом качестве — значительным, внушал большое... Павлуша охотно исповедовался Игорю: как тот умел слушать, выжидая в своем ухе, как в засаде, что-нибудь про Пушкина, но никогда уже не задавая вопросов... Павлуша доверял ему свои сердечные и фамильные, и про университет, и про научные планы... ни слова о Пушкине!

И вот свершилось! Он сидел на квартире Муханова, ждал Пашу; лакей доложил о Пушкине.

— Опять! — сказал Муханов с мягкой досадой.

Александр Сергеевич не ожидал постороннего. Взгляд его скользнул по Игорю косо. Игорь был представлен и от многоти того, что хотел бы вложить в первую же фразу, что-то лепетнул почти односложное.

Александр Сергеевич зацепил его взглядом чуть более пристально, приколол, как бабочку. Однако, показалось, Игоря не признал (тот давно уже его не преследовал по пятам и изменился, как мы говорили). Тут же уселся около вазы с виноградом и стал быстро-быстро его шипать, виноградину за виноградиной, цепляя своими огромными ногтями, более походившими на когти. Игорь второй раз видел, как он ест, и второй раз он ел фрукты. «Нет, он не похож на обезьяну...» — тупо подумал Игорь, сердце которого почему-то сжималось от некоего чувства неоправимости.

Между виноградинами поэт поинтересовался, о чем преврал беседу. Узнав, что речь у них шла о недавнем открытии обитаемости Луны, он очень развеселился.

— И вы в это верите? — спросил он именно Игоря, напирая на это «вы» и до странности пристально вглядываясь ему в глаза.

— Я — нет, — сдавленно ответил Игорь.

— Еще бы! — непонятно сказал Александр Сергеевич и стал по-своему доказывать, почему она не может быть обитаема. Человеку из XXI века особенно восхитительно было это слушать. — Дерзкий пух, — заключил он. — Отважная выдумка. А не сыграть ли? Ведь нас трое.

Игорь замямлил, что плохо играет, но не мог сопротивляться уговорам кумира. Муханов вышел распорядиться: свечи, карты, кофий...

Возникло неловкое молчание.

— Значит, необитаема? — спросил Александр Сергеевич.

— Лет через двести она, наверно, будет заселена... — как мог уклончиво отвечал Игорь.

— Что, на Земле уже не хватит места?

— Не будет, — сказал Игорь и испугался.

— Так, значит, у вас уже есть бальзам от любой раны? — спросил он внезапно, как выстрелил.

— Бальзам? Какой бальзам... — лепетал Игорь, тут же догадываясь, что писал в самом первом письме о пенициллине, который может спасти от воспаления брюшины.

— Ведь это вы мне писали, что вы из будущего?

«Вот он, момент! Гений...» — устало подумал Игорь.

— Нет, — сказал Игорь. — Я не писал.

— Ах да, простите... — Александр Сергеевич заскучал и снова принялся за виноград. Виноградины напоминали его ногти, а ногти — виноградины... — Но вы мне писали про свои стихи? Ведь так?

Отступать было некуда.

— Так, я писал, — согласился Игорь. У него вспыхнула надежда на Блока. Не мог же ОН не оценить...

— Весьма любопытные грамматические ошибки, — одобрительно сказал поэт.

— А стихи?

— Там были стихи? — искренне удивился Александр Сергеевич. — Жаль. Кто же посылает стихи вместе с письмом?

Игорю опять показалось все в глубоком уменьшении и удалении. В бесконечной дали веков поглощал гений свой виноград... А Игорь опять будто раскатывал блестящий шарик по ладони, как собственную голову...

— А что в ваш век думают про рога?

Александр Сергеевич снова будто вовсе не ел винограда, а все время пристально смотрел на Игоря и был будто в белом халате, так серебрилось все перед взглядом, в дымке, кроме его глаз...

Боже мой! он же ВСЕ знает!.. УЖЕ знает. И про меня, и про себя... Рога!

Оказывается, последнее слово он уже произнес вслух:

— Рога... — И, зная наперед всю эту историю, пытаясь уйти в сторону, обогнуть, он уже говорил и каждый раз слышал, что сказал, ровно на фразу позже произнесения, словно, как репродуктор, был сам от себя отнесен на расстояние стадиона. — Как сказать... Во всяком случае, биологи не в состоянии объяснить их одной лишь природной целесообразностью, как одно лишь средство защиты и нападения. Они избыточны и неудобны. Они чересчур разнообразны и витиеваты, без какой-либо надобности, кроме как украшения...

Александр Сергеевич внимательно рассматривал свой бесконечный ноготь. Игорь смешался еще больше.

— Вот и ваш знаменитый ноготь, и кольца... — лепетал он, зажмуриваясь и прыгая в бездну. — Это тоже можно отчасти отнести... Ноготь и рог имеют одно строение. Это вторичные мужские признаки... Хвост павлина, фазана...

Он смолк.

— Забавно. Продолжайте.

Игорь открыл глаза и увидел Александра Сергеевича неожиданно близко — лицо к лицу. На него смотрел негр.

— Я, впрочем, филолог. Я не в курсе, — вдавливаясь в кресло, отодвигался Игорь. — Мне даже ближе точка зрения не вполне научная... — И дальше продолжал, захлебываясь, засасываемый трясинной собственной речи: — Что избыток этот — рога, — в его разнообразии, есть еще одно опровержение теории естественного отбора в пользу сотворенности мира, в пользу Творца. Это он как художник, любящий своим творением, нарушил скучную целесообразность и украсил... прекрасными рогами...

Он ждал пощечины, и ее не последовало.

Над ним стоял Муханов со свечой и колодой...

— Вы что-то сказали?

Александра Сергеевича не было.

— Ушел, — сказал Муханов. — Добрый малый. Но часто весьма.

...И Павлуша прекратился, как обрезали. Несколько раз не заставал его Игорь, хотя до того он всегда сам Игоря находил.

При встрече на улице Муханов едва раскланялся и явно уклонился от разговора. Игорь понял. Он не мог сердиться на Александра Сергеевича за то, что тот наговорил Павлуше, оберегая младшенького... А ЧТО Муханов?! Господи, пыль с его сапог... дышать одним воздухом... видеть издали... Шпион, сумасшедший, графоман... что такого?

Игорь дожил с ним до конца. Не так много уже оставалось. Он еще пытался вмешаться — преградил дорогу Наталье Николаевне, пытаюсь предотвратить роковое свидание у Идалии Полетики... И только напугал бедную, она не разобрала его горячечной речи, тут же вынырнул, как из-под земли, спортивный поджарый полковник и смело и обеспеченно дал продрогшему и обношенному Игорю в челюсть. И когда Игорь пришел в себя, то и признал в прохаживающемся на страже у подъезда полковнике — будущего ее мужа... Как же он ненавидел Ланского! Сторожить свидание с Дантесом, своим подчиненным, чтобы через двенадцать лет просить руки Натальи Николаевны...

Не агент ли сам Муханов из еще более далекой эпохи? Игорь уже бредил. Ланской — не агент ли?.. уже из двадцать второго.

Игорь очнулся через две недели, провалявшись на своем чердаке в тяжелой лихорадке и беспамятстве. Выжил. Все было кончено. Не он бросился под сани, мчавшиеся на дуэль, не он выбил пистолет из руки Дантеса, не он толпился с народом у квартиры и Конюшенной церкви, не он... Тройка с А. И. Тургеневым и гробом умчала без него... только снег завился. Игорь было погнался... но — видно, еще в бреду — почему-то закружил вокруг Лицея и чуть не попал под первый паровоз, выехавший на него прямо из Пушкинской смерти.

Он не мог, что его больше не было. Без Пушкина и его самого больше не было. И, задолжав бесконечно хозяину и докторам, он расставил свой стульчик, то есть сел верхом на свою палочку...

Он здраво рассудил, что Пушкин тогда еще его не знал. И там он был все еще жив!

И он пустился вспять, в ТУДА, в ТОГДА.

Вооруженный опытом тридцать шестого года, подкрадывался он теперь наверняка, нацелив объектив и микрофон к высшему, как он исчислил, мгновению... а там — будь что будет! Он шел напролом, как лось, сквозь осеннюю рощу.

С печальным шумом обнажалась... Ложился... на поля... туман. Все было так. Он шел напрямик, шурша по строчкам, как по листьям. Ничего не видел. Длинная его фигура выныривала из тумана, меж стогов, и пропадала в нем. Он олицетворял себя с этими клочьями, листьями, кочками... Впереди слабо светилось окно. Там, за ним, писался сейчас «Медный всадник»!

Отвыкнув от себя, от своего тела, которого давно не чувствовал, он не боялся быть замеченным. От нетерпения он прямо приник к окну: вот оно!..

Да, горела свеча... да, лежал в крошечной коечке человек и что-то так стремительно писал, будто просто делал вид, будто проводил волнистую линию за линией, как младенец... Как причудливо он был одет! В женской кофте, ночном колпаке, обмотанный шарфом... Но это был не Пушкин! Младенец был бородат и время от времени свою бородку оглаживал и охаживал, а потом снова проводил свою волнистую линию по бумаге.

Теряя рассудок, Игорь постучал в окно прежде, чем понял, что делает.

В исподнем, накинув тулуп, бородач вышел на крыльцо, прикрывая свечу ладонью. Вот это был портрет! Это был бородатый Пушкин! Странно колебались по лицу снизу вверх от свечи тени.

— Кто здесь?

— Это я, — по-детски сказал Игорь.

Свеча описала полукруг, Пушкин пропал в ночи, Игорь зажмурился от света.

Оба молчали.

— Бедный... — с невыразимой болью и состраданием сказал из тьмы бородач. — Бедный... Не дай мне Бог... — И вдруг что-то сильное и легкое прикоснулось одновременно к его голове и руке. Ладонь скользнула по лицу. Какая она была горячая горячая и сухая! Мокрая!.. Пушкин утер ему слезы, которых он не чувствовал, стремительно повернулся так, что свеча погасла, и хлопнул дверью. Игорь разжал ладонь — в ней лежала золотая монета.

Утром Игорь проснулся в стогу. Вышел к озеру, умылся. Прикосновение к щетине не понравилось ему, и он извлек из сундучка свой несессер. Внимательно разглядывал он свое лицо, которое ночью погладил Пушкин... Всего три года, а как он

постарел! эти седые патлы... И эта безумная бледность, и глаза... «Вот и точная датировка "Не дай мне Бог сойти с ума..."» — ухмыльнулся Игорь.

Так он втянулся в эту погоню. У него была ни с чем не сравнимая возможность поправлять предыдущие ошибки. Он гнался за Пушкиным в глубь его жизни, где тот его не встречал. Странное дело! Чем больше становился его опыт, чем моложе Пушкин и старше он сам (год спустя, то есть на год раньше «Медного всадника», они были уже сверстники!), тем быстрее и ловчее (будто и он становился опытнее) отделялся от него Александр Сергеевич.

Последняя встреча удалась Игорю в 1829 году на будущем Пушкинском перевале. Он хотел улучшить момент, когда Пушкин встретит арбу с Грибоедом. Его иногда охватывало сомнение, так ли оно было на самом деле: слишком уж историческое стечение. Игорь много теперь знал про историю, какая она: не такая.

Он долго решал, когда лучше попытаться заговорить с Александром Сергеевичем: до арбы или после? Решил — до. Потому что если арба и впрямь была, то вряд ли удастся «войти в контакт» после такого потрясения. А если не было, то не все ли равно когда?.. Опытный, он точно все синхронизировал и сложил свой стульчик ровно в тот день и час и на той дороге...

Пушкин ехал на маленькой мохнатой лошадке в сопровождении казака с винтовкой. Игорь опять не сразу признал его — в плаще и широкополой шляпе. Игорь, на этот раз тщательно выбритый и причесанный, подновивший платье, с тросточкой и сундучком — странный странник! — вышел навстречу из-за поворота, спускаясь с перевала в то время, как Александр Сергеевич ехал в гору, то есть медленно. В дороге легче разговаривать; его странный и европейский вид расположил Александра Сергеевича; Игорь выдал себя за путешественника-ботаника из Вены... Все шло как по маслу. Александр Сергеевич поинтересовался ночлегом на пути к Эривани, Ганс Эбель (так назвал себя Игорь) поинтересовался погодой в Тифлисе... Игорь-Ганс стал рассказывать про возраст этих гор, задумав именно так переметнуться к убедительной для Александра Сергеевича версии о возможности временных смещений (сброс, соседство пород)... Он ничем, казалось, не выдал свое знание, что перед ним поэт, что перед ним Пушкин, но взгляд из-под

шляпы неожиданно удлинился, будто устремляясь поверх и вдаль; привычный испуг предыдущих провалов морозом прошел по спине Игоря, и та самая монета, которую в октябре 33-го подал ему поэт, навела его на судорожную мысль. Он извлек из кармана эту монету 33-го года чеканки и протянул Александру Сергеевичу.

— Что это? — рассеянно сказал поэт, по-прежнему глядясь вдаль и поверх.

— Обратите внимание на год!

Пушкин посмотрел с досадою на монету.

— Так ведь сейчас двадцать девятый! — с отчаянием воскликнул Игорь.

— Конечно. Пойдите... — И он пустил коня вскачь. Навстречу арбе.

Арба — была.

И это он спугнул зайца с лежки так, что тот перебежал поэту дорогу в декабре 1825 года...

Странная мысль закралась вдруг в голову к нашему времелечу... А что, если... Нет, быть не может! Однако...

Почти двенадцать лет длится эта погоня. И я уже не собираюсь ее прекратить... Так, значит, так, может... Так он меня УЖЕ видел! Вот отчего он все лучше распознает меня... Тогда, в тридцать шестом, у меня было больше шансов... Я был моложе, неузнаваемей... И здесь, на сугробе, в виду цепочки треугольных следочков, в конце которых, по выражению поэта XX века, «обязательно будет заяц», он разрыдался.

И здесь, на сугробе, отрыдав свое отчаяние, принял он спокойное и окончательное решение так и не вернуться в свой век. «Ну что ж. Дам ему время, пусть подзабудет, — рассуждал он, отважно путая времена. — Не буду тревожить его в ссылке, скоро уж он и вернется. Отправлюсь вспять, в Петербург, поживу там годика три и дождусь его возвращения...»

И мы, всем сердцем сочувствуя герою, не заставим его еще раз не признать поэта в картузе — молодого, хорошенького, в красной рубашончке... Он шагает по сельской дороге и зашвыривает вперед себя знаменитую железную трость: закинет, догонит, подымет. Тренируется, чтобы рука не дрогнула, когда стрелять придется... Сорвался, ах, черт, в кусты... Поэт ползает по траве. В кустах не дышит Игорь, держа палку

эту пресловутую: ах, черт, чуть не прямо в голову попал... Где же она... Господи прости!.. ползает в траве, как жук, никем, кроме Игоря, не наблюдаемый, то есть не наблюдаемый уже никем... как жук в траве, ползает гений, только что отписавший «Цыган».

Так Игорь оказался в Петербурге 1824 года. По дороге, то есть пока он сидел на своей палочке, случился с ним очередной вневременной казус: одежда его распалась, и деньги исчезли — они были моложе 1824 года. Так его ограбило время, как вор на большой дороге, и оказался он голый, с сундучком и тросточкой. И что было ему делать?

Ничего не оставалось, как версии ограбления и придерживаться. В участке обнаружат много несоответствий в показаниях, передадут выше, вплоть до III отделения. Там несоответствиями пренебрегут, зато предложат дружбу.

«Как они, однако, логичны! — думал Игорь. — Обнаружить себя на службе именно в III отделении! Провинциал, на возраст, без состояния, без определенного места жительства...» Ему вдруг стало скучно, он отнесся к предложению вяло и безучастно, почти согласный с ним, как с приговором.

И тут будто ветер, будто вспышка, будто ласточка, будто фалдочка знакомого фрака... «Гений! — восхитился Игорь. — Как он был прав с самого начала! Сразу распознал, что шпион...» Он вспомнил свои первые шаги в 1836 году, и вдруг оттуда, из той неудачи, Пушкин наконец протянул ему руку.

Игорь руку ту ухватил, подтянулся и из ямы выбрался... А Пушкина и след простыл. «Как хорошо! — радостно вышагивал на воле Игорь. — Как бы я ему в глаза посмотрел, когда он вернется в 1826-м!..» Диву давался, что его пронесло. Да и мы, признаться, диву даемся.

Представьте себе не то что конец двадцать первого... современного интеллигента... Как беззащитен!.. что он может, что он умеет, что он даже знает вне круга столько же о том же знающих? Вычтите его из этого круга заслуженной карьеры и опоры, что останется? Ни ремесла, ни состояния.

А он уже совсем по тем временам старичок лет сорока, седой почти. Двенадцать лет! И каких! Так или иначе разделенных с Пушкиным. Дома, в двадцать первом, назначили бы ему инвалидность или какой-нибудь пенсион, как балерине, шахтеру или подводнику, а здесь...

Приобрел-таки трудовую биографию в масштабах нашего начинающего литератора.

Разносчик, конторщик, репортер, переводчик в порту... Ему, столь образованному, почти на три века вперед пришлось наконец-то чему-то поучиться. Как он был горд, когда освоил счеты! А делить и умножать в столбик... Считать ведь приходилось не себе, а хозяину. «Откуда цифра?» — спросит хозяин. Как ему объяснишь, что компьютер не делает ошибок?.. Хозяин хочет сам убедиться. Как музыку, слушал Игорь собственное щелканье костяшками, все более артистичное, и про компьютер забыл с удовольствием. И русский язык его был не лучшим, но и тут он преуспел: говорить на все более и более русском языке было медленным и мучительным удовольствием. И писал он уже почти без ошибок, особое наслаждение испытывая, когда вовремя вспоминал про «ять».

По пушкинским следам он прижился в Коломне, поближе к его прошлому, к его первым квартирам, к его будущей поэме. Такой же домик — «светелку, три окна, крыльцо и дверь» — нашел он, хоть и до службы далеко, зато ближе к хозяйской дочке Наташе, о которой он как бы и не помышлял, но все же домой было возвращаться приятней. Она была угловата и мила — она краснела, он смеялся, и она обязательно спотыкалась, споткнувшись же, непременно выбегала куда-то за печку, за занавеску, на кухню, и Игорь еще долго улыбался, довольный. Он брякнул как-то ей комплимент, что она похожа на свою тетку Ростову, и долго не мог простить себе этот анахронизм. Наташа впала в мучительную ревность к своей предшественнице. Строгая мамаша не обольщалась в той же степени достоинствами дочки и прежде всего его приданым, а потому при всей подозрительности, а может, и благодаря ей, довольно стремительно склонялась к тому, что лучшей партии дочери и не сыскать. Что ж, что немолод и со странностями... Странность была — долгие прогулки по городу и бормотанье: не то напевает, не то сам с собою разговаривает — для песни мало, для речи много. Однако счастье дочери мамаша не так легко вверяла в чужие руки — проследила, куда ходит, к кому. Проследила и успокоилась, никуда и ни к кому. Не пьет, не курит, не посещает... что ж еще? И он бродил, бормоча будущие строки, например, все те же:

И шей горшок, и сам большой...

И усмехался, довольный.

Так он обрел свое скромное, эмигрантское счастье.

И еще вот что: он начал писать.

Нет, не стихи... Стихами при Пушкине не побалуешься. Прозою он писал. То экспедиционный отчет, то мемуары из двадцать первого века, то даже пробовал из современной жизни 20-х годов девятнадцатого. Не хуже уже получалось: вся русская проза была еще в будущем.

Две его заметки были даже в газете напечатаны. Они могли попасться на глаза Пушкину!

Но и тут досадный анахронизм: рассуждая о современном градостроительстве, Михайловский манеж назвал он Зимним стадионом, а Петровскую площадь — даже не Сенатской, а площадью Декабристов...

Так он жил и ждал. Между тем еще ни наводнения, ни восстания.

«Странен без Пушкина Петербург! Будто при нем и был построен. Будто сто лет понадобилось для продолжения его строительства, сто лет от Петра до Пушкина — и снова застучали топоры, завизжали пилы, заскрипели лебедки. Одновременно начали строить все, что казалось нам потом построенным последовательно: и Биржа с пристанью и набережными, и казармы, и конногвардейский манеж, и перестройка Адмиралтейства, и бульвары, и мосты, и Казанский собор, и Исаакиевский, и Троицкий — росли рощами из колонн, но куда быстрее рощ, и уж жилые трех-, четырехэтажные дома — те просто как грибы.

Запомнив Петербург 1836 года, Петербург, из которого Пушкин ушел навсегда, вы бы очень удивились Петербургу в 1824-м, на каких-то двенадцать лет младше: ни здания Сената и Синода, ни сфинксов, ни Александровской колонны, ни тех, ни других Триумфальных ворот, знаменитых львов вдвое меньше... почти ничего из того, что будет когда-нибудь носить его имя: ни Александринки, ни Пушкинского дома. Будто все стремилось поспеть в пушкинскую строку, торопилось блеснуть в его взоре.

Нет! Он мог не умереть! Я же вижу, вижу его живым, садящимся в поезд в том же 1837-м, вижу, как он пряменько так на скамеечке сидит и в окошко поглядывает, и мальчишеский смех рвется из его глаз. «Ему и больно, и смешно...» Проклятый господин Облачкин! Это было 7 января. Я сунул червонец Никифору, он не устоял, сказал, что все сделает.

Я стоял у подъезда, сжимал коробку с пенициллином, сердце выпрыгивало у меня из груди, и перед глазами плавали круги, но необъяснимая уверенность, что на этот раз он меня выслушает, была сильнее страха. И тут этот мальчишка-купчик лет четырнадцати со своей слюнявой тетрадкой, и мимо меня, и прямо к той же двери... Повар ему открыл, а тот ему тетрадку сует. А я уже слышу, что Пушкин спускается, его голос — Никифор меня не подвел... А повар мальчишку выпихивает: Пушкин занят, говорит. И дверь закрыл. Тьфу, черт, думаю, принесла тебя нелегкая — все запутал. Однако мальчишку жалко: шагнул понурый, и личико у него, как фамилия. Ну и поделом, однако, думаю, он и блоковских (моих) стихов читать не стал, что ему облачкинские! Тут дверь распахивается, я возликовал, это Никифор, за мной! А это все тот же Василий... Меня отпихнул, бежит, кричит: «Господин Облачкин! Господин Облачкин! Вернитесь!» Облачкин взлетел, а перед моим носом Василий опять дверь закрыл. Я уж и закоченел совсем, а — ни Пушкина, ни Никифора, ни даже Облачкина. Наконец дверь распахнулась со счастливым Облачкиным в проеме, за ним Никифор смотрит на меня смущенно, плечами пожимает, руками разводит... «В следующий раз, барин», — говорит. Что делать? Я — за Облачкиным. Придушить его готов. Так и так, ему говорю, такой-то и такой-то, тоже поэт, тоже Александру Сергеевичу стихи приносил, да вот ему повезло, а не мне... какой он, мол, спрашиваю, очень строг? «Что вы? — отвечает Облачкин. — Душа! Я уж кому ни носил, никто и не разговаривает, а он так сразу и прочитал тут же тетрадку, и похвалил, и еще, если напишу, приносить велел». Не утерпел я. «Покажите!» — говорю. Он, окрыленный, охотно мне тетрадку отдал. Смотрю: это же надо! Ну ничего, ничегошеньки просто в его виршах нет! И чтобы сам Пушкин... «А что же он вам еще сказал?» — домогаюсь я. «Спросил, сколько лет, да богат ли батюшка, да своя ли у меня фамилия...» — «То есть как, своя ли?» — «Ну, не псевдоним ли я такой выбрал...» — «Ну?» — «Ну и я говорю, что своя, совсем своя. А он просто так обрадовался, начал меня щекотать, тискать и хвалить. Молодец, говорит». Что поделывать, гений! Что ему мой пенициллин, когда по земле мальчишки-поэты такие фамилии носить могут...

Нравится мне здесь его поджидать. Все так медленно, а — быстро! И все время — что-то. А там, у нас, все быстро, а — ничего. За двенадцать лет, что я в Петербурге не был, сколько еще всего предстоит при Пушкине построить!

И все это будет построено. На все это смотреть можно будет веками и строчки его бормотать! А у нас... И описать-то нечего: ни одной детали, хотя все одни детали. Вон охтенка идет с бидоном, так она в голландском чепце, а у нас — порошковое из отдельного краника со счетчиком льется — и краник не из металла, и счетчик электронный. Вон санки проехали, так у них и полозья скрипят, и из-под хвоста лошади конские дымящиеся яблоки сыплются, и у ямщика что кушак, что морда краснее некуда, а у нас — залез в прозрачную скорлупу, сложился втрое, как зародыш, телефонный номер набрал, кнопку нажал, и никто тебе даже «алло» не скажет, а — в ту же секунду сидишь ты напротив абонента за четыреста тысяч километров, и он тебе искусственный аперитив предлагает, который прикрепляется, как клипса в нос, и балдей, если можешь, вот уж «неалло» так «неалло»... У них — так я сейчас, от обиды на Облачкина, в трактир зайду, и меня «человек» обслужит, человек — это у них презрительно почти звучит, потому что не господин, а человек всего лишь, а для меня то, что мне не механическая рука мечет, то, что таракан и муха, только что живые, в тарелке плавать могут, что человек живой и салфетка его грязнее улицы — все это одно счастье и умиление. И метры здесь не квадратные, а спальные, да гостиные, да столовые. И нет всех этих кишок, трубочек и проводочков, гарантирующих нам жизнеобеспечение: воду, воздух, тепло, свет, связь, информацию... как умирающий в реанимации — отключи проводки, и где ты, человек? А тут: эй, человек! что там у тебя есть? Ну, хотя бы и лимонаду...

Как медленно все тогда строилось, как быстро! И все это оставалось вплоть до нас, никуда не девалось. Примитивны орудия, и труд почти рабский. Соображения инженерные будто бы скудны, средства технические безнадежны... Отчего же так хорошо получалось? Лучше, чем потом, со всеми нашими ухищрениями? Рука была умна, и ум был ручной. И не было движения бездумного, и не было мысли незаботливой. Нет, не пойму пока...

Вот кого я еще не прощаю — так это Брюллова! Ну что ему было картинку ту Александру Сергеевичу не подарить... Тоже мне Рубенс, европеец надутый! Ведь Александр Сергеевич даже на колени вставал, пусть в шутку, но искренне, но вставал... а тот: потом, мол, подарю. А ему три дня жизни всего оставалось. Главное, потом еще и домой к нему пришел. Александр Сергеевич ему детушек сонных выносит, хвалится, а тот: ну чего ты, спрашивается, женился? Грустно вдруг стало Алек-

сандру Сергеевичу, скучно. Да так, говорит, за границу не пустили, вот и женился. А тот из-за границы всю жизнь не вылезал, и женат не был, и детей не имел — и ни шутки, ни грусти его не понял.

А ведь правильно не подарил! Потому что откуда же знал, что тот погибнуть может. И ехал бы живой Александр Сергеевич в том первом поезде из Петербурга в Москву и картинку свою, подаренную Брюлловым, увозил с собою...»

«Так он писал темно и вяло...» Здесь бы и должна была начаться повесть о бедном нашем Игоре, коли уж он решил здесь жить... Здесь бы и начать, да уж больно некогда. Срок авторского пребывания в деревне решительно подходит к концу, так неужели опять не допишу ничего до конца? К тому же под рукой никаких источников — не только по Петербургу пушкинского времени, а даже и просто томика самого Пушкина нет. Нет под рукой источников в деревне, но и обычных источников в деревне нет. Ни озера, ни речки, ни колодца, хотя с неба льет не переставая: сена так и не просушить. Источников нет — прудики копаем. В глине вода стоит, никуда не уходит — из прудиков ведрами черпаем, в дом носим. В доме тепло. Если печь протопить. А если не топить, то холодно. И если воды не принести, то ее не будет. И идти за ней — по дождю и глине. Глины по пуду на сапог, и скользко. И свет отключился, а трансформаторная будка — через все поле. Далеко, и по тому же дождю. Из трех наших домов все в окошки поглядывают: кто пойдет, а никто пока не идет. Свечки зажгли в окошках, и я зажег. Мысли автора и героя начинают пересекаться: прав он про реанимацию... Пусть и не столь совершенна наша техника по сравнению с его будущей, а и я там, в столице, пусть кривыми, ржавыми да грубыми, но кишками к общей жизни, без которой мне и дня не прожить, подключен — к батарее, унитазу, телевизору... о шнуры спотыкаюсь. А если, не дай Бог, то, чем Чистяков давеча грозил? По телевизору комментатор грозит — раз грозит, два грозит, привыкаем. Не страшно. Не угроза это, а «обстановка в мире», вроде мебели: там Англия стоит, тут Зимбабве бурлит, здесь бомба висит... А отключи меня... Да что говорить, тут однажды не то чтобы горячую воду отключили временно, тут однажды из обоих кранов кипятки пошел... три дня рук не помоешь, не то что лица не сполоснешь. В городе — страшно, если без телевизора да чистяковские

мысли думать. А здесь, в деревне, не так страшно. Потому что отключать не от чего. Потому что здесь война уже будто и была. В соседней деревне Турлыково на днях последний житель погиб. Ехал в кузове, грузовик перевернулся, и на него ящик с гвоздями... Был я в той деревне. Красивая деревня, много красивее нашей, как и название ее. Сама — на холме, вокруг — луга, вокруг лугов лес — высится деревенька над нашей, как храм Божий. И жила она лучше нашей, видимо. Потому что и колодцы есть, и окна резными наличниками украшены. Значит, было время не только на прокорм, а и на удобство, и на красоту — признак крестьянской цивилизации! Дома стоят почти целые, вселяйся и живи, ну, подремонтируй слегка и живи — а только жить некому. Я в дом один вошел: в буфетике — и стаканы, и ложки, не то чтобы ценные, но годные, а в шкафу — даже платье на плечиках висит. Инвентарь подобрать можно: ножовку хорошую, или молоток, или косу... Будто бежали отсюда наспех, будто от проказы или будто нейтронную бомбу именно здесь испытали. Суровый здесь, конечно, край: ни климата, ни почвы — север да глина. Вода все время с неба, вода и вода. Дорог, конечно, нет. Но ведь жили же! Не одно поколение, если уже наличники вырезать стали... В какое время сбежали они? В завтрашнее.

Они сбежали, а я чего здесь делаю? А я здесь пытаюсь сделать вещь, хоть какую, хоть такую, потому что там, откуда я, уже никакой вещи не сделаешь из-за **связи с миром**, не с делом, а со всем миром, с теле-миром: -фоном и -визором. Деталь там живая не водится.

Корова мычит сейчас, и трава растет сейчас, и дождь льет сейчас, и делать что-то нужно именно сейчас. Не вчера и не завтра. Если поставить времени запруду, пытаюсь задержать прошлое или накопить будущее, то вас затопит через крошечную дырочку под названием «сейчас», и вы захлебнетесь в потоке настоящего.

Игорь, конечно, знал про наводнение. Но к этому историческому отрезку его специально не готовили, планируя его пребывание лишь в 1836 году. Он знал, что осенью, что в этом году, что больше всего пострадают Гавань, Васильевский остров, Петроградская сторона... Зато они и жили в Коломне, которая, он не помнил, чтобы так уж пострадала. А в Гавани

он работал, следовательно, первым встретит наводнение и успеет принять меры для безопасности будущего семейства. К тому же он расписался, у него пошло, повесть из современной петербургской жизни веяла свежестью пришельца и знанием постояльца. Временами ему казалось, что ее и Пушкин будет не стыдно показать. Правда, лишь временами... Вспоминая про грядущее наводнение, он бормотал бессмертные строки будущего «Медного всадника», словно полагая его чем-то вроде путеводителя в приближающемся испытании.

День 6 ноября был дрянной, хлестал дождь, дул пронизательный ветер, вода значительно возвысилась в Неве. Вечером на Адмиралтейской башне зажгли сигнальные огни, предупреждая жителей от наводнения. Однако почивали все мирно, и Игорь уснул, уронив утружденную голову на рукопись. С рассветом он поспешил на службу — полтора часа быстрого ходу не шутка. Стихия разыгралась против вчерашнего, волны разбивались о гранитные набережные, вставая стеной брызг; вода из решеток подземных труб била фонтанами, собирая вокруг себя любопытных. Игорь шел навстречу стихии и не боялся потому, что все дорогое оставалось в тылу: и Наташа, и рукопись. По Исаакиевскому мосту он перебрался на ту сторону Невы, идти становилось все труднее, порывы ветра сдували с ног, но Игорь шел настойчиво, будто этим защищал все то, что оставлял за спиною, и вдруг тою же спиною понял, что это не угроза наводнения и даже не день, ему предшествующий, — а вот оно само и есть. Вдруг необозримое пространство перед ним оказалось кипящею пучиною. Над нею ключьями носился туман из брызг, волны разрывались на острые куски вихрями, как ножами, и так летели острыми, треугольными обломками, будто утрачивая свойства жидкости. Кареты и дрожки плыли по воде, спасаясь на высоких мостках, как на островках. И тут он увидел огромную барку, несущуюся прямо на него; она пронеслась, однако, мимо и врезалась в кирпичный дом, который обрушился от столкновения.

Полузахлебнувшегося Игоря подобрали в волнах. Бот принадлежал английскому торговому судну, на борту которого Игорь побывал накануне по служебному делу. Он узнал шкипера. «Там ад, — сказал ему шкипер по-английски, тыча большим пальцем за спину. — Большие суда носятся между домами, крушат их и сами рассыпаются в щепы». — «Да, одно

я видел», — согласился с ним Игорь. Какое-то бесчувствие охватило его. Он теперь так же стремился обратно, как поутру — вперед. Части разорванного Исаакиевского моста неслись навстречу, а один обломок чуть не опрокинул их бот. Разъяренные волны свирепствовали и на Дворцовой площади, и Невский проспект превратился в широкую реку, но бедствие на Адмиралтейской стороне все же не было столь ужасным, и это слегка успокоило Игоря. В середине дня вода начала сбывать; к вечеру на улицах уже появились первые экипажи, и к полуночи Игорь добрался пешком до своего дома.

На месте своего дома он обнаружил пароход огромной величины. На борту его прилепился листок, вроде объявления. Машинально он отлепил его... Все строчки были размыты, но какой же автор не узнает лист своей рукописи в лицо! Волны, ветер, обломки, Кумир с занесенным победным копытом... «Он же сейчас в Михайловском! Откуда он все знал?..» — в ужасе забормотал Игорь, опять внутри пронесся ветерок, и будто завернулась фалдочка чьего-то фрака, и вспышка, вроде молнии, полыхнула перед глазами, в последний раз осветив черную громаду парохода и размытые строки Игоревой рукописи. Игорь захохотал и побежал, обезумев, как Евгений, бормоча строки будущей пушкинской поэмы, как заклинание. За ним гнался автор поэмы, ветер трепал его бронзовую пелерину... Но живого Пушкина здесь быть не могло, тем более и бронзового — ни опекушинского, ни аникушинского... «Да ведь и сам «Памятник» еще не написан!» История вышла из берегов, как Нева, и захлестнула Игоря с головой... Он прятался от Пушкина за церковь Покрова, мелко и неумело крестясь.

Здесь его и подобрали, израсходовав внеочередной миллиард миллиардов на спасательную экспедицию. Здесь, в центре Коломны, но — в наше с вами время: мокрый насквозь, под ясным небом, он топтался около архитектурного сооружения с буквами «М» и «Ж» на месте бывшей церкви, в отчаянии сжимая обломки своей тросточки...

Там он и сидит, кончая свой двадцать первый...

За окном, в черном космосе, шелестит великое трехсотлетие; спутники развешаны, как гирлянды на новогодней елке; праздничные шутихи перелетают от спутника к спутнику, искрами осыпаясь в пропасть остального мироздания.

Палата его тиха и отдельна, но он и так ничего не слышит: времена спутались в его голове, в ней, бедной, не прекращается погоня будущего за прошлым: он гонится за Евгением, Евгений за Пушкиным, Пушкин за Петром. Потом они бегут в обратную сторону — все гонятся за ним, и тогда ему страшно. За окном космические физкультурники в индивидуальных скафандрах с прожекторами во лбу исполняют в акробатическом полете горящую цифру 300. Игорь бормочет, как Германн — тройку, семерку, туза, перебирая теперь уже такие древние строки:

Дар напрасный, дар случайный...
Посадят на цепь, как зверка...
Похоронили ради Бога...

Он сжимает и разжимает кулак, в котором — пуговица. Он жалобно плачет, бьется и воеет, если пытаются ее отнять. Ее ему оставляют, и он — спокоен. Его счастье — они не догадываются, что она — подлинная!

Все больше бессилие овладевает автором на его чердаке. Если бы автор видел, до чего похоже его жилище на его собственную попытку описать будущий мир! Дождь перестал, и небо очистилось. Ночь глуха, и нет путника, чтобы увидеть, как чердак автора висит в ночи, подвешенный на гвоздиках света из щелей и дырочек, будто небо на звездах. Кажется, что занимается там пожар. Или дотлевет.

Слайды Игоря проявили, пленки прослушали... Подтвердили диагноз. Нет, Игоря не в чем было упрекнуть: он не засветил и не стер. Но — только тень, как крыло птицы, вспархивающей перед объективом, и получилась. Поражала, однако, необыкновенная, бессмысленная красота отдельных снимков, особенно в соотношении с записями безумного времелетчика: буря, предшествовавшая облачку, глядя на которое поэту пришла строчка «Последняя туча рассеянной бури...»; молодой лесок, тот самый, который — «Здравствуй, племя, младое, незнакомое...»; портрет повара Василия, захлопывающего дверь; замечательный портрет зайца на снегу: в стойке, уши торчком, передние лапки поджаты; арба, запряженная буйволами, затянута брезентом, вокруг гарцующие абреки; рука со свечой и кусок чьей-то бороды; волны, несущие гробы... и дальше все — вода и волны.

И пленки: шорохи, трески, мольбы самого времелетчика, чье-то бормотанье, будто голос на другой частоте или магни-

тофон не на той скорости, и вдруг — отчетливо, визгливо и высоко: «Никифор! Сколько раз тебе говорил: ЭТОГО не пускать!»

И здесь мы ставим точку, как памятник, — памятник самой беззаветной и безответной любви.

И обнаруживаем себя, слава Богу, в своем, в собственном времени. НАШЕ время (мое и ваше): под утро 25 августа 1985 года.

БИТВА

И поэзия приводила их в такое упоение, что они стали усматривать в случайно попавшихся стихах великие примеры будущей судьбы.

Таким образом, действительно, ни философ, ни историограф не могли бы поначалу проникнуть в крепость народных суждений, если бы великая поэзия не распахивала ворота.

Защита поэзии, 1580¹

1. ОТ А ДО ИЖИЦЫ

Ничего более русского, чем язык, у нас нет. Мы пользуемся им так же естественно, как пьем или дышим. В глубине двадцатого века, в которой мы находимся, слово «пользоваться» становится все более безнравственным, если не преступным. Воздухом равно дышат люди бедные и богатые, разных убеждений, возрастов, национальностей и вероисповеданий. Бесплатность его никогда не обсуждалась до нашего времени. Но и воздух оказался не бесплатен в перспективе. Сознание современного человека трещит, осложненное теперь и экологическими проблемами. Но перестроиться все еще не может. Воздух, вода, земля... какой бесполезной вещью может оказаться однажды бриллиант!

Язык — тот же океан. Как бы ни были обширны и глубоки и тот и другой, в них очень трудно добавить хоть каплю, хоть слово. Всего этого столько, сколько есть. Но — не больше. Сказать новое слово так трудно, что в чрезвычайную заслугу это ставится недаром. Огромное число понятий в нашем мире не оказались достаточно важными, чтобы получить имя и войти в словарь. Хотя в самой жизни они, немые и безымянные, очерчивают собой сферы и сферочки достаточно от-

¹ Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980. С. 135—136.

четливые. Не названные одним словом, они могут быть определены лишь системой других слов. Даже статьи, даже целой книги может оказаться едва достаточно для определения нового понятия. Казалось бы, чрезвычайно неэкономно тратить много слов вместо введения нового, но одного знака, заменяющего, быть может, тонны бумаги. Однако пробиться в словарь — чрезвычайная честь, головокружительная карьера для нового понятия: словарь ревниво охраняет численность своего поголовья.

Это проливает некоторый свет на природу литературы, которая, по сути, является подвижной частью устоявшегося языка, восполняя недостаточность числа словесных символов постоянным формулированием понятий текущей жизни, не оказавшихся настолько старыми или вечными, чтобы попасть в язык. Именно такими новыми, хотя и громоздкими словами являются новые книги и сами писатели: выступает имя собственное, но известное уже всем. Пушкин, Гоголь, Чехов — это уже слова, а не только имена. Им непременно соответствует что-то отчетливое в сознании. Но Пушкин — это еще и целый ряд слов, как-то: «Медный всадник», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; Гоголь — это множество слов, практически все его персонажи: Ноздрев, Акакий Акакиевич и т. д., даже слово «нос», которое есть в языке, расширено словом «нос», существующим у Гоголя, а Чехов — по сравнению с ними одно слово «Чехов», безусловно прекрасное, но одно. Чем больше писатель, тем лучше он понимает невероятную заслугу нового слова. Потому что ввести уже не имя собственное, а слово в словарь — заслуга чрезвычайно лестная. Можно умалчивать о достоинствах собственных произведений, но не проговориться гордо насчет того, что именно тебе принадлежит слово «штушеваться», — не удержаться. О Карамзине уже мало что помнят живого, но с помощью восхищенной зависти писателей известно, что ему принадлежат слова «промышленность» и даже «общественность», — заслуга, ни с чем не сравнимая! Одно дело, какое значение сыграет то или иное произведение для общества и как будет оценено, другое — что втайне, по-чеховому, даже не всегда в сознании, ценят люди пишущие друг в друге (в живописи и музыке больше так называемой «техники», и профессионалы отчетливой ориентируются в заслугах перед гармонией, композицией или цветом и т. д.); люди пишущие могут ощутить такую же заслугу — в языке, стиле, но не в масштабности и значимости произведения. Хотя в конечном счете справедливость устанавливается

и эти заслуги уравниваются. Но существует слово «Зощенко» и все еще не существует слова «Пришвин». Однако и так, что, как бы ни относиться иной раз плохо к поэту Маяковскому, как ни любить поэта Заболоцкого, — слово «Маяковский» есть, слова «Заболоцкий» нет, как нет, впрочем, и слова «Боратынский». Горький стал словом еще и потому, что с маленькой буквы он тоже слово. Необыкновенный таинственный аппарат признания работает через язык, регулируя численность устоявшегося и подвижного языка с необыкновенной точностью, тонкостью и циничным беспристрастием, принципы которого нам не до конца известны. Каким-то образом именно в живой речи взвешивается масштаб, вес, гений, некая не смущенная нравственными или вкусовыми оценками значимость, приводя язык в пропорциональное отношение к живой жизни. Здесь карьеры слов и подвижного запаса имен — абсолютны, как и в жизни. Мертвому слову может быть обеспечено лишь временное официальное положение, но язык неподкупен. Он, правда, может быть засорен и развращен, в него, конечно, насаждается и изгоняется, но эта вода до сих пор способна очищаться, как дышит, хоть и из последних сил, океан, все еще справляясь с мусором человеческим. Он все еще океан, как и язык — все еще язык. Словарь — этот справедливый аналог мира, взятого в статистическом сокращении, где слово «добро» и слово «зло» равны друг другу, а почему-то «Бог» и «Дьявол» не равны. В слове отнюдь не заключено раскрытие его смысла, в нем лишь координаты в пространстве материи и духа. Идеальная иерархия слов, как определил Л. Толстой, чудо пушкинского языка. Выдумать слово можно, нельзя выдумать того, что оно обозначит. Как выводит язык эту общую заслугу предмета, понятия или имени, за которую принимает или не принимает в свои ряды, изгоняет или временно отравляется новым словом, — воистину, тайна сия велика есть.

Про неисчислимое число капель, составляющих океан, с уверенностью можно сказать лишь одно: что оно конечно, что первая капля будет первой и последняя — последней. Даль — это наш Магеллан, переплывший русский язык от А до Ижицы. И было у него первое слово, которое он записал, и было, оказавшееся последним, предсмертное. Представить себе, что это проделал один человек, невозможно, но только так оно и было. В результате этого подвига мы имеем не только четыре великих тома, не только сам словарь, но и новое осознание языка как не безразмерной вещи, а вполне

конкретного, осязаемого организма (живаго...). Даль сумел назвать все известные ему слова одним именем: «Далев словарь» стало новым словом, и обнявшим, и поместившимся в нашем языке и сознании.

И для меня не просто символ, что из писателей пушкинского или послепушкинского поколения у постели умирающего Пушкина находился именно Даль, что именно ему достался простреленный пушкинский сюртук, если пытаться осознать не только пушкинское наследие, но и пушкинское дело, не только место Пушкина в развитии и смене литературных течений и форм, но и его место в самой русской речи, то не кто иной, как Даль, является его преемником и наследником. И если Даль и не гений, как Пушкин, то Дело его гениально, и трудно даже вообразить, кому вообще оно могло быть по плечу и под силу. Вряд ли и он представлял, постепенно втягиваясь из забавы в коллекционерство, из коллекционерства в собирательство, какую непомерную и ни с кем не разделенную миссию взваливает себе на плечи... Никакое представление о научном подвижничестве с этим весом несравнимо. Вглядитесь в его удивительное лицо, попробуйте выделить главенствующее его выражение: вовсе ничего святого и постного — безумная страсть, бешеный темперамент! — только они могли помочь ему довести подобный труд до конца. Великий, первый наш природоохранник... Как поучительно, что тема охраны природы начинается в России с языка!

Даль — слово. Пришвин и Боратынский — тоже, конечно, слова, но как бы более специальные, не всеобщие. Зато Мятлев — уже и не специальное слово, единичное. Скажем, слово «пар» — всеобщее, «конденсация» — почти уже выбилась из терминов в разговорную речь, а «опара», устарев, стала словом специальным. Круговорот слова в словаре... Сколько испарится, сколько выпадет в осадок...

Специалист может иметь перед своими глазами картину мира, совершенно отличную от той, что составлена общепризнанными словами, и ему эта картина будет казаться более истинной, более отражающей. И это скорее всего так и будет. Специалисту будет смешно, отчего слово «синхрофазотрон» более популярно, чем «циклотрон», хотя даже приблизительный смысл обоих слов неспециалисту известен быть не может. Художник может иметь совершенно свою иерархию имен и произведений, в корне не совпадающую с общепринятой, счи-

тать ее обывательской и т. д. В конце концов можно сказать, что истинного значения даже самых важных слов не знает никто, от обывателя до специалиста; такие таинственные, или меняющиеся, или неформулируемые понятия данное слово обнимает или накрывает. Никто толком не скажет, ни что такое красота, ни что такое атом. Для слова в данном случае важно не раскрытие смысла, а определение в пространстве материи или духа. Можно выделяться, кичиться, создавать себе репутацию, хихикать, отделять своих от несвоих, находить себе друзей, подруг, сообщников — все это от подвижности внутри слова, само слово от этих наших упражнений окажется неподвижно, что и существенно.

Стать словом невозможно, словом надо быть, и только в таком случае у него есть шанс на возникновение в языке.

Специалисту известны многие слова, неизвестные неспециалисту, и он определяет с их помощью существование еще новых, которые, немые и невидимые, окружают нас в неразъясной цельности сущего. Специалист делает свою работу. Выдумать слово можно, нельзя выдумать того, что оно обозначит. Значит, чем-то надо быть, чтобы быть названным. Каждый человек, независимо от профессии, еще и специалист в своей жизни. Он накапливает опыт, совпадающий с общеизвестным и принятым, и еще опыт, который можно определить как мучительный, в том смысле, что он не выражен, не определен. Это — есть, знаю где, ощущаю контур, и время, и частоту появления, но не могу описать того характерного признака, который отделил бы «это» от всего другого, и я бы мог продемонстрировать это людям, то есть проверить свою нормальность принадлежностью к ним. Нам надо назвать и вызвать узнавание — единственное подтверждение нашей объективности в определении.

Некое «это» может мучить или не мучить нас, проходя далекой тенью, не признаваемой нами самими за явление нашего опыта. Оно может возникнуть с твердым ощущением, что оно есть, мы станем его узнавать при случае: я видел такие лица, мне известен такой жест, эта линия мне знакома, запах напоминает, слово это я как будто знал, да забыл. Но какое же лицо? что за жест? что обведено линией? что так пахнет? Это может остаться неизвестным. «И не узнаешь никогда» (Л. Добычин). Люди способные могут даже обучиться руководствоваться, использовать этот свой опыт эмпирически: знать, что это лицо ему не нравится и поэтому с ним лучше дела не иметь, не знаясь и т. д. Человек, который научился

узнавать явления, не мучась их формулированием и доказательством, будет удивительно умный человек, поражающий нас своей интуицией, фокусник жизни, талант, он может многого достигнуть, многим воспользоваться. У него огромный немой словарный запас, так бы я сказал. Человек же, мучимый выявлением и донесением этих немых слов, — не достигнет и малой толики умного за счет многих и длительных остановок. Однако за умных людей мы почитаем тех, кто нам объяснил свой ум и своим умом объяснил. Тех же, кто им воспользовался, самых умных, мы знаем лишь в случае столкновения с ними — естественно, тираж мал.

Писатель пишет, то есть тиражирует, то есть долго и немно топочется на месте, — но это его работа. Употребить определенное количество слов, извлеченных из опыта в истинном их значении, и донести свою систему их сочетания, кажущуюся ему всеобщей, до чужого сознания хотя бы в такой мере, чтобы тот воспринял эту систему как частную, — уже задача огромной трудоемкости и сложности, если бы ее выполняла машина. Ее выполняет человек, не обладающий гипертрофией машины, зато связанный некой пуповиной, нитью, нервом с океаническим организмом языка, который, в случае живости (талант) или разработанности этого нерва (мастерство), работает за него, способствуя автору выполнить хотя бы отчасти по сути невыполнимую задачу. Писатель — это человек, который знает каждое слово, какое пишет (пусть их всего десять...).

Тираж того, что я назвал «новым словом» — будь то действительно уже «одно слово», чему-то в жизни соответствующее, или крылатая и краткая система слов, это «одно слово» заменяющая, или целое сочинение, это новое несуществующее слово окружающее и выражающее, или даже целое творчество, многотомье, однако определяющее собою в целом некую систему, которую можно обозначить именем человека, на которого ведется подписка, — тираж этот, по-видимому, не меньше двух экземпляров, в том смысле, что кто-то один воспринимает выраженное в том же точно значении, какое имел в виду автор. Этот минимальный тираж — доказательство не сумасшествия, не абсурда, потому что два одинаковых сумасшествия встретятся с меньшей вероятностью, чем столкнутся два небесных тела. (Я не имею, естественно, в виду тот общий тираж непонимания, который достигает иногда грандиозной цифры, когда все, в силу ажиотажа, рекламы, ложной популярности, в силу некой общественной aberrации, не понимают явления в истинном смысле,

однако принимая его и признавая.) Число «два» в этом случае часто больше доказательство, чем «миллион». Хотя что-то все равно выражено, отражено и этим «миллионом». (Нынешняя популярность поэтов.)

Так что если тираж «два» необходим и достаточен (он недостаточен для сохранения во времени — «рукописи таки сгорают»), то я могу пытаться доказать третьему, что я понял с помощью первого, которого сумел понять. Тут меня могут не понять, хотя я и понял. В какой-то мере я должен провести почти такую же (но нет, конечно, другую! открытие-то сделал тот, первый!) работу, чтобы доказать третьему, что мы оба не сумасшедшие. Я вступаю в добровольцы разрушения непризнанности первого. Причем не его лично. Его лучше и не знать. Нового слова!

Вот нить бессмертия, за которую ухватился пишущий свое новое слово.

2. ЭКОЛОГИЯ СЛОВА

Ни тенденция осовременить литературный язык, ни тенденция реставрировать его по-своему не точны. Язык — таинство естественное и природное. Он вбирает в себя, он исторгает, он сохраняет свою общую, недоступную усилию одного человека цельность, он своим состоянием, даже повергающим кого-то в тревогу и отчаяние, отражает именно современную жизнь много больше, чем способен и самый лучший и славный писатель. Поэтому огорчаться следует тем, что вас огорчило, а не языком, который меняется, нашу жизнь отражая. И усилия нужны прежде всего в жизни, а не в языке. Он не улучшается отдельно. Если естественно было Тургеневу, Толстому, Бунину знать имена (потому что эти замечательные подлинно русские слова стали, за редкостью, именно именами...) птиц, деревьев, трав, то...

А вот и то. Снимали фильм в заповеднике, восхищались чистотой и первозданностью леса... «Браконьерили» потихоньку насчет лисичек (грибов), черники. А лесничий поведал мне; что совсем не так хорош стал лес, как нам кажется. Где муравейники? (А и впрямь, спохватился я, давно что-то их не видел... а сколько их было в детстве, после войны!..) Где мхи и лишайники? Ну, мхи и лишайники были налицо. Однако оказалось, что против тридцати, скажем, видов, положенных здоровому (просто здоровому, а не заповедному) лесу, здесь

их было уже лишь восемнадцать... Количество муравейников, мхов и лишайников — один из основных определителей лесного здоровья. А сколько же их в лесу обычном? А теперь, спустя шесть лет, сколько осталось — в заповедном против тех восемнадцати? Учтите, что все эти мхи и лишайники тоже называются по отдельности словами, не все даже ботаническими — специальными, многие — исконными русскими.

Состояние современного языка — проблема вполне экологическая. Язык не виноват. Если в словаре горожанина почти не осталось имен для живого, кроме самых общих: дерево, куст, трава, птица, — то не в этой ли перспективе мы живем, когда каждый день (день!) на Земле исчезает один вид (вид!) животных, а каждую неделю один вид растений. Дерево, куст, трава, птица — суть не только самые общие слова, они обретут индивидуальность, когда обозначат последнее. Видовое разнообразие живого стремительно тает, впереди этой трагедии отмирают слова, они погибают раньше. Сетовать ли на обеднение словаря или воспринимать его как предупреждение, следующее с опережением, а не хладно констатирующее уже факт? Словарь Даля, наконец переизданный, словарь ЖИВАГО русского языка... Насколько «живаго»? Он есть памятник языку, бывшему при Дале живым. Он противостоит расхожим и пошлым суждениям о том, что в нашем языке не так уж много собственно русских слов (корней). («Назовите хоть одно русское слово на «а»? — «Авось».) Словарь пахаря, охотника, плотника... Умерли-то как раз все русские слова. Но есть еще и лес с деревьями, и луг с травами, встречается и лошадь, вся, от челки до хвоста, состоящая из забытых русских слов, ставших в лучшем случае «специальными». Что ж, мы не живем с лошадью, не живем и в лесу. Несущественные различия марок «Жигулей» нам куда более известны. Они выражены не в словах, а в аббревиатурах и рублях. Слова исчезли из живого языка раньше, чем из жизни, — то, что они означали. Может быть, это заповедно? Нельзя стало рвать ландыш, запрещено торговать на птичьем рынке певчими птицами. Дети наши стали еще ближе, чтобы не знать, как еще мы знаем, их имена. Заповедное — это неизвестное всем, сохраняемое знающими. Словари — область заповедания. Усилие культуры сегодня не столько просвещение, сколько сохранение. Культурность, музейность писательского усилия в слове проявилась в книге В. Белова «Лад», в котором современному читателю объяснены умершие для него слова

как живые. И В. Белов в этой книге — очень современный писатель. Это уже не только ностальгия, это реальное усилие, необходимое нашей жизни.

Словарь можно читать, можно дышать словарем, но вряд ли современный писатель может им пользоваться. Может, это характерно лишь для нашего поколения, может, это усугублено моими личными свойствами, но мое убеждение, что просвещение писателя (тут как важен эпитет — современно-го...) есть прежде всего устное просвещение, а не письменное и тем более не книжное. Я и до сих пор читаю книги, шевеля губами, мысленно — вслух (читаю, как слышу, а пишу, как говорю). И до сих пор обучение наше происходит через ухо, устами учителя и лектора, никак не замененное учебником, который мог бы сочинить наиболее умный и просвещенный из учителей и лекторов. Однако именно более простоватые и далековатые коллеги ученых втолковали каждому из нас то, что мы знаем. Остальное зависело от нас самих, от постижения. Писатель прежде всего человек, который ставит все свои слова, постигнув их смысл. Пусть их будет сто, но ни одного приблизительного. Писатель все-таки пишет смыслами, а не словами. (Рассказывают в Ереване люди, требовательности которых можно доверять, что англоязычный У. Сароян, не изучая армянский язык, а постигнув за время посещения исторической родины сотню важных ему слов, выражал по-армянски очень тонкие, точные и глубокие смыслы.) Ста слов, конечно, маловато, но один из самых богатых по языку прозаиков советского времени — Андрей Платонов, безусловно, не богат по словарю; это для него естественно, но это и вполне осознанно. Один из самых трудных в своих смыслах для чтения, Андрей Платонов выражал эти смыслы самыми «бедными» словами, словами, которые поймет каждый, — смыслы, которые лишь может понять каждый, если взойдет на духовное усилие, которое, увы, не каждый на себя берет. Современную литературу надо читать без словаря — следовательно, и писать без словаря. В пушкинское время (внутри самого Пушкина же) отошли Персефоны и Аониды, хотя вовсе не были бессмысленны для просвещенных авторов, сокращали им путь выражения безотказными моделями. Зияющая рана классического образования во мне, скажем, всегда саднит и никогда не зарастет, но вряд ли я бы мог как современный автор воспользоваться им в прозе иначе, как вырастив пусть и древние смыслы, но на своей почве и своем опыте и лишь тогда постигнув единство многих символов от древности до

наших дней. Как бы ни был образован писатель, он по призванию неуч, впервые подходящий к жизни и опыту. В результате продиранья сквозь попытку выразить он необходимо становится человеком просвещенным, но вряд ли до конца образованным. Я наблюдал примеры шибко образованных людей, бравшихся за перо; как писатели они, если в них было для этого, неизбежно низвергались внутри себя на уровень самоучки. Писатель, по моему разумению, создатель текста, прежде всего полного единства употребленных им слов. Поэтому подспорье записных книжек и словарей кажется мне хотя и полезным человеку-писателю, но вряд ли практически применимым, потому что в текст как в единство ничего не вставишь, и в отдельности найденное удачное выражение, как правило, бывает вытеснено течением естественной речи; сначала «невспомнено», а потом «невставляемо». Жалеть об этом не следует.

Текст всегда располагается на плоскости, но он объектен, в нем с бесконечной частотой и точностью меняется параметр, на бумаге не отраженный, — иерархия слов. В этом третьем измерении каждое слово отрывается от листа, помещается от него на различном расстоянии. То приближаясь, то отлетая вдаль, то приликая к бумаге, оно не просто что-то значит (информация...) — оно живет в контексте этих «расстояний».

Иерархия, порядок слов — не алфавитны. Если бы возможно было составить словарь по иерархии, мы бы писали такими иероглифами, перед которыми померкла бы сложность китайского письма.

Язык, живущий сегодня, в этот час, в этот миг, — это живой, пульсирующий объем, тело, как бы один единый текст, никому в полноте недоступный, непосильный, текст, который завтра изменится, которого не станет. Текст этот — слишком огромен для индивидуального сознания, но он вполне ограничен, не безмерен. Его — столько и такого. Его не успеешь прочесть — его можно лишь уловить как общий гул, а то и общую музыку. В этом смысле живой язык можно уподобить особо сложному музыкальному инструменту, вместилищу в себя самый большой оркестр, — некому немислимому органу, где каждую секунду все слова находятся в живой и трепетной взаимосвязи, соотношении, соподчинении. И, надо полагать, никакой инструмент сам не звучит — он звучит в нашем исполнении. И самый фальшивый или неуместный звук извлечен не в отдельности и частности, а все из того же, каж-

дому доступного, но одного на всех величайшего инструмента. Текст пишущего — часть этой общенациональной речи, крошечное подобие целого, и чем точнее текст, тем точнее он воспроизводит объемную модель современного языка (на другом не сыграешь, другого — не дано), на миллидолю не ошибаясь в «расстоянии» до каждого слова. Именно тогда каждое слово текста звучит в контексте, то есть несет не только так называемую информацию, но и уподобляется самой жизни, ее состоянию. И бесхитростная мелодия, которую предлагает нам современный автор, подразумевает в нем абсолютный слух. Играя свою небольшую музыку, мы играем ее и на всем органе...

Еще и в том дело, что умершее в нашей общей сегодняшней речи слово — не мертво. Как абсолютно жив как книга Далев словарь, как жива речь Шергина, как вечны так давно не переизданные Далевы же «Пословицы русского народа» (вполне современная, вполне настольная книга)... Но вот и еще один словарь, как всякий труд такого рода приветственно раскрываемый ревнителем родной речи, — «Словарь эпитетов русского литературного языка» («Наука», 1979).

Трудно заподозрить составителей в чем-либо, кроме добросовестности. Не знаю, какие у них были методы подсчета употребимости тех или иных слов. Безусловно, методы были. По возможности точные. Научные. Беспристрастные. В длинном столбце эпитетов изредка попадаются в скобочках примечания типа: (*поэт.*) — поэтический, (*шутл.*) — шуточный или (*устар.*) — устаревший. Так вот — устар...

Из двадцати восьми эпитетов к слову ДОМ «устар.» — три: отчий, добропорядочный и честный. Причем «добропорядочный дом» даже больше, чем «устар.», — он «устар.» и «шутл.». Из нескольких сот эпитетов к слову РАБОТА «устар.» — два: духовная и изрядная. Из пятидесяти восьми эпитетов к слову МЕСТО «устар.» одно лишь: живое. Из семидесяти восьми к слову СМЫСЛ «устар.» только — существенный.

Что за слово, однако, УСТАР — и устал, и умер!

Подобный ряд из этого словаря можно было бы низать бесконечно. Вы не найдете в нем ни одного эпитета к слову СОВЕСТЬ или к слову ЧЕЛОВЕК, потому что этих слов в словаре нет. Поскольку невозможно считать, что и они УСТАР, следует остеречься измерять жизнь слов одной лишь их сегодняшней употребимостью.

Иерархия, порядок слов — не алфавитны.

Трудно пользоваться записной книжкой, но легко тем, что само идет в нужный момент в руку. Под машинку я подстелил газету «Советский спорт» (22.V.83) — вот каким углом она сквозь текст торчит: «Мы шагаем в XXI век, в век еще более напряженный и спрессованный человеческим мышлением, прогрессом науки и разума. У нас сейчас нет времени на самозерцание и копание в собственных ощущениях. В будущем его будет еще меньше». Лихие слова!

Слова умирают, слова замирают... Говорить же надо в прозе естественным, органичным, сегодняшним языком, но говорить смыслы не ниже тех, что были сказаны и в древности, но — современные, то есть никем до сего дня не выраженные смыслы. Умирают слова, прекрасные, русские, за неупотребимостью... но никак не умирает русская речь, ее течение, ее способ выражать и осмыслять явление. Беднеет словарь с утратой и исчезновением тех разновидностей, для которых когда-то язык находил достойные их слова, но еще хуже, если утрачивается сама способность понимать и постигать написанное, когда обедненный язык начинает идти в поводу им же воспитанного читателя. Искусственное расцветивание прозы словами, вышедшими из современного словоупотребления, не обогатит ее необходимым ей смыслом. Но это отнюдь не означает, что и явления, прозой выражаемые и отражаемые, становятся беднее и проще. Пусть сегодняшним языком, но не ниже мыслью... И если бы не было обратной связи между словом и жизнью, если бы нельзя было каждый раз не только надеяться, но и верить, что слово — действительно, что, побужденное жизнью, оно само побуждает жизнь истинную, замерло бы наше старинное и неистребимое ремесло.

3. СООБРАЖЕНИЕ ПРОЗАИКА О МУЗЕ

Довольно-таки сразу приходится понять, а потом бесконечно в этом убеждаться, что то, с чем нам предстоит провести всю жизнь, не имеет определения. Определения уточняются до окончательных лишь в отношении преходящего: его мы успеваем рассмотреть на расстоянии приближения, встречи и удаления. Но основные понятия — жизнь, смерть, любовь, красота — не под силу толковому словарю. Усилиями тысячелетней, пусть самой мощной и гениальной мысли не сдвигаются с них

покров тайны и бесконечности. С этих понятий достаточно, что они — есть. Их можно иногда, прикосновением, постичь, но не — понять. Их иногда удается поэтически выразить, но не сформулировать.

Поэзия — тень этих смыслов, поэтому, хотя и во вторую очередь, как отражение непознаваемого, и она не имеет определения. Почти каждому любителю поэзии (не говорю за поэта, как и за глухого) довелось ловить себя на этом недоумении: что, собственно, произошло? почему преобразилось слово? отчего затрепетали смыслы? откуда эта полнота, равная лишь потрясенной немоте? Разве эти признаки — ритмы, размеры, рифмы — хоть в какой-то мере способны определить чудо, разве их наличия достаточно? Что недостаточно, это мы усваиваем легко на примере дурных стихов. Собственно, дурных стихов не бывает. Есть стихи и нестихи. Мол, поэзия и непоэзия — этим дискриминирующим делением кончается всякий опыт общения со стихами, и только тренированность и одаренность чутя ценителя остается мерилом.

Как всякая непознаваемая категория, поэзия обрастает огромной раковиной периферийного постижения, наукой о стихе. Тут потрачена бездна ума и учености, но всегда рядом со смыслом сказанного. Так петух, передумав драться, поклевывает песок в стороне от противника. Так остается в сохранности и незатрепанности вечная возможность: поэтам — писать, нам — читать (как исследователям — исследовать). У вас своя компания, у нас своя компания. Все это как-то неплохо, что именно так, что не в центр, не в яблочко, а — мимо. Вот и жизнь — жива, и красота — красива, и поэзия — случается... Поэты и читатели обошлись без науки, первые — по судьбе, вторые — по любви. Достаточно наличия. Если что-то хорошо — то это и впрямь хорошо, действительно хорошо, необъяснимо... Мы доверяем, верим, веруем. «Необъяснимо прекрасно» — наивысшая похвала. Когда хорошо, то я уже никак не могу объяснить почему. «Он имел одно виденье, непостижное уму...» Почему это так хорошо? Окончательно неизвестно, непостижно.

Мы говорим: «Непостижимо прекрасно». И еще мы говорим: «Невероятная свобода». Какая же тут свобода, когда она отовсюду стеснена: обрывистым дыханием строки, усыпляющим топтанием ритма, побрякиванием обязательных рифм на веточках строк... это не вольное древо речи — новогодняя елка. Напрашивается полезная мысль, что для проявления высшей свободы, которая есть поэзия, необходима изначальная клетка,

золоченая тюрьма, незыблемый канон, откуда с тем большим свистом, чем все это теснее, вырывается вольное слово или истинный смысл. Трепет горла особенно хорошо ощутим под пальцами. Диалектика осознанной необходимости тем не менее вряд ли владеет поэтом. Он ведь не вынужден подыскивать рифму и не выбиваться из размера, натолкнувшись внезапно то на эпитет, то на метафору, столь удачные, что их жалко пронести мимо не того размера строки. Ему, поэту, так говорить — естественно, именно так осуществляет он свою (и не только свою) высшую свободу. В чем же эта естественность, задаю я себе вопрос. Когда искусственность во всем? Одна аллитерация чего стоит... Так трудно выразить мысль словами! А тут еще наряд прежде тела... Значит, не наряд. И это, пожалуй, первый вывод.

Значит, само тело. Неужели же наша невнятная обыденная речь есть распавшаяся и рассыпанная поэтическая? А не наоборот, как привычно полагать, поэзия — есть высший концентрат речи обыденной, результат духовного, аналогично естественному, отбора?.. Но — именно так, наоборот. Поэзия — первична по отношению к рабочим и обыденным смыслам речи. Но — ах! — тут бы мне и потребовался знаток, которого я только что обругал. Он бы мне подобрал примеры. Он мне их не подберет. И я опять останусь в нищете недоказанности, с тем стесненным чувством правоты и обиды, которое возвращает меня в детство...

Но, может, в нем я и отыщу первые доказательства.

С какого момента мы себя помним? Толстой помнит себя с восьми месяцев, на то он и Толстой. Я помню себя с четырех лет. Поздновато. В этом диапазоне помнят себя все остальные люди. Одно точно — не с начала. Скорее всего люди помнят себя уже говорящими. Может быть, даже они себя начинают помнить еще позже, с тех пор как впервые в отношении себя употребят слово «я». Я наблюдал этот перелом лишь однажды, однако с уверенностью полагаю его общим. Уже с легкостью складывая подступивший к нему мир в предположения, ребенок поначалу говорит о себе в третьем лице как о герое этого сна жизни. (Соображение, которое можно было бы отнести к природе прозы...) Именно так мы себе часто снимся — в третьем лице, — возможно, это тоже тень изначальности, до грехопадения, до Я. Возможно, Адам и Ева думали о себе в третьем лице и в более зрелом возрасте, различая себя друг от друга лишь по роду местоимения, хотя еще и не по полу. (Любопытно, что Я — бесполо). Так вот,

я хорошо запомнил, с каким испуганным недоумением, с каким противоестественным усилием, с каким потрясением, как бы с чувством невозобновимой утраты ребенок разлепил губы для первого Я. У меня есть подозрение, равное ни на чем не обоснованной уверенности, что именно с этого момента начинается то, «что мы помним». С этим можно соглашаться или нет, это не помешает дальнейшему рассуждению. Важно, что «мы себя помним» позже, чем живем, чем, возможно даже, говорим. Важно, что за пределами наших, дисциплинированных выраженностью словом и повторностью, воспоминаний остается первый, возможно важнейший, слой впечатлений от бытия. Важно и то, что именно в этом невоспоминаемом времени мы и обучились человеческой речи. И что еще замечательно, что это, при всех усилиях педагогов, вне области педагогики. Педагог не способен обучить младенца речи в той же степени, как и рыбу. Младенец учится речи сам. Лишь слыша ее. Все те законы речи, до которых и в малой степени не дошла наука, открыты младенцу с рождения и вновь закрыты с момента овладения речью. Эти поразительные способности младенца в филологии неоднократно отмечены. И здесь меня посещает предположение, безусловно частное по отношению к безмерности и удивительности явления, но все-таки и не лишнее, что мир созвучий, рифм, аллитераций первым приходит к нам. Когда младенец своим великим ушком прислушивается к стертому шелесту взрослой бытовой речи.

Я, право, не знаю, что бы было с русской поэзией и отчего бы она была именно русской, кабы не приговоренная бедность рифм «кровь — любовь» и «человек — век». И что бы было со смыслом русской литературы и отчего бы она была именно русской, кабы не были созвучны «деревня — деревья — древний» и «крест — крестьянин — христианин». Здесь лежат первые и скорее впоследствии забытые, чем уточненные, связи языка и жизни. Их-то, возможно, и помнит поэт в большей степени, чем простые смертные. Может, тоже не помнит, зато наделен способностью смутно припоминать то, чего не помнит никто, — родовые созвучия зарождающейся в жизни речи. Тогда ни при каких обстоятельствах искусство стиха не может стать «техникой». Искусственно набранные созвучия могут поразить только глухого на природу речи человека. Их надо не изобрести, а вспомнить. («И как само собой рассыпается, — справедливо отметил Маяковский, — "Чуждый чарам черный чолн..."» Это и впрямь инфантилизм, а не детство.) Расхожее до пошлости,

что «поэты как дети», наполняется обратным светом в свете этого рассуждения.

Сходство по звучанию, очевидно, изначальнее сходства по смыслу. Оттого особой гениальностью веет от стихов непостижимо простых по слову, не отягощенных метафоричностью и эпитетом. «Пора, мой друг, пора...», «По небу полночи ангел летел...», «Девушка пела в церковном хоре...», «Мать говорит Христу...», «Тихая моя родина!» Здесь слова молятся в храме речи, а не выживают в водовороте языка и опыта.

Но вот, объединив звуки в созвучия, созвучия в речь, младенец произносит Я. Синтез вновь искромсан этим орудием анализа — Я. Место Я в великой поэзии — тема неисчерпаемая, однако я нахожу особый смысл в том затененном, непроявленном, испаряющемся Я, которое стоит на грани его первого произнесения, но как бы с обратным знаком, как бы с желанием вернуться в его «допроизнесение»: «Тарантас бежал по полю, в тарантасе я сидел и своих несчастий долю тоже на сердце имел» (ср. «Взбегу на холм и упаду в траву...»).

Однако, раз появившись, Я, муча себя, кромсает этот мир с видом познания и даже созидания. Появляются сходства по смыслу, ведущие к метафоричности мышления. Сравнить, пожалуй, можно что угодно с чем угодно — для этого необходима лишь подвижная мозговая машина. Так же как набрать ворох созвучий. Однако если истинно поэтические созвучия уводят нас в беспмятный мир первого постижения речи, то истинно поэтические сравнения лежат, по-видимому, в иной плоскости, уже опыта и обобщения; но в каком же тогда случае они нас потрясают все той же непостижимостью и как бы сверхсмыслом? Я сказал: «Виноград, как старинная битва, живет, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке...» При каких условиях, если я даже запомнил виноградные усики и когда-то немо поразился ими, они обретают как бы понятность и становятся говорящими от сравнения с битвой, которую ни я, ни поэт в глаза не видели, а видели гравюру (поэт, может, и присматривался к ней с внимательным удовольствием, а я — так вовсе случайно, краем глаза...)? Неужели виноградные усы, и лоза, и листья подчинены тому же закону, какому подчинены кривые сабли всадников, и перья на их шлемах, и изгиб спины и шеи вставшей на дыбы лошади, и круглые облачка дальних выстрелов, и кудрявые облачка в небе, взирающие на битву, и рука художника, гравировавшего все это наоборот на металле, и металл, поддавшийся именно этому движению резца, и воспри-

ятие поэта, объединившее эти смыслы, и мое восприятие, — неужели все это подчинено единому закону? Значит, подчинено.

«Просвечивает зелень листьев, как живопись в цветном стекле...» Образ не рассыпается, лишь когда ощутит поэт единый закон в том, что увидел. Тогда нет ни изыска, ни нарочитой оригинальности. Поэт проникает в закон, и чувство восторга, связанное с этим проникновением, оставляет в нем ощущение счастья, которое уже потом называют вдохновением. Творчество проникает в единый закон творения, и тогда наше сознание бывает поражено метафорой, причем вовсе не смелостью, оригинальностью или изысканностью ее, а ощущением единого надо всем замысла.

Мы говорим: «Непостижимо прекрасно»; и мы говорим: «Невероятная свобода»; и еще мы говорим: «Божественно».

4. РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ГРАНИЦЕ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

Размышляя над природой того или иного явления и начиная в какой-то момент этого размышления с окрыляющим самого себя успехом (вдохновением...) продвигаться вглубь, именно в тот момент, когда покажется, что дошел «до самой сути», — тут-то неумолимо и упираешься в стену, податливую и упругую. По инерции, набранной мыслью, даже кажется, что стенка эта вот-вот тебе уступит и ты пройдешь наконец насквозь и до конца. Да и нет ее, этой стены, ни на ощупь, ни на взгляд — она почти прозрачна... Она-то прозрачна, но как бы хрусталик мутится, как бы наплывет туман, как бы не поднимается рука, как бы что-то обнимает тебя, почти ласково, почти нежно, вроде обморока, и ты приходишь в себя у себя, в той же точке, так и не уловив, куда и к кому приходил. Но — запомнив. Запомнив этот ветерок прошедшей под носом тайны.

Таковы размышления над природой поэзии. Зайдя в них в какую бы то ни было глубь, неизбежно ощутишь себя алхимиком, опять не добывшим рецепта золота. Поэтому так заманчиво всякий раз ограничиться прогулкой по вспаханной пограничной полосе между прозой и поэзией или поэзией и прозой (смотря с какой вы стороны), проверяя уже не то, что ЕСТЬ, а то, чего нет: чего не хватает (в смысле недостает)

стихам прозаика или прозе поэта? или почему так называемая «поэтичность» в конечном счете неизбежно ослабит «суровую» прозу, а истинно «суровая» проза не только комплиментарно, но и по праву зовется поэзией? или почему тот самый «прозаизм», за который с открытым лукавством просит извинения Пушкин, овеивает даже гениальную поэзию, как свежий ветер? Как не задохнуться, прочтя (и в первый, и в который раз!):

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.

Или, уже в следующем веке:

Все чаще я по городу брожу,
Все чаще вижу смерть — и улыбаюсь
Улыбкой рассудительной. Ну что же?

Какое торжество интонации! Какая проза! Какая поэзия! Между тем, хотя бы поначалу, пока не обозначился, пока не настоял на себе ритм, проявляя мелодию, характерную все-таки только для стиха... строки эти без натяжки вытягиваются в прозаическую строку, способную начать прозаическое повествование (как неуместно, однако, выговорить: «рассказ»...). Я взял, конечно, светлые примеры. Именно белый стих, столь редкий в русской поэзии, почти как лакмус, способен обозначить лишь большого поэта. По-видимому, поэзия тут — на самом обрыве, на самом краю поэтической формы, на лезвии качества (того диалектического перехода...), и только настоящий наездник способен не свалиться в пропасть и впрямь — прозы...

Любовь к риску обозначит игрока, победа как оправдание риска — бойца. Торжество поэзии в почти неизменной прозаической форме как-то особенно доказательно, поновому убедительно, будто Поэзия — это то, что приходится каждый раз снова доказывать как возможность, как право, отстаивать, отвоевывать как родину. Но, может, так оно и есть?

О связи самых что ни на есть «чистых» (в том числе и «тихих») лириков — Тютчева, Фета, Ахматовой... — именно

с прозой — философской, психологической... — сказано давно и много. Вот еще виток.

Золотистого меда струя из бутылки текла
 Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
 «Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
 Мы совсем не скучаем», — и через плечо поглядела.

То ли виток, то ли оборот. Словно изначально «белые» стихи взнуданы позднее пришедшим намерением рифмы. Эти рифмы — по духу белые. Прозаизмы уже в стиле модерн, почти прустовские. Движение остановлено в ретроспективе повествования, как бы отснято не существовавшим в 1917 году «рапидом». «И через плечо поглядела» — как это волнует! — обычный стоп-кадр.

Разговорные интонации, бытовая речь, проза и вот даже кино (предвосхищенное, а потом и усвоенное) — все это, врываясь в поэзию, почему-то не мутит, а делает ее снова прозрачной, очищает. Но в том-то и состоит качественно неотличимая тонкость, что не столько поэзия «заимствует» или «обогащается», сколько обновляется, отвоевывая себя у себя же, у любого, даже свежайшего, канона, сдувая себя с каждой и только что взятой вершины. В поэтической оригинальности меньше всего претензии и значительно больше необходимости и даже вынужденности. Вечная поэзия, естественно, не есть поэзия на вечные темы — сама она вечная. Современность ее заключена в том, что эта вечность становится узнаваемой и сейчас. И лишь потом — всегда. Реальность всегда вырвется из оков только что произнесенных о ней слов, никакая предыдущая форма ей не впору; поэзия — постоянный прорыв к реальности не В, а СКВОЗЬ форму.

В развитие догадки о том, что поэтическая форма не есть венец эволюции речи, что поэтическая речь по природе своей изначально, не наследует, а предшествует речи обыденной, можно теперь сказать, что поэзия, торжествуя в почти совершенном пределе формы, достигая почти абсолютных решений (в пределах, отпущенных или доступных человеку), менее всего форма, она форма менее, чем куда более низкие и как бы непосредственные формы речи, она прежде всего — смысл, именно тот неостановленный смысл, который только и можно именовать смыслом — ж и в о й, то есть смысл всегда возникающий, только рождающийся, не приговоренный фор-

мулой, не загнанный в застывший объем формы, а рожденный вместе с формой, лишь повторившей малейшие изгибы живого смысла и не повредившей плода. Какими абсолютными ни казались бы нам впоследствии поэтические решения, в них не было и не могло быть остановки — они лишь след движения, исповедь о приближении к сути, превратившиеся в то же мгновение в воспоминание об этой сути, в след смысла. Я не уверен, что достигнутая именно в таком духовном движении форма не меняется во времени, давно пережив своих создателей (то есть то ли это «чудное мгновенье», что было, или другое, и именно поэтому опять «чудное» и опять «мгновенье»?..). Существование истинной поэзии в формах канона (японская, китайская, восточная...) не противоречит подобным умозаключениям, ибо, в приговоре строфы и рифмы, там с еще большей наглядностью происходят взрывы и сдвиги слов к их то изначальному, то ожившему значению. Взрываясь изнутри, каноническая форма в поэзии, даже в самых лирических, вечных или интимных ее проявлениях, таит в себе все ту же воинственность слова, отличающую поэзию от непоэзии. «И вечный бой!..» — едва ли не больше относятся к поэзии, чем к российской истории, эти блоковские слова. Или они неизбежно, будучи об истории, — и о поэзии. Потому что то, о чем сказано в строке, относится не только, а иногда и не столько к тому, о чем в стихотворении сказано, но — к самому стиху, к его победному продвижению от строки к строке. Смысл стихотворения как бы поступает в форме, осмысляющий самое себя. Всякие роды и виды технологической рефлексии, кажущиеся столь «модерными», столь принадлежащими именно новому времени (кстати, уровень открытой, обнаженной технологической исповедальности — в отступлениях и комментариях, — достигнутый еще Пушкиным, вряд ли был впоследствии превзойден...), — суть лишь более очевидные и наглядные «признания» поэзии в принадлежности себе. Никакое (всегда обогащенное прозой...) признание в технологии не превзойдет откровенности, раскрытости, распахнутости поэтической формы самой по себе, в каждом своем стихе признающей, что он, стих, именно такой, что именно об этом сказано именно так. И в этом-то и заключена исключительная СМЕЛОСТЬ поэтической формы (вспомним изумление Л. Толстого перед «лирической дерзостью» «добродушного толстого офицера» —

Фета¹). Слова «воинственность», «смелость», «дерзость» и даже все время сдерживаемое (а вот и несдержавшееся) слово «агрессия» проступили в этом прозаическом тексте как бы сами собою, не повинуюсь, а лишь в конечном счете соответствуя авторскому замыслу... Не только поэзия, наиболее активный («воинственный») вид повествовательной речи, но и любая повествовательная форма, любая речь, которая с долей истовости «хочет что-то сказать», обладая от природы неизбежимой последовательностью («поступательностью»), приобретает в процессе становления выражаемого или достигаемого смысла непременно наступательное, завоевательское движение и по отношению к аудитории (читателю), но прежде всего по отношению к самому смыслу. Это битва, это война, это бой. Энергия слова — это так или иначе и агрессия в слове — признак слова художественного — воспринимается прежде эмоцией, нежели разумом. Именно потому и воспринимается.

Я сказал: «Виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке».

Как это действительно далеко, старинная битва!.. В какой дымчатой, в сколь преломленной перспективе затерялась она... Ее разглядит лишь поэт, наведя свой кристалл, сильнее которого не производила оптика. Лишь он разглядит сквозь слипшиеся линзы веков этот прах и этот пепел. А мы, уже сквозь строку, прослышим этот неявный звон мечей и топот коней, не сразу отличим его от шума собственной крови. Но наша кровь — в жилах, та была — из жил... И какой-то запах — не то озон, не то пыль. Не то озноб, не то наши ноздри раздуваются, как ноздри коня, — неужто того коня, которого так давно нет? Ближе, ближе... Битва приближается к нам. И это уже не наш собственный звон в ушах, не только наш пульс распирает нас и рвется наружу, будто кровь чует приближение раны, — это уже и впрямь снаружи, но не может быть, чтобы воображение завело нас так далеко, что и впрямь

¹ Любопытно сопоставить этот комплимент Толстого (1857) с фетовскими эпитетами в адрес Тютчева (1859): «Лирическая деятельность тоже требует... безумной, слепой отваги... рядом с подобной дерзостью в душе поэта... громадна лирическая смелость, — скажу более, — дерзновенная отвага г. Тютчева...» Достоинства лирика — достоинства воина.

там, за соседним леском, воскресла ТА битва. Это еще что-то атмосферное — раскаты, погромыхивания: ПРИБЛИЖЕНИЕ ГРОЗЫ...

Ты близко. Ты идешь пешком
Из города, и тем же шагом
Займешь обрыв, взмахнешь мешком
И гром прокатишь по оврагам.

Что-то другое, однако, все это, не только погода... «Займешь обрыв...»

Как допетровское ядро,
Он лугом пустится вприпрыжку
И раскидает груды дров
Слетевшей на сторону крышкой.

Это ядро, будто прилетевшее из мандельштамовской гра-вюры (безусловно, самостоятельное ядро; думаю, эти два стихотворения ничего не знали друг о друге...), относит нас на максимальное расстояние от столь дачного, пастернаковского опыта с рассыпавшейся поленницей... Время в этой строфе взрывается куда с большим шумом, чем отдаленный грохот грома и приближенный, — некой, наверно, непригодной крышки...

Как внутренний слух был заглушен внешним шумом, так внешний мир снова будет вытесан если уж не воспоминанием, то ассоциацией. Мир внутренний снова отвоюет рубежи у мира внешнего:

Тогда тоска, как оккупант,
Оцепит даль. Пахнёт окопом.
Закаплет. Ласточки вскипят.
Всей купой в сумрак вступит тополь.

Метафора наступает на внешний мир глаголом, возможным действием: оцепит, пахнёт, вступит... Внешний мир отсутствует, становясь фоном происходящего. Ласточки покинули поле боя, и дерево слилось с сумраком, с врагом. Внутреннее с внешним еще раз поменялось местами: окончательно нас опутав. Внешний шум отдалился от шума внутреннего, пробудив ассоциацию с чем-то бывшим, что может повториться сейчас. Время отступило перед пространством, чтобы вновь отступить перед временем:

Слух пронесется по верхам,
Что, сколько помнят, ты — до шведа,
И холод въедет в арьергард,
Скача с передовых разведок.

Противники — внешнее и внутреннее, прошлое и настоящее, пространство и время — почти сошлись в равенстве боя. Время оказалось куда более прошлым, чем память о запахе окопа, чем сам окоп первой мировой; пространство — куда более настоящим, только что шевельнувшим верхушки деревьев, только что пахнувшим холодом. Но так эти категории и не победят друг друга, как и суждено им — соприкоснуться, но не проникать; внутреннее и внешнее, время и пространство разбегутся по изначальным позициям:

Как вдруг, очистивши обрыв,
Ты с поля повернешь, раздумав,
И сгинешь, так и не открыв
Разгадки шлемов и костюмов.

Разыгравшаяся было битва тут же оказалась воспоминанием, воспоминанием даже не о битве, а о видении битвы, тут же переродившемся в видение. «Шлемы и костюмы» оказались почти с той же слабо запомнившейся гравюры, что и у Мандельштама... Мандельштаму она пришла от замершей перед взором медитеранской картинки, где медленно текшая струя меда остановила время, а буйный изгиб винограда мог быть остановлен лишь резцом гравировщика — остановленное движение, замершее время; Пастернаку — как бы наоборот: через родившееся от внешнего движения время в изначальном осуществленном мире, — ожившее время, прованное пространство. Но и видение, и видение отступят перед завтрашним днем, всю эту память о памяти в себе заточившем:

А завтра я, нырнув в росу,
Ногой наткнушь на шар гранаты
И повесть в комнату внесу,
Как в оружейную палату.

Замечательное свидетельство рождения замысла, уже прозаического! Видение, оказавшееся предвидением, наткнувшееся на самое себя в окончательно материальной форме, подтвердившей точность душевного умозрения. Граната эта

будет, граната эта была! Взаимоотношения внутреннего и внешнего, прошлого и будущего, пространства и времени выведены в итог взаимоотношений поэзии и прозы, замысла и осуществления. Богатейшие оттенки времени во взаимоотношениях множества абстрактных категорий переданы настойчиво одним грамматическим — будущим: повесть есть, но ее нет — она еще может быть написана.

По-английски это было бы отчетливое время — будущее в прошедшем. Future Perfect in the Past, или, в русском приближении, позавчерашнее во вчерашнем, потому что все стихотворение не оставляет сомнения в том, что оно является воспоминанием достаточно глубоким.

Куда опять подевались и допетровские, дошведские ядра, где разгадка шлемов и костюмов?.. Где сама битва?

За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молнии боевой.

Блок, 1908

Нестерпимое ожидание!

Мне бой знаком — люблю я звук мечей,
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей...

Это стихотворение Блок включает в список своего «маленького Пушкина» («все, что нужно») 21 января 1921 года:

«1820 — "Мне бой знаком..."»

«1821, — пишет далее Блок, — кажется, пустой».

Может, цифра 21, повторенная трижды, его утомила... Блок обрывает хронологию списка.

Но вот стихотворение именно 1821 года «Война»:

Покой бежит меня, нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела...
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?

До чего блоковские слова! Это уже не просто перекличка, а диалог.

Нет, нет, нет!..
Ты не понял..
То слышится звань,
Звань к оружию под каждой оконницей.
Знаю я, нынче ночью идет на Казань
Емельян со свирепой конницей.
Сам вчера, от восторга едва дыша..
За горой в предрассветной мгле
Видел я...

Чудовишное веселье от приближающейся реальности битвы (наконец-то!) видим мы у Есенина. Его сопереживание настолько прямодушно и полно, что вопрос о времени происходящего как бы уже и не стоит; полтора века, разделяющие поэта и его героя, сокращены общей страстью. Радость реальности даже в знании поражения — какая-то польская музыка речи...

И чтоб бунт наш гремел безысходней,
Чтоб вконец не сосала тоска, —
Я сегодня ж пошлю вас, сегодня
На подмогу его войскам.

Этот переброс, перелет грамматических времен у Есенина — как свист будущих и уже прошлых ядер одновременно — необыкновенно выразителен...

Вот взвенел, словно сабли о панцири,
Синий сумрак над ширью равнин.
Даже роши
И те повстанцами
Подымают хоругви рябин.
Зреет, зреет веселая сеча.
Взвует в небо кровавый туман.
Гулом ядер и свистом картечи
Будет завтра их крыть Емельян.

Вот где уже не будущее в прошедшем — прошедшее в будущем, даруемое грядущим поражением провидение. Герои Есенина провидят смерть, на которую идут.

Мандельштамовская битва — битва вообще, никак не датируется — «старинная»... Намек на гравюру произведен не в строке, а в читательском сознании. Одно лишь это слово «старинная» чуть выдает поэтический секрет: сама битва, в современном словоупотреблении, «старинной» не бывает, ста-

ринной может быть лишь книга, картина, гравюра... Пастернак, по сравнению, уже точнее в датировке: оккупант, окоп, передовые разведки — слова, современные для поэта, лексикон «той» войны. И исторический экскурс «датирован»: допетровское ядро, до шведа. Это ДО интригует...

Швед. Петр. Полтава. Пушкин... До Пушкина, что ли?

Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.
В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свишут пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огонь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжелой твердостью своею
Ее стремления крепит.
И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь...

Здесь! так вот где битва! ни ассоциаций, ни уподоблений, ни воспоминаний, ни гравюр — одно движение. Время — настоящее; ничего старинного — «зарею новой» (хотя автора от битвы тоже отделяют каких-нибудь сто двадцать лет); «кудрявость» будущей гравюры: «дым багровый кругами всходит», «волнуясь, конница летит». Нерасторжимо участие пейзажа в битве: равнина, холмы, кусты, поле — работают. Жатва — битва («как пахарь, битва отдыхает»). Указание Пастернака — до Петра, до шведа — остается непонятным, настолько точно его «приближение грозы» опирается всеми своими реалиями битвы на «Полтаву», которую мы зубрили настолько наизусть (как в школе, так и в гимназии), что на многие годы оказывались отлучены от ее поэзии.

Пушкин! Откуда эта сила ничего не припоминать и ни с чем не сравнивать, а правомерно участвовать в описываемом событии? Гений, да. Но не только. Петр! Да, да и да. Соотношение с Петром, и сила Петра, и дух Петра, и гений Петра — чуть ли не единственный равноправный ретроспективный адрес для Пушкина после 1825 года. Пушкин мог ощущать Петра как

себя (по крайней мере... а то и — себя как Петра...). Но и не только Петр...

Воспользуемся указанием Пастернака (хотя и не поймем его в точности...): ДО Петра, ДО шведа...

А что там было-то ДО?..

Та решительная пропасть в рядовом современном читательском сознании (или даже не в рядовом, а естественном, воспринимающем литературу «по мере поступления», а также по мере доступности и увлекательности, необязательно сюжетной), которая проходит между Пушкиным и предшествовавшей ему литературой, может означать не одно лишь качество, именно в Пушкине нашей литературой впервые достигнутое. Такая же пропасть «непрочувствованности», доходящая до незнакомства, проходит в том же «рядовом» (не раздвинутом специальным изучением) восприятии и в представимости исторических эпох. ДО Петра и ПОСЛЕ Петра, ДО Пушкина и ПОСЛЕ Пушкина — есть не только и не столько более далекое и более близкое, сколько качественный разрыв между НАМИ и ДО нас. И хотя специальное изучение и перекинет мостки над как бы непроходимой пропастью, все-таки оно восполнит и поправит лишь наше невежество, но не восприятие. Хотя насильное чтение от Ломоносова до Державина может привести не только к восполнению незнания, но и к любви, но и к вчувствованию, оно, это изучение, вплоть до погружения, так и не соединит Пушкина с предшествующей литературой. И Батюшкова, и даже Крылова, которого и сам Пушкин ставил себе в учителя, не хватит нам для преодоления пресловутого барьера, воздвигнутого, как окажется, не одним нашим незнанием. Академическая невозможность прибавить к Крылову хотя бы Баркова (тоже признанного самим Александром Сергеевичем в качестве «учителя») — существенный пробел в желаемой непрерывности и преемственности развития, но и он, буде мог быть восполнен, не оказался бы последней недостающей ступенью. И вот вполне могло бы показаться, что не предшествование державинского гения, а восполнение куда более древних и глубоких разрывов в истории русской литературы определило самую возможность появления Пушкина, возмущив в неведомых и таинственных национальных недрах саму необходимость его рождения... Боязно вторгаться в область специальную и требующую знаний, значительно превышающих авторские... но хотелось бы как-то оправдать и осмыслить именно под рождение Пушкина пододвинутое движением совсем не туда смотревшего российского просве-

щения, вовсе не подогретое и не подготовленное общественным или национальным интересом — «открытие» русской летописи. Совсем в другом смысле предстанет нам пушкинский пиетет к Карамзину, не только в патриотически-историческом, а в литературном, если реально представить, что Пушкин и Писание-то знал не по-русски и не по-древнерусски, а по-церковнославянски, что пропасть между языком Пушкина и русской летописью не столь глубока и не столь качественна, как пропасть между речью пушкинской и державинской.

«А храмы божиа разориша, и во святых олтарех много крови пролиаша. И не оста во граде ни единъ живых: вси равно умроша и едину чашу смертную пиша. Нѣсть бо ту ни стонюща, ни плачюща — и ни отцу и матери о чадах, или чадом о отци и о матери, ни брату о брати, ни ближнему роду, но вси вкупѣ мертви лежаша. И сиа вся наиде грех ради наших».

«Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью...

А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство божие в воздухе...»

Очевидец... Впечатление и слово пересеклись в нашем ряду. Ряд наш расходился из этой точки, чтобы через шесть веков вновь пересечься — найти те же слова:

Переправа, переправа!

.....
Бой идет святой и правый.

«Лежаша на земле пуге, на траве ковыле, снегом и ледом померзоше, ни ким бегом. От зверей телеса их снедаема, и от множества птиц разстѣрхаемо. Всѣ бо лежаша, купно умроша, едину чашу пиша смертную».

Что это? Как это? Неужель мы разбиты?

Сумрак голодной волчицей выбежал кровь зари лакать.

О эта ночь! Как могильные плиты,

По небу тянутся каменные облака.

Выйдешь в поле, зовешь, зовешь.

Кличешь старую рать, что легла под Сарептой.

И глядишь и не видишь — то ли зыбится рожь,

То ли желтые полчища...

Нет, нет, это не август, когда осыпаются овсы...
Мертвые, мертвые, посмотрите...
Сорок тысяч нас было, сорок тысяч,
И все сорок тысяч за Волгой легли, как один.

Единую чашу... Традиционное уподобление битвы пиру так или иначе проходит через все наши примеры: и чаепитие с медом у Мандельштама, и пастернаковское письменное застолье... Пушкин — сам пир и битва; Блок — с его последней связью культуры и поступка: «И вечный бой!» — волосок этой связи перегорит под невыносимым напряжением в «Двенадцати»; Есенин, в котором, в год смерти Блока, история неразделима на настоящее и прошедшее: вся — сегодня, — что Пугачев, что Революция. Время, однако, работает, время не переживешь, оно приведет поэта к непосредственному участию. С летописной точностью зафиксировала это движение Ахматова в 1936 году: «А в комнате опального поэта дежурят страх и Муза в свой черед». Не постичь, насколько знанием, насколько прозрением сплавились в этом ее стихотворении «битвы»: 1908 год Блока, 1917-й — Мандельштама, 1927-й — Пастернака, в единую летопись.

А над Петром воронежским — вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши...

Промелькнувшие перед нами описания, воспоминания, метафорические намеки на битву — 1821, 1828, 1908, 1917, 1921, 1927, 1936, 1942 годов и поэтов, приняв отсчет от XIII века, можно характеризовать не эпохой, не степенью гениальности и не поэтической школой, а степенью участия повествователя в описываемом событии. И если по границам нашего ряда такое участие является прямым, непосредственным, без преувеличения — летописным, то лишь пушкинское восчувствование возводит поэзию в степень прямого участия; блоковский патриотический такт лишь в конце пути позволит ему перейти из восчувствования в изображение («Доспех тяжел, как перед боем»); мандельштамовская культурная точность определяет параметры и возможности такого восчувствования как реальности; есенинское самоубийственное стирание исторических границ и пастернаковская реальность чувств

проектирует сегодняшнее в вечность, а вечность — на сегодня; ахматовская реальность — это пророчество, сбывающееся на глазах... А сегодня как сегодня и сейчас как сейчас возникнут лишь в Великую Отечественную, возвысив поэта до летописца и низвергнув его в ту же бездну.

Отечественная история для русского поэта, от Пушкина до Блока, нечто значительно большее, чем поэтическая традиция: история сближена с судьбой. Однако прямой отклик поэта на современную ему историю в великой поэзии встречается достаточно редко и обходится поэту слишком дорого, вплоть до гибели (если не физической, то репутации)... Доведя свой список «маленького Пушкина» до 1821 года, Блок начинает с конца, с 1836-го, и, вспять, доводит его до 1831-го: «Клеветникам России» — последняя запись Блока в этом списке.

«Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть.

Я имею привычку на своих бумагах выставлять год и число. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. — Бывают странные сближения» (Пушкин, 1830).

«Случаются повторения в истории», — запишет Блок в 1918-м по поводу критики «Скифов», сравнивающей их с «Клеветниками России»...

Наверно, теории доступно классифицировать летописное повествование, расположив его ближе к прозе, или ближе к поэзии, или проведя по нему петляющую границу, — мне кажется, в этом нет настоящей необходимости. Прямое участие делает повествователя автором ТЕКСТА до такой степени надличного, что и неоспоримо принадлежащего к национальной культуре. В последующем же развитии художественной литературы необходимость проводить черту между прозой и поэзией связана не с участием, а с авторством, индивидуальным творчеством, убедительность которого обеспечивается достижением в слове сверхиндивидуального смысла. Поэтому граница, или полоса, или поле, пролегающие в определении прозы и поэзии, есть наиболее отчетливая область, наиболее очевидное пространство, на котором и разыгрывается битва слова за точный смысл. Приведенные примеры описания битв, взятые с самой поверхности читательского восприятия, опять не приблизив нас к разгадке «тайны» поэтического

слова, подходят, однако, для иллюстрации наиболее проникновенного эффекта поэзии — помимо вольного признания слова в том, что с ним самим происходит.

Битва слов! Значений бой!

5. ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

Если вы спрашиваете, то совершаете ошибку, а если не спрашиваете, то поступаете вопреки.

Общая договоренность между людьми не посягать на недоговоренность гораздо выше в процентах желания договориться. В этом, собственно, и заключен главный договор, сговор. Мне совсем неинтересно в данном случае намекать на тему «что можно, а что нельзя», на то, «что все знают, а молчат». Людям, которые так думают, только разреши то, о чем они знают, как они не смогут. По-настоящему-то люди не знают только одно: что забыли.

Я говорю об иной общей договоренности, так сказать, методологии общей жизни. Муж и жена, ученик и учитель, ребенок и взрослый, начальник и подчиненный, читатель и писатель — все они всегда будут молчать о чем-то прекрасно известном им обоим. Они прежде всего будут молчать вот о чем: о том, что они мужчина и женщина, ученик и учитель и т. д. Они будут молчать о своем положении. Они будут молчать о том, что он знает о том, что тот о нем знает, и знает, что молчит-то тот именно об этом.

Писатель молчит о том, что он знает, что знает о нем читатель. Например, что читатель знает, что пишет-то он (писатель) плохо. Читатель молчит о том, что знает, что писатель знает об этом. Кажется, этот сговор называется авторским самолюбием. Так.

Хотел ведь начать более нежно, издавека, окольно... Но вместо ухаживания вышло насилие. Не предполагай, значит, там, где нет.

Я хотел начать как бы с самой жизни и в ней выявить природный сюжет, ниточку, чтобы потом перейти к литературе как некому частному ее (жизни) подобию, соответственно обнаружив и тут тот же сюжет.

Сюжет такой: я, ты, он, она, они. Мы. Все мы разные люди. Так. Живем. Живя, обнаруживаем разнообразие характеров, программ, целей и средств. Испытываем множество подходов к задаче жизни и, развиваясь в этой разности подходов, обнаруживаем несходство меж собой все более разительное. Один суетлив, другой удачлив, один деятелен, другой празден, один необщителен, другой легкомыслен, один верен, другой уступчив, жаден и бескорыстен, расточителен и расчетлив, щедр и зол, любопытен и замкнут, вспыльчив и коварен и т. д. до бесконечности — один и другой. Сначала врожденные данные, потом черты характера и среды, потом те самые жена, сослуживец, сосед, что окружили тебя, — разные люди. Никто, как говорится, не хочет себе зла. Все начинают как-то сообразовываться с возможностями, окружением, даже самими собой. Люди привыкают к себе, и их черты становятся уже способом жить, очерчивая каждому образ жизни. Даже такие черты, как серость, подлость, жалкость, слабость, вялость, пьянство, развратность — казалось бы, лишние, обременяющие, удручающие, от которых бы лишь избавиться, — становятся, со временем, не только неискоренимыми недостатками, но — качествами, годными к эксплуатации, то есть способом жить, даже ловким и удобным владельцу способом. Все эти люди устроились жить так, как они живут и какие есть, мирятся и живут с собой даже со сноровкой, ловкостью, удобством и мастерством, по-своему удовлетворяя жизнь и довольствуясь жизнью. Есть своя грация и у неуклюжего, ловкость рук у безрукого и т. д. Приспособление к себе, потом приспособление себя...

И вот вам результат. Тринадцать негрятят. Один из них утоп. Ему купили гроб.

В редакцию пришло письмо. «Уважаемая редакция! Меня интересует один вопрос. Даже два. Потому что второй вопрос, почему мне никто не может ответить на первый. Вопрос такой: почему в прошлом веке были гении, а сейчас нет? и почему хорошие наши писатели так мало написали? не только хуже, чем гении, но и меньше? почему даже плохие писатели, которые пишут как попало, не могут написать столько же, сколько написал гений? Все это мне кажется одним вопросом... Когда я его задаю, все мне отвечают одним и тем же: «Но ведь это же всем известно». «Но я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь, кроме меня, задавал подобный вопрос», — говорю я. «Потому и не задают, что нечего и задавать, раз всем известно», —

отвечают мне. Тогда я говорю: «Что известно??» Тут меня обычно посылают. И тогда возникает даже третий вопрос: почему, если это всем известно, никто никогда никому не объясняет этого в первый раз? Извините, пожалуйста. Жду ответа. И. И. Иванов из Козлова».

— Как соловей лета... — хмыкнул сотрудник. Он зачитал письмо вслух, и все посмеялись наивности автора.

— Чего только не пишут...

— Дурачок какой-то...

— Просто дурак.

— Почему же дурак?! — обиделся я. Обиделся, прежде чем понял, почему обиделся.

А обиделся я вот почему: потому что сам много лет был таким дураком, никому не задавал этого вопроса: инстинктивно, может, знал, что мне на это скажут так, что обидно будет. Я очень обидчив тогда был.

Я задавал себе этот вопрос чуть ли не прежде, чем сам начал читать, а именно, почему слово «великий» и слово «гений» употребляются по отношению только к мертвым и даже давно мертвым. Это было такое детское кладбищенское слово — «гений» — для обозначения того времени, когда меня не было. Это, правда, чуть другой вопрос, чем в письме Иванова, но я, кажется, даже и тогда его не задал, когда меня просто потрепали бы по головке, ласково улыбнувшись: «Философ ты мой...» И вот, когда его не задал в столь нежном еще возрасте, с этого самого момента я уже з н а л, что в мое время гениев и великих не бывает, как не бывает волшебников, или Змея Горыныча, или Бабы Яги. Как нет Бога... (Про Бога не совсем так: по-детски, как боятся темноты, приблизительно так я не был про себя в этом уверен, но — тоже не признавался...) А потом, начав читать, проходя в школе, я задавал себе все те же вопросы, что и Иванов, с той разницей, что не задавал их другим. Пожалуй, лишь сам взявшись за перо, перестал его приравнять — на себя легко ли?.. И вот, когда сотрудник зачитал его письмо для общего смеха — уж так меня перенесло во времени в давно забытое, что я почувствовал запах тряпки, которой с доски стирают... защемило, зажмурилось во мне от стремительности перелета... и я был там, когда вдруг услышал смех этих больших, незнакомых дядей надо мной и обнаружил, что я совсем не в классе.

— Почему же дурак?! — обиделся я, и тут вдруг какой-то большой необлазанный чулан моей головы... вроде бы я удивился, что никогда этой дверцы не видел, столько лет тут у себя

(в голове) живу, вот на тебе, под носом, не замечал... какая-то идея цвета подлинности выскользнула оттуда, как змея, и ускользнула, но я еще надеялся... Они на меня смотрели с удивлением.

— Дурак-то дурак, да Иван-дурак, — как-то, с сожалением провожая взглядом ускользящую идею, глупо сказал я, рискуя прослыть славянофилом.

Тут я им немножко рассказал свои вмиг побледневшие и потускневшие ассоциации, и со всеми произошел задумчивый вид, из уважения ко мне.

— Кто же позволит на это правду ответить? — сказал сотрудник тем сочувственным, взаимноизвестным голосом насчет общего зла, про которое здесь (в комнате) все знают и которому не принадлежат лишь потому, что страдают от него.

— Кто ж это не позволит? — стал заедаться я.

— Никто не позволит.

— Ты не позволишь?

— Я-то позволю, да от меня-то, ты сам знаешь, ничего не зависит...

— А понять ее — от тебя зависит??? — злился я.

— Кого?..

— Правду! О чем же мы говорим... — махнул я рукой.

— Так ее ж все знают!

— Приехали, — сказал я. — Перечитай письмо Иванова!

В общем, я неприлично разозлился. Наверно, больше на себя, что завел весь этот совершенно бесполезный разговор. Задел зря, милых, ни в чем не повинных людей... Стоп! Какое же это крошечное неуважение к человеку — считать его неповинным!

Разозлился я, конечно, на себя, но это — одной, обидной злостью, другой же — подлинной — был я зол именно на то, с чего начал, на сговор. Над чем им стало смешно, читая письмо? Им стало смешно, чтобы не нарушить договор о недоговоренности — сговор. Почему они похолодели, насторожились ко мне, когда я стал отстаивать? Потому что я нарушил еще один сговор — профессионального взаимопонимания насчет «можно и нельзя». Почему я вел себя неприлично в их глазах, тем более даже сам чувствовал, что веду себя невоспитанно, безвкусно, провинциально? Потому что я ничем не лучше их, чтобы иметь право на это. На что на это? На нарушение.

Так уходил я, опозоренный, неприличный, сам себе противный, по лестнице, и каждая ступень была словом, которое я не сказал им.

— Правду-то как раз и можно. Правда — ведь это не то, что можно или нельзя. Правда — это то, что есть. Вы думаете, что правда — это противоположное тому, что разрешено. Может, и плохо, что противоположное тому, что разрешено, — запрещено. Так оно буд е т однажды разрешено. И исчезнет в качестве правды для вас. Запрещенное и разрешенное, в том, противостоящем-то смысле, — одно и то же, единство. Вы не сможете их разъединить: запрещенное сразу разрешится пустотой. Допустим, разрешенное — бедно, мало, лживо, так ведь и противоположное ему будет правдиво лишь настолько, насколько ложно разрешенное, но так же бедно и мало, как оно. Это, товарищи, слишком легкий способ ориентации в мире. Ложное и противополо-ложное — чувствуете язык?.. Все это вы от лени, чтобы не подумать ни разу, не напрягаться... Мир как-то побольше этого будет, товарищи!

Столько было ступенек, сколько здесь слов.

«Не читатель должен бы задавать себе такой вопрос, а писатель хоть раз себе самому его хотя бы поставить, не то что ответить... — подумал я, выйдя на свежий воздух. — Не так уж он прост, Иванов, и его вопрос. Стихи получаются, басня...»

Где-нибудь, может, и пишут много. Хоть я в этом и не уверен. Я не хочу сказать ничего плохого о нашем времени, но что-то, по-видимому, случилось с ним самим в наше время. Что-то случилось с физическим временем. Его требуется все больше, спрос, так сказать, на время растет, помешается же в него все меньше, оно судорожно сжалось, туда не лезет. Воспроизводство времени не налажено, и мы встаем в невыгодное положение, наблюдая личные достижения на фоне происходящих огромностей мира. По-видимому, во времени движется либо мир, либо личность. В идиллические времена, от которых нас отделяет менее сотни лет, масштабы личностей и измеряли собою время, прорывая и подвигая его. Сейчас бы не отстать... но не от кого-нибудь — тщеславие захлебывается — от чего-нибудь. Именно наш высокопроизводительный, казалось бы, век оказывает сопротивление производительности индивидуально-го художника. Чудесное понятие ремесла исчезло, уступив понятию профессии, не выдержало «высоких» профессиональных

требований. Если из вещей исчезла душа, уступив в лучшем случае функциональному удобству, то то же грозит слову — профессиональная литература.

В ссылке на «время» есть, конечно, нечто непорядочное. Нетребовательное, ленивое, попустительское. Слишком легкое. Слишком легко на него сослаться: нет времени или такое время... И этого не стоит позволять себе. Но ты не можешь упрекнуть в этом всех. Все никогда не бывают виноваты. И что-то объективное в такой ссылке, если она не служит самооправданием, таки есть.

Каждый писатель, ответственный в слове, наверно, знает этот потрясающий эффект уменьшения при сложении написанного в книгу: писал, писал, еще писал — все звучало и было крупно по отдельности, — и вот сложил — мало. Я вглядываюсь в этажи книжных полок. Вот этаж однотомников, томиков — это мои современники, и все неплохие. Десять лет пишет — однотомник, и двадцать лет — тоже однотомник. Двухтомник — на склоне дней, и то второй вполтину первого. Конечно, не все включил — понятно. Ответственно отнесся.

Исчезло рыхлое многотомье. Писем мы друг другу не пишем. Дневники пишут подозрительные люди. Практически нечем будет заполнять последние тома. Сумма современных однотомников равна одному собранию сочинений — значит, и вместе не много.

Начинаю про них думать в отдельности: это известно, что пьяница, губит свой талант и мало работает; этот слишком тщателен, слишком работает над словом, потому мало; этот, прелесть, просто лентяй; но про этого-то точно известно, как много он работает, не пьет, не курит, бегаёт каждый день и зарядку делает и каждый день пишет — опять однотомник. Что за эффект такой, думаю? Что-то тут зарыто.

Ну, все мы сообща делаем большое общее дело, большой отряд — одну общую литературу. Но вот что и любопытно: что чувство Общего Дела как раз и исчезает при массовости его. Зачем нам писать другу письма? О чем? Мы так скажем.

Так мало писали разве разночинцы. Помяловский хорошо встает к нам на полку. Конечно, контейнер, который надо отвести под Толстого, страшен в качестве современного примера. Но вот и Гончаров — известный был лодырь, и Куприн. Пьяницы были тоже не редкость.

Написать не хуже, написать лучше, показать кому-то пример. И пройти. Вот эффект однотомника... Конечно, все упирается в качество. Говоря об однотомниках, я имею в виду

только отличное качество. Отличное качество — уже производственный принцип. Ведь как часто, в таком-то смысле, те великие писали плохо. Не в этом было дело. Допускали небрежность. Немножко морщились — и допускали. Не до того — еще следующее не поспело.

Можно, конечно, сказать, что они были не только великие таланты, но и великие труженики, вот что в трудолюбии мы им уступаем, если уже не в таланте. Но если только предложить современному лучшему выполнить хотя бы объем работы прежнего лучшего, то он, как машина, должен писать с утра до вечера, отказывая себе во всем, однако не уверен, что справится.

Вряд ли они (назовем их ревниво «они») отказывали, однако, себе в жизни. То и прекрасно в их литературе, что она и трудом-то не была. Ни в чем они себе не отказывали-то — легенда средней школы. У них, кстати, к тому было больше возможностей. Мы от своих-то возможностей отказаться не в силах, не то что от их. Люди всегда люди. И даже тем более. Так вот и следует сказать, что они, это написали между прочим, в самой своей жизни, внутри нее, а не между жизнью. Жизнь у них еще не делилась на жизнь и работу. Поэтому и много.

И в этом существенное превосходство количества перед работой над словом. Если уж такие слова «количество» и «качество», то, рассуждая даже диалектически, не может быть самостоятельного качества на фоне отсутствующего количества — нечему перерастать. Если нет количества, это будет подскакивание, а не скачок. Вечное упражнение со скакалкой, раздевалка и душ — и ни одного боя.

В этом сравнении меня слишком мало интересует упрек своему времени — он глуп. Время и время. Было их, стало наше. Меня не интересует эта пошлость — упрек, меня интересует урок.

Поскольку те же «они» отнюдь не отказывали себе «в жизни» по сравнению с нами и даже, наоборот, обнаружили свойственную русской душе ширь (будем считать, что она была), то дело заключается в том, что у них было больше времени, чем у нас. У них было время. У нас его нет. Что-то нам постоянно, раздражительно мешает, повергая нас в сослагательное наклонение. Нравственный человек должен сказать себе, что он сам прежде всего мешает себе — это его способ. Безнравственный упрекнет кого-нибудь. Глупый упрекнет что-то. Но дело-то в том, что нам все мешает. У нас нет времени писать. Мы не

мало пишем. Это подвиг — сколько мы написали, по сравнению с ними, исписавшими десятки томов. Это и отказ от жизни, и воля к победе, и качества бойца — весь набор. Нет, мы не мало пишем. Мы пишем даже больше, чем можем. Мы не можем писать. В этом дело. У них было время писать, и они могли. У нас его нет, и мы не можем.

И не надо. В искусстве не ценен ни труд, ни подвиг. Это ценно в человеке. И никогда не бесследно, даже если он ни строки не напишет. Мы понукаем и понуждаем себя оттого, что неправильно понимаем задачу. Нас задавили блистательные образцы. Но мы никогда не сможем, как они. Потому что они — это они, а мы — это мы. Мы хотим научиться, а надо быть. Вот и вся задача. Быть. Позволили ли мы для начала себе это? Потому что без этого, справедливо, нельзя, незачем, праздно и темно брать перо в руки. Надо попробовать осуществить те ценности, которые мы хотим на бумаге, в себе. То, что у нас не получается на бумаге, то, чего и нет, немудрено. В том, что не получается, и заключен урок времени. Но мы не хотим его усвоить.

Итак, для тех, кто меня неправильно понял, я заявляю: во всех и всяческих обстоятельствах я снимаю упрек с нашего времени. Это глупо — упрекать там, где надо понять. Нет правильного пути в неправильных обстоятельствах. Обстоятельства всегда правильны — это те, которые даны. Есть неправильный путь. Он всегда доставляет страдание сознанию. У нас нет времени тогда, когда мы в нем не живем.

Время само по себе, мы сами по себе. Время не понято. Писать же — совсем необязательно. Никто не заставляет. Не можешь — не пиши. Что-то есть поважнее, что тем временем неотвратимо, необратимо проходит, пока ты занят тем, что не пишешь. Не пишешь потому, что тот, кто пишет, отсутствует.

Остановился. Перечитал. Такие решительные слова. Что-то между ними просыпалось. Недолет — перелет. Что-то есть даже в том, что цель находится между ними.

Магнитная сила слова несколько выше моей. Оно меня перетягивает, но — Боже! — как бы неправильно оно (слово) стояло, если бы я сдюжился и подтянул его к себе... Право, я кое-чего не знал из того, что здесь написано. Например, того, что не мочь — это и значит немочь. Очень, казалось бы, просто.

Лучшие — глупое слово! Лучших не существует — просто те, кто из множества были, написали немного, скажем, по

книге. Они сделали все, что могли. Человек не может сделать того, чего не может. Они сделали столько, сколько успели, сколько у них было времени во времени, сколько они и время были одним. Я хочу поговорить о качестве их молчания в остальное время, ибо прежде всего туда поместилась их жизнь. Это молчание — не бессмысленно, это-то как раз и есть та огромная работа времени с нами, над нами, школа его. В этом молчании заключено много больше для будущего, чем в том, что можно подержать и полистать. Только идиот может считать его непроизводительным. Или, как еще говорят, пропущены м. Чего же вы такое пропустили?

Как раз и не пропустили, а помолчали (не «про», а «по»!).

Невежество — это отнюдь не недостаточные знания, а недостаточное отношение к Знанию. Так, именно XX век — невежествен. Это то невежество, что подкрадывается и к тем, теперь редким, людям, что знают греческий и латынь и Канта с Контом читали. Они теперь — «специалисты». Что как-то можно воспользоваться знанием, кроме как для развития души, — вот ход невежды. Что оно — для чего-то, применимо, полезное и бесполезное знание... и т. д. Начинаются рецепты, советы, рекомендации... Даже Толстой нет-нет, а вдруг скажет в XX веке что-нибудь «под Хемингуэя» о том, как следует, а как не следует писать. Его уже, незаметно, Чехов заразил. Подселили. А мы, по отсутствию опыта в ИХ пространстве, приняли — за равного, приняли — за жизнь, стали извлекать урок из чуждого... началось обучение на дурном примере, распространенная форма современного просвещения. Карамзин, навещающий Канта, которого никогда не читал, выписывающий под его диктовку на специальную карточку названия его трудов с тем, чтобы не забыть и почитать их потом, — гораздо просвещеннее современного поклонника, создавшего фетиш и добивающегося приобщения себя к кумиру, хоть бы он и наизусть освоил какого-нибудь свеженького Канта.

Не следует путать соображения с мыслью, просвещенность с образованием, опытность с опытом, мастерство с умелостью, творчество с работой, причины со следствием, природу с Богом, Бога с нравственностью, нравственность с принципами, принципы с правилами, правила со способами, способы со средствами, средства с целью, ибо нравственность — и есть цель... Да поможет нам Бог освободиться лишь от того, от чего следует освободиться! Невежда осво-

бождается всегда не от того... Даже если он страдает высшими прогрессивными побуждениями. Ноты — все-таки больше музыка, чем музыкальный инструмент, хотя звучать-то может именно он, а не лист партитуры. Человек неграмотный, но просвещенный, может, не разъяснит вам некоторых из этих, будто бы филологических, тонкостей, зато никогда не перепутает их в практике жизни. Быть просвещенным и быть нравственным — синонимы.

Писать надо молча.

Это все мне, право, трудно говорить. Я хочу окружить молчание говорливым потоком, с тем чтобы оно обозначилось бурунчиком над подводным камнем. Я хочу сказать о молчании словами. Задача напоминает желание упасть в обморок. Обморок слова. Не падается.

Но равно невозможно не упасть в обморок, когда уже падаешь в него. Не тогда человек отваливается от письменного стола, когда написал, что хотел, а когда дошел наконец, через столько слов, до цели и не в силах выдержать ее. На пределе возможностей — опять невозможность.

6. ПРЯМОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Памяти Юрия Казакова

Эпитет либо отличает, либо обозначает; если один и тот же эпитет и обозначает, и отличает, ему трудно работать. Обозначив (а не отличив) эпитетом «художественный, -ая, -ое» слишком обширные области человеческой деятельности: ...промысел, ...литература, ...кино, определив по признаку, мы теряемся в определении по качеству и выдвигаем категорию художественности уже в противовес — как редкое свойство редких явлений внутри всей этой деятельности. Но если одним и тем же словом мы определяем и профессию, и ее уровень, и изделия, и их качество, то приходим неизбежно к их неразличению. «...Захочет наказать — отнимет разум». Или, как говаривал один игрок на ход противника: «Без понятия». Если хорошие сапоги тачает хороший сапожник, то и хорошие книги пишет хороший писатель. Но если художественные книги только тогда хороши, когда отличаются художественностью, то чем тогда хороши сапоги — сапожностью?.. И кто делает, и кто носит все осталь-

ное? Писатель по природе кустарь, и сравнение с сапожником ему не претит.

Слова «художественный» и «художественность» будто утратили общий корень в современном словоупотреблении — не то омонимы, не то антонимы: одинаково звучат и противоположно значат. Мы не обходимся без интонирования, без подчеркивания, без ударения на слове, чтобы быть правильно понятыми: «художественностью» обладает лишь «по-настоящему художественное», «истинно художественное», «подлинно художественное» и вот даже «высокохудожественное», подразумевающее в противовес «низкохудожественное», что уже абсурд, как «высоковысокое» и «низковысокое».

Произносим — и не слышим. Язык же свое возьмет, обозначив противоречие. Не только самое высшее, но и самое низкое объемлется одним словом, дискредитируя понятие вплоть до оскорбления: «художества...», «художник...» — от слова «худо».

Это так просто, что вопиет. Это моление о критерии в современной речи, которую не по корням, а по смыслу разорил современное расширенное воспроизводство ценностей (как английских ткачей — станки), порожденное промышленным подходом к ценностям духовным (как разорение почвы, лесов и недр). А критерий, ускользнув, недоказуемый, неуловленный (не столько неуловимый, сколько упущенный), выступает мстителем, покрыв собою совсем иные предметы — не сапоги, чтобы носить, не хлеб, чтобы есть, не воздух, чтобы дышать: некоторое количество переплетенной бумаги, строчек, слов и запятых, обозначенных как товар лишь в подзаголовке — роман, повести или рассказы — «художественное».

Мы пытаемся разобраться в потоке, чтобы выбрать (чем прекрасно отличается литература от сапог, от любой «материи», что она — доступна, что ее необязательно «иметь» как «носить», ее достаточно прочесть). И мы выбираем то, что обладает «художественностью». Художественно, мол, разное: что с художественностью, а что — без. И тут нам опять трудно доказать и трудно с нами согласиться. Чем докажете? По какому праву проводите столь решительную дискриминацию? Ах, по чувству, по вкусу, по чутью?.. А я что, волк? Да плевал я на вашу художественность; было бы занимательно или злостно... или: ПРАВДУ давай, а не искусство.

Правда — да. Без правды нет художественности. А без художественности бывает правда?.. Знаменито рассуждение Достоевского про правду жизни и лирику: что, если кто-либо во

время лиссабонского землетрясения написал бы «шепот, робкое дыханье...», его бы линчевали, а через сто лет поставили памятник. Но растерзай тогда Фета (его португальское подобие), не только поэта бы не было... со временем могло бы пропасть и само землетрясение, потому что пропала бы возможность описывать и помнить. Память народная... Про «шепот» — ведь тоже правда. Рождается понятие «художественной правды». Художественность — ее признак.

Она признак каждого настоящего произведения, но почему-то каждый раз одного. Не могут одной и той же художественностью обладать сразу несколько вещей — всякий раз мы натываемся на то, что говорим про разное в каждом случае. Что у одного длинно — у другого кратко, что у одного подробно — другой просто не заметил. Одно и то же качество повествования: медлительность, орнаментальность, сухость, пышность, легкость и тяжесть и т. д. и т. п. — прекрасно в одном и непригодно в другом.

Художественность — есть общий признак лишь ни в чем не сходных единиц, а уникальность — не может быть общим признаком. Однако именно уникальность произведений, обладающих художественностью, и создает, в сумме уникамов, одно целое художественной культуры эпохи или народа.

Одним из признаков той уникальности, которую мы называем художественностью, для меня как пишущего является непонимание, как это «сделано». Причем непонимание это сродни восторгу: оно не раздражает, а утверждает. Не понимаю я, скажем, как писали Платонов или Зощенко, и, кажется (и слава Богу), не пойму уже. И поближе ко мне — не понимаю, как написаны «Хранитель древностей», или «Привычное дело», или... но — стоп! — сколько бы я ни набирал современный ряд, он станет лишь более спорен. А вот что окончательно и навсегда непонятно: как это у наших классиков выходило... От Пушкина до Блока — все, непонятно как. Как можно было «Медный всадник»!.. Ума не приложу.

На берегу варяжских волн // Стоял, глубокой думы полн, // Великий Петр. Пред ним катилась // Уединенная (река?).

Однажды близ пустынных волн // Стоял, задумавшись глубоко, // Великий муж. Пред ним широко // Неслась пустынная Нева.

Однажды близ балтий(ских) волн // Стоял, задумавшись
глубоко, // Великий царь. Пред ним широко // Текла пустынная
Нева // (и в море) Челнок рыбацкий одиноко.

На берегу пустынных волн // Стоял, задумавшись глубоко,
// Великий царь. Пред ним широко // (Неслась Нева). Текла
Нева — Смиренный челн // На ней качался одиноко¹.

«...По ней стремился одиноко...»

Что за удивительная ошупь! Нет, это не поиски слова. Это
извлечение из... Откуда? Из чего-то сплошного, что представало
поэту. Ни одно слово не совпадает в первом варианте первой
строфы с конечным вариантом. Кроме разве точки посреди
третьей строки, вокруг которой, как вокруг оси, и крутится
водоворот вариантов. До чего же похоже на саму воду, на
саму Неву!..

Еще потоптался:

Сосновый лес (по) берегам // В болоте — бор сосновый
Тянулся лес по берегам, // Недосягаемый для солнца
И вдруг пошло! Как по писаному...

Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца,
Да лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца...

Поэма как бы и не пишется — она проступает, словно
она уже была, а Пушкин ее лишь достал оттуда. Откуда?

Головокружительно последовательное чтение черновиков
поэмы. Она приподнимается, она растет, она проявляется (как
фотопластинка, не при Пушкине будь сказано) — не последо-
вательно слово за словом, строка за строкой, а — вся цели-
ком, своим рождением еще раз повторяя рождение города и
затопление его: «И всплыл Петрополь, как Тритон, // По пояс
в воду погружен».

Единство формы и содержания достигает такой степени,
что уже непонятно, что чему подобно: едино так, что волну от
строки не отличить. И не только потому, что сами мы тому не
свидетели, все было именно так, как написан Пушкин. Как
свидетелю и ему не повезло: и то вековое наводнение (1824),
которому он мог быть свидетелем, которое могло бы его навести
на опыт и на мысль, он «пропустил» — его наблюдал Мицкевич.

¹ Черновики цитируются по изд.: Пушкин А. С. Медный всадник.
Л.: Наука, 1978. (Лит. памятники).

Точна судьба! Конечно, Пушкин много «знал» и много «думал» до поэмы. И про Петра, и про Петербург, и про Россию, и про Стихию... Но как очевидно, что поэма подступала к нему не в виде накопленных впечатлений, мыслей и строк, а неразличимой, угрожающей, точной, н е м о й массой, неким телом, уже бывшим вовне, уже существовавшим, требовавшим лишь непосильного воплощения.

И вот еще один признак истинной художественности произведения — его не могло не быть, когда оно уже есть. Немыслимы ни мы, ни что без этого. Никакой взаимозаменяемости. «Медный всадник» существует в этом мире на правах не предмета, а сущего — деревьев, облак, рек. Без него нельзя, нелепо, не... Без него мы не мы, себя не поймем. Он входит как кровь в историю и как история в кровь.

Расхоже и досуже суждение о том, что гении — наиболее воплотившие себя люди. Но — лишь как представители рода человеческого... не по отношению к самим себе. Не нам даже и представлять, каков у гения вход, что стояло за ним в часы озарения, мы видим вы ход, результат, он нам ослепителен, и это мы утверждаем, что он им равновелик. «Что хотел сказать автор?» в «Войне и мире», по утверждению самого автора, равно всему роману. Не короче. Но вполне возможно, что еще длиннее.

Художественность достигается, когда... Поучительный тон начала этой фразы может быть прекращен лишь ее продолжением: когда автор понятия о том не имеет, что у него получится, когда он впрямую предстанет перед гипнотизирующим его слепым замыслом. Художественность достигается тогда... всегда, когда перед автором простирается никогда не сказанное до него — немота («Бродил я тихий и туманный, // Заветным умыслом томим!»). Слова, единственно найденные, — не есть слова отобранные, слова накопленные, не есть куча. Слова приходят «в безмолвии трудов», в сам момент творения, и именно те. Как в жизни поступок не может быть совершен задним числом, так и великое единство текста не может быть соткано из одного лишь мастерства и опыта — оно рождается. И у гениев вещи, написанные на одном лишь их великом мастерстве, не дышат по сравнению с их подлинными созданиями. Воин не состоит из мышц и лат, они лишь подспорье в бою. Вопрос художественности — это прежде всего вопрос, тем ли делом занят пишущий: пишет он... или что другое...

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем...

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.

Это свидетельство о процессе — в ту же осень, что и «Медный всадник»... А вот — антипод, в том же году:

О вы, которые, восчувствовав отвагу,
Хватаете перо, мараете бумагу,
Тисненью предавать труды свои спеша,
Постойте, наперед узнайте, чем душа
У вас исполнена — прямым ли вдохновеньем
Иль необдуманым одним поползновеньем...

Л. Толстой как-то раз сказал по подобному случаю:

«Я всегда думал, что писатель пишет тогда, когда ему есть что сказать, когда у него созрело в голове то, что он переносит на бумагу. Но почему я должен писать для журнала непременно в марте или октябре — этого я никогда не понимал».

Значит, еще и вдохновение (как бы его ни пытались компрометировать профессиональные писатели). Причем прямое. Вдохновение, по-видимому, явление куда более всеобщее (как любовь, как вера), чем художественность, которая является его непременным проявлением, но всегда в облике индивидуальном. Во вдохновении — меньше всего с ебя. Прямое вдохновение рождается на самом обрыве реальности, перед молчаливым образом, в окончательном собственном онемении («...муза // Мне услаждала путь немой // Волшебством тайного рассказа!»). Замысел не просто затруднителен в воплощении, он — невоплотим. По сути, невоплотимость замысла — условие и исток художественности: предстоит больше, чем способен, а получилось — больше, чем хотел. Замысел — всегда тайна, которую предстоит узнать, а не та, что уже тебе известна. Известное — болтает, неизвестное — говорит. Это сама жизнь говорит вокруг, шелестя немотой, настаивая на себе. На нашем сегодняшнем языке «неизвестное» можно назвать «современностью». Вдохновение, может быть, лишь акт перевода с языка жизни, что объемлет нас,

на язык слов человеческих. «Над вымыслом слезами обольюсь...» — это не сентиментальные слезы, не слезы довольства — восторг неожиданности. Поверить в то, что опять получится, что еще раз с тобой такое случится, невозможно — а вот опять...

Модное еще недавно понятие «подтекста» как некоей высшей формы художественности исчерпало себя в профессиональных упражнениях. Оказалось, что подтекст — это не то, что «подсовывают» и эффектно скрывают в произведении на манер потайного ящичка, вскрыть который особенно льстит ценителю, подтекст — не новость и не открытие. Он всегда есть во всяком произведении, отмеченном печатью художественности. Это хотя бы личность автора, его отношение к описываемому, всегда наличествующее, но тем более подтекстовое, чем более пытается он эту свою личность из текста устранить. От подтекста не денешься. За пределами текста (но каким-то образом связанные с ним) витают вещи и покрупнее подтекста: это не то, что — под, а то, что — над, надтекст, если уж сказать. Надтекст — нечто превышающее текст, из него никак не вычитаемое и не вычитываемое, но каким-то непонятным волнением с ним скрепленное: будто след, невидимая память о вдохновении писавшего («Я слышу, верные поэты, // Ваш очарованный язык...»).

Мы увлечены сюжетом или сочувствуем героям — прекрасные состояния! Но над страницами, отмеченными художественностью, мы волнуемся особым образом, и с п ы т ы в а я в душе, быть может и с меньшей силой, то же, что и далекий и даже давно живший автор. Я нахожу природу этого волнения не в словах, которые читаю, и не в потайных смыслах. Того, что меня волнует, и нет на бумаге! Это память о творении, это — живое. Живое, как мое «сейчас».

Художественность — это когда написанное необъяснимо больше себя самого. Мастерство — вещь ограниченная, оно больше себя не бывает. Художественность — это таинственно уложенное в книгу высокое авторское чувство, каждый раз воскресающее в душе читающего («Люблю ваш сумрак неизвестный // И ваши тайные цветы...»). Может, и не то, что написано, как бы прекрасно оно ни было. А вот это чудовищное, непосильное человеку (а вот, оказывается, и посильное!) усилие преодоления немоты, чем-то нам такое знакомое!.. Чем? Бесспорным узнаванием. Узнаванием себя, узнаванием того, что мы знали, да не познали, чувствовали, да недочувствовали, думали, да недодумали. Это печалит и радует, понуждает сопереживать... Но это волненьице — лишь условие того волнения, которое вы испытываете при настоящем чтении, когда «душу

выворачивает». Душа-то ваша, и нигде на бумаге, если вы задаетесь целью отыскать источник, ваше чувство не обозначено. Оно застряло неизвестно где, это волнение писавшего, оно то же, что и по поводу жизни, общее для пишущего и читающего, как для каждого живущего. Та же неизвестность следующего мгновения, то же немое преодоление, та же необеспеченная воля к счастью и красоте... Вот что похоже-то!!! Гораздо, быть может, больше, чем та картина, которую столь правдиво удалось воспроизвести автору, похоже на жизнь то, что автор испытал за письменным столом: любовь, боль, гнев, отчаянье, восторг («Беру перо, сижу; насильно вырываю // у Музы дремлющей несвязные слова. // Ко звуку звук нейдет... Теряю все права...»). Писатель, быть может более всех позаботившийся о художественности современной прозы и более всех немотствовавший, признавался, что взялся за перо, потому что с детства страдал от заикания¹.

Усилие преодоления немоты подобно самой жизни, проживаемой в том же усилии и в той же невысказанности. Но даже и эта удача пишущего — высказанность, — как и удача жизни, опять однократна, опять не утратила тайны, а погрузилась в новую, ее обнимающую немоту, предстоящую ей, опять ничего до конца не разрешила... Но честность этого усилия безусловна; она-то — и нравственна, и гражданственна. «Таков прямой поэт». И этот след «прямого вдохновенья», неповторимый, неумирающий и волнующий (сверхтекст, надтекст...), — и есть художественность, которая для нас неоспорима. Каждый раз, выходя из этих строгих вод немоты, автор — другой, как после крещения. Другой, на некоторое время, и читатель, окропленный им.

Да ведь и любая жизнь — больше самой себя! Потому что она — и твоя, смертная, и — вечная (сейчас не о той вечности речь...). Смертная — твоя, вечная — человека, такого же, как ты, но другого, но любого, но каждого, прошлого, настоящего и будущего. То есть в каждом из нас своя жизнь объемлет и жизнь человека. Так и произведение, отмеченное печатью художественности, содержит в себе не только себя, но и всю литературу как феномен. Но как не воспользуешься жизнью в «высшем» смысле, не проживая свой, частный смысл, так невозможно и стать большой литературой, минуя смертную малость каждой своей строки. Нет способа жить у живого человека, нет способа писать у пишущего. Они — свободны,

¹ См.: Казаков Ю. Поедемте в Лопшеньгу. М., 1983. С. 532.

и литература, и человек. И потому и живы, и новы, и вечны, что личны и смертны. И один человек — условие человечества, как одна книга — условие литературы. Мастерство — частно, оно вроде «умения жить». Художественность же — это не профессиональный признак, это не способ, а та «тайная свобода», о которой говорили Пушкин и Блок.

Терпенье смелое во мне рождалось вновь...

7. ПРОЗА И МУЗА (ПЕРЕМЫШЛЕНИЕ)

Я беру перо в руки (сажусь за машинку) и не знаю, каким будет первое слово. Оно и впрямь может быть любимым. Зато я могу быть уверен, что последнее слово будет с ним связано. И тогда первое слово, по необходимости, станет единственным. Мне надо будет потревожить все слова, по которым пробежал живительный электрический смысл, чтобы заменить первое слово, возникшее так легкомысленно и случайно, в вялости, неопределенности или тоске. И я не могу их потревожить, не прервав цепи. Эта целостность называется ТЕКСТ. Он несет на себе печать рока и судьбы. Он произошел, он уже не может быть другим. Точка.

Не стоило бы заниматься все тем же делом, если бы в нем каждый раз не оказывалось все той же тайны — неисповедимого отличия слова начертанного от слова произнесенного. Не стоило бы им заниматься, если бы мы уже знали текст перед написанием, если бы мы его записывали. Но мы его не записываем, а списываем с невидимой, прозрачной, несуществующей доски, где следующее неведомое слово следует за предыдущим с предопределенной не нами неизбежностью. Итак, мы пишем.

И пишем мы ПРОЗУ. Так называется неустная и нестихотворная речь, организованная границами текста. Она отличается от той и от другой и вряд ли помещается между.

Литературоведение, безусловно, не раз описывало, что это такое, доходя до собственных степеней точности, и то лишь в тех случаях, когда само ученое слово оказывалось подвластно неумолимому закону организации текста, властвующему над Прозой. И точность обретенного смысла всякий раз оказывалась заточенной в текст. Рассуждая лишь о композиции, о жанре, о ритме и так далее, наука прежде всего уходила в сторону от предмета описания, становясь россыпью слов, ничем кроме косной дисциплины не организованной. Уж если подхо-

дить к телу прозы для описания, сначала следует увидеть тело и как-то назвать его. Я отделался, назвав его Текст, критики охотнее отделяются жанрами, поспешно переходя к описанию именно жанра, а не Прозы. Но и от определения жанра уходят они почти с тою же поспешностью, дабы перейти к его особенностям, но совсем комфортно становится им лишь тогда, когда особенности не определенных ими как целое предметов начнут они отмечать как индивидуальные отличия того или иного автора. Не означает ли эта лишь различительная способность крайне приблизительного представления о предмете исследования? Не говорим ли мы лишь о различии по цвету алмаза от изумруда, все еще не имея в себе даже такой степени обобщения, как, что то и то — камни. Рассказ Чехова или повесть Гоголя описываются с видом более подробного исследования предмета, нам хорошо известного, с тем профессиональным видом, с каким топограф ведет очередную съемку, заранее зная материк, на котором находится. Но карты рисовались и до того, как стало окончательно ясно, что земля шар. То, что само собой разумеется, чаще нам просто еще неизвестно. Литература описывается снаружи с видом естественного перехода от общего к частному. Между тем легкость и быстрота этого перехода непременно к частному как раз и подозрительна. Сейчас мы уже не найдем не то что аристотелевского, даже лессинговского усилия описать целое, как будто все это, раз попробованное в античные времена, там и сделано, а не оставлено в самом начале раздумья.

Иначе с чего бы несерьезным показался бы вопрос об объеме произведения? И так и этак определяют жанр, но никак не вернутся к самому простому и изначальному способу описания — по объему.

Потому что мы не можем уяснить себе природу преобразившегося в прозе расхожего слова с помощью вопросов «как?» и «для кого?». Ответы на эти вопросы опишут нам лишь внешнюю, каждый раз на поверку частную структуру. Единственный подход для описания этого феномена мерещится нам лишь в ответах на «кто?» и «зачем?».

Представив себе того смущенного решимостью взять перо в руки, мы видим чем-то мучимого, отвлекшегося от насущного хлеба человека и, прежде чем сумеем ответить на вопрос, зачем это ему нужно, с легкостью спишем самое простое из того, что нам предстоит, а именно: сколько он сейчас напишет (объем), — и таким образом заранее освободимся от проблемы жанра. При самом могучем подъеме, без остановки и передышки, рассвет застигнет его на тридцатой странице, и если он на

этом закончит произведение, то точка эта означает рождение нового рассказа или статьи. А если это не будет конец, то будет это — глава, и даже если глава не помечена заголовком, звездочкой или цифрой, даже если перед автором маячит недостижимый образ непрерывности целого, будет там невидимый отступ, перемена почерка, тайный след переведенного дыхания. Неохота даже оговариваться, что рассказ может писаться и месяц, и год («точиться»), нам важно, что в принципе жанр рассказа, статьи и главы может быть обозначен самой возможностью написать это враз, одним духом, за один «присест». Это жанр — из одной точки состояния духа, где именно это состояние и выдерживается, жанр, на котором, в пределах одного произведения, с автором не произойдет (не успеет) той жизни, которая его изменит и приведет к невозвратности всех тех сочетаний духа, времени и плоти, в котором мог родиться именно тот рассказ. Стремление растянуть единое состояние, необходимое для написания более обширного произведения, знакомо каждому пишущему. В наш быстротечный век удастся это с великим трудом, да и не удастся. Однако, скажем, на неделю, с помощью всевозможных исключений и ограничений, можно сохранить («растянуть») состояние, принципиально адекватное первому дню. Такая максимальная возможность определит нам такой жанр, как повесть. Да, не умываясь и не чистя зубы, можно проснуться в продолжении прерванной строки. Но вряд ли вытянуть нам подобное подвижничество, а скорее, вряд ли улучшить нам такую возможность за пределами украденной у жизни недели. Неизбежно сомкнется и закипит бурными мусорными водоворотиками прорвавшая халтуру нашей творческой запруды — Жизнь. И вы уже не вернетесь к заброшенному тексту прежним, не можете ступить в эту реку дважды. И тогда роман мы опишем как жанр такого объема и такой протяженности, при котором невозможно, чтобы автор продержал каким бы то ни было усилием состояние, в котором приступил к нему. Роман — это жанр, в котором неизбежно меняется сам автор, жанр отражающий, чем дальше, тем больше, изменение не столько героев, сколько самого автора. Время — это неизбежность отношений. В романе неизбежны отношения автора с героем и набегающим текстом.

Об этом пойдет у нас впоследствии речь.

■

Сюртук мальчика
С модной вытачкой,
Тоньше пальчика
В фалде дырочка.

В эту дырочку
Мы глядим на свет —
Нам на вырубку
Кто идет иль нет?

Жил один сверчок
На всея Руси —
Наступил молчок...
Господи прости!..

■

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ
ТОЧКА БОЛИ

о романе
Андрея БИТОВА
"ПУШКИНСКИЙ
ДОМ"



ОТ АВТОРА

Итак, снова «Пушкинский дом»... Но уже не в громоздкой машинописной копии (я лично кровную свою тридцатку отдал когда-то за второй экземпляр); и не в красном рассыпающемся томе издательства «Ардис», осторожно передаваемом из рук в руки (двадцать книжек на всю Москву); и не в отрывочной журнальной публикации, изошренной и наивной одновременно, где, к примеру, резкое и однозначное «сидел» заменялось на многозначное и мягкое «строил»... Нет — целиком, как и был написан, — на страницах самого толстого из толстых журналов¹. Роман, «читанный-перечитанный», как уже неоднократно повторили критики, и, конечно, обсужденный-переобсужденный, у нас — устно, за рюмкой водки, а у них — и печатно...

И все же — событие, конечно, радостное, и даже радостнее многих других, уж хотя бы тем, что автор — жив и может порадоваться вместе с читателем.

Итак, миллионный тираж, доступно, удобно, кто не читал — прочтет, кто читал — перечтет или в крайнем случае непременно просмотрит, ну хотя бы на предмет наличия острых мест. Я как раз просмотрел, сличил и могу заверить: все острые места на месте, ни одно не упущено. Есть некоторые редакторские сокращения, но они действительно на самом деле продиктованы экономией места, и только ею.

И уже обсуждают роман не за рюмкой (с этим как раз теперь посложнее), а публично, печатно и как угодно.

Но случилось так, что в те давние годы, когда существовала еще только рукопись, прочтя сначала чужой четвертый, а затем и свой собственный, второй, экземпляр, я, в надежде на лучшие времена (а скорее так, без всякой надежды), написал об этой книге статью. И теперь, когда лучшие времена действительно вроде бы наступают, когда о «Пушкинском доме» пишут много и еще больше напишут, справедливо соотнося сегодняшний текущий момент со вчерашним никуда не текшим временем, — мне показалось вдруг, что и моя тогдашняя, современная исходному тексту, работа тоже может быть по-своему любопытна

¹ Новый мир. 1987. №10–12.

© Ю. Карабчиевский, 1993.

читателю. Я перечитал ее и нашел, что единственное, что я мог бы добавить, это несколько актуальных замечаний, скорей даже присказок, приближающих тему и тон разговора к сегодняшним дням. Я не стал их вписывать, авось и так обойдется. Хотелось бы думать, что не только роман, сочиненный пятнадцать лет назад, но и статья о нем — не нуждается в этом. Ведь в конце концов и в области критики, пусть с тем же, неизбежным уже, опозданием, — тоже может и должна начать торжествовать справедливость.

Москва, 1988

1

...И вновь перед нами проза Андрея Битова, писателя, чьи повести и рассказы уже давно и несомненно выдвинули его в первые ряды, а на мой пристрастный взгляд — и гораздо дальше. Но сегодня — случай особый. Мы решительно перепрыгиваем через всю пятнадцатилетнюю работу Битова, более или менее отраженную в печатной критике, чтобы раскрыть его новую книгу, в которой одна только первая часть значительно превышает по объему любую из повестей. А всего таких частей (разделов, как называет их автор) — три.

И то ли от ощущения всей предстоящей толщины рукописи¹, то ли от размеренности и неторопливости начала — эпиграф, пролог, опять эпиграф — мы сразу же осознаем важность, значительность, известную итоговость этой книги.

Мы перелистываем первые страницы романа, и начинается разговор о герое, об извечной тайне его «несуществования», о законном соответствии этой тайны бесконечной тайне материи...

«...И выплывает бабушкино слово «эфир», чуть ли не напоминающая нам о том, что и до нас такая тайна была известна, с той лишь разницей, что никто в нее не упирался с тупым удивлением тех, кто считает мир постижимым, а просто знали, что тут тайна, и полагали ее таковой...»²

Взяв такой радостный, легкий разбег, мы с удовольствием знакомимся с героем, который, как мы и думали и как надеялись, не представляет ничего неожиданного в битовском мире. Хотя, впрочем, как знать... Вот, например, он по происхождению — князь. Академическая среда, кабинет отца, запретный чай через макаронину, мечты о профессорской камилавке, обеспеченном будущем и заслуженной посмертной славе. Отец, деловитый, цветущий, занятой, не умеющий, не нашедший времени научиться делать ребенку «козу». Робеющая,

¹ Статья была написана до публикации романа в издательстве «Ардис». (Здесь и далее примечания автора.)

² Цитируется по рукописи. (Прим. ред.)

вечно озабоченная мать, мать как мать, лишь бы все было спокойно и пристойно. Детство, отрочество, юность... нет, отрочества не было. Лева Одоевцев как-то не запомнил себя в отрочестве. Он «был зачат в «роковом» году», и, значит, — прикинем в уме — 1949—1953, еще один «роковой» период, никак не отразился в его сознании.

«Мы могли бы лишь подменить эти его годы историческим фоном, но не будем этого делать: столько, сколько нам здесь понадобится, известно уже всем».

«В институте уже в пору «Юности» (журнала) приучился он расправляться в максимальных (оптимальных), но допустимых (допущенных) пределах: заполнять предоставленный объем».

Вот он и весь, Лева: оптимальный, допущенный, разрешенный. И когда он уже в основном сформировался и так удачно получился и все хорошо и прекрасно — появился первый выходец с того света, от Левиных именитых предков, «из глубины сибирских руд».

«"Куда прешь, падло!" — крикнул он, тыча кулачок в ребро дворнику, и голос его был русский, как у священника».

2

Дядя Митя, который «воевал во всех войнах, а в остальное время, за небольшими промежутками, сидел», «дядя Диккенс», на котором довоенный костюм выглядит элегантнее Левиного, сшитого по английскому журналу, — вот тот человек, вот та личность, появления которой мы, оказывается, ждали с первых строк романа. Графинчик водки, настойной на чае, — и безапелляционное «говно» по любому поводу, невообразимая мебель — и безукоризненный вкус, босые ступни на желтом стерильном полу — и дворянский унитаз в прихожей, на котором «сизивал» Бог знает кто...

Этот удивительный человек написан с такой резкой достоверностью, с такой ошутимостью невозможных качеств, с такой безоговорочной уверенностью, что не остается никаких сомнений: он существовал, он был, он не придуман, а вспомнен.

Существует в литературе некое чудо, которому мы не устаем поражаться. Это чудо — возникновение образа из сопоставления обычных, вполне достоверных и, может быть, прозаических явлений. Заземленность и ненарочитость этого акта, полная самостоятельность каждого из компонентов как бы исключают авторское волевое усилие, наводят на мысль не о рождении даже, а именно о возникновении, не о построении, а о создании. Это, по-видимому, высшая степень метафоричности, и доступна она только большим художникам.

Вот таким редким случаем органического возникновения и представляется мне дядя Митя, с его нищим изяществом, скребкой полов и шек, беско-

нечным мытьем и принохиванием. Это поразительное соответствие внутреннего и внешнего — конечно же, образ, но, конечно же, и действительность. Что здесь что обозначает и что что символизирует: моральная чистота — символ физической или физическая — символ моральной? Вопрос этот не имеет смысла. Ясно одно: появление дяди Мити привносит в Левину жизнь возможность иного ракурса, иной точки зрения; с этого времени и у Левы и у его родителей возникает смутное ощущение некоего абсолюта.

3

Появление деда, Модеста Платоновича Одоевцева, тщательно подготовлено в романе.

Сначала простое упоминание о давнем, до рождения Левы, аресте деда. Затем — отец, занимающий кафедру деда и «продолжающий его дело». Потом — дядя Митя, оттуда и такой, а рядом уже всплывают забытые дедовы статьи, и вот уже Лева рассматривает старые фотографии, которых в доме оказалось так неожиданно много.

«Куда делись все эти дивные люди? Их больше физически не было в природе. Лева ни разу не встречал ни на улице, ни даже у себя дома...»

Странная какая вещь. Следуя залевой в его взаимодействии с окружающим миром и отождествляя себя с ним, как это и полагается читателю, мы постепенно обнаруживаем, что это отождествление не только художественно оправдано — оно к тому же еще и социально справедливо!

Произнесем традиционное заклинание. Нас не должен волновать (хотя, конечно же, волнует, и даже очень) вопрос о степени автобиографичности. Речь сейчас не о совпадении тех или иных событий в жизни автора и героя. И вообще не о событиях. Речь идет о типе мышления, об особенностях восприятия, о системе реакции, которые отличают наше общество, точнее, интеллигенцию, еще точнее — поколение, родившееся в «роковом» году или около него. И в этом смысле у нас не остается никаких сомнений в тождественности Левы Одоевцева и автору, и каждому из нас, и получается, что Лева вполне соответствует тому классическому определению «типического героя в типической обстановке», над которым так часто иронизирует Битов. Лева типичен, но, конечно же, не потому, что вобрал в себя различные черты многих людей, а потому, что те стороны его ума и характера, которые могли бы быть сочтены в нем главными, суть главные черты и нашего ума и характера, и предопределенность его поступков, в которой мы каждый раз с неизменным удивлением убеждаемся, проистекает именно из этого полного соответствия героя оригиналу, который нам ох как хорошо известен. Возникает нечто вроде круговой поруки между автором, героем и читателем, когда то, что принято называть недостатками, воспринимается просто как

свойства, о которых можно судить, но которые нельзя осудить, можно ненавидеть, но нельзя уничтожить, поскольку все это вместе в каждом конкретном случае — есть именно то, что мы собой представляем, и так уж нам, видно, на роду написано...

Вообще надо было бы отметить, что, когда речь идет о прозе Битова, слова «достоинства и недостатки» звучат несколько упрощенно.

Великая война и фантастический террор не могли не повлиять на нашу оценку «положительного» и «отрицательного» в человеке. Мы стали с большей терпимостью, а иногда и с симпатией относиться ко многим естественным человеческим качествам, таким, которые раньше подлежали безоговорочному клеймению и осуждению. И наоборот, такие, например, эпитеты, как «твердокаменный», «кристально чистый» и даже «беззаветно преданный», вызывают в нас ужас одним своим звучанием. И это не оттого, что смысл этих понятий бывал часто извращен, скорее наоборот, ужас в нас вызывает именно первоначальный, истинный их смысл. Мы могли убедиться, что сила, решительность, последовательность — всегда потенциально угрожают человечеству, в то время как слабость, нерешительность, непоследовательность — в худшем случае обращиваются несчастьем для их обладателя.

Мы дошли до того в своем отрицании, что человека, который под пытками повторяет все, что захочется палачу, и подписывает всякую бумажку, которую ему подsunут, мы уже не считаем преступником и предателем, жалеем его и сочувствуем ему насколько хватает нам нашего воображения и не требуем для него, искалеченного врагами, какого-нибудь еще сверхчеловеческого наказания от друзей.

4

Итак — Лева и дед Одоевцев.

Звонит дед, приглашает Леву; этот звонок как бы рассеивает некоторый успешный уже образоваться туман, и мы с удивлением обнаруживаем, что все предыдущее было фактически уточнением, развитием, перекличкой двух жизненных линий: одной реальной, другой воображаемой. Левы — и деда, через голову отца, который все отъезжает и отъезжает на задний план, чтобы в недалеком будущем вовсе исчезнуть из поля зрения. Образ легендарного деда, в профессорской камилавке, обложенного чужими фолиантами и своими гениальными рукописями, абсолютно совпадает с той высшей точкой движения, какую мог представить себе Лева.

Что же оказалось, вернее, чего не оказалось, чего не было в этой встрече из того, что ожидал с таким волнением Лева? На это можно ответить коротко: не было праздника. Лева ждал праздника, а его не было. Его не было уже давно, вся жизнь была вокруг сплошной неспраздник, Лева как-то не заметил этого, прожив двадцать лет в комфортабельном родительском гнездышке.

На месте кожаного кабинета, заваленного фолиантами, оказалась заплеванная, вопиюще грязная комната, с неаппетитными огурцами на мокром столе и... без единой книжной полки. Вместо почтенного ученого — страшный хромой старик с полумертвым лицом (буквально: мертвым наполовину: опять — образ реальности, реальность образа). И наконец, вместо радостного общения «на высшем уровне», вместо восторженно-торопливого обмена замыслами и оценками, вместо нарастающего чувства взаимной близости и обоюдной душевной тонкости, вместо всего этого — тоска одиночества, пустота отчужденности, острая боль от сознания собственного ничтожества.

«"В семени уже предательство! В семени!" — орал, сидя на стуле, дед, не то стонал. Бескорыстно уже, абстрактно!...»

Поразительная абсолютная независимость дед, ему не к кому приравниваться, не перед кем заискивать: ни перед настоящим, ни перед будущим, ни перед «народом», ни перед собственной совестью.

«Почему же незаслуженно? — возмущался он. — Я именно заслуженно пострадал... За-слу-жен-но! Меня посадили за дело... <...> Господи, они еще спрашивают и удивляются, когда, мол, все это началось? Да давно, давно началось! Когда интеллигент впервые вступил в двери в разговор с хамом — тогда и началось. Гнать надо, в шею! В отношении меня все справедливо у этой власти. Я не принадлежу к этим ничтожным, без гордости, людям, которых сначала незаслуженно посадили, а теперь заслуженно выпустили. Власть — есть власть. Будь я на ее месте, я бы себя посадил. Единственно, чего я не заслужил, — так это вот этого оскорбления реабилитацией. Меня уже не страшно: я — шлак...»

И совсем уже убийственная точность:

«Восхищение осколками, периферийным мусором бывшего здания дедовского духа служило ему дополнительным, непереносимым уже оскорблением».

Круг замкнулся, действующие лица пришли в окончательное взаимное соответствие, а вернее будет сказать — в окончательное несоответствие, несовместимость, полную невозможность сосуществования.

«Раздеваясь, он почувствовал, что стал хуже за этот день», — замечает Битов.

Есть в этой фразе один — особый — оттенок, который уже не раз обращал на себя внимание на страницах романа, есть одно слово, которое теперь нельзя не подчеркнуть. Битов не пишет, что Лева стал хуже, он пишет, что Лева «почувствовал», как стал хуже. Эта незначительная, казалось бы, оговорка, эта естественная уже для Левы рефлексия выдвигает на передний план тему, которая вообще, на мой взгляд, является главной темой битовской прозы. Это — тема совести.

«Дом, честь, достоинство, как и девственность, употребляются лишь один раз в жизни, когда теряются. Им пришлось подсознательно сделать вид, что никакой измены не было, и никогда больше не прикасаться к этому вопросу, чтобы, не дай Бог, не расковырять его и не выпустить на свободу джинна совести, *испепеляющего русскую душу со скоростью света*» (курсив мой — Ю. К.).

Это — об аристократах, к которым по рождению принадлежит Лева Одоевцев.

Тема совести — традиционная русская тема. Вся наша литература — об этом, и все главные проблемы, терзающие русских писателей на протяжении ста лет, могут быть сведены к взаимоотношениям с совестью. Любые муки может претерпеть русский писатель — нищету, обиды, издевательства — все выдержит и еще спасибо скажет. Одного он не может терпеть — мук совести. Не может, и оттого постоянно терпит...

И вот уже Лева готов окончательно, и начинается новая про него история, в которой главную роль играют женщины (мальчик вырос...), женщины — и Митишатьев.

5

Кто такой Митишатьев? Митишатьев — это вроде бы некое злое начало, которое не противостоит Лева (в этом случае мы должны были бы признать Леву добрым началом, а он таковым, конечно же, не является), но обвивает его как змея, проникает в него повсеместно и постоянно всасывает, впитывает его в себя. Митишатьев — бес, и оттого он вьется вокруг Левы и встречается всюду на его пути, что ведь и Лева — не праведник, а очень даже подходящий объект для растления и совращения.

И вот начинается эта жуткая история с кольцом Фаины, где сплетаются в тесный клубок любовь и ненависть, застенчивость и нахальство, порок и добродетель, радость и отчаяние, преступление и наказание — и какие еще бывают пары?

И уже автор, по-прежнему сочувствуя Лева и понимая его, не очень-то ему доверяет и порой перекладывает на свои многотрудные плечи заботу о его совести.

«Никто не виноват, что жизненность воплощается в наше время в самых отвратительных и, прежде всего, подлых формах. Никто не виноват, потому что все виноваты, а когда виноваты все, прежде всего виноват ты сам.

Но жизнь уже строится по такому костяку, чтобы люди никогда не сознавали своей вины, этим способом и будет воплощен рай на земле, самое счастливое общество».

Это сказано прекрасно, но это сказано автором. Лева — теперешний — этого сказать уже не мог бы.

Ну — нет так нет, не можем же мы укорять автора за эту Левину разрыхленность, за расплывчатость его характера. Таков Лева, автор не брал на себя обязательства написать железного парня, к примеру, Левинсона или Павку Корчагина.

Но беда в том, что другая расплывчатость, другая разрыхленность начинает беспокоить нас при чтении второго и третьего разделов, а точнее, последней трети романа.

Перед нами проходят уже упоминавшиеся Левины женщины: Фаина, единственная, всегда желанная (потрясающе написанная вечеринка с мучительной ревностью и кражей кольца, вездесущий Митишасьев, которого нельзя вынести, но от которого и невозможно избавиться); затем Альбина, интеллигентная, умная, своя и ненужная; и, наконец, Любаша, совсем уже неважная и незаметная. И вот, читая такие достоверные, такие насыщенные чувством и действием страницы о частной жизни Левы Одоевцева, мы постепенно, к концу второго раздела, начинаем ощущать какую-то вялость, замедленность, как бы усталость мышц. Реальность, не только блестяще описанная, но и многократно подтвержденная автором, как бы заверенная его словом и подписью, становится в нашем восприятии все менее реальной. И все чаще встречаются авторские сомнения в достоверности и необходимости того, что происходит, и попытки возвести в сознательный прием выход ситуации из-под контроля.

«Так ли они говорили? <...> Не так, конечно, они говорили, но именно это!»

Но читатель уже набрал инерцию, и он уже сомневается дальше, уже сам, без помощи автора: а это ли? а быть может, не это? Заданная условность повествования, закрепленная на протяжении сотен страниц совместным трудом автора и читателя, не выдерживает настойчивого саморасшатывания. Мощное автолитературоведение также не укрепляет структуры романа, а, напротив, наваливается на его условную плоть всем своим безусловным весом и порой почти целиком заменяет собой.

Здесь находит свое выражение главная опасность на трудном, полном опасностей пути Андрея Битова. И об этом, конечно же, надо не вскользь, а весомо, подробно и обоснованно. Но уж лучше где-нибудь в другом месте, в другое время... а лучше и вовсе не надо. Что бы ни было, Битов всегда остается Битовым. Мы могли бы сказать о нем теми же словами, какими он сам говорит о Диккенсе: что у него «и недостатки были чертою и их можно было любить. Личность!»

И вот, любя своего автора, со всем тем, что мы считаем его недостатками, мы и отодвинем подальше в сторону те куски текста, которые, как нам кажется, теряют свойства реальности — то ли сами по себе, а то ли под натиском многослойной авторской рефлексии. Мы, конечно, не вправе изменить композицию романа, но собственный наш разговор о нем мы можем вести в любом порядке. И теперь мы переходим к особой главе под названием «Дуэль Тютчев-

ва» — главе, тоже вроде бы выходящей за рамки, но в которой на самом деле сплелось столь много, что она в читательском восприятии становится едва ли не центром всего повествования.

6

Глава эта впервые сталкивает нас вплотную с профессией Левы, которая играет немаловажную роль в романе и о которой до сих пор (до конца второго раздела) говорилось совсем немного и лишь в общих чертах.

Вопрос о профессии героя — специфический вопрос современной литературы вообще и русской в особенности.

Вся наша жизнь все более и более связывается с профессиональной деятельностью. Дифференцировка общества по сословиям и классам фактически уже заменилась дифференцировкой по специальностям. Современное наше общество производительно, производственно, профессионально.

«Кто это?» — спрашивали когда-то прежде. И отвечали: «князь такой-то», или «воронежский помещик», или, в крайнем случае, «адвокат» — с ударным нерусским «о». Редко когда мелькал инженер: строитель или путеец.

«Кто это?» — спрашивают теперь. И отвечают... Ну, тут список бесконечен.

И как бы мы ни презирали «производственные» романы недалекого прошлого, следовало бы нам признать, что они плохи не тем, что производственные, а тем, что плохие. Вся литература теперь — производственная, в том смысле, что она не может не касаться профессиональной деятельности.

И вот я хочу высказать такую реакционную мысль, вполне, может быть, согласную с официальной точкой зрения. Мне кажется, что современный художник, а особенно писатель, а особенно русский, — непременно должен, просто обязан, знать хотя бы одну «положительную» профессию. И не только знать, но и владеть ею. Только в этом случае им может быть достигнуто равновесие с окружающей средой, необходимое для точного ощущения реальности.

И тут важно вовсе не «уважение ко всякому труду», важно скорее обратное: только профессиональные знания могут избавить человека искусства от пиетета по отношению к неизвестным ему и таким снаружи таинственным профессиям. И тут достаточно знать одну, чтобы не падать ниц перед остальными.

Вспомним хотя бы бесчисленные романы, фильмы и пьесы об ученых, где тщеславный бездарь крадет открытие (или чертежи) у одинокого гениального фанатика; где к пожилому ученому обращаются, как в студенческих анекдотах, «профессор», как будто это звание дается взамен имени-отчества, и где старый академик и молодой аспирант за рюмкой водки решают проблему фотонной ракеты на уровне приложения к газете «Известия»...

Но вернемся к Битову. Я уже дал однажды клятву не касаться личности автора. Теперь я ее с легким сердцем нарушаю. Мне, например, чрезвычайно

важно знать, что Битов по образованию — инженер, что он, худо-бедно, имеет представление о математике, и о физике, и о пресловутом сопрямате, что он знает, отчего течет ток и чем занимаются (и чем не занимаются) в загадочных «почтовых ящиках». И я вполне допускаю, что были времена, когда он проклинал свою первую профессию и всю связанную с ней работу за то драгоценное время и совсем уже бесценные душевные силы, которые она отнимала у литературы, но я в то же время нисколько не сомневаюсь в наличии у него чувства благодарности по отношению к своему традиционно халтурному специальному образованию, к своей непрошенной работе «по распределению» (если она была), к вынужденному, не туристскому общению с техникой и работягами.

Что дал ему этот недолгий опыт? Знание жизни? Да, но не только. Он дал ему чувство равновесия с окружающими людьми, дал способность переливать не только из себя — в них, но и из них — в себя, и он дал ему, наконец, чувство меры, позволяющее с достоинством и юмором, без пренебрежения, но и без излишнего пиетета говорить о любой профессиональной деятельности.

«Пушкинский дом» — роман о филологе, и то, что он филолог и потомок филологов, не менее важно, чем то, что он потомок князей.

Мы уже слышали от автора о его одаренности, слышали мимоходом упомянутое название статьи: «Три "пророка"»¹. слышали, но не очень-то верили в то, что реальность Левиной работы сможет приблизиться к реальности его самого как героя романа. И вот — произошло чудо материализации, и статья эта — перед нами, как «объективная реальность, данная нам в приложении».

Собственно, перед нами не сама статья, а ее пересказ, но это как раз еще интереснее.

«Статья эта, — замечает Битов, — не о Пушкине, не о Лермонтове и, тем более, не о Тютчеве, а о нем, Леве».

И не о Леве, а о нем, Битове, — так и хочется нам добавить. Но мы не станем этого делать, это была бы nepозволительная вольность. Конечно же, отложив в сторону книгу, мы можем с уверенностью сказать, что все это написал Битов. Не Бог вещь какое открытие. Но если мы не хотим прорывать тонкую оболочку повествования и вылезать за его пределы, то нам придется признать, что статья «Три "пророка"» написана Левой, именно Левой Одоевцевым, а не Андреем Битовым. «Я рад всегда заметить разность между Онегиным и мной».

Начинается Левина статья с остроумной подтасовки, с одного из многих мистико-математических обобщений, связывающих числа и судьбы.

«Человек с 27 лет начинает ведать, что творит. Полное сознание подвигает его на единственные поступки.

¹ См.: Битов Андрей. «Три «пророка» // Вопросы литературы. 1976. № 7.

Перед ним три дорожки, как перед богатырем. Бог, черт или человек. Или. может быть. Бог, человек, смерть.

Пушкин выбрал Бога, Лермонтов предпочел смерть прерывности. Тютчев продолжал жить п р е р ы в н о. Загробное существование».

Научная основа действительно жидковата. Ну и Бог с ней, с научной основой. Главное — то, что с самого начала все в этой статье органично и внутренне непротиворечиво, а оттого — убедительно.

Три стихотворения трех поэтов, написанные в одном и том же возрасте на одну и ту же ключевую тему, — впечатляющее совпадение!

И вот уже каждую строфу лермонтовского «Пророка» воспринимаешь не иначе как по-Левинуму: две первые строчки — гордые, пушкинские, зрелые, а две вторые — жалобные, лермонтовские, детские.

И уже невозможно себе представить, что «Безумие» Тютчева написано иначе как в ответ на пушкинского «Пророка» — ответ тайный, насмешливый, злой...

«Пушкин отражал мир... Лермонтов отражает себя в мире открыто, у него нет за пазухой... Тютчев более обоих искусствен, он скрывает. («Молчи, скрывайся и таи» — гениальные стихи, в том же тридцатом году: их тоже привязал Лева к своей мельнице)».

Таких ремарок — «привязал к мельнице» — много в этой главе, и они, как ни странно, ничего не принижают и не обесценивают, а, наоборот, в силу закона парадоксальности сообщают всему сказанному реальный объем, психологическую живость и человеческую теплоту.

«Так рассуждал Лева», — говорит автор, и это позволяет ему как бы нейтрализовать академичность материала, избежать шкотливого положения, когда всякая вольность по отношению к канонизированному гению может быть воспринята как претензия или даже цинизм.

Только однажды, может быть, дистанция сокращается до нуля. Это когда Лева говорит о мастерстве Тютчева.

«Он, такой всем владеющий, не выражает себя, а сам оказывается выраженным.

Так заключает Лева, пытаясь сформулировать некий парадокс мастерства: ...Только откровенность — неуловима и невидима, она — поэзия; неоткровенность, самая искусная, — зрима, это печать, каннова печать мастерства, кстати, близкого и современного нам по духу».

Здесь происходит короткое замыкание между автором и героем романа — слишком уж велика напряженность поля, слишком важна для Битова эта второй уже раз и с одинаковым нажимом высказываемая им мысль. Автор выдает себя и не скрывает этого. «Некий парадокс мастерства», сформулированный Левой, уже высказан ранее Битовым в предисловии к «прозе Диккенса».

«Что же мы узнаем из этого листика, если в нем нет сплетни? Стиль. «Тайну», о которой мы говорили, несет в себе стиль, а не сюжет... Потому что стиль есть отпечаток души столь же единичный, как отпечаток пальца есть паспорт преступника. И здесь мы приходим к давно любезной нам мысли, что никакого таланта нет — есть только человек... Так, хорошие и умные — талантливые, а плохие и глупые — нет.

...И никогда еще (что нас постоянно утешает) никто не сумел скрыть ничего в слове: и если он лгал — слово его выдавало, а если ведал правду и говорил ее — то оно к нему приходило...

Чистого человека всегда найдет слово, и он будет, хоть на мгновение, талантлив. В этом смысле про «талант» нам внятно лишь одно: что он — от Бога».

Этот «обратный повтор» важен нам не только для подтверждения и усиления, он важен главным образом как некоторая морально-этическая программа Битова, как критерий его отношения к литературе — и не только к литературе.

Профессия писателя — говорить правду. У пишущего человека просто нет другого выхода, и любые попытки утаить и замаскировать оборачиваются «канновой печатью» — мастерства или не мастерства — это уже другой вопрос. Талант и ум, талант и искренность, талант и чистота — неразделимы, и это очень важно для Битова, и очень важно для нас, потому что без ясного ощущения этого художественно-этического единства мы никогда не сможем понять Битова как писателя.

И что удивительно: статьи Левы, замечательная сама по себе и, как мне кажется, задуманная Битовым отдельно и задолго до романа (может быть, именно в 27-летнем возрасте — почему бы и нет?), прекрасно ложится в русло повествования и выглядит в нем органичнее иных специально написанных глав.

Перед нами снова яркая и психологически напряженная притча, где разыгрываются все основные положения битовского мировоззрения. Это словно бы такой публичный диспут. Что есть талант? — задаем мы схоластический вопрос Андрею Битову, и он в ответ рассказывает нам историю, в которой действуют известные нам лица, но в необычной ситуации и в неожиданной функции. Он рассказывает историю и даже сам формулирует мораль, чтобы мы не утруждали свои драгоценные головы мучительным размышлением. Но мы все-таки утруждаем, потому что история — сложнее морали, и если, с научной точки зрения, она еще может вызвать возражения, то с точки зрения человеческой — несомненно.

Да и что такое в литературе «научная точка зрения»? Так называемая наука филология доказательна лишь в той степени, в какой она сама является искусством. В искусстве же могут быть истинными и противоположные утверждения. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно собрать воедино те отдельные качества, за которые ценят филологи великих и признанных. Верность традиции — и разрушение традиции, стилистическая строгость — и стилистическая свобода, композиционная цельность — и нарушение компози-

ции, лексическое единство — и внедрение прозаизмов, насыщенность — и прозрачность, целостность — и фрагментарность, гармония — и дисгармония — все эти взаимно противоположные качества равно свидетельствуют о величии, как могли бы свидетельствовать о ничтожестве.

Здесь ясно одно: талантливость есть мера убедительности.

И вот мы прочли статью Левы Одоевцева — и полностью ею убеждены, и не надо нам иных версий, мы просто знаем о них не хотим!

И когда мы вот так горячимся и отстаиваем истинность и новизну сделанного Левой открытия, в этот как раз момент Андрей Битов — удивительный все же писатель — выливает на наши головы ушат холодной воды. Его трезвый иронический ум не может допустить, чтобы идея стала догмой. Даже если это его собственная идея. Тем более, если собственная...

«Мы думаем, что если бы версия, подобная Левиной, могла бы получить столь же широкое и предписанное распространение, как и существующая за «научную», то она бы быстро стала столь же скучна и безкусна, как все легенды о прогрессивной пресметственности, о дружбе великих людей, об эстафете поколений и прометеевом огне...»

Не успокоившись на этом, он хватается за шиворот несчастного Леву и решительно низвергает его с олимпийских высот, на которых тот только что с несомненностью находился.

«Ах, если бы это был Лева! (а не Тютчев). То он бы обнял, то он бы прижал к сердцу Александра Сергеевича — но хватит, он уже обнимал раз своего дедушку.

Тютчев же — на своем месте. Он так же не заметил, что с ним стрелялся Лева, как Пушкин (если Лева прав) не заметил, что с ним стрелялся Тютчев».

И однако, когда в конце концов мы приходим к отправному пункту — к Лева, который все это написал, то все происшедшее с ним ранее и могущее произойти в дальнейшем приобретает особый смысл, особую значительность, во всех событиях отныне чувствуется повышенная напряженность, иная цена.

Потому что теперь мы уже точно знаем, что Лева не просто рефлексирующий неврастеник, сумевший недурно устроиться (хотя и это тоже), — мы знаем, что он талантлив. И вот здесь-то намечается, еще не очень ясно, первый мостик между ним — и дедом, первая точка их духовного, подлинного, не формального родства.

Но и в вечной системе «Моцарт и Сальери», где каждый, кроме настоящего Моцарта, играет двойную роль, ему находится вполне определенное место.

Пушкин — Тютчев. Тютчев — Лева... Короткая эта цепочка здесь не обрывается, потому что и на Леву нашелся свой Сальери. Что ж, в конце концов Лева заработал право хоть какое-то время побыть Моцартом.

Итак: Пушкин — Тютчев, Тютчев — Лева, Лева — Митишатьев...

Они пьют водку и зубоскалят, и звонит телефон. Лева снимает трубку — и вдруг происходит чудовишный фокус-покус, и перед нами уже — два Левы, и один пьет с Митишатъевым, а другой разговаривает с Бланком, и эти два Левы несовместимы друг с другом, как несовместимы Бланк — и Митишатъев.

Да что за человек такой — Бланк?!

Такой человек... Исаия Борисович Бланк.

Но сначала — еще два слова о Митишатъеве. Появлению Бланка, говорит Битов, мог предшествовать такой, например, диалог о свряях:

« — Что же ты имеешь против них?

— Евреи портят наших женщин, — твердо сказал Митишатъев.

— Как так?

— А так. Потом, они — бездарны. Это неталантливый народ.

— Ну, уж это ты извини!.. А как же...

— Только не говори мне ничего про скрипочку.

— При чем тут скрипочка? — Лева вдруг рассердился и перечислил поэтов.

Митишатъев их всех отверг.

— Ну, а Фет? От Фета-то ты не отречешься?

— Фета оклеветали.

— Ну, а Пушкин? — озарило Леву. — Как — Пушкин?

— При чем тут Пушкин? — пожал плечами Митишатъев. — Он — арап.

— А арап — знаешь что? Эфиоп! А эфиопы — семиты. Пушкин — черный семит!..»

Диалог, безусловно, не настоящий, нарочито вымышленный. Битов не мог пройти мимо этой темы. Не должен был пройти. И, конечно, Митишатъев-антисемит — это так естественно. Но так же естественно и другое: что никакой серьезный разговор между ним илевой невозможен в принципе.

«Преодолеть — потерпеть поражение, потому что признать».

Но еврейство Бланка — только повод для Митишатъева оскорбить и унижить его. Еврейство Бланка никак не связано слевой, оно и не существовало для Левы до этого момента. Что же такое Бланк — для Левы?

«Бланк был как бы вот какой человек: он не мог подумать плохо о людях».

Бланк был для Левы тем ограниченным пространством, тем узким полем деятельности, где он мог культивировать доброту и благородство. С Бланком Лева был иным, нежели с остальными знакомыми, это можно было назвать лицемерием, но кто знает, где был подлинный Лева — с Бланком или с остальными?

«В этой роли он чувствовал себя естественно и, поскольку давно уже не знал сам, где находится и кто же он, давно доходил до полной достоверности ощущения...»

И вот — на одном конце провода — Бланк, на другом, рядом слевой. — Митишасьев. С Бланком говорит один человек, с Митишасьевым — другой. Но и тот — Лева, и этот — Лева. Внутри Левы должна произойти эта страшная аннигиляция, и боль от нее заранее невыносима.

«И он спускался отпирать Бланку двери, тускнея с каждой ступенькой, и ему хотелось проглотить ключи».

Вопрос слевой решен. Душа его продана Митишасьеву, и начинается для него какое-то нереальное, бредовое веселье, дьявольский кошмар, мутный омут, где сознание его лишь изредка выплывает на поверхность, чтобы различить багровое лицо оскорбленного Бланка или ощутить в неверных пальцах твердую грань стакана...

«Так пульсировало время и дышало пространство, обозначаемое полустанками "маленьких"».

Пьяный Лева, потерявший вроде бы всякие признаки личности, лишенный идеи, почти лишенный характера, сохраняет, однако, нечто такое, что и составляет его особенность как героя романа. Он сохраняет двойственность и он сохраняет боль. Эти два Левиных качества, два свойства, два чувства тесно связаны одно с другим, но двойственность все же первичней. И если всякий герой должен быть непременно носителем чего-то, то Лева есть не носитель идеи или даже характера, а именно носитель двойственности.

И будь Лева человеком бездарным, может быть, все еще было бы не так уж плохо. Но Лева талантлив, а значит, по определению Битова, — совестлив. И значит, боль его — неизбежна. Встреча с Бланком выявляет это с максимальной очевидностью.

И драка с Митишасьевым — не дуэль, а обыкновенная драка — происходит не из-за Фаины, как могло нам показаться в первый момент, а все из-за того же Бланка. Не потому, конечно, что Лева любит Бланка больше, чем Фаину. Однако Фаина, в данном случае, — это обида, большая обида, смертельная обида — но и только. Бланк же — это гораздо больше чем обида, это предательство, это вина, это фатальная невезучость, несчастливость и ничтожность Левы, это вечная его боль, которую провоцирует, которой радуется, над которой измывается Митишасьев.

И поэтому же, мне кажется, кульминация романа не в разрухе в музее, не в дуэли на пистолетах, не в ночном даже споре с Митишасьевым, споре, который имел предрешенный исход. Кульминация — в истории с Бланком, во всей совокупной истории, включая жестокий, мифистифельский выпад Митишасьева:

« — Ну, уж я потешился.

— Как — потешился? — опешил и похолодел Лева.

— Ты уже забыл Бланка? — демонически спросил Митишасьев.

Мука прошла по лицу Левы. Он все отчетливо помнил. Но, в таком случае, жить он больше не мог. Ужас сковал его».

Здесь высшая точка напряженности и боли. Отсюда — только вниз и вниз: «Бланк, этот воспаленный очаг Левинного предательства...»

И вот еще что примечательно.

Казалось бы, Митишасьев, этот демонический Левин антипод, призванный немедленно заполнять освобождаемое Левою пространство, должен выиграть, раз Лева проиграл. На самом деле — ничего подобного. Такой Битов писатель, что и Митишасьев оказывается у него многослойным, и ему не чуждо чувство боли, и про него можно было бы написать отдельно если не роман, то уж повесть несомненно. «Страдания немолодого Митишасьева». (Хорошая, кстати, фамилия. Утешасьев, Потешасьев, Мельтешасьев.)

«Порода? Кровь? Что там в крови-то, от этого с ума можно сойти! Ни за что человеку такое... Вот если даже всю власть над людьми сосредоточить в моих руках, не дастся мне это превосходство. — Я всегда буду знать, кто они, потому что я из них... Я всегда выходец, тебе всегда принадлежит. Ведь почему мы евреев не любим? Потому что при всех обстоятельствах они — евреи... Мы принадлежность в них не любим, потому что сами не принадлежим».

Это все та же навязчивая тема: обладание — и захват, аристократ — и плебей. Моцарт — и Сальери... Но человека, такое говорящего, уже не выкрасишь одной краской:

«Правило правой руки Митишасьева: — Если человек кажется дерьмом, то он и есть дерьмо».

Митишасьев умен и пронизателен, он не простой завистник, он аналитик.

«Смотрю: не сволочь. Ах ты, думаю, чем же ты не сволочь?! Все как у сволочи, и не сволочь?»

Он бывает просто талантлив, этот Митишасьев.

И как подлинный исторический Сальери был, несомненно, для кого-то Моцартом, так и Митишасьев не может быть последним звеном в этой шаткой двусмысленной цепочке. Для кого-то он тоже Моцарт, может быть, для того же Готтиха...

Один из разделов романа назван Битовым «Герой нашего времени». Так мог бы быть назван и весь роман. Лева Одосвцев — собирательный образ нашего современника, но не в том школьном смысле, что сборная солянка из всяческих

черт и качеств. Он собирателен, потому что собирает, он — вбирателен, он — болевой центр, через который проходят силовые линии, исходящие от людей и событий.

«В одно и то же место уязвляет меня и Фаина, и дед, и Митишатъев, и время — в меня! Значит, есть я — существующая точка боли! Вот там я есть, куда попадает в меня все...»

Так, незаметно для себя и помимо сюжета, через обоюдное ощущение страдания, восстанавливает Лева утраченное родство с дедом, удостаивается его. Кто знает, может быть, это как раз и есть единственно возможная форма пресмственности...

8

Несколько слов в заключение.

Мы довольно много говорили здесь о романе, но так ничего не сказали о творческом методе Андрея Битова. Между тем в такой пространной статье полагалось бы, по всем правилам, проанализировать, хотя бы кратко, литературный стиль автора и затем, выявив те его качества, которые показались бы нам основными, выстроить некую «цепочку влияния», куда вошли бы, к примеру, Гоголь, Достоевский, Диккенс, неперемный Пруст, может быть, Бунин, хорошо бы — Джойс и Набоков. Это дало бы нам душевное успокоение, создало бы иллюзию ясности и завершенности.

Однако теперь, после всего, что здесь говорилось, этого сделать уже невозможно. Слишком ясна для нас полная произвольность такого подхода, слишком очевидна бесконечная расплывчатость литературной систематики, где все на все похоже и все сравнимо со всем. Выбор признаков — задача трудная и неоднозначная даже для естественных наук — что уж тут говорить о литературе! И единственный способ придать ей некоторую определенность состоит, на мой взгляд, в том, чтобы заменить поиски сходства поисками отличия.

Что же мы выберем для отличительной характеристики стиля Андрея Битова? Где-то на самой поверхности явления плещется слово «интеллектуализм», но это слово-маска, слово-упаковка, всеобщий эквивалент, в универсальности которого уже заложена его непригодность. Я бы даже сказал, что ближе к сути располагается слово «юмор», но и оно в обычном его употреблении не может нам подойти.

Более того, мне хотелось бы сразу же предостеречь будущих исследователей от написания работы под таким названием: «Юмор Андрея Битова». Потому что никакого такого «юмора» у Андрея Битова нет. То есть нет у него никакого отдельного юмора.

Разумеется, Битов — человек с высоким чувством юмора, это качество всегда при нем, как всегда при Леве Одоевцеве его высокое происхождение. И если мы выберем наиболее смешные места из книг Битова, то это вовсе не

будет означать наилучшую иллюстрацию его чувства юмора. Самый смешной рассказ Битова — «Бездельник» — есть в то же время и самый серьезный, самый, может быть, глубокий его рассказ. Но если мы попытаемся искусственно отделить в нем смешное от серьезного, то еще неизвестно, в какой из этих частей окажется больше юмора.

Доподлинно известно, что рассказывать смешно могут и люди без юмора. Но еще вопрос, могут ли они рассказывать серьезно.

Тут, как говорит Битов, «мы приходим к давно любезной нам мысли» — что чувство юмора необходимо не столько для того, чтобы писать смешно, сколько для того, чтобы писать не смешно. Что это значит?

Чувство юмора есть в основном чувство двусмысленности. Тот или иной смысл фразы никогда не бывает ее единственным смыслом. Поэтому всегда существует опасность, что второй смысл будет передразнивать первый, пародировать его и, таким образом, — уничтожать. Это особенно актуально в художественной речи, прозаической или поэтической, где многозначность есть основа построения образа. Образ или пародия — вот вопрос, который приходится постоянно решать художнику. Нелепо пытаться избежать двусмысленности: исчезнет одна — появится другая. Образ или пародия — иного пути нет. То есть может быть, конечно, и то и другое, но тогда пародия неизбежно ослабляет и дискредитирует образ.

Не так-то легко заметить момент, когда точная фраза оборачивается собственной противоположностью, взлет превращается в падение, а трагическое становится смешным. Вот тут-то и выясняется, у кого есть чувство юмора, а у кого — нет.

Только писатель, остро чувствующий всю смысловую многоплановость литературного языка, может, не сломав себе шею, достичь подлинных высот значительности и пафоса.

Андрей Битов — именно такой писатель.

И если теперь попытаться сформулировать главную особенность его литературного стиля, то я сказал бы, что главное — это острое чувство многозначности и многосмысленности, точный учет всех последствий, всех возможных форм последствий написанного и произнесенного слова.

Оттого так смешно все, чему он смеется, и оттого так значительно все, чему он придает значение...

Впрочем, и эти такие важные для писателя качества суть всего лишь некоторые из многих сторон того неспостижимого явления, которое называется «личность художника». Битов всегда есть Битов — вот в чем секрет.

Дай Бог ему и дальше всюду оставаться самим собой, пусть хватит у него силы выстоять не противостоя — только русскому известно, какая это трудная задача.

1974, Москва

Литературно-художественное издание

БИТОВ Андрей Георгиевич

**ИМПЕРИЯ
В ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ**

II

ПУШКИНСКИЙ ДОМ

Ответственный за выпуск

В. В. Гладнева

Художественный редактор

Ю. А. Модлинский

Технический редактор

Е. В. Триско

Корректор

Е. П. Адаменко

Сдано в набор 20.02.95.
Подписано в печать 20.02.96.
Формат 60x84 1/16.
Бумага типогр.
Гарнитура Тип Таймс.
Печать высокая с ФПФ.
Усл.-печ. л. 29,76.
Усл. кр.-отт. 30,57.
Уч.-изд. л. 31,15.
Тираж 10000 экз.
Заказ № 222

«Фолно»,
310002, Харьков, ул. Чернышевского, 34

ТКО АСТ
г. Балашиха Московской обл., ул. Фадеева, 8.

Отпечатано с готовых диалозитивов в Тульской типографии.
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

Битов А. Г.

Б66 Империя в четырех измерениях. II. Пушкинский дом / Послесл. Ю. Карабчиевского; Худож.-оформитель В. Н. Шекин. — Харьков: Фолио; Москва: ТКО АСТ, 1996. — 509 с. — (Настоящее).

ISBN 5-7150-0350-4 (т. 2).

«Пушкинский дом» — первый большой роман Андрея Битова — продолжает ту линию его творчества, которую принято относить к психологической прозе.

Само название романа указывает на основной его смысл: «И русская литература, и Петербург (Ленинград), и Россия — все это, так или иначе, Пушкинский дом без его курчавого постояльца.»

ИМПЕРИЯ

В ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ



ПУШКИНСКИЙ
ДОМ

